Владимир
Семенов
КРЕМЛЕВСКИЕ
ТАЙНЫ

Владимир Семенов

КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ

МИНСК
ВАЛЕВ
1995

ББК 63.3(2)6
С 30
УДК 947

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части, а также реализация тиража запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Семенов В. Н.
С 30 Кремлевские тайны.— Мн.: Валев, 1995.— 544 с.
ISBN 985-6202-01-9.

В книге Владимира Семенова «Кремлевские тайны» читателя ждут совершенно неожиданные факты нашей недавней истории. Автор предлагаемого произведения — мастер довольно редкой в Московском Кремле профессии; он — переплетчик. Через его руки прошли тысячи и тысячи документов и... секретов, фактов, тайн.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, ведь в тайнах прошлого сокрыты секреты будущего.

С 9470000000 **ББК 63.3(2)6**

ISBN 985-6202-01-9 © В. Н. Семенов, 1995

ОТ АВТОРА

Кремль — древняя резиденция правителей Московии, Руси, Российской империи, СССР. Сегодня Кремль — резиденция президента России, стремящаяся к традиционным образцам своей политической культуры.

Имперская сверхценность — авторитет власти, который очень быстро сменяется культом власти. Часты ситуации, когда культ есть, а ЛИЧНОСТЬ отсутствует. Отсутствие личности при наличии культа — одна из самых незамысловатых, но тщательно скрываемых тайн авторитарных режимов.

Для меня этой тайны не существовало никогда. Меня мучила иная загадка, я все время задавал себе вопрос, ответ на который ищу до сих пор: почему существует чудовищный кремлевский беспредел. Я был уверен, что ЗЛО поселилось в Кремле прежде всех правителей. И я не ошибался: Дмитрий Донской приказал уничтожить первых строителей Кремля, чтобы они никому ничего не рассказали.

Зло искало надежное убежище и нашло его за стенами Кремля.

Иногда мне казалось, что я близок к истине, но это было очередное заблуждение. Я снова погружался в мучительные раздумья.

Моя работа располагала к размышлениям. Из своих знаменитых коллег могу назвать Феликса Дзержинского. Нет, я не чекист! Я — переплетчик. Феликс Эдмундович в молодые годы тоже был переплетчиком. В Ковно. В одном из писем к сестре Альдоне будущий председатель ВЧК писал: «Я устроился на работу в переплетную мастерскую и весьма бедствовал. Не раз текли слюнки, когда приходил на квартиру, и в нос ударял запах блинов или чего-то другого. Иногда приглашали меня рабочие поесть, но я отказывался...» Работая пере-

плетчиком, молодой Феликс научился оформлять нелегальные документы, прятать их незаметно в переплетах книг, в рамках невинных картинок и фотографий. Паспорта, деньги партии в этих тайниках пересылались по почте.

Я переплетчик. Долгое время я переплетал тайны. Тайны подлинные и мнимые. Раскрытые и нераскрытые.

Мои заказчики хотели, чтобы тайны оставались тайнами, им казалось, что в переплетенном виде они лучше сохраняются. В душе я смеялся над своими заказчиками: они «не ведали, что творят».

Тайна в переплете — сюрприз для потомков. Приходит время, тесемочки развязываются, у тайны вырастают крылья — она вылетает в раскрытое окно... Не поймать! Тайна обретает СВОБОДУ.

Я переплетал всю макулатуру, которая не выходила за пределы Кремля. В Кремле умели превратить в тайну буквально ВСЕ — от новых, только что сочиненных первомайских лозунгов до ассортимента буфетов.

Партийные функционеры любили блеснуть мудреной цитатой из Маркса. Сошлюсь и я на классика: «Бюрократию обуревает любовь к тайнам. К тайне во всем. Поэтому верхи не знают, что творят низы. А низы, преклоняясь пред тайнами верхов, вводят их в заблуждение своими». Кажется, это из «Критики гегелевской философии права».

Карьеру кремлёвского переплётчика я начал в 1960 году, когда в Кремле был большой строительный переполох, связанный с возведением Дворца Съездов. Стройка была в разгаре. На территории Кремля можно было встретить бородатых археологов, на которых с явным подозрением поглядывала охрана. Что и говорить: время перемен, по крайней мере, так нам тогда казалось...

По пути на работу меня всякий раз поражал переход из многолюдия и грязи московских улиц в чистое пространство кремлевских площадей. Из их пустоты я неизменно попадал в теснину мертвых храмов. Их нагромождения напоминали мне скалы и горные ущелья. Наша мастерская находилась в одном из бесконечных подвалов. Здесь были слышны крики кремлевских ворон, сюда почти не доносился шум города. Мы переплетали подшивки газет поступающих в Кремль, гроссбухи хозяйственной документации, отчеты неведомых мне

организаций. Все имело свой срок, объем и счет. Все это неизвестно откуда поступало и неизвестно куда исчезало. Все было «СС» — «совершенно секретно».

Пустяки приобретали таинственный смысл. Там, где его не было изначально, он появлялся поздней...

Кремль всегда казался мне местом зловещим и таинственным. И не только мне. Подобным образом отразился он в дорожном зеркале маркиза де-Кюстина — французского путешественника и писателя 19 века:

«В хаосе штукатурки, кирпича и бревен, который носит название Москва, две точки неизменно приковывают к себе взоры: это церковь Василия Блаженного и Кремль, тот Кремль, который не удалось взорвать самому Наполеону!

Я никогда не забуду дрожи ужаса, охватившего меня при первом взгляде на колыбель современной русской империи. Это не дворец, каких много, это целый город, имеющий, как говорят, милю в окружности. И город этот корень, из которого выросла Москва, есть грань между Европой и Азией. При преемниках Чингис-хана Азия в последний раз ринулась на Европу; уходя, она ударила о землю пятой — и отсюда возник Кремль.

Знаете ли вы, что такое стены Кремля? Слово «стены» вызывает в уме представление о чем-то слишком обыкновенном, слишком мизерном. Стены Кремля — это горный кряж. По сравнению с обычными крепостными оградами его валы то же, что Альпы рядом с нашими холмами. Кремль — это Монблан среди крепостей. Если б великан, именуемый Российской империей, имел сердце, я сказал бы, что Кремль — сердце этого чудовища.

Его лабиринт дворцов, музеев, замков, церквей и тюрем наводит ужас. Таинственные шумы исходят из его подземелий; такие жилища не под стать для нам подобных существ. Вам мерещется страшные сцены, и вы содрагаетесь при мысли, что сцены эти не только плод вашего воображения. Раздающиеся там подземные звуки исходят, грезятся вам из могил. Бродя по Кремлю, вы начинаете верить в сверхъестественное.

Кремль — вовсе не то, чем его обыкновенно считают. Это вовсе не национальная святыня, где собраны исторические сокровища империи. Это не твердыня, не благоговейно чтимый приют, где почивают святые, защитники Родины. Кремль — меньше и больше этого. Он попросту — жилище призраков.

Башни, башни всех видов и форм: круглые, четырехугольные, многогранные; приземистые и взлетающие ввысь островерхими крышами; башни и башенки, сторожевые, дозорные, караульные; колокольни, самые разнообразные по величине, стилю и окраске; дворцы, соборы, зубчатые стены, амбразуры, бойницы, валы, насыпи, укрепления всевозможного рода, причудливые ухищрения, непонятные выдумки, какие-то беседки бок о бок с кафедральными соборами.

Во всем виден беспорядок и произвол, все выдает ту постоянную тревогу за свою безопасность, которую испытывали страшные люди, обрекшие себя на жизнь в этом фантастическом мире.

Все эти бесчисленные памятники гордыни, сластолюбия, благочестия и славы выражают, несмотря на их кажущееся многообразие, одну-единственную идею, господствующую здесь над всем: это война, питающаяся вечным страхом.

Кремль, бесспорно, есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического. Слава, возникшая из рабства,— такова аллегория, выраженная этим сатанинским памятником зодчества.

Хотя каждая башенка, каждая отдельная деталь имеют свою индивидуальность, все они говорят об одном и том же: о страхе, вооруженном до зубов.

Жить в Кремле — это значит не жить, но обороняться. Гнет порождает возмущение, возмущение вызывает меры предосторожности, последние, в свою очередь, увеличивают опасность восстания. Из этой длинной цепи причин и следствий, действий и противодействий возникло чудовище — деспотизм, который построил для себя в центре Москвы логовище — Кремль!

В искусстве нет термина, которым можно было бы охарактеризовать архитектуру Кремля. Стиль его дворцов, тюрем и соборов — не мавританский, не готический, не римский и даже не чисто византийский. У Кремля нет прообраза, он не похож ни на что на свете. На нем лежит отпечаток, если можно так выразиться, архитектуры царского стиля.

Иван Грозный — идеал тирана, Кремль — идеал дворца для тирана.

Царь — это тот, кто живет в Кремле. Кремль — это дом, где живет царь. Я не люблю новоизобретенных слов, в особенности тех, которыми пользуюсь я один, но

«архитектура царского стиля» или «царская архитектура» — выражение необходимое, ибо ни одно другое не вызовет в уме человека, знающего, что такое «царь», соответствующих представлений.

В Москве уживаются рядом два города: город палачей и город жертв последних. История России показывает нам, как эти два города возникли один из другого и как они могли существовать друг подле друга».

Я далеко не молод, но и старым себя не считаю. Не утратил и профессиональных навыков. Я решил объединить часть известных мне кремлевских тайн под одним переплетом.

Как я уже говорил, почти все тайны раскрываются — обретают крылья и свободу. Люди не знают всех последствий своих действий, как бы тщательно они эти действия не планировали. Гегель назвал тайну «незапланированным результатом» — никто не хотел, «оно само так получилось». Именно такие результаты чаще всего скрывают — рождается тайна.

Любовь к тайнам — это и моя любовь. Любовь первая, трепетная. Я не могу ее забыть.

Любовь к правде пришла поздней. Я подозреваю, что ей суждено стать безответной любовью...

Владимир Белоусов.

ПОДЗЕМНЫЕ ПАЛАТЫ

Иван III решил превратить Кремль в символ государства.

Для воплощения в жизнь замысла Ивана III архитектура была одним из наиболее важных средств. И князь превратил Кремль в монументальный ансамбль. Практически все строения Кремля — башни, стены, здания на центральной кремлевской площади — не только стоят на тех же местах и носят те же названия, где их начал строить и как их назвал еще Ивана Калита в 30-е годы XIV века, но они выглядят так, как выглядели в годы правления Ивана III.

К середине XV века белокаменный Кремль настолько обветшал, был настолько залатан бревнами, что венецианский посол в 1476 году даже назвал его в своем донесении деревянным. Не в лучшем состоянии были и храмы

Реконструкцию Кремля Иван III решил начать с главного собора земли русской — Успенского. Московские мастера Кривцов и Мышкин взялись за эту работу и даже возвели стены, но 20 мая 1474 года стены эти рухнули. Пригласили более опытных мастеров, из Пскова, но те, ознакомившись с положением дел, от работы отказались. И тогда взгляд великого князя обратился в сторону Европы.

Нет сомнения, что решающую роль в выборе зодчих для грандиозной перестройки Кремля сыграла женитьба Ивана III на племяннице последнего византийского императора Константина Палеолога на царевне Зое.

Дело в том, что в 1467 году скончалась жена Ивана III, и владыки целого ряда стран стали делать попытки укрепить контакты с восточным соседом, удачно породнившись с ним. Выбор князя пал на Италию, где жила в изгнании после падения Византийской империи и взятия Константинополя турками Зоя Палеолог.

Венчание состоялось в ноябре 1472 года в Москве, и с этого дня княгиня получила русское имя Софья.

На Руси тогда уже были известны итальянские мастера — фрязины — и многие выходцы из других стран Европы (последних называли немцами). Архитекторов князь по совету «грекини Софьи» пригласил из Италии. Первым в 1474 году прибыл из Болоньи Аристотель Фиораванти с сыном Андреем.

Было итальянскому зодчему в ту пору 58 лет, и он уже успел войти в историю Италии как автор дворцов, крепостей и фортификационных сооружений для многих итальянских герцогов и даже для венгерского короля, как человек, который передвинул с места на место огромную колокольню. В Болонье Фиораванти вот-вот должен был приступить к строительству Палаццо-дель-Подеста, модель которого так восхищала соотечественников. Но он поехал далеко на восток, чтобы войти в историю еще одного народа — русского.

Аристотеля поселили в Кремле, наделили огромными полномочиями, и работа закипела. Иван III и сам понимал, что белокаменные стены — ненадежный защитник, пушечный огонь они не выдержат. Кремль надо ставить кирпичным. И итальянец сначала построил на реке Яузе кирпичный завод. Кирпичи, полученные на этом заводе по рецепту самого Фиораванти, были необычайно крепки. Были они поуже и подлиннее обычных, и называть их потому стали «аристотелевыми».

Создав генеральную схему Кремлевской крепости и ее центра — Соборной площади, итальянец возглавил возведение Успенского собора — главного собора Московской Руси. Храм должен был нести огромный «проповеднический» смысл, ему предстояло возвестить миру о рождении нового государства, а потому в нем необходимо было воплотить подлинно национальный характер культуры. Аристотель начинает знакомиться с образцами русского зодчества во Владимире, на севере Руси, и когда после четырех лет работы пятиглавый собор был готов, он поразил воображение современников. Выглядел он, «яко един камень», и этим своим ощущением монолита внушал мысль, что именно через год после завершения строительства собора Иван III отказался платить дань Золотой Орде.

В те же годы неизвестные нам пока псковские мастера перестраивали Благовещенский собор — домовую

церковь царского двора. В подклетке этого собора был сделан новый Казенный двор — казнохранилище, глубокие белокаменные подвалы которого просуществовали три столетия. Строил казнохранилище другой итальянец — Марко Руффо, имя которого мы связываем с еще одним замечательным строением Кремля — Грановитой палатой — парадным тронным залом будущих русских царей. Для XV века Грановитая палата представляет уникальное творение: зал площадью в 500 квадратных метров, своды которого опираются на один центральный столб.

Марко Руффо только заложил эту палату. Завершил же он работу вместе с прибывшим из Италии зодчим Пьетро Антонио Солари — одним из легендарных строителей Миланского собора. Именно Солари принадлежит главное инженерное решение Грановитой палаты, названной так впоследствии за четырехгранные камни, которыми она облицована. Оба архитектора одновременно строили и каменный государев дворец.

Остается только сожалеть, что Солари прожил в Москве так мало — в 1493 году, спустя три года после приезда, он внезапно умер. Но и за три года он сделал слишком много, и, главное, воплотил в жизнь замысел Ивана III: превратить Московский Кремль в самую неприступную крепость в Европе. Новые крепостные стены длиной 2235 метров имели в высоту от 9 до 19 метров. Внутри стен, толщина которых достигала от 3,5 до 6,6 метров, были устроены закрытые галереи для тайного передвижения воинов. Чтобы предотвратить вражеские подкопы, со стороны Кремля шло множество тайных ходов и «слухов».

Центрами обороны Кремля стали его башни. Первая была возведена по самой середине стены, обращенной к Москве-реке. Ее сооружали под руководством итальянского мастера Антона Фрязина в 1485 году. Так как под башней был тайный родник, назвали ее Тайницкой.

После этого почти ежегодно возводится новая башня: Беклемишевская (Марко Руффо), Водовозная (Антон Фрязин), Боровицкая, Константино-Еленинская (Пьетро Антонио Солари). И наконец в 1491 году были возведены две башни на Красной площади — Никольская и Фроловская — последняя впоследствии станет известна всему миру как Спасская (так она была в 1658 году названа царским указом по образу Спаса Смоленского).

Спасская башня и стала главным, парадным входом в Кремль.

Обе последние башни строил в 1491 году Солари. Спустя год появилось еще одно, оно уже последнее творение Солари — Арсенальная башня, у входа в Александровский парк. А вскоре замечательного мастера не стало.

Близкие и знакомые нам черты Кремль приобрел уже в 1516 году. Марко Руффо, разрушив старую Флоровскую башню с воротами, создал новую, с подъемным мостом через ров. Кроме него в перестройке Кремля участвовали и другие русские и «фряжские» мастера, имена которых история в большинстве случаев, к сожалению, не сохранила.

В 1494 году приехал в Москву Алевиз Фрязин (Миланец). Десять лет он строил каменные палаты, вошедшие в состав Теремного дворца Кремля. Возводил он и стены кремлевские, и башни вдоль реки Неглинной. Ему же принадлежат и главные гидротехнические сооружения Москвы тех лет: плотины на Неглинной и рвы вдоль стен Кремля.

В 1504 году, незадолго до своей смерти, пригласил Иван III в Москву еще одного «фрязина», получившего имя Алевиза Фрязина Нового (Венецианца). Приехал тот из Бахчисарая, где строил дворец для хана. Творения нового зодчего увидел уже Василий III. Это при нем Венецианец построил одиннадцать церквей (до наших дней не доживших) и собор, который и сейчас служит украшением московского Кремля,— Архангельский, решенный в традициях древнерусского зодчества. Чувствуется, что его создатель находился под большим воздействием самобытной русской культуры.

Тогда же, в 1505—1508 годах, строится знаменитая колокольня «Иван Великий». Ее зодчий Бон-Фрязин, возведя этот столп, достигший впоследствии 81 метра, точно рассчитал, что эта архитектурная вертикаль будет доминировать над всем ансамблем.

...Василий III (отец Ивана Грозного), как и Иван III, тоже был женат дважды. В первый раз государевы писцы переписали по всей стране дворянских девок-невест, и из полутора тысяч притенденток Василий выбрал Соломонию Сабурову.

Брак оказался бездетным. После 20 лет супружеской жизни Василий III заточил жену в монастырь. Право-

славная церковь и влиятельные боярские круги не одобрили развод в Московской великокняжеской семье.

Составленные задним числом летописи утверждали, будто Соломония постриглась в монахини, сама того желая. В действительности великая княгиня противилась разводу всеми силами. В Москве толковали, будто в монастыре Соломония родила сына — законного наследника престола Юрия Васильевича. Но это были пустые слухи, с помощью которых инокиня пыталась помешать новому браку Василия III.

Второй женой великого князя стала юная литвинка княжна Елена Глинская.

Елена, воспитанная в иноземных обычаях и не похожая на московских боярышень, умела нравиться. Василий был столь увлечен молодой женой, что в угоду ей не побоялся нарушить заветы старины — сбрил бороду.

Только на пятом году брака Елена родила сына, нареченного Иваном (Иван Грозный). Недоброжелатели-бояре шептались, что отец Ивана — фаворит великой княгини.

Поэтому не только жизнь Ивана Грозного, но и само его появление на свет является очередной кремлевской тайной.

В тайники Ивана Грозного хотели проникнуть многие. С разными целями, в разные времена.

В декабре 1724 года в Петербург на попутной подводе прикатил из Москвы бывший пономарь московской церкви Рождества Иоанна Предтечи, «что за Преснею», Конон Осипов и подал в канцелярию фискальных дел пространное «доношение», в котором писал:

«Есть в Москве под Кремлем-городом тайник, в том тайнике есть две палаты, полны наставлены сундуками до стропу (то есть до сводов). А те палаты за великою укрепою; у тех палат двери железные, поперег чепи в кольца проемные, замки вислые превеликие, печати на проволоке свинцовые, и у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов.

А ныне,— сообщал пономарь,— тот тайник завален землею за неведением, как веден ров под Цекхаузный двор и тем ров на тот тайник нашли, на своды, и те своды проломаны, и, проломавши, насыпали землю накрепко».

Пономарь писал, об этих подземных палатах он доносил на словах еще в 1718 году ведавшему в то время

всякого приказа князю Ивану Федоровичу Ромодановскому. И князь велел его допросить, почему «стал он о палатах сведом». И он сказал: «Стал сведом Большой казны от дьяка Василья Макарьева. Сказывал он, был-де по приказу благоверные царевны Софьи Алексеевны посылан под Кремль-город в тайник, и в тот тайник пошел близ Тайницких ворот, а подлинно не сказал, только сказал подлинно, куда вышел — к реке Неглинной в круглую башню, что бывал старый точильный ряд.

И дошел оный дьяк до вышеупомянутых палат, и в те окошка он смотрел, что наставлены сундуков полны палаты: а что в сундуках, про то он не ведает; и доносил обо всем благоверной царевне Софье Алексеевне, и благоверная царевна по государеву указу в те палаты ходить не приказала.

А ныне в тех палатах есть ли что, про то что он не ведает, потому что оный дьяк был послан в 90 (1682) году».

Пономарь сообщал также, что после снятия допроса князь Иван Федорович Ромодановский приказал ему с одним подьячим осмотреть место расположения тайника и отбыл в Петербург.

«...И дьяки Василий Нестеров и Яков Былинский,— продолжал свой рассказ Осипов,— послали с ним подьячего Петра Чечерина для осмотра того выхода; и оной подьячий тот выход осмотрел и донес им, дьякам, что такой выход есть, токмо завален землею. И дали ему капитана для очистки земли и 10 человек солдат, и оной тайник обрыли, и две лестницы обчистили, и стала земля валиться сверху...»

Руководящий земляными работами капитан потребовал еще людей для предотвращения обвала, но «дьяки»,— жаловался пономарь,— людей не дали и далее им идти не велели, и по сю пору не исследовано...»

Это «доношение» было оглашено в сенате в присутствии самого императора Петра I, который наложил на нем резолюцию: «Освидетельствовать совершенно вице-губернатору».

Как видно из найденных в архиве сената документов, обратный путь из Петербурга в Москву пономарь совершил уже на казенный счет. По приговору сената ему была предоставлена ямская подвода и выданы прогонные деньги, а также «кормовые» — по гривне в день. Столько же он должен был получать ежедневно и в Мо-

скве, «пока оное дело освидетельствуется».

Московскому вице-губернатору Военкову в тот же день расчетливый сенат послал указ, подписанный четырьмя государственными деятелями: князьями Репниным и Юсуповым и графами Апраксиным и Петром Толстым, «чтобы он освидетельствовал о той поклаже без всякого замедления, дабы пономарю кормовые деньги даваны туне не были».

На связанные с «исканием поклажи» земляные работы было истрачено всего 51 рубль 6 копеек, когда из московской сенатской конторы в Петербург уже было отправлено донесение, что «с надала-де искания той поклажи ничего не сыскано, да и впредь нечаяться невозможно». Ввиду того что «к пользе никакого виду нет», контора запрашивала» «Впредь ему, Осипову, у того изыскания быть ли и на материалы и корм деньги давать ли?»

В это время Петра I, давшего ход «доношению» пономаря, уже не было в живых, и из канцелярии фиксальных дел прибыл «экстракт»: «Той поклажи больше не искать и кормовых денег Осипову не давать».

Должно быть, рассказ о хранящихся под землей сундуках, поведанный перед смертью бывшим дьяком Большой царской казны Василием Макарьевым, вопреки запрету правительницы Софьи кому-либо разглашать об этом, произвел неизгладимое впечатление на пономаря Конона Осипова и был убедительным, если через девять лет, 13 мая 1734 года, несмотря на неудачу первых поисков, этот же пономарь подал в сенат «доношение», в котором сообщал:

«Повелено было мне под Кремлем-городом в тайнике две палаты великие, наставлены полны сундуков обыскать; и оному тайнику вход я сыскал и тем ходом итить стало нельзя...»

По предложению Забелена, землекопы наткнулись на сооруженный еще в 1492 году при деде Ивана Грозного тайник для добывания воды из речки Неглинной. Осипов доложил о встретившемся препятствии вице-губернатору, и тот передал этот вопрос на разрешение городского архитектора, который, однако, запретил все дальнейшие работы.

Ссылаясь на то, что он уже «при старости», и ни словом не упоминая о своем первом обращении в сенат, пономарь просил дать ему «повелительный указ, чтоб те

помянутые палаты с казною отыскать». Работы, по его мнению, нужно было начать «в самой скорости, дабы земля теплотою не наполнилась». В помощь себе он просил двадцать человек арестантов «беспременно до окончания дела».

«А ежели я,— писал, очевидно, уверенный в удаче затеянного им предприятия пономарь,— что учиню градским стенам какую трату, и за то повинен смерти».

Поднятый пономарем вопрос о возобновлении раскопок в Кремле сенат обсуждал дважды: сначала, в мае 1734 года, пономарю было предложено представить точные сведения, где он предполагает найти поклажу. Осипов указал четыре места: «в Кремле-городе, первое — у Тайницких ворот, второе — от Константиновой пороховой палате, третье — под церковью Иоанна Спасителя, четвертое — от Ямской конторы поперег дороги до Коллегии иностранных дел, а что от которого по которое место имеет быть копки,— добавил он от себя,— того я не знаю. А та поклажа в тех местах в двух палатках и стоит в сундуках, а какая именно — того не знаю».

Разрешение было дано 19 июня при условии, «ежели для искания по показанью его поклаж от вынимания земли не будет какого в строении повреждения и казне большому убытку...»

И уже через две недели после начала поисков в московскую сенатскую контору из Петербурга полетело предписание «подать ведомость немедленно: поклажа в Москве под Кремлем-городом в тайнике свидетельствована ль и что явилось?»

Одновременно сенатские чиновники начали наводить справки об Осипове и выяснили два подозрительных обстоятельства: что за ним недоимка казне и что «оный Осипов в 1734 году о позволении в искании тех поклаж просил, утая прежде правительствующего сената определение, за что подлежит наказанию».

Как именно должен был быть предприимчивый пономарь наказан, в определении не упомянуто. В архиве сохранилось только донесение секретаря сената, что «рвы были копаны даже не в четырех, а в пяти местах: у Тайницких ворот, за Архангельским собором, против колокольни Ивана Великого, у цейхаузной стены — в круглой башне, и в самих Тайницких воротах... И той работы было немало, но токмо поклажи никакой не отыскал».

Поиски таинственной поклажи, проведение пономарем Осиповым с разрешения Петра I и после его смерти с ведома императрицы Анны Иоанновны на основании устного сообщения умершего дьяка Большой казны Василия Макарьева, указывают на то, что в кремлевских подземельях, возможно, имелись секретные хранилища, о которых было известно лишь очень немногим.

В 19 веке, на площади между Благовещенским и Архангельским соборами была вырыта глубокая траншея, обнажившая каменные стены древнего «казенного двора». Ломать их землекопы не стали, но вскрыли пол поблизости — в нижнем этаже Благовещенского собора. Под ним оказалось пустое пространство, кое-где засыпанное землей и мусором. После его расчистки нащупали второй каменный пол, под которым тоже ничего не было. Поиски подземного хода под Грановитой палатой оказались также безуспешными.

Тогда князь Щербатов стал вести подкоп под Троицкую башню со стороны Александровского сада и через месяц наконец обнаружил большую и высокую подземную палату с отлично сохранившимися белокаменными сводами. Посредине этого тайника лежала каменная плита, под которой оказался ход во второй тайник, тоже пустой. В стене первого тайника был узкий проход, ведший в третий просторный тайник с разрушенным люком посредине. Спустившись в этот люк, землекопы нашли под ним четвертую подземную палату, почти доверху заваленную землей и мусором. Каменный свод над этой палатой был настолько сильно поврежден, что наблюдавший за работами инженер запретил дальнейшие раскопки. Так и не выяснили, сообщаются ли эти пустые палаты с каким-нибудь другим подземным тайником.

Просторную подземную палату обнаружили и при раскопках под Боровицкими воротами, но она была на четыре аршина засыпана землей и не имела выхода.

Предполагая, что таинственный ход, которым шел дьяк Василий Макарьев, а после него пытался пройти пономарь Конон Осипов, находится в фундаменте кремлевской стены. Князь Щербатов в двух местах обнажил ее до основания, но и там не нашел прохода в тайник. Внутри зубцов этой стены зияли подозрительные отверстия — «продухи». «Не для вентиляции ли тайника они устроены?» — всполошились исследователи. Однако

оказалось, что их пробили для просушки стен.

Последней была тщательно осмотрена круглая Арсенальная башня, построенная в XVI веке прибывшим в Москву из Италии искусным зодчим Пьетро Антонио Солари. В первом ее надземном этаже нашли замурованную дверь, возможно, служившую когда-нибудь выходом из тайника. За ней действительно оказался ход, круто уходивший вниз на глубину восьми аршин и разветвлявшийся в двух направлениях. Едва сделав по этому ходу несколько шагов, рабочие наткнулись на серьезное препятствие — огромный белокаменный столб, по-видимому, часть фундамента кремлевской арсенала, построенного в начале XVIII века. Такой же столб мешал продвижению и по второму проходу, уходившему вправо.

На этом раскопки прекратились. Ломать столбы князь Щербатов не стал, надеясь потом перехватить тайник за пределами арсенала. Но отпущенные на раскопки средства иссякли, и осуществление этого плана было отложено на неопределенный срок.

Исследованиями подземельев занялся Игнатий Стеллецкий — археолог и пещеровод.

Сын великого псаломщика Игнатий Стеллецкий в награду за прилежание был принят в киевскую духовную академию, славившуюся в конце прошлого века своими историками. Они разбудили в способном юноше острый интерес к прошлому. Окончив духовную академию, Стеллецкий священиком не стал. После поездки в Палестину он твердо выбрал профессию археолога.

Стеллецкому пришлось снова сесть на студенческую скамью и закончить еще одно высшее учебное заведение — только что открывшийся в Москве археологический институт. Захламленные, дышавшие сыростью и часто кишевшие крысами подвалы старинных московских домов и монастырей интересовали его больше, чем самые живописные наземные архитектурные памятники. Нет ли под ними какого-нибудь замурованного тайника или подземного хода? Как врач, прежде всего прослушивающий сердце больного, пещеровод-любитель начинал обычно свои обследования с простукивания стен и пола подземелья. Почти под каждым старым московским домом, построенным не меньше чем полтораста-двести лет тому назад, утверждал Стеллецкий, есть какие-нибудь таинственные сооружения, подземные палаты и ходы,

проложенные на случай непредвиденных событий. Такие ходы были ныне снесенными башнями китайгородской стены, например под Варшавской, а также и под Сухаревской, под фундаментами зданий, принадлежащих когда-то наперснику Ивана Грозного свирепому Малюте Скуратову и князю Пожарскому. Они тянулись под старой Голицынской больницей и вблизи Новодевичьего и Симонова монастырей. По предположению Стеллецкого, ходы, например, должны были соединять дома некоторых живших в Кремле царских приближенных, например, князей Черкасских и Трубецких, и царских родичей — бояр Морозовых и Милославских — с их городскими владениями. На это, между прочим, указывала запись летописца, будто слишком глубоко запустивший руку в казну царский свояк, знаменитый боярин Борис Иванович Морозов, в 1648 году только потому спасся от народной расправы, что успел по тайному ходу ускользнуть в Кремль.

Тщательно выискивая в древних делописях и рукописях сведения о всякого рода подземельях и тайных ходах, что итальянский архитектор Пьетро Антонио Солари построил в Москве «две отводные стрельницы, или тайники и многие палаты и пути к оным с перемычками по подземелью. На основаниях каменных водные течи, аки реки, текущие через весь Кремль-град осадного ради сидения».

Ознакомившись в обширной литературой о якобы спрятанной в одном из подземелий Кремля библиотеке Ивана Грозного, в том числе и с опровергавшим это предположение фундаментальным исследованием Белокурова, энтузиаст-«подземник» встал, конечно, на сторону его противников.

Разрешить вопрос окончательно! — вот какую задачу поставил перед собой начинающий археолог и стал искать доводы для обоснования необходимости возобновления поисков знаменитой галереи Ивана Грозного. Стеллецкий высказал мнение, что правильней было бы назвать ее библиотекой византийских императоров или греческой принцессы Зои, более известной в России под именем Софьи Палеолог.

Вероятно, она сначала жалела о том, что привезла византийские книжные сокровища в деревянный город, плохо защищенный от пожаров.

Библиотеке угрожала опасность превратиться в пе-

пел. Именно Софья Палеолог, по убеждению Стеллецкого, была главной вдохновительницей перестройки деревянного Кремля, превращая его в каменную крепость про образцу средневековых замков. По ее совету Иван III, отправляя в Италию первого русского посла Семена Толбухина, дал ему задание привезти в Россию способных осуществить этот план итальянских архитекторов. Приглашение было принято знаменитым итальянским зодчим Родольфо Фиорованти дель Альберти (носившим так же имя Аристотеля), отправившимся в далекую Московию вместе со своим сыном и с учеником Пьетро Антонио Солари. За ними последовали и другие. Известно, что Аристотель Фиорованти построил в Кремле Успенский собор с тайником под ним для хранения дорогих церковных сосудов и других ценностей. Стеллецкий смотрел на это иначе. «Постройка собора,— утверждал он,— была завесой, с помощью которой он хотел скрыть от нескромных взоров творимые им чудеса в подземном Кремле». Именно им и его учеником Солари были сооружены под Кремлем, по утверждению Стеллецкого, многочисленные подземные палаты и ходы. На преемника Солари — Адевиза Стеллецкий указывал как на строителя двух подземных палат для привезенной Софьей Палеолог библиотеки — впоследствии либереи Ивана Грозного.

Ватикан долго не мог примириться с тем, что книжные сокровища Палеологов куда-то от него ускользнули, и через разведчиков делал попытки их разыскать и вернуть.

Такое задание получили, например, как свидетельствуют найденные в архиве Ватикана документы, приезжие в 1601 году в Москву Лев Сапега и специально с этой целью включенный в состав делегации иезуит Петр Аркудий.

16 марта 1601 года он писал из Можайска кардиналу Сан-Джорджо о греческой библиотеке, относительно которой некоторые ученые люди подозревают, что она находится в Москве. «При всем нашем великом старании, а также с помощью авторитета господина канцлера не было никакой возможности узнать, что она находилась когда-нибудь здесь».

Одним из таких разведчиков был, по мнению Стеллецкого, и получивший образование в Италии просвещенный грек Паисий Лигарид, посланный Ватиканом

в Москву, где он упорно добивался допуска в царское книгохранилище.

И, видимо, усилия этих разведчиков не были напрасными. Иначе каким образом могла бы попасть в руки польского короля Владислава принадлежавшая Ивану Грозному древнейшая жалованная грамота византийского императора Константина папе Сильвестру? Поднося ее через своего посла Оссолинского Римскому папе, польский король, конечно, не знал, что она была всего только очень древним и очень искусно сделанным списком с подлинной грамоты. Но этот список мог, по убеждению Стеллецкого, попасть к Ивану Грозному лишь от его бабки Софьи Палеолог.

В своих далеко не всегда обоснованных выводах Стеллецкий шел дальше всех историков и археологов, исследовавших вопрос о происхождении библиотеки Ивана Грозного. Теория археолого-энтузиаста выглядела очень стройной, но при внимательной проверке обнаруживались существенные пробелы. Доказательства часто притягивались искусственно или подменялись домыслами.

Чтобы подтвердить тот факт, что книжные сокровища вывезены из Византии, Стеллецкий приводил цитату из сочинений современника Максима Грека — князя Курбского, слышавшего от учившегося в Италии греческого книголюба, что император Константин перед падением Византии «царицу свою со всей казной, с газофилакцией книжной (то есть библиотекой) выпустил на Белое море в кораблях до Родоса и до Венеции...» Там же было сказано, что последний патриарх бежал от турок «до Венеции и с собою всю газофилакцию (либрарию, или книгохранительницу церковную) изнесе...»

Кто же вывез все-таки библиотеку: жена императора Константина, последний патриарх или деспот Фома Палеолог со своей дочерью Софьей? На эти вопросы Стеллецкий не смог дать ясного ответа. Ничем не подтвердил он и факт перевозки книг Софьей Палеолог во время ее путешествия в Москву. Но это, видимо, его не очень смущало. Он был глубоко убежден, что все эти расхождения не имеют серьезного значения, так как многолетний спор будет решен заступом.

Момент для возобновления раскопок был, однако, совсем неподходящий.

Несмотря на то, что все цари из династии Романо-

вых, начиная с Петра Первого, постоянно жили в Петербурге и московский дворец в Кремле обычно пустовал, проникнуть в его покои или древние кремлевские башни, а тем более в расположенные под ними подземные сооружения, было совсем нелегко. Приходилось подбираться к ним окольными путями, выискивать подходящий предлог. Такой предлог подвернулся Стеллецкому только в 1909 году.

Еще будучи студентом, он вступил в члены московского археологического общества, исследовавшего памятники старины и заботившегося об их охране, и пытался с его помощью проникнуть в подземный мир Москвы. Одновременно он начал рыться в архивах, разыскивать в записях приказных дьяков сведения о забытых кладах, подземных палатах и ходах.

Как представителя Археологического общества Стеллецкого пригласили принять участие в разборке пришедших в ветхость документов, скопившихся в Московском губернском архиве старых дел. Архив этот размещался в китайгородских и кремлевских древних башнях. Дела эти касались главным образом нескончаемых тяжб между московскими купцами. Но участие в работах междуведомственной комиссии по разборке этого архива открывало доступ в кремлевские башни. Стеллецкому представилась возможность попутно познакомиться с их устройством, сделать, так сказать, первую разведку.

Волнуясь, поднимался он по витой заржавленной лестнице в так называемую наугольную Арсенальную башню, возведенную в XVI веке. Суровая и строгая снаружи, она внутри производила впечатление обжитой, так как была доверху загромождена полками с архивными делами. Стеллажи закрывали стены, но Стеллецкий знал, что внутри одной из стен есть лестница, ведущая в подземный тайник с колодцем, обнаруженный князем Щербатовым, и с загадочным тоннелем, наглухо загороженным белокаменным устроем арсенала. Хоть бы одним глазом заглянуть в этот тайник!

Однако сделать это не решился.

Только спустя три года Стеллецкому удалось найти новую лазейку в Кремль.

Московское отделение Русского военно-исторического общества по его просьбе обратилось с ходатайством к заведующему придворной частью и начальнику двор-

цового управления Кремля князю Оболенскому о разрешении члену общества Стеллецкому с научной целью осмотреть кремлевские стены и башни с их подземельями. Ходатайство это было удовлетворено, но с существенной оговоркой: «За исключением подземелий».

Напуганный, вероятно, взрывом бомбы, брошенной Каляевым в великого князя Сергея Александровича, начальник дворцового управления был неумолим.

Оговорка сводила на нет выданное Стеллецкому разрешение, но он все же им воспользовался.

В 1912 году в Кремле в связи с приближающейся юбилейной датой — сотой годовщиной Отечественной войны 1812 года — производились работы по приспособлению части арсенала под музей трофеев этой войны.

Археолог смекнул, что запрещение заглядывать в подземелья кремлевских башен не касалось подвала арсенала. Воспользовавшись тем, что ремонтировавшие подвал рабочие ушли на обед, Стеллецкий не упустил случая забраться туда и тщательно осмотреть его. Он даже простучал молотком все земляное дно. В одном месте отчетливо послышался гул пустоты. Схватив оставленную рабочими железную лопату, Стеллецкий принялся поспешно копать землю. Он выбросил щебень и известь и вскоре наткнулся на твердый кирпичный свод, издававший при каждом ударе такой звук, словно это был не камень, а пустая бочка.

«Было очень соблазнительно пуститься в отважную авантюру: на свой страх и риск пробить свод, и, юркнув в пролом, исследовать подземный Кремль»,— записал археолог в своем дневнике,— но это было слишком опасно. Озадаченный еще одной загадкой, он поспешил подняться наверх.

Через год еще один юбилей — трехсотлетие дома Романовых — дал повод твердо верившему в успех Стеллецкому поставить наконец вопрос об отпуске денежных средств, необходимых для подземных работ.

В печати было торжественно объявлено о «великой монаршей милости»: личная канцелярия царя получила указание в связи с юбилеем принимать просьбы от верноподданных об удовлетворении их самих неотложных нужд.

Археолог сообразил, что у него есть веские основания для вручения такой просьбы.

Он испытывал острую нужду в разрешении жизненно

важного для него вопроса: возобновление поисков книжных сокровищ Ивана Грозного, по его мнению, нельзя было дольше откладывать.

Необычная просьба поставила, вероятно, в тупик чиновников личной канцелярии царя. Ответ Стеллецкому пришел от императорской Археологической комиссии. Автора прошения ставили в известность, что «проекту разыскания библиотеки царя Ивана Грозного на средства государственного казначейства не может быть дано дальнейшего движения» впредь до представления им «сколько-нибудь точных предположений о месте, где могла сохраниться названная библиотека».

Стеллецкий никаких предположений не предоставлял: он тогда еще сам не знал, с чего начинать.

Летом 1913 года в Кремле в связи с реставрацией Успенского собора снова начались подземные работы, не имевшие никакого отношения к поискам библиотеки Ивана Грозного, но опять напомнившие о ней.

Раскопав мостовую возле собора, землекопы обнаружили неглубокий подземный ход. Возникло предположение, не ведет ли он к исчезнувшему книгохранилищу? Но судя по найденному на его дне окаменевшему илу, это была всего только канава, доставлявшая воду в живорыбный садок царя Алексея Михайловича.

«Если бы библиотека Ивана Грозного находилась под площадью между соборами,— заявил по этому поводу репортеру «Русского слова» руководивший работами инженер.— Не следует забывать, что в старину здесь было самое людное место в Москве. Здесь, у Красного крыльца, вечно толпился народ, здесь буквально кишела жизнь. Вероятнее всего, что библиотека помещалась под каким-нибудь дворцом. Если это так, что отыскать ее будет довольно трудно...»

«Трудно, но не невозможно,— поспешил поправить его Стеллецкий. Надеясь втайне, что работы по реставрации собора будут способствовать возобновлению поисков, он на страницах другой московской газеты — «Утро России» — даже указал, где их следует вести: «Между соборами Успенским, Благовещенским и Архангельским, ближе к двум последним».

Непризнанному искателю либереи удалось поступить делопроизводителем в архив министерства юстиции. Директор его, профессор Цветаев, отнесся к археологу по-дружески, так как тоже интересовался судьбой

исчезнувших книжных сокровищ и разыскивал сведения о них в своем архиве. В 1914 году Цветаев взял на себя смелость снова потревожить дворцовое управление Кремля. Он просил разрешить Стеллецкому производить «археологический осмотр» подземелий в башнях Арсенальной и Тайницкой «с целью восполнения и проверки содержащихся в документах архива о них сведений». На этот раз разрешение было дано.

Вдвоем со смотрителем губернского архива Стеллецкий спустился, наконец, в особенно интересовавшее его подземелье Арсенальной башни. Куполообразный свод отходившего от него подземного хода нетрудно было обнаружить. Но как в него попасть? Тщательно исследовав подземелье, они нашли давнишний пролом, сделанный, очевидно, первооткрывателем тоннеля Кононом Осиповым, с торчавшей в нем деревянной лестницей.

«По ней мы и спустились в неведомую мрачную пустоту с фонарем в руках,— вспоминал впоследствии Стеллецкий.— Ноги ступали по зыбкому мусорному дну тайника... В центре тайника возвышалась сложенная из камней пирамида. Только налево чернело устье огромного сводчатого макарьевского тоннеля, ведшего когда-то под Тайницкую башню, а ныне перегороженную на пятом метре устоем арсенала...»

...Дочь горничной, служившей когда-то во дворце князя Юсупова, обратила внимание на исчезновение ниши, заменявшей раньше шкаф для хранения метел и швабр. Она была заделана кирпичом и выкрашена в такой же цвет, как и вся стена.

Когда кирпичи разобрали, за ними оказался сундучок с изделиями из золота и серебра. Там же была найдена и редчайшая скрипка Страдивариуса, которую потом передали в Московскую консерваторию.

Узнав об этом, Стеллецкий тщательно обследовал все подземные помещения дворца, но ничего в них не обнаружили. Неудача искупилась находкой во дворе четырех загадочных люков. Два из них были плотно забиты землей, третий оказался круглым цементированным колодцем и только последний был связан с подземным ходом, разветвлявшимся в двух направлениях. Пройти эти ходы насквозь Стеллецкому помешали подземные газы.

В 1925 году в Москве было заложено девяносто буровых скважин для выяснения вопроса первостепенной важности: о направлении трассы первых линий будущего метро.

Исследуя почву во многих местах, метростроевцы часто натыкались на подземные сооружения и пустоты, буравили древние кладбища, извлекали из земных глубин останки старинной утвари и орудий труда. Вот уж когда Стеллецкий мог с полным основанием сказать: наступил и на моей улице праздник! Самый подходящий момент для решительной постановки вопроса о поисках подземной либереи Ивана Грозного!

Еще в июле 1924 года в Историческом музее Стеллецкий сделал доклад на эту тему перед авторитетным собранием московских и ленинградских историков, археологов и инженеров. В разгоревшихся после доклада прениях голоса разделились. Одни были «за», другие «против», но большинство склонялось к тому, что, если даже библиотека и не будет найдена, раскопки помогли бы добыть много ценных сведений о подземном мире Кремля.

В начале следующего, 1925 года кладоискатель повторил свои доводы на публичной лекции в большой аудитории Политехнического музея. Вступительное слово перед этой лекцией произнес убежденный сторонник продолжения поисков, не изменивший своих взглядов и после появления труда Белокурова — академик Соболевский.

Слушатели были взбудоражены, доклад их явно заинтересовал, но практическое разрешение вопроса не продвинулось ни на шаг.

Пользуясь любым поводом для проталкивания своего проекта, Стеллецкий в дни празднования двухсотлетнего юбилея Российской Академии наук обратился к ее президенту, академику Карпинскому, с просьбой о поддержке. Ученый переслал это письмо на заключение историкам: знатоку русского XVI века С. Ф. Платонову и известному археологу Н. П. Лихачеву, написавшему первое исследование о либерее Ивана Грозного, спорившему по поводу нее с Белокуровым, но согласившемуся с ним в главном — что эта библиотека не существует. Оба академика остались при своем прежнем мнении. «Надежды на открытие каких-либо ценностей в подземных помещениях Кремля я считаю неоснова-

тельными и несерьезными»,— заключил академик Платонов, а Лихачев добавил: «Клад царя Иоанна Грозного не может быть найден!»

Но Стеллецкий не унывал. В подходивших к Кремлю шахтах особенно часто можно было встретить долговязую фигуру ученого в резиновой спецовке, мелькавшей то тут, то там. Если где-нибудь сносилось мешавшее метростроевцам ветхое здание, он первым забирался в его подвал и тщательно, как дятел, выстукивал его стены. Нельзя же было допустить, чтобы землекопы засыпали какой-нибудь еще не исследованный подземным ход! Спускаясь на самое дно шахт, археолог не уставал разъяснять проходчикам необходимость бережного отношения к находкам, хотя бы и не имеющим в их глазах никакой ценности.

Почти каждый день Стеллецкому что-нибудь приносили: стертую медную монету, ржавую подкову или шпору, черепок разбитого кувшина, глиняную трубку или печной изразец, человеческий череп с остатками волос и бороды. Но еще больше, чем такие находки, археолога интересовали подземные пустоты, в которых можно было подозревать пещеру доисторического человека, забытый ход или тайник. Как только где-нибудь обнаруживалась такая пустота, ее старались не засыпать до осмотра археолога. Но шахт было много, и Стеллецкий не мог всюду поспеть. Иногда сообщение об обнаруженной пустоте приходило как раз в такой момент, когда он был на другой шахте. В июле 1933 года на углу улицы Горького и Охотного ряда снесли отслужившее свой срок здание, принадлежавшее когда-то князю Василию Васильевичу Голицыну, государственному советнику сестры Петра Первого, правительнице Софьи. Именно она, руководствуясь одной ей известными загадочными соображениями, дала задание дьяку Макарьеву обследовать подземные ходы под Кремлем.

Работы по сносу дома были уже закончены, когда на прилегающей к Охотному ряду Театральной площади случилось «чрезвычайное происшествие». Вблизи загороженной дощатым забором шахты начала оседать почва. Оказалось, что проходчики соседней с ней шахты перерезали встретившийся им по пути никому не известный колодец.

На землекопов посыпались сверху песок и мусор, а мостовая дала такую трещену, что в самом центре

Москвы пришлось остановить движение. Аварийные работы были проведены в большой спешке. Стеллецкий же узнал о происшедшем, когда повреждения уже были устранены.

Рабочие в один голос уверяли археолога, что засыпанная ими пустота была обыкновенным колодцем.

Сам же он был другого мнения: не колодец, а подземный ход!

«Ход лежал на материковой горелой глине на глубине шести метров и состоял из толстейших дубовых колод, под которыми шел тротуар из толстых досок»,— записал археолог в своем дневнике и с грустью добавил,— «картина ясная, как на ладони, только мне одному на целом свете».

Стеллецкому, быть может, казалось, что, если бы колодец не успели засыпать, он прошел бы по идущему подземному ходу прямо в Кремль и обнаружил бы по пути тайник с книжными сокровищами.

Мнение археолога о причине провала мостовой на Театральной площади не было принято во внимание. Однако в следующий раз, когда трещины появились уже не на мостовой, а на стенах старого здания Ленинской библиотеки, выстроенной вблизи того места, где некогда находился Опричный дворец Ивана Грозного, снова возник вопрос: кто в этом виноват? Проходчики метро или изрывший Москву своими подземными ходами Иван Грозный?

В XX веке большое распространение получили истории о подземных владениях компартии.

Место, где восстанавливается взорванный в 30-ые годы храм Христа Спасителя, полно загадок.

На тридцатиметровой глубине здесь обнаружена полость, которая могла быть либо бункером, либо засекреченной веткой метро.

Диггеры (англ. digger букв. копатель) давно говорили о тайных бомбоубежищах в метро для кремлевских жителей. Пробовали туда проникнуть, но все ходы нашли замурованными. Тогда они попытались «рыть» в архивах разведывательных служб: по мнению диггеров, там должна храниться информация о таинственных подземельях. Хотели собрать все возможные документы — засекреченные и нет — о гражданских и военных сооружениях в этом районе.

Однако попасть в архивные лабиринты не менее трудно, чем в подземелья.

Тем временем историй о подземных владениях компартии становится все больше.

Геологи перед повторным строительством храма, как и полагается, пробурили несколько скважин. В одной из них бур остановился на тридцатиметровой глубине, уткнувшись в сверхпрочную глыбу. Заподозрили, что она сделана из особой танковой брони и закрывает бункер. Видимо, плита не сплошная, поскольку другая скважина оказалась намного глубже. К тому же бур зацепил кусок вагонетки и негнилое бревно. Это подтверждает наличие шахты. Инженеры предполагают, что шахта затоплена и заполнена газом.

ПРИДВОРНАЯ ПОМПА. ВЕК XVIII

15 февраля 1729 года Анна имела торжественный въезд в Москву и поселилась в Кремлевском дворце. Окруженная здесь самым бдительным надзором, она тем не менее сумела завязать тайные сношения со сторонниками абсолютизма и была в курсе их замыслов. Настроение их становилось все более и более повышенным и, наконец, разрешилось характерною сценой, положившей конец русской конституции.

25 февраля во дворец пришли члены Сената и генералитета, множество дворян и гвардейцев, всего человек 800, и подали Анне петицию о пересмотре в выборном собрании всех проектов организации правительства и установлении, по большинству голосов, новой формы правления. Анна подписала петицию, но тут гвардейцы и многие из шляхетства громко потребовали восстановления самодержавия. «Мы сложим головы на службе вашего величества,— ревели они, став на колени,— но не хотим терпеть, чтобы вас притесняли. Прикажите, государыня, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев!» Анна ушла обедать, и в это время была составлена другая петиция: «всепокорнейшие рабы» униженно просили, в знак благодарности за принятие первой петиции, о восстановлении «самодержавия».

Конституционалисты, бывшие, очевидно, в большинстве, без боя сдали свою позицию кучке крикунов, сильных только подъемом рабьего духа. Во вторичной аудиенции Анна, выслушав новую просьбу, приказала подать себе акт, подписанный ею в Митаве, и торжественно изорвала его. Самодержавие возродилось!

Рабы поставили над собой властелина, какого были достойны.

«Те, которые заставляют меня плакать,— сказал кн. Дм. М. Голицын вечером 25 февраля,— будут плакать дольше моего».

Все десятилетнее царствование Анны было временем плача для России, и только русский народ мог стерпеть до конца оргию деспотизма, известную под именем «Бироновщины».

Анна была среднею из трех дочерей царя Ивана Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны (Салтыковой). При Петре I она была выдана замуж за курляндского герцога Фридриха-Вельгельма, который вскоре умер. Старшая ее сестра, Екатерина, вышла за герцога мекленбургского Карла-Леопольда, прижила с ним дочь Анну, ставшую после смерти Анны Ивановны правительницей, потом покинула его и из Мекленбурга переселилась в Россию. Младшая, Прасковья, была в морганатическом браке (брак лица, принадлежащего к царствующему дому, с лицом не царского рода, не дающий прав престолонаследия) с Иваном Дмитриевым-Мамоновым. Царица Прасковья Федоровна, женщина крутого и жесткого нрава, не ладила со своими дочерьми и даже прокляла Екатерину и Анну — с последней, впрочем, сняла проклятие незадолго до своей смерти, по просьбе Петра I. Сестры Анны ничем особенным не выдавались: о Екатерине было известно только, что она любит мужчин, Прасковья слыла просто за женщину недалекого ума.

В семье Анна была, несомненно, самой сильной индивидуальностью. Молодость ее прошла в мизерной обстановке курляндского двора, не дававшей возможности развернуться ее власти и самолюбивой натуре. Приходилось терпеть постоянные унижения, жить подачками богатой русской родни, а потребность в роскоши, влечение к придворной помпе и тогда уже были у нее сильны.

Нетрудно представить себе, как эта жизнь должна была действовать на ее от природы вовсе не мягкий характер. Она стала осмотрительна и сдержана, но внутренне ожесточилась.

В год избрания на русский трон Анне было 37 лет. Тогда это была высокая, тучная женщина, не лишенная известной грубоватой представительности, с некрасивым, почти мужским лицом, покрытым рябинами.

Общее впечатление было скорее в ее пользу, если верить наблюдателям-иностранцам, но русская современница, правда, очень враждебно относясь к ней, Наталья Бор. Шереметева, невеста Ив. Долгорукого, нарисовала такой портрет ее: «Престрашного была взора, отвратное лицо имела; так была велика — когда между кавалеров идет, всех головой выше и чрезвычайно толста».

Все внешние путы спали с Анны, когда толпа, собравшаяся во дворце 25 февраля, вручила ей самодержавие, и, очутившись, наконец, на просторе, она поспешила устроить себе жизнь по своему вкусу.

С первых же шагов в Москве она была не одна — следом за нею проскользнул в ее дворец фаворит Эрнст-Иоганн Бирень (Buren) или Биронь, как он писался впоследствии, «волгавшись» в древний французский род Biron'ob. В России этого человека знали и раньше. Было известно, что попав ко дворцу в Митав, где отец и дед его состояли на службе в герцогских конюшнях, он быстро подкопался под своего предшественника по должности фаворита, обер-гофмейстера Петра Бестужева, и прочно сел на его место.

До конца жизни Анны он остался единственным ее обладателем — заметим, кстати, что из всех русских императриц XVIII века она была наиболее приспособленной по природе к монологам.

Фавор ее и слепая привязанность к нему Анны бросились всем в глаза в Москве, когда они вместе с нею приехали на коронацию Петра II; влиятельные сферы тогда уже стали коситься на эту связь, и как ни старался он втереться в милость у сильных людей, как ни ревностно разыскивал собак для Ив. Долгорукого — отношение к нему русского двора не изменилось, и Анне, добивавшейся увеличения своей субсидии, пришлось проглотить горькую пилюлю в виде заявления Совета, что деньги будут даны с условием, чтобы Бирон не распоряжался ими. Депутация, предложившая Анне в Митае

корону, потребовала от нее обещания не брать с собой фаворита в Россию. Неудивительно, что, появившись вновь в Москве уже в качестве первого друга императрицы, он принес с собой затаенную злобу и желание мести, которые должны были еще более обостриться, когда они заметили всеобщее раздражение против себя и прочих влиятельных немцев.

С именем Бирона неразрывно связано представление о мелочно-злом, мстительном тиране, крайне неразборчивом в средствах и ни в ком не уважавшем человеческого достоинства. Таков и был в действительности этот представительный господин, говоривший, по выражению одного современника, о лошадях или с лошадьми, как человек, а о людях или с людьми, как лошадь.

Многие тиранические акты правительства Анны ставились ему в вину, но в сущности трудно разобрать, к кому из них прилипло больше грязи и крови, испачкавших эту страницу русской истории. Верно то, что эти два существа казались созданными друг для друга и жили душа в душу. Анна была безгранично предана своему фавориту, отождествляла его интересы со своими, сливала свою жизнь с его жизнью. Его воля часто была для нее знаком.

Говорили, что, щедрая по природе, она не решалась без его ведома даже оделять денежными подачками домашнюю прислугу.

Часа не могла она пробыть без своего любимца и старалась ни на шаг не отпускать его от себя. Каждое утро он проводил в конюшне и манеже, и, чтобы не разлучаться с ним в эти часы, грузная Анна выучилась ездить верхом.

На вечеринки и всякие увеселения в домах частных лиц она смотрела очень косо, боясь, как бы они не отвлекли от нее Бирона, называла их распутством и колко выговаривала за них. Сам Бирон порою тяготился такой привязанностью своей подруги и часто жаловался, что у него нет даже четверти часа на свои удовольствия.

Эта жизнь в конце концов могла бы надоесть нежной паре, если бы она не разнообразилась постоянными забавами, приспособленными к интеллектуальному уровню дочери царя Ивана и ее фаворита-конюха. Анна не могла обойтись без шутов и женщин, способных болтать без умолку, которых свозили к ней со всех концов России. Целые вечера она просиживала на стуле,

слушая трескотню бабьих речей и забавлялась криком и драками шутов. Характерен подбор последних: странная и уродливая внешность, глупость или просто косноязычие составляли достаточный ценз для приема в «дурацкий орден» при дворе; остроумные выходки ценились меньше, чем ругань и драка, и такие шуты, как итальянцы Пьеро Мира, он же Педрилло, наживший остроумием более 20 тыс. рублей, были очень редкие.

Представительство, придворная помпа поглащали тот избыток свободного времени, который не был заполнен развлечениями в интимной обстановке.

Царствование Анны можно считать временем расцвета придворной жизни в настоящем смысле слова. При ней эта жизнь превратилась в сплошную феерию, затянувшуюся на десять лет, тщательно и обдуманно налаженную. Это была непрерывная цель сцен и актов, имевших почти ритуальный характер.

«При дворе,— говорил кн. М. Щербатов,— начались порядочные многолюдные собрания» — собрания регламентированные, участие в которых было сделано обязательным для толпы статистов, допущенных в царские передние. Анна и Бирон в полной мере использовали неожиданно доставшиеся им ресурсы, чтобы проявить во всем блеске организаторские способности, долго не находившие себе достойного приложения в сравнительно убогой обстановке митавского двора».

Впервые после долгого перерыва Анна доставила Москве возможность наблюдать подлинную придворную жизнь. 28 апреля 1730 года совершилось ее коронование, затмившее, по отзывам очевидцев, своим великолепием коронование Петра II, затем начались коронационные торжества, продолжавшиеся целую неделю,— приемы во дворце, балы, банкеты. В городе устраивались фейерверки и иллюминации, подобных которым, по словам Лирия, в России до той поры не видали.

Но и после коронации, когда придворная жизнь вошла в обычную колею, характер ее не изменился. Праздники следовали один за другим, балы и банкеты чередовались с маскарадами, концертами, спектаклями. При дворе появились итальянская опера, оркестр и солисты-виртуозы — императрица сама любила театр и музыку. Маскарадами тешились иногда,— как, например, в феврале 1731 года — в течение дней десяти подряд. Сверх того, установились регулярные придворные собрания,

бывавшие еженедельно два раза, и благодаря им карточная игра достигала небывалых до тех пор размеров. В один присест проигрывались целые состояния, тысяч до двадцати, в квинтич и банк. Анна собственно поощряла игру, хотя не увлекалась ею и нимало не интересовалась выигрышем.

Не посчастливилось в ее царствование только вакхическим торжествам, составлявшим при ее дяде неотъемлемую часть придворного ритуала: не терпя пьянства, она допускала лишь раз в год, в день ее восшествия на престол (29 января), церемонию такого рода, «праздник Бахуса», очень, впрочем, скромный по размерам,— все участники его должны были выпивать по большому кубку венгерского, преклонив колена перед императрицей.

Аннинский двор обходился государству вшестеро дороже, чем двор Петра I. Но, ложась тяжелым бременем на государственный бюджет, блеск придворной жизни оказывался не менее, если не более, разорительным, для частных лиц. Обязательные расходы на представительство непомерно возросли, а средств на их покрытие было по-прежнему мало у верхов тогдашнего общества, все богатство которых сводилось к продуктам их деревенского хозяйства.

Правда, уже в царствование Петра II при дворе вошло в обычай делать новый костюм ко всякому празднику — о чем не без горечи упоминает Лириа, сам постоянно испытывавший денежные затруднения вследствие неаккуратности испанского казначейства,— но праздники тогда бывали сравнительно очень редко. При Анне, хотевшей видеть постоянно на своих придворных новые богатые костюмы, траты на гардероб вызывали всеобщий ропот. Придворный, который издерживал в год на платье только 2—3 тыс. рублей, не мог похвастать щегольством. Один саксонец сказал польскому королю Августу II, глядя на его пышно одетый двор, что следовало бы расширять городские ворота для впуска дворян, напяливших на себя целые деревни,— этот bon mot был бы не менее уместен при Анне в России, где костюмы оплачивались именно деревнями.

Зато развитие вкуса далеко не шло вровень с прогрессом роскоши.

Манштейн говорит, что Анне не без труда и не сразу удалось облагородить придворную роскошь, но это от-

зыв в значильной степени подрывается тем, что тот же современник сообщает о внешней культуре русского общества. В быту высшего класса кричащая роскошь, по его словам, уживалась с полным отсутствием вкуса и поразительным неряшеством. Часто при богатейшем кафтане парик был отвратительно вычесан; прекрасную штофную материю неискусный портной портил неуклюжим покроем; или, если туалет был безукоризнен, экипаж был из рук вон плох: господин в богатом костюме ехал в дрянной карете, которую тащили клячи.

Женские наряды соответствовали мужским, и на один изящный туалет попадалось десять безобразно одетых женщин.

Из другого источника мы узнаем, что Анна и Бирон сами не могли считаться образцами хорошего вкуса. Ни она, ни он не терпели темных цветов, и их эстетика допускала только пестроту. Бирон пять или шесть лет сряду ходил в пестрых женских штофах. Даже седые старики, в году Анны, являлись ко двору в костюмах розового, желтого и зеленого попугайного цвета. Убранство домов было отмечено тем же вкусом: наряду с обилием золота и серебра в них бросались в глаза страшная нечистоплотность.

За время пребывания в Москве Анна несколько раз перекочевывала из дворца во дворец. После коронационных торжеств в мае она заглянула в Головинский дом на Яузе, а затем переехала с двором в свою родовую вотчину, село Измайлово, где и оставалась до конца октября, пока в Кремле возле цейхгауза строился, по плану Растрелли, новый дворец, деревянный «Анненгоф».

Летом она ездила на праздник преп. Сергия (5 июля) в Троицкую лавру в сопровождении министров, двора, обеих своих сестер и Елизаветы Петровны.

Зимою она жила в Кремле, в следующем, 1731 году, летом перебралась во вновь отстроенный для нее «летний» Анненгоф на Яузе, подле Головинского дома, и оставалась там до самого отъезда в Петербург — 7 января 1732 года.

В Измайлове и при яузском Анненгофе было приступлено к разбивке дворцовых садов; по плану, составленному тогда придворным садовником, вся местность вокруг Головинского дома и Анненгофа должна была превратиться в сплошной сад с каналами, прудами,

затейливыми беседками и прочими декоративными ухищрениями во вкусе того времени.

Поддерживался и Слободской дворец, стоявший против Головинского дома на другом берегу Яузы, и на него вместе с летним Аннегофом была затрачена очень крупная сумма — 219 тыс. рублей.

Анна, по-видимому, одно время колебалась в выборе резиденции, но, раз покинув Москву, уже не возвратилась в нее, и старая столица вновь приютила у себя двор только при Елизавете. В общей сложности, Елизавета прожила в Москве четыре года с лишком. В 1742 году после коронации она прогостила там до декабря, там же провела 1744, 1749 и 1753 года. В год коронации впервые появился в Москве выписанный незадолго перед тем из Киля племянник Елизаветы, гольштинский герцог Петр, который в ноябре того же года был объявлен наследником русского престола, а в 1744 году в Москве же праздновалось его обручение с ангальт-цербстской принцессой Софией-Августой-Фредерикой, принявшей в православии имя Екатерины Алексеевны.

Елизавета обыкновенно совершала свои переезды по зимнему пути. В те времена зимнее почтовое сообщение между Петербургом и Москвою пользовалось отличной репутацией. «В свете нет страны,— говорит Манштейн,— где бы почта была устроена лучше и дешевле, чем между этими двумя столицами. Обыкновенно везде дают на водку ямщикам, чтобы заставить их скорее ехать, а между Петербургом и Москвой надобно давать на водку, чтобы тише ехали». Императрица проезжала все расстояние — тогда от Петербурга до подмосковного села Всесвятского считалось 715 верст — в трое суток с небольшим, несмотря на остановки в пути и отдых.

В Москве она, как и ее предшественники, видимо, тяготилась неуютной обстановкой обветшавших кремлевских хором. Приезжала в Кремль только на короткое время в дни торжеств, когда церковная церемония в Успенском соборе считалась необходимой.

В последний свой приезд в 1753 году она, впрочем, задумала обновить кремлевскую резиденцию и поручила Растрелли построить зимний дворец подле Благовещенского собора, но жить в этом дворце ей не пришлось. Главной резиденцией было по-прежнему Лефортово с его тремя дворцовыми зданиями — старым Головинским домом и примыкавшими к нему Анненгофами, летним

и зимним (последний был перенесен из Кремля на Яузу в 1736 году); этот комплекс деревянных строений при Елизавете назывался Головинским двором и домом.

В 1742 году в Лефортове был построен оперный дом, а в 1753 году 1 ноября пожар истребил главную часть дворца, «зимние покои». Немедленно тогда же были приняты самые экстренные меры для возобновления сгоревшего здания — мобилизованы московские плотники, выписаны рабочие из Ярославля, Костромы и других городов, набраны отовсюду строительные материалы,— и через шесть недель после пожара придворная жизнь потекла обычным порядком в «скоропостроенном» зимнем дворце. На лефортовские сады обращалось самое заботливое внимание: их оранжереи были наполнены редкими экзотическими фруктами, тщательно подстриженные аллеи обрамляли полноводные пруды и каналы, у пристаней стояли расписанные и раззолоченные гребные суда. Как курьезную деталь, отметим энергичную борьбу с лягушками, которых ловили неводами. Может быть, их размножение обуславливалось только природными свойствами болотистых берегов Яузы, но предание приписывало его заботам императрицы Анны, очень, будто бы, любившей лягушечье кваканье.

Не менее старательно поддерживалась другая подмосковная резиденция Елизаветы, с. Покровское, где также был «регулярный» сад и где она построила, на месте прежнего деревянного, каменный дворец (на правом берегу Яузы против Покровского моста).

Придворная жизнь была чуть ли не более интенсивна, чем даже при Анне Ивановне. Елизавета придавала громадное значение внешнему блеску, и при ней выписывались, в качестве руководства, из Парижа и Дрездена подробные церемониалы придворных празднеств. В смысле разнообразия и великолепия увеселений, действительно, удалось достигнуть замечательных результатов, и русская копия в этом отношении заняла почетное место на ряду с европейскими образцами.

К известным уже ранее видам придворных забав прибавилось несколько новых — балет, лотерея, маскарады публичные, на которые допускались кроме лиц, имевших приезд ко двору, рядовое шляхетство и купцы.

Вот взятая наудачу выдержка из веденной при дворе записи, «банкетного журнала», рисующая, так сказать, схематически придворное время — препровождение в

разгар зимнего сезона 1744 года. Октябрь: 11, 18, 25, 30 — маскарад, 13, день рождения матери Екатерины, княгини цербстской,— бал и банкет, 14 — французская комедия, 19 — концерт в оперном доме, 23 — поездка императрицы с двором и генералитетом в масках в с. Покровское, бал и ужин, 26 — итальянская интеркомедия, 4, 11, 18 — куртаги с концертами, «итальянской вокальной и инструментальной музыкой», 13, 15, 22, 28 — маскарад, 14 — аудиенция венгерского посла, 19 — итальянская комедия, 21 — праздник Семеновского полка, банкет, 24,— именины Екатерины,— обед и бал, 25 — годовщина восцарения, праздник, справлявшийся с особыми церемониями.

В этот день после обеда во дворцовой церкви придворные являлись на поклон к императрице, дамы «в робах», кавалеры в цветных платьях. Вечером устраивался парадный ужин для лейб-компании,— Елизавета в гренадерском мундире ужинала с офицерами за особым столом, рядовые размещались за столом «фигурным», представлявшим на плане правильную фигуру с волнистыми линиями; на столах красовались затейливо убранные десерты в виде эмблематических картин.

Еще более торжественно праздновался день коронации, 25 апреля. Празднество растягивалось по крайней мере на три дня: в первый бывал парадный обед, за которым императрица сидела на троне под балдахином, вечером бал, в следующие вечера давались маскарады и оперный спектакль, причем в общем веселье принимали участие и архиереи, появлявшиеся в оперном доме среди масок.

В июле 1744 года четыре дня подряд праздновали заключение мира со Швецией, которое было ознаменовано молебствием в Успенском соборе, торжеством с «генеральной галой» (gala) в Головинском дворце, балами-маскарадами, оперой, иллюминациями и угощением народа в Лефортове.

Прибавим к этим обычным и экстраординарным праздникам еще свадьбы придворных, справлявшиеся неизменно во дворце,— и получится почти непрерывный придворный спектакль прямо подавляющих размеров.

Елизавета любила разнообразить свое времяпрепровождение выездами в московские окрестности, где она тешилась соколиною и псовой охотой. У нее были дворцы в Тайнинском, Братовщинском, Воскресенском мона-

стырях, на Воробьевых горах. Охотно посещала она также подмосковные имения своих вельмож, в особенности имения своего фаворита Алексия Разумовского Горенки, Знаменское и Перово (в Перово, по преданию, она была обвенчана с Разумовским осенью 1742 г.).

Несколько раз совершались «походы» в Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим) и в Троицкую лавру. Последнюю Елизавета навещала не менее трех раз в каждый приезд в Москву и считала долгом придать очень своеобразный характер этому: пройдя в день верст пять, она возвращалась в карету к исходному пункту, отдыхала, потом опять шла пешком, опять ехала в карете,— нужно было только пройти известное число верст, хотя бы при этом и приходилось топтаться на месте. Такой «поход» длился целые недели, иногда не меньше месяца. В лавре устраивалась торжественная встреча: архимандрит в воротах монастыря говорил приветственную речь, семинаристы в белых одеждах, с венками на головах и зелеными ветвями в руках, пели сложенные ad hoc канты, палили пушки, зажигалась иллюминация. Дня три-четыре проходили в хождении по церквам и пирах в императорских покоях и у архимандрита. В Воскресенском монастыре Елизавета любила справлять именины (5 сентября) с целою толпой придворных, деля время между молитвой и вечеринками во дворце.

Современники отмечают новое усиление придворной роскоши в царствование Елизаветы.

«Двор,— говорит кн. М. Щербатов,— подражая, или, лучше сказать, угождая императрице, в златотканые одежды облекался; вельможи изыскали в одеянии все, что есть богатое, в столе — все, что есть дрогаценное, в питье — все, что есть реже, в услуге — возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили к оной пышность в одеянии их».

Известную роль в этом случае сыграла, конечно, строгая регламентация представительства, простиравшаяся на экипажи, число прислуги, костюмы. Для каждого придворного съезда назначался особый род костюма — робы, самары или шлафоры для «женских персон», цветное или «богатое» платье для мужчин. Военные при дворе не имели права танцевать в мундирах. В маскарадных костюмах, даже на «публичных» маскарадах, не допускались хрусталь и мишура. Иногда эта регламентация принимала даже экстравагантный характер.

В 1744 году, по приказу Елизаветы, мужчины должны были являться на придворные маскарады в женском платье, женщины — в мужском. Ничего не могло быть, по словам Екатерины II («Записки»), безобразнее и забавнее этого зрелища: дамы в громадных фижмах казались гигантами в сравнении с кавалерами, которые выглядели мальчиками в своих придворных кафтанах. Метаморфоза никому не была по душе, кроме императрицы, которая, обладая стройным станом и очень красивыми ногами, выигрывала в мужском костюме.

Вообще Елизавета любила страстно наряды, и если они не блистали особым изяществом, зато богатство и количество их были изумительны. Она сама рассказывала Екатерине после пожара Гловинского дворца, что в огне погибло 4000 ее платьев, а после ее смерти Петр III нашел в ее гардеробе более 15 000 платьев, два сундука шелковых чулок, несколько тысяч лент, башмаков и туфель и пр.

Обилие и богатство при сомнительном вкусе — характерная черта роскоши общества, еще не вышедшего из варварского состояния. На фаворите Алексее Разумовском, милостью его высокой подруги, не жалевшей для него казенного сундука, сияли в виде аляповатых бриллиантовых пуговиц, апилет и орденские знаки.

Фельдмаршал Степан Апраксин славился гардеробом, состоявшим из многих сотен богатых кафтанов; граф Иван Чернышев навез из Парижа «платья тьму»; канцлер Бестужев укреплял на даче свои палатки на шелковых веревках. Он же обладал запасом вин, за который после его смерти Орлов отдал «знатный капитал», по словам кн. Щербатова.

Великолепие стола также считалось признаком высшего тона, и электрическая кухня того времени, в которой национальные кулинарные рецепты уживались с «последними словами» европейской гастрономии, стоила громадных денег двору и вельможам. Сама Елизавета, тонкая ценительница туземной кухни, держала однако, в качестве главного повара иностранца Фукса, получавшего 800 рублей в год и имевшего бригадирский чин.

Таковы были блестящие декорации придворной феерии, но за кулисами наблюдатель сразу накатывался на чисто азиатское неряшество, убожество материальной и духовной культуры.

КРЕМЛЕВСКАЯ ГРЯЗЬ

Грязь на улицах, грязь во дворах — неизбежная принадлежность русского быта. Москва в этом отношении была большой деревней. В центральных частях города, где дворы были наиболее кучны, воздух был насыщен миазмами, особенно во время оттепелей. При Екатерине I петербургский генерал Волков, застигнутый в Москве февральскою оттепелью, писал, что опасается занемочь в этом «пропащем месте»: «Только два дня, как началась оттепель, но от здешней известной вам чистоты такой столь бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти нельзя». Опустевшие и заброшенные по разным причинам дворы и лавки превращались, по русскому обыкновению, в места свалок. В 1748 году московская полиция доносила сенату, что в Москве после пожара 1737 года, опустошившего город на громадном пространстве, стоят ветхие каменные строения, запустевшие и безобразные, и что в них «множество помета и всякого средства, от чего соседям и проезжающим людям, особенно в летнее время, может быть повреждение здоровью». В 1752 году по случаю приезда двора в Москву властям пришлось обратить внимание на состояние московских дворов и строений. У Пречистенских ворот были усмотрены ветхие каменные лавки, в которых была набросана «всякая нечистота и мерзость». Подобные же лавки, наполненные навозом и грязью, находились в Иконном ряду на Никольской. В самом Кремле центральная Ивановская площадь оказалась завалена всякими отбросами. Были приняты экстренные меры для приведения города в благообразный вид, но с московской грязью было не так то легко сладить. При Екатерине II комиссия, учрежденная для борьбы с чумой в 1770—1772 годах, в своем отчете («Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 г.») объясняла быстрое распространение в Москве заразы отсутствием санитарного надзора и неупорядоченностью городского быта. Загрязненности города способствовали в значительной мере многочисленные кладбища при приходских церквях.

От XVII века Москва унаследовала постоянную грязь на незамощенных улицах и примитивных бревенчатых мостовых. Петр I принял энергичные меры

для упорядочения городских проездов: в 1705 году он велел мостить улицы камнем и для этого вменил в обязанность приезжающего в Москву крестьянина и торговца доставлять дикий камень и песок в определенном количестве. Тогда же на домовладельцев было возложено поддержание в порядке деревянных мостовых. Сначала в Кремль, потом в Китае и Белом городе появились мостовые из дикого камня. В 20-х годах замащивалось не систематически, а после Петра стало подвигаться совсем туго, встречая помеху в консерватизме деревенского уклада московской жизни. В конце века еще оставались незамощенными крупные участки городской территории, и не только на окраинах, но и в ближайших к центру местностях. Даже в XIX веке, как известно, число таких участков убывало очень медленно, и городские проезды постоянно были больным местом муниципального хозяйства.

Та же косность сказывалась в типе городских построек. Грандиозные пожары были хроническим злом в городе, но эти тяжкие уроки не могли искоренить пристрастия москвичей к деревянным жилищам. Московская хроника за XVIII век не менее богата такими пожарами, чем за предыдущее время. Именно к этому веку относится вошедший в пословицу случай, когда Москва сгорела буквально «от копеечной свечки»: это был памятный «троицкий пожар» 1737 года, опустошивший в самый Троицын день, 29 мая, Кремль, Китай, Белый город, слободы Басманные, Немецкую и Лефортовскую и начавшийся в чулане, загоревшемся от свечки перед иконою.

Преобразовательная деятельность Петра I поставила впервые на очередь регламентацию московского строительства в целях борьбы с разорявшем город «Вулканусом». В 1704 году был издан указ о строении каменных домов в Кремле и Китае по новому образцу — не внутри дворов, а вдоль улиц и переулков; тем, кто не в состоянии был выполнить это предписание, грозила принудительная продажа дворовых мест. В 1722 году указ был вновь подтвержден. Но внимание Петра от Москвы отвлекалось Петербургом, ради которого он даже затормозил каменное строительство в старой столице, приостановив на время во всем государстве строение каменных домов, чтобы стянуть все материалы и рабочих в новую резиденцию. Впоследствии дело пошло еще

хуже, и указы Петра о строении каменных домов в Москве были совсем отменены при его внуке, Петре II. Вновь этот вопрос выдвинулся уже при Екатерине II в связи с проектированной по ее инициативе планировкой города. В «прожекте» нового городского плана, конфирмованном в 1755 году, был намечен ряд преобразований, изменивших до известной степени традиционную внешность Москвы. Строение деревянных домов и мазанок было допущено только в Земляном городе, а в Кремле, Китае и Белом городе предписывалось строить дома только каменные.

В плане 1775 года было удержано старое деление Москвы на «города»: Кремль, Китай, Белый и Земляной, хотя тогда уже существовало и другое деление ее — на 14 полицейских частей. Решено было только уничтожить обветшавшую стену Белого города, а на ее месте проложить улицу, «к знанию границ и к украшению города», обсаженную деревьями.

В самый год утверждения нового городского плана землемер-поручик Охтенский составил «Описание Москвы» (оно сохранилось в бумагах Г. Ф. Миллера), в котором сообщаются любопытные сведения о ее тогдашнем состоянии и укреплении, отмечены границы древних ее частей.

У Кремля с восточной стороны, т. е. со стороны Красной площади, был глубокий и широкий сухой ров, выстланный кирпичом и плитой, на нем — каменный мост у Спасских ворот и деревянный — у Никольских; на мостах помещались «живописные емблематические картины». На Неглинной был каменный мост у Троицких ворот, деревянный — у Боровицких.

Вдоль китайгородской стены шел с восточной стороны также глубокий сухой ров, а перед ним, подле самой стены, был насыпной земляной вал с бастионами. У Ильинских и Никольских ворот — деревянные мосты, у Воскресенских, украшенных с обеих сторон эмблематическими картинами,— каменный мост. Против Москворецких ворот, замыкавших улицу того же имени, наводился летом на Москве-реке деревянный мост на сваях, называвшийся «живым».

Белый город «составлял третью каменную крепость», у которой «с одной стороны, подле каменной стены,

сделан небольшой земляной вал, с другой — выкопанный глубокий сухой ров». Стена, в XVII веке служившая украшением города, была в крайне ветхом состоянии и частью уже разобрана — именно на том участке, который отошел под Воспитательный дом, построенный в 60-х годах XVIII века. Ворота, впрочем, еще оставались в целости, Тверские дома украшались эмблематическими картинами.

Земляной город опоясывался валом «нарочитой высоты» и широким и довольно глубоким рвом, выложенным деревянными бревнами на сваях. На валу были ворота: Триумфальные деревянные (на месте пересечения Садовой улицы с Тверской, называемой и теперь, по старой памяти, старыми Триумфальными воротами) с живописными картинами, Сретенские — Сухарева башня, Красные деревянные, Серпуховские каменные и Калужские.

При Екатерине II стена Белого города была постепенно разобрана, при чем последними, по преданию, подверглись сломке в 1792 году Арбатские ворота; вал заровняли и стали сажать на месте его «проспектом» березы. Устройство аллей шло, впрочем, медленно, и бульвары на границе Белого города возникли далеко не сразу — Страстной бульвар, например, был устроен только в конце второго десятилетия прошлого века, и деревца на нем были тогда только что посажены.

Земляной вал не поддерживался и к концу столетия местами совершенно сравнялся с землей, но память сохранилась до нашего времени в топографической номенклатуре — узкая часть Садовой все еще называется Земляным валом. Из его ворот уцелели только Сретенские в виде Сухаревой башни и Красные (каменные теперь).

Что касается Камер-коллежского вала, то он был устроен московским главнокомандующим Чернышевым и имел не ворота, а заставы, которых насчитывалось более двадцати.

Проектированные в 1775 году реформы не коснулись Кремля. Но не потому, что правительство XVIII века бережно относилось к этому палладиуму московской старины. Напротив, ни в одной части года презрение к ней не проявлялось в таких характерных формах, как

именно в Кремле. Правительство не решалось наложить руку на памятники церковной старины, но менее церемонилось оно с вещественными остатками прежнего государственного быта. XVIII век был веком постепенной ликвидации их, и на помощь правительству в его разрушительной работе, принимавшей порою характер настоящего вандализма, пришли и время, и стихийные явления,— всегда Москва «много способствовавшие украшению»,— пожары.

Разрушение кремлевской старины началось с того времени, когда Петр I перенес московскую царскую резиденцию на берега Яузы, куда влекло его общество Немецкой слободы, бывшее первою школой его преобразовательной деятельности. Преображенское, с которым царь сжился с детства, и, позднее, Лефортово были его любимыми резиденциями. Опустевший кремлевский дворец остался без призора и стал быстро ветшать. Сильный толчок его разрушению дал пожар 1701 года, на самом рубеже нового столетия очистивший Кремль от многих остатков старины. Дворец частью выгорел, но еще более пострадал северовосточный угол Кремля, у Никольских ворот, весь густо застроенный. Петр не позаботился о реставрации дворца, но на расчищенной пожаром площади подле Никольских ворот заложил здание цейхгауза или Арсенала (оно было достроено уже при Анне Ивановне). Дворец был окончательно заброшен и превратился понемногу в строение, непригодное для жилья. К коронации Екатерины I Петр счел возможным обновить для придворных торжеств, которые по традиции должны были происходить непременно в Кремле, только некоторые части дворца (палаты Грановитую и Столовую и жилой корпус Теремного дворца). Те же части подновлялись и к следующим коронациям, а остальные, предоставленные своей участи, разрушались постепенно от ветхости. Некоторые дворцовые постройки были истреблены пожаром 1737 году. При Елизавете началась разборка обветшавших частей дворца, продолжавшаяся и при Екатерине II, в царствование которой ликвидация кремлевской старины получила даже более планомерный характер: тогда были снесены почти все находившиеся в Кремле монастырские подворья, здания приказов, поповская слободка у церкви св. Константина и Елены и единственный, уцелевший к тому времени, боярский двор — хоромы кн. Трубец-

ких, стоявший на месте, занятом теперь зданием Судебных установлений.

Наряду с ветхими памятниками изжитого быта и на очищенных от них площадях вырастали одно за другим здания, резко нарушавшие своим видом гармонию архитектурного ансамбля Кремля. Первой новинкой такого рода было Арсенальное здание. Подле него Растрелли построил для Анны Ивановны деревянный дворец, прозванный Анненгофом. При Елизавете им же был выстроен каменный дворец более крупного размера близ Благовещенского собора, на месте снесенной тогда же части царских палат. Екатерина II расширила этот дворец несколькими новыми пристройками за счет опять-таки остатков прежнего царского дворца. Но мало того,— есть основание думать, что екатеринское царствование могло оказаться роковым для исторического Кремля вцелом.

Чтобы дать Европе убедительное доказательство прочности русских финансов, которые считались расшатанными продолжительной войной с Турцией, Екатерина объявила, что будет сооружен колоссальный дворец в Кремле. По проекту, составленному архитектором Баженовым, этот дворец-реклама должен был, так сказать, поглотить весь Кремль: громадное здание казарменного типа, созданное фантазией зодчего, заполняло весь кремлевский холм, вытесняло массу старых построек и заслоняло своими стенами соборы — на их целостность проект не посягал. Осуществление последнего казалось обеспеченным. Было приступлено к расчистке места под новый дворец, и стали исчезать одна за другой постройки, назначенные Баженовым к сломке; разобрана была уже и часть кремлевской стены, обращенной к Москве-реке. 1 июня 1773 года на месте сломанной Тайницкой башни совершилась с большой помпой закладка дворца. Но — сочла ли Екатерина эффект, произведенный шумными приготовлениями, достаточным для поддержания репутации русских финансов, или,— что менее вероятно,— неожиданно для нее обнаружилось, что состояние их не допускало осуществления ее затеи, или, наконец,— что еще менее вероятно,— кто-нибудь открыл ей глаза на вандализм Баженовского проекта,— только дело не дошло дальше торжества закладки и уничтожения нескольких статков старины. Тайницкая башня и стена были восстановлены вскоре в прежнем виде.

Кремль, впрочем, не был пощаден строительной манией Екатерины. Кроме дворцовых помещений, при ней были выстроены «в новейшем вкусе великолепные здания» — дом для московского архиерея Платона (позже, после перестройки, превратившийся в Николаевский дворец) и дом московских департаментов Сената, занятый теперь Судебными учреждениями. При ней же был устроен подле Вознесенского монастыря каменный шатер, под которым поместили старые пушки — в их числе Царь-пушка,— стоявшая до того времени на Красной площади перед рядами.

Несмотря однако на все усилия правительства, опальная старина не была окончательно вытеснена из Кремля, и внутренность его в конце XVIII века все еще представляла картину причудливого смешения ветхого с новым, старых архитектурных форм с образцами более или менее европейского стиля. Над модернизацией Кремля пришлось немало поработать в следующем столетии, и в самом начале его много было сделано в этом направлении начальником дворцового ведомства, большим ревнителем казенного благообразия П. Валуевым, при котором были сломаны все здания заднего Государева двора, Троицкое подворье, Цареборисовский дворец и Сретенский собор.

Благочестивые немцы, подъезжая к Москве, восторгались ее красотой и говорили, что это Иерусалим, но когда съезжали в самый город, то их ждало разочарование: простые деревянные избы, огороды, заборы и плетни, грязная мостовая убеждали их, что Москва не величественный Иерусалим.

Капитан Джон Перри, прибывший в Россию в 1698 году, так описывает свои первые впечатления от Москвы: «Когда путешественник подъезжает к городу, то этот последний представляется ему со множеством церквей, монастырей, боярских и дворянских домов, колоколен, куполов, крестов над церквями, позолоченными и раскрашенными, и все это заставляет думать, что это самый богатый и красивый город в мире. Так казалось и мне с первого взгляда, когда я подъезжал по Новгородской дороге, с которой вид всего красивее. Но когда разглядишь все это поближе, то являются разочарование и обманутые ожидания. Проезжая по улицам,

замечаешь, что дома, за исключением домов боярских, принадлежащих немногим богатым людям, все построены из дерева, преимущественно же лицевая сторона, выходящая на улицу, и очень непредставительны с виду. Стены и изгороди между улицами и домами такие же деревянные, а сами улицы, вместо того, чтобы быть вымощены камнем, выложены деревом, сосновыми балками».

Господство деревянных построек объясняется дешевизной строительных материалов, так как в то время вблизи Москвы еще достаточно было леса, и быстротой, с которой можно было выстроить дом. Готовые срубы целого дома или одной клади (избы в одну комнату) продавались на торгу; их можно было в очень короткое время разобрать, перевезти, поставить на другом месте и оборудовать под жилой дом; цена сруба целого дома, по словам голландца де-Бруина, доходила от 100 до 200 рублей, клети же продавались гораздо дешевле.

Но деревянные постройки, представляя удобства в одном отношении, были весьма неудобны в другом: благодаря им в Москве свирепствовали частые пожары. По свидетельству современников-очевидцев, в Москве пожар, раз начавшись, в особенности в сухое лето, распространялся с такой яростью, что не было никаких сил и возможности его остановить. Жители нередко при начале пожара ломали соседние дома и изгороди, не давая пищи огню; если же огонь перебрасывался, то тогда приходилось надеяться на счастливый случай, дождь, перемену ветра и т. п., иначе при неблагоприятных обстоятельствах огонь уничтожал значительную часть города. Один иностранец (Перри) был свидетелем того, как менее, чем в полдня, было уничтожено несколько тысяч домов, при чем жители имели возможность спасти едва ли десятую часть своего имущества.

Во время пожара 13-го мая 1712 года, по сообщению из Московской губернии в кабинет Петра, в Белом, в Земляном городе и за Земляным сгорело: 9 монастырей, 86 церквей, 32 государевых двора, 3491 двор «разных чинов людей», а всего с кельями, богадельнями, часовнями, лавками, харчевнями и кузницами — 4543 места; «людей сгорело и от гранатного двора побито» было 136 человек.

Одна современная летопись так описывает большой кремлевский пожар 1712 года: «19-го июня в 11-м часу

волею Божею учинился пожар, загорелись кельи в Новоспасском подворье; и разошелся огонь по всему Кремлю, и выгорел Царев двор весь без остатку, деревянные хоромы и в каменных все нутры, в подклетьях и в погребах запасы и в ледниках питья и льду много растаяло от великого пожара, ни в одном леднике человеку стоять было невозможно. Ружейная и мастерская палаты, святые церкви на Государевом дворе, кресты и кровли, иконостасы и всякое деревянное строение сгорело без остатку; также и дом святого патриарха, монастыри, и на Ивана Великом колоколе многие от этого пожара расселись, и все Государевы приказы, многие дела и всякая казна погорела; дворы духовенства и бояр все погорели без остатка. Во время пожара монахов и монахинь, священников и мирских людей погибло много в пламени. Огонь был так велик, что им уничтожены были Садовническая слобода, Государевы палаты и сад, даже стоги и плоты на Москве-реке погорели без остатка. Во время пожара в Кремле невозможно было ни проехать на коне, ни пешком пробежать от великого ветра и вихря: «с площади поднять, да ударить о землю и несесь далеко, справиться не даст долго; и сырая земля горела на ладонь толщиною».

Заботясь о внешности столицы, Петр обратил внимание на праздношатающихся, увечных, больных и нищих, которые во множестве ходили по улицам, рынкам и площадям, целыми группами сидели около церквей, ожидая себе милостыни. Московские цари и бояре, вся Москва издавна были известны своей благотворительностью: любовь к нищим, раздача милостыни были необходимыми чертами древне-русского благочестия. Благодаря этому, в Москве в сильнейшей степени развилось нищенство, которое для многих стало промыслом. Иностранцы, приезжавшие в Москву, поражались тому количеству нищих, которые попадались всюду, и той беззастенчивости, с какой они просили милостыни. Один из них, де-Бруин, сообщает, что «нельзя было выйти из церкви без того, чтобы толпы нищих не преследовали вас с одного конца улицы до другого»; что стоит только остановиться около лавочки и купить какую-нибудь вещь, как тотчас же вас окружает толпа нищих, назойливо просящих милостыни.

Петр предпринимает ряд мер к тому, чтобы искоренить нищенство. Первые меры направлены были против

«нищих притворных», которые, «подвязав руки, таком и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря, будто бы слепы и хромы, притворным лукавством просят на Христово имя милостыни, а по осмотру они — все здоровы». 30 ноября 1791 года был издан указ, которым велено всех таких «гулящих людей», как только они объявятся в Москве в описанном «нищенском образе», хватать и «за то притворное лукавство чинить жестокое наказание, бить кнутом и ссылать в ссылку в дальние сибирские города».

Но этот строгий указ значительных последствий не имел. Более рациональные способы борьбы с нищенством вводятся в 1712 году. Указом этого года наряду с запрещением нищенства было велено построить в Москве около приходских церквей 60 богоделен, в которых могли бы находить себе приют убогие, слепые, престарелые и дряхлые, не имеющие крова. Богадельни вскоре и были построены; в 1717 году их насчитывалось уже до 90 (мужских — 31, женских — 59) с 3402 чел. призреваемых, в 1729-м году — 94 (31 мужская, 63 женских); в них находили себе приют 3727 человек. Затем в Москве учреждаются госпитали, в которых бедные больные получали бесплатное лечение. Указом 1741 года велено было устроить при церквях особые госпитали для младенцев, которых «беззаконно и стыда ради отметывают в разные места». В первый же год таких младенцев было собрано 90, в 1719 году их же было 125, в 1723-м году — 934; при них кормилиц было 218.

Этими мероприятиями Петр хотел людям действительно бедным и беспризорным дать кров и пропитание, другим же нищим готовил кары. Указ 1718 года предписывал, чтобы «неистовых монахов и нищих», которые «являются в Москве и ходят по гостям, и по рядам, и по улицам и сидят по перекресткам» и «просят милостыни по дворам и под окны», брать и приводить в Монастырский приказ для наказания, за первый привод нищего бить битогами, а за следующий бить кнутом и посылать в каторжные работы, с помещиков и хозяев же их за несмотрение брать штраф по 5 рублей; также запрещено было обывателям Москвы подавать милостыню под угрозой штрафа в 5 рублей.

Кроме внешности в отношении построек, улиц, мостовых и площадей, Петр вводит много новшеств в развлечениях, преимущественно заимствуя их от голландцев и немцев. Здесь следует припомнить «всепьянейший

собор», «асамблеи», театральные представления, триумфальные шествия и другие празднества.

В пиршествах «всешутейшего и всепьянейшего собора» была откинута чиновность московская, все участники пирушки рассматривались как друзья, равные члены одного сообщества Ивашки Хмельницкого. То же начало положено было в основу знаменитых петровских «асамблей», которые Петр стал вводить в Москве по возвращении из-за границы. Присутствие женщин в обществе было самой значительной новостью.

Хотя Петр вводил разные новшества в Москве и готов был силой своей власти изменить ее облик, привить новые обычаи и нравы, но он видел, что одними указами сделать много нельзя, московские люди привыкли к старому укладу жизни, при котором жили отцы их и деды, и что здесь старина чувствуется на каждом шагу.

К тому же сам Петр совсем не питал нежных чувств к Москве в противоположность большинству тогдашнего русского общества. Петру живо памятны были его детские годы, когда в московском Кремле на его глазах убивали близких ему людей, а затем и выдворили его вместе с матерью из дворцовых палат; в Москве господами положенья были ненавистная Софья с сообщниками и стрельцы. Весь ужас перед последними, вся горечь детских лет переплелись у него с именем Москвы и вытравили любовь к этому городу, которую обычно питали к нему цари и царевичи. Преувеличенно, но характерно изображает иностранец Фокеродт эту нелюбовь Петра к Москве, возводя ее даже в степень ненависти. Он пишет: «Ненависть (Петра) к Москве за случаи его молодости доходила до того, что он сравнял бы Москву с землей, если бы только это можно было сделать благовидным образом и без большого раздражения народа». Конечно, у Петра намерения уничтожить Москву не было, но что он ее не любил, это несомненно.

Современники отмечают новое усиление придворной роскоши в царствование Елизаветы. «Двор,— говорит кн. Щербатов,— подражая или, лучше сказать, угождая императрице, в златотканные одежды облекался; вельможи изыскивали в одеянии все, что есть богатее, в сто-

ле — все, что есть драгоценнее, в питье — все, что есть реже».

В 19 веке известного французского путешественника Маркиза де Кюстюна поразили в Москве клопы и блохи. Им он посвятил отдельные страницы в книге «Николаевская Россия». «Не успел я улечься с обычными предосторожностями, как убедился, что на этот раз они меня не могут спасти, и вся ночь прошла в ожесточенной битве с тучами насекомых. Каких там только не было! Черные, коричневые, всех форм, и боюсь, всех видов. Смерть одного, казалось, навлекла на меня месть всех его собратий, бросившихся туда, где пролилась кровь павшего на поле битвы. Я сражался с отчаянием в душе, восклицая: «Им не хватает только крыльев, чтобы довершить сходство с адом!» По-видимому, на них и их потомстве почиет небесное благословение, ибо плодятся они здесь так, как нигде на свете. Видя, что вражеские легионы не убывают, несмотря на все мое рвение, я совершенно пал духом. А вдруг, мерещилось мне, в этой омерзительной армии имеются невидимые эскадроны, присутствие которых обнаружится только при дневном свете? Мысль, что окраска вооружения скрывает их от моих глаз, привела меня в исступление. Кожа моя горела, кровь стучала в висках, я чувствовал, что меня пожирают невидимые враги. В эту минуту я предпочел бы, пожалуй, иметь дело с тиграми, чем с полчищами этой мелкой твари. Я вскочил с постели, бросился к окну и распахнул его. Это дало мне краткую передышку, но кошмар преследовал меня повсюду. Стулья, столы, потолок, стены, пол — все казалось живым и буквально кишело.

Мой камердинер вошел ко мне раньше обычного часа. Несчастный пережил те же муки и даже большие, потому что, за отсутствием походной кровати, он пользуется набитым саломой мешком, который располагается на полу, дабы избежать диванов и прочих местных предметов обстановки с их традиционными предложениями. Глаза Бедного Антонио были как щелочки, лицо распухло. Увидя столь печальную картину, я воздержался от расспросов. Без слов указал он мне на свой плащ, ставший из голубого, каким он был вчера, каштановым. Плащ словно двигался на наших глазах, во всяком случае, он покрылся подвижным узором, напоминая оживший персидский ковер. От такого зрелища ужас охватил нас обоих. Вода, воздух, огонь, все оказавшиеся

в нашей власти стихии, были пущены в ход.

Наконец, кое-как очистившись, я оделся и, притворившись, что позавтракал, отправился в монастырь. Там меня поджидала новая армия неприятелей, состоявшая на сей раз из легкой кавалерии, расквартированной в складках одежды монахов. Эти отряды меня нимало не испугали. После ночной битвы с гигантами, стычки среди бела дня с разведчиками казались сущими пустяками. То есть, говоря без метафор, укусы клопов и страх перед вшами так меня закалили, что на тучи блох, скакавших у нас в ногах повсюду, куда бы мы ни шли, я обращал столь же мало внимания, как на дорожную пыль. Мне даже было стыдно за свое равнодушие. Это утро и предшествовавшая ему ночь снова разбудили во мне глубокое сострадание к несчастным французам, попавшим в плен после пожара Москвы. Из всех физических бедствий паразиты представляются мне самым тягостным и печальным. Нечистоплотность — нечто большее, чем может показаться с первого взгляда: для внимательного наблюдателя она свидетельствует о нравственном падении, гораздо худшем, чем телесные недостатки. Она является как бы результатом и душевных, и физических недугов. Это и порок, и болезнь в одно и то же время».

«ЭТА БОЛЕЗНЬ ИМЕЛА ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ...»

Кто может лучше учителя рассказать про ученика?

Про Алексея Николаевича — наследника русского престола рассказал читающей публике его преподаватель французского.

В начале сентября 1912 года царская семья отправилась в Беловежскую пущу, где она пробыла две недели, потом в Спалу, в Польшу, для более продолжительного пребывания. Туда я приехал в конце сентября, вместе с г. Петровым. Немного спустя после моего приезда, Императрица изъявила желание, чтобы я занялся с

Алексеем Николаевичем, которому было в то время восемь с половиной лет, и он не знал ни слова по-французски. Я дал ему первый урок и наткнулся вначале на серьезные трудности. Моя преподавательская деятельность вскоре прервалась, потому что Алексей Николаевич, который с самого начала показался мне недомогающим, должен был лечь в постель. Когда мы приехали с моим коллегой, мы оба были поражены бледностью ребенка, а также тем, что его носили, как будто он не способен был ходить. Значит, недуг, которым он страдал, без сомнения, усилился...

Несколько дней спустя стали шопотом говорить, что его состояние внушает живейшее беспокойство и что из Петербурга вызваны профессора Раухфуст и Федоров. Жизнь, однако, продолжалась по-прежнему; одна охота следовала за другой, и приглашенных было больше, чем когда-либо... Однажды вечером, после обеда, Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны разыгрывали в столовой, в присутствии Их Величества, свиты и нескольких приглашенных, две небольшие сцены из пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве» («Le bourgeois gentilhomme»). Исполняя обязанности суфлера, я спрятался за ширму, заменявшую кулисы. Немного наклонившись, я мог наблюдать в первом ряду зрителей Императрицу, оживленную и улыбающуюся в разговоре со своими соседками.

Когда представление окончилось, я вышел внутренней дверью в коридор перед комнатой Алексея Николаевича. До моего слуха ясно доносились его стоны. Внезапно я увидел перед собой Императрицу, которая приближалась бегом, придерживая в спешке обеими руками длинное платье, которое ей мешало. Я прижался к стене, она прошла рядом со мной, не заметив меня. Лицо ее было взволновано и отражало острое беспокойство. Я вернулся в зал; там царило оживление, лакеи в ливреях обносили блюда с прохладительными угощениями; все смеялись, шутили, вечер был в разгаре. Через несколько минут Императрица вернулась; она снова надела свою маску и старалась улыбаться тем, кто толпился перед ней. Но я заметил, что Государь, продолжая разговаривать, занял такое место, откуда мог наблюдать за дверью, и я схватил на лету отчаянный взгляд, который Императрица ему бросила на порог. Час спустя, я вернулся к себе, еще глубоко взволнованный этой сценой,

которая внезапно раскрыла предо мною драму этого двойного существования.

Хотя состояние больного еще ухудшилось, однако во внешнем образе жизни не было перемен. Только Императрица казалась все меньше и меньше; но Государь, подавляя свое беспокойство, продолжал охотиться, и каждый вечер к обеду являлись обычные гости.

17 октября прибыл, наконец, из Петербурга профессор Федоров. Я видел его на минуту вечером; у него был очень озабоченный вид. На следующий день были именины Алексея Николаевича. Этот день был отмечен только богослужением. Следуя примеру Их Величества, все старались скрыть свою тревогу.

19 октября жар еще усилился: 38,7° утром, 39° вечером. Императрица вызвала профессора Федорова среди обеда. В воскресенье, 20 октября, положение еще ухудшилось. За завтраком было, однако, несколько приглашенных. Наконец, на следующий день, температура дошла до 39,6° и сердце стало очень слабо, граф Фердерикс спросил разрешения Государя публиковать бюллетени о здоровье: первый бюллетень был в тот же вечер послан в Петербург.

Значит, потребовалось вмешательство министра, чтобы решились открыто признать серьезность положения Царевича.

Почему Император и Императрица подвергли себя столь ужасному принуждению? Зачем, раз у них было только одно желание — быть подле своего больного ребенка, они заставляли себя показываться, с улыбкой на устах, среди своих гостей? Дело в том, что они не хотели, чтобы стало известно, какой болезнью страдает Великий Князь Наследник. Я понял, что эта болезнь в их глазах имела значение государственной тайны.

Утром 22 октября температура ребенка была 39,1°. Однако к полудню боли понемногу утихли, и доктора могли приступить к более полному обследованию больного, который до тех пор не позволял этого, вследствие невыносимых страданий, которые он претерпевал.

В три часа был отслужен молебен в лесу; на нем присутствовало множество соседних крестьян.

С кануна этого дня стали служить по два раза в день молебны об исцелении Великого Князя Наследника. Так как в Спале не было храма, то с начала нашего пребывания в парке поставили палатку с маленькой походной

церковью. Там теперь и утром, и вечером служил священник.

Прошло еще несколько дней, в течение которых острая тревога сжимала все сердца. Наконец наступил кризис, и ребенок начал выздоравливать, но это выздоровление было медленное и, несмотря на все, чувствовалось, что беспокойство еще продолжается. Так как состояние больного требовало постоянного и очень опытного наблюдения, профессор Федоров выписал из Петербурга одного из своих молодых ассистентов, хирурга Владимира Деревенко, который с этого времени остался состоять при ребенке.

В печати того времени много говорилось о болезни Цесаревича; по этому поводу ходили разные, самые фантастические рассказы. Лично я узнал истину лишь позднее из уст доктора Деревенко. Кризис был вызван падением Алексея Николаевича в Беложеве: выходя из маленькой лодки, он стукнулся левым бедром об ее края, и удар вызвал довольно обильное внутреннее кровоизлияние. Ребенок был уже на пути к выздоровлению, когда в Спале недостаточная осторожность внезапно осложнила его состояние. У него образовалась кровеносная опухоль в паху, которая угрожала перейти в тяжкое заражение крови.

6 ноября, когда опасность повторения стала менее угрожающей, ребенка перевезли с бесконечными предосторожностями из Спалы в Царское село, где семья провела зиму.

Состояние здоровья Алексея Николаевича требовало постоянного и очень специального медицинского ухода. Болезнь в Спале вызвала временное омертвение нервов левой ноги, которая отчасти утратила свою чувствительность и оставалась согнутой — ребенок не мог ее вытянуть. Потребовалось лечение массажем и применение ортопедического аппарата, который постепенно вернул ногу в нормальное состояние. Нечего говорить, что при таких обстоятельствах я не мог помышлять о возобновлении занятий с Наследником Цесаревичем. Такое положение продолжалось до летних вакаций 1913 года.

Я имел обыкновение каждое лето возвращаться в Швейцарию; в этом году Императрица дала мне знать, за несколько дней до моего отъезда, что она намерена по моему возвращению доверить мне обязанности наставника Алексея Николаевича. Это известие преисполнило

меня одновременно радостью и страхом. Я был очень счастлив доверию, которое мне оказали, но боялся ответственности, ложившейся на меня. Я чувствовал, однако, что не имею права уклониться от тяжелой задачи, которая мне предстояла, раз обстоятельства дозволяли мне, быть может, оказать непосредственное влияние, как бы оно ни было мало, на духовное развитие того, кому придется в свое время быть Монархом одного из величайших государств Европы.

Я ожидал, что буду позван к Императрице и от нее получу точные указания и распоряжения. Но она оставалась невидима, не присутствовала даже за столом. Она только просила мне передать через Татьяну Николаевну, что, во время прохождения курса лечения, последовательные занятия с Алексеем Николаевичем невозможны. Чтобы ребенок мог ко мне привыкнуть, она меня просила сопровождать его во всех прогулках и проводить около него возможно больше времени.

Тогда у меня произошел длинный разговор с доктором Деревенко. Он мне сообщил, что Наследник Цесаревич болен гемофилией (кровоточивостью), наследственной болезнью, в известных семьях, передающейся из поколения в поколение через женщин к детям мужского пола. Ей подвержены только мужчины. Он объяснил мне, что малейшая царапина могла повлечь за собой смерть ребенка, так как кровообращение гемофилика ненормально. Кроме того, оболочка артерий и вен так хрупка, что всякий ушиб, усиленное движение или напряжение вызывают разрыв сосудов и приводят к роковому концу. Вот какова была ужасная болезнь, которой страдал Алексей Николаевич; постоянная угроза смерти висела над его головой: падение, кровотечение из носа, простой порез — все было для него смертельно.

Его нужно было окружать особым уходом и заботами в первые годы его жизни и постоянной бдительностью стараться предупреждать всякую случайность. Вот почему к нему, по предписанию врачей, были приставлены, в качестве телохранителей, два матроса с Императорской яхты: боцман Деревенко и его помощник Нагорный, которые по очереди должны были за ним следить.

Когда я приступил к моим новым обязанностям, мне было не так-то легко завязать первые отношения с ребенком. Я должен был говорить с ним по-русски, отказавшись от французского языка. Положение мое было

щекотливо. Не имея никаких прав, я не мог требовать подчинения.

Как я уже сказал, я был вначале удивлен и разочарован, не получив никакой поддержки со стороны Императрицы. Целый месяц я не имел от нее никаких указаний. У меня сложилось впечатление, что она не хотела вмешиваться в мои отношения с ребенком. Этим сильно увеличилась трудность моих первых шагов, но это могло иметь то преимущество, что, раз завоевав положение, я мог бы более свободно утвердить свой личный авторитет. Первое время я часто терялся и даже приходил в отчаяние. Я подумывал о том, чтобы отказаться от принятой на себя задачи.

К счастью, я нашел в докторе Деревенко отличного советника, помощь которого мне была очень ценна. Он посоветовал мне быть терпеливее. Он объяснил, что, вследствие постоянной угрозы жизни ребенка и развивавшегося в Императрице религиозного фатализма, она предоставила все течение времени и откладывала день ото дня свое вмешательство в наши отношения. Не желая причинять лишних страданий своему сыну, если ему, быть может, не суждено было жить. У нее не хватало храбрости вступать в борьбу с ребенком, чтобы навязывать ему меня.

Я сам сознавал, что условия неблагоприятны. Но несмотря на все, у меня осталась надежда, что со временем состояние здоровья моего воспитанника улучшиться.

Тяжелая болезнь, от которой Алексей Николаевич только что начал оправляться, очень ослабила его и оставила в нем большую нервность. В это время он был ребенком, плохо переносившим всякие попытки его сдерживать; он никогда не был подчинен никакой дисциплине. Во мне видел человека, на которого возложили обязанность принуждать его к скучной работе и вниманию, и задачей которого было подчинить его волю, приучить его к послушанию. Его уже окружали бдительный надзор, который, однако, позволял ему искать убежища в бедствии, к этому надзору присоединился теперь новый элемент настойчивости, угрожавший отнять это последнее убежище. Не сознавая еще этого, он это чувствовал чутьем. У меня создалось вполне ясное впечатление глухой враждебности, которая иногда переходила в открытую оппозицию.

Я чувствовал на себе страшную ответственность; несмотря на все предосторожности, было немыслимо предупредить возможность несчастных случайностей. Их было три в течение первого месяца.

Тем временем дни шли за днями, и я чувствовал, как укрепляется мой авторитет. Я мог отметить у своего воспитанника все чаще и чаще провторявшиеся порывы доверчивости, которые были для меня как бы залогом того, что вскоре между нами установятся более сердечные отношения.

По мере того, как ребенок становился откровенным со мной, я лучше отдавал себе отчет в богатстве его натуры и убеждался в том, что при наличии таких счастливых дарований было бы несправедливо бросить надежду.

Алексею Николаевичу было тогда 9,5 лет. Он был довольно крупным для своего возраста, имел тонкий, продолговатый овал лица с нежными чертами, чудные светло-каштановые волосы с бронзовыми переливами, большие сине-серые глаза, напоминавшие глаза его матери. Он вполне наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы его были очень скромны. Он совсем не кичился тем, что был Наследником Престола, об этом он всего меньше помышлял. Его самым большим счастьем было играть с двумя сыновьями Деревенко, которые оба были несколько моложе его.

У него была большая живость ума и суждения и много вдумчивости. Он поражал вопросами выше своего возраста, которые свидетельствовали о деликатной чуткой душе. Я легко понимал, что те, которые не должны были, как я, внушать ему обаяние, могли без задней мысли легко поддаваться его обаянию.

В маленьком капризном существе, каким он казался вначале, я открыл ребенка с сердцем от природы любящим и чувствительным к страданиям, потому что сам он уже много страдал. Как только это убеждение вполне сложилось во мне, я стал бодро смотреть в будущее. Моя работа была бы легка, если бы не было окружавшей нас обстановки условий среды.

Я поддерживал, как уже об этом выше сказал, лучшие отношения с доктором Деревенко, но между нами был один вопрос, на котором мы не сходились. Я находил, что постоянное присутствие двух матросов — боц-

мана Деревенко и его помощника Нагорного было вредно ребенку. Это внешняя сила, которая ежеминутно выступала, чтобы отстранить от него всякую опасность, казалось мне, мешала укреплению внимания и нормальному развитию воли ребенка. То, что выигрывалось в смысле безопасности, ребенок проигрывал в смысле действительной дисциплины. На мой взгляд, лучше было бы дать ему больше самостоятельности и приучить находить в самом себе силы и энергию противодействовать своим собственным импульсам, тем более, что несчастные случаи продолжали повторяться. Было невозможно все предусмотреть, и чем надзор становился строже, тем более он казался стеснительным и унизительным ребенку и рисковал развить в нем искусство его избегать, скрытность и лукавство. Это был лучший способ, чтобы сделать из ребенка, и без того физически слабого, человека безхарактерного, безвольного, лишенного самообладания, немощного и в моральном отношении. Я говорил в этом смысле с доктором Деревенко. Но он был так поглощен опасением рокового исхода и подавлен, как врач, сознанием своей тяжелой ответственности, что я не мог убедить его разделить мои воззрения.

Только одни родители могли взять на себя решение такого вопроса, могущего иметь столь серьезные последствия для ребенка. К моему великому удивлению, они всецело присоединились ко мне и заявили, что согласны на опасный опыт, на который я сам решился, сознавали вред, причиняемый существующей системой тому, что было самого ценного в их ребенке. Они любили его безгранично, и именно эта любовь давала им силу идти на риск какого-нибудь несчастного случая, последствия которого могли быть смертельны, лишь бы не сделать человека, лишенного мужества и нравственной стойкости.

Алексей Николаевич был в восторге от этого решения. В своих отношениях к товарищам он страдал от постоянных ограничений, которым его подвергали. Он обещал мне оправдать доверие, которое ему оказывали.

Как ни был я убежден в правильности такой постановки дела, мои опасения лишь усилились. У меня было как бы предчувствие того, что должно было случиться...

Вначале все шло хорошо, и я начал было успокаиваться, как вдруг внезапно стряслось несчастье, которого мы так боялись. В классной комнате ребенок влез на

скамейку, поскользнулся и упал, стукнувшись коленкой об ее угол. На следующий день он уже не мог ходить. Еще через день подкожное кровоизлияние усилилось, опухоль, образовавшаяся под коленом, быстро охватила нижнюю часть ноги. Кожа натянулась до последней возможности, стала жесткой под давлением кровоизлияния, которое стало давить на нервы и причиняло страшную боль, увеличивающуюся с часу на час.

Я был подавлен. Ни Государь, ни Государыня не сделали мне даже тени упрека; наоборот, казалось, что они всем сердцем хотят, чтобы я не отчаялся в задаче, которую болезнь делала еще более трудной. Они как будто хотели своим примером побудить и меня принять неизбежное испытание и присоединиться к ним в борьбе, которую они вели уже так давно. Они делились со мною своей заботой с трогательной благожелательностью.

Императрица сидела у изголовья сына с начала заболевания, нагибалась к нему, ласкала его, окружала его своей любовью, стараясь тысячью мелких забот облегчить его страдания. Государь тоже приходил, как только у него была свободная минута. Он старался подбодрить ребенка, развлечь его, но боль была сильней материнских ласк и отцовских рассказов, и прерванные стоны возобновлялись. Изредка отворялась дверь и одна из Великих Княжен на цыпочках входила в комнату; целовала маленького брата и как бы вносила с собой струю свежести и здоровья. Ребенок открывал на минуту свои большие глаза, уже глубоко очерченные болезнью, и тотчас снова их закрывал.

Однажды утром я нашел мать у изголовья сына. Ночь была очень тихая. Доктор Деревенко был в беспокойстве, так как кровотечение еще не удалось остановить и температура подымалась. Опухоль снова возросла, и боли были еще нестерпимее, чем накануне. Цесаревич, лежа в кроватке, жалобно стонал, прижавшись головой к руке матери, и его тонкое, бескровное личико было неузнаваемо. Изредка он прерывал свои стоны, чтобы прошептать только одно слово «мама», в котором он выражал все свои страдания, все свое отчаяние. И мать целовала его волосы, лоб, глаза, как будто этой лаской она могла облегчить его страдания, вдохнуть ему немного жизни, которая его покидала. Как передать пытку этой матери, беспомощно присутствовавшей при мучениях своего ребенка в течение долгих часов смертельной

тревоги, этой матери, которая знала, что она причина этих страданий, что она передала ему ужасную болезнь, против которой бессильна человеческая наука! Как понимал я теперь скрытую драму этой жизни и как легко мне было восстановить этапы ее долгого крестного пути.

За рождением Ольги Николаевны последовало явление на свет трех полных здоровья и жизни дочерей, которые составляли радость своих родителей. Но эта радость была не без примеси, ибо заветное их желание не было еще осуществлено: его могло осуществить только появление на свет Наследника. Рождение последней Великой Княжны, Анастасии Николаевны, было в первую минуту крупным разочарованием... А годы проходили. Наконец, 12 августа 1904 года, в разгар русско-японской войны, Государыня родила столь долгожданного сына. Радость была безграничная. Казалось, что все былые горести забыты, что перед супругами откроется новая пора счастья. Увы! Это было лишь короткой передышкой, за которой последовали новые несчастья: сначала, в январе, кровопролитие на Дворцовой площади, воспоминанию о коем, как ужасному кошмару, суждено было преследовать их в течение всей жизни, затем плачевное окончание русско-японской войны. Их единственным утешением в эти сумрачные дни был их любимый ребенок, и увы, скоро пришлось убедиться в том, что Цесаревич болен гемофелией. С этой минуты жизнь матери стала сплошной, душу разрывающей тревогой. Она знала ее — эту страшную болезнь: ее дядя, ее брат и два ее племянника умерли от нее. С детства ей говорили об этой болезни как о чем-то ужасающем и таинственном, против чего люди бессильны. И вот ее единственный сын, этот ребенок, который ей был дороже всего на свете, был поражен ею, и смерть будет сторожить его, следовать за ним по пятам, чтобы когда-нибудь унести его, как уже унесла стольких детей в ее семье...

Нет, надо бороться, надо спасти какой угодно ценой. Невозможно, чтобы наука была бессильна, средство спасения, быть может, все же существует, и оно будет найдено. Доктора, хирурги, профессора были опрошены, но тщетно они испробовали все способы лечения.

Когда мать поняла, что от людей ей ждать помощи нечего, она все надежды возложила на бога. Он один мог совершить чудо! Но это вмешательство надо заслужить!

Будучи и без того очень набожной, она отдалась всецело, со страстью и порывом, которые во себе носила,— православной вере. Жизнь дворца приняла строгий, почти суровый характер. Избегались празднества и сократилась до пределов возможного вся внешняя, показная жизнь, требованиям которой монархам приходится подчиняться. Мать мало-помалу уединялась от окружающих и замыкалась в себе.

Тем временем между приступами болезни ребенок возрождался к жизни. Возвращалось здоровье, и он забывал страдания и принимался за игры и веселье. В такие минуты невозможно было поверить, что он подвержен неумолимому недугу, который может унести его с минуты на минуту. И каждый раз, как Императрица видела его розовые щечки, слышала его веселый смех, видела его резвые прыжки, огромная надежда наполняла ее сердце, и она говорила себе: «Господь услышал мою молитву и, наконец сжалился надо мною».

Но внезапно болезнь снова обрушивалась на ребенка, вновь повергала его на одре страданий, приводила его к самым вратам смерти.

Поставленный генералом в известность о последних петроградских событиях, Государь поручил ему передать по телефону Родзянко, что он готов нв все уступки, если Дума считает, что она в состоянии восстановить порядок в стране. Ответ был: уже поздно. Было ли это так в действительности? Распространение революционного движения ограничивалось Петроградом и ближайшими окрестностями. И несмотря на пропаганду, престиж царя был еще значителен в армии и среди крестьян. Разве недостаточно было дарования конституции и поддержки Думы, чтобы вернуть Николаю II популярность, которою он пользовался в начале войны?

Ответ Думы ставил перед Царем выбор: отречение или попытка идти на Петроград с войсками, которые оставались ему верны; но это была гражданская война в присутствии неприятеля... У Николая II не было колебаний, и утром он передал генералу Родзянко телеграмму с уведомлением председателя Думы о своем намерении отречься от престола в пользу сына.

Несколько часов спустя, он приказал позвать к себе в вагон профессора Федорова и сказал ему:

— Сергей Петрович, ответьте мне откровенно, болезнь Алексея излечима?

Профессор Федоров, отдавая себе отчет во всем значении того, что ему предстояло сказать, ответил:

— Государь, наука говорит нам, что эта болезнь неизлечима. Бывают, однако случаи, когда лицо, одержимое ею, достигает почтенного возраста. Но Алексей Николаевич, тем не менее, во власти случайностей.

Государь грустно опустил голову и прошептал:

— Это как раз то, что мне говорила Государыня... Ну, раз это так, раз Алексей не может быть полезен Родине, как я бы того желал, то мы имеем право сохранить его при себе.

Решение им было принято, и вечером, когда приехали из Петрограда представители Временного правительства и Думы, он передал им акт отречения, составленный им заранее; в нем он отрекался за себя и за своего сына от русского престола в пользу своего брата Великого Князя Михаила Александровича. Вот текст этого документа, который своим благородством и горячим патриотизмом привел в восхищение даже врагов Государя:

АКТ

об отречении Государя Императора Николая II от престола Государства Российского в пользу Великого Князя Михаила Александровича.

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша, совместно со славными нашими союзниками, сможет окончательно сломить врага. В эти решающие дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с государственной Думой, признали мы за благо отречься от престола государства Российского

и сложить с себя Верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех наших верных сыновей Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь Ему, вместе с представителями народа, вынести государство Российское на Бог России».

г. Псков, 2 марта 15 час. 3 мин. 1917 года

НИКОЛАЙ.
Министр Императорского Двора, генерал-адъютант Граф Фредерикс.

Царь был свергнут. Германия готовилась одержать самую крупную свою победу, но это торжество могло еще быть вырвано из ее рук. Для этого достаточно было, чтобы сознательная часть общества вовремя спохватилась и сплотилась вокруг Великого Князя Михаила Александровича, который по воле брата — акт об отречении ясно на это указывает — должен был сделаться конституционным монархом в полном смысле этого слова. К этому не было никаких препятствий, потому что еще не было наличности такого большого народного движения, которое не поддается никакой логике, увлекая народ в пропасть и неизвестность. Революция была делом исключительно петроградского населения, большинство которого без колебания стало бы на сторону нового монарха, если бы Временное правительство и Дума подали ему в этом пример. Армия, еще хорошо дисциплинированная, представляла значительную силу; что же касается большинства народа, то оно не знало даже о том, что что-нибудь случилось.

Желание закрепить за собой власть и страх, который внушали крайние левые, привели к тому, что была упущена эта последняя возможность предотвратить катастрофу. На следующий день после отречения Государя

Великий Князь Михаил Александрович, по совету всех членов Временного правительства, отрекся в свою очередь и предоставил Учредительному собранию разрешение вопроса о будущем образе правления в России.

Непоправимое совершилось. Исчезновение Царя оставило в душе народной огромный пробел, который она была не в силах заполнить. Сбитый с толку и не знающий, на что решиться в поисках идеала и верований, способных заменить ему то, что он утратил, народ находил вокруг себя лишь полную пустоту.

Весь день 15 марта прошел в подавленном ожидании событий. В 3,5 часа доктор Боткин вызвал к телефону и справился о здоровье Алексея Николаевича. Как мы узнали впоследствии, по городу распространился слух о его смерти.

Пытка Государыни продолжалась и на следующий день. Она уже третьи сутки была без известий о Государе и ее мучительная тревога возрастала от вынужденного бездействия.

Муки Императрицы в эти дни смертельной тревоги, когда без известий от Государя, она приходила в отчаяние у постели больного ребенка,— превзошли все, что можно себе вообразить. Она дошла до крайнего предела сил человеческих; это было последнее испытание, из которого она вынесла то изумительно светлое спокойствие, которое потом поддерживало ее и всю ее семью до дня их кончины.

К концу дня во дворец получилось известие об отречении Государя. Государыня отказывалась ему верить, считая это ложью. Однако, немного позднее, Великий Князь Павел Александрович подтвердил это известие. Она все еще отказывалась верить ему, и только когда великий Князь сообщил ей подробности, Ее Величество сдалась, наконец, перед очевидностью. Государь отрекся от престола накануне вечером, в Пскове, в пользу своего брата Великого Князя Михала Александровича.

Отчаяние Государыни превзошло все, что можно себе представить. Но ее стойкое мужество не покинуло ее. Я увидел ее вечером у Алексея Николаевича. На ней лица не было, но она принуждала себя, почти сверхчеловеческим усилием воли, прийти, по обыкновению, к детям, чтобы ничем не обеспокоить больных, которые ничего не знали о том, что случилось с отъезда Государя в Ставку.

Поздно ночью мы узнали, что Великий Князь Михаил Александрович отказался вступить на престол и что судьба России будет решена Учредительным собранием.

На следующий день я вновь застал Государыню у Алексея Николаевича. Она была спокойна, но очень бледна. Она ужасно похудела и постарела за эти несколько дней.

Днем Ее Величество получила телеграмму от Государя, в которой он старался успокоить ее и сообщил, что ждет в Могилеве предстоящего приезда Вдовствующей Императрицы.

Прошло три дня. 21 марта, в 10 часов утра, Ее Величество вызвала меня и сказала, что генерал Корнилов от имени Временного правительства только что объявил ей, что Государь и она арестованы, и что все те, кто не желает подвергаться тюремному режиму, должны покинуть дворец до четырех часов. Я ответил, что решил остаться.

— Государь возвращается завтра, надо предупредить Алексея, надо все ему сказать... Не сделаете ли вы этого? Я пойду поговорить с дочерьми.

Было заметно, как она страдает при мысли о том, как ей придется взволновать больных Великих Княжен, объясняя им об этом отречении их отца, тем более, что это волнение могло ухудшить состояние их здоровья.

Я подошел к Алексею Николаевичу и сказал ему, что Государь возвращается завтра из Могилева и больше туда не вернется.

— Почему?

— Потому, что ваш отец не хочет быть больше Верховным Главнокомандующим!

Это известие сильно его огорчило, так как он очень любил ездить в Ставку. Через несколько времени я добавил:

— Знаете, Алексей Николаевич, ваш отец не хочет быть больше Императором.

Он удивленно посмотрел на меня, стараясь прочесть на моем лице, что произошло.

— Зачем? Почему?

— Потому, что он очень устал и перенес много тяжелого за последнее время.

— Ах, да! Мама мне сказала, что, когда он хотел ехать сюда, его поезд задержали. Но папа потом опять будет Императором?

Я объяснил ему тогда, что Государь отрекся от престола в пользу Великого Князя Михаила Александровича, который в свою очередь уклонился.

— Но тогда кто же будет Императором?

— Я не знаю, пока никто!

Ни слова о себе, ни намека на свои права наследника. Он сильно покраснел и был взволнован. После нескольких минут молчания он сказал:

— Если нет больше Царя, кто же будет править Россией?

Я объяснил ему, что образовалось Временное Правительство, которое будет заниматься государственными делами до созыва Учредительного собрания и, что тогда, быть может, его дядя Михаил взойдет на престол. Я еще раз был поражен скромностью этого ребенка.

В 4 часа двери дворца запираются. Мы в заключении! Сводно-гвардейский полк заменен одним из полков царскосельского гарнизона, и солдаты стоят на часах уже не для того, чтобы нас охранять, а с тем, чтобы нас караулить.

22 марта, в 11 часов утра, приехал, наконец, Государь в сопровождении гофмаршала князя Долгорукова. Он немедленно поднялся к детям, где его ожидала Государыня.

После завтрака он зашел к Алексею Николаевичу, где я находился в ту минуту, и разговаривал со мною с обычной простотой и благожелательностью. Но при виде его побледневшего и похудавшего лица ясно, что он также много перестрадал за время своего отсутствия.

Возвращение Государя, несмотря на обстоятельства, было большим счастьем для его семьи. Государыня Мария Николаевна и больные дети, когда их осведомили о положении, испытали на его счет столько страха и тревоги! Для них было большим утешением чувствовать себя вместе во время такого сурового испытания. Им казалось, что это облегчало их скорбь и что громадная любовь, которую они испытывали друг к другу, давала им достаточно сил, чтобы перенести страдания.

Несмотря на обычное его самообладание, Государю не удавалось скрыть глубокого потрясения, которое он пережил, но он быстро оправился, окруженный лаской своей семьи. Он посвящал ей большую часть своего дня; остальное время он читал или гулял с князем Долгоруковым. Вначале ему было запрещено ходить в парк

и предоставлено лишь пользование примыкавшим к дворцу маленьким садом, еще покрытым снегом и окруженным часовыми. Но государь принимал все эти строгости с изумительным спокойствием и величием духа. Ни разу ни слова упрека не слетело с его уст. Дело в том, что одно чувство, более сильное даже, чем семейные связи, преобладало в нем — это была его любовь к Родине. Чувствовалось, что он готов все простить тем, кто подвергал его унижению, лишь бы они оказались способными спасти Россию.

Государыня проводила почти все свое время на кушетке в комнате Великих Княжен или у Алексея Николаевича. Волнения и жгучая тревога физически истощили ее, но по возвращении Государя она почувствовала нравственное успокоение; она жила очень сильной внутренней жизнью и мало разговаривала, уступая, наконец, той повелительной потребности в отдыхе, которая так давно ощущалась ею. Она была счастлива, что не приходится больше бороться, и что она может всецело посвятить себя тем, кого она любила такой великой любовью. Одна Мария Николаевна продолжала еще ее беспокоить. Она заболела гораздо позднее сестер, и ее болезнь осложнилась злокачественными воспалениями легких; организм ее, хотя и очень крепкий, с трудом боролся с болезнью. Она к тому же была жертвой своего самоотвержения. Эта 17-тилетняя девушка без счета расходовала свои силы в дни революции. Она была самой твердой опорой матери. В ночь на 13-ое марта она неосторожно вышла на воздух вместе с Государыней, чтобы поговорить с солдатами, подвергаясь холоду в то время, как уже чувствовала первые приступы заболевания. По счастью, остальные дети чувствовали себя лучше и находились на пути к полному выздоровлению.

Наше царскосельское заточение, казалось, должно было долго длиться: был поднят вопрос о предстоящей отправке нас в Англию. Но дни проходили, и отъезд наш постоянно откладывался. Дело в том, что Временное правительство было вынуждено считаться с крайними элементами, и чувствовалось, что власть мало-помалу ускользает из его рук. Мы были, однако, всего в нескольких часах езды от железной дороги до финляндской границы, и необходимость проезда через Петроград была единственным серьезным препятствием. Таким образом, казалось, что, действуя решительно и с соблюдени-

ем полной тайны, было бы не так трудно перевезти царскую семью в один из портов Финляндии, а оттуда за границу. Но все боялись ответственности, и никто не решался себя скомпрометировать. Злой рок тяготел над ними!

В конце января 1919 года я получил телеграмму от генерала Жанена, которого знал в Могилеве в бытность его начальником французской военной миссии при Ставке. Он приглашал меня приехать к нему в Омск. Несколько дней спустя, я покинул Тюмень и 13 февраля приехал во французскую военную миссию при омском правительстве.

Отдавая себе отчет в исторической важности следствия, производившегося с исчезновением царской семьи, и желая знать его результаты, адмирал Колчак поручил в январе генералу Дитрихсу привезти ему в Екатеринбург следственное производство, а также все найденные вещи. 5 февраля он вызвал следователя по особо важным делам Николая Алексеевича Соколова и предложил ему ознакомиться с расследованием. Два дня спустя, министр юстиции Старынкевич поручил ему продолжать дело, начатое Сергеевым.

Тут я познакомился с г. Соколовым. С первого нашего свидания я понял, что убеждение его составлено, и у него не остается никакой надежды. Что касается меня, то я еще не мог поверить такому ужасу.

— Но дети, дети! — кричал я ему.

— Дети разделили судьбу родителей. У меня по этому поводу нет и тени сомнения!

— Но тела?

— Надо искать на поляне — там мы найдем ключ от этой тайны, так как большевики провели там три дня и три ночи не для того, чтобы просто сжечь кое-какую одежду.

Увы, заключения следователя не замедлили найти себе подтверждение в показании одного из главных убийц — Павла Медведева, которого незадолго перед тем взяли в плен в Перми. Ввиду того, что Соколов был в Омске, его допрашивал 25 февраля в Екатеринбурге Сергеев. Он признал совершенно точно, что Государь, Государыня и пять детей, доктор Боткин и трое слуг были убиты в подвальном этаже дома Ипатьева в течение ночи с 16 на 17 июля.

* * *

Воспоминания учителя полны теплоты и понимания: дети всегда дети. Детей надо воспитывать в любви и уважении ко всему живому. Наследник появился на этот свет несчастным, ребенок был неизлечимо болен. Но не болезнь стала причиной ранней смерти Алексея Николаевича. Его убили люди, которые не имели представления о любви к ближнему и сострадании. Эти люди напоминали лагерных овчарок, знающих только слова команды, страх перед хозяином.

Палачи гордились совершенным убийством.

Эта гордость — отличительная черта советских палачей, которая старательно культивировалась. Их вполне могли пригласить в школу, чтобы они рассказали юным пионерам о том классовом удовлетворении, которое испытали они, расстреливая царскую семью.

Привожу здесь воспоминания Петра Ермакова — участника расстрела.

В 1947 году — к 30-летию Октября — Петр Захарович Ермаков написал свою автобиографию, чтобы она жила в памяти потомков, и сдал в архив воспоминания о своих «славных подвигах».

В автобиографии он приводит и свой послужной список — после расстрела.

С 20-го года он работает в НКВД, в 1931 году назначен заместителем начальника Уральского управления мест заключения и заместителем директора объединения фабрично-трудовых колоний, и затем начальником административно-строевого сектора областного управления местами заключения и дослужил Ермаков до заслуженной пенсии... В своей автобиографии 1947 года Петр Захарович, член партии большевиков с января 1906 года, так описывает свой звездный час.

(Орфография подлинника в основном сохраняется).

«...На меня выпало большое счастье произвести последний пролетарский советский суд над человечьим тираном, коронованным самодержцем, который в свое царствование судил, вешал и расстрелял тысячи людей, за это он должен был нести ответственность перед народом. Я с честью выполнил перед народом и страной свой долг, принял участие в расстреле всей царствующей семьи...»

Из воспоминаний Ермакова П. З. о расстреле бывшего царя.

«...Итак, Екатеринбургский исполнительный Комитет сделал постановление расстрелять Николая, но почему-то о семье, о их расстреле в постановлении не говорилось, когда позвали меня, то мне сказали: «На твою долю выпало счастье — расстрелять и схоронить так, чтобы никто и никогда их трупы не нашел, под личную ответственность сказали, что мы доверяем, как старому революционеру».

Поручение я принял и сказал, что будет выполнено точно, подготовил место, куда везти и как скрыть, учитывая все обстоятельства важности момента политического.

Когда я доложил Белобородову, что могу выполнить, то он сказал: «Сделай так, чтобы были все расстреляны, мы это решили». Дальше я в рассуждения не вступал, стал выполнять так, как это нужно было.

Получил постановление, 16 июля в 8 часов вечера сам прибыл с двумя товарищами и другим латышом, теперь фамилию не знаю, но который служил у меня в моем отряде в отделе карательном. Прибыл в 10 часов ровно в дом особого назначения, вскоре пришла моя машина малого типа грузовая.

В 11 часов было предложено заключенным Романовым и их близким, с ними сидящим, спуститься в нижний этаж, на предложение сойти к низу были вопросы — для чего? Я сказал, что вас повезут в центр, здесь вас держать больше нельзя, угрожает опасность. Как наши вещи,— спросили? Я сказал — ваши вещи соберем и выдадим на руки, они согласились, сошли к низу, где для них были поставлены стулья вдоль стены.

Хорошо сохранилось в моей памяти, с первого фланга сел Николай, Алексей, Александра, старшая дочь Татьяна, далее доктор Боткин сел, потом фрейлина и дальше остальные. Когда все успокоились, тогда я вышел, сказал шоферу: «действуй», он знал, что надо делать, машина загудела, появились выхлопки. Все это нужно было для того, чтобы заглушить выстрелы, чтобы не было звука слышно на воле.

Все сидящие чего-то ждали. У всех было напряженное состояние, изредка перекидывались словами. Но Александра несколько слов сказала не по-русски. Когда все было в порядке, тогда коменданту дома Юровскому дал в кабинете постановление Областного Исполнительного комитета, то он усомнился — почему всех. Но я ему

сказал: надо всех и разговаривать нам с вами долго нечего, времени мало, пора приступать. Я спустился к низу совместно с комендантом, надо сказать, что уж заранее было распределено кому и как стрелять, я себе взял самого Николая, Александру, дочь, Алексея, потому что у меня был маузер, им можно было работать. У остальных были наганы. После спуска в нижний этаж мы немного обождали. Потом комендант предложил всем встать, но Алексей сидел на стуле.

Тогда стал читать приговор — постановление, где говорилось: по постановлению Исполнительного комитета — расстрелять. Тогда у Николая вырвалась фраза: Так нас никуда не повезут? Ждать больше было нельзя, я дал выстрел в него в упор, он сразу упал, но и остальные также. В это время поднялся между ними плач, один другому бросались на шею. Затем дали несколько выстрелов, все упали. Когда я стал осматривать их состояние: которые были еще живы, я давал новый выстрел в них. Николай умер с одной пули, жене дано две, и другим также по несколько пуль.

При проверке пульса, когда уже были мертвы, я дал распоряжение всех вытаскивать через нижний ход в автомобиль и сложить. Так и сделали, всех покрыли брезентом. Когда эта операция была окончена около часа ночи с 16 на 17 июля 1918 года автомобиль с трупами направился в лес через Верх-Исетск по направлению дороги в Коптяки, где мною было выбрано место для зарытия трупов. Но я заранее учел момент, что зарывать не следует, ибо я не один, а со мной еще есть.

Я вообще мало кому мог доверять это дело, и тем паче, что я отвечал за все, то я заранее решил их жечь. Для этого приготовил саперную кислоту и керосин, все было усмотрено. Но не давая никому намека сразу, я сказал: мы их спустим в шахту, и так решили.

Тогда я велел всех раздеть, чтобы одежду сжечь, и так было сделано. Когда стали снимать с них платья, то у самой и дочерей были найдены медальоны, в которых вставлена голова Распутина. Дальше под платьями на теле были особо приспособленные лифики двойные, подложена внутри материала вата и где были уложены драгоценные камни и прострочены. Это было у самой и четырех дочерей. Все это было штуками передано члену Уралсовета Юровскому. Что там было я вообще не поинтересовался на месте, ибо было некогда. Одежду

тут же сжег. А трупы отнесли около 50 метров и спустили в шахту. Она не была глубокая, около 6 саженей, ибо все эти шахты я хорошо знаю. Для того, чтобы можно было вытащить для дальнейшей операции с ними. Все это я проделал, чтобы скрыть следы от своих лишних присутствующих товарищей.

Когда все это было окончено, то уж был полный рассвет, около 4 часов утра... Это место находилось совсем в стороне дороги около 3 верст.

Когда все уехали, то я остался в лесу, об этом никто не знал. С 17 на 18 июля я снова прибыл в лес, привез веревку, меня спустили в шахту, я стал каждого по отдельности привязывать, по двое ребят вытаскивали (эти трупы). Когда всех вытащили, тогда я велел класть на двуколку, отвезти от шахты в сторону, разложили на три группы, облили керосином, а самих (то есть трупы) серной кислотой. Трупы горели до пепла и пепел был зарыт. Все это происходило в 12 часов ночи 17 на 18 июля 1918 года. После всего 18 доложил. На этом заканчиваю все. 29.10.47 года. Ермаков».

В этих воспоминаниях множество фактических ошибок, которые опровергаются показаниями других свидетелей: машина прибыла не в 10, а в полночь. Маузер был не только у Ермакова, но и у Юровского... и т. д. Но все эти детали Ермакову неважны. Главный его пафос: доказать, что он, Ермаков, все сам организовал и всех, всех убил.

И он щедро приписывает себе и то, что совершили другие расстрельщики...

Множество разговоров вызвала напечатанная Эдуардом Радзинским история о странном человеке, находившемся в 1949 году в психиатрической больнице в Карелии, который доказывал, что он и есть спасшийся сын последнего царя. Письмо врача этой больницы Д. Кауфман было столь загадочно и красочно, что возникал вопрос: существовал ли вообще такой больной в действительности, не мистификация ли это?

Вот письмо заместителя главного врача психиатрической больницы номер 1 Карельской АССР. В. Э. Кивиниеми, который проверял историю болезни этого пациента, находившуюся в архиве больницы. Он пишет:

«...Итак, у меня в руках история болезни номер 64 на Семенова Ф. Г., 1904 года рождения, поступившего в психиатрическую больницу 14.01.49 года. Красным ка-

рандашом помечено «заключенный»... Выбыл из больницы 22.09.49 года в ИТК номер 1 (имеется расписка начальника конвоя Михеева).

В больницу Семенов поступил из лазарета ИТК. В направлении врача... описывается острое психическое состояние больного и указано, что Семенов все время «ругал какого-то Белобородова» (фамилия председателя Уралсовета, руководившего расстрелом царской семьи). В психиатрическую больницу поступил в ослабленном физическом состоянии, но без острых признаков психоза... За время лечения окреп физически. С момента поступления был вежлив, общителен, держался с достоинством и скромностью, аккуратен. Врачом в истории болезни отмечено, что он в беседе не скрывал своего происхождения. «Манеры, тон, убеждение говорят за то, что ему знакома была жизнь высшего света до 1917 года». Семенов Ф. Г. рассказывал, что он получил домашнее воспитание, что он сын бывшего царя, был спасен в период гибели семьи, доставлен в Ленинград, где жил какой-то период времени, служил в Красной Армии кавалеристом, учился в экономическом институте (по-видимому, в городе Баку), после окончания работал экономистом в Средней Азии, был женат, имя жены Ася, затем говорил, что Белобородов знал его тайну, занимался вымогательством... В феврале 1949 года был осмотрен врачом-психиатром из Ленинграда Генделевичем, которому Семенов заявил, что у него нет никакой корысти присваивать чужое имя, что он не ждет никаких привилегий, так как понимает, что вокруг его имени могут собраться различные антисоветские элементы, и чтобы не принести зла, он всегда готов уйти из жизни. В апреле 1949 года Семенову была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, был признан душевнобольным, подлежащим помещению в психиатрическую больницу МВД. Последнее следует рассматривать как гуманный акт по отношению к Семенову для того времени, так как есть разница между лагерем и больницей. Сам Семенов положительно относится к этому...»

А палачи все оспаривали право главного «расстрельщика».

При Хрущеве сын старого большевика Михаила Медведева обратился в ЦК партии с просьбой о помощи, поскольку его отец расстреливал царя.

Медведев-младший просил разрешения сдать в ЦК

воспоминания отца об участии в расстреле семьи царя, подарить Никите Сергеевичу «браунинг», из которого убит Николай II, и оставить за его матерью право пользоваться «столовой лечебного питания» — закрытым распределителем ЦК.

Глава расстрельной команды Юровский в выступлении на совещании старых большевиков говорил:

«...Покончив с расстрелом, нужно было переносить трупы, а путь сравнительно длинный, как переносить? Принимать трупы я поручил Михаилу Медведеву, это бывший чекист...»

Воспоминания Михаила Медведева не были напечатаны из-за их «незначительности», пистолет сдан в Музей революции. «Учитывая заслуги М. А. Медведева перед Советским государством, за его вдовой было оставлено «право пользоваться столовой лечебного питания (филиал № 2)».

КРАСНЫЙ НЕКРОПОЛЬ

С утра в городе царила необычная тишина. Не ходили трамваи, не работали заводы, не открылись магазины. «Но со всех сторон,— писал современник,— издалека и вблизи был слышен тихий и глухой шум движения, словно начинался вихрь».

В 9 часов грозную тишину Москвы разорвали траурные марши. С Пресни, из Лефортова, Замоскворечья, Хамовников, Сокольников, Симоновки, Марьиной Рощи — со всех рабочих окраин медленно двинулись бесконечные потоки людей, знамен и венков. Двинулись к центру — на Красную площадь. Впереди каждой процессии ехал на коне распорядитель с красно-черной лентой через плечо.

Десятки тысяч москвичей толпились на тротуарах и смотрели на середину улиц и площадей, где среди бескрайнего моря голосов, леса знамен и штыков плыли вереницы красных гробов.

«Потрясающее впечатление,— писали газеты,— произвела процессия из Пресненского района, которая несла гробы со своими павшими героями открытыми. Их

мертвые, застывшие тела были трагическими символами совершившегося столкновения общественных классов». За ними «шел батальон Красной Гвардии. Стройные ряды красногвардейцев, их мерный и твердый шаг производил впечатление стальной крепости и силы».

Безбрежная лавина рабочих и солдат залила улицы и площади. В их суровых песнях звучали горе утраты, вера в правоту своего великого дела, в победу светлого будущего. Как победный гимн, гремело пророчество: «Кто был ничем, тот станет всем».

Многие «бывшие» не рискнули появиться в эти часы на улице и отсиживались дома. «Ворота больших домов на запоре,— писали «Известия Московского совета».— За железными решетками толпятся существа, на лицах которых написаны испуг и любопытство... Приближаются новые людские лавины, сурово блестит лес штыков Красной Гвардии... Расступайтесь! Новый мир идет!»

Около 10 часов утра до Красной площади донеслись далекие рыдания траурного марша. Они звучат все сильней и сильней. У тысячи людей, заполнивших площадь, больней сжимаются сердца... Наконец из темнеющей арки Иверских ворот показалось скорбное шествие. Первым несли гроб с красным крестом: в нем провожали в последний путь молодую санитарку...

«ЖЕРТВАМ — ПРОВОЗВЕСТНИКАМ ВСЕМИРНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ!» — было напечатано на гигантском красном знамени, свисавшем с зубцов Кремлевской стены до самой земли. Лозунги на других знаменах:

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА!»

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕСТНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР!»

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА!»

На песчаном гребне у Кремля стояли члены Московского военно-революционного комитета, исполкома Моссовета, городского комитета большевиков. Тут же делегаты Петрограда, Нижнего Новгорода, Иваново-Вознесенска, Харькова, Одессы, Рязани, Тулы, иностранные журналисты...

А из арки ползла и ползла бесконечная лента красных гробов с солдатскими фуражками и рабочими шапками на крышках. И огромная площадь стала

вдруг маленькой... Дрогнули и медленно склонились знамена.

И в эту минуту рабочий хор запел: «Вы жертвою пали».

Не раз на демонстрациях и митингах звучали их голоса: «Настанет пора и проснется народ, великий, могучий, свободный...» И теперь хор исполнял эту песню. Обращаясь к погибшим, он впервые пел ее по-новому:

Настала пора и проснулся народ,
Великий, могучий, свободный!
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный!

4 ноября Московский Военно-революционный комитет обсудил вопрос о похоронах погибших в дни революционных боев.

Состоявшееся в тот же день совместное заседание представителей Московского и районных ВРК впервые назвало Красную площадь местом вечного упокоения павших борцов. В резолюции говорилось: «Устроить похороны 12 ноября. Могилы устроить на Красной площади».

Поздно вечером, в 22 часа 30 минут, МВРК поручил члену исполкома Моссовета Ф. И. Ильюшину создать «комиссию по организации похоронной процессии с привлечением в нее т. Малиновского и представителей районов». На следующий день Ф. Ильюшин докладывал ревкому, что в комиссию кроме архитектора П. П. Малиновского включены член исполкома Моссовета А. Ф. Вимба, солдат П. С. Пальгунов, Дикарев, представительница Красного Креста А. О. Прохорова, Л. И. Каменская (секретарь) и др.

Чтобы установить число жертв, трижды — 5, 7 и 8 ноября — в газете «Социал-демократ», органе Московского комитета РСДРП(б), публиковалось обращение ко всем учреждениям и частным лицам, «где есть убитые и раненые, сообщить в редакцию по возможности все сведения, выясняющие их личность и партийную принадлежность».

Дата похорон обсуждалась еще несколько раз. 7 ноября на утреннем заседании Московской Военно-революционный комитет постановил: «Устроить братскую

могилу на Красной площади между Никольскими и Троицкими воротами вдоль стены. Похороны назначить на пятницу, 10 ноября, в 12 час. дня...»

Членам похоронной комиссии были выданы специальные удостоверения и предоставлено право «принятия мер для устройства братской могилы жертв революции, получения автомобилей, необходимых строительных материалов».

Немедленно в другие города России были посланы телеграммы, извещавшие, что 10 ноября Москва хоронит борцов революции на Красной площади.

8 ноября 1917 года у стен Кремля появились сотни рабочих и солдат с лопатами и кирками.

— Здесь, в этом священном месте,— сказал студент американскому журналисту Джону Риду,— в самом священном по всей России, похороним мы наших святых. Здесь, где находятся могилы царей, будет покоиться наш царь — народ...»

Площадь наполнилась гулом голосов и стуком ломов и лопат. Рядом с Кремлевской стеной быстро росли горы булыжника и земли. Рабочие и солдаты рыли две братские могилы между стеной и лежавшими параллельно ей трамвайными рельсами. Одна могила начиналась почти у самых Никольских ворот и тянулась до Сенатской башни, затем шел промежуток примерно в ширину основания башни, далее копали — длиною почти до Спасских ворот.

В тот же день, 8 ноября, «Известия Московкого Военно-революционного Комитета» сообщали, что в день похорон «должны быть закрыты все фабрики, заводы, а также торговые предприятия, помимо пищевых». Позднее было объявлено о закрытии всех театров, кинематографов и увеселительных заведений. 9 ноября газеты опубликовали подробные маршруты траурных процессий 11 городских районов и часы их прибытия на Красную площадь. Свой путь большинство колонн начинало от районных Советов.

В специальном воззвании к жителям Москвы ВРК предупреждал, что «контрреволюционерами ведется усиленная агитация за устройство погромов в день похорон жертв революции», и заявлял о решимости прибегнуть «к самым крайним мерам против зачинщиков погромов и их попустителей».

Первой, в 10 часов утра, на Красную площадь дол-

жна была вступить колонна близлежащего городского района, затем с интервалами в полчаса следовали колонны Сущевско-Марьинского, Рогожско-Симоновского, Басманского, Сокольнического, Лефортовского, Замоскворецкого, Пресненского, Хамовического и Дорогомиловского районов. Последней, в 14 часов 30 минут, должна была пройти колонна Бутырского района.

Медленно, один за другим опускали гробы в братские могилы... 100... 150... 200... «Начали прибывать рабочие фабрик и заводов отдаленных районов,— писал Джон Рид,— через ворота лился бесконечный поток знамен всех оттенков красного цвета с золотыми и серебряными надписями, с черным крепом на верхушках древков. Было и несколько анархистских знамен, черных с белыми надписями. Оркестр играл революционный похоронный марш, и вся огромная толпа, стоявшая с непокрытыми головами, вторила ему...» «Между рабочими,— продолжал Джон Рид,— шли отряды солдат также с гробами, сопровождаемыми воинским экскортом — кавалерийскими эскадронами и артиллерийскими батареями, пушки которых увиты красной и черной материей... А за гробами шли... женщины — молодые, убитые горем и морщинистые старухи, кричавшие нечеловеческим криком».

Собрание раненых и служащих московского госпиталя 1765 приняло резолюцию: «Товарищам-героям в день их похорон мы шлем наш пламенный привет: вечная память вам, герои...» Телеграфисты Лосиноостровских мастерских писали: «Дорогие товарищи! Посылаем вам последний привет — последний прощальный взор. Земля покроет вас... Но то великое дело, за которое вы пали жертвой, на страницах истории воздвигнет вам памятник несокрушимый и бессмертный». 600 крестьян села Богородское Московской губернии, почтив память героев вставанием и пением «Вы жертвою пали», поклялись «охранять заветы погибших товарищей, отстаивая завоевания революции своей кровью».

...Весь день, до сумерек, лился к Кремлевской стене поток красных знамен, на которых были написаны слова надежды и братства. Как писал Джон Рид, «знамена развевались на фоне пятидесятитысячной толпы, а смотрели на них все трудящиеся мира и их потомки отныне и навеки...»

В братские могилы было опущено 238 гробов.

В 17 часов прошли последние колонны... 200 рабочих взялись за лопаты. Застучали смерзшиеся комья земли по крышкам уложенных в два ряда гробов. К ночи засыпать братские могилы не удалось, и добровольцы работали до утра.

...14 ноября замоскворецкие рабочие на скрещенных ружьях принесли к Кремлевской стене свою любимицу — 20-летнюю Люсик Лисинову. Ее не похоронили 10-го: ждали родителей из Тифлиса.

Гроб с телом молодой революционерки опустили в разрытую братскую могилу на другой гроб, на крышке которого лежала измятая рабочая кепка...

17 ноября у Кремлевской стены вновь грянул прощальный ружейный залп: лефортовские красногвардейцы хоронили рабочего Яна Вальдовского, умершего в госпитале от ран.

Вскоре повалил густой снег.

Революционный некрополь — это не только братские могилы и захоронения в Кремлевской стене. Он включает в себя Мавзолей Ленина, являющийся его композиционным центром. Архитектурный облик некрополя дополняют Спасская и Никольская башни Кремля.

Уже на следующий день после похорон, 11 ноября 1917 года, Замоскворецкий Совет рабочих и солдатских депутатов, «желая, чтобы память о товарищах, убитых при защите народной свободы... была сохранена навсегда», постановил начать «по всем фабрикам, заводам и прочим предприятиям сбор на памятник». 15 ноября к сбору стредств на памятник призвали «Известия Московского Совета».

19 декабря 1917 года президиум Моссовета, заслушав доклад комиссара по охране исторических памятников П. П. Малиновского о проведении конкурса на сооружение «памятника на могилах жертв революции», поручил ему выработать условия конкурса и представить их Московскому Совету. Накануне массовой демонстрации рабочих 9 января 1918 года президиум Моссовета признал «желательным начать фундаментальные работы по украшению братской могилы» на Красной площади и выделили 5 тыс. рублей.

23 апреля 1918 года на пленарном заседании Московского Совета было принято решение объявить конкурс «на сооружение монумента Пролетарской Революции и павшим товарищам-борцам на Красной площади». Это

был первый конкурс на создание архитектурных памятников после установления Советской власти.

Президиум Московского Совета 28 июня 1918 года утвердил проект оформления братских могил. Предусматривалось установить в центре некрополя — на стене Сенатской башни — мемориальную доску, справа и слева от нее соорудить две высокие строгие колонны и по их сторонам высадить декоративный кустарник. К доске должна была вести торжественная лестница, заканчивающаяся широкой площадкой. По обе стороны от нее, под сенью трех рядов лип, тянулись братские могилы. Таким предполагался общий вид Революционного некрополя. 17 июля Совет Народных Комиссаров обратил особое внимание народного комиссариата по просвещению, ведавшего в то время вопросами монументальной пропаганды, на желательность сооружения «памятников павшим героям Октябрьской революции» и, в частности, установки «барельефа на Кремлевской стене в месте их погребения». Секция изобразительных искусств отдела народного просвещения Моссовета предложила московским художникам представить проекты мемориальной доски. На призыв откликнулись скульпторы А. В. Бабичев, А. М. Гюрджан, С. А. Мезенцев, С. Т. Коненков, архитектор В. И. Дубенецкий, художник И. И. Нивинский.

Художники с большим энтузиазмом взялись за работу. «Никогда я еще не трудился с таким увлечением и подъемом,— вспоминал скульптор С. Т. Коненков.— Один набросок следовал за другим. На улицах звучали революционные песни, и мне так хотелось, чтобы на древней Кремлевской стене зазвучал гимн в честь грядущей победы и вечного мира. Я должен был все это выразить не словами и звуками, а в барельефе». Репортер «Вечерних известий Московского совета», посетивший в те дни студию скульптора А. М. Гюрджана, писал, что художник сделал эскиз доски «не на заказ», а стремился воспроизвести «свой душевный порыв».

Тем временем у Кремлевской стены шли спешные работы по приведению в порядок братских и индивидуальных могил. 17 июня 1918 года Московский совет ассигновал для этой цели 34,54 тыс. рублей. Земляные холмы над могилами были выровнены, обложены дерном, украшены цветами. Рабочие спланировали две липовые аллеи, установили чугунные столбы с электриче-

скими фонарями. Строители соорудили восьмиступенчатую «каменную лестницу, ведущую к Сенатской башне, где должна была быть установлена мемориальная доска. На аллее вдоль Кремлевской стены поставили свежевыкрышенные скамейки. Работами руководили инженеры Д. А. Палеолог и Л. Г. Чехолин.

15 сентября 1918 года открылась выставка проектов мемориальной доски. Газеты призвали рабочих посетить помещение секции изобразительных искусств при Московском Совете и «высказать свое отношение к выставленным там эскизам». Вокруг проектов будущего памятника развернулась оживленная дискуссия.

18 сентября жюри рассмотрело представленные работы. Два проекта: Коненкова (барельеф: крылатый Гений — символ победы — с Красным знаменем в одной руке и пальмовой ветвью в другой) и Дебенецкого («Первый камень фундамента будущего») — получили по одинаковому числу голосов. Остальные были отклонены.

Эксперты заявили, что барельеф Коненкова имеет преимущество, поскольку он цветной. Он «побеждает тот постоянный серый полумрак, который царит в этом месте» Кремлевской стены. Жюри подчеркнуло, что «по своему внешнему виду доска будет вполне гармонировать со всей площадью, где находятся многоцветные собор Василия Блаженного, золото куполов и крашеная черепица башен». Касаясь художественной формы, жюри отметило гармоничность построения: «Все части уравновешены, линии просты и легко воспринимаемы глазом, отношение глубины рельефа к широким плоскостям его правильное, не развлекающее глаз и обеспечивающее ясность восприятия темы: «Павшим в борьбе за мир и братство народов»... Темою взяты не временные моменты борьбы, а конечные идеалы, изображая победу мира над войной, причем мощь фигуры указывает на силу того, кто несет этот мир».

Открытие мемориальной доски в честь павших борцов Октября явилось кульминационным моментом празднования 1-й годовщины революции.

...На высокую трибуну у Кремлевской стены поднялся председатель Московского совета П. Г. Смилдовия.

— Волею Совета, выбранного народом,— начал он речь, и мгновенно площадь затихла,— мы открываем теперь памятную доску нашим павшим в борьбе за

освобождение товарищам. Московский Совет поручает открыть эту доску вам, Владимир Ильич Ленин...

Ленин приблизился к доске. Скульптор Коненков передал Владимиру Ильичу ножницы. Вождь революции, приподнятый на руки окружающими, перерезал шнур, соединяющий полотнища занавеса. Покрывало спало, и перед тысячами присутствующих предстала аллегорическая белокрылая фигура Гения, олицетворявшая Победу. В правой руке она крепко сжимала древко темно-красного знамени с изображением герба РСФСР, а в вытянутой в сторону левой — зеленую пальмовую ветвь мира. У ног Победы — воткнутые в землю сабли и ружья, перевитые траурной лентой. На склоненных в прощальном боевом привете знаменах — слова «Павшим в борьбе за мир и братство народов». В золотые лучи солнца, восходящего за крылом Победы, была скомпонована надпись, полукругом огибавшая солнечный диск,— «Октябрьская 1917 революция».

Под гром аплодисментов и приветственные крики Ленин поднялся на трибуну. В глубокой тишине он произнес речь:

«Товарищи! Мы открываем памятник передовым борцам Октябрьской революции 1917 года...

На долю павших в Октябрьские дни прошлого года товарищей досталось великое счастье победы. Величайшая почесть, о которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоянием: эта почесть состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товарищей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу.

Пусть их лозунг станет нашим лозунгом, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг — «Победа или смерть!».

— Победа или смерть! — загремела в ответ Красная площадь.

— Победа или смерть! — вторило гулкое эхо у Кремлевской стены. И казалось, что герои, спящие в братстких могилах, отдают боевой приказ живым.

Победа или смерть! И вслед за этой клятвой, гремевшей как могучий прибой, над Красной площадью полились мелодии революционной кантаты, специально написанной к этому дню, которую исполнял свободный рабочий хор.

В последующем Ленин и его соратники не раз приветствовали демонстрации и парады, стоя на ступеньках лестницы, ведшей к надмогильному стражу, как образно назвал Коненков крылатую фигуру на барельефе.

В марте 1918 года, после переезда Советского правительства в Москву, на куполе здания судебных установлений, над Кремлевской стеной и братскими могилами затрепетал на весеннем ветру красный флаг. Он был поднят по указанию В. И. Ленина. Тогда же Владимир Ильич указал помощнику народного комиссара государственных имуществ Н. Д. Виноградову на необходимость починить часы на Спасской башне, поврежденные в дни октябрьских боев.

— Заодно хорошо бы,— сказал Ленин,— заставить эти часы говорить нашим языком. Наверное, можно будет сделать так, чтобы они исполняли «Интернационал» и «Похоронный марш», ведь Спасская башня находится около братских могил жертв революции.

18 августа 1918 года в «Бюллетене» бюро печати ВЦИК сообщалось о том, что Кремлевские куранты отремонтированы и что теперь они играют революционные гимны. Первым, в 6 часов утра, звучал «Интернационал», через три часа, в 9 часов, раздавалась величественная мелодия похоронного марша. Она повторялась в 15 часов.

Через несколько лет часовой механизм подвергся реконструкции. Звучание курантов было ограничено только боем через каждые 15 минут.

Идея коллективной жертвы во время победы пролетариата была осуществлена в 1930 году при перепланировке некрополя в связи со строительством каменного Мавзолея. Правда, по иному проекту: железобетонных наклонных плит не установили, разнохарактерные монументы и надгробия убрали, отдельные и небольшие коллективные захоронения у Спасской и Никольской башен объединили общим холмом с двумя основными братскими могилами. При этом липовые аллеи были сохранены. Братские могилы заново оформили и обнесли оградой из блоков кованого серого гранита. Лишь за мавзолеем Ленина остались могильные холмики, под которыми покоился прах выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства — Я. С. Свердлова, М. В. Фрунзе и Ф. Э. Дзержинского. Одновременно по обе стороны от мавзолея параллельно

Кремлевской стене были сооружены гостевые трибуны.

В 20—40-х годах продолжалось дальнейшее формирование архитектурного облика некрополя, принявшего окончательный вид к весне 1947 года.

Четырехметровая статуя — рабочие у наковальни — из белого камня, воздвигнутая у Сенатской башни к 5-й годовщине Великого Октября,— символ могучей созидательной силы творцов нового мира, выпала из архитектурного ансамбля после сооружения Мавзолея Ленина и была перевезена в другое место города. Правительственная трибуна из красного кирпича, возведенная в 1922 году под стиль Кремлевской стены, уступила место монументальной ленинской усыпальнице. Не сохранились золотые буквы на древних камнях стены над братской могилой «Слава передовому отряду пролетарской революции. Слава борцам за социализм». И мемориальная доска работы Коненкова, обветшавшая от времени, в 1947 году была бережно снята и передана в один из московских музеев.

С 1925 года на Кремлевской стене вытянулась лента небольших черных квадратов с золотыми буквами. Эти мемориальные доски закрывают собой ниши, в которых установлены урны с прахом.

Осенью 1931 года в некрополе сменился «зеленый караул». Вдоль братских могил и у Мавзолея вместо «ветеранов» — лип — высадили «новобранцев» — голубые ели.

В декабре 1918 года «Известия ВЦИК« в заметке под выразительным заголовком «Доколе?» писали: «Над могилами беззаветных, подчас безвестных героев, жертв Октябрьской победы пролетариата... на Историческом музее и Спасской башне высоко и четко рисуются в воздухе... двуглавые орлы, символ царского произвола. Доколе?» К 20-й годовщине революции на Кремлевских башнях укрепили рубиновые пятиконечные звезды.: они были выполнены по эскизам художника-академика Ф. Ф. Федоровского.

В сентябре 1946 года Совет Министров СССР принял постановление о благоустройстве могил у Кремлевской стены на Красной площади.

Разработка проекта поручена была архитектору И. А. Французу и скульптору С. Д. Меркулову.

Художникам предстояло соорудить полированные надгробья и установить бюсты на могилах Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского, М. И. Калинина, М. В. Фрунзе и сделать гранитное обрамление братских могил.

Как вспоминает архитектор И. А. Француз, прежде всего требовалось «увязать» три элемента — Кремлевскую стену, Мавзолей и братские могилы — и одновременно подчеркнуть, что места захоронения — это в какой-то мере самостоятельное сооружение. Сложность создания прямой торжественной перспективы некрополя заключалась в том, что характер ансамбля не допускал обилия художественных деталей и украшений. Чтобы заранее представить, как будут сочетаться бюсты на постаментах с архитектурой Кремлевской стены и Мавзолея, над могилой М. И. Калинина был сооружен макет монумента в натуральную величину.

Всего для благоустройства некрополя потребовалось добыть 1750 кубических метров гранита.

К середине апреля 1947 года все строительные работы были закончены. 1 Мая — до начала парада и демонстрации на Красной площади — благоустроенный некрополь осмотрели руководители Коммунистической партии и Советского правительства. В центре высились четыре бюста — Я. М. Свердова, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинского и М. И. Калинина.

РАНА, НАНЕСЕННАЯ КРЕМЛЮ

Март 1918-го... Советское правительство переезжает в Москву, и Кремль становится его резиденцией. Тяжелые двери проездных башен закрываются перед простыми москвичами, как когда-то перед завоевателями. А через месяц из-за древних стен выходит интереснейший документ — декрет Совнаркома «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции». Что ж, стремление поскорее соорудить монументы в ознаменование великого переворота, преобразившего Россию, хотя было и объяснимо, но мировая история еще не знала правительственного документа,

призывавшего к массовой ликвидации старых памятников. Декрет требовал не откладывать дела в долгий ящик и выражал желание, «чтобы в день 1-го Мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы».

Роль «наиболее уродливого истукана» сыграл в Кремле памятник Александру II. Это было величественное сооружение. Над обрывом, на кромке холма возвышался шатер, по бокам — галереи с портретами коронованных особ царствующей фамилии. Под шатром — статуя «царя-освободителя и мученика». Да, придворный архитектор Жуковский явно перестарался, и памятник получил немало укоров в помпезности, псевдорусскости, неудачном подражании кремлевскому стилю. Но автором статуи был известный скульптор А. Опекушин, создатель монументальной Пушкинианы. Однако и это не спасло памятник. Единственный в двух русских столицах монумент одному из самых значительных реформаторов был снесен в 1918 году, через двадцать лет после открытия.

Главным результатом этих событий было рождение мысли о возможности каких-либо разрушений в Кремле. Древний ансамбль становился лишь комплексом более и менее ценных сооружений, где можно было что-то менять с учетом новых условий. Разрушение двух памятников стало прелюдией к настоящему разгрому — варварскому, беспощадному...

* * *

Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг...

Пятисоборный круг... Это о Кремле. Но ведь в Кремле только три собора: Успенский, Архангельский и Благовещенский? Цветаевские строчки, как старая фотография, запечатлели то, чего давно уже нет. Нет и не будет больше в Кремле двух удивительных памятников, двух древних соборов XVI века — Вознесения Господня и Чуда архангела Михаила. Исчезли с ними и постройки двух одноименных монастырей, исчезла вся древняя часть восточной стороны кремлевского ансамбля.

В 1928—29 годах в Кремле происходили бурные политические события. Решалась, как известно, судьба НЭПа, судьба социализма. Древние памятники мало

кого интересовали. Редкие группы иностранцев и организованные экскурсии советских рабочих (по специальным спискам) проникали порой за охранявшиеся ворота. Здесь их ждала четко отработанная программа: три храма на Соборной площади, потом Оружейная палата. И ни шагу в сторону.

Чудов и Вознесенский монастыри никому не показывались. То ли из-за близости к правительственному зданию, то ли из-за проживания в их кельях многочисленной кремлевской обслуги, не желавшей лишнего беспокойства. Пятисоборный круг распался. Два собора остались как бы не у дел и медленно стали относиться временем к роковому концу.

Забота о древних кремлевских сооружениях была возложена на отдел памятников, входивший в состав Оружейной палаты. В отделе работали четверо: заведующий Николай Николаевич Померанцев, архитектор Дмитрий Петрович Сухов, ведавший реставрацией, и двое молодых специалистов, выпускников МГУ,— Владимир Николаевич Иванов и Софья Алексеевна Зомбе. Никому из них, конечно, не могло и в голову прийти, что скоро их первостепенным делом станет спешное спасение всего, что хоть как-то можно спасти из заминированных монастырей...

Ну, а пока реставратор И. А. Баранов изучал и обновлял иконы, а В. Н. Иванов регулярно ходил в «изолированные» монастырские соборы проветривать церковные одеяния. «Что, опять царские пеленки пошел сушить?» — хохотал ему вслед помощник коменданта.

Сегодня Владимир Николаевич Иванов — один из старейших московских искусствоведов, член правления Общества охраны памятников, член президиума научно-методического совета Министерства культуры СССР, почетный член международного совета по охране памятников, персональный пенсионер.

В 1928 году выпускником университета он пришел в Кремль, где ему суждено было стать свидетелем одного из величайших преступлений в нашей культуре. Ныне он единственный из свидетелей.

— Кто руководил вами, музейными работниками, нес ответственность за кремлевские постройки? Наркомпрос?

— Вообще-то, наркомпрос. Но на деле вся кремлевская жизнь подчинялась коменданту. Он был здесь пол-

ный хозяин, и никто со стороны не мог вмешаться. Комендант подчинялся только Енукидзе, а тот слушал лишь Сталина.

— Стало быть, хозяйственные, «придворные» интересы заменяли в Кремле все остальные?

— Конечно. Здесь шла большая внутренняя жизнь. Все гражданские и монастырские постройки занимали работники аппарата, обслуга и охрана. Некоторые здания служили казармой.

— А где же работали вы?

— В подвале. Наш отдел, например, располагался под Благовещенским собором.

Наш разговор с В. Н. Ивановым подходит к главному вопросу. Я мысленно перебираю все известные мне данные о погибшем ансамбле: прекрасный и загадочный главный храм Чудова монастыря с великолепными фресками, соединенные церкви Андрея Первозванного, Благовещения и св. Алексея (XV — XVII веков), Малый, или Николаевский, дворец работы М. Казакова с церковью Петра и Павла (XVIII век), огромный Вознесенский собор архитектора Алевиза Нового, строителя Архангельского собора (XVI век, перестроен в XVIII веке), церковь Михаила Малеина (XVII век), небольшая колокольня XVIII века с церковью Иосифа Белгородского, удивительной красоты церковь св. Екатерины, редчайший образец московской готики (начало XIX века). Здесь дышала российская история. Вот инок Чудова монастыря Григорий Отрепьев бежит в Польшу и возвращается царем Дмитрием с невестой Мнишек, которую поселяют до свадьбы в Вознесенском монастыре... А вот уже Василия Шуйского, сокрушившего самозванца, самого насильно постригают в Чудове в монахи, здесь мученически погибает святой патриарх Гермоген, здесь открывают греко-латинскую школу, здесь низвергают в надвратной (какое унижение!) монастырской церкви всесильного Никона, крестят Петра Великого, ведут вернувшегося из ссылки Пушкина на аудиенцию к царю, рождается Александр II...

— Скажите, Владимир Николаевич, неужели все это, эти бесценные исторические, культурные сокровища стали жертвой строительства лишь какой-то военной школы?

— Да, конечно... Школа красных командиров имени ВЦИК была привилегированным военным учебным за-

ведением. Она давно обосновалась в Кремле, занимала несколько построек. Но вдруг ей стало тесно, да и новый клуб понадобился. Решили строить новые корпуса. Свободного же места в Кремле больше нет, стало быть...

— И никто не пытался остановить?

— Пытались. Померанцев кинулся в соответствующие инстанции, привлек видные авторитеты — Грабаря, Щусева и других. Говорить тогда о культуре было уже бесполезно. Главный довод нашли такой: нельзя строить военную школу в правительственной резиденции.

— Правительство и казармы — соседство действительно не из лучших. Но это уже не смущало. Вопрос, видимо, давно и окончательно решился чьим-то самозванческим приказом. Сколько же времени вам отвели на эвакуацию?

— Подготовительные работы по расчистке строительной площадки заняли около 4 месяцев. Территорию обнесли забором, привезли технику. Нужно все было делать быстрей-быстрей, спешно производили обмеры, фотографировали, вывозили утварь, одеяния. Работали наши сотрудники реставрационной мастерской Наркомпроса. Самое печальное, что нам не удалось спасти фрески Чудова монастыря. Часть уже была снята и лежала на фанере, кое-что успели даже унести (сейчас все это в Третьяковке). Но утром, когда работы должны были продолжаться, мы увидели собор уже взорванным со всем, что в нем осталось.

— А иконостас?

— Его успели разобрать. Иконы сейчас в запасниках. Успели — не успели... Успели вынести иконостас из Вознесенского собора, он теперь в экспозиции кремлевских музеев. Но не удалось провести раскопки, а ведь здесь были древнейшие московские некрополи. Зато успели спасти из разрушенной церкви Михаила Малеина камень с барельефом Георгия Победоносца, гербом-стражем Москвы, помещавшемся в XV веке над парадным въездом в Кремль...

* * *

В Москве, в кафедральном патриаршем Богоявленском соборе, известном в народе под названием Елоховской церкви, перед иконостасом, с правой стороны от Царских врат стоит под шатром и лампадами рака

с мощами святого Алексея, митрополита Московского.

Святитель Алексей — выдающаяся историческая личность. Духовный подвижник церкви, соратник Сергия Радонежского, опытный политик, сторонник просвещения.

На знаменитой иконе «Митрополит Алексей с житием» мастер Дионисий изобразил как одно из главных событий в жизни святого постройку Чудова монастыря. Здесь же мы видим погребение митрополита в этой обители и чудеса, творившиеся над его гробницей. Икона дошла до наших дней, но гробница была разрушена вместе с монастырской Алексеевской церковью

И все же сотрудникам кремлевских музеев не удалось спасти раку с мощами митрополита. Ее вынесли из церкви, поставили на телегу и перевезли в Успенский собор, где установили в одном из приделов рядом с гробницей святого митрополита Петра. Так неожиданно оказались погребенными рядом двое самых известных московских святых, чьи имена Русская православная церковь часто упоминает вместе.

Не будем забывать, что в то время прошений и «конфискаций» мощей заступиться за останки канонизированного церковного деятеля, спрятать их было рискованным делом. Именно в том же 1929 году религиозная нетерпимость в обществе достигала невиданных размеров. Росли ряды «воинствующих безбожников» (1929-й — 465 тысяч; весна 1930-го — 3,5 миллиона), шли аресты религиозной интеллигенции. Рождество 1929 года объявлено «Днем индустриализации», по Москве прошли «карнавалы — похороны религии», появилось печально заметное постановление ВЦИК и СНК... А тут, в самом Кремле; перезахороняют святого! Не забудем же о тех людях... Только после войны патриарх Алексий осмелился просить власти о передаче церкви мощей, спасенных в Чудове, и перенес их в свой собор.

...К Алексеевской церкви в монастыре примыкало небольшое сооружение начала XX века — усыпальница великого князя Сергея Александровича. Через 11 лет после того, как снесли крест на месте его гибели, добрались и до могилы. Как в 1905 году разлетелась вдребезги от взрыва карета Сергея Александровича, так через четверть века рассыпалась его надгробная часовня с прекрасной мозаикой...

* * *

...В 1389 году овдовевшая Великая Княгиня Евдокия Дмитриевна, супруга Великого Князя Московского, народного героя Дмитрия Донского, основала возле Спасских (Фроловских) ворот Кремля Вознесенский монастырь. Здесь она приняла постриг под именем Ефросинии, здесь была погребена. С тех пор монастырский собор Вознесения Господня стал усыпальницей женщин великокняжеского и царского рода. С. М. Соловьев писал, что государь Всея Руси в светлый праздник Пасхи, после богослужения шел вначале в Вознесенский собор поклониться гробу матери, и только после — в Архангельский, к гробнице отца. Таким было значение храма.

Монастырь стал первой привилегированной женской обителью. Созданный в XVI веке новый богатейший приют получил название Новодевичьего, то его нового по сравнению с Вознесенским. Ныне только это название косвенно напоминает об исчезнувшем монастыре в Кремле.

Мысль о спасении царицыных могил появилась сразу, как только стало ясно — уничтожения монастыря не избежать. Кому первому она пришла в голову — неизвестно, но сомнений ни у кого из музейных сотрудников не возникло. Так как дело было необычное, ответственное, создали специальную государственную комиссию в составе Н. Н. Померанцева, Д. П. Сухова, В. К. Клейна, А. В. Орешникова. Секретарями назначили В. Н. Иванова, С. А. Зомбе.

Прежде всего, составили схему расположения всех надгробий в Вознесенском соборе. Определили порядок работы: начать с западного входа и от крайнего правого угла постепенно продвигаться к алтарю.

Вначале секретарь комиссии списывал с надгробья весь текст. Затем за дело брались трое каменщиков и превращали памятник в кучу щебня. Под ним оказывался двадцати — тридцати сантиметровый слой песка. В ход пускались лопаты, и вот уже видна расчищенная плита, закрывающая могилу. На ней тоже текст, более подробно рассказывающий о покоящемся здесь лице. В протокол тщательно переносится каждое слово, фотограф делает снимок. Плиту отваливают и на поверхность поднимают белый каменный саркофаг. Снимают крышку, и снова щелкает фотоаппарат.

Высокие царицы лежат спеленутые. Ткань развора-

чивают, и она разваливается прямо в руках. Ее кусочки помещают между стеклами, помечают. Кроме непонятного назначения сосудов, в саркофагах нет бытовых предметов, украшений, даже крестов. Лишь у одной из сестер Петра на пальце золотое кольцо.

Мария Долгорукая, первая жена Михаила Романова, одна из всех погребена в парчовом сарафане (он сейчас в Оружейной палате), волосы в серебрянной нитке. У других — в простых волоснянках.

Постепенно собор с разрытыми могилами и выставленными гробами принимает жуткий, апокалипсический вид. И вдруг среди этого кошмара появился один из тех, кто правил тот бал. Гулко простучали кованые сапоги, и над могильной плитой замер легендарный Клим Ворошилов. То ли проверяя ход строительства, то ли по бесхитростному любопытству пожаловал будущий маршал посмотреть на бывших цариц. Щелкнул фотограф, снимая очередной саркофаг, и заодно увековечил над ним героические сапоги наркомвоенмора.

...Выкопанные саркофаги нужно было куда-то срочно убрать из собора, который уже готовились взрывать. Вначале перенесли их в помещение звоницы возле Ивана Великого. Но оставлять останки в служебных помещениях показалось слишком кощунственным. Тогда местом размещения выбрали подвал Судной палаты, пристройки у Архангельского собора. Большие каменные саркофаги по одному или сразу по нескольку ставили на телегу, и единственная лошадь медленно везла через Ивановскую площадь Анастасию Романову и Ефросинью Старицкую (ее предполагавшуюся отравительницу), Елену Глинскую (мать Грозного) и Марфу Собакину (знаменитую царскую невесту). Сместилось время, и рядом могли оказаться две жены царя Михаила и две — царя Алексея; властолюбивая Софья Витовна и беспринципная Мария Нагая, что признала за сына-царевича беглого расстригу... Через дыру по доскам 52 гробницы спустили вниз, и вскоре уже мало кто знал о содержимом сырого подвала.

Впрочем, не совсем. Однажды антропологи около трех месяцев зачем-то провозились, обмеряя останки несчастных цариц. Потом подвал превратился в свалку... Его снова расчистили, установили, кто где лежит, вытащили из саркофагов последнее, что можно отнести в музей...

* * *

Рано нанесенная Кремлю в 1929—1930 годах, была мучительно тяжелой. Взрывы, уничтожившие древние святыни, варварство и кощунство...

Рана была слишком велика, чтобы остаться незамеченной даже за высокими красными стенами. Московская интеллигенция не на шутку заволновалась. Но... шепотом. О таких вещах вслух уже не говорили. А если откликалась пресса, то не иначе как радостным объявлением социалистического соревнования за лучший проект Дворца культуры на месте снесенного в Москве (начало 1930 года) Симонова монастыря — этой «крепости царско-поповского мракобесия». Но то, что творилось в Кремле, уже не касалось «народных масс», соцсоревнования по проектам казармы не устроили. Однако сохранилась московская легенда о том, что некоторые крупнейшие архитекторы (в том числе и Щусев) отказались принимать участие в постройке зданий на «расчищенном» месте. Пассивный протест? Очень хотелось бы верить.

В воспоминаниях В. Бонч-Бруевича есть широко известный эпизод. Из книги С. Бартенева «Московский Кремль в старину и теперь» В. И. Ленин узнал, что арка собора Двенадцати апостолов была заложена кирпичом при Николае I и превращена в сарай для фуража. Распорядившись о реставрации, Ленин заметил: «Ведь вот была эпоха — настоящая аракчеевщина... Все обращали в сараи, казармы: им совершенно была безразлична история нашей страны». Десять лет спустя новая эпоха, превзойдя все ужасы аракчеевщины, на руинах истории стала строить казарму невиданной архитектуры — казарменный социализм. К 1934 году с его громкими «победами» в этой великой стройке закончилось и строительство кремлевской школы командиров по проекту архитектора И. Рерберга. Теперь предстояло как следует подготовить Кремль к историческому съезду самих партийных победителей. Ряды «победителей» росли, им требовался простор (никто еще не подозревал, как скоро и как сильно они поредеют...).

Прежде всего взялись за Большой Кремлевский дворец. Из двух парадных залов XIX века, названных в честь русских орденов Александра Невского и Андрея Первозванного, соорудили просторный, но кабинетно-казенный зал заседаний.

Новые масштабы партийно-правительственной работы требовали и расширения обслуги. Для работников этой сферы при дворце решили построить новую спецстоловую. Долго места не искали и разместили ее между Благовещенским собором и Грановитой палатой, для чего возле последней были снесены Золотая Красная лестница и знаменитое Красное кольцо — парадный вход в Кремлевские древние палаты, реликвии, веками бережно сохранявшиеся при всех дворцовых перестройках.

Изменился и внутренний двор Большого дворца. Здесь в 1932—33 году исчезло древнейшее московское сооружение — церковь Спаса на Бору (XIV век, перестройка XVII века). Святыня глубочайшей старины, церковь никак не вписывалась в самый центр победного апофеоза и потому бесследно пропала...

«Привели в порядок» и Тайницкий сад. Стоявшие в нем старинные церкви Благовещения и Константина и Елены снесли уже без всякой причины.

Известно, что к работам на этом этапе кремлевской «расчистки» были привлечены некоторые «мастера», зарекомендовавшие себя на взрывах храма Христа Спасителя. Были, конечно, и защитники. Но что они могли сделать, когда борьба за национальную культуру уже расценивалась как классовая. «Характерно,— заявил в сентябре 1933 года Л. Каганович,— что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу. Ясно, что эти протесты вызваны не заботой об охране памятников старины, а политическими мотивами — в попытках упрекнуть советскую власть в вандализме».

В самый разгар победных гимнов и кровавых потоков Москву посетил английский министр Иден. Его визит неожиданным образом способствовал некоторому вниманию со стороны одного из кремлевских хозяев к культурным проблемам собственной резиденции. В. И. Иванов, уже знакомый нам бывший смотритель соборов, должен был показать Идену знаменитые кремлевские памятники. Но министр на экскурсию так и не собрался. Соборы велели закрыть. И вот, обходя площадь, смотритель столкнулся с самим В. М. Молотовым:

— Вы здесь работаете, молодой человек? Не могли бы вы показать эти соборы, рассказать о них?

И началась удивительная экскурсия — для одного

экскурсанта. Молотов остался не вполне доволен, смущенно сказал:

— Сколько здесь работаю, а все не заходил. В первый раз...

Случай в первый (а может быть, и в последний) раз заставил главу правительства взглянуть на Кремль чуть-чуть иначе. Он даже обещал похлопотать о музейных нуждах, и действительно комендатура в чем-то помогла. Случай... Впрочем, замечает В. Иванов, после убийства Кирова работать в Кремле стало невыносимо тяжело, а вскоре штат сотрудников музея был значительно сокращен. Некоторые из тех, кто недавно спасал кремлевские памятники, были репрессированы: арестован и осужден Померанцев, умер в тюремном заключении Клейн...

* * *

Но муки Кремля на том не закончились. Едва затянувшуюся рану вновь разбередили в хрущевскую оттепель. Новым «победителям» понадобился новый дворец-гигант. И непременно в Кремле. И снова резанули по живому.

От здания старых кремлевских казарм (1810) перетаскивали к Арсеналу тяжелые орудия работы известных мастеров, перевезли Царь-пушку, а само здание, немало послужившее Кремлю (одно время в нем размещалась Оружейная палата), прочное и строгое, не задумываясь, снесли. Между прочим, это сооружение было своеобразным памятником славы России. В XIX веке его украшали бюстами православных полководцев, барельефами на исторические сюжеты. Разбили стоявшие за ним корпуса — кавалерские, офицерский, кухонный. Кавалерские имели особое значение. Здесь в одной из квартир некоторое время жил В. И. Ленин. На этом основании фрагмент корпусов уцелел, но пропал интересный архитектурный комплекс. Там же, в кремлевских квартирах, жили когда-то многие из «победителей» прошлых лет. Именно там происходило то, что описано в знаменитых записках Бажанова. В одном из зданий была и квартира Сталина, полученная им в 1919 году, по свидетельству Троцкого, вместо намеченных императорских апартаментов Большого Кремлевского дворца. Здесь жили Дзержинский, Калинин, Куйбышев... Немало мемориальных досок могло бы открыться в Кремле,

если бы не появилась тут железобетонная махина для рапортов о новых и новых победах.

Впрочем, дело не в досках, новый Дворец Съездов практически завершил разрушение кремлевских улиц, определяющих линии многих построек, нарушал целостность оставшегося ансамбля, закрыл окончательно вид на Теремной дворец, хотя и сохранившийся, но практически потерявшийся для посетителей Кремля.

* * *

Города не возникают раз и навсегда в законченном виде. Их жизнь неизбежно связана с многочисленными изменениями — разрушениями и новыми постройками. Кремль, как часть Москвы, не исключение. Более того, помимо естественного отбора, с постепенным исчезновением менее ценного или менее прочного в его истории (с XIX века) бывали и настоящие «вырубки». К таковым справедливо относят и деятельность начальника дворцового ведомства П. Валуева, стоившая Кремлю немалых потерь, и варварство французов в 1812 году, и строительные работы в николаевскую эпоху. Нередко вспоминают и баженовский проект кремлевского дворца, предполагавший снос большого числа строений.

Все это так. Но порой эти факты пытаются превратить в оправдания разрушений Кремля в советское время. И напрасно...

Прежде всего, несравнимы сроки и масштабы. Кроме того, если сносу сопутствовало новое строительство, то в минувшие века в Кремль приглашали лучших архитекторов (Фиораванте, Ухтомского, Баженова, Казакова, Тона), создавших здесь отнюдь не безликие казармы или уродливые стеклянно-бетонные коробки.

Не забудем, кроме того, что Кремль в покинутой правительством Москве и Кремль — политический центр — две разные вещи. Ведь за заброшенными строениями в прошлом веке здесь почти не следили, многое было проще сломать, чем спасти от ветхости. В 1918 году новая власть взяла все памятники под свою опеку, обязалась их охранять и даже начала заботиться. Но итог превзошел все мыслимое...

Наконец, никогда разрушения не касались главных кремлевских святынь. Так, отказавшись по ряду причин от баженовского проекта, Екатерина II сочла вполне

уважительным и достаточным предлогом близкое расположение одного из углов будущего дворца к царской усыпальнице. В свою очередь, стараясь не задеть построек Чудова и Вознесенского монастырей, М. Казаков выстроил здание Сената в необычайной форме — углом. Истинный смысл этой задумки не так-то просто понять сегодня, когда от древних зданий не осталось и следа.

Бережно обогнули и Спас на Бору при постройке Большого Кремлевского дворца.

Так что оправдания не выходит...

«ВОПЛОЩЕНИЕ ДУХОВНОЙ СИЛЫ ПРЕДКОВ ВАШИХ»

Из воззвания Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов к гражданам России, 1917 г.

ГРАЖДАНЕ!

Старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство.

Теперь оно принадлежит народу.

Берегите это наследство...

Берегите картины, статуи, здания — это воплощение духовной силы вашей и предков ваших...

Не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, старинные вещи, документы — все это ваша история, ваша гордость.

Помните, что все это почва, на которой вырастет наше новое народное искусство.

А вот документы, относящиеся к осени 1918 года.

19 сентября.

Документ о запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного значения.

«Воспретить вывоз из всех мест республики и продажу за границу, кем бы то ни было, предметов искусства и старины без разрешений, выдаваемых Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при комиссариате народного просвещения или органам Коллегией на то уполномоченным.

Комиссариат по внешней торговле может давать разрешение на вывоз за границу памятников старины и художественных произведений только после предварительного заключения и разрешения Комиссариата народного просвещения.»

В чем подтекст, в чем загадка этого документа?

В том, что Наркомвнешторгу предоставлено право вывозить за границу памятники культуры, а за Наркомпросом закреплялась монополия на «культурную торговлю».

5 октября.

Декрет о регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений.

Впервые в мировой истории брались под государственную охрану и учет все памятники культуры, кому бы они ни принадлежали.

Ценности брались под охрану, чтобы удобнее было продавать.

Не ради музеефикации понадобился тотальный учет ценностей.

Этот строгий закон открыл дорогу работе экспертных и конфискационных комиссий.

21 ноября

Декретом Совнаркома при ВСНХ была образована Комиссия использования материальных ресурсов, в задачи которой входило:

установление общего товарного фонда республики;

установление и определение размеров специальных фондов, предназначенных для промышленного потребления, для распределения среди населения, для экспорта и для образования государственного резерва;

составление планов использования товарных ресурсов страны.

В ведении этой комиссии находились все экспортные фонды, включая антикварный.

* * *

А. Николаев, а вскоре вслед за ним Н. Семенова и А. Мосякин предали гласности дикое преступление советского режима: о распродаже за рубежом в годы первой пятилетки значительной части национального культурного достояния.

Излагая свои версии событий, трое авторов опира-

лись на доступные им факты, почерпнутые либо из зарубежной прессы, либо из книги профессора Гарвардского университета Роберта Уильямса «Русское искусство и американские деньги». Журналисты не знали, даже не догадывались, что при желании легко могли познакомиться в Центральном государственном архиве народного хозяйства СССР (ЦГАНХ) с дюжиной дел из фонда Наркомата внешней торговли СССР (ф. 5240). Тех самых дел, которые и содержат ключ к разгадке столь, как оказалось, неумело оберегаемой государственной тайны.

По чистой случайности не уничтоженные при сдаче в архив, чудом избежавшие спецархива и многие годы доступные любому исследователю сотни бесценных документов — подлинники докладных записок, отчетов, служебной переписки, приказов и соглашений — раскрывают не только подоплеку, но и все детали, подробности преступной акции, стыдливо именовавшейся внешнеторговыми операциями.

Документы эти посчастливилось обнаружить, изучить и сопоставить с уже ранее опубликованными, известными историку Ю. Н. Жукову. Он и положил их в основу своей книги «Тайна операции «Эрмитаж».

... В понедельник, 23 января 1928 года, после пятидневного перерыва, в Кремль на очередное заседание собрались члены союзного Совнаркома. Алексей Иванович Рыков болел, а потому председательствовал его заместитель, Ян Эрнестович Рудзутак.

Вопросов, как обычно, накопилось изрядно, и лишь под вечер, к концу заседания — по девятому пункту повестки дня — слово для доклада получил Лев Михайлович Хинчук, человек для правительства сравнительно новый, хотя и известный многим.

Шестьдесят лет. За плечами — полтавская гимназия, университет в Берне, революционная деятельность, начиная с 90-х годов прошлого века. Был близок к группе Плеханова, после второго съезда партии примкнул к меньшевикам. С февраля 1917 года — председатель Моссовета. Вместе с товарищами по фракции резко выступил против захвата власти большевиками, однако осенью 1919 года пересмотрел свои взгляды и вступил в РКП(б). Был введен в коллегию Наркомпрода, назначен руководителем Центрсоюза. Лояльность новому режиму оценили. В 1926 году Хинчука избрали в ЦИК

СССР и назначили торгпредом в Великобританию. Осенью же следующего года, когда Великобритания разорвала с нами дипломатические отношения, вернулся в Москву и получил новое назначение — заместителя наркома внешней и внутренней торговли СССР.

Лев Михайлович говорил уверенно, со знанием дела. Обрисовал ситуацию на международном рынке, сказал, что его наркомат сделал все возможное, однако расходы по импорту, как это ни прискорбно, продолжают превышать, и весьма значительно, поступления от экспорта. Разумеется, сократить ввоз в страну машин, оборудования невозможно. Следовательно, необходимо всемерно расширять вывоз. Любой ценой. Сотрудники наркомата, торгпредств давно пытаются найти выход из создавшегося чрезвычайно опасного положения. Использовали все имевшиеся резервы, изыскивают новые и новые. Вот один из них — наш антиквариат. Естественно, только то, что не входит в музейные коллекции, а выделяется самими учеными как ненужное, идущее в открытую продажу. По твердым прикидкам, экспорт антиквариата может дать только в ближайшее время миллионов пять. В целом же — около 30 миллионов золотых рублей. А это уже немало.

Но проблема в том, продолжал Хинчук, что и тут есть свои трудности. Работники Наркомпроса не хотят осознать всю важность такой экономической меры. Без конца чинят всевозможные препятствия, выступают с мелочными придирками. Мешают делу тем, что продолжают цепляться за давно устаревшие постановления и инструкции. Да и Наркомфин, также причастный к распродажам ненужного музеям имущества, слепо следуя все тем же инструкциям, тормозит выполнение важнейшей задачи — обеспечение страны в ответственный момент подготовки осуществления первой пятилетки валютными поступлениями. Вот поэтому и необходим вынесенный на рассмотрение документ. Он позволит, наконец, навести должный и твердый порядок, ускорит расширение экспорта.

Возражений не последовало, и проект утвердили без поправок, сразу же. Единогласно.

СЕКРЕТНО

О МЕРАХ К УСИЛЕНИЮ ЭКСПОРТА И РЕАЛИЗАЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРЕДМЕТОВ СТАРИНЫ И ИСКУССТВА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Признать необходимым усилить экспорт предметов старины и искусства, в том числе ценностей музейного значения, за исключением основных музейных коллекций.

2. Для руководства работами по выполнению и отбору предметов старины и искусства, имеющих экспортное значение, в том числе входящих в состав музейных фондов, находящихся в ведении Народного Комиссариата Просвещения, НКТоргом СССР назначаются особые уполномоченные.

Советом Народных Комиссаров союзных республик предлагается обязать НКПросы этих республик назначить для той же цели своих уполномоченных.

Те и другие уполномоченные действуют на основании инструкции, издаваемой Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней торговли Союза ССР и уполномоченными Народных Комиссариатов Просвещения союзных республик.

3. Разногласия, возникающие между уполномоченными народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и уполномоченными Народных Комиссариатов Просвещения союзных республик окончательно разрешаются комиссиями, образуемыми в районах деятельности уполномоченных, в составе председателя, назначаемого Советом Народных Комиссаров соответствующей союзной республики, и указанных уполномоченных.

4. Какое бы то ни было изъятие и распределение предметов старины и искусства из музейных фондов без согласия упомянутых в ст. 2 уполномоченных воспрещается.

5. Вывоз за границу предметов старины и искусства допускается лишь при наличии согласия Народного Комиссариата Просвещения соответствующей республики, причем лицензионные разрешения выдаются исключительно органам НКТорга СССР в установленном порядке.

6. Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР предоставляется право устанавливать предельный размер суммы и иные условия, при которых вывоз предметов старины и искусства допускается в безлицензионном порядке.

7. Предложить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР установить порядок реализации предметов старины и искусства, обязательный для всех учреждений, организаций и предприятий, производящих таковую реализацию.

8. Предложить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР представлять в Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР все данные о вывозе имеющихся в его (НКФ СССР) распоряжении предметов старины и искусства, а самый вывоз таковых производить по генеральным лицензиям, выдаваемым народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

Председатель
Совета Народных Комиссаров Союза СССР
Я. РУДЗУТАК

Секретарь
Совета Народных Комиссаров Союза СССР
И. МИРОШНИКОВ

23/1—28 г. 1 Москва, Кремль

Три дня спустя, 26 января, этот нормативный акт, как и предусматривалось, повторило аналогичное постановление СНК Российской Федерации. Так, еще вчера казавшееся немыслимым, просто невозможным стало реальностью, принципиально новой государственной политикой.

Стремясь к сиюминутной выгоде, правительство страны откровенно проигнорировало вечное, непреходящее — культуру. Предало забвению десятилетнюю благородную политику охраны памятников. Отныне не профессионалы решали судьбу музейных собраний. Решали люди, весьма далекие от насущных проблем сохранения, изучения произведений искусства. Первенствующая роль теперь отводилась особоуполномоченному Нарком-

торга СССР и директору-распорядителю специализированного объединения по экспорту и импорту антикварно-художественных вещей «Антиквариат» А. М. Гинзбургу, уполномоченным по Ленинграду — Простаку, по Москве — Н. С. Ангарскому.

Разумеется, идея такого постановления СНК СССР родилась отнюдь не вдруг, не случайно и не на пустом месте. Подготовили, обусловили ее неизбежное появление многие факторы, и главный из них — отсутствие средств на культуру.

Когда большевистская партия приняла решение о переходе к новой экономической политике, она считала: нищее, окончательно разоренное шестью годами войн государство должно срочно восстановить промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Лишь потом задуматься о духовном. Поэтому Наркомпросу предлагалось немедленно перейти на хозрасчет остаточного финансирования.

Раньше, в годы военного коммунизма, Наркомпрос когда угодно получал буквально по первому же требованию необходимые ассигнования. Да при том в любых размерах. С октября же 1922 года бюджет республики больше не подвергался никаким коррективам и изменениям по требованиям горкоматов. Разрабатывался загодя и вводился с 1 октября по 30 сентября — на хозяйственный год.

Ничего не поделаешь — оздоровление финансовой системы!

Да, Совнарком медленно, но неуклонно ликвидировал бюджетный дефицит, но за счет того, что, скажем, Наркомпросу давал только треть тех сумм, которые до революции имело министерство народного просвещения. А ведь сфера Наркомпроса теперь была гораздо шире, значительнее. Ему оказались подведомственны не только все без исключения школы (раньше они подчинялись и министерству, и Синоду, и местному самоуправлению), но и театры, музеи, издательства, библиотеки... Даже литература и искусство. И все требовали своей доли. Даже Главполитпросвет — учреждение сугубо партийное, занимавшееся пропагандой, внедрением в умы неграмотного люда коммунистических взглядов.

Результаты остаточного принципа не замедлили сказаться.

Закрывались университеты, институты, а профессура

оказывалась на улице. Даже учителя начальных школ перестали получать зарплату. Теперь вели уроки лишь после того, как родители учеников приносили — в счет оплаты — продукты, дрова. Крестьяне же не очень заботились об образовании своих детей. Те прежде всего должны были работать по хозяйству. В результате, биржи труда вскоре зарегистрировали более полумиллиона безработных учителей.

Та же участь постигла и Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины. НЭП обрушился на него, как снежная лавина, как землетрясение. Стал катастрофой. Ведь теперь за все приходилось платить. За воду, свет, отопление, охрану. За ремонт крыш, остекление окон. За реставрацию. И еще — своим сотрудникам. А деньги не поступали. Их просто не было.

Сначала пошли на сокращение штатов.

Если к началу 1921 года в Отделе, его 66 местных органов — в автономных республиках, губерниях и уездах — работало свыше 500 человек, то к маю 1923 года осталось чуть больше 60: самых незаменимых, обладающих блестящей профессиональной подготовкой, огромным опытом. Заодно ликвидировали и почти всю сеть местных органов. Остались они лишь в 30 губернских центрах, насчитывая по одному сотруднику.

Но и такой меры оказалось недостаточно. Повседневная деятельность требовала расходов, а ассигнований все не было. И тогда, в июле 1922 года, коллегия Отдела задумала страшный, как показало будущее — самоубийственный шаг: пойдя на коммерческие операции. Сдавая в аренду землю и здания, продавая ненужное имущество.

Неожиданно возникшее предложение обсуждали, обдумывали долго — девять месяцев. И только убедившились, что помощи ждать неоткуда, подготовили текст законопроекта. Провели его через коллегию Наркомпроса, направили в Совнарком. А тот 19 апреля 1923 года утвердил его как совместное со ВЦИК постановление «О спецсредствах для обеспечения государственной охраны культурных ценностей», предоставив этим актом музеям право сдавать в аренду для извлечения доходов находящиеся в их владении землю и здания.

Так появились политические изоляторы и лагеря в Соловецком, Суздальском монастырях; казармы и арсеналы в московских Крутицком подворье, Провиант-

ских складах, на территории Херсонского городища; санатории, дома отдыха, детские дома, школы и техникумы в старинных усадьбах.

Затем пришла очередь и самих музеев.

12 сентября 1923 года под председательством члена президиума ВЦИК П. И. Кутузова приступила к работе Комиссия ВЦИК по концентрации музейного имущества. А проще говоря — по переводу большей части музеев с республиканского имущества. А проще говоря — по переводу большей части музеев с республиканского бюджета на местный. Сначала оставили в подчинении Отдела 200 музеев, потом довели их число до полутора десятков. Самых крупных. Таких, как Эрмитаж, Русский, Третьяковская галерея, новой западной живописи, Ясная Поляна, Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках. Остальные оказались обреченными на закрытие — денег на культуру в местных бюджетах просто не предусматривали.

Однако и теперь финансовое положение памятников и музеев не улучшилось, и горькую чашу пришлось испить до дна. Пойти на последнюю, самую крайнюю меру.

Опять же по инициативе Отдела Совнаркома РСФСР 6 марта 1924 года приняли новое постановление: «О выделении и реализации госфондового имущества». Отныне музеи могли через антикварные магазины и аукционные залы Главнауки наркомпроса в Москве и Ленинграде продавать «имущество, находящееся во дворцах-музеях, усадьбах, церквах, монастырях и др. исторических памятниках, не имеющее исторического значения, не входящее в состав коллекций данного учреждения и не относящееся к музейному оборудованию». При этом устанавливалось, что далеко не вся выручка пойдет самим музеям, а всего 60 процентов. Остальное — в доход государства.

Собственно, с этого момента и началась распродажа музеев. На прилавках вдруг появились подержанные, не очень старые мебель и картины, фарфор и хрусталь, бронза и гравюры. Появились одежда и обувь вышедших из моды фасонов, но все же привлекательные. Одним словом, все то, что до февраля 1917 года являлось предметами повседневного обихода... в императорских дворцах. Служило и семьям Николая II, великих князей, и многочисленному штату их слуг, лакеев.

Продажа из фондов императорских дворцов столь поразила современников, что послужила сюжетом для двух и поныне популярных произведений.

«В этом году в Зимнем дворце разное царское барахлишко продавалось. Музейный фонд, что ли, этим торговал...»

Так начинал Михаил Зощенко рассказ «Царские сапоги», написанный и опубликованный в 1927 году.

О том же идет речь и в до сих пор остающемся бестселлером романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», увидевшем свет в 1928 году. В нем основной поворот сюжета связан с тем, что стулья Кисы Воробьянинова, временно оказавшиеся в Музее мебели (отнюдь не фантазия автора, а реальный музей, существовавший в Москве, в Нескучном дворце до 1928 года), попадают на аукцион, где и идут с молотка как «дворцовая мебель».

Однако в открытую продажу — для всех, за рубли — шли действительно не представлявшие никакого значения вещи. Самая заурядная посуда, мебель, одежда, вещи, которых тогда столь остро не хватало, ибо отечественная промышленность их и в то время не выпускала в достаточном количестве. Лучшее же из запасников, действительно имевшее художественную значимость, интересное для любителей искусства предназначалось иностранцам, которые готовы были платить.

Всего два магазина — ленинградский, на Дворцовой набережной в доме 18, в нескольких шагах от Эрмитажа, и московский, на Тверской, в доме 26,— покупали за рубли и продавали за доллары, фунты, марки, франки «старинные вещи, картины, рисунки, гравюры, мебель, бронзу, иконы, фарфор, серебро, парчу, всевозможные ткани, рамы для картин (позолоченные, красного дерева) и пр.» Два года они действовали под неусыпным контролем Музейного отдела, осуществляя, но в разумных пределах, советский экспорт произведений искусства. И поставляя средства на охрану культурно-исторического наследия.

Только теперь доходы с расходами начали сходиться. Денег стало хватать и на содержание сотрудников, и на музейную работу, и даже на реставрацию памятников зодчества. Но именно тогда и произошло сцепление случайностей, которые и направляют подчас историю.

В Ленинград после пятилетнего отсутствия приехала

Мария Федоровна Андреева. Приехала в отпуск. Отдохнуть, подышать воздухом Отчизны. И невольно обратила внимание на антикварный бум.

В январе 1922 года для многих стало неожиданным назначение заведующей киноподотделом Торгпредства РСФСР в Германии Марии Федоровны Андреевой. Урожденной Юрковской, по мужу — Желябужской.

Жизнь ее, казалось, не только навсегда связана с театром, но и предопределена служению Мельпомене. Еще бы, отец, из дворян Харьковской губернии,— главный режиссер Александринского театра. На той же сцене, актрисами, и ее мать, и старшая сестра. С мужем, действительным статским советником, видным чиновником Министерства путей сообщения, связывает только сын. Вся жизнь — только в театре, для театра.

Мария Федоровна создавала, вместе со Станиславским, Немировичем-Данченко, Книппер, Москвиным, Лужским, Мейерхольдом, Лилиной, Артемом Московский художественный театр. Сыграла там Леля в «Снегурочке», Ирину в «Трех сестрах», Наташу в «На дне», другие роли. Тогда же познакомилась с Максимом Горьким, дружба с которым вскоре перешла в любовь. Короткий перерыв в театрах Суходольского, Незлобина, не менее популярных тогда, чем МХТ.

В 1917 году Андреева переехала в Петроград. После Октября работала заведующей местным театральным отделом, художественным подотделом. И вот, вдруг — торговля. Правда, поначалу, четыре года, искусством. Кинофильмами. Но душа к новому делу не лежала. Все сильнее и сильнее тянуло домой. Очень хотелось назад, в театр. На сцену. Но приходилось себя пересиливать.

В 1925 году М. Ф. Андрееву повысили в должности. Назначили заведующей художественно-промышленным отделом торгпредства. Поручили уже не покупать немецкие кинофильмы, а продавать изделия кустарей России и Украины, Закавказья и Средней Азии: ковры, холстины, рогожки, вышивки, игрушки, изделия из бересты и кости, бочонки... А заодно и антиквариат. Точнее, контролировать выполнение долгосрочного соглашения, заключенного еще в октябре 1923 года с одной из ведущих берлинских фирм, проводившей аукционы произведений искусства — кунстаукционхауз «Рудольф Лепке».

Соглашение было выгодным для обеих сторон. Немцы авансировали половину суммы на закупки, за свой

счет отправляли в Ленинград экспертов, которые обходили частные и государственные магазины и лавочки на Невском, в Гостином дворе, на Апраксином рынке. Отбирали, покупали, за свой счет паковали и отправляли в Берлин приглянувшиеся картины, бронзу, фарфор, хрусталь. За свои же труды получали 7,5 процента от оценочной стоимости выставленного к продаже и 25 процентов от прибыли.

Три года продолжалась спокойная, не волновавшая никого, но и не приносившая особых доходов, коммерция. Положение изменилось, и весьма резко, лишь поздней весной 1927 года, когда Андреева заинтересовалась распродажами Главнауки. Она вспоминала призыв Ленина учиться торговать. Припомнила и апрель 1921 года, когда она, по заданию Л. Б. Красина, ездила в Германию, Данию, Швецию, читала лекции о голоде в России, а заодно и продавала первые партии произведений искусства, собранные в Петрограде для экспорта.

Далекая от музейной деятельности, от искусствоведения, Мария Федоровна наивно решила, что напала на золотую жилу, неиссякаемый источник ценностей. Задумала воспользоваться открывшимися перспективами, как ей показалось, возможностями и повысить валютные поступления своего отдела в Советский Союз. Договорились с «Рудольф Лепке» о расширении сотрудничества, проведении особого аукциона. Но тут же натолкнулись на конкуренцию.

До сих пор немецкие антиквары действовали на ленинградском рынке монопольно. Кроме них, никто не платил валютой за оптовые партии, а потому и не сбивал довольно низкие цены. А это-то и давало берлинской фирме возможность хорошо зарабатывать, создавало у нее заинтересованность. С июля же у них появился конкурент, готовый заплатить более высокую цену — некий Степан Михайлович Муссури, греческий гражданин из Москвы.

В отличие от других деловых людей из Европы, предпочитающих жить в комфортабельных отелях, Муссури обосновался на тогдашней окраине, на Божедомке, в доме № 20 по первому Лазаревскому переулку. А действовать решил вполне легально, не нарушая законов. После долгих переговоров заключил 12 июля 1927 года договор с региональным учреждением внешнеторгового ведомства — Мосгосторгом.

Соглашение позволяло Муссури «производить в пределах СССР закупку и прием на комиссию предметов старины и роскоши: старинной мебели, предметов домашнего обихода, религиозного культа, предметов из бронзы, фарфора, хрусталя, серебра, парчи, ковров, гобеленов, картин, автографов, русских самоцветов, кустарных изделий и т. п., не представляющих музейной ценности, а также экспортировать указанные предметы по лицензиям, выдаваемым Наркомторгом СССР».

Но только после легализации будущих сделок С. М. Муссури занялся поиском денег. Их ему удалось получить у берлинского банкирского дома «Бернгейм, Блюм и К'» на весьма кабальных условиях. Представитель банка, доктор Фридрих Пинофф и Муссури образовывали «Товарищество для экспорта предметов старины и роскоши» с уставным капиталом в 25 тысяч рублей и гарантированным банковским кредитом в 200 тысяч рублей. Но так как Степан Михайлович не вносил в дело ни копейки, фактически он становился всего лишь служащим — оценщиком и скупщиком.

Антикварный магазин товарищества, вскоре открытый в Москве на улице Герцена и близ консерватории, сразу же приобрел известность. И не только у москвичей, но и у жителей Ленинграда, куда Муссури наведывался регулярно и часто. Как же, ведь он давал настоящую цену, не то что Главнаука или «Антиквариат». Да еще мог — правда за действительно очень редкие произведения искусства — заплатить не рублями, а долларами.

Отлично чувствовал себя после подписания договора и руководитель Мосгосторга Николай Семенович Клестов, более известный по партийному псевдониму Ангарский. Теперь без каких-либо трудов и затрат он мог пополнять казну государства, получая с Муссури полную стоимость купленных там вещей в валюте. А значит, и отдаться тому, что было ему ближе всего,— литературе. Ведь одновременно он возглавлял и издательство «Недра».

Именно Николай Семенович Ангарский вместе с Марией Федоровной Андреевой сделали первый шаг на том роковом пути, который через несколько месяцев привел к распродаже национального культурного достояния. К разграблению Эрмитажа. А помог им Наркомфин

РСФСР, также внесший собственный вклад в развитие трагических событий.

Операции фирмы «Рудольф Лепке», соглашение с С. М. Муссури, никто не стремился афишировать, но никто и не скрывал. Да и не было в них чего-либо такого, что требовало соблюдения если не государственной, то хотя бы коммерческой тайны. Ведь мы лишь разрешали иностранцам доступ на внутренний рынок, сохраняя полный контроль за их действиями. Позволяли им покупать у населения и вывозить из страны только то, что разрешали эксперты Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Все остальное для предпринимателя являлось делом случая да удачи. Может, повезет, а может, и нет. Ну, а чем больше будет зарубежных антикваров, тем лучше. Ведь конкуренция повышала цены и, следовательно, то количество валюты, которое оседало в Госбанке. Повышало количество рублей, которые шли на охрану и реставрацию памятников. Поэтому и не подозревал никто, чем обернется приезд в СССР в сентябре 1927 года еще трех антикваров. На этот раз из Вены.

Так называемая Комиссия Госфондов Наркомфина РСФСР, которая и получила из музеев страны «немузейные» ценности для продажи в пользу государства и Наркомпроса, также возмечтала заработать валюту. Снеслась с советским торгпредством в Австрии и через него пригласила представителей венской аукционной фирмы «Доротеум». Показала прибывшим — Бауму, Зильберману и Ледереву — свои склады в Москве и Ленинграде, в принципе договорились о продаже в Вене того, что отберут австрийские антиквары по соглашению со своим руководством. И вызвала грандиозный скандал.

В октябре с дипломатической почтой в Наркомторг СССР поступило гневное послание Марии Федоровны Андреевой:

«... Считаю необходимым довести до Вашего сведения, что Берлин сейчас полон слухов о грандиозных концессиях, о чрезвычайно льготных условиях договоров, заключаемых в СССР и Наркомторгом, и Наврком-просом. О договоре Муссури здесь не только известно, но текст договора, переведенный на немецкий язык, имеется в руках немецких фирм, под этот договор ищут денег — Вы представляете себе, как это «выгодно» для

нас и как вредно отзовется на нашей работе, на аукционе, назначенном на 9 ноября.

Я писала Вам в своей записке, что на нашем внутреннем рынке, благодаря появлению нескольких закупающих групп, создается ажиотаж и частные владельцы уже подняли цены на 200—400 процентов, что в дальнейшем сделает покупку вещей на рынке совершенно невозможной (...)

Только что Севзапгосторг (организация, аналогичная Мосгосторгу, действовавшая в Ленинграде и его окрестностях.— Ю. Ж.) начал рационально и с выгодой для себя экспорт трудного и сложного для реализации антикварного товара, причем не пользуясь никакими льготами, уплачивая все пошлины и налоги, как немедленно появилось несколько конкурентов, что уже само по себе вредно, но когда эти конкуренты — частные лица, как Муссури, или иностранцы, как Ледерер, Баум и Зильберман от венского аукционного дома «Доротеум», наконец, какой-то банк для американского миллиардера, совершенно теряешься и не знаешь, что думать.

(...) Этот вопрос далеко не пустяковый и было бы чрезвычайно важно, если бы Вы выяснили, в чем дело и урегулировали бы все так, чтобы Севзапгосторг и Госторг (в те годы внешнеторговое ведомство РСФСР.— Ю. Ж.) в целом получили монополию на заготовку и экспорт в этой области, и чтобы наше торгпредство являлось единственным органом, реализующим этот товар за границей».

Если бы большевики действительно научились торговать!

Если бы актрисы играли на сцене, а торговлей антиквариатом занимались бы маршалы!

Если бы вообще забыли о самой возможности экспорта антиквариата из нашей страны!

Но нет, все было совершенно иначе. Наоборот.

Реакция на послание М. Ф. Андреевой последовала незамедлительно, хотя и не совсем такая, как она надеялась. А события с этого момента стали развиваться даже слишком уж стремительно. Но удивляться тому не приходилось, ибо был, наконец, получен ответ на вопрос, давно мучивший экспорт, увеличив тем самым поступление столь необходимой валюты.

Общее мнение руководства наркомата было однозначно. Андреева права: расширять наш экспорт следует

и за счет антиквариата. Разумеется, никакой особой привилегии, монополии Севзапгосторгу и берлинскому торгпредству давать не следует. Включаться в работу должны все. И обе конторы Внешторга — московская и ленинградская, и все торгпредства — в Германии, Австрии, Италии, Франции, других странах, включая «Аркос» в Лондоне и «Амторг» в Нью-Йорке.

Ну, а источником столь широкой распродажи должно стать то самое имущество Главнауки, которое переходит в Госфонды. И прежде всего — из собраний музеев Ленинграда и его окрестностей. Ведь о них работники Наркомфина рассказывают легенды...

Решение было принято, и уже в октябре 1927 года — впервые за весь период Советской власти, как своеобразный подарок к ее юбилею — Наркомторг СССР установил твердый план экспорта по антиквариату. Определил его размер на три последние месяца года в 500 тысяч рублей.

И, как бы подтверждая правильность избранной линии, в Москву поступила свежая информация:

«В Берлине состоялся 9 ноября аукцион первой партии наших антикварных предметов, отправленных сюда в августе с(его) г(ода) (...) Коммерческий результат вполне благоприятный: несмотря на то, что свыше $^1/_3$ ценностей осталось непроданной, вследствие высокой оценки, выручка за проданную часть уже покрыла с некоторым превышением полную себестоимость всей партии. Реализация остатков будет производиться на ближайшем аукционе».

Отныне сомнений в предстоящем получении баснословных доходов ни у кого уже и быть не могло.

* * *

Академик Д. Лихачев утверждал:

«Наши культурные ценности, которые хранились в музеях, усадьбах, церквах, домах, в библиотеках,— это не просто вещи и памятники, не просто ценности, лежавшие втуне.

Вещи живут и действуют, создают культурную атмосферу. Я бы сказал — культурную ауру.

Поэтому отсутствие или исчезновение многих этих вещей означало падение, снижение культуры страны.

Ослабело силовое поле культуры.

Скажем, в Эрмитаже были выставлены «малые голандцы». Они в значительной мере повлияли на возникновение живописи передвижников. В том же Эрмитаже собраны замечательные портреты. Это помогло русскому портрету достигнуть своей высоты.

Вообразить глубину трагедии, которая произошла с нашей культурой, невозможно. Это бездонная пропасть».

БОЛЕЗНЬ ДВИГАЛАСЬ ВПЕРЕД...

Эффект клада имеют многие научные журналы 20—30-х годов, особенно узкоспециальные, издававшиеся отдельными ведомствами. К ним относился журнал «Наша Искра» — ежемесячный орган коллектива Р. К. П. (б) Медицинской академии Рабоче-Крестьянской Армии и Флота (ныне Военно-медицинская академия имени Кирова), в котором были опубликованы воспоминания о болезни и смерти В. И. Ленина одного из лечивших его врачей, профессора В. П. Осипова. Этого журнала сейчас практически нет. Его экземпляры в частных собраниях, не говорят уже о государственных хранилищах, сжигали, уничтожали из страха как «крамолу», сдавали в макулатуру.

В этих материалах содержатся подробности последних двух лет жизни Владимира Ильича. Осипов Виктор Петрович с 1915-го года — начальник кафедры психиатрии Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, с 1917-го — председатель Петроградского общества психиатров и невропотологов, с 1933-го — заслуженный деятель науки РСФСР, с 1939-го — член-корреспондент Академии наук, с 1944-го — действительный член (академик) Академии наук СССР, умер в 1947 году.

«Многоуважаемые товарищи, мне уже не в первый раз приходится рассказывать о болезни покойного Владимира Ильича Ульянова-Ленина, сопровождая это некоторыми личными воспоминаниями из этого периода. Каждый раз я при этом испытываю чувство значитель-

ного волнения, вполне понятного и объяснимого...

Начну с описания его болезни. Я лично познакомился с Владимиром Ильичом в качестве врача в первых числах мая 1923 года и затем почти все время был у него, за исключением очень коротких промежутков. Вся болезнь его может быть разделена на три больших периода. Начало первого из них относится к марту 1922 года, второго — к декабрю 22-го года, и третьего — к марту 23-го года. Это деление болезни на три периода показывает, что она не текла, непрерывно нарастая, а шла скачками, давая промежутки, во время которых больной оправлялся, чувствовал себя относительно хорошо, а потом она обострялась, процесс развивался дальше, болезнь двигалась вперед. Болезнь, которая была у Владимира Ильича, обыкновенно не начинается внезапно, и нужно допустить, что перед началом заболевания, которое относится к марту 1922 года, был некоторый подготовительный период времени. Когда она еще не принимала таких размеров, которые бы привлекали внимание окружающих и к которым сам больной отнесся бы с известной серьезностью. Поэтому точно установить, с какого именно момента Владимир Ильич заболел, трудно, но что болезнь началась раньше марта 1922 года — на это есть некоторые доказательства. По крайней мере, люди, близко к нему стоявшие, говорили, что временами Владимир Ильич жаловался на небольшое недомогание, а иногда были и более серьезные признаки, заставлявшие задумываться. Владимир Ильич был страстным охотником, и вот один из тех, кто ездил с ним на охоту, рассказывал, что он иногда на охоте присаживался на пень, начинал растирать правую ногу, и на вопрос, что с ним, говорил: «Нога устала, отсидел».

Владимир Ильич был человеком исключительной воли, который ставил свои идейные задачи выше всего и шел к ним неуклонно, жертвуя личными интересами и своим здоровьем, так что вполне понятно, что если он что-нибудь и замечал, то не обращал внимания и даже скрывал кое-что от окружающих. Но с марта 1922 года начались такие явления, которые привлекли внимание окружающих... Выразились они в том, что у него появились частые припадки, заключавшиеся в кратковременной потере сознания с онемением правой стороны тела. Это были мимолетные явления. Онемеет правая рука, затем движение восстановится. Во время таких припад-

ков начала расстраиваться речь, то есть после припадка наблюдалось, что в течение нескольких минут он не мог свободно выражать свои мысли. Эти припадки повторялись часто, до двух раз в неделю, но не были слишком продолжительными — от 20 минут до двух часов, но не свыше двух часов. Иногда припадки захватывали его на ходу, и были случаи, что он падал, а затем припадок проходил, через некоторое время восстанавливалась речь, и он продолжал свою деятельность. В этом периоде болезни и были приглашены русские и заграничные профессора, под наблюдением которых Владимир Ильич находился в течение дальнейшего времени. В начале болезни, еще до марта, его иногда навещали отдельные врачи, но признаков тяжелого органического поражения мозга в то время не было обнаружено, и болезненные явления объясняли сильным переутомлением, так как Владимир Ильич, признавая для всех шести- и восьмичасовой рабочий день, для себя не признавал срока работы и иногда работал сутки почти напролет. Тогда ему был предписан отдых и выезд из Москвы в деревенскую обстановку. Он переехал в усадьбу Горки (по имени деревни, которая там находится, по Каширскому тракту, в 35 верстах от Москвы). Там очень хороший, удобный дом, в котором он поселился, отдыхал и лечился. Лечение пошло настолько успешно, что к августу месяцу Владимир Ильич был здоров настолько, что уже желал приступить к работе. Припадки прекратились, прошли также тяжелые головные боли, но тем не менее ему не было разрешено приступить к занятиям, и только в октябре ему позволили снова вернуться к работе, но с большими ограничениями, в смысле времени. В это время здоровье его было настолько удовлетворительным, что он, не придерживаясь строго предписаний врачей, выступал с большими речами. Насколько он тогда владел речью, видно из того, что в большом заседании Коминтерна он произнес речь на немецком языке, которая продолжалась 1 час 20 минут. Так продолжалось до декабря месяца, после чего наступает новое ухудшение в состоянии его здоровья. Оно выразилось в развитии паралича правой стороны тела. Речь тогда не пострадала, парализованы были правая рука и нога. Через некоторое время паралич уступил лечению, движения улучшились, но полного восстановления движений уже не получилось. Правые рука и нога были в по-

лупарализованном состоянии. Понемногу оправившись, он даже начал работать, но домашним образом, то есть писал статьи — не сам писал, правая рука у него была в параличе,— но диктуя их стенографистке и секретарше. К февралю месяцу 1923 года относятся его последние политические статьи.

С марта месяца наступает третий период заболевания, который выражается в тяжелом параличе правых конечностей и в резком поражении речи. Владимир Ильич должен был слечь в постель: в его распоряжении находилось всего несколько слов, которыми он пользовался; и не имея возможности выражать свои желания, он должен был прибегать к помощи этих нескольких слов и жестов; речи окружающих он так же не мог полностью усваивать. Первый раз я увидел Владимира Ильича в мае 1923 года совместно с другими профессорами. Положение его тогда было настолько тяжело, что возникал вопрос о том, как долго может протянуться болезнь. Нельзя было утверждать, что его состояние улучшится и что он снова оправится. Но крепкая натура больного, заботливый уход и лечебные мероприятия все-таки сделали свое дело. Владимир Ильич начал оправляться настолько быстро, что около 20-х чисел мая оказалось возможным из кремлевской квартиры опять перевезти его в Горки, где рассчитывали на действие хорошего воздуха, покоя и лечения. Он был перевезен со всеми мерами предосторожности в автомобиле, шины которого, для устранения тряски, были насыпаны песком. Перевозка производилась медленно и произошла вполне благополучно. В Горках началось постепенное оправление, и к концу мая он чувствовал себя уже настолько хорошо, что начал интересоваться восстановлением речи.

Вы понимаете, какое несчастье для такого человека, каким был Владимир Ильич, лишиться способности выражать свои мысли. В таких условиях прибегают к особым упражнениям речи, которые ведутся специалистами этого дела. Тогда же был приглашен из Ленинграда врач, специалист по части речевых упражнений, которого Владимир Ильич встретил радостно и очень заинтересовался этими упражнениями. Они велись регулярно почти в течение месяца и имели успех. К тому времени Владимир Ильич прекрасно мог понимать речь окружающих и даже мог сам повторять слова. Но около 22 июня

начинается новое и последнее обострение болезни, которое продолжалось около месяца. У него было в то время состояние возбуждения, были иногда галлюцинации. Он страдал бессонницей, лишился аппетита, ему трудно было спокойно лежать в постели, болела голова, и он только тогда несколько успокаивался, когда его в кресле возили по комнате. Это тяжелое состояние продолжалось около месяца.

Во второй половине июля обострение затихло, здоровье начало улучшаться, и уже скоро Владимир Ильич мог выезжать в парк около дома, в котором он жил; восстановился сон, улучшился аппетит, он пополнел, чувствовал себя бодрым, появилось хорошее настроение, и, конечно, первое, чем он заинтересовался — это снова речевые упражнения.

Уход за ним был безукоризненный. Все хозяйственные работы лежали на его сестре, Марии Ильиничне Ульяновой, а весь уход, так сказать, духовный, приняла на себя Надежда Константиновна Крупская, его жена. Эти две женщины жертвовали для него всеми личными интересами и окружали его всевозможными удобствами. Только вот какая разница получилась в смысле речевых упражнений: до этого обострения речевые упражнения производил врач, а здесь Владимир Ильич выразил жестами определенное желание, чтобы речевые упражнения вела Надежда Константиновна. Он, видимо, не хотел, чтобы этот его речевой недостаток видели другие. Это было ему неприятно. Надежда Константиновна — опытный педагог, но для этих занятий нужно иметь специальные знания. Поэтому мы каждый вечер собирались и давали ей определенную инструкцию, и таким образом под нашим руководством она проводила эти занятия, протекавшие весьма успешно.

В отношении речи — понимание речи окружающих восстановилось вполне и настолько хорошо, что он заинтересовался содержанием газет; ему прочитывались газеты, передовицы, телеграммы и другие сведения, его интересовавшие; затем, будучи сам газетным работником, он разбирался в содержании газеты; раскрывая газету, он знал, где передовица, где телеграммы, и сразу указывал пальцем, чем он интересуется. Иногда в газетах бывали волнующие статьи, содержание которых Надежда Константиновна избегала ему передавать. Заинтересовавшись каким-нибудь местом, он требовал по-

вторения, а кое-что мог прочитывать сам. Понимание цифр у него сохранилось, и в связи с этим и по рисунку газеты он прекрасно отличал старые газеты от новых. Что же касается произвольной речи, то она была задета сильнее всего; он был в состоянии пользоваться только несколькими словами, но повторять слова он мог, почему в эту сторону и были направлены упражнения, чтобы посредством многократного повторения слов восстановить самостоятельную речь. Сначала дело шло туго. Владимир Ильич мог повторять только односложные слова, а затем стали удаваться двухсложные и даже многосложные слова; сначала записывали слова, которые он мог повторять, но потом перестали, потому что цифра записанных слов превысила полторы тысячи, и стало ясно, что если он может сказать полторы тысячи слов, то он сможет повторить две, три тысячи и больше.

Начала постепенно восстанавливаться также и способность чтения, которая была утрачена вместе с речью в период обострения болезни в марте 1923 года.

Он мог уже различать буквы и прочитывать некоторые слова: ему показывали для этого рисунки, и при взгляде на них он мог называть изображенные на них предметы и даже произносил фразы. Обыкновенно показывали рисунок с подписью, а затем без подписи, и он уже называл изображенный на рисунке предмет; он находил также самостоятельно соответствующие изображенному предмету словесные обозначения среди других написанных слов. Были начаты упражнения в письме левой рукой, что, особенно в данном случае, является значительной трудностью, но Владимиру Ильичу удалось осилить это препятствие, и он мог недурно писать левой рукой — писал буквы и слова и уже хорошо копировал слова.

У вас возникает теперь вопрос, что это за болезнь, которая дает возможность, парализуя правую сторону, понимать то, что говорят, лишает возможности читать, лишает возможности говорить самостоятельно, в то же время сохраняя возможность повторять произносимые слова.

В нашем головном мозге, как вы знаете, для речи точно так же, как и для движений наших членов, существуют определенные участки, центры, области, в частности, речевые центры находятся в левом полушарии головного мозга, причем, как вам известно, каждое по-

лушарие головного мозга заведует функциями противоположной половины тела.

Развитие паралича конечностей шло у Владимира Ильича соответственно областям расположения двигательных центров в коре головного мозга; на поражение коры указывало и нарушение речи.

Значит, мы должны заключить, что у Владимира Ильича имелось поражение двигательной области левого полушария головного мозга, причем поражение обширное, так как центры ноги и руки занимают две верхние трети передней центральной извилины; но этим дело не ограничивается, так как было еще поражение речи. Когда мы говорим, мы производим известные движения языком, щеками, небом и т. д. Эти речевые движения зависят от работы заднего отдела третьей лобной извилины: если он цел, вы можете говорить вслух, если этот участок разрушен, человек не может произносить слова. Вначале Владимир Ильич не мог произносить слов, потом научился. Очевидно, участок этот был несколько затронут, но до известной степени восстановлен; следовательно, мы должны к пораженной области присоединить часть и этого участка. Дальше, от целости височной области зависит понимание речи; если височная область будет разрушена, то вы будете слышать звуки, но не будете их понимать, то есть узнавать, оценивать их значение. Владимир Ильич не вполне понимал речь вначале, значит, частичное поражение височной области было, но, в общем, она была в удовлетворительном состоянии. Владимир Ильич мог повторять слова, то есть когда ему их произносили, то он их понимал и передавал на двигательные центры, ведающие речевыми движениями. Но в это же время он не мог самостоятельно говорить. Что это обозначает? Центр цел, но что-то неладное происходит: мыслит человек, думает, когда он что-нибудь хочет, он делает рукой жест, если его мысль угадали, он доволен, мысли его текут, а произнести слов не может. Значит, от той области, где возникают словесные впечатления и сохраняется память слов, проводники (идущие в виде пучков, которые можно сравнить с электрическими проводами) к другим речевым центрам прерваны, и вот получается, что из центра восприятия слов к двигательному речевому аппарату есть сообщение, а с областью запаса слов, которые держатся в памяти, сообщение прервано. Даль-

ше: человек не может прочесть. Для чтения тоже существуют особые центры, поражение которых лишает человека возможности понимать читаемое. Он видит глазами, но прочесть не может. В этом центре, непосредственно прилегающем к заднему отделу первой височной извилины, тоже было поражение. Также определялось поражение на внутренней стороне левого полушария, следовательно, поражение левого полушария было весьма обширным, а, кроме того, были определенные указания, которые говорили о том, что в правом полушарии тоже должны быть небольшие гнезда поражения.

Болезнь постепенно отходила. Но около половины октября появились некоторые угрожающие симптомы, которые заставляли сильно задумываться. В то время Владимир Ильич настолько хорошо себя чувствовал, что иногда подолгу проводил время на воздухе: пользуясь хорошей погодой, он выезжал в автомобиле кататься в лес; брали с собой кресло, и в нем возили больного по лужайкам; он дышал воздухом, отдыхал и возвращался домой. С половины октября начались легкие припадки в виде кратковременной потери сознания, которая продолжалась 15—20 секунд. Сначала они были редкими, раз в три-четыре недели, потом участились, причем был один припадок, который сопровождался судорогами. Это являлось указанием на то, что в коре мозга временно возникало состояние раздражения, которое бывает при этой болезни.

20 января Владимир Ильич испытывал общее недомогание, у него был плохой аппетит, вялое настроение, не было охоты заниматься; он был уложен в постель, была предписана легкая диета. Он показывал на свои глаза, очевидно, испытывая неприятное ощущение в глазах. Тогда из Москвы был приглашен глазной врач профессор Авербах, который исследовал его глаза. Исследование глаз имеет очень важное значение при болезнях мозга. Глаз тесно связан с мозгом, и застойные явления или недостаток крови в мозгу тотчас же выражаются изменением наполнения кровью глазного дна. Профессора Авербаха больной встретил очень приветливо и был доволен тем, что, когда исследовалось его зрение при помощи стенных таблиц, он мог самостоятельно называть вслух буквы, что доставляло ему большое удовольствие. Профессор Авербах самым тщатель-

ным образом исследовал состояние глазного дна и ничего болезненного там не обнаружил.

На следующий день это состояние вялости продолжалось, больной оставался в постели около четырех часов, мы с профессором Ферстером (немецкий профессор из Бреславля, который был приглашен еще в марте 1922 года) пошли к Владимиру Ильичу посмотреть, в каком он состоянии. Мы навещали его утром, днем и вечером, по мере надобности. Выяснилось, что у больного появился аппетит, он захотел поесть; разрешено было дать ему бульон. В шесть часов недомогание усилилось, утратилось зрение, и появились судорожные движения в руках и ногах, особенно в правой стороне. Правые конечности были напряжены до того, что нельзя было согнуть ногу в колене, судороги были такие и в левой стороне тела. Этот припадок сопровождался резким учащением дыхания и сердечной деятельности. Число дыханий поднялось до 36, а число сердечных сокращений достигло 120—130 в минуту, и появился один очень угрожающий симптом, который заключается в нарушении правильности дыхательного ритма (тип чейн-стокса), это мозговой тип дыхания, очень опасный, почти всегда указывающий на приближение рокового конца. Конечно, морфий, камфора и все, что могло понадобиться, было приготовлено. Через некоторое время дыхание выровнялось, число дыханий понизилось до 26, а пульс до 90 и был хорошего наполнения. В это время мы измерили температуру — термометр показал 42,3— непрерывное судорожное состояние привело к такому резкому повышению температуры; ртуть поднялась настолько, что дальше в термометре не было места.

Судорожное состояние начало ослабевать, и мы уже начали питать некоторую надежду, что припадок закончится благополучно, но ровно в 6 час. 50 мин. вдруг наступил резкий прилив крови к лицу, лицо покраснело до багрового цвета, затем последовал глубокий вздох и моментальная смерть. Было применено искусственное дыхание, которое продолжалось 25 минут, но оно ни к каким результатам не привело. Смерть наступила от паралича дыхания и сердца, центры которых находятся в продолговатом мозгу.

На следующий день было произведено бальзамирование тела Владимира Ильича. Бальзамирование производится введением в кровеносную систему, через

аорту, дезинфицирующей жидкости, которая состоит из спирта, формалина и некоторых примесей. Произведенное вслед за бальзамированием вскрытие обнаружило распространенное заболевание сосудов тела, именно артерий. Оно заключается в развитии атеросклероза.

С возрастом развивается процесс отложения извести в стенках сосудов, которые утрачивают от этого свою эластичность. Но в пожилом возрасте это бывает в легкой степени. Сильный склероз развивается уже в старческие годы, а Владимиру Ильичу было всего 53 года, следовательно, этот склероз был у него преждевременным, болезненным, и резче всего он оказался выраженным в сосудах головного мозга. Склероз сосудов выражается не только в том, что стенки плотнеют, он также уменьшает просвет сосудов, и, следовательно, кровь в меньшем количестве притекает к участкам тела. От отложения извести появляются шероховатости на внутренней гладкой поверхности сосудов, а раз там появляются шероховатости, происходит свертывание крови, образуются свертки, и просвет сосуда суживается. Явления склероза сосудов были особенно резко выражены в мозгу. Одним из самых важных сосудов, питающих мозговые полушария, является артерия Сильвиевой ямки, и вот представьте себе, что закупоривается просвет артерии на уровне ее общего ствола, тогда все, что питается этой артерией, страдает, начинается явление размягчения мозга; но склероз может захватывать отдельные веточки, тогда будут выпадать из работы отдельные участки мозга. У Владимира Ильича мы должны представить обширную закупорку ветвей, питающих участки, которые были у него поражены. Вскрытие показало, что в этой области была большая киста, то есть пузырь, наполненный жидкостью... Выяснилось, что питание правого полушария тоже было недостаточным. Общий ствол левой сонной артерии был до того закупорен, то можно было в просвет его пропустить только щетину. Через такой суженный просвет сосуда шла кровь для этого полушария. Артерия основания мозга, которая дает ветви для питания продолговатого мозга, оказалась тоже закупоренной настолько, что оставался просвет лишь с толщину булавки. Когда у Владимира Ильича разразился тяжелый припадок, продолжавшийся 50 минут, сопровождавшийся сильным приливом крови к голове, то наступил момент, когда кровь не могла

продвинуться дальше, питание продолговатого мозга прекратилось и работа его выпала. Это и был момент паралича дыхания и сердца, вызвавшего смерть.

Естественно возникает вопрос: почему у человека 53 лет, человека очень умеренной жизни, который не пил и не курил, развивается такой болезненный процесс? Ответ на этот вопрос мы находим в наследственности Владимира Ильича. Его отец умер как раз 53 года и тоже от склероза мозговых сосудов. Мать умерла значительно позже, под 70 лет, но умерла тоже от склероза, однако в этом возрасте склероз неудивителен. Наследственное предрасположение отразилось на сыне, у которого развился преждевременный склероз. В связи с этой предрасполагающей причиной целый ряд моментов обострили его болезненное расположение и способствовали развитию склероза; сюда относятся усиленная и напряженная мозговая деятельность. А если вы вспомните различного рода потрясения из жизни Владимира Ильича в сибирской ссылке, тяжелую революцию, во главе которой он стоял и которую вынес на своих плечах, то вы легко представите себе, сколько потрясающих моментов было у этого человека; сколько было чрезмерной, напряженной работы, которая способствовала усилению наследственного склероза.

Мозг и сердце Владимира Ильича были переданы в музей имени Ленина на Дмитровке в Москве. Если будете в Москве, то я советую посетить этот музей. Там собрано все, касающееся Владимира Ильича, начиная с рождения и кончая смертью. Там имеются его детские портреты, рукописи, палатка, котелок — вещи, которые были в его распоряжении, когда он скрывался от властей в Финляндии, одним словом, все, что можно было собрать. Туда поступил и его мозг. Вес мозга оказался 1340 граммов, но это вес не полный, так как часть мозга была уничтожена болезнью, он ниже нормы. Средний вес человеческого мозга 1300—1400 граммов. Если себе представить здоровый мозг Владимира Ильича, то, принимая во внимание его сложение, в нем было, вероятно, около 1400 граммов, т. е. несколько выше среднего. Здоровые отделы мозга развиты очень хорошо, что указывает на мощный мозг. И вообще при той степени поражения, которая была, нужно удивляться, как его мозг работал в этом состоянии, и надо полагать, что другой больной на его месте уже давно был бы не таким,

каким был Владимир Ильич во время своей болезни.

Теперь я поделюсь с вами некоторыми впечатлениями от этого замечательного человека. Вы все много слышали о нем, читали и представляете себе, какая это выдающаяся личность; с политической стороны, как уже было сказано, я его характеризовать не буду, а коснусь некоторых черт, с которыми мне пришлось познакомиться во время его болезни.

Надо сказать, что история болезни Владимира Ильича велась чрезвычайно тщательно. Она составила обширный том в 400 страниц. Там прослежено все заболевание не только по неделям, но по дням и даже по часам, до мелких подробностей включительно. Насколько это был исключительно крупный политический и общественный деятель в жизни, настолько он оказался необычайно терпеливым, необыкновенно крупным духовно человеком и в болезни, здраво и трезво смотревшим на свое болезненное состояние. Уже в начале болезни, когда тяжесть заболевания, может быть, еще не вполне отчетливо сознавались некоторыми, он смотрел на свое будущее скептически; по крайней мере на утешения, которые ему подавали врачи, говоря, что все пройдет, вы поправитесь, он безнадежно махал рукой и говорил: «Нет, я чувствую, что это очень серьезно и вряд ли поправимо». И убедился в этом, по-видимому, прочно, когда парализовалась рука. Он был очень внимателен к каждому, кто приходил к нему с помощью, и всегда до мелочей заботился о тех лицах, которым приходилось с ним соприкасаться. На свое болезненное состояние он продолжал смотреть скептически и в дальнейшем. Например, в то время, когда летом в Горках наступило улучшение, когда он начал ходить по лестнице, я говорил ему: «Владимир Ильич, посмотрите, ваше здоровье улучшается, вы ходите, гуляете, ездите кататься». Видимо, это было ему приятно, нельзя было оспаривать фактов; он улыбался в ответ и махал рукой, как бы говоря: «Непрочно это» — так как было уже два периода обострения болезни.

В смысле лечебных мероприятий, относясь внимательно к тому, что предписывали врачи, он больше ценил видимые, реальные меры. Он очень охотно подвергался массажу, очень охотно принимал ручные и общие ванны. Дело в том, что у него была контрактура парализованной руки (сгибательное положение), а теп-

лые ванны ослабляли эту контрактуру и болезненность. Но разные средства он принимал менее охотно, не рассчитывая на то, что они принесут пользу.

Он и в болезни был радушным хозяином, приветливо встречающим навещавших его лиц. Правда, частые посещения Владимира Ильича избегались, потому что излишнее волнение, тревога и беспокойство могли принести вред его здоровью. Но когда такие посещения бывали, он оживлялся, принимал участие в беседе, знаками указывая, что его интересует, и очень заботливо относился к тем, кто приходил. Если кто-нибудь приезжал из Москвы, он показывал знаками, чтобы гостя накормили, напоили чаем и т. д. Я, например, помню один случай, который развеселил окружающих: несколько санитаров дежурили около него с начала болезни и до конца; это были студенты-медики Московского университета, и среди них один молодой врач. Однажды он приезжает из Москвы, это было днем. Обыкновенно между четырьмя и пятью часами пили чай. Владимир Ильич сидит в столовой вместе с Надеждой Константиновной. Я часто заходил к ним в эти часы... И вот приезжает молодой санитар. На столе чай, самовар и больше ничего. Владимир Ильич начинает обнаруживать беспокойство, что-то показывает, его не понимают. Санитар подходит и спрашивает: «Может быть, вас подвезти в кресле?» Владимир Ильич кивает утвердительно. Садится в кресло, санитар его везет. Владимир Ильич знаками показывает, куда его везти; проезжает коридор, приемную комнату и подъезжает к буфету; показывает на его содержимое, заставляет вынуть все и принести на стол. Владимир Ильич становится веселым, оживленным, поддразнивает Надежду Константиновну за ее недогадливость и угощает всех присутствующих. Чрезвычайно упорно, до мелочей аккуратно он занимается речевыми и письменными упражнениями.

К Надежде Константиновне Владимир Ильич относился удивительно любовно и внимательно до последних дней. Она жертвовала для него всем. День проводился таким образом: утром, после прогулки они занимались, около часу был обед, затем час на отдых. В это время Надежда Константиновна подготовляла материал для занятий с Владимиром Ильичом — от двух до трех часов. По ночам она спала тоже очень мало и подготовляла материал для следующего дня. Владимир Ильич твердо

знал, что Надежда Константиновна после обеда должна отдыхать в своей комнате; она же шутя говорила: «Это время, так называемое, я сплю». Как-то приходим мы к Владимиру Ильичу, желая устроить ему ручную ванну. Владимир Ильич указывает осторожно на соседнюю дверь — Надежда Константиновна спит, шуметь нельзя... Приносят воду, наливают в сосуд, приходится двигаться по комнате, и все время Владимир Ильич следит, чтобы не было шума, все время улыбается и грозит пальцем, и когда все это было проделано без шума, он доволен и благодарит нас. Помню, как-то утром, в сырой день он сидит на террасе. Входит Надежда Константиновна. Он смотрит, есть ли на ней галоши, и когда видит, что нет, то сейчас же отсылает ее обратно.

В своем жизненном обиходе он был очень прост. По своему расположению его квартира в Кремле была неважная, было мало света и воздуха... В Горках дом был великолепный, и здесь, пока он был тяжело болен и не мог распоряжаться собой, он лежал в большой комнате; но когда он оправился, то выбрал небольшую комнату в два окна и там жил до самой смерти. Он был необычайно скромен в своих потребностях, начиная от костюма и кончая едой. Каждое лишнее блюдо, которое ему приготовляли, иногда ввиду диетических соображений, он встречал отрицательно и никаких индивидуальных забот о себе не любил. И диета, которую ему назначили, вызывала в нем отрицательное отношение, исключением быть в этом отношении он не любил, признавая порядок, заведенный для всех.

Два роскошные, комфортабельные кресла, привезенные для него из Англии друзьями, стояли без употребления, и Владимир Ильич был, видимо, очень доволен, когда одно из этих кресел облюбовал себе большой белый кот. Температура в его комнате поддерживалась в 12° — более высокой температуры Владимир Ильич не любил.

Несколько слов об отношении к окружающим, к населению, крестьянам. Когда Владимир Ильич выезжал на прогулку, он очень приветливо раскланивался со всеми, и нельзя было не отметить, что население относилось к нему необыкновенно тепло и приветливо. Например, я не забуду такого случая: в Горках производились большие мелиоративные работы, улучшалась малярийная местность, прорывали дренажные канавы, и работа-

ло много землекопов из Калужской губернии. Как-то вечером Владимир Ильич поехал кататься с Марией Ильиничной в автомобиле на Каширский тракт. Я пошел пройтись. Спускаюсь с горы и вижу: навстречу едет автомобиль — Владимир Ильич возвращается обратно. В это время пересекают дорогу два крестьянина: один пожилой, другой молодой. Когда автомобиль поравнялся со мной, я раскланялся с сидевшими в нем, а автомобиль замедлил ход, потому что был как раз подъем в гору. В это время вижу, крестьяне остановились, молодой впился глазами во внутренность автомобиля, стоит и смотрит. Только что автомобиль прошел, он обращается ко мне, в голосе надежда и страх разочарования: «Скажите, это Ильич?» Я говорю: «Да, Ильич». Он просиял: «Ну, слава богу. В Москве бывал, видел разных, и никогда его не привелось видеть; счастлив теперь, что увидел его». Действительно, была искренняя радость в лице этого человека и неподдельный страх, когда он боялся, что я отвечу: «Нет». Он бы думал, что он увидел Ильича, и вдруг бы его догадка оказалась неверной...

Простота его жизни была чрезвычайной, а отношение к окружающим в высшей степени любовное. Если человек живет в описанном болезненном состоянии, то вы можете себе представить, как это мучительно. Часто появлялась мысль о том, как развлечь больного. Ведь если его оставить со своими мыслями, то они направятся на волнующие вопросы — на политику, на мысли о болезни. Он героически переносил свою болезнь, настроение бывало хорошим, но временами он задумывался. Подойдете и видите, что он не с вами, где-то витает, не обращая внимания на окружающих; в эти моменты иногда вдруг на глазах Владимира Ильича появлялись слезы. Человеку было не легко... Старались придумывать что-нибудь, привезли небольшой кинематограф из Москвы, показывали разные фильмы, но его, конечно, интересовали только фильмы, касающиеся фабричного быта, организации фабричной жизни и крестьянской. Но если показывали фильмы веселого содержания, он не смотрел на них.

На Рождество была устроена елка для местных детей. Их собралось порядочно, дети играли, бегали, шумели. Владимир Ильич принимал очень живое участие в этом, сидя тут же. Возник вопрос: не утомился ли он, не мешают ли ему шум и беготня детей? Но он показал,

чтобы оставили детей в покое. Опять здесь видна забота о других и меньше всего о себе. До каких мелочей доходила у него заботливость о людях и внимание к ним, видно из следующего примера. Приехал к нему один старый товарищ. Владимир Ильич был очень доволен, очень оживленно беседовал с ним; потом выяснилось, что тот захватил с собой маленькую дочку. Тогда Владимир Ильич выискивает маленькие кукольные туфельки — надо сказать, что ему присылали различные кустарные изделия — и вот он вспомнил о них, отыскал и передал для маленькой девочки.

Когда пришел трагический конец Владимира Ильича, то весть об этом тотчас же разнеслась, и дом, в котором жил Ленин, наполнился людьми. Круглые сутки ходило окрестное население поклониться телу покойного. Когда тело перевезли из Горок в Москву, то вся дорога до станции (версты две с половиной) была одной сплошной процессией. Я уже не говорю о Москве, вы все читали об этом. Когда тело Владимира Ильича уже увезли из Горок, началось длительное паломничество из окрестностей: люди шли посмотреть дом, в котором он жил, комнату, в которой он умер. То, что происходило в Москве, вы знаете. Я только укажу на одно: в Колонном зале, где было выставлено тело, сплошной вереницей шли люди круглые сутки, а дефилирующая делегация мимо гроба, который был выставлен на Красной площади, проходила по-видимому, больше суток.

Несколько времени тому назад, будучи в Москве, я посетил Мавзолей Ленина — покойный лежит и выглядит так, как если бы он умер накануне...

Вот как окончилась жизнь этого замечательного человека. Его болезнь — это была величайшая трагедия, очень тяжелая трагедия. Это был человек необыкновенного ума, ума аналитического, который мог разбираться не только в окружающих, но и в самом себе. Я сказал, как он относился к своей болезни: он понимал ее тяжесть. И вы представляете себе положение такого человека, который всего достигал своей упорной деятельностью, своим словом, которое все ценили на вес золота — его партийные товарищи, члены правительства, для которых слово Ленина было законом,— и вдруг этот человек лишился способности говорить. И ведь это продолжалось не неделю, не две, а много месяцев — с марта 1922 года, в течение 11 месяцев продолжалось

такое состояние — глубокая трагедия, которую он переносил с поразительным спокойствием, с поразительным терпением.

Это был человек исключительного внутреннего достоинства и человек титанического ума».

СМЕРТЬ ВОЖДЯ

«Охлаждение между Лениным и Дзержинским началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу,— пишет Троцкий,— это и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина. Со смертного одра Ленин направлял свой удар против Сталина и Дзержинского...»

Но — поздно. В кремлевской склоке вождей ставка Дзержинского оказалась правильной. Паралич Ленина прогрессировал. На пятом году революции Ленин уже лишился речи, а на шестом умер. Дзержинскому выпала честь хоронить вождя.

Перед моим взором предстает пропахшая кислыми щами (за стеной — столовая) кремлевская квартира «наркома невидимого фронта». Софья Сигизмундовна Дзержинская пришла с работы, проверила уроки Ясика, поужинала вместе с сыном, уложила спать и принялась приводить в порядок его одежду. Мальчик есть мальчик — то придет с оторванными пуговицами, то пятно где-нибудь посадит.

Около полуночи пришел Феликс. Молча опустился на стул, даже фуражку не снял и замер, словно окаменел. Софья Сигизмундовна испугалась. Что с ним? Никогда не видела своего мужа в таком угнетенном состоянии.

— Феликс, что с тобой?

— Владимир Ильич умер,— ответил Феликс, не меняя позы.

— Что ты говоришь, Феликс?

— Ленин умер,— повторил Дзержинский.

Софья Сигизмундовна заплакала.

Как жить без любимого вождя? Что же теперь будет?

Ведь это так приятно, когда тобой умело руководят. И вдруг — руководителя не стало...

Ночью экстренно собрался Пленум ЦК. Он принял обращение ЦК РКП(б) «К партии. Ко всем трудящимся». Президиум ЦИК СССР образовал комиссию по организации похорон Владимира Ильича Ленина. Председателем комиссии назначен Дзержинский.

Феликс должен был организовать все!

Шесть суток непрерывного действия. Поток делегаций в Горки, траурный поезд с телом Ильича из Горок в Москву, девятьсот тысяч человек, прошедших перед гробом Ленина в Доме Союзов, подготовка Мавзолея и сами похороны — все требовало глубоко продуманной организации, четкого выполнения принятых решений.

Эти решения были обсуждены неоднократно.

Из стенограммы заседания комиссии 23 января 1924 г.

МУРАЛОВ:

...Кроме трудящихся нашего Союза Республик, естественно, желание возникает и у всего пролетариата увидеть своего вождя. Я полагаю, вполне целесообразным, поскольку позволят обстоятельства, с точки зрения врачебной и физиологической, устроить склеп так, чтобы все делегаты, откуда бы они ни приезжали, могли видеть Ильича. С того момента, когда будет опасность в смысле разложения, ведь мы сможем заделать склеп наглухо.

САПРОНОВ:

Как желательно: чтобы гроб только видели или гроб будет открытый?

ДЗЕРЖИНСКИЙ:

Конечно, только гроб...

ВОРОШИЛОВ:

Вся речь Н. И. Муралова — это чепуха. Я бы сказал позор. Он говорит, что выгодно, когда будут приезжать массы и поклоняться праху Ильича. Дело не в трупе. Мне думается, что нельзя нам прибегать к канонизированию. Это — эсеровщина. Нас могут просто даже не понять. В чем дело? Мы перестали быть марксистами-ленинцами. Если бы Владимир Ильич слышал речь Муралова, он не похвалил бы за это. Ведь культурные люди сжигают труп, и остается пепел в урне... Я был на могиле Маркса, чувствовал подъем... нужно устроить склеп, сделать хорошую могилу, но не открытую. Все

будут знать, что здесь лежит то, что осталось от нашего великого учителя, и сам он будет жить в наших сердцах... Не нужно превращаться под влиянием величайшего горя, которое настигло, в ребят, которые теряют всякий политический разум. Этого делать нельзя. Нас начнут травить наши враги со всех сторон. Крестьяне это поймут по-своему — они, мол, наших богов разрушали, посылали работников ЦК, чтобы разбивать мощи, а свои мощи создали. Кроме политического вреда, от этого ничего не получится. Я оставляю за собою право заявить Политбюро свое мнение.

БОНЧ-БРУЕВИЧ:

Политбюро постановило сделать склеп... Что касается того, чтобы оставить гроб открытым, это — вопрос очень большой. Политбюро этот вопрос не решало, был разговор только о склепе. Что касается канонизирования, то я не боюсь. Мы можем написать целый ряд статей, брошюр и т. д. по этому поводу. Я считаю, что нужно устроить просто склеп, как, например, имеется могила Достоевского, Тургенева...

ДЗЕРЖИНСКИЙ:

Быть принципиальным в этом вопросе — это быть принципиальным в кавычках. Что касается мощей, то ведь раньше это было связано с чудом, у нас никакого чуда нет, следовательно, о мощах не приходится говорить. Что касается культа личности, это не есть культ личности, а культ в некоторой степени Владимира Ильича... Здесь говорили, что В. И. протестовал бы против этого. Да, такие люди, как В. И., отличаются величайшей скромностью. Ведь мы другого Ильича не имеем. Он лично не мог бы здесь сказать что-либо, так как сам для себя он не судья, а второго, подобного ему, к кому бы это можно было применить, нет. Если наука может действительно сохранить его тело на долгие годы, то почему бы это не сделать. Царей бальзамировали просто потому, что они цари. Мы это сделаем потому, что это был великий человек, подобного которому нет. Для меня основной вопрос — можно ли действительно сохранить тело...

АВАНЕСОВ:

...Дело не в культе личности и т. д. Но тяжело все-таки видеть все время Ильича мертвым. Мне казалось, что было бы лучше на этом месте поставить памятник, хорошую скульптуру, изображающую его могучую фигуру. Почему она не может удовлетворить больше, чем

мертвое тело? Мне кажется, что все обстоятельства и наука и т. д. все-таки не дадут гарантии сохранения живости тела, придется создавать искусственную маску, почему же не сделать это в виде памятника?..

АБРИКОСОВ:

...Тот метод, к которому мы прибегли,— метод общепринятый. Он очень хорош и может явиться ручательством за то, что труп предохранится от гниения в течение нескольких лет, но в том случае, если не делается вскрытие, если кровеносные сосуды наливаются этой жидкостью и труп оставляется в таком виде. Так как в данном случае была необходимость сделать и вскрытие, то это вскрытие всегда несколько нарушает эффект бальзамирования. Это вполне понятно, потому что при вскрытии перерезаются сосуды, и из сосудов часть консервирующей жидкости вытекает, теряется... Резюмируя, я должен сказать, что будут происходить процессы высыхания и изменения внешнего облика. В дальнейшем могут присоединиться и процессы разложения, когда кожа высохнет как следует, сделается пергаментной, как это бывает на мумиях, а в тех частях, где не высохнет, подвергнется распаду. Имеется еще один способ... Теперь же наложить на лицо тонкую восковую маску, которой придать облик, соответствующий нормальному облику.

ДЗЕРЖИНСКИЙ:

Это нам нужно было все для сведения. Просить проф. Абрикосова послать нам справку о лучших специалистах по маскам и сообщить тов. Семашко.

МУРАЛОВ:

Можно ли разрешить снимать маску скульпторам?

АБРИКОСОВ:

...Сейчас я бы советовал совершенно не касаться лица.

ДЗЕРЖИНСКИЙ:

Запретить снимать какие бы то ни было маски и каким бы то ни было образом прикасаться к лицу. Не держать цветов около лица.

Из стенограммы 28 января.

БОНЧ-БРУЕВИЧ:

Вчера был вызван Абрикосов для осмотра тела Ильича, после того, как он был внесен в склеп. Он нашел, что тело замерзло, в особенности правая рука и, образовались красные жилки. Но это незаметно, как бывает

у живого человека. Замерзло одно ухо и лицо. Он принял меры...

МОЛОТОВ:

Я не в курсе дела. Абрикосов является специалистом по бальзамированию и сохранению тела. Нет ли других специалистов? Является ли он наилучшим и единственным, или он второпях так сделал, а теперь нужно более обдуманно это сделать и организовать более правильно? Можно специалиста пригласить из-за границы.

БОНЧ-БРУЕВИЧ:

Проверить всегда не мешает. Но я сам лично знаю Абрикосова. Это — крупнейшее имя в Европе.

МОЛОТОВ:

Можно ли ему довериться?

ДЗЕРЖИНСКИЙ:

Я думаю, не стоит сегодня поднимать этого вопроса. Нашу комиссию нужно будет ликвидировать, и ликвидация ее должна заключаться в том, чтобы создать целый ряд комиссий, которые бы занялись этим вопросом. Между прочим, вопрос о Мавзолее и сохранении тела является вопросом основным, над которым придется долго всем работать. Поэтому я думаю, что та комиссия, которую мы наметили на прошлом заседании, у нас 4 члена комиссии были, нужно в Политбюро внести, чтобы это была постоянная комиссия.

МОЛОТОВ:

У меня такое предложение. Пока комиссия пройдет в Политбюро, я предлагаю немедленно избрать продкомиссию в составе Енукидзе, Бонч-Бруевича и Семашко... А эта комиссия должна свое сообщение сделать в ту комиссию, которая будет постоянной. Я лично не знаю Абрикосова, может быть, он черносотенец, может быть, кто другой, который сделает это не с полной гарантией. На одного человека положиться в высшей степени опасно.

ЕНУКИДЗЕ:

...У меня общее опасение. Я по опыту лечения Владимира Ильича знаю, что чем больше врачей, тем хуже. Как бы еще не напортили!

Каких экспериментов только не проводили над Владимиром Ильичом... Ферстер и др. У них вечные споры и раздоры. А оказалось, что толком никто не лечил...

Из протокола заседания подкомиссии 29 января.

1. Доклад Н. А. Семашко. «Была вскрыта восходящая часть аорты и в отверстие из большого шприца под сильным давлением была влита по току крови консервирующая жидкость (раствор спирта, формалина, глицерина). Жидкость эта под напором шприца — точно так же, как кровь под напором сердца,— прошибла по всему телу и наполнила его. Видно было, как наполняется височная артерия... как свежеет лицо...

2. Об измерении температуры в склепе.

Просить т-ща Н. Семашко предоставить точный термометр из учреждений Наркомздрава (с десятыми долями градуса).

Я, нижеподписавшийся, Аросев, получил от тов. Беленького 24 января в 18 часов 25 минут вечера для Института В. И. Ленина стеклянную банку, содержащую мозг, сердце Ильича, и пулю, извлеченную из ЕГО тела.

Обязуюсь хранить полученное в Институте В. И. Ленина и лично отвечать за его полную сохранность и целостность.

Подпись: (Аросев).

Дзержинский хорошо обдумал похоронный обряд вождя. Он был исполнен в духе средневековой Польши и включал в себя целый ряд запрограммированных действий, складывавшихся в единое целое. Похороны Ленина живо напоминают о сильной власти средневековья над душой их организатора — Дзержинского.

Большевики на словах отвергали традиции, но традиции властвовали и над душами большевиков, проникали в подсознание, которое имеется даже у самых «железных».

Средневековый польский обряд похорон назывался «pompa funebris».

В траурной церемонии должны были участвовать близкие и далекие родственники покойного, друзья, должностные лица, десятки, а то и сотни представителей духовенства. Чтобы такая масса народа могла собраться, а хозяева дома могли бы заранее подготовиться к приему, требовалось время, в течение которого надо было произвести работы в костеле, построить катафалк и пр.

Иногда давались специальные распоряжения относительно захоронения сердца — его предпочитали помещать в каком-либо костеле, любимом при жизни.

К месту последнего успокоения покойного провожали отряды солдат и ксендзов, по пути следования в придорожных костелах служили мессы. Летом переходы происходили ночью. «Кондукт» (так называлась погребальная процессия) тянулся медленно через обширные пространства. Палатки, которые разбивали на стоянках, участие солдат уподобляли эту процессию военным переходам. От всего этого веяло слиянием религиозного и военного духа. В костеле при отпевании всех брало светское начало: до нас дошло много церковных сочинений, авторы которых резко выступают против потоков панегирического красноречия и излишней роскоши на похоронах.

Похороны заканчивались пиршеством с театральными выступлениями, богослужения перемежались охотами и приемами.

«Pompa funebris» включает в себя несколько обязательных элементов. Костел, где происходило отпевание, должен был быть украшен согласно определенной программе, источником каковой часто был, как указывают специалисты, трактат К. Менестрие, изд. в 1683 г. в Париже. Избиралась ведущая тема «кончетт», которая должна была быть воплощена в различных видах искусства, характеризуя личность умершего, его происхождение, деяния. Для этого применялись... статуи, персонифицирующие добродетели покойного, картины, девизы, эмблемы, изображения героических деяний, отдельные стихотворные инскрипции и т. п. Во всех этих программах велика была роль литературы — обильные цитаты из античных авторов перемежались с творениями местных панегиристов и строками священного писания.

По представленной программе делалось все убранство костела, фасада, алтаря, стен. В результате, появлялась своего рода кулисная декорация... Особую роль играл катафалк. Он мог быть различных типов: излюбленным был катафалк с балдахином, центрическое здание, обелиск, пирамида.

Декор собора делался по рисункам и проектам придворных магнатских художников руками местных мастеров. В него входило много скульптур: аллегорические фигуры, резьба прикладного характера (как фигурные

подставки под гроб, которые делали то в виде львиных лап, то в форме птиц или геральдических животных).

Отряды ксендзов Дзержинский заменил на отряды чекистов, костел на колонный зал Дома Союзов, и т. д.

Посмертную маску вождя доверили изготовить скульптору Сергею Меркурову, который в свое время учился в Академии художеств в Мюнхене, работал в Париже. Скульптор оставил воспоминания.

«Ночь с 21.1 на 22.1.1924 года.

Мороз. Пурга. Лес. Измайлово.

Вечер.

Работаю в полушубке. Холодно. В большое окно студии стучит ветер. Слышно, как кругом в лесу кряхтят и стучат старые сосны.

Задребезжал телефон.

— Что ты делаешь?

— Работаю.

— Что так поздно?

— Какое «поздно», ведь только 8 часов.

— А ты будешь все время в мастерской?

— Что, прикажешь в такой мороз и пургу в лес идти?

— Ну, прости! Работай.

Через пять часов опять звонок.

— Что, ты работаешь?

— Да!

— Прости, мы здесь в Совете поспорили, хотим проверить: скажи пожалуйста, что нужно, чтобы снять чью-нибудь маску?

— Четыре кило гипса, немного стеариновой мази, метр суровых ниток и руки хорошего мастера.

— Все?

— Все!

— Спасибо. Прости за беспокойство. Ты все будешь работать и никуда не уйдешь?

— Нет, не уйду.

Пурга в лесу. Собака жмется в печи.

Снова дребезжит телефон.

— Сейчас за тобой будет автомобиль. Приезжай в Совет, ты нужен.

Через час стук в двери. Автомобиль у опушки леса. Не добрались.

— Одевайся. Едем. Ты нужен по делу. Узнаешь в Совете.

Как был в полушубке, вышли. Дошли до автомобиля. Приехали в Московский Совет.

Мертвые комнаты. Неестественная тишина. Огни потушены. Темно. Кое-где горят дежурные лампочки. В одном углу большой комнаты два товарища во всем кожаном. За поясом оружие. Ждут меня.

— Вот ты поедешь с ними.

— Куда?

— А туда, куда надо. Приедешь и узнаешь!

Автомобиль подан. Я прощаюсь.

— Итак, до завтра.

В автомобиле. По бокам два товарища в кожаном. Мой полушубок мало спасает меня от холода. Автомобиль идет по Замоскворечью. Мы у Павелецкого вокзала. Нас встречает человек десять — в штатском пальто. Под пальто замечаю военную форму. Мелькает мысль: если вопрос касается меня, то десять человек для меня слишком много, могли обойтись двумя-тремя. Значит, я отпадаю. Мысли совершенно отказываются работать.

Ко мне подходят.

— Вам придется довольно долго ехать в автодрезине. Будет холодно. Наденьте еще вот эту шинель.

Я в автодрезине. С двух сторон два товарища в кожаном. Последние распоряжения.

Все закрывается кругом. Замахали сигнальными огнями, засвистело, загудело, и мы понеслись в ночную мглу. Только на станциях и полустанках нас встречали огнями, и мы неслись дальше. Наконец, красный огонь. Мы останавливаемся. Предлагают выходить.

Платформа. Ночь. Мороз. Трудно дышать. Мгла.

— Товарищи, а что теперь?

— Нам приказано доставить нас на эту платформу и ждать дальнейших распоряжений. Больше мы ничего не знаем.

Хожу по платформе. Мгла. Через четверть часа около платформы вырисовываются силуэты саней. Предлагают сесть в сани. Едем дальше. Освещенные ворота. Часовой в тулупе пропускает нас. Шагаю через двор — не узнаю двора. Я уже в помещении. Кто-то в форме ГПУ докладывает по телефону:

— Приехал Меркуров.

Меня вводят в полутемную комнату и предлагают сесть. Сажусь в угол, в глубокое кресло. В это время открывается дверь: в просвете два женских силуэта —

направляются к другим дверям. Открывают двери в большую комнату; там много света, и, к моему ужасу, я вижу лежащего на столе Владимира Ильича... Меня кто-то зовет.

Все так неожиданно — так много потрясений, что я как во сне.

У изголовья Владимира Ильича стоит Надежда Константиновна. Она крепится. Но безмерное горе задавило ее.

В противоположной стене полуоткрыты двери в темную комнату. В дверях застывшая в горе Мария Ильинична.

Слышу тихий голос Надежды Константиновны: «Да, вы собрались лепить бюст Владимира Ильича, ему все было некогда позировать и вот теперь... маску...»

В комнате я нахожу все, что мне нужно для снятия маски.

Подхожу к Владимиру Ильичу, хочу поправить голову — склонить немного набок. Беру ее осторожно с двух сторон: пальцы просовываю за уши, к затылку, чтобы удобнее взять за шею. Шея и затылок еще теплые. Ильич лежит на тюфяке и подушке. Но что же это такое?! Пульсируют сонные артерии! Не может быть! Артерии пульсируют! У меня страшное сердцебиение. Отнимаю руки. Прошу увести Надежду Константиновну.

Спрашиваю у присутствующего товарища, кто констатировал смерть.

— Врачи.

— А сейчас есть кто-нибудь из них?

— А что случилось?

— Позовите мне кого-нибудь.

Приходит.

— Товарищ, у Владимира Ильича пульсирует сонная артерия вот здесь, ниже уха.

Товарищ нащупывает. Потом берет мою руку, откидывает край тюфяка от стола и кладет мои пальцы на холодный стол. Сильно пульсируют мои пальцы.

— Товарищ, нельзя так волноваться — пульсирует не сонная артерия, а ваши пальцы. Будьте спокойны. Сейчас вы делаете очень ответственную работу.

Слова возвращают меня к реальности.

Маска — исторический документ чрезвычайной важности. Я должен сохранить и передать векам черты

Ильича на смертном одре. Я стараюсь захватить в форму всю голову, что мне почти удается. Остается незаснятым только кусок затылка, прилегающий к подушке.

В темных дверях неподвижно стоит Мария Ильинична.

За время работы она не вздрогнула.

Я чувствую ее застывший взгляд.

В голове у меня мелькает художник Каррьер с его полотнами в полутенях — в полумраке.

Наконец к четырем часам утра работа готова.

Меня торопят. Приехали профессора для вскрытия. Последний прощальный взгляд.

В Комиссию ЦИК по организации похорон В. И. Ленина
Скульптор С. Д. Меркуров

Заявление

По поручению Л. Б. Каменева мной была снята гипсовая маска В. И. Ленина в Горках в день смерти в 4 часа утра. Тогда же я снял слепки кистей рук, правой и левой. Правая кисть была сведена, поэтому я принужден был снять ее в сжатом виде. После осмотра этих работ Л. В. Каменев поручил мне отлить и отпанировать слепки для следующих товарищей: 1. Н. К. Крупской, 2. М. И. Ульяновой, 3. А. И. Елизаровой-Ульяновой, 4. Г. М. Кржижановскому, 5. Л. Б. Красину, 6. Ф. Э. Дзержинскому, 7. В. В. Куйбышеву, 8. А. Д. Цурюпе, 9. ЦК РКП, 10. И. В. Сталину, 11. М. П. Томскому, 12. Л. Д. Троцкому, 13. Г. Е. Зиновьеву, 14. Л. Б. Каменеву, 15. А. И. Рыкову, 16. Я. Э. Рудзутаку, 17. В. М. Молотову, 18. М. И. Калинину, 19. Н. И. Бухарину, 20. МК РКП. Теперь мной выполняется эта работа, и по мере исполнения маски доставляются вышеуказанным товарищам. Оригинал задерживался мной, так как мне необходимо было делать с него клеевую форму для отливки.

В настоящее время работа по отливке закончена, и маска и кисти рук доставлены в Институт В. И. Ленина.

Довожу до сведения Комиссии, что мной начаты по своей инициативе работы по выполнению означенной маски из мрамора, а также начат бюст, и я приступил

к предварительным работам по исполнению гранитной фигуры В. И. Ленина.

26.02.1926 г., Москва.

22 января в Горках профессором Абрикосовым произведено вскрытие тела, продолжавшееся почти 5 часов. В результате его появился акт о патолого-анатомическом состоянии умершего. Немедленно опубликованный в газетах, он произвел на многих шокирующее впечатление. Этот акт говорит решительно обо всем, что в болезненном или здоровом состоянии находилось внутри Ленина. Все было вскрыто. Ничто не оставлено без анализа. Обо всем и всех изъянах дан самый детальный отчет — о головном мозге, покрове черепа, сердце, легких, брюшной полости, селезенке, почках, мышечной системе. Никаких анатомических секретов, все показано. Этот анатомический акт был напечатан одновременно с выражением чувств любви, скорби, почтения к умершему.

О похоронах Ленина оставила воспоминания и Софья Мушкат-Дзержинская. Она тоже любила похороны, марш Шопена был для нее любимой с детства музыкой.

«Никогда не забуду тяжелых январских дней, когда непрерывно днем и ночью тысячи и тысячи людей стояли на трескучем морозе на улицах Москвы, согреваясь у костров, в ожидании доступа в Колонный зал Дома Союзов, чтобы взглянуть на дорогое лицо и отдать последний долг безвременно ушедшему от нас вождю, отцу и другу».

25 января 1924 года Дзержинский как председатель комиссии по похоронам В. И. Ленина разослал по радио всем республикам, областям, губисполкомам СССР, Реввоенсовету, ВСНХ и всем Наркомам Союза распоряжение, согласно которому, 27 января в 16 часов по московскому времени в момент опускания гроба В. И. Ленина был произведен одновременный военный салют по всей территории СССР. На фабриках и заводах СССР в течение трех минут раздавались траурные гудки; работа на всех предприятиях и движение на транспорте были приостановлены на 5 минут.

О смерти великого вождя вместе с советским народом скорбили трудящиеся всего мира; в день похорон рабо-

чие многих капиталистических стран остановили на 5 минут работу.

По желанию народа, правительство приняло решение о бальзамировании тела В. И. Ленина. Это было поручено группе ученых во главе с акад. В. П. Воробьевым. Дзержинский, являвшийся членом комиссии по увековечению памяти Ленина, помогал ученым в их трудной и ответственной работе. Об этом ярко написал принимавший непосредственное участие в сохранении тела В. И. Ленина проф. В. И. Збарский в своей брошюре «Мавзолей Ленина».

Первые дни В. П. Воробьеву и В. И. Збарскому приходилось круглые сутки непрерывно работать в Мавзолее. Без сна и отдыха они настолько переутомились, что едва держались на ногах. Узнав об этом, Дзержинский вызвал к себе проф. Збарского и взял с него слово, что он и акад. Воробьев будут поочередно отдыхать.

В тот же день Феликс распорядился проложить к Мавзолею трамвайные рельсы и провода, что и было сделано в течение одной ночи. На следующий день возле Мавзолея появился специально оборудованный вагон трамвая с постелями, умывальными принадлежностями, электрическими плитами и т. д. В этом вагоне ученые отдыхали и получали горячую пищу.

После месяца трудной работы над консервацией тела В. И. Ленина акад. Воробьев уехал на несколько дней в Харьков. В его отсутствие проф. Збарскому показалось, что на лице Владимира Ильича появились некоторые изменения.

В 2 часа ночи проф. Збарский направился в ОГПУ и из комнаты секретаря Дзержинского срочно вызвал по телефону акад. Воробьева, потребовал его немедленного приезда. По слова В. И. Збарского, он был крайне взволнован, разговаривая с В. И. Воробьевым. Когда разговор был окончен, и Збарский повернулся, он с изумлением увидел перед собой Феликса Дзержинского.

— Что с вами? — спросил Дзержинский.— На вас лица нет. Разве так можно волноваться?

Он пригласил профессора Збарского в свой кабинет и в течение двух часов разговаривал с ним, успокаивая его.

«Я ушел успокоенный,— рассказывает Збарский.— Вспоминая много раз ту ночь, я вижу перед собой чудесного Феликса Эдмундовича».

И в течение всей трудной работы ученых в Мавзолее Дзержинский продолжал оказывать им помощь. «Он это выполнял с такой чуткостью,— вспоминал В. И. Збарский, с таким тактом, что удачными результатами нашей работы мы во многом обязаны ему».

«ПРЕКРАСНАЯ СМЕРТЬ НА БОЕВОМ ПОСТУ»

«Железный Феликс» умер на боевом посту. А как же иначе? Для чекиста такая смерть — естественна. Вот если бы переплетчик умер в мастерской — я бы удивился и выразил соболезнования, а чекистов можно не жалеть, ведь им была неведома жалость.

ВЧК — советская инквизиция. Председатель ВЧК — великий инквизитор с «чистыми руками». Руки чисты, потому что кровь людей — не грязь, она святая, как сама жизнь.

Советские карательные органы, как и средневековая инквизиция, действовали из «благочестивых побуждений». Они были «вынуждены» карать, мучить, прибегать к террору. Они стремились внушить и доказать всему миру, что эти кары не зло, а «спасительное лекарство»...

Торквемада считался подлинным творцом и идеологом испанской инквизиции. Судя по всему, Дзержинский, как и Торквемада, не любил людей, не доверял им, и считал себя инструментом божественного провидения. Со спокойной совестью истреблял их. Только Богом Дзержинского была партия.

Из воспоминаний заместителя председателя ОГПУ В. Р. Менжинского: «В чем же был секрет его неотразимого действия на людей?

Не в литературном таланте, не в ораторских способностях, не в теоретическом творчестве.

У Дзержинского был свой талант, который ставит его на свое, совершенно особенное место. Это моральный талант, талант непреклонного революционного действия и делового творчества, не останавливающегося ни перед какими препятствиями, не руководимого никакими по-

бочными целями, кроме одной — торжество пролетарской революции.

Его личность внушала непреодолимое доверие.

Возьмите его выступления. Он говорил трудно, неправильным русским языком, с неверными ударениями, все это было неважно. Безразлично было построение речи, которую он всегда долго готовил, уснащая ее фактами, материалами, цифрами, десятки раз проверенными и пересчитанными им лично.

Важно было одно — говорил Дзержинский. И в самой трудной обстановке по самому больному вопросу его встречала овация и провожала нескончаемая овация рабочих, услышавших слово СВОЕГО Дзержинского, хотя бы по вопросу о том, что государство не в силах прибавить им заработной платы».

Дзержинский внешне отличался скромностью и простотой нравов, но под этой лицемерной оболочкой скрывалось неограниченное честолюбие, жажда славы, неуемная страсть к власти.

У попавших в адскую машину ЧК (ГПУ) были ничтожные шансы на спасение. Участь жертв была заранее предрешена. Невиновность доказать невозможно... Да и какую невиновность? Невиновность по отношению к дьявольскому тоталитарному режиму? Для этого самому надо быть чертом. Методы работы с задержанными и обвиняемыми у инквизиции и ЧК (ГПУ) были сходны — жертвы всегда были виновны.

Иезуит Фредрих Шпе, исповедовавший сотни ведьм, прошедших через застенки инквизиции в Вюрсбурге, писал в 1631 году в своем трактате: «Если обвиняемая вела дурной образ жизни, то, разумеется, это доказывало ее связи с дьяволом; если же она была благочестива и вела себя примерно, то ясно, что она притворялась, дабы своим благочестием отвлечь от себя подозрение в связи с дьяволом и в ночных путешествиях на шабаши. Если она обнаруживает на допросах страх, то ясно, что она виновна: совесть выдает ее. Если же она, уверенная в своей невиновности, держит себя спокойно, то нет сомнений, что она виновна, по мнению судей, ведьмам свойственно лгать с наглым спокойствием. Если она защищается и оправдывается против возводимых на нее обвинений, это свидетельствует о ее виновности; если же в страхе и отчаянии от чудовищности возводимых на нее поклепов она падает духом и молчит, это уже прямое

доказательство ее преступности... Если несчастная женщина на пытке от нестерпимых мук дико вращает глазами, для судей это значит, что она видит своего дьявола и смотрит на него. Если она находит в себе силу переносить ужасы пытки, это значит, что дьявол ее поддерживает, и что ее необходимо терзать еще сильнее. Если она не выдерживает и под пыткой испускает дух, это значит, что дьявол умертвил ее, дабы она не сделала признаний и не открыла тайны».

Итак, палач всегда прав, а жертва виновна. Но приходит время, к палачам приходит Смерть, и они оказываются бессильными...

Смерть пришла к Феликсу Дзержинскому в 1926 году.

Феликс переживал глубокое нервное истощение, связанное с «кризисом в партии». На XIV съезде партии было принято решение об индустриализации страны. Пожалуй, никого из наркомов это решение не касалось так непосредственно, как Дзержинского: руководство индустрией было поручено ему. За это время финансовый голод в промышленности ничуть не уменьшился — напротив, возрос. Денег на индустриализацию — строительство новых советских фабрик и заводов — катастрофически не хватало. В очередной раз был объявлен режим «строжайшей экономии». В это же время на фабрики и заводы хлынул из деревни поток новых рабочих — «несознательных».

Из доклада Дзержинского на XXIII чрезвычайной Ленинградской конференции ВКП(б) в феврале 1926 года:

«...Крестьяне, чернорабочие, которые впервые приходили на фабрики и относились к производству, безусловно не как к своему пролетарскому делу, а как к тому, что не является их кровным делом.

Ряд донесений с Юга и Урала с несомненностью показывают, что очень часто вновь приходящие на фабрику смотрят на нее, как на чужую, стремясь только что-нибудь урвать и использовать для себя.

Эти новые пришедшие рабочие не прошли той героической мученической школы, которую прошел наш фабрично-заводской пролетариат в своей борьбе с самодержавием, с капитализмом.

Они подходят к предприятию, как к чему-то чужому.

Как профсоюзы, так и партийные организации долж-

ны посвятить особое внимание тому, чтобы переварить в котле пролетарской политики и пролетарской солидарности тех вновь пришедших, которые должны научиться видеть в заводе или фабрике основу социализма, а не подсобное предприятие для своего хозяйства».

Это противоречие так и не было разрешено! Если смотреть на предприятие как на «свое», то почему бы не вынести оттуда что-нибудь «для своего хозяйства»? Даже из кремлевской переплетной мастерской мы выносили клей, коленкор и другие материалы... Да и сам Феликс Дзержинский в период работы в переплетной мастерской в Ковно выносил бумагу, краску и другие материалы, необходимые для гектографирования листовок и прокламаций.

Из доклада на чрезвычайной Ленинградской партконференции:

«Одним из органических недостатков нашей внешней торговли было то, что внешняя торговля была не только государственной монополией, но монополией одного ведомства (Наркомвнешторг), которое к другим, весьма заинтересованным ведомствам относилось враждебно, замкнуто.

На этой почве происходили в торгпредствах и разных торговых организациях неслыханные злоупотребления и ужасное загнивание».

Из речи Дзержинского на Пленуме ЦК партии в апреле 1926 года:

«Почему крестьянин не дает нам хлеба?

Да потому, что мы не даем ему товаров. Стоит только посмотреть, какая у нас еще организация производства, какие у нас раздутые штаты, какой страшный неслыханный бюрократизм не только в составлении планов, а на каждом шагу...

Там, где может работать один человек, там есть зам., пом. зама и к нему секретарь — и так без конца».

Нервы организатора «красного террора» были на пределе.

Из письма Дзержинского — Куйбышеву:

«Дорогой Валериян!

Я сознаю, что мои выступления не могут укрепить тех, кто наверняка поведет партию и страну к гибели, т. е. Троцкого, Зиновьева, Пятакова, Шляпникова.

Как же мне, однако, быть?

У меня полная уверенность, что мы со всеми врагами

справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством.

Если не найдем этой линии и темпа, оппозиция наша будет расти и страна тогда найдет своего диктатора — похоронщика революции, какие бы красные перья не были на его костюме...

От этих противоречий устал и я».

Эти слова были написаны 3 июля 1926 года.

Оставалось всего семнадцать дней до того часа, когда все поняли, до чего же безмерно он устал.

20 июля был Пленум. Дзержинский незадолго до этого перенес приступ грудной жабы. Врачи считали, что выступать на Пленуме ему нельзя. Феликс был уверен — лучше смерть, чем не выступить на Пленуме.

На Пленуме Дзержинский обрушился с критикой на оппозицию:

«Надо сказать, что область, у которой народным комиссаром стоит Каменев, является больше всего неупорядоченной, больше всего поглощающей наш национальный доход.

При чем тут развитие нашей промышленности?

Пятаков предлагает, со свойственной ему энергией, все средства, откуда бы они не шли, гнать в основной капитал.

Но именно такая постановка — разве она не есть сдача позиций частному капиталу. Если мы в наших промышленных и торговых организациях изымем и обратим оборотные средства на основной капитал, ясно, что частник на рынке сможет овладеть процессом обращения.

Если говорят вообще о росте частного капитала, это неправильно, но есть участки, на которых он растет и развивается. Это именно те участки, которыми ведает Каменев, участки заготовок среди крестьянства.

А если вы посмотрите на наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления...

От всего этого я прихожу прямо в ужас. Я не раз приходил к председателю СТО и Совнаркома и говорил: «Дайте мне отставку или передайте мне Наркомторг, или передайте мне из Госбанка кое-что, или передайте мне и то и другое!»

В этом месте Каменев перебил:

— Чтобы Дзержинский не засаживал 45 млн. руб. напрасно.

Это значило, что крыть нечем: про 45 миллионов, которые «засадили напрасно», пять минут назад Дзержинский сказал сам: тресты Главметалла «припасли» материалов сверхнормы на 45 миллионов рублей.

Дзержинский ответил на реплику Каменева относительно спокойно:

— Для того, чтобы Дзержинский не засаживал 45 млн. руб. напрасно. Да, да!

И снова Каменев:

— Вы 4 года нарком, а я только несколько месяцев.

Дзержинский:

— А вы будете 44 года, и никуда не годны, потому что вы занимаетесь политиканством, а не работой. А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем?

Я не щажу себя, Каманев, никогда!»

Каменеву не суждено было быть наркомом 44 года. Но это отдельная история...

Для нас важно, что в то время, когда Дзержинский ругался с Каменевым, смерть вплотную подобралась к «железному» Феликсу. А он думал о партийных и хозяйственных проблемах, о бесчисленных врагах...

Софья Мушкат-Дзержинская оставила воспоминания о смерти мужа — советского инквизитора.

«В июле 1926 года состоялся Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). Феликс был болен. Еще в конце 1924 года у него был первый приступ грудной жабы. Врачи потребовали, чтобы он ограничил свою работу до четырех часов в день, но он категорически отверг это требование и по-прежнему продолжал работать 16—18 часов в сутки.

За несколько недель перед Пленумом ЦК и ЦКК он начал тщательно готовиться к нему, подбирая материалы и цифры для опровержения лживых данных о положении народного хозяйства, распространяемых троцкистско-зиновьевской оппозицией.

По воскресеньям, будучи на даче за городом, вместо отдыха он сидел над бумагами, проверял представляемые ему отделами ВСНХ таблицы данных, лично подсчитывал целые столбцы цифр (он, как и раньше, не чурался никакой черной работы). Я помогала ему в этом.

В последнее воскресенье перед смертью Феликс сразу после обеда вернулся с дачи в Москву и работал в ОГПУ до поздней ночи, готовясь к своему выступле-

нию на Пленуме. В понедельник, как и всегда, в 9 часов утра он был уже на работе, а потом на заседании президиума ВСНХ, где выступил с речью по вопросу о контрольных цифрах промышленности на 1926—27 год. В этот день я увиделась с ним лишь в 2—3 часа ночью, когда он страшно усталый вернулся домой.

На следующий день, 20 июля 1926 года, он встал в обычное время и к 9 часам уехал в ОГПУ, чтобы взять недостающие ему материалы. Он ушел из дома без завтрака, не выпив даже стакана чаю. Обеспокоенная этим, я позвонила в ОГПУ секретарю Феликса В. Герсону и попросила организовать для Феликса завтрак, но его самочувствие было, по-видимому, настолько плохое, что он отказался что-либо взять в рот. И так, совсем натощак, он направился в Большой Кремлевский дворец на очередное заседание Пленума.

В 12 часов он выступил на Пленуме с большой пламенной речью, посвященной исключительно хозяйственным вопросам. Но как раз по этим вопросам троцкистско-зиновьевская оппозиция направляла свои нападки на ленинское руководство Центрального Комитета. Это была его последняя речь. В ней он резко критиковал троцкистов и зиновьевцев, мешавших партии в ее созидательной работе. Дзержинский горячо отстаивал линию партии, которая была единственно правильной. Оппозиционеры прерывали его, бросали реплики, пытаясь вывести из равновесия, но Феликс, приводя факты, продолжал разоблачать их антиленинскую деятельность.

В этой речи он произнес знаменательные слова, правдиво характеризующие его: «Я не щажу себя... никогда. И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них».

Этими словами он невольно дал не только верную характеристику себе, но и отношение к нему партии. Речь свою Феликс закончил словами, направленными против оппозиции: «...Все те данные, и все те доводы, которые здесь приводила наша оппозиция, основаны не на фактических данных, а на желании во что бы то ни стало помешать той творческой работе, которую Политбюро и Пленум ведут».

Присутствующий на июльском Пленуме ЦК и ЦКК член ЦК Чехословацкой компартии Б. Шмераль так

описал эту последнюю речь Феликса Эдмундовича: «Он говорил с большой энергией, абсолютно деловито, но со страстной горячностью, когда он в своей речи касался интересов партии. Последнюю фразу... он произнес твердо и почти с торжественной серьезностью. На поверхностного наблюдателя он мог произвести впечатление крепкого, здорового человека. Но от тех, которые особенно внимательно присматривались, не ускользнуло, что он часто судорожно прижимал левую руку к сердцу. Позже он обе руки начал прижимать к груди... Мы знаем, что свою последнюю большую речь он произнес, несмотря на большие физические страдания.

Это прижимание обеих рук к сердцу было сознательным жестом сильного человека, который всю свою жизнь считал слабость позором и который перед самой смертью не хотел, пока он не закончит своей последней речи, показать, что физически страдает, не хотел казаться слабым».

Я со своей стороны думаю, что главной причиной того, что Феликс, несмотря на сильную физическую боль, довел речь до конца, было чувство партийного долга, стремление высказать все, что он считал необходимым для разоблачения оппозиции.

Еще за несколько дней до выступления на Пленуме ЦК и ЦКК у Феликса было несколько сердечных приступов, о которых он, однако, никому ничего не говорил.

Об этом стало известно лишь после смерти Феликса из сделанных им в блокноте записей. Эти записи он сделал, по-видимому, потому, что после Пленума хотел показаться профессору. До Пленума он избегал врачей, боясь, что они запретят ему выступление.

Во время речи на Пленуме ЦК и ЦКК у Феликса повторился тяжелый приступ грудной жабы. Он с трудом закончил свою речь, вышел в соседнюю комнату и прилег на диван.

Здесь он оставался несколько часов, отсылая врачей и вызывая к себе из зала заседания товарищей, расспрашивая их о дальнейшем ходе прений и выдвигая новые факты и аргументы против оппозиции, которые сам не успел привести.

Спустя три часа, когда закончилось заседание и сердечный приступ у Феликса прошел, он с разрешения врачей поднялся и медленно по кремлевским коридорам пошел в свою квартиру, находившуюся в корпусе против

Большого Кремлевского дворца рядом с Оружейной палатой.

Я в это время работала в агитпропе ЦК ВКП(б), где руководила Польским бюро. Надеясь встретиться с Феликсом в кремлевской столовой во время перерыва в заседаниях Пленума ЦК ЦКК, я раньше обычного пошла в столовую, находившуюся тогда в Кремле в несуществующем уже сейчас так называемом Кавалерском корпусе. (Сын наш был тогда на даче). Феликса там не было, и мне сказали, что обедать он еще не приходил. Вскоре в столовую пришел Я. Долецкий (руководитель ТАССа) и сказал мне, что Феликс во время речи почувствовал себя плохо; где он находится в данный момент, Долецкий не знал. Обеспокоенная, я побежала домой, думая, что Феликс вернулся уже на нашу квартиру.

Но и здесь его не было. Я позвонила в ОГПУ секретарю Феликса В. Герсону и узнала от него, что у Феликса был тяжелый приступ грудной жабы, и что он лежит еще в одной из комнат Большого Кремлевского дворца. Не успела я закончить разговор с Герсоном, как открылась дверь в нашу квартиру и в столовую, в которой я в углу говорила по телефону, вошел Феликс, а в нескольких шагах за ним сопровождавшие его А. Я. Беленький и секретарь Феликса по ВСНХ С. Реденс. Я быстро положила трубку телефона и пошла навстречу Феликсу. Он крепко пожал мне руку, и, не произнося ни слова, через столовую направился в прилегающую к ней спальню. Я побежала за ним, чтобы опередить его и приготовить ему постель, но он остановил меня обычными для него словами: «Я сам». Не желая его раздражать, я остановилась и стала здороваться с сопровождающими его товарищами. В этот момент Феликс нагнулся над своей кроватью, и тут же послышался необычный звук: Феликс упал без сознания на пол между двумя кроватями.

Беленький и Реденс подбежали к нему, подняли и положили на кровать. Я бросилась к телефону, чтобы вызвать врача из находившейся в Кремле амбулатории, но от волнения не могла произнести ни слова. В этот момент вошел в комнату живший в нашем коридоре Адольф Варский и, увидев лежащего без сознания Феликса, вызвал по другому телефону врача. Л. А. Вульман сделал Феликсу инъекцию камфоры, но было уже слишком поздно. Феликс был уже мертв. Это произошло

20 июля 1926 года в 16 часов 40 минут. Ему не исполнилось еще 49 лет.

В обращении ЦК и ЦКК ВКП(б) «Ко всем членам партии. Ко всем рабочим. Ко всем трудящимся. К Красной армии и флоту» от 20 июля 1926 года говорилось:

«Товарищи!

Сегодня партию постиг новый тяжелый удар. Скоропостижно скончался от разрыва сердца товарищ Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший борец коммунистической революции, неутомимый строитель нашей промышленности, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев.

Товарищ Дзержинский умер внезапно, придя домой после своей речи — как всегда страстной — на Пленуме Центрального Комитета. Его больное, в конец перетруженное сердце, отказалось работать, и смерть сразила его мгновенно. Славная смерть на передовом посту!

Да здравствует коммунизм!

Да здравствует наша партия!»

На другой день после смерти Дзержинского начались коммунистические словословия в обязательно-елейном тоне и причитания плакальщиков в честь умершего вождя. Тут были и фальшь, но тут была и искренность. Вместе с Дзержинским сама партия схватилась за сердце: ушел наиболее яркий воплотитель полицейской диктатуры коммунизма. В лице Дзержинского из коммунистической машины выпал важный винт. Это был тип идеального коммуниста, к тому же гениальный чекист.

Он был абсолютно равнодушен к интересам страны, народа, ко всему, кроме одного,— диктатуры своей партии, то есть — диктатуры коммунистической аристократии. А об этом стоило плакать.

Максим Горький плакал: «Нет, как неожиданна, не своевременна и бессмысленна смерть Дзержинского. Черт знает что!» Троцкий написал почти что стихотворение в прозе: «Законченность его внешнего образа вызывала мысль о скульптуре, о бронзе. Бледное лицо его в гробу под светом рефлекторов было прекрасно. Горячая бронза стала мрамором. Глядя на этот открытый лоб, на опущенные веки, на тонкий нос, очерченный резцом, думалось: вот застывший образ мужества и верности. И чувство скорби переливалось в чувство гордости: таких людей создает и воспитывает только пролетарская революция. Второй жизни никто ему дать не может.

Будем же в нашей скорби утешать себя тем, что Дзержинский жил однажды». И как во времена испанской инквизиции поэты спасались от подозрений соответствующими посвящениями своих стихов, так и во времена коммунистической инквизиции нашлись поэты, посвятившие стихи смерти «гениальному чекисту». Один из них, Николай Асеев, оплакал Дзержинского так:

Время, время! Не твое ли зверство
Не дает ни сил, ни дней сберечь!
Умираем от разрыва сердца,
Чуть прервав, едва окончив речь!

К гробу чекисты понесли венки; лучший из них, бесспорно, был привезен тульским ГПУ, венок был сделан из винтовок, револьверов и скрещенных шашек.

Правящая же партия среди прочего материала выбросила на газетные столбцы жуткую цитату из самого Дзержинского: «Если б пришлось начать жизнь снова, я бы начал ее так же». И, утверждая в потомстве память о пролитой крови, страшную в сознании народа ЛУБЯНСКУЮ площадь коммунистическое правительство переименовало в площадь Дзержинского.

Его товарищи по ордену «Серпа и молота» давно канонизировали главу террора как «коммунистического святого» и, вспоминая о нем, не щадят нежнейших названий, чтоб охарактеризовать его душу «рыцарь любви», «голубиная кротость», «золотое сердце», «несказанно красивое духовное существо», «обаятельная человеческая личность». А поэт Маяковский даже посвятил вдохновителю всероссийского убийства такие строки:

Юноше, обдумывающему житье,
Решающему — сделать бы жизнь с кого? —
Скажу не задумываясь: «Делай ее
С товарища Дзержинского!»

Дзержинский умер, отдав все свои силы любимому детищу — ВЧК (ГПУ). Детище оказалось на редкость жизнестойким, породив бесчисленное множество «красных палачей».

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МАВЗОЛЕЕ

Лучше быть переплетчиком, чем работником Мавзолея!

Посвятить всю свою жизнь одной мумии — что может быть страшнее!

Геродот упоминает о трех способах мумификации. Самый совершенный, пишет он, заключается в том, что «прежде всего с помощью железного крючка извлекают из головы через ноздри мозг; так извлекается, впрочем, только часть мозга, другая часть — посредством вливаемых туда медикаментов; потом острым эфионским камнем делают в паху разрез и тотчас вынимают из живота все внутренности; вычистивши полость живота и выполоскавши ее пальмовым вином, снова вычищают ее перетертыми благовониями; наконец, живот наполняется чистой растертой сирной, касией и прочими благовониями, только не ладаном, и зашивается. После этого труп кладут в самородную щелочную соль на семьдесят дней...

По прошествии семидесяти дней покойника обмывают, все тело обворачивают в тонкий холст, порезанный в тесьмы и снизу смазанный гумми, который в большинстве случаев употребляется у египтян вместо клея. Когда родственники получают труп обратно, приготовляют деревянную человекоподобную фигуру (саркофаг), кладут туда труп, закрывают ее и сохраняют в могильном склепе...»

Однако мумификация далеко не всегда обеспечивала сохранность тела усопшего. Поэтому египтяне из твердых пород камня и дерева изготовляли портретные статуи, которые в случае гибели тела служили местом обитания души. Эти статуи помещались в специальные замурованные камеры (сердабы), лишь через узкую щель, пробитую на высоте глаз, соединявшиеся с внешним миром. Им приносились заупокойные жертвы, сопровождаемые молитвами и заклинаниями, которые должны были обеспечить покойному вечное блаженство в царстве мертвых.

Предположим, что пожелания о сохранении тела Ленина действительно родились в «гуще народа», а не были инспирированы. Тогда почему из множества предположений, в том числе, например, и о захоронении

Ленина в Петрограде, руководство вняло лишь тем, что отвечали его интересам, и оставило без внимания остальные?

«Ленин и из гроба продолжает служить делу социальной революции»,— этот мотив бесконечно повторялся в газетах. Это ли не подтверждение тому, что выпестованная Лениным партия использовала имя и даже тело Ленина в своих политических целях? «Цель оправдывает средства». Принцип «полезности», «революционной целесообразности» позволял во имя высших целей пренебречь тонкими этическими соображениями, пренебречь даже волей умершего, его принципиальной позицией в этом вопросе, желанием родных и близких. Н. К. Крупская так и не смогла с этим смириться, и в мавзолей ходила крайне редко, это было слишком тяжело для нее, как свидетельствует сопровождавшая ее В. С. Дридзо, секретарь Крупской.

Соответствовал ли уникальный ритуал массовому, обыденному представлению о похоронах? Во всяком случае ленинградские газеты писали в те дни об общепринятом церемониале: «Сегодня в Москве прах великого учителя будет предан земле». «Вчера тело Ленина опустили в землю, освобожденную им от власти угнетателей».

Как этот церемониал реально преломлялся в сознании народа, говорят немногочисленные фольклорные свидетельства. Например, вятская сказка 1925 года. «Вот сидит раз Ленин у себя в комнате после обеда и разные книжки и газеты почитывает. Только в какую газету ни заглянет, какую книжку ни раскроет, все про себя чтение находит... Чудно стало Ленину...

Вызывает он доктора и говорит...

— Можешь сделать так, чтобы я умер, только не совсем, а так, для виду?

— Могу, Владимир Ильич, только зачем же это?

— А так,— говорит,— хочу испытать, как без меня дела пойдут. Что-то все на меня сваливают, во всяком деле мной загораживаются.

— Что ж,— отвечает доктор,— это можно. Положим тебя не в могилу, а в такую комнату просторную. А для прилику стеклом накроем, чтобы пальцем никто не тыкал, а то затычут.

— Только вот что, доктор, чтобы это было в пре-

большом промежду нас секрете. Ты будешь знать, я, да еще Надежде Константиновне скажем.

И скоро объявили всему народу, что Ленин умер.

Народ заохал, застонал, коммунисты тоже не выдержали — в слезы... Положили Ленина в амбаришко — мавзолей называется, и стражу у дверей приставили...»

Далее рассказывается о том, как Ленин просыпается по ночам и идет в Кремль, на завод, в деревню, разговаривает, проверяет, как идут дела. Все в порядке.

«В мавзолей лег упокоенный... Теперь уже, наверное, скоро проснется. Вот радость-то будет».

Факт сохранения нетленного тела в сознании простого народа был признаком святости. Возможно, формирование образа божества и было осознанной или неосознанной целью мумификации тела вождя. Раз тело нетленно, значит, вождь бессмертен — этот мотив повторяется и в узбекской песне:

«Ленин ли умер? Нет,
умерло его тело.
А сам он не мог умереть.
Пророки не умирают...
...Он не умер. Это видно
из того, что его тело
До сих пор цело. А тело
всякого другого
Давно бы страхом стало прахом.
Он спит, и иногда
Он открывает глаза, и они
горят радостно,
Потому что он видит
что у него есть
достойные заместители
в лице Рыкова и Калинина;
Он видит, что они
не допустили смуты
и исполнили все его
приказания.
Пусть спит спокойно.
Он может быть уверенным,
Что ни одного его слова
не переиначат».

Эти легенды объясняют место, которое занимал Ленин в сознании простого народа,— место, предназна-

ченное для божества, в какой-то степени — для доброго царя. Мифологизированное сознание жило по своим законам.

Письмо в «Известия» профессор Хомутов написал за полмесяца до смерти. Он хотел передать его газете вместе со своими материалами, документами с результатами исследований намного раньше, но тяжело заболел.

Борис Изотович Хомутов — доктор биологических наук, профессор, известный специалист, автор множества научных работ, в том числе 6 авторских свидетельств, книг, 102 статей в закрытой печати, 62 — в открытой. В лаборатории при мавзолее Ленина работал с 1956 года, в течение более тридцати лет — член «мавзолейной группы».

Письмо Хомутова говорит само за себя...

Э. Максимова, «Известия».

Уважаемая редакция!

Роль личности В. И. Ленина в нашей новейшей истории велика, неоднозначна, а ее оценка остро затрагивает интересы различных сил. В связи с этим определенную социальную и историческую значимость имеет судьба находящегося в мавзолее тела Ленина.

Подлинная история его бальзамирования и сохранения до сих пор неизвестна общественности, хотя в перечислении того, что составляет гостайну, она не значится. Однако эти сведения с конца тридцатых годов наглухо засекречены. Неудивительно, что информация на эту тему в многочисленных публикациях, на радио и телевидении является, как правило, недостоверной, а зачастую заведомо ложной.

В 1924 году был использован способ «полувлажного» бальзамирования Н. Мельникова-Разведенкова (до революции — профессор Харьковского университета), разработанный им в конце прошлого века. Метод этот заключается в обработке тела водными растворами формальдэгида, затем этилового спирта и последующим водным раствором глицерина и ацетата калия. Правда, как пишет Мельников-Разведенков, его коллега по университету профессор В. Воробьев, руководивший всей операцией, дополнил методику с помощью химиков А. Баха и Б. Збарского «своим научно-практическим усовершенствованием относительно уничтожения неизбежных на лице и кистях рук посмертных, так называемых

«пергаментных», пятен: «Мы бальзамировали тело двумя способами: проф. Мельникова-Разведенкова и моим». С тех пор и до настоящего времени работа продолжается в соответствии с методом Мельникова-Разведенкова, хотя, как оказалось, он не только не предотвращает, но способствует развитию разрушительных процессов.

Уже в 1924 году экспертная комиссия в своем официальном акте записала: «Предпринятые для бальзамирования меры дают право рассчитывать на сохранение тела в течение нескольких десятилетий».

В то время еще не были известны и изучены многие физико-химические процессы, протекающие в тканях. Поэтому не существовало научных основ для действительно эффективного бальзамирования. А к 50-м годам стала очевидной теоретическая и практическая несостоятельность эмпирических способов полувековой давности. В теле, насыщенном бальзамирующим раствором и сохраненном в атмосфере воздуха и при сравнительно высокой температуре — + 16 С (а именно так сохраняется тело В. И. Ленина), неизбежно протекают определенные химические и физико-химические процессы, сопровождающиеся разрушением тканей тела (главное — костной!), постепенным изменением облика, что делает абсолютно бессмысленным и даже аморальным такое сохранение тела покойного. Это стало заметно уже к концу тридцатых годов, особенно усадка тканей лица и покоричневение кожи. Пришлось сооружать саркофаг с особой системой подсветки.

В конце 37-го года внезапно одновременно скончались Воробьев и Мельников-Разведенков, и руководство всей работой перешло к Б. Збарскому, благодаря инициативе которого была организована специальная лаборатория, подчиненная НКВД. Ее деятельность носила конспиративный характер, и в открытую печать достоверная информация больше почти не поступала. С этого времени начинает распространяться миф о том, что советскими учеными разработан и постоянно совершенствуется уникальный, не имеющий аналогов в мире способ бальзамирования, позволяющий сохранять тело без изменений неограниченно долго.

По свидетельству Збарского, в 1944 году правительственная комиссия констатировала, что «тело В. И. Ленина за двадцать лет не изменилось. Оно хранит облик Владимира Ильича, каким он сохранился в памяти со-

ветского народа». И все это стало возможным потому, что ему совместно с Воробьевым удалось составить жидкость, «которая предупреждала процессы высыхания тканей и изменения цвета кожи». Однако в закрытом докладе в том же году тот же Збарский отмечает, что произошли заметные изменения объемов мягких тканей лица и кистей рук и для маскировки делались инъекции из смеси парафина, глицерина и каротина в расплавленном виде.

...В январе 1952 года в Кремлевской больнице скончался монгольский маршал Х. Чойбалсан. Однако уже в марте стало ясно, что его бальзамирование, которое провела наша лаборатория, не удалось. Збарский был немедленно освобожден от должности и арестован. Директором стал его заместитель С. Мардашев. Появились новые научные сотрудники. Правительственная комиссия впервые отметила изменения в состоянии тела, срочно начались научные исследования. Увы, они оказались малорезультативными. Попытки снять покоричневение не удалось, как и восстановление формы носа и ушей.

В шестидесятые и последующие годы шла деградация тканей, облик и внешний вид продолжали ухудшаться, кожа приобретала неестественный блеск. Однако руководство лаборатории продолжает утверждать в актах и отчетах, что все необходимое для надежного длительного сохранения сделано и важно лишь тщательно придерживаться сложившейся практики. Между тем, ее научная несостоятельность и непригодность очевидны. Для этого достаточно увидеть «объект» вне саркофага, без специального комбинезона, и познакомиться с материалами закрытых научных конференций, протоколами заседаний мавзолейной группы и ученого совета лаборатории, а также с диссертациями, хранящимися в спецархиве лаборатории.

К сожалению, ее руководство скрывает истинное положение, отвергая, в частности, мои и ряда сотрудников предложения по усовершенствованию, о которых мы твердим уже долгие годы.

В лаборатории сложилась обстановка, исключающая какие-либо нововведения. Способствует еще режим секретности, подчинение в течение длительного времени непосредственному министру здравоохранения и 9-му управлению КГБ. Результаты объективных наблюдений и исследований замалчивались, их авторы изгонялись.

Очковтирательство, научная беспринципность, безответственность сопровождались получением высших государственных наград, званий и премий, загранкомандировками. За работы по оснащению саркофага техническими средствами автоматизированного контроля и регистрации параметров условий сохранения тела дирекция лаборатории и большая группа лиц из других учреждений в 1979 году была удостоена Государственной и Ленинской премий. Несколько позднее директору НИЛ С. Дебову присвоено звание Героя Социалистического Труда. Последнее незамедлительно привело к резкому возрастанию административного давления на некоторых научных сотрудников. В июне 1979 года двое (доктор и кандидат наук) из трех старших научных сотрудников моего отделения были уволены. Не могу именовать все это иначе, как паразитизмом.

Начиная с конца 70-х годов я много раз обращался в вышестоящие инстанции, писал Ю. Андропову, Е. Чазову, Е. Лигачеву, В. Крючкову, М. Горбачеву. Но никаких конструктивных последствий мои обращения не имели.

Сотрудник социально-экономического отдела ЦК КПСС С. И. Иванов в ответ на мое повторное заявление на имя М. С. Горбачева заявил мне, что ЦК КПСС хозяйственными вопросами больше не занимается, потому и это заявление направляется в Минздрав. При этом подчеркнул, что гриф секретности с проблемы не снят.

У нее есть и международный аспект. Точно таким же способом были забальзамированы Хо Ши Мин, Агостиньо Нето... Состав бальзамирующего раствора держится в секрете от вьетнамских специалистов. Однако совершенно очевидно, что вскоре и они неизбежно придут к печальным выводам.

Уже давно мне стало ясно, что руководство страны положение в мавзолее не интересует. В 1991 году лаборатория была передана в НПО «ВИЛАР» Министерства сельского хозяйства РФ. Сотрудники и я в их числе занялись лекарственной тематикой, против всякой другой руководство объединения возражает. Я понял, что продолжать писать наверх бессмысленно. Сохранение тела Ленина потеряло былую значимость. Но ведь оно до сего дня и не похоронено, пребывает в мавзолее в ожидании неминуемого финала.

Независимая открытая компетентная научная экспер-

тиза состояния тела Ленина могла бы внести полную ясность в этот вопрос.

Антропометрическое измерение тела Владимира Ильича Ленина.

На вопрос сотрудника «РОСТА», произведено ли антропометрическое измерение тела Владимира Ильича, наркомздрав т. Семашко ответил:

«...Относительно веса мозга Владимира Ильича в газетах уже сообщалось — он весит 1340 граммов... Но для характеристики мозговой деятельности важен не абсолютный вес мозга (в отношении к росту Владимира Ильича этот вес велик), а развитие извилин на серой коре мозга».

Профессор Бунак устанавливает, что «мозг Владимира Ильича характеризуется значительным количеством и сложностью извилин. Это указывает на очень развитую мозговую деятельность...»

«Мимические особенности,— пишет профессор Бунак,— поскольку их можно констатировать при изучении трупа, хорошо сохранившего, в общем, свойственное покойному выражение лица, характеризуется низким положением внутренних концов бровей (мускул размышления), средней величины поперечными складками на лбу (мускул внимания) и на переносье при отсутствии вертикальных складок в этой области. Концы губ приподняты, придавая лицу выражение иронической улыбки, губы сжаты плотно, носо-губная складка развита средне, подбородочная также. Все это характеризует преобладание активных процессов в психике Владимира Ильича при сравнительно меньшей интенсивности различных эмотивных движений».

Эта характеристика Владимира Ильича ученым-антропологом, никогда не видавшим раньше Владимира Ильича,— делает заключение тов. Семашко,— вполне совпадает с его действительным характером. Мы все отлично знаем, что действительно «размышление» и «внимание» преобладали у Владимира Ильича над эмоциями».

30 января 24 года.

Резолюция Н. Бухарина: Я не возражаю. Но, по-моему, так мало и так жидко, так тоще, если не сказать больше: так неряшливо составлено, что сомневаюсь,

стоит ли печатать в таком виде. Не лучше ли собрать БОЛЬШЕ данных, подождать ИЗУЧЕНИЯ, подождать ферстеровской статьи и т. д. А то результат: «размышление» и «внимание», что и кому это говорит?

Из стенограммы заседания Комиссии 5 марта.

КРАСИН: ...Нам сообщили, что в Харькове имеется проф. Воробьев, который является большим специалистом по анатомическому консервированию. Мы решили вызвать этого специалиста. Он приехал на днях, осмотрел тело Владимира Ильича и нашел, что появились уже несомненные признаки начавшегося изменения: в углах рта, глаз и т. д. Он говорит, что при таких условиях, по его мнению, имеется только одно средство полного надежного сохранения на определенный срок тела в том виде, в каком оно есть,— это погружение его в консервирующую жидкость... Пришлось бы построить такой прочный ящик из металла или из стекла, в который поставить гроб Ильича, залить все это жидкостью доверху. Жидкость совершенно прозрачная, так что снаружи это будет не видно...

ВОРОШИЛОВ: ...Следовало бы обратиться к Востоку. Многие товарищи видели и тов. Красин тоже, что в Британском музее лежит ассирийский царь... Прекрасно сохранившийся, и борода рыжая сохранилась, лежит он в таком виде тысячи лет; а мы не можем на сотни лет сохранить и вообще на какой-нибудь длительный срок. Происходит какая-то ерунда. Или эти ученые — псевдоученые, или мы не умеем подойти к этому вопросу и не знаем, откуда ученых привлечь. Ведь умеют же вообще сохранять тела! В том же Азербайджане, если умирает зажиточный человек, то сейчас же вынимают внутренности и сохраняют тело до бесконечности, чем-то бальзамируют, начиняют, и тело сохраняется очень долго. Я предлагаю тов. Красину поручить и назначить, в какой срок он должен сделать в Комиссии свой доклад, и потом принять те или другие меры...

Из стенограммы заседания Комиссии 26 июля.

ВОРОБЬЕВ: ...Когда обсуждался вопрос о том, каким путем сохранить тело Владимира Ильича, старые способы оказались непригодными. Второй способ сохранения тела в жидкости оказался тоже неприменим. Наконец, остался третий способ, на который я тоже своевременно

указывал и который был применен — это именно введение в бальзамические вещества глицерина... Через сосудистую систему работать не представлялось возможным, потому что сосудистые трубки были настолько сужены... приходилось «канализировать» все тело В. И., и таким образом получилась возможность дать доступ к глубоко лежащим частям. Жидкости, введенные в тело, представляют собой смесь глицерина с кали-ацетикумом... Вследствие того, что глицерин не летуч и жадно поглощает влагу из воздуха, эти жидкости не дают возможности высохнуть в течение долгого времени хотя бы одной части тела...

КРАСИН: Я хотел бы предложить в соответствии с только что зачитанным протоколом с участием проф. Воробьева выработать инструкцию относительно периодических осмотров тела и вообще надзора за дальнейшим сохранением тела Владимира Ильича и за ходом всех процессов, которые могут быть обнаружены в дальнейшем. Я прошу обсудить состав этой комиссии...

ВОРОБЬЕВ: Я настоятельно просил бы, что в случае, если кто-нибудь будет касаться тела Владимира Ильича, чтобы без нас это не производилось. Кроме того, нужен уход. Нужно регулировать количество влаги, которая находится под колпаком...

КРАСИН: Я тут имею в виду будущие дальние времена, когда и нас не будет на свете, чтобы ваши наблюдения и плоды вашей работы были бы зафиксированы определенным образом, и чтобы в протоколах нашего учреждения они сохранялись для тех поколений, которые будут после нас.

ВОРОБЬЕВ: Есть вещи, которые самим производством работы чрезвычайно интересны для Истпарта. Я предложил бы написать, ввиду того, что вам известно, что в публике ходят всевозможные слухи о состоянии тела Владимира Ильича...

КРАСИН: Все оригинальные записи, чертежи и рисунки и т. д. в связи с бальзамированием тела Владимира Ильича подлежат представлению в Институт им. Ленина через председателя Комиссии.

ЕНУКИДЗЕ: ...Само собой разумеется, что ни мы, ни наши товарищи не хотели создать из останков Владимира Ильича какие-то мощи, посредством которых мы могли бы популяризировать или сохранять память о Владимире Ильиче. Он своим гениальным учением и ре-

волюционными действиями, которые он наследовал всему мировому революционному движению, достаточно увековечил себя... Я думаю, что за ближайшее столетие едва ли родится такой человек. Все это говорит за то, что мы сохранить хотели Владимира Ильича не для того, чтобы просто популяризировать его имя, а мы придавали и придаем величайшее значение сохранению облика этого замечательного вождя для подрастающего поколения и для будущих поколений, а также для тех сотен тысяч, может быть, и миллионов людей, которые были бы в высшей степени счастливы увидеть облик этого человека... Проф. Воробьев взял на себя, я бы сказал, очень смелую задачу.

В комиссии по увековечению памяти В. И. Ленина.

Вопрос о постройке постоянного мавзолея движется вперед очень медленно. В то же время дальнейшее длительное пребывание тела в существующем мавзолее мы считаем совершенно недопустимым в силу следующих соображений.

Здание мавзолея деревянное и внутри обито материей. Ежедневное посещение мавзолея большим количеством людей обуславливает занос инфекции в виде грибков, которыми заражено буквально все здание. Доказательством сказанного служит поражение грибком материи — обивки стен, знамени Парижской Коммуны, и, наконец, это является абсолютно угрожающим, появление грибка внутри саркофага, на тканях, которыми выложен гроб, и на одежде тела. Посевы его замечены даже на руке, за правым ухом и на лбу...

Мы просим принять меры, дабы устроить постройку нового мавзолея...

Воробьев
31.XII.25 г. *Збарский.*

Из протокола заседания комиссии по осмотру тела Владимира Ильича Ленина, состоявшегося 7-го января 1934 г. в Мавзолее:

Проф. АБРИКОСОВ ...Я помню, как на заседании ученых, собраном под председательством товарища Дзержинского, единодушно была высказана мысль, что задача длительного сохранения тела является делом безнадежным.

Тем более замечательно, что профессор Воробьев и профессор Збарский так блестяще это дело закончили. Лицо преобразилось, побурение, оскал, высыхание в некоторых местах — все это исчезло. Я утверждаю, что лицо вернулось к тому состоянию, которое я наблюдал в первый день смерти Владимира Ильича при вскрытии его.

Проф. ДЕШИН: То, что здесь произошло, т. е. сохранение тела на воздухе в течение 10 лет, прямо невероятно. Я заявляю — то, что я сегодня видел, меня глубоко поразило...

Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. В. М. Молотову:

Для дальнейшего сохранения тела В. И. Ленина необходимо:

1. Описать подробно весь процесс бальзамирования, проведенный нами в 1924 году, а также все манипуляции, которые производились за эти 14 лет для сохранения тела в неизменном виде. Такого описания не существует... Этот труд представляет огромный интерес для потомства...

4. Необходимо подчинить мавзолей кому-нибудь из ответственных руководителей партии, ибо то, что имеет место сейчас, далее нетерпимо. В сущности, нет хозяина, и я часто с трудом и безуспешно добиваюсь разрешения вопросов, решения по которым надо принимать быстро. Если мне позволено высказать свое пожелание, то я считал бы лучше всего подчинить нас тов. Н. И. Ежову...

5. Еще просьба, если можно, разрешить помещать в печати статьи и заметки об этом достижении, имеющем огромное политическое и научное значение. До сих пор все попытки поместить подобные статьи были безуспешны. В результате, вокруг сохранения тела В. И. Ленина создана нездоровая конспирация...

Проф. Б. И. Збарский.
Москва, 7 сентября 1938 года.

Из протокола заседания комиссии Наркомздрава Союза ССР по осмотру тела Владимира Ильича Ленина, состоявшегося 19 января 1939 года в Мавзолее.

Проф. ЗБАРСКИЙ: ...У нас были случаи появления

грибка на теле, один раз занесенного со знаменем Парижской коммуны. Теперь нам удается сохранять полную асептичность при помощи «бактерицида»...

Некоторое расхождение век произошло недавно. Обладая способом регулировать набухание тканей, мы сумеем исправить это.

Время пребывания тела в ванне зависит от состояния тканей. Ткани, так сказать, «живут». Мы меняем как продолжительность пребывания тела в ванне, так и концентрацию раствора. В среднем мы кладем тело на 2—3 недели.

Взвешивать тело мы стали недавно, так как только в последнее время получили для этого подходящие весы...

Из доклада Б. Збарского «О работе по сохранению тела Владимира Ильича за 20 лет».

...Хотя ткани тела все время находились в хорошем состоянии, сохраняли тургор (напряжение тканей — Э. М.) и асептичность, мы, тем не менее, наблюдали некоторые процессы, могущие в дальнейшем повлиять на сходство.

На лице происходило западение глазниц, расхождение век и углубление в местах носогубных складок. Изменения объема имело место также в области нижней губы и подбородка. Пальцы левой руки сморщивались, уменьшились в объеме и заострились. На правой руке в области пясти и первых фаланг пальцев появились значительные углубления. На теле в разных местах появились небольшие уменьшения объемов.

Все эти дефекты медленно накапливались в течение многих лет...

В лаборатории мы начали опыты по замещению подвергшихся гидролизу жировых веществ инертными веществами, совпадающими по своим физическим свойствам с жировыми.

В результате многочисленных экспериментов нами была составлена смесь парафина, глицерина и каротина с точкой плавления 57°. Эту смесь можно было инъецировать в расплавленном виде под кожу...

Предварительно для определения точных границ и объема инъекции мы накладывали на это место массу (подкрашенная смесь воска с парафином) и производили фотографирование. Меняя границы и объемы этих накладок, мы сравнивали фотографии с пожизненными

и посмертными снимками с лица Владимира Ильича. Только после определения границ и объема мы осторожно производили инъекции.

В результате этих инъекций сходство значительно улучшалось.

Вес тела В. И. Ленина составлял:

5.XI — 38 г.— 53,00 кг
3.III.— 40 г. 50,20 кг
3.I.— 42 г.— 51,27 кг
19.IV.— 42 г.— 52,30 кг
10.VII.— 42 г.— 52,45 кг
24.XI.— 43 г.— 53,95 кг.

...Работа в течение более 2,5 лет пребывания в Тюмени представляет из себя в сущности перебальзамирование тела В. И. Ленина с устранением почти всех дефектов, имевшихся в момент прибытия тела в г. Тюмень... Благодаря энергичному содействию и постоянной заботе со стороны непосредственно наблюдавшего за нашей работой Народного Комиссара Госбезопасности Союза ССР товарища В. Н. Меркулова.

В настоящее время тело Владимира Ильича подготовлено к перевезению его обратно в Москву. В любое время, когда мы получим распоряжение от нашего вождя товарища И. В. Сталина, мы сможем доставить тело Владимира Ильича в Москву в значительно лучшем состоянии, чем оно было при его отбытии из Москвы.

КОМЕНДАНТ КРЕМЛЯ

Павел Дмитриевич Мальков через несколько дней после Октябрьского переворота был назначен комендантом Смольного, а с переездом Советского правительства в марте 1918 года в Москву — комендантом Кремля. На этом посту П. Д. Мальков оставался до лета 1920 года. Потом пришлось Павлу Дмитриевичу испытать все прелести советских лагерей. Лагерные страницы биографии коменданта Кремля покрыты мраком. Возможно, эти страницы — достояние секретных архивов. Выйдя на свободу П. Мальков вспоминал не о лагере, а о своем «звездном» комендантском часе.

Павел Дмитриевич был страшным человеком. Чекист и палач. Он постоянно находился на подхвате у Ленина, Дзержинского, Свердлова, всегда был готов выполнить их ЛЮБОЕ пожелание. Именно он собственноручно расстрелял эссерку Фанни Каплан и сжег ее, облив бензином... Арестовывал британского агента Роберта-Брюса Локкарта.

Свои воспоминания Павел Дмитриевич создавал в «творческом содружестве» с Андреем Свердловым — сыном Якова Свердлова, следователем НКВД, который плюс ко всему был кандидатом исторических наук.

Это воспоминания коменданта, который два года руководил кремлевским бытом.

«В Москве я никогда ранее не бывал и ко всему присматривался с особым интересом. Надо признаться, первое впечатление было не из благоприятных. После Петрограда Москва показалась мне какой-то уж очень провинциальной, запущенной. Узкие, кривые, покрытые щербатым булыжником улицы невыгодно отличались от просторных, прямых, как стрела, проспектов Питера, одетых в брусчатку и торейц. Дома были облезлые, обшарпанные. Там и здесь на стенах сохранились следы октябрьских пуль и снарядов. Даже в центре города, уже не говоря об окраинах, высокие, пяти-шестиэтажные каменные здания перемежались убогими деревянными домишками.

Против подъезда гостиницы «Националь», где поселились после переезда в Москву Ленин и ряд других товарищей, торчала какая-то часовня, увенчаная здоровенным крестом. От «Националь» к Театральной площади тянулся Охотный ряд — сонмище деревянных, редко каменных, одноэтажных лабазов, лавок, лавчонок, среди которых громадой высился Дом Союзов, бывшее Дворянское собрание.

Узкая Тверская от дома генерал-губернатора, занятого теперь Моссоветом, круто сбегала вниз и устремлялась мимо «Националя», Охотного ряда, Лоскутной гостиницы прямо к перегородившей въезд на Красную площадь Иверской часовне. По обеим сторонам часовни, под сводчатыми арками, оставались лишь небольшие проходы, в каждом из которых с трудом могли разминуться две подводы.

Возле Иверской постоянно толпились нищие, спекулянты, жулики, стоял неумолчный гул голосов, в возду-

хе висела густая брань. Здесь, еще на Сухаревке, где вокруг высоченной Сухаревой башни шумел, разливаясь по Садовой, Стретенке, 1-й Мещанской, огромный рынок, было, пожалуй, наиболее людно. Большинство же улиц выглядели по сравнению с Петроградом чуть ли не пустынными. Прохожих было мало, уныло тащились извозничьи санки да одинокие подводы. Изредка, веерами разбрасывая далеко в стороны талый снег и уличную грязь, проносился высокий мощный «Паккард» с желтыми колесами, из Авто-Боевого отряда при ВЦИК, массивный, кургузый «Ройс» или «Делане-Бельвиль» с круглым, как цилиндр, из гаража Совнаркома, а то «Нэпир» или «Лянча» какого-либо наркомата из Моссовета. В Москве тогда, в 1918 году, насчитывалось от силы три-четыре сотни автомашин.

Основным средством передвижения были трамваи, да и те ходили редко, без всякого графика, а порою сутками не выходили из депо — не хватало электроэнергии. Были еще извозчики: зимой небольшие санки, на два седока, летом пролетка. Многие ответственные работники — члены коллегий наркоматов, даже кое-кто из заместителей наркомов — за отсутствием автомашин ездили в экипажах, закрепленных за правительственными учреждениями наряду с автомобилями.

Магазины и лавки почти сплошь были закрыты. На дверях висели успевшие заржаветь замки. В тех же из них, что оставались открытыми, отпускали пшено по карточкам да по куску мыла на человека в месяц. Зато вовсю преуспевали спекулянты. Из-под полы торговали чем угодно, в любых количествах, начиная от полфунта сахара или масла до кокаина, от драных солдатских штанов до рулонов превосходного сукна или бархата.

Давно не работали фешенебельные московские рестораны, закрылись роскошные трактиры, в общественных столовых выдавали жидкий суп да пшеничную кашу (тоже по карточкам). Но процветали различные ночные кабаре и притоны. В Охотном ряду, например, невдалеке от «Националя», гудело по ночам пьяным гомоном полулегальное кабаре, которое так и называлось: «Подполье». Сюда стекались дворянчики и купцы, не успевшие удрать из Советской России, декаденствующие поэты, иностранные дипломаты и кокотки, спекулянты и бандиты. Здесь платили бешенные деньги за бутылку шампанского, за порцию зернистой икры. Тут было все,

чего душа пожелает. Вино лилось рекой, истерически взвизгивали проститутки, на небольшой эстраде кривлялся и грассировал какой-то томный, густо напудренный тип, гнусаво напевавший шансонетки. В этих заведениях в последних судорогах корчились обломки старой, приконченной Октябрем, Москвы.

Новая, голодная и оборванная, суровая, энергичная Москва была на Пресне и в Симоновке, на фабриках Прохорова и Цинделя, на заводах Михельсона и Гужонга. Там, в рабочих районах, на заводах и фабриках, был полновластный хозяин столицы и всей России — русский рабочий класс.

Такой была Москва в конце марта 1918 года.

Впрочем, узнал я Москву не сразу. Новая столица Советской России раскрылась передо мной постепенно. Шаг за шагом я узнавал не только ее фасад, но и изнанку. В день же приезда навалилось столько неотложных хлопот, что и вздохнуть как следует было некогда, не то что смотреть или изучать.

Прибыли мы на Николаевский вокзал часов около одиннадцати утра 20 или 21 марта 1918 года. Ехал я поездом, в котором переезжал из Петрограда в Москву народный комиссариат иностранных дел. В этом же поезде разместился отряд латышских стрелков в двести человек — последние из тех, что охраняли Смольный и ныне перебазировались в Кремль. Надо было организовать их выгрузку, выгрузить оружие, снаряжение.

Была и еще забота. Поскольку в Москве с автомобилями было плохо, переезжавшие из Петрограда учреждения везли с собой закрепленные за ними машины. Погрузил и я на специально прицепленную к нашему составу платформу автомобиль, который обслуживал комендатуру Смольного. Теперь надо было его снять с платформы и поставить на колеса.

На вокзале царила невероятная толчея. Пришлось немало пошуметь и поругаться со станционным начальством, пока все было сделано.

Наконец по прошествии часа или двух латыши разгрузились и походным порядком двинулись в Кремль. Машина была снята с платформы и, урча мотором, стояла возле вокзала. Можно было трогаться. Так нет! Откуда ни возьмись бежит секретарша Наркомата иностранных дел и слезно молит взять какой-то ящик

с ценностями, принадлежащими наркомату. Пришлось нам с шофером отправиться за грузом.

Ящик оказался солидным. Он был лишь слегка прикрыт крышкой, и мы разглядели золотые кубки, позолоченные ложки, ножи и еще что-то в том же роде. Секретарша объявила, что это банкетные сервизы Наркомата иностранных дел. Когда разгружали эшелон, про этот ящик попросту забыли.

Мы благополучно доставили ценности в Кремль и оставили их во дворе здания бывших Судебных установлений. Там злополучный ящик и стоял недели две-три, никто за ним так и не пришел. Тогда я сдал ценности в Оружейную палату.

Добирались мы с вокзала до Кремля не без труда — ведь ни шофер, приехавший со мной из Петрограда, ни я дороги не знали. Но вот, наконец, и Манеж, вот и Кутафья башня. На часах — латышские стрелки, наши, смольнинские. Дома!

Через Троицкие ворота едем по Троицкому мосту вверх. Проникнуть в Кремль тогда можно было только через Троицкие ворота, все остальные — Никольские, Спасские, Тайницкие, Боровицкие — наглухо были закрыты. Лишь месяца три-четыре спустя мы открыли для проезда машин и экипажей Спасские ворота, оставив Троицкие только для пешеходов. Боровицкие же и Никольские долго еще оставались закрытыми, а Тайницкие не открываются и поныне.

Поскольку все основные указания по охране Смольного да и по организации переезда из Питера в Москву я получал от Президиума ВЦИК, и теперь первым делом я отправился во ВЦИК, к Якову Михайловичу Свердлову. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет разместился, как и Совет Народных Комиссаров, в бывшем здании Судебных установлений. Совнарком — на третьем этаже, в угловых помещениях против Царь-пушки, а ВЦИК — в самом центре здания, на втором этаже.

Аппараты ВЦИК и Совнаркома были столь невелики, что не занимали и половины комнат огромного здания Судебных установлений. Значительная часть помещения длительное время пустовала.

Яков Михайлович работал в просторной комнате, направо от входа по коридору. Отдельного кабинета первые дни у него не было. В одной комнате с ним рабо-

тала Глафира Ивановна Теодорович, заведовавшая Агитотделом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, кандидат в члены Президиума ВЦИК. Тут же помещался и помощник Якова Михайловича — Графов, приехавший с ним из Смольного. В кабинете напротив, через коридор, разместился Варлам Александрович Аванесов, секретарь ВЦИК.

Когда я вошел, у Якова Михайловича сидело несколько человек, с которыми он оживленно разговаривал. Я поздоровался. Яков Михайлович энергично пожал мне руку и кивком указал на стул, стоявший возле стены.

— Прибыли? Вот и ладно. Обождите немного, сейчас кончу с товарищами, тогда и покалякаем.

Закончив через несколько минут разговор, Яков Михайлович пригласил меня к своему столу.

— Ну, как доехали? Как дела в Смольном?

Я коротко доложил. Яков Михайлович не любил многословных докладов, не терпел излишней «болтовни», как он говорил. Внимательно выслушав меня и задав несколько вопросов, он перешел к организации охраны Кремля.

— Дело придется ставить здесь солиднее, чем в Смольном. Масштабы побольше, да и мы как-никак солиднее становимся.— Яков Михайлович чуть заметно усмехнулся и вновь посерьезнел.— Нарождается новая, советская государственность. Это должно сказываться во всем, в том числе и в организации охраны Кремля. Я думаю, нам надо будет создать Управление. Аппарат раздувать не надо, ничего лишнего, никакого бюрократизма, но организовать все надо прочно, солидно.

Кому будет подчиняться Управление? Ну, это, по-моему ясно: президиуму ВЦИК. Штаты вы разработайте сами и представьте на утверждение. Только, повторяю, ничего лишнего. Обсудите все с Аванесовым, посоветуйтесь с Дзержинским. С Дзержинским обязательно. С ЧК вам постоянно придется иметь дело. Нести охрану будут латыши, как и в Смольном, только теперь это будет не отряд, а батальон или полк. Подумайте, что лучше. Учтите при составлении штатов. Довольствие бойцов охраны и всех сотрудников Управления возложим на военное ведомство, но оперативного подчинения военведу никакого.

С чего начать? Конечно, с приемки дел, и ни часа не

откладывая, немедленно. Ознакомьтесь получше с Кремлем. Сами лично все обойдите и осмотрите.

Подумайте схему расстановки постов. Постами надо обеспечивать не только ворота, но и стены. Надо будет кое-где установить посты и внутри Кремля: у входа в Совнарком, у кабинета и квартиры Ильича. У Ильича — непременно. Туда надо ставить особо надежный народ.

Присмотритесь к населению Кремля. Народу тут живет много, в значительной части не имеющего к Кремлю никакого отношения. Кое-кого, как видно, придется выселить.

Я внимательно слушал четкие, предельно ясные и уверенные указания Якова Михайловича. Мои задачи становились мне все яснее, а Яков Михайлович продолжал:

— Распределением квартир в Кремле тоже вы будете заниматься. Подумайте об оборудовании квартир: мебель, посуда, постельное белье. Ведь у большинства товарищей ничего нет, даже пары простыней, чашек, тарелок. А жить люди должны по-человечески. И столовую в Кремле надо поскорее наладить, небольшую, для наиболее загруженных и нуждающихся в усиленном питании товарищей — наркомов, их заместителей, членов коллегий. Есть у меня на примете отличный товарищ — Надежда Николаевна Воронцова. Хорошая из нее получится заведующая. Вот ей и поручите это дело.

Да, когда будете оборудовать квартиры — а мы в ближайшее время ряд товарищей из «Националя», «Метрополя» переселим в Кремль — на дворцовое имущество особо не рассчитывайте, лучше берите из гостиниц, из того же «Националя». Дворцы надо сохранить в неприкосновенности, со временем мы там музеи организуем и откроем самый широкий доступ народу. Вообще, дворцы будут не в вашей власти. Ими распоряжается Управление дворцового имущества, товарищ Малиновский, человек знающий, грамотный.

Ну вот, пожалуй, для начала и все. Кстати, вы-то сами где поселились? Пока нигде? Так я и думал! Что? Собираетесь поставить себе койку в комендатуре? Нет, батенька! Мы поселяем здесь всерьез и надолго. Извольте кончать с походным образом жизни. Занимайте квартиру и располагайтесь основательно.

Заканчивая разговор, Яков Михайлович быстро на-

бросал несколько слов в своем блокноте, вырвал листок и протянул мне. Я прочел:

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

21.11—1918 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие удостоверение тов. Малькову в том, что он является комендантом Кремля.

Председатель ЦИК Я. Свердлов.»

Бережно сложив удостоверение, я спрятал его в карман, вышел от Якова Михайловича и отправился разыскивать комендатуру. Как оказалось, она разместилась на Дворцовой улице, недалеко от здания Судебных установлений, в трех-четырех комнатах первого этажа небольшого трехэтажного дома, вплотную примыкавшего к Кавалерскому корпусу, почти напротив Троицких ворот. Окна комендатуры выходили к Троицким воротам.

В комендатуре я застал несколько сотрудников, большинство которых работало раньше в Смольном. Не было только Стижака, исполнявшего до моего приезда обязанности коменданта Кремля.

Стрижак был тоже питерцем. После Октября он работал в Таврическом дворце. Как только был решен вопрос о переезде правительства из Петрограда, его послали в Москву готовить Кремль. У него-то я и должен был принять дела.

Не успел я толком побеседовать с товарищами, расспросить, как идут дела, не успел выяснить, как встретили и разместили прибывших со мной из Питера латышских стрелков, как они сами напомнили о себе. Дверь неожиданно распахнулась, и в комендатуру ввалилось человек десять-пятнадцать латышей. Все с винтовками.

— Где Стрижак?

Прервав беседу с сотрудниками комендатуры, я поднялся из-за стола.

— В чем дело?

— Ничего особенного,— ответил один из латышей,— пришли Стрижака сажать. Тут он?

— Что? Как это сажать? Куда сажать?

— Обыкновенно. Посадим за решетку. В тюрьму Такое решение.

Я вскипел.

— Да вы что говорите?! Какое решение? Чье решение?

— Наше решение. Мы на общем собрании отряда постановили посадить Стрижака как саботажника...

Оказалось, что когда усталые после утомительного переезда из Петрограда и пешего марша по Москве, донельзя проголодавшиеся латышские стрелки прибыли в Кремль и обратились к Стрижаку с просьбой накормить их, он отказался выдать предназначенные для них консервы, сославшись на какую-то кем-то несоблюденную формальность,— не так оформленную ведомость. Всегда спокойные, выдержанные, но не терпевшие непорядка и несправедливости латыши возмутились, тем более, что их товарищи, прибывшие в Москву раньше, сообщили, что консервы у Стрижака есть. Латышские стрелки собрали тут же митинг и приняли решение: объявить Стрижака саботажником и как саботажника арестовать.

Говорили латыши спокойно, держась уверенно. Нет, по их мнению, они не анархисты, самоуправлением не занимаются. Действуют согласно революционным законам: единогласное решение общего собрания — закон. Суть не в консервах, а в том, что Стрижак — саботажник, разговор же с саботажником короткий...

Разобравшись, наконец, в чем дело, я вызвал интенданта и велел ему немедленно выдать латышским стрелкам консервы, а латышей разнес на чем свет стоит. Хороша, говорю, законность, нечего сказать!

Собрались, погалдели и на тебе — арестовать. Будто ни командования, ни советской власти, ни порядка нет. Самая настоящая анархия!

Едва ушли пристыженные латыши, как появился Стрижак. Отчитав его как следует, я начал принимать дела. Обошли мы вместе с ним все посты, ознакомил он меня с организацией охраны, с порядком выдачи пропусков в Кремль, передал несложную канцелярию комендатуры, и я вступил в исполнение обязанностей коменданта Московского Кремля. Стрижак был назначен комендантом одного из домов Совета, в которые были превращены гостиницы «Националь» (1-й Дом Советов), «Метрополь» (2-й Дом Советов), здания на углу

Садово-Каретной (3-й Дом Советов), на углу Моховой и Воздвиженки (4-й Дом Советов) и в Шереметьевском переулке (5-й Дом Советов).

С первого же дня дела комендатуры лавиной обрушились на меня. Надо было и посты установить, и проверять, и пропускную систему налаживать, и быт кремлевской охраны организовать, и квартиры для переселения в Кремль товарищей готовить — всего не перечтешь. И так же, как в Петербурге,— оперативные задания одно за другим, то от Дзержинского, то от Аванесова, а то и прямо от Якова Михайловича или даже от самого Владимира Ильича.

Я с трудом вырывал время, чтобы тщательно изучить Кремль, ознакомиться с его населением, без чего нельзя установить твердый порядок.

Уже внешний осмотр Кремля показывал, что работы здесь — непочатый край. Кремль к моменту переезда советского правительства из Петрограда в Москву был основательно запущен. Часть зданий значительно пострадала еще в дни Октябрьских боев и никем не восстанавливалась. Во дворе Арсенала уродливо громоздились груды битого кирпича, стекла, всякой дряни. Верхний этаж огромных казарм, тянувшихся чуть ли не от Троицких ворот почти до самого подъезда Совнаркома, начисто выгорел, и его окна зияли мрачными черными провалами.

На улицах была несусветная грязь. Весна стояла в 1918 году ранняя, дружная. Уже в конце марта было по-апрельски тепло, и по улицам Кремля разливались настоящие озера талой воды, побуревшей от грязи и мусора. На обширном плацу, раскинувшемся между колокольней Ивана Великого и Спасскими воротами, образовалось такое болото, что не проберешься ни пешком, ни вплавь.

Общее впечатление запущенности и неприбранности усиливало бесконечное количество икон. Грязные, почерневшие, почти сплошь с выбитыми стеклами и давно угасшими лампадами, они торчали не только в стенах Чудова, Архангельского и других монастырей, но везде: в Троицкой башне, у самого входа в Кремль, над массивными воротами, наглухо закрывшими проезды, в Спасской, Никольской, Боровицкой башнях.

Все надо было чистить, прибирать, ремонтировать, а рабочих рук было до смешного мало. Латышские стрелки были полностью загружены караульной службой и выполнением боевых заданий ВЦИК и ВЧК. В моем распоряжении имелось всего десятка два-три водопроводчиков, электромонтеров, подметальщиков улиц, да примерно столько же старых царских швейцаров, следивших за порядком в дворцовых покоях. Пришлось на уборку Кремля мобилизовать всех его жителей, не занятых работой в советских учреждениях. Кое-как, с грехом пополам очистили улицы, но до полного порядка было далеко.

Уборка, конечно, была делом серьезным: Кремль должен был выглядеть как следует; однако главной моей заботой была все же не уборка, а организация охраны Кремля. Дело здесь было еще сложнее, чем в Смольном.

Как и в Смольном, пропуска в Кремль существовали постоянные и разовые. Постоянные выдавались по заявкам учреждений на месяц, разовые — на одно посещение. Выдача производилась в небольшой деревянной будке, прилепившейся к стене Кутафьей башни, у входа в Троицкие ворота. Правом заказа разовых пропусков пользовались большинство сотрудников ВЦИК, Совнаркома и почти все жители Кремля. При таком порядке в Кремль мог проникнуть кто угодно.

Я начал с того, что договорился с Аванесовым и Бонч-Бруевичем, чтобы круг сотрудников правительственного аппарата, имеющих право заказывать разовые пропуска, был резко ограничен. Так, во всем Управлении делами Совнаркома мог отныне заказывать пропуск непосредственно в Троицкой будке только сам Бонч-Бруевич. Все остальные сотрудники Управления делами должны были обращаться в комендатуру, ко мне, а я уже давал распоряжение о выдаче разовых пропусков. Одна эта мера сразу резко снизила количество заявок на разовые пропуска. Затем пересмотрел я также и порядок заказа пропусков жителями Кремля, значительно сократив круг лиц, которым предоставлялось это право.

С пропусками дело понемного налаживалось. Однако весь пропускной режим был бы ни к чему, если бы можно было проникнуть в Кремль, минуя охрану. Вновь и вновь обходил я Кремль, лазил по Кремлевским стенам, присматриваясь и изучая, как лучше расставить посты, чтобы исключить такую возможность. Оказалось,

что если со стороны Красной площади, Москвы-реки и Александровского сада стены были достаточно высоки, то возле Спасской и Никольской башен они возвышались всего на несколько метров, и влезть там на стену не представляло большого труда, в особенности если бы со стены кто-нибудь помог. Насколько это практически было несложно, я убедился самым неожиданным образом.

Однажды под вечер, обходя кремлевскую стену невдалеке от Спасской башни, ближе к Москве-реке, я внезапно натолкнулся на группу кремлевских мальчишек лет десяти-двенадцати. Спокойно и деловито они спустили со стены толстую веревку и, сосредоточенно сопя, пытались втащить наверх здоровенного парня. Дело двигалось довольно успешно, и парень болтался уже метрах в двух-трех над землей, еще минута, и он будет на стене. Завидев меня, ребята кинулись врассыпную, бросив впопыхах веревку. Парень рухнул вниз. Быстро вскочив на ноги, он грязно выругался, погрозил мне кулаком и пустился наутек. Догнать его не было никакой возможности. Однако выяснить, кто это пытался прорваться в Кремль, зачем, следовало.

На другое утро я вызвал в комендатуру «нарушителей» пропускного режима, принялся их расспрашивать со всей строгостью. Только зря! Ничего толком сказать они не могли. Для мальчишек это была просто игра. Парня они встретили днем в Александровском саду. Когда он, быстро завоевав их расположение, заявил, что им «слабо» втащить его в Кремль на веревке, мальчишки готовы были расшибиться в лепешку, чтобы доказать, что «не слабо». Интерес к занятному приключению только увеличился, когда парень потребовал, чтобы они побожились, что ничего не скажут взрослым, так как иначе помешают. Что за парень, кто он таков, никто из ребят, конечно, не знал.

Если подобную штуку могли устроить мальчишки, то нечего и говорить, насколько проще это было взрослым. Среди многочисленного и разношерстного населения Кремля 1918 года вполне могли оказаться охотники помочь кому-либо нелегально пробраться в Кремль. Чтобы предотвратить подобные случаи, пришлось усилить подвижные посты по всей Кремлевской стене, а вблизи Спасских и Никольских ворот установить на стене постоянных часовых.

Немало хлопот доставляло мне первое время кремлевское население. Кого только тут не было весной 1918 года! В Кремле жили и бывшие служители кремлевских зданий со своими семьями — полотеры, повара, кучера, судомойки и т. д.— служащие некогда помещавшихся в Кремле учреждений. Все они, за исключением стариков швейцаров, давно в Кремле не работали.

Прелюбопытный народ были эти самые швейцары. Насчитывалось их в Кремле несколько десятков, все старики лет за шестьдесят, а то и больше, бывшие николаевские солдаты. В Кремле было тогда три дворца: Большой, Потешный, и Малый Николаевский. На месте последнего году в 1934—1935 построено новое здание, где ныне помещается Кремлевский театр. Вот за сохранностью имущества в этих дворцах, да еще в Оружейной палате и Кавалерском корпусе, старики и следили. Они же убирали помещения. Жили старики в Кремле испокон веков, помнили не только Николая II, но и Александра III, к обязанностям своим относились чрезвычайно ревностно. Не давали сесть и пылинке ни на кресло, ни на одно зеркало. Как занимались они своим делом в прежние времена, так занимались и теперь, после революции.

К советской власти большинство из них относилось поначалу с открытой неприязнью: какая, мол, это власть? Ни тебе пышности, ни величавости, с любым мастеровым, любым мужиком — запросто. Только со временем, присмотревшись к Ленину, Свердлову, Дзержинскому, Цюрупе, к другим большевикам, начали понимать старики природу нового, советского строя и горячо, искренне привязались к нашим руководителям, хотя и поругивая их втихомолку за излишнюю, с точки зрения царских служителей, скромность и простоту.

— Не то! — вздыхал порой тот или иной старик швейцар, глядя на быстро идущего по Кремлю Ильича в сдвинутой на затылок кепке или Якова Михайловича в неизменной кожаной куртке.

— Не то! Благолепия не хватает. Ленин! Человек-то какой! Трепет вокруг должен быть, робость. А он со всяким за руку, запросто. Нет, не то.

Занятные были старики! Они опасности не представляли. А вот другие...

Целый квартал, тянувшийся от Спасских ворот до площади перед колокольней Ивана Великого и от плаца

до здания Судебных установлений, был застроен тесно лепившимися друг к другу двух-трех-этажными домами и домишками, заселенными до отказа. Полно было жильцов и в небольших зданиях, расположенных во дворе Кавалерского корпуса. Что это был за народ, пойди разбери, во всяком случае, их пребывание в Кремле необходимостью не вызывалось.

Но больше всего хлопот и неприятностей доставляли мне монахи и монахини, так и сновавшие по Кремлю в своих черных рясах. Жили они в кельях Чудова и Вознесенского монастырей, приткнувшихся возле Спасских ворот.

Подчинялись монахи собственному уставу и своим властям. С нашими правилами и требованиями считались мало, свою неприязнь к советской власти выражали чуть не открыто. И я вынужден был снабжать ту, в подавляющем большинстве враждебную, братию постоянными и разовыми пропусками в Кремль. Вот тут и охраняй и обеспечивай Кремль от проникновения чуждых элементов!

От этих монахов мне просто житья не было, что ни день, то что-нибудь новое. Мало того, что они сами не внушали никакого доверия, что в гости к ним ходила самая подозрительная публика, они и того хуже удумали: организовали розничную торговлю пропусками в Кремль, поставив дело на широкую ногу.

Не знаю, насколько кремлевские монахи были благочестивы и как строго блюли монашеские обеты и церковный устав, но что большинство из них были отменными спекулянтами и пройдохами, это уж точно. Сам убедился! Взять хотя бы игуменью Вознесенского монастыря. Оказалось, что она торгует ценными бумагами на черной бирже, возле Ильинских ворот, у стены Китай-города. И на крупные суммы. Не сама, конечно, а через подставных лиц.

Затем еще эта история с продажей разовых пропусков в Кремль. Да ведь как торговали? Совершенно открыто, прямо возле Троицких ворот, по пять рублей за пропуск. Подходи и покупай, кто хочет.

Тут уж я не стерпел. Пошел к Якову Михайловичу и заявил, что пока монахов из Кремля не уберут, я ни за что поручиться не могу.

Яков Михайлович сразу согласился. Давно, говорит, пора очистить Кремль от этой публики. Только надо

спросить Владимира Ильича, нельзя без его ведома ворошить этот муравейник.

Я — к Ильичу. Так и так, говорю, надо монахов выселить из Кремля. Яков Михайлович поддерживает.

— Ну, что же,— отвечает Ильич,— я не против. Давайте выселяйте. Только вежливо, без грубости!

Прямо от Ильича я пошел к настоятелю монастыря (мне с ним и до этого несколько раз приходилось беседовать). Есть, говорю, указание Ленина и Свердлова переселить всех из Кремля, так что собирайтесь.

Настоятель особо артачиться не стал, старик он был умный, понимал, что спорить бесполезно.

Предупредив настоятеля, дал команду вывозить монахов, а самого тревога разбирает: кто его знает, что у них там в соборах припрятано. Теперь наверняка ценности порастащат.

Договорился я с Аванесовым, и у настоятеля затребовали описи церковного имущества, а ему передали, что ценности, являющиеся народным достоянием, вывозить категорически воспрещается. Выделили специальную комиссию для приема ценностей.

Описи монастырская канцелярия предоставила сразу, а передать имущество отказалась наотрез.

— Выедем,— заявили монахи,— тогда и принимайте, как вам заблагорассудится, а добровольного согласия на передачу ценностей не дадим. Уступаем насилию. Тащить же никто из святых отцов ничего не будет... Как бы ваши не стащили...

Ладно, думаю, не хотите передавать добром, не надо, а добропорядочность «святых отцов» мне доподлинно известна. На торговле пропусками проверил! Выставил я в Троицких воротах латышей и велел обыскивать выезжающих монахов подряд.

Монахи — на дыбы. Коли так, кричат, никуда не поедем!

Ничего, говорю, голубчики, поедете. Никто на ваше имущество не покушается, везите свои рясы и подрясники, а тащить народное добро не позволю!

Видят монахи, что меня не переспоришь. Начали было уступать, а тут — телефон. Бонч-Бруевич звонит:

— Безобразие! Немедленно прекратить обыск!..

— Нет,— говорю,— Владимир Дмитриевич, не прекращу, и вы не вмешивайтесь. Я подчиняюсь Владимиру Ильичу и Якову Михайловичу, а не вам, так что не приказывайте.

Отрезал и положил трубку. Однако минут через десять-пятнадцать снова звонок. Яков Михайлович:

— Что у вас там с Бонч-Бруевичем стряслось?

— Да ничего особенного. Просто я велел монахов при выезде обыскивать, чтобы они ценности не украли, а Бонч-Бруевич протестует. Вот и все.

— Утащить они, конечно, что-нибудь утащат, но и обыск устраивать не следует, тут вы не правы. Это не метод. Да и незачем давать повод монахам поднимать лишний шум, так что отпустите их на все четыре стороны. А если что особо ценное украдут, потом отберем. Никуда они не денутся.

Пришлось отпустить монахов восвояси. Только через день после их отъезда являются ко мне члены комиссии и выкладывают длиннющий список: полюбуйся, мол, чего не хватает. А в списке и митра золотая с бриллиантами, патриаршья, изготовленная в древние времена, и пятнадцать золотых панагий (это были такие иконы, их на груди носили), и кресты золотые, большие и малые, и прочее и прочее. В описях значатся, а на месте нет — украли-таки «святые отцы»!

Надо искать, только как? Тут я вспомнил об одном монахе, вернее бывшем послушнике.

Этого монаха в Кремле все знали. И все звали просто Гришкой. Гришка и Гришка, ничего больше. Ни его родословной, ни даже фамилии толком никто не знал.

Парень Гришка был здоровенный, лет этак тридцати — тридцати двух, себе на уме. Я с ним познакомился вскоре после своего приезда в Кремль. Явился он ко мне в комендатуру и решительно заявил:

— Комендант, а комендант, приставь меня к какой должности?

Я рассмеялся.

— К какой же тебя «должности» приставить? У меня для монахов должностей нет.

— К какой, это мне все едино. А из монахов я уйду, надоело. Ну их куда подальше. Да и не монах я вовсе, хотя и в рясе, так — послушник.

— Выходит, ты вроде холуя при монахах? — спрашиваю.

— Выходит, так.

Устроил я Гришку дворником, и стал он подметать кремлевские улицы. Из монастыря Гришка ушел, но приятели среди монахов у него остались. Уж не знаю

почему, вероятно потому, что отнесся я к нему по-человечески, внимательно, а в монастыре его, как и других послушников, не очень баловали человеческим отношением, но Гришка ко мне искренне привязался и частенько заглядывал в комендатуру; привязанность эта не ослабевала даже тогда, когда я ругал его за какие-либо провинности. А это случалось. Начал, например, Гришка одно время погуливать, разных девиц в Кремль водить. Ну, я его и вызвал. Ты, говорю, что это тут развел? Мигом из Кремля вылетишь!

Он удивился:

— А что такого? Я теперь не монах, мне можно...

Изругал я его за это «можно» как полагается, такую острастку дал — лучше не надо. Ничего, не обиделся.

Всю подноготную монахов Гришка знал прекрасно. Вот с его-то помощью я и решил провести необходимую разведку, куда припрятали монахи украденные ценности.

Велел я разыскать Гришку и прислать ко мне. Он явился сразу, будто ждал приглашения.

Рассказал я Гришке, что мне от него надо, и дал три дня сроку.

— Н-да, дело хитрое,— полез он пятерней в затылок.— Однако попробуем.

Два дня Гришка пропадал, на третий явился. Физиономия опухла, под правым глазом здоровенный синяк, а вид довольный. Улыбается.

— Где это,— спрашиваю,— тебя так здорово разукрасили?

— Это-то? Так нешто это здорово? Обойдется! Просто по основам веры немножко поспорили. Не без рукоприкладства, конечно.

Время Гришка провел недаром. Разыскал он старых приятелей, с одним выпил, с другим подискутировал, с кем просто так поговорил, но узнал многое. Основная часть монахов, выехавших из Кремля, обосновалась, оказывается, на Троицком подворье, чуть выше Трубной площади, прямо в резиденции патриарха Тихона.

— Есть там отец эконом,— закончил Гришка свое повествование,— жулик, прости господи, каких свет не видел. Он и помещение это готовил загодя. Чуял, что при новой власти в Кремле не удержаться. Не иначе как он ценности упер. Монахи, кои видели, говорят, что в его келье подпол сделан. Вот там небось все и схоронено.

Информация была ценная, и я отправился в ЧК, к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Выслушав мой доклад, Феликс Эдмундович выделил мне в помощь двух чекистов, и прямо с Лубянки мы пошли на Троицкое подворье, благо по соседству.

Смотрим — настоящая крепость. Высокая каменная стена, ворота на замке. Вход через узенькую калитку, и та заперта. Еле достучались.

Впускать нас сначала не хотели, все допрашивали: кто, да что, да зачем. Только когда я пригрозил, что буду вынужден прибегнуть к оружию, впустили. Смотрим — обширный двор и вокруг снуют монахи. На нас поглядывают с любопытством и с откровенной враждебностью. После долгих расспросов добрались мы, наконец, до кельи отца эконома. Увидав меня, тот так и расплылся, а глаза у самого злющие, настороженные. Не тратя попусту времени, я сразу приступил к делу. Нам, говорю, все известно. Выкладывай ценности, не то худо будет.

— Ценности?! — изумился эконом.— Какие ценности? В первый раз слышу.

Я и так и сяк, по-хорошему, и угрозами — никакого толку. Стоит на своем: знать не знаю, ведать — не ведаю.

Пошел я тогда к самому Тихону. Нехорошо, говорю, получается. Поверили мы монахам на слово, а они все наиболее ценное прихватили. Ведь там и исторические ценности были, теперь же спустят их на толкучке, и поминай как звали.

Угрюмо глядя на меня из-под косматых, нависших бровей, Тихон усталым жестом прервал мои излияния:

— То — дело мирское. Прошу к отцу эконому, а я вам не советчик...

Вижу, он тут ни при чем, ничего не знает. Пришлось уходить несолоно хлебавши.

Вышел я из кельи патриарха в узкий коридор — навстречу шесть дюжих молодцов в сюртуках из личной охраны Тихона. Рожи у всех зверские, как на подбор, пришибут, и не пикнешь. А я, как назло, один, чекисты внизу остались, у эконома. Ну, думаю, дело дрянь. Виду, однако, не подаю. Иду на них напролом, как ни в чем не бывало. То ли мой решительный вид подействовал, то ли им не было приказано меня трогать, только они молча расступились, и я беспрепятственно спустился вниз.

Вошел к эконому сам не свой, злость разобрала.

— Не отдашь,— говорю,— ценности добром, все в твоей келье вверх дном переверну, а докопаюсь, куда ты их спрятал.

Вижу, перетрусил эконом не на шутку, но молчит, только глазами по сторонам шныряет и все больше в один из углов посматривает. Глянул и я туда. Вроде ничего особенного: на стене рукомойник, под ним таз на табуретке, на полу коврик. Постой-ка, постой, зачем же он там лежит? Как будто ковру там не место, возле рукомойника. Отодвинул табуретку, отшвырнул коврик: так и есть. Под ковриком в полу щель, в половицу вделано железное кольцо. Дернул я за кольцо, и открылся вход в подвал.

— Ну, святой отец, что теперь скажешь?!

А тот ни жив, ни мертв. Подтолкнул его один из чекистов к зияющему ходу, вынул из кармана электрический фонарь, и мы втроем спустились в глубокий сырой подвал, оставив чекиста сторожить наверху, чтобы кто не захлопнул крышку.

Посветил товарищ мой фонариком — сундук. В нем и митра, и панагии, и другие ценности, да еще деньгами и ценными бумагами около миллиона.

Собрав все в оказавшийся здесь же мешок, мы поднялись наверх, и, не мешкая, распростились с мрачным Троицким подворьем, прихватив с собой и отца эконома. Ценности я отнес в ЧК, а отцом экономом занялись чекисты, по назначению.

С чекистами я не раз совместно участвовал в различных операциях. Народ это все был мужественный, инициативный, боевой, преимущественно из рабочих. Многие из них вступили в большевистскую партию еще до Октября. Нередко вместе с чекистами действовали и латышские стрелки. Приходилось им выполнять боевые задания и самостоятельно.

С латышами прошли первые, самые трудные месяцы моей кремлевской жизни, когда все только налаживалось, входило в норму.

В Кремле латышей было больше, чем в Смольном. К нашему приезду там уже был расквартирован 4-й Видземский латышский стрелковый полк. С прибытием пятисот латышских стрелков из Питера сформировали еще

один полк, 9-й. 4-й вскоре из Кремля вывели, и 9-й полк нес в 1918 году охрану Кремля и выполнял различные боевые задания. Входил полк в Латышскую стрелковую дивизию, командовал которой Вацетис, впоследствии Главком вооруженных сил республики, комиссаром дивизии был большевик-подпольщик Петерсон. Подчинялся же полк фактически мне.

Размещались латыши в казармах, что напротив Арсенала, направо от Троицких ворот.

В боевых операциях действовали они энергично, самоотверженно, караульную службу несли превосходно, хотя порою кое-кто из латышей и пошаливал.

Невзлюбили, например, латышские стрелки ворон, которых действительно возле Кремля была тьма-тьмущая. Вороны в те годы кружились над Кремлем и особенно над Александровским садом целыми тучами, оглашая все вокруг неистовым карканьем. По вечерам, едва темнело, вороны сплошной черной массой висели на деревьях Александровского сада.

Латыши объявили смерть вороньему племени, войну не на жизнь, а на смерть и действовали столь энергично, что в дело вмешался даже Ильич.

Излюбленным местом дневного пристанища ворон были позолоченные двуглавые орлы, венчавшие Кремлевские башни. Вороны облепляли орлов гроздьями, ожесточенно дрались за право уцепиться за орлиную лапу или усесться на самой маковке. Вот тут-то и развернулись боевые действия. Сначала по воронам, садившимся на орлов, постреливали отдельные часовые с кремлевских стен, потом начали стрелять и с других постов. День ото дня больше, того и гляди пулеметы выкатят. Я было говорил, чтобы прекратили стрельбу, но особых строгостей не проявлял, все как-то руки не доходили, недосуг было. Вдруг звонок:

— Товарищ Мальков? Ленин. Позвольте узнать, по чьему распоряжению сплошь и рядом в Кремле ведется пальба по воронам, расходуются драгоценные патроны, нарушается порядок?

— Владимир Ильич, никто такого распоряжения не давал. Это просто так, ребята балуются.

— Ах, балуются? И вы, комендант Кремля, считаете это правильным, одобряете это баловство?

— Нет, Владимир Ильич, не одобряю. Я уже говорил, не слушают...

— А уж это ваше дело — заставить вас слушаться, да, ваше дело. Немедленно прекратить возмутительную пальбу!

Я, конечно, тут же отдал строжайший приказ, и стрельба прекратилась, хотя одиночные выстрелы изредка еще и раздавались, только тут уж с виновников стали спрашивать как следует.

В просторном, но отнюдь не громадном кабинете Ленина было три двери. Одна, направо от письменного стола, выходила в коридор, связывавший кабинет и приемную председателя СНК с его квартирой. У этой двери стоял часовой. Никто, кроме самого Ильича, пользовавшегося обычно именно этой дверью, никогда через нее не ходил. Часовой возле этой двери имел строжайшую инструкцию: кроме Ленина не пропускать ни одного человека, кто бы то ни был. Второй пост был установлен в конце коридора, возле квартиры Ильича. На эти посты я всегда ставил самых надежных людей, следил за этими постами особо тщательно, проверял их постоянно.

Вторая дверь, расположенная прямо напротив стола, вела в приемную, где работала Лидия Александровна Фотиева и другие секретари Совнаркома. Входили в приемную через дверь, находившуюся в том же коридоре, что и первая дверь — в кабинет Ильича. Возле этой двери поста не было. Все посетители, будь то Народный комиссар или рядовой рабочий, член Центрального Комитета партии или крестьянский ходок из-под Тулы, командарм или ученый,— попадали к Ильичу только через эту дверь, через приемную, только по вызову и в строго определенное время. Это было правилом, установленным почти для всех. Не распространялось это правило только на Якова Михайловича Свердлова и Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Яков Михайлович и Феликс Эдмундович обычно пользовались третьей, маленькой, дверью, находившейся позади письменного стола, за спиной у Ильича. Дверь эта вела в небольшую комнату, смежную с кабинетом Ленина, именовавшуюся аппаратной.

В аппаратной помещался так называемый Верхний кремлевский коммутатор, имевший всего несколько десятков абонентов. Аппараты Верхнего коммутатора были установлены в кабинетах особо ответственных работников — наркомов, членов ЦК — и кое у кого на квар-

тирах, а также в некоторых учреждениях: ВЧК, Реввоенсовете, комендатуре Кремля, гараже Авто-боевого отряда, обслуживающего Президиум ВЦИК. Вот, пожалуй, и все. Был в Кремле и другой коммутатор, именовавшийся Нижним, аппараты которого были установлены во всех кремлевских учреждениях и в большинстве квартир.

В аппаратной круглые сутки находились дежурные, и всякий, кто попытался бы проникнуть к Ильичу через аппаратную, никак не мог миновать дежурных, превосходно знавших свои обязанности.

К часовым, стоявшим на постах возле кабинета и квартиры, к дежурным в аппаратной Владимир Ильич всегда относился исключительно тепло и внимательно. Нередко он с ними задушевно беседовал, а, проходя мимо, обязательно приветливо здоровался. Так же относился Ильич ко всем сотрудникам Совнаркома и к часовым других постов, никогда не раздражаясь и не впадая в неоправданный гнев, если возникали какие-либо недоразумения. А они, бывало, возникали.

В 1918—1919 годах время от времени бывали перебои с подачей электроэнергии, и порою здания Кремля погружались в темноту. Только здания, так как улицы освещались тогда в Кремле не электричеством, а газовыми фонарями, которые специальный фонарщик каждый вечер зажигал, а по утрам гасил.

Однажды свет погас в тот момент, когда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной возвращались откуда-то домой. Дошли они до своей квартиры, а часовой их в темноте не узнал и в квартиру не пустил. Как они ни уговаривали — не пускает, и все. Хорошо, согласился позвонить начальнику караула.

Начальник караула доложил мне, и я поспешил к квартире Ильича, захватив с собой несколько толстых церковных свечей, которыми как-то «разжился» в одном из кремлевских монастырей. Прибежал. Владимир Ильич стоит себе с Надеждой Константиновной возле часового, посмеивается. Начал было я часового ругать, Ильич вступился:

— Что вы, товарищ Мальков, что вы! Нет ничего страшного в том, что товарищ нас не узнал в такой темноте, а вот обеспечить всех часовых свечами на случай, если погаснет электричество, следует. Об этом подумайте.

Часовые хорошо знали Владимира Ильича в лицо, и он обычно входил и въезжал в Кремль, не предъявляя пропуска. Нередко поэтому Ильич, уезжая из Кремля, не захватывал с собой кремлевского пропуска. Как-то он уехал из Кремля, а за время его отсутствия караул сменился, и на пост к Спасским воротам, которые были тогда уже открыты для транспорта, встал часовой, не знавший Ильича в лицо. Он и задержал Ленина. Шоферу разрешил ехать — у того пропуск был, а Ильичу говорит: не пропущу!

Еле уговорил его Ильич позвонить начальнику караула. Он вначале и этого не хотел делать: я, мол, на посту, не мое дело звонить по телефону. Тебе нужно, ты и звони. Иди в Троицкую будку и звони (возле Спасских ворот будки не было, разовые пропуска выдавали в Троицкой будке, там же был и телефон).

Только после долгих уговоров часовой уступил и вызвал начальника караула. Тот, конечно, сразу узнал Ильича и страшно разволновался. Ленина велел пропустить, а сам звонит мне и докладывает: так и так, скандал! Только я положил трубку, снова звонок. Ильич.

— Товарищ Мальков, прошу отметить часового, который сейчас стоит на посту возле Спасских ворот. Хороший товарищ. Прекрасно знает свои обязанности и превосходно несет службу.

Поражало меня всегда в Ильиче то, как он, будучи постоянно завален делами огромной государственной важности, не проходил мимо мелочей и даже к мелочам подходил неизменно с глубоко партийных, государственных позиций. Впрочем, некоторые их этих мелочей были на самом деле далеко не мелочами.

Вскоре после переезда правительства в Москву вызывает меня Владимир Ильич.

— Товарищ Мальков, надо бы на здании Судебных установлений водрузить красное знамя. Сами подумайте, Советское правительство — и без знамени. Нехорошо.

— Сделаем,— говорю,— Владимир Ильич, сейчас займусь.

Ушел от Ильича, а сам думаю: пообещать-то пообещал, а как его установить, это самое знамя? Всего неделю назад, когда принимал комендатуру, я весь Кремль облазил, все крыши осмотрел. Здание же Судебных установлений — особо тщательно. Там наверху большой

железный купол. В него так просто знамя не воткнешь, надо гнездо в железе делать, а штука это не простая.

Однако, раз Ильич сказал, делать надо.

На мое счастье, работал в Кремле с давних времен один слесарь, Беренс. Лет ему было за пятьдесят, роста он был небольшого, плотный, коренастый. Числился водопроводчиком, а смастерить мог что угодно. Настоящий русский умелец. Руки и голова были у него золотые. Вот этого Беренса я и вызвал.

— Велел,— говорю,— Владимир Ильич поднять над зданием Судебных установлений красное знамя. Надо в куполе гнездо сделать. Сделаешь?

— Почему не сделать? — отвечает Беренс.— Дело вроде не хитрое.

Взял инструмент и полез на крышу. Несколько дней там сидел, возился. И соорудил прочное, хорошее гнездо. Подняли мы над Кремлем, над зданием Советского правительства, красное знамя. Навсегда!

Прошло некоторое время, звонит Бонч-Бруевич:

— Павел Дмитриевич! Владимир Ильич велел вас спросить, нельзя ли часы на Спасской башне пустить (а они с самой революции стояли), да чтобы они опять, как прежде, заиграли, только уж не церковное, а наше — «Интернационал».

— Не знаю, Владимир Дмитриевич, выйдет ли, а попробовать попробуем.

Вызвал я опять Беренса, отправились мы с ним на Спасскую башню, и начал он в механизме копаться. А механизм там солидный, части, колеса разные, маховики — все огромное, и на часы не похожее. Лазил Беренс, лазил, перемазался весь, а вид довольный.

— Ничего,— говорит,— сделаем.

С тех пор начал Беренс ежедневно взбираться на Спасскую башню и возиться с часами. Немало дней прошло, только вдруг, что это? Звон какой-то несется над Кремлем. Прислушался — «Интернационал»! Пошли часы на Спасской башне, зазвучала музыка, наша, советская.

Не знаю, может, после 1920 года, когда я ушел из Кремля, ремонтировали Спасские часы разные люди, но в 1918 году впервые после революции пустил их и заставил вызванивать «Интернационал» не кто иной, как Беренс, простой русский мастер, кремлевский водопроводчик.

Забота Ленина об установке красного флага на здании Советского правительства и о пуске часов на Спасской башне мелочью, пожалуй, и не назовешь. Но у Ильича доходили руки и до самых настоящих мелочей.

Осенью 1918 года завезли в Кремль дрова и сложили штабелями против Детской половины Большого дворца. Только завезли, звонит Ильич.

— Товарищ Мальков, по вашему распоряжению дрова в Кремль завезены?

По голосу чую недоброе, хоть и не пойму, в чем дело.

— Да, Владимир Ильич, по моему. Надо на зиму запасаться.

— Чем запасаться? Дровами? А вам что привезли? Вы смотрели?

— Смотрел, конечно. Дрова...

— Дрова! Да какие это дрова? Шпалы же вам привезли, самые настоящие железнодорожные шпалы. Нам транспорт восстанавливать надо, каждый рельс, каждая шпала должны быть на учете, а вы железнодорожные шпалы будете в печки совать? Нет, это же надо додуматься! Немедленно, слышите, немедленно отправьте шпалы обратно да разыщите головотяпов, которые вместо дров прислали шпалы. Мы их примерно накажем.

Пришлось, конечно, шпалы из Кремля вывезти и подержать Кремль в отношении топки на голодном пайке, пока не удалось возобновить запас дров. Ну, а тем, кто прислал шпалы, досталось по первое число.

Или, скажем, счищают снег с крыши здания Совнаркома. Вдруг звонит Владимир Ильич: разве можно так сбрасывать снег? Его же кидают прямо на провода, пооборвут все, придется восстанавливать. Куда это годится? Надо лучше инструктировать рабочих, не допускать подобных безобразий.

Как-то летом 1918 года решили мы с Демьяном Бедным и Иваном Ивановичем Скворцовым (Степановым) поехать половить рыбы. А как ловили? Греха таить нечего — глушили гранатами. Рыбы набрали, конечно, порядочно. Приехали домой, я часть рыбы Владимиру Ильичу понес. Занес и еще ряду товарищей. Надежда Константиновна никак рыбу брать не хотела, но я ее уговорил. Сказал, что не куплена, сам, мол, наловил. А как ловил, ей невдомек.

Проходит день, другой. Сидит Демьян Бедный у себя дома, работает. Вдруг — телефон. Ильич звонит:

— Вы что еще там с Мальковым удумали, браконьеры вы эдакие! Да вас обоих в тюрьму за такие штуки посадить следует.

Демьян, как известно, за словом в карман не лез. Он попытался было все обратить в шутку:

— Верно,— говорит,— Владимир Ильич, нехорошо! Только ведь и вы вроде наш сообщник. Рыбку-то эту оглушенную вы же тоже кушали! Вам первому ее Мальков отвез.

Ильич разгневался не на шутку:

— Ваш Мальков обманщик. Он не сказал, каким способом ловил рыбу. И его и вас предупреждаю — повторится такая история, буду требовать для вас обоих самого сурового наказания.

Приходит ко мне Демьян туча тучей.

— Видишь, что получилось?! А все Бонч! Ведь это он рассказал Владимиру Ильичу, что Демьян с Мальковым разъезжают по Подмосковью и почем зря глушат рыбу.

Почти ежедневно Владимир Ильич гулял по Кремлю, чаще всего по тротуару напротив Большого дворца, откуда открывалась широкая перспектива Москвы, или внизу, в Тайнинском саду, где густо разрослась никем не ухоженная зелень. Иногда он гулял днем, иногда вечером, а то, бывало, и ночью. Гулял почти всегда один, думал. Страшно не любил, чтобы ему во время прогулок мешали.

Как-то во время ночной прогулки Владимир Ильич заметил, что в некоторых квартирах поздно горит свет. Утром вызывает меня.

— Возьмите бумагу, ночью проверьте и запишите, кто свет напрасно жгет. Электричество у них выключите, а список мне дадите, мы их взгреем, чтоб даром энергию не расходовали. Мы должны каждый килограмм топлива, каждый киловатт электроэнергии экономить, а они иллюминацию устраивают! Надо прекратить это безобразие.

Очень внимательно, с горячей заботой, относился Владимир Ильич к нуждам трудящихся, неустанно пекся о том, как бы в тех тяжелых условиях улучшить жизнь рабочих и крестьян. А уж об отношении Ильича к товарищам по партии и говорить нечего. Как-то зайдя к Ильичу в кабинет, я услышал его разговор по телефону с продкомиссаром московской губернии. Тоном, не терпящим возражений, сурово и властно Владимир Ильич

приказывал продкомиссару обеспечить в тот же день московских рабочих хлебом.

— Имейте в виду, проверю. Лично проверю. Не выполните — пойдете под суд. Так и знайте.

Зимой 1918 года докатилась до Москвы эпидемия тифа. На всех московских вокзалах начали срочно сооружать санпропускники. Вызывает меня как-то Ильич, да не к себе, а прямо к подъезду Совнаркома.

Я пошел. Возле подъезда стоит машина, выходит Ильич.

— Поехали. На Николаевский вокзал. Посмотрим, как там санпропускник работает.

Стал было я его отговаривать: и народу там много, и заразиться можно. Куда там! Даже не слушает.

Доехали до вокзала. Владимир Ильич вышел из машины, я за ним. Пошли искать санпропускник. А он, оказывается, хоть и сделан, но еще не открыт, какую-то формальность соблюсти не успели.

Услыхав, что по вокзалу ходит Ленин, прибежало, на свою беду, вокзальное начальство. Ну и дал же им Ильич жару! Такую баню устроил, лучше всякого санпропускника. Мигом пропускник открыли.

Приезжает как-то из-за границы Фридрих Платтен, тот самый, который в марте 1917 года сопровождал Ленина из Швейцарии в Россию, а в январе 1918 года, в момент покушения на Ильича, заслонил его от пуль собственным телом.

Звонит мне ночью Владимир Ильич. Надо, говорит, устроить товарища Платтена с ночлегом.

Я отвечаю, что у меня сейчас нет ничего, поместить негде. Могу только взять к себе на квартиру, благо можно одну комнату освободить без особого ущерба.

— А это удобно,— спрашивает Владимир Ильич,— он вас не будет стеснять?

— Да, ничего, как-нибудь устроимся.

Взял я Платтена к себе, а через полчаса стук в дверь. Владимир Ильич пришел. Интересуется, хорошо ли Платтену, и не мешает ли он мне, не стеснил ли мою семью.

Если позволяло время, Владимир Ильич охотно ездил к своим товарищам, к старым членам партии. Играл в шахматы, смеялся, шутил. Бывал он у П. Н. Лепешинского на Остроженке (ныне Метростроевская), несколько раз ездил к П. Г. Дауге в Архангельский (теперь

Телеграфный) переулок. Дауге, старого большевика, по профессии зубного врача, Владимир Ильич очень любил.

Однажды к Дауге ездил с Владимиром Ильичом и я. Приехали — большой дом, лифт не работает. Пришлось на пятый этаж пешком подниматься. Дауге тогда все убеждал Ильича, что пора начинать писать историю партии. Очень, мол, нужно. Ильич согласился».

Трудно назвать эти воспоминания правдивыми и объективными, но представление об абсурдном и парадоксальном быте послеоктябрьского Кремля они дают достаточное.

ПОКУШЕНИЯ И РАССТРЕЛЫ

В 1918 году эсеры начали вооруженную борьбу против советской власти, которая по своей сути являлась ничем иным, как диктатурой партии большевиков.

Вооруженная борьба против Советов закончилась достаточно быстро и безуспешно.

Большевики победили в гражданской войне. После этого началась борьба с идеями. Борьба идей — нормальное явление, но только не для партии диктаторского типа. Коммунисты ставили перед собой цель — не допустить смычку недовольного народа с оппозиционными партиями.

Решение провести процесс против лидеров ПСР было принято ЦК РКП(б) в декабре 1921 года, по предложению председателя ЧК Феликса Дзержинского.

В центре внимания на процессе стояло покушение Фанни Каплан на Ленина во время его выступления на заводе Михельсона.

Главным «вещдоком» на процессе против эсеров был пистолет, из которого стреляли в Ленина.

Официальное объявление о предстоящем процессе было опубликовано в печати в феврале 1922 года. Незадолго до этого в Берлине появилась брошюра бывшего эсера Григория Семенова. В своей брошюре он «разоблачал» товарищей по партии: ПСР якобы составила заговор против Советской власти вместе с русскими контр-

революционными организациями и с представителями Антанты, получала от них деньги, готовила мятежи и, самое важное, не исключала из своей деятельности террор. В частности, по словам Семенова, ПСР организовала покушение Фанни Каплан на Ленина 30 августа 1918 года.

«Разоблачения» Семенова, опубликованные в советской печати, спустя несколько дней были подтверждены и дополнены его близкой сотрудницей Лидией Коноплевой. Есть основание предполагать, что Семенов и Коноплева написали свои статьи по поручению ЧК (с февраля 1922 года — ГПУ). Вслед этому ГПУ объявило, что руководители ПСР, которые уже несколько лет сидели в тюрьме, будут преданы суду.

Большевистское руководство не собиралось вести непредвзятого судебного расследования. Это очевидно из инструкций, данных Лениным за неделю до объявления о процессе народному комиссару юстиции Курскому: «Ни малейшего упоминания в печати о моем письме быть не должно». Ленин настаивал на организации ряда «образцовых процессов» с целью усиления репрессий против меньшевиков и эсеров, образцовых «по разъяснению народным массам, через суд и через печать, значения их», «образцовых, громких, воспитательных процессов», сопровождаемых значительным шумом в печати. Ведь «воспитательное значение судов громадно». Судьи должны были руководствоваться «революционным правосознанием», «считаться не только с буквой, но и с духом» коммунистического законодательства и не отступить перед приговором к расстрелу. Партия должна была воздействовать на судей и «шельмовать и выгонять» тех, которые поступали иначе. Таким образом, целью процесса эсеров не было выявление правды — он должен был служить средством пропаганды против политических противников.

Следствие вел чекист Яков Агранов. Методы следствия в сравнении с 30-ми годами еще очень «гуманные», но уже используются и давление, и угрозы. И еще любопытный штрих к картине советской «законности» — эсеров судили по законам, которые не существовали при совершении их деяний, так как новый Уголовный кодекс вступил в силу лишь за неделю до начала процесса.

Объявление о процессе эсеров вызвало реакцию в

международном социалистическом движении. Эсеры и меньшевики в эмиграции требовали от Второго Интернационала поддержать подсудимых. Обе организации во время международной социалистической конференции в апреле 1922 года в Берлине добились от Коммунистического Интернационала определенных гарантий. В частности, им было обещано, что подсудимые не будут приговорены к смертной казни. Второй Интернационал в качестве защитников послал в Москву известных социалистов Эмиля Вандервельде и Артура Вотеса из Бельгии, Курта Розенфельда и Теодора Либкнехта (брата Карла Либкнехта) из Германии. Большевики оскорбились таким «давлением». И выставили в противовес «своих», проверенных членов Коминтерна (например, Клару Цеткин). Таким образом, процесс эсеров превратился в своего рода выяснение отношений между коммунистами и социалистами на международной арене. Процесс эсеров проходил в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы с 8 июня по 7 августа. Заседания шли шесть дней в неделю, с полудня до 17 часов и вечером с 19 до полуночи. В нем принимали участие некоторые высокопоставленные большевики. Председателем трибунала был Георгий Пятаков, государственным обвинителем — Николай Крыленко, по левую и правую руку от первого красного прокурора восседали первые красные интеллигенты Анатолий Луначарский и Михаил Покровский.

Перед судом предстали двенадцать членов Центрального комитета ПСР и десять рядовых членов партии. Из них самые известные — Абрам Гоц и Евгений Тимофеев. Все они по меньшей мере уже два года отсидели в тюрьме. В число обвиняемых следственными органами были включены еще двенадцать находившихся на свободе бывших эсеров (Григорий Семенов, Лидия Коноплева и др.). Их ролью, по сочиненному сценарию, было признать свою вину и обвинить своих бывших товарищей по партии. Этих обвиняемых «второй группы», защищали Никалай Бухарин, Михаил Томский и другие, то есть защитники «второй группы» на самом деле выступали обвинителями «первой группы».

Защитниками обвиняемых «первой группы» выступали вышеупомянутые западные социалисты и несколько видных русских адвокатов: Николай Муравьев, Александр Тагер, Владимир Жданов и другие.

С первого дня процесса возникли конфликты между ними и трибуналом. Вандервельде и его коллеги ссылались не только на советские законы, но и на берлинское соглашение между Социал-интернационалами и Коминтерном, согласно которому обвиняемые не могут быть приговорены к смертной казни. Защите сразу стало понятно, что трибунал не слишком озабочен соблюдением правовых норм. Большая часть просьб обвиняемых и защитников была отклонена. Трибунал вызвал значительно меньше свидетелей защиты, чем свидетелей обвинения. Четыре защитника, которые были приглашены по просьбе обвиняемых, судом не были допущены. Публика в зале оказалась соответствующе подготовлена и постоянно издевалась над обвиняемыми и защитниками. Кроме того, суд не считал себя связанным берлинским соглашением. Западные социалисты после первой недели пришли к выводу, что их присутствие на суде бессмысленно, и уехали, предоставив подзащитным «выкручиваться» самим (что, по всей вероятности, вполне отвечало духу социалистической морали).

20 июня перед зданием суда проходила огромная демонстрация, организованная Коммунистической партией. По данным советской печати, в ней участвовали 300 000 человек. Демонстранты требовали смерти обвиняемых; к ним обращались председатель трибунала Пятаков и государственный обвинитель Крыленко. На вечернем заседании, несмотря на протест защитников, суд пустил в зал демонстрантов, которые при поддержке публики продолжили свой митинг. В течение двух с половиной часов, до глубокой ночи, они обвиняли подсудимых в чем попало и требовали смертной казни.

На следующем заседании защитники опротестовали происходящее. Они указали, что суд грубо нарушал правопорядок, и потребовали прекращения процесса с возобновления его при другом составе трибунала. Суд отверг протест и ответил оскорблениями и угрозами в адрес защитников, после чего защитники отказались участвовать в судебном процессе. Их за это на несколько месяцев посадили в тюрьму, а потом административным путем выслали из Москвы.

После этого обвиняемые «первой группы» сами взяли на себя защиту. Но их цели отличались от целей адвокатов. Предотвратить смертный приговор не было их первой заботой. Они также не стремились к исключитель-

но юридической защите — процесс, на их взгляд, был методом политической борьбы. Если большевики смотрели на процесс как на политическую демонстрацию против эсеров, эсеры, наоборот, хотели превратить процесс в политическую демонстрацию против диктатуры большевиков, обвинить обвинителей.

В центре внимания на процессе стояло покушение Фанни Каплан на Ленина: обвинительное заключение, базируясь на показаниях Семенова и других, гласило, что покушение было совершено по поручению членов ЦК ПСР. Подсудимые отрицали обвинение. Хотя доказательства были на стороне обвиняемых, суд все же принял версию Семенова.

По версии Семенова, в эсеровских партийных организациях культивировались террористические методы. Эсеры Гоц, Ратнер и Чернов неоднократно выступали с заявлениями о необходимости террора. За применение террора высказывались целые эсеровские организации (петроградская, харьковская).

Наконец, в феврале 1918 года ЦК партии эсеров официально обсуждал этот вопрос. На заседании выявились две точки зрения: одни (В. М. Чернов и другие) высказывались за террор, другие (М. С. Сумгин) — считали невозможным применение террора против Советского правительства и большевиков. Победили сторонники террора. Однако принятое решение держалось в секрете. На суде эсеровские руководители уверяли, что ЦК партии принял большинством голосов отрицательное решение о терроре.

Первые попытки организовать антисоветский террор предпринимались отдельными эсерами и местными эсеровскими партийными организациями. В частности, в Петрограде зародился план — устроить взрыв поезда Совнаркома во время переезда правительства из Петрограда в Москву, а эсеровская активистка Коноплева обещала совершить покушение на В. И. Ленина.

Замысел у сотрудницы петроградского комитета партии эсеров Коноплевой возник в феврале 1918 года. О своем намерении она сообщила руководителю военной работы при ЦК партии эсеров Б. Рабиновичу и члену ЦК А. Гоцу. Заботясь о том, чтобы партия не несла ответственности за покушение, Коноплева предложила придать покушению форму «индивидуального акта». Это означало, показывала позже на суде Коноплева, что

«акт должен совершиться с ведома партии, с ведома ЦК, но я, идя на это дело, не должна была заявлять, что это делается от имени партии, и даже не должна была говорить, что являюсь членом партии».

Рабинович и Гоц от имени партии санкционировали задуманное Коноплевой покушение. В марте Коноплева вместе с приглашенным ею эсером Ефимовым выехала из Петрограда в Москву для осуществления своего замысла. В организации слежки за В. И. Лениным, добывании оружия, финансировании «предприятия» Коноплевой оказывали содействие находившиеся в Москве члены ЦК партии эсеров В. Рихтер и Е. Тимофеев.

ЦК партии эсеров старался организовать дело так, чтобы на него не пала ответственность за террористический акт. Гоца, который приехал в Москву, очень испугало впечатление, произведенное на него Коноплевой. Она выглядела «душевно удрученным и морально разбитым человеком». Такой человек мог, конечно, «подвести».

Гоц, согласно его показаниям, сказал Коноплевой: «Бросьте не только вашу работу, которую вы ведете, но бросьте всякую работу и поезжайте в семью отдохнуть».

В этот раз покушение на жизнь В. И. Ленина не состоялось.

В мае 1918 года начальник эсеровской боевой дружины в Петрограде Семенов предложил образовать при ЦК партии «центральный боевой отряд» и начать организованный террор против представителей Советской власти. Члены ЦК партии Гоц и Донской, с которыми Семенов вел переговоры об этом, дали от имени партии санкцию на образование такого отряда под начальством Семенова. Тот привлек в отряд эсеров, которые и раньше действовали в этом же направлении (Коноплеву, Иванову-Иранову, Усова, Сергеева и других), и отряд начал свою работу.

Решено было убить В. Володарского, М. С. Урицкого и других. Эти цели были тайно санкционированы членами ЦК эсеровской партии. В результате 20 июня был убит В. Володарский.

Не скрывая своей ответственности за это, начальник отряда Семенов на суде показал: «Когда один из моих боевиков — Сергеев — направился на очередную слежку на Обуховскую дорогу, он спросил меня, что, если будет случайная возможность легко произвести покуше-

ние, как быть? Я указал что... вопрос ясен, тогда нужно действовать, поскольку вопрос санкционирован ЦК, а время и день действия, бесспорно, принадлежит боевой организации... Как раз такая возможность представилась, и товарищ Володарский был убит. Сергееву удалось благополучно бежать».

Не имея возможности опровергнуть показания Семенова и других членов его отряда, подсудимые — члены ЦК и их единомышленники из эмигрантской группы — вынуждены были признать, что они знали об убийстве В. Володарского членом эсеровской боевой группы Сергеевым, который «не стерпел», встретившись случайно с В. Володарским. Тем не менее 22 июня 1918 года Гоц от имени петроградского бюро ЦК партии эсеров опубликовал дезориентирующее извещение о том, что «ни одна из организаций партии к убийству комиссара по делам печати Володарского никакого отношения не имеет».

Центральный комитет партии социалистов-революционеров сохранил террористическую группу Семенова и после убийства Володарского, лишь перебазировав ее в Москву. Группа продолжала террористическую работу, готовя покушение на жизнь В. И. Ленина. 30 августа 1918 года Ленин был тяжело ранен в результате покушения Фанни Каплан.

Через 4 года на суде показаниями участников «центрального боевого отряда» при ЦК партии эсеров Семенова, Коноплевой, Усова, Федорова-Козлова, Зубкова, Ставской, а также Дашевского и других было установлено, что покушение на жизнь В. И. Ленина являлось делом «отряда». Они заявили, что члены ЦК Гоц и Донской в июле 1918 года санкционировали великое покушение.

На суде выяснились такие подробности. Террористка Каплан начала готовить свой подвиг еще в феврале-марте 1918 года, приехав специально для этого в Москву. Она считала, что «будничной работой» сейчас заниматься не время, нужно «вспомнить старые заветы партии», и организовала небольшую эсеровскую террористическую группу для совершения покушения на жизнь В. И. Ленина.

Осуществить тогда этот план Каплан не удалось, она совершила покушение только после вступления в отряд Семенова.

«Центральный боевой отряд» Семенова, переехавший в Москву, насчитывал в то время около 15 человек. Каплан была принята в состав отряда по рекомендации члена военной комиссии партии эсеров Дашевского. В начале июля он узнал о твердом намерении Каплан совершить террористический акт против Ленина. Дашевский считал необходимым, чтобы такого рода покушения, могущее иметь серьезнейшие последствия, совершались под контролем и руководством ЦК. Поэтому он решил связать Каплан с Семеновым, работа которого санкционировалась и проходила под контролем ЦК.

Отряд Семенова деятельно готовил покушение. В то время в Москве еженедельно по пятницам проходили митинги на предприятиях города, и В. И. Ленин часто выступал на них. Заговорщики разделили город на части и назначили исполнителей, которые должны были стрелять в Ленина, когда он прибудет на митинг. На крупные предприятия посылались дежурные террористы, которые при появлении Ленина должны были сообщить об этом исполнителю. Один из членов террористической группы, подсудимый Усов, говорил на суде: «Все наши руководящие лица: Семенов, Елена Иванова и Коноплева — категорически настаивали, чтобы убийцей Ленина непременно был рабочий. Это, мотивировали они, послужило бы большей агитацией против Коммунистической партии...» Кроме Усова, исполнителями террористического акта были назначены Федоров-Козлов, Каплан и Коноплева.

Усов, встретив на одном из митингов В. И. Ленина, не смог выполнить задуманное. На суде он объяснил это так: «Ленин был встречен громом аплодисментов и восторженными криками, и конечно, вырвать Бога у полуторатысячной рабочей массы я... не решился. Я стрелять не стал». Так же поступил в другом случае и Федоров-Козлов.

Говорят, что Ленин обладал особого рода магнетизмом. Таким, что под влияние его сильной воли попали даже террористы, которые как на сеансе гипноза отказывались от собственных планов, подарив пролетарскому диктатору жизнь. Хоть я просто переплетчик, но всегда боялся массовых сборищ — митингов, собраний (а я, конечно, был членом той партии, которая «ум, честь и совесть эпохи»), демонстраций... Все это напоминало массовый психоз. Мне совсем не хотелось быть

психом, не хотелось растворять свою личность в «народных массах», которые следуют за своими вождями безвольно, как крысы за крысоловом, играющем на дудке.

30 августа на заводе Михельсона дежурил член террористической группы Новиков, который и сообщил Каплан о приезде Ленина. Она явилась на завод.

Когда Ленин, окруженный рабочими, выходил из помещения, где только что закончилось собрание, Новиков умышленно споткнулся и застрял в двери, сдерживая выходящих людей. В это время Каплан произвела выстрелы.

Семенов рассказывал: «После покушения на Ленина в газетах появилось сообщение от московского бюро ЦК о том, что партия эсеров непричастна к этому покушению. Это произвело на наш отряд впечатление ошеломляющее... Я предложил, чтобы кто-нибудь из боевиков вместе со мной пошел бы к Донскому... Донской сказал, что партия обратно не возьмет этого решения, что сейчас идет красный террор, что если мы это решение возьмем обратно, то вся партия в целом будет подвергнута разгрому... Он сказал, что единственная возможность, которая осталась,— эта мысль ему понравилась — действовать как народные мстители, черные маски, вот это дело хорошее, тут партия будет в стороне, и, с другой стороны, капитал приобретем, удар основательный нанесем Советской власти...»

Причастность членов ЦК партии эсеров к покушению на жизнь В. И. Ленина подтверждали другие данные. Донской, Гоц, Тимофеев, Морозов признали на суде, что Каплан являлась членом их партии, и подтвердили, что эсеровские боевики, уверенные в том, что ЦК партии санкционировал применение террора, выражали свое возмущение отказом признать покушение 30 августа «партийным делом».

Коноплева рассказала о своей беседе в июле 1918 года с Гоцем, который говорил: «Сейчас нужны террористические акты на Ленина и других... Партия эти акты если сейчас не признает, то она их позже признает». Коноплева также рассказала, что член ЦК партии Донской предложил Новикову, участвовавшему в покушении, написать воспоминания об этом с тем, чтобы оставить их в архиве партии. А позже, весной 1919 года, член ЦК партии Морозов приобрел карточку Каплан для партийного архива.

Когда Морозова спросили на суде, для чего ему понадобилась карточка Каплан, он сказал: «Я был секретарем, и все бумаги, которые имели касательство к партии, я всегда собирал». Так эсеровские лидеры, официально отрицая причастность своей партии к покушению, фактически руководили им.

На суде установили, что Каплан стреляла из револьвера, данного ей Семеновым — командиром эсеровского «центрального боевого отряда». Вот почему в 1918 году Каплан упорно не отвечала на вопросы следователей о том, где она взяла браунинг. Теперь стало понятно и то, почему у Каплан в портфеле находился железнодорожный билет Томилино-Москва.

Из показаний участников семеновского отряда выяснилось, что на даче в Томилино находилась конспиративная квартира отряда, и там неоднократно бывала Каплан, приезжавшая из Москвы.

Верховный революционный трибунал после 50-дневного тщательного судебного разбирательства приговорил членов ЦК партии социалистов-революционеров А. Р. Гоца, Д. Д. Донского, Л. Я. Герштейна, М. Я. Гендельмана-Грабовского, М. А. Лихача, Н. Н. Иванова, Е. М. Ратнер-Элькинд, Е. М. Тимофеева, членов различных руководящих органов партии С. В. Морозова, В. В. Агапова, А. И. Альтовского, члена ЦК партии народных социалистов В. И. Игнатьева и членов центрального боевого отряда при ЦК партии эсеров» Г. И. Семенова, Л. В. Коноплеву и Е. А. Иванову-Иранову к расстрелу.

Десятерых подсудимых — ответственных деятелей партии эсеров, в том числе членов ЦК Д. Ф. Ракова, Ф. Ф. Федоровича и М. А. Веденяпина, а также непосредственных участников террористической и боевой деятельности партии эсеров П. Т. Ефимова, К. А. Усова, Ф. В. Зубкова, Ф. Ф. Федорова-Козлова, П. Н. Пелевина, И. С. Дашевского, Ф. Е. Ставскую — к разным срокам тюремного заключения. Двое подсудимых — Г. М. Ратнер и Ю. В. Морачевский — были оправданы. Вместе с тем, Верховный трибунал обратился в Президиум ВЦИК с ходатайством об освобождении осужденных Семенова, Коноплевой, Ефимова, Усова, Зубкова, Федорова-Козлова, Пелевина, Ставской, Дашевского и Игнатьева от наказания, так как нашел, что эти подсудимые заблуждались при совершении ими тяжких преступ-

лений, а затем вполне осознали всю их тяжесть, поняли контрреволюционную роль партии эсеров, вышли из нее и из стана врагов рабочего класса.

Убийство М. С. Урицкого тоже было партийной загадкой для большевиков. Исполнитель этого преступления — Л. Каннегисер — был пойман, расстрелян, но возникал вопрос: кто его сообщники?

Как известно, в тот самый день, когда в Петрограде был убит М. С. Урицкий, 30 августа 1918 года, в Москве на заводе Михельсона Каплан стреляла в Ленина и тяжело ранила его.

Естественно было предположить, что совершенные в один день в Петрограде и Москве покушения представляют собою акты организованного террора и были подготовлены одной политической группой. При расследовании выяснилось, что Каплан в прошлом была анархисткой, затем эсеркой, а Каннегисер состоял в партии народных социалистов. Центральный комитет партии правых эсеров и другие социалистические партии выступают с официальными публичными заявлениями о том, что их организации не имеют никакого отношения к убийству М. С. Урицкого и покушению на жизнь В. И. Ленина. Еще раньше они заявляли то же по поводу убийства В. Володарского. Конкретных данных, опровергающих утверждения этих партий, ВЧК не имела.

Чрезвычайная комиссия обратила внимание на связи убийцы М. С. Урицкого с Филоненко. В сообщении Петроградской чрезвычайной комиссии указывалось, что Каннегисер являлся родственником Филоненко. Этот интерес к Филоненко не был случайным.

М. М. Филоненко, по образованию инженер, поручик царской армии. Он был человеком огромного честолюбия, склонным к авантюрам, Керенский назначил его военным комиссаром Временного правительства.

Материалы судебного процесса по делу эсеров выявили более подробные данные о личности Каннегисера. Как выяснилось, последний постоянно вращался среди антисоветски настроенных офицеров и юнкеров, участвовал в подпольных военных группировках, создававшихся в Петрограде.

Он являлся сторонником активных методов борьбы с Советской властью. Член ЦК партии народных социалистов В. И. Игнатьев показал, что Каннегисер, как член партии народных социалистов, предложил ему использо-

вать в партийных интересах военные группы, в которых он работал. «Приблизительно в конце марта,— рассказывал Игнатьев,— ко мне явился... Каннегисер, который предоставил мне определенные рекомендации от знакомых мне лиц и после некоторого разговора предложил мне сорганизовать или, вернее, оформить уже существующую организацию беспартийного офицерства, которая поставила своей задачей активную борьбу против Советской власти.

Он сказал, что свыше 100 человек разбиты по разным районам города. Город разделен на комендатуры. Я осведомился, каково политическое кредо этой группировки. Ответ получил такой, что они стоят на точке зрения идейного народоуправства. Затем мы более детально обсудили этот вопрос... Я просил более ответственных руководителей (организации) и комендантов прийти ко мне на совещание. Около полумесяца пошло на эту организационную работу». В конце концов офицерские военные группы, в которых участвовал Каннегисер, перешли в ведение партии народных социалистов, и член ЦК этой партии Игнатьев взял на себя политическое руководство ими.

Между тем в городе существовали и военные группы правых эсеров. Впоследствии все городские военные группы слились в единую организацию, ставшую военным костяком «Союза возрождения России».

В районах Петрограда были созданы низовые объединенные военные организации «Союза» — военные комендатуры, большая часть которых возглавлялась правыми эсерами. Комендантом же Выборгского района был Каннегисер.

Игнатьев рассказал, что Каннегисер предлагал ему вступить от имени партии народных социалистов также в связь с действовавшей в городе самостоятельной организацией Филоненко. «Каннегисер неоднократно говорил мне,— показывал Игнатьев,— о своих личных связях с Филоненко, о своей прошлой работе с ним, о встречах с ним в период своей работы в «Союзе возрождения». От встречи с Филоненко я отказался, от вхождения в связь с его организацией уклонялся, так как, по моей информации, организация его носила правый уклон и слишком личный характер, служила не для достижения общих целей, а для честолюбивых устремлений Филоненко к власти... Непременным условием для совместной

работы с его организацией ставилось признание Филоненко в качестве будущего премьера и военного министра». Отвечая на вопрос о причастности Филоненко к убийству М. С. Урицкого, Игнатьев сообщил на следствии, что он встречался с Филоненко в Архангельске во время господства там «союзных» оккупантов, при этом «во время разговора с Филоненко у последнего пробегала мысль о том, что он что-то знает по делу убийства Урицкого, но, скорее, был склонен приписать ее желанию похвастаться своей актуальностью в борьбе с большевиками перед правыми кругами и союзниками, с которыми Филоненко был тесно связан».

Новые данные о личности Каннегисера, его связях с право-эсеровскими организациями были рассмотрены следственными органами, которые пришли к выводу, что они, однако, недостаточны для определенных суждений. В обвинительном заключении по делу правых эсеров указывалось: «Следствием установлено, что Каннегисер находится в тесной связи с организацией партии с.-р., входил в организацию Филоненко и в свое время был одним из назначенных военных комендантов партии с.-р. в Выборгском районе при подготовке попытки восстания и был на одном из заседаний военного штаба на Невской заставе».

В 1926 году в эмигрантском сборнике «Голос минувшего на чужой стороне», издававшемся в Париже под редакцией С. П. Мельгунова и В. А. Мякотина, была опубликована статья-воспоминание под названием «Белые террористы». Автор статьи, бывший капитан лейб-гвардии Преображенского полка, принимавший участие в борьбе с большевиками в Петрограде, скрывавшийся за инициалами «Н. Н.», рассказал в ней о Каннегисере и об обстоятельствах убийства М. С. Урицкого.

По словам автора, в мае 1918 года по приглашению Каннегисера он вступил в террористическую группу, возглавляемую Филоненко, которая поставила своей целью «истребление видных большевистских деятелей».

«Слежка подвигалась медленно,— писал «Н. Н.»,— хотя Каннегисеру и удалось проследить Урицкого до его квартиры, но оказалось, что он почти не бывал дома, оставаясь даже ночевать в ЧК.

Вторым препятствием являлась малолюдность улицы. Я выходил на слежку несколько раз в роли разносчика папирос, но безрезультатно, и первоначальный

план — убить Урицкого у его квартиры — нам пришлось оставить. Вскоре через Филоненко были получены сведения, что Урицкий едет на совещание в Москву. Эти сведения ему удалось добыть, пробравшись под видом маляра в саму ЧК».

Но и замысел убить Урицкого на вокзале не был проведен в жизнь (Урицкий не поехал в Москву). Тогда в организации возник новый проект.

«На одном совещании,— продолжал автор,— Филоненко было предложено несколько изменить тактику. Представлялось возможным произвести террористический акт над целой группой лиц.

Филоненко удалось достать 5 баллонов с сильной кислотой, которые, по его плану, должны были быть разбиты на предполагавшемся в скором времени Всероссийском съезде Советов, результатом чего явилась бы смерть если не всех, то большинства собравшихся».

Автор подробно рассказал, как шли приготовления к этому акту, как чекисты арестовали рассказчика, как Урицкий допрашивал его и отпустил на свободу под подписку о том, что он не будет в дальнейшем заниматься контрреволюционной деятельностью.

Далее анонимный автор писал: «После выхода из ЧК я не принимал уже активного участия в организации, так как вскоре уехал из Петербурга. Работа же там шла своим чередом. Каннегисеру наконец удалось проследить Урицкого и... он убил его 4 выстрелами в упор».

Владимир Ленин должен был выступать в этот день на заводе быв. Михельсона. Соратники, узнав о гибели Урицкого, пытались удержать, отговорить его от поездки на митинг. Чтобы их успокоить, вождь пролетариата сказал за обедом, что, может, он и не поедет, а сам вызвал машину и уехал. Разве могло что-нибудь остановить Ленина? Он был безгранично самоуверен, как и все, кто наделен природной способностью манипулировать людьми.

А в это время среди тысячной толпы рабочих завода, носящего впоследствии имя Ильича, затаились террористы. После окончания митинга Ленин, сопровождаемый криками рабочих, вышел на улицу, направился к машине и... упал, пронзенный пулями террористки Каплан.

Верный ленинец — комендант Кремля П. Мальков в своих не самых правдивых мемуарах свидетельствовал:

«Я работал у себя в комендатуре, как вдруг тревожно, надрывно затрещал телефон. В трубке послышался глухой, прерывающийся голос Бонч-Бруевича:

— Скорее подушки. Немедленно. Пять-шесть обыкновенных подушек. Ранен Ильич... Тяжело...

— Ранен Ильич?.. Нет! Это невозможно, этого не может быть! — Владимир Дмитриевич, что же вы молчите? Скажите, рана не смертельна? Владимир Дмитриевич!..

Отшвырнув в сторону стул и чуть не сбив с ног вставшего навстречу дежурного, я вихрем вылетел из комендатуры и кинулся в Большой дворец. Там, в гардеробной Николая II, лежали самые лучшие подушки.

Ворвавшись во дворец, ни слова не отвечая на расспросы перепугавшихся служителей, я вышиб ногой запертую на замок дверь гардеробной, схватил в охапку несколько подушек и помчался на квартиру Ильича.

В коридоре около квартиры растерянно толпился народ: сотрудники Совнаркома, кое-кто из наркомов. Обхватив руками голову, упершись лбом в оконное стекло, в позе безысходного отчаяния застыл Анатолий Васильевич Луначарский...

Всегда плотно прикрытая дверь в квартиру Ильича стояла раскрытой настеж: возле двери, загораживая собою вход, держа винтовку наперевес, замер с каменно-неподвижным лицом часовой. Увидев меня, он посторонился, и я передал находившемуся в прихожей Бонч-Бруевичу принесенные мною подушки.

Потянулись томительные, долгие минуты. Я стоял, словно прикованный, не в силах сдвинуться с места, уйти от этой двери. Взад и вперед проходили, пробегали люди, а я все стоял и стоял...

Вот в квартиру Ильича вбежала Вера Михайловна Бонч-Бруевич, жена Владимира Дмитриевича, чудесная большевичка и опытный врач. Ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, стремительно прошел необычно суровый Яков Михайлович Свердлов. В конце коридора показалась, поддерживаемая под руку кем-то из наркомов, сразу постаревшая Надежда Константиновна.

Она возвращалась с какого-то заседания и до приезда в Кремль ничего, ровно ничего не знала. Все расступились. Прерывисто дыша, с трудом передвигая внезапно отяжелевшие ноги, Надежда Константиновна скрылась за дверью.

Наконец появился профессор Минц, еще кто-то из крупнейших специалистов... Наступил вечер, надвигались сумерки, надо было расходиться, а толком все еще никто ничего не знал, не мог сказать, что с Ильичем, насколько опасны раны, будет ли он жив.

Я вернулся в комендатуру, но работать не мог. Все валилось из рук. Мозг упорно сверлила одна неотступная мысль: как-то сейчас он, Ильич?

Ночь прошла без сна, да и думал ли кто-нибудь в Кремле в эту ночь о сне? Несколько раз за ночь я отправлялся к квартире Ильича. Все так же неподвижно стоял перед дверью часовой. Царила глубокая, гнетущая тишина. Там, в глубине квартиры, в комнате Ильича, шла упорная борьба со смертью, борьба за его жизнь. Там были Надежда Константиновна и Марья Ильинична, профессора и сестры.

Как хотелось в эти минуты быть рядом с ними, хоть чем-нибудь помочь, хоть как-то облегчить тяжкие страдания Ильича! Казалось, будь от этого хоть какая-нибудь, самая малая польза, самое ничтожное облегчение, всю свою кровь до последней капли, всю жизнь до последнего дыхания я отдал бы тут же, с радостью, с восторгом. Да разве один я?

Но сделать я ничего не мог, даже в мыслях не решался переступить заветный порог и уныло бродил из конца в конец пустынного коридора мимо обезлюдевшей в ночные часы приемной Совнаркома, мимо дверей в кабинет Ильича.

Из-под этой двери, за которой еще сегодня днем звучал такой знакомый, такой бодрый голос, в полутемный коридор пробивался слабый свет. Там, за столом Ленина, склонившись над бумагами, бодрствовал Яков Михайлович Свердлов.

Жизнь продолжалась. Пульс революции дал глубочайший перебой, но ничто не могло остановить его мощного биения.

Уже в день покушения на Владимира Ильича, 30 августа 1918 года, было опубликовано знаменитое воззвание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «Всем, всем, всем», подписанное Я. М. Свердловым, в котором объявлялся беспощадный массовый террор всем врагам революции.

Через день или два меня вызвал Варлам Александрович Аванесов.

— Немедленно поезжай в ЧК и забери Каплан. Поместишь ее здесь, в Кремле, под надежной охраной.

Я вызвал машину и поехал на Лубянку. Забрав Каплан, привез ее в Кремль и посадил в полуподвальную комнату под Детской половиной большого дворца.

Комната была просторная, высокая. Забранное решеткой окно находилось метрах в трех-четырех от пола. Возле дверей и против окна я установил посты, строго наказав часовым не спускать глаз с заключенной. Часовых я отобрал лично, только коммунистов, и каждого сам лично проинструктировал. Мне и в голову не приходило, что латышские стрелки могут не усмотреть за Каплан, надо было опасаться другого: как бы кто из часовых не всадил в нее пулю из своего карабина.

Прошел еще день-два, вновь вызвал меня Аванесов, предъявил постановление ВЧК: Каплан — расстрелять, приговор привести в исполнение коменданту Кремля Малькову.

— Когда? — коротко спросил я Аванесова.

У Варлама Александровича, всегда такого доброго, отзывчивого, не дрогнул на лице ни один мускул.

— Сегодня. Немедленно.

— Есть!

Да, подумалось в тот момент, красный террор — не пустые слова, не только угроза. Врагам революции пощады не будет!

Круто повернувшись, я вышел от Аванесова и отправился к себе в комендатуру. Вызвав несколько человек латышей-коммунистов, которых лично хорошо знал, я их обстоятельно проинструктировал, и мы отправились за Каплан.

По моему приказу часовой вывел Каплан из помещения, в котором она находилась, и мы приказали ей сесть в заранее подготовленную машину.

Было 4 часа дня 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, собственноручно.

И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда...

На следующий день, 4 сентября 1918 года, в газете

«Известия» было опубликовано краткое сообщение:

«Вчера, по постановлению ВКЧ, расстреляна стрелявшая в тов. Ленина правая эсерка Фанни Ройд (она же Каплан)».

Жизнь и смерть Фанни Каплан — загадка. Есть сведения, что и звали то ее вовсе не Фанни, а Дора.

Британский агент Роберт Брюс Локкарт писал в своем дневнике: «В пятницу 30 августа Урицкий был убит Каннегисером, а вечером того же дня молодая еврейская девушка Дора Каплан стреляла в Ленина. Одна пуля попала в легкое, над сердцем. Другая попала в шею, близко от главной артерии...»

Нет ничего удивительного в этой путанице с именами. Дора или Фанни — какая разница. Жившие в конспирации профессиональные революционеры сами забывали свои настоящие имена. Вы лучше вспомните, кто нами руководил... Кто из вождей осуществлял руководство массами под именем, данным ему при рождении родителями? Большинство пользовались партийными кличками и псевдонимами. Своеобразная игра? Прятки? От кого?

Летом 1994 года я повредил ногу на рыбалке и был вынужден провести несколько дней не выходя из дома. Я не люблю телевизор, предпочитаю ему радио. Радио не приковывает к себе, его можно слушать, занимаясь своими делами.

Я слушал «Маяк». Передавали сенсационные воспоминания историка, в свое время работавшего в карательных органах. Голос пожилого человека объяснял, что утверждение П. Малькова о том, что он собственноручно застрелил Фанни Каплан,— лживо.

Я услышал о том, что комендант Кремля вернулся из ссылки сломленным, на него оказывали давление, и писал он свои мемуары под чужую диктовку. Последнее не вызывает сомнения. Хотя, диктовал может и сам Мальков, но коррективы и акценты, конечно, вносили и расставляли другие люди.

Выступающий утверждал, что Фанни Каплан не была расстреляна осенью 1918 года. До 1939 года она якобы содержалась в одном из лагерей под Свердловском в особо секретной камере со всеми удобствами. Кому и зачем понадобилось это тайное оружие в виде террористки, покушавшейся на Ленина — абсолютно не ясно.

Мое отношение к палачам однозначно отрицательное и брезгливое, но в данном случае я склонен больше верить Павлу Дмитриевичу, рука которого не дрогнула, спуская курок.

КАК ТРОЦКИЙ ПОТЕРЯЛ ВЛАСТЬ

Борьбу за власть в Кремле можно воспринимать и описывать по-разному.

Роман Гуль — главный редактор «Нового журнала» (с 1966 до кончины писателя в 1986 году) описывал кремлевские интриги образно, так, что перед глазами читателя появлялась яркая картина.

«Над Москвой — светло-голубые облака. Горят купола полузаброшенных церквей. Вздымаются остовы недостроенных конструктивных домов. На древней Красной площади, где двести лет назад Петр Великий собственноручно порубил головы мятежникам стрельцам, наркомвоен Клим Ворошилов принимает парад красных войск.

На замкнутой караулами громадной площади в каре сведена молодцеватая пехота в стрелецких шишаках. Волнуется кавалерия. Приготовились оркестры. Но вот подана команда. Замерли войска. И глаза площади, не отрываясь, глядят на ворота Кремля.

Из этих ворот выезжала колымага Ивана Грозного, выезжал верховой, с боярами, Борис Годунов, выезжала карета разорванного каляевской бомбой великого князя Сергея. Древние ворота Кремля растворяются медленно, совершенно один, выезжает наркомвоен Ворошилов.

И вдруг, как бешеные, со всех сторон загремели серебряные фанфары. С фанфарами, тушами оркестров смешались крики.

Кряжистый, со скуластым лицом, крепко сидит на играющем коне, бывший слесарь Клим Ворошилов. Под музыку навстречу ему едут Красные командиры с рапортом. Красная Армия бурно приветствует своего вождя.

А девять лет назад на эту же площадь выезжал Троцкий. Выезжал на автомобиле.

Троцкисты любят анекдот: «Когда из кремлевских ворот показывался Троцкий, все говорили: «Глядите, глядите, Троцкий, Троцкий!» Теперь, когда из ворот выезжает Ворошилов, все говорят: «Глядите, глядите, какая лошадь, нет, какккая лошадь!»

Но Троцкий в Турции, и Ворошилова едва ли выбьешь из седла анекдотом.

После Троцкого выезжал и другой маршал революции, наркомвоен Михаил Фрунзе. Но в 1925 году под ножом кремлевского хирурга он умер от наркоза. На хирургический стол недомогающего Фрунзе уговорило лечь Политбюро. И после этой кремлевской операции поползли жуткие слухи, напоминающие времена Борджиа. Говорили, что Фрунзе замышлял переворот, что больное сердце не могло выдержать наркоза. И как бы в подтверждение слухов жена Фрунзе покончила самоубийством».

Это восприятие профессионального литератора. Взгляд издалека, можно сказать,— со стороны. Метафора.

А бывает еще взгляд изнутри. Этот взгляд обычно трудно назвать объективным.

Лев Давыдович Троцкий раскрыл механизм потери СВОЕЙ власти в мастерски написанной биографии — «Моя жизнь».

«Меня не раз спрашивали, спрашивают иногда и сейчас: как вы могли потерять власть! Чаще всего за этим вопросом скрывается довольно наивное представление об упущении из рук какого-то материального предмета: точно потерять власть это то же, что потерять часы или записную книжку. На самом же деле, когда революционеры, руководившие завоеванием власти, начинают на известном этапе терять ее — «мирно» или катастрофически,— то это само по себе означает упадок влияния определенных идей и настроений в правящем слое революции, или упадок революционных настроений в самих массах, или то и другое вместе. Руководящие кадры партии, вышедшие из подполья, были воодушевлены революционными тенденциями, которые вождями первого периода революции яснее и лучше формулировались, полнее и успешнее проводились на практике. Именно это и делало их вождями партии, через партию — рабочего класса, через рабочий класс — страны. Таким путем определенные лица сосредотачивали власть в своих

руках. Но и до первого периода революции теряли незаметно власть над сознанием того партийного слоя, который непосредственно имел власть над страной. В самой стране происходили процессы, которые можно охватить общим именем реакции. Эти процессы захватывали в той или другой степени и рабочий класс, в том числе и его партийную часть. У того слоя, который составлял аппарат власти, появились свои самодовлеющие цели, которым он стремился подчинить революцию. Между вождями, которые выражали историческую линию класса и умели глядеть поверх аппарата, и между этим аппаратом — огромным, тяжеловесным, разнородным по составу, легко засасывающим среднего коммуниста,— стало намечаться раздвоение. Сперва оно имело больше психологический, чем политический характер. Вчерашний день был еще слишком велик. Лозунги Октября еще не выветрились из памяти. Личные авторитеты вождей первого периода были высоки. Но под покровом традиционных форм уже складывалась другая психология. Международные перспективы тускнели. Повседневная работа поглощала людей целиком. Новые методы, которые должны были служить старым целям, создавали новые цели, и, прежде всего, новую психологию. Временная обстановка стала превращаться для многих и многих в конечную станцию. Создавая новый тип.

Революционеры сделаны в последнем счете из того же общественного материала, что и другие люди. Но у них должны быть какие-то резкие личные особенности, которые дали возможность историческому процессу отделить их от других и сгруппировать особо. Общение друг с другом, теоретическая работа, борьба под определенным знаменем, коллективная дисциплина, закал под огнем опасностей постепенно формируют революционный тип. Можно с полным правом говорить о психологическом типе большевика в противоположность, например, меньшевику. При достаточной опытности глаз даже по внешности различал большевика от меньшевика, с небольшим процентом ошибок.

Это не значит, однако, что в большевике все и всегда было большевистским. Претворить определенное миросозерцание в плоть и кровь, подчинить ему все стороны своего сознания и согласовать с ним мир собственных чувств — это дано не всем, скорее немногим. У рабочей массы это заменяется классовым инстинктом, который

в критические эпохи достигает большой изощренности. Есть, однако, в партии и в государстве большой слой революционеров, которые, хотя и вышли в большинстве из массы, но давно уже оторвались от нее и продолжением своим противовластны ей. Классовый инстинкт уже выветрился из них. С другой стороны, им не хватает теоретической устойчивости и кругозора, чтобы охватить процесс в целом. В психологии их остается немало незащищенных мест, через которые — при перемене обстановки — свободно проникают инородные и враждебные идейные влияния. В периоды подпольной борьбы, восстаний, гражданской войны, такого рода элементы были только солдатами партии. В их сознании звучала почти только одна струна, и она звучала по камертону партии. Когда же напряжение отошло, и кочевники революции перешли к оседлому образу жизни, в них пробудились, ожили и развернулись обывательские черты, симпатии и вкусы самодовольных чиновников.

Нередко отдельные, случайно вырвавшиеся замечания Калинина, Ворошилова, Сталина, Рыкова, заставляли тревожно настораживаться. Откуда это? — спрашивал я себя. Из какой трубы это прет? Прийдя на какое-нибудь заседание, я заставал групповые разговоры, которые при мне нередко обрывались. В разговорах не было ничего, направленного против меня. Не было ничего противоречащего принципу партии. Но было настроение моральной успокоенности, самоудовлетворенности и тривиальности. У людей появилась потребность исповедываться друг другу в этих новых настроениях, в которых немалое место, к слову сказать, стал занимать элемент мещанской сплетни. Раньше они стеснялись не только Ленина и меня, но и себя. Если пошлость прорывалась наружу, например, у Сталина, то Ленин, не поднимая низко склоненной над бумагой головы, чуть-чуть поводил по сторонам глазами, как бы проверяя, почувствовал ли еще кто-либо другой невыносимость сказанного. Достаточно было в таких случаях беглого взгляда или интонации голоса, чтобы солидарность наша в этих психологических оценках непререкаемо обнаружилась для нас обоих.

Если я не участвовал в тех развлечениях, которые все больше входили в нравы нового правящего слоя, то не из моральных принципов, а из нежелания подвергать себя испытаниям худших видов скуки. Хождение друг

к другу в гости, прилежное посещение балета, коллективные выпивки, связанные с перемыванием косточек отсутствующих, никак не могли привлечь меня. Новая верхушка чувствовала, что я не подхожу к этому образу жизни. Меня даже и не пытались привлечь к нему. По этой самой причине многие групповые беседы прекращались при моем появлении, и участники расходились с некоторым конфузом за себя и с некоторой враждебностью ко мне. Вот это и означало, если угодно, что я начал терять власть.

Я ограничиваюсь здесь психологической стороной дела, оставляя в стороне социальную подоплеку, т. е. изменения анатомии революционного общества. В последнем счете решают, конечно, эти изменения. Но непосредственно приходится сталкиваться с их психологическими отражениями. Внутренние события развивались сравнительно медленно, облегчая молекулярные процессы перерождения верхнего слоя и почти не открывая места для противопоставления двух непримиримых позиций перед лицом широких масс. К этому надо еще прибавить, что новые настроения долго оставались, остаются еще и сейчас, прикрытыми традиционными формулами. Это делало тем более трудным определить, насколько глубоко зашел процесс перерождения. Термидорианский заговор в конце XVIII века, подготовленный предшествующим ходом революции, разразился одним ударом и принял форму кровавой развязки. Наш термидор получил затяжной характер. Гильотину заменила, по крайней мере, до поры до времени, кляуза. Систематическая, организованная методом конвейера, фальсификация прошлого стала орудием идейного перевооружения официальной партии. Болезнь Ленина и ожидание его возвращения к руководству создавали неопределенность провизориума, длившуюся, с перерывом, свыше двух лет. Если бы революционное развитие пошло к подъему, оттяжка оказалась бы на руку оппозиции. Но революция терпела в международном масштабе поражение за поражением, и оттяжка шла на руку национальному реформизму, автоматически укрепляя сталинскую бюрократию против меня и моих политических друзей.

Насквозь филистерская, невежественная и просто глупая травля теории перманентной революции выросла из этих именно психологических источников. Сплетничая за бутылкой или возвращаясь с балета, один

самодовольный чиновник говорил по моему адресу другому самодовольному чиновнику: «У него только перманентная революция на уме». С этим тесно связаны обвинения в неартельности, в индивидуализме, в аристократизме. «Не все же и не всегда для революции, надо и для себя»,— это настроение переводилось так: «Долой перманентную революцию!» Протест против теоретической требовательности марксизма и политической требовательности революции постепенно принимал для этих людей форму борьбы против «троцкизма». Под этим флагом шло освобождение мещанина в большевике. Вот в чем состояла потеря власти, и вот что определяло те формы, в каких эта потеря произошла.

Я рассказывал, как со смертного одра Ленин направлял свой удар против Сталина и его союзников, Дзержинского и Орджоникидзе. Ленин Дзержинского очень ценил. Охлаждение между ними началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу. Это, собственно, и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина. Тут уж Ленин счел нужным ударить по Дзержинскому, как по опоре Сталина. Орджоникидзе Ленин хотел за проявление генерал-губернаторских качеств исключить из партии. Свою записку, в которой он обещал грузинским большевикам полную поддержку против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе, Ленин адресовал Мдивани. На судьбе этих четырех лиц ярче всего обнаруживается переворот, произведенный сталинской фракцией в партии. Дзержинский после смерти Ленина был поставлен во главе ВСНХ, т. е. всей государственной промышленности. Орджоникидзе, намеченный к исключению, был поставлен во главе Центральной Контрольной Комиссии. Сталин не только остался, вопреки Ленину, Генеральным секретарем, но и получил от аппарата неслыханные полномочия. Наконец, Буду Мдивани, с которым Ленин солидаризировался против Сталина, сидит сейчас в тобольской тюрьме. Подобная «перегруппировка» произведена во всем руководстве партии, сверху донизу. Мало того: во всех без исключения партиях Интернационала. Эпоху эпигонов от эпохи Ленина отделяет не только идейная пропасть, но и законченный организационный переворот.

Сталин — главное орудие этого переворота. Он одарен практическим умом, выдержкой и настойчивостью

в преследовании поставленных целей. Политический его кругозор крайне узок. Теоретический уровень совершенно примитивен. Его компилятивная книжка «Основы ленинизма», в которой он пытался отдать дань теоретическим традициям партии, кишит ученическими ошибками. Незнакомство с иностранными языками вынуждает его следить за политической жизнью других стран только с чужих слов. По складу ума это упорный эмпирик, лишенный творческого воображения. Верхнему слою партии (в более широких кругах его вообще не знали) он казался всегда человеком, созданным для вторых и третьих ролей. И то, что он играет сейчас первую роль, характеризует не столько его, сколько переходный период политического сползания. Еще Гельвеций сказал: «Каждый период имеет своих великих людей, а если их нет — он их выдумывает». Сталинизм — это прежде всего работа безличного аппарата на спуске революции.

* * *

Ленин скончался 21-го января 1924 года. Смерть уже явилась для него только избавлением от физических и нравственных страданий. Свою беспомощность и прежде всего отсутствие речи при полной ясности сознания Ленин не мог не ощущать как невыносимое унижение. Он уже терпел врачей, их покровительственного тона, их банальных шуточек, их фальшивых обнадеживаний. Пока он еще владел речью, он как бы мимоходом задавал врачам проверочные вопросы, незаметно для них ловил их на противоречиях, добивался дополнительных разъяснений и заглядывал сам в медицинские книги. Как во всяком другом деле, он и тут стремился достигнуть, прежде всего, ясности. Единственный из медиков, которого он терпел, был Федор Александрович Гетье. Хороший врач и человек, чуждый царедворческих черт, Гетье был привязан к Ленину и Крупской настоящей человеческой привязанностью. В этот период, когда Ленин уже не подпускал к себе остальных врачей, Гетье продолжал беспрепятственно навещать его. Гетье был в то же время близким другом и домашним врачом моей семьи в течение всех годов революции. Благодаря этому, мы всегда имели наиболее добросовестные и продуманные отзывы о состоянии Владимира Ильича, дополнявшие и исправлявшие безличные официальные бюллетени.

Не раз я допрашивал Гетье о том, сохранит ли, в случае выздоровления, ленинский интеллект свою силу? Гетье отвечал примерно так: увеличится утомляемость, не будет прежней чистоты работы, но виртуоз останется виртуозом. В промежутке между первым и вторым ударом этот прогноз подтвердился целиком. К концу заседаний Политбюро Ленин производил впечатление безнадежно уставшего человека. Все мышцы лица опускались, блеск глаз потух, увядал даже могучий лоб, тяжело свисали вниз плечи — выражение лица и всей фигуры резюмировалось одним словом: усталость. В такие жуткие моменты Ленин казался мне обреченным. Но проведя одну хорошую ночь, он снова обретал силу своей мысли. Статьи, написанные им в промежутке между двумя ударами, стоят на уровне его лучших работ. Влага в источнике была та же, но ее становилось все меньше и меньше. И после второго удара Гетье не отнимал совсем последней надежды. Но оценки его становились все сумрачнее. Болезнь затягивалась. Без злобы затягивалась, но и без сожаления, слепые силы природы погрузили великого больного в бессилие и безвыходность. Ленин не мог и не должен был жить инвалидом. Но мы все еще не теряли надежды на его выздоровление.

Мое недомогание приняло тем временем затяжной характер».

«По настоянию врачей,— пишет Н. И. Седова — перевезли Л. Д. в деревню. Там Гетье часто навещал больного, к которому он относился с искренней заботой и нежностью. Политикой он не занимался, но жестоко страдал за нас, не зная, как выразить свое сочувствие. Травля застигла его врасплох. Он не понимал, выжидал, томился. В Архангельском он мне с волнением говорил о необходимости отвезти Л. Д. в Сухум. В конце концов мы решились на это. Путешествие, длинное само по себе — через Баку, Тифлис, Батум — удлинялось еще снежными заносами. Но дорога действовала скорее успокаивающим образом. По мере того, как отъезжали от Москвы, мы отрывались несколько от тяжести обстановки ее за последнее время. Но все же чувство у меня было такое, что везу тяжело больного. Томила неизвестность, как сложится жизнь в Сухуме, окружающие нас там будут друзья или враги?»

«21 января застигло нас на вокзале в Тифлисе, по

пути в Сухум. Я сидел с женой в рабочей части своего вагона — как всегда в тот период, с повышенной температурой. Постучав, вошел мой временный сотрудник Сермукс, сопровождавший меня в Сухум. По тому, как он вошел, с серо-зеленым лицом, и как, глядя на меня остекленевшими глазами, подал мне листок бумаги, я почуял катастрофическое. Это была расшифрованная телеграмма Сталина о том, что скончался Ленин. Я передал бумагу жене, которая уже успела понять все...

Тифлисские власти получили вскоре такую же телеграмму. Весть о смерти Ленина быстро расходилась кругами. Я соединился прямым проводом с Кремлем. На свой запрос я получил ответ: «Похороны в субботу, все равно не поспеете, советуем продолжать лечение». Выбора, следовательно, не было. На самом деле, похороны состоялись только в воскресенье, и я вполне мог бы поспеть в Москву. Как это ни кажется невероятным, но меня обманули насчет похорон. Заговорщики по-своему правильно рассчитывали, что мне не придет в голову проверять их, а позже можно будет всегда придумать объяснение. Напоминаю, что о первом заболевании Ленина мне сообщили только на третий день. Это был метод. Цель состояла в том, чтобы «выиграть темп».

Тифлисские товарищи требовали, чтобы я немедленно откликнулся на смерть Ленина. Но у меня была одна потребность: остаться одному. Я не мог поднять руку к перу. Короткий текст московской телеграммы гудел в голове. Собравшиеся, однако, ждали отклика. Они были правы. Поезд задерживали на полчаса. Я писал прощальные строки: «Ленина нет. Нет более Ленина»... Несколько написанных от руки страниц я передал на прямой провод».

«Приехали совсем разбитые,— пишет жена.— Первый раз видели Сухум. Цвели мимозы — их там много. Великолепные пальмы. Камелии. Был январь, в Москве стояли лютые морозы. Встретили нас абхазцы очень дружески. В столовой дома отдыха висели рядом два портрета, один в трауре — Владимира Ильича, другой — Л. Д. Хотелось снять этот последний — но мы не решились, опасаясь, что будет похоже на демонстрацию».

«В Сухуме я лежал долгими днями на балконе лицом к морю. Несмотря на январь, ярко и тепло горело в небе солнце. Между балконом и сверкающим морем высились пальмы. Постоянное ощущение повышенной тепмерату-

ры сочеталось с гудящей мыслью о смерти Ленина. Я перебирал в уме этапы своей жизни, встречи с Лениным, расхождения, полемику, сближение, совместную работу. Отдельные эпизоды всплывали с фантастической яркостью. Постепенно и целое стало вырисовываться с все большей отчетливостью. Я гораздо яснее представлял себе тех «учеников», которые были верны учителю в малом, но не в большом. Вместе с дыханием моря я всем существом своим ассимилировал уверенность в своей исторической правоте против эпигонов...

27 января 1924 года. Над пальмами, над морем царила сверкающая под голубым покровом тишина. Вдруг ее перерезало залпами. Частая стрельба шла где-то внизу, со стороны моря. Это был салют Сухума вождю, которого в этот час хоронили в Москве. Я думал о нем и о той, которая долгие годы была его подругой и весь мир воспринимала через него, а теперь хоронит его и не может не чувствовать себя одинокой, среди миллионов, которые горюют рядом с ней, но по иному, не так, как она. Я думал о Надежде Константиновне Крупской. Мне хотелось сказать ей отсюда слова привета, сочувствия, ласки. Но я не решался. Все слова казались легковесными перед тяжестью совершившегося. Я боялся, что они прозвучат условностью. И я был насквозь потрясен чувством благодарности, когда неожиданно получил через несколько дней письмо от Надежды Константиновны. Вот оно:

«Дорогой Лев Давидович.

Я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечесть ему это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам.

И еще вот что хочу сказать: то отношение, которое сложилось у В. И. к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти.

Я желаю вам, Лев Давидович, сил и здоровья и крепко обнимаю.

Н. Крупская».

В книжке, которую Владимир Ильич просматривал за месяц до смерти, я сопоставлял Ленина с Марксом. Я слишком хорошо знал отношение Ленина к Марксу, полное благодарной любви. Отношение учителя к ученику стало ходом истории отношением теоретического предпочтения к первому воскрешателю. Я нарушал в своей статье традиционный пафос дистанции. Маркс и Ленин, исторически столь тесно связанные и в то же время столь разные, были для меня двумя предельными вершинами духовного могущества человека. И мне было отрадно, что Ленин, незадолго до кончины, со вниманием и, может быть, с волнением, читал мои строки о нем, ибо масштаб Маркса был и в его глазах самым титаническим масштабом для измерения человеческой личности.

С неменьшим волнением читал я теперь письмо Крупской. Она вобрала две крайние точки связи с Лениным: октябрьский день 1902 года, когда я, после побега из Сибири, поднял Ленина ранним утром с его жесткой лондонской постели, и конец декабря 1923 года, когда Ленин дважды перечитывал мою оценку его жизненного дела. Между этими двумя точками прошли два десятилетия, сперва совместной работы, затем жестокой фракционной борьбы и снова совместной работы на более высокой исторической основе. По Гегелю: тезис, антитезис, синтезис. И Крупская свидетельствовала, что отношение ко мне Ленина, несмотря на длительный период антитезиса, оставалось «лондонским»: это значит отношением горячей поддержки и дружеской приязни, но уже на более высокой исторической основе. Даже если б не было ничего другого, все фолианты фальсификаторов не перевесили бы пред судом истории маленькой записочки, написанной Крупской через несколько дней после смерти Ленина.

«Со значительными запозданиями из-за снежных заносов стали приходить газеты и приносили нам траурные речи, некрологи, статьи. Друзья ждали Л. Д. в Москву, думали, что он возвратится с пути, никому в голову не приходило, что Сталин своей телеграммой отрезал ему путь. Помню письмо сына, полученное нами в Сухуме. Он был потрясен смертью Ленина, простуженный, с температурой в 40° он ходил в своей совсем не теплой куртке в Колонный зал, чтобы проститься с ним и ждал, ждал, с нетерпением нашего приезда. В его письме слышались горькое недоумение и неуверенный

упрек». Это я привожу снова из записей жены.

В Сухум приезжала ко мне делегация Центрального Комитета, в составе Томского, Фрунзе, Пятакова и Гусева, чтоб согласовать со мной перемены в личном составе военного ведомства. Но это была уже чистейшая комедия. Обновление личного состава в военном ведомстве давно совершалось полным ходом за моей спиной, и дело шло лишь о соблюдении декорума.

Первый удар внутри военного ведомства пришелся по Склянскому. На нем прежде всего выместил Сталин свои неудачи под Царицыным, свой провал на Южном фронте, свою авантюру под Львовом. Кляуза высоко подняла змеиную голову. Для подкопа под Склянского, в перспективе — и против меня, был водворен в военное ведомство за несколько месяцев перед тем Уншлихт, амбициозный и бездарный интриган. Склянский был смещен. На его место был назначен Фрунзе, командовавший до того войсками на Украине. Фрунзе был серьезной фигурой. Его партийный авторитет, благодаря каторжным работам в прошлом, был выше, чем молодой еще авторитет Склянского. Фрунзе обнаружил, кроме того, во время войны несомненные способности полководца. Как военный администратор, он был несравненно слабее Склянского. Его увлекали абстрактные схемы, он плохо разбирался в людях и легко подпадал под влияние специалистов, преимущественно второстепенных.

Но я хочу досказать о Склянском. Его грубо, т. е. чисто по-сталински, даже не побеседовав с ним, перевели на хозяйственную работу. Дзержинский, который рад был избавиться от Уншлихта, своего заместителя в ГПУ, и приобрести для промышленности такого первоклассного администратора, как Склянский, поставил последнего во главе суконного треста. Пожав на ходу плечами, Склянский вошел в новую работу с головой. Через несколько месяцев он решил съездить в Соединенные Штаты, посмотреть, поучиться и обзавестись машинами. Перед отъездом он зашел ко мне, проститься и посоветоваться. Годы гражданской войны мы проработали с ним рука об руку. Но мы гораздо больше говорили о маршевых ротах, военных уставах, ускоренных выпусках комсостава, о запасах меди и алюминия для военных заводов, о гимнастерках и приварке, чем о чисто партийных вопросах. Нам обоим было слишком некогда. После заболевания Ленина, когда интрига эпиго-

нов стала просовывать свои щупальца на партийные темы, особенно с военными работниками, положение было слишком неопределенно. Разногласия едва намечались, создание фракций в армии таило в себе слишком большие опасности. Потом я хворал. В это свидание со Склянским, летом 1925 года, когда я не стоял уже во главе военного ведомства, мы переговорили о многом, если не обо всем.

— Скажите мне,— спросил Склянский,— что такое Сталин? Склянский сам достаточно знал Сталина. Он хотел от меня определения его личности и вместе объяснения его успехов. Я задумался.

— Сталин,— сказал я,— это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии.

Это определение впервые во время нашей беседы предстало предо мною во всем своем не только психологическом, но и социальном значении. По лицу Склянского я сразу увидел, что помог собеседнику прощупать нечто значительное.

— Знаете,— сказал он,— поражаешься тому, как за последний период выдвинулась середина, самодовольная посредственность. И все это находит в Сталине своего вождя. Откуда это?

— Это реакция после великого социального и психологического напряжения первых лет революции. Победоносная контрреволюция может иметь своих больших людей. Но первая ступень ее, теромидор, нуждается в посредственностях, которые не видят дальше своего носа. Их сила в их политической слепоте, как у той мельничной лошади, которой кажется, что она идет вверх, тогда как на деле она лишь толкает покатый круг. Зрячая лошадь на такую работу не способна.

В этой беседе я впервые с полной ясностью, я бы сказал, с физической убедительностью подошел к проблеме термидора. Мы уговорились со Склянским вернуться к беседе после его возвращения из Америки. Через небольшое число недель получилась телеграмма, извещавшая, что Склянский утонул в каком-то американском озере, катаясь на лодке. Жизнь неистощима на злые выдумки.

Урну с прахом Склянского доставили в Москву. Никто не сомневался, что она будет замурована в Кремлевской стене, на Красной площади, которая стала пантеоном революции. Но секретариат ЦК решил хоронить

Склянского за городом. Прощальный визит ко мне Склянского был, таким образом, записан и учтен. Ненависть была перенесена на урну. Кроме того, умаление Склянского входило в план общей борьбы против того руководства, которое обеспечило победу в гражданской войне. Не думаю, чтобы Склянский при жизни интересовался вопросом о том, где его хоронят. Но решение ЦК получало характер политической и личной низости. Преодолевая брезгливость, я позвонил Молотову. Но решение осталось непреклонным. История перерешит и этот вопрос по-своему».

* * *

«Температура возобновилась у меня осенью 1924 года. К этому времени вновь разыгралась дискуссия. На этот раз она была вызвана сверху, по заранее разработанному плану. В Ленинграде, в Москве, в провинции происходили предварительно сотни и тысячи тайных совещаний по подготовке так называемой «дискуссии», т. е. систематической и планомерной травли, направленной на этот раз не против оппозиции, а против меня лично. Когда тайная подготовительная работа была закончена, по сигналу из «Правды» открылась единовременно со всех концов, со всех трибун, со всех страниц и столбов, во всех углах и щелях кампания против троцкизма. Это было в своем роде величественное зрелище. Клевета получила видимость вулканического извержения. Широкая партийная масса была потрясена. Я лежал с температурой и молчал. Пресса и ораторы ничем другим не занимались, кроме разоблачения троцкизма. Никто точно не мог сказать, что это значит. Изо дня в день преподносили эпизоды прошлого, полемические цитаты из статей Ленина, написанных двадцать лет тому назад, путая, перевирая, искажая, а главное, так, как, если бы все это было вчера.

Никто ничего не понимал. Если все это было в действительности, то ведь Ленин это должен был знать. Ведь Октябрьская революция совершилась после всего этого. Ведь после переворота была гражданская война. Ведь Троцкий вместе с Лениным создавал Коминтерн. Ведь портреты Троцкого висят везде рядом с портретами Ленина. Ведь... Ведь... Но клевета извергалась холодной лавой. Она меланхолически давила на сознание, и еще более уничтожающе — на волю.

Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему, как к главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей. В такие же мавзолеи превращались официальные книги о Ленине. Его мысли разрезали на цитаты для фальшивых проповедей. Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина и — против Троцкого. Благодаря своему количеству, невежественная стряпня приобретала политические качества. Она оглушала, подавляла, деморализовала. Партия оказалась обреченной на молчание. Воцарился режим чистой диктатуры аппарата над партией. Другими словами: партия переставала быть партией.

На первом же московском «открытом» судебном процессе в августе 1936 года Троцкий был заочно приговорен к смертной казни. В это время он жил еще в Норвегии, и формально ему было запрещено заниматься деятельностью. Однако, узнав первые подробности о московском процессе, Троцкий сразу же нарушил запрет: делал заявления для печати, направлял телеграммы в Лигу Наций, посылал обращения к различным митингам. Правительство Норвегии немедленно предложило Троцкому покинуть страну. Однако ни одна страна Запада не хотела пускать его. Только в конце декабря Мексика дала соглашение предоставить Троцкому политическое убежище. В глубокой тайне, под охраной, не на пассажирском судне, а на танкере, нанятом норвежским правительством, Троцкий с женой отплыл в Мексику. Он прибыл туда 9 января, а через две недели в Москве начался процесс «параллельного центра», на котором среди обвиняемых преобладали бывшие троцкисты.

В Мексике Троцкий развернул бурную деятельность, однако она находила очень слабое отражение в мировой прессе, ибо он не был популярен ни в буржуазных, ни в либеральных, ни в социал-демократических, ни тем более в коммунистических кругах. К тому же Троцкий не слишком-то понимал, что происходит в Москве, и в своих оценках часто выдавал желаемое за действительное.

Едва в Москве завершился последний большой «открытый процесс», Сталин поставил перед НКВД задачу — уничтожить Троцкого. Для убийства Троцкого, а

также для расправы с некоторыми дипломатами и разведчиками, оставшимися в 1936—1938 годах за границей, в системе НКВД был создан специальный отдел. В начале 1938 года в одной из французских больниц после успешно проведенной операции аппендицита при странных обстоятельствах умер сын Троцкого Лев Седов. Был арестован и вскоре погиб его второй сын, Сергей, который был далек от политики и отказывался выехать с отцом за границу. В это же время по всем лагерям прошли массовые расстрелы троцкистов — и бывших, и тех, кто сохранял верность Троцкому и содержался в заключении еще с конца 20-х годов. В живых никого не осталось.

Зимой 1938—39 годов Троцкий занимался организацией нового, I Интернационала. Его сторонникам удалось собрать учредительный конгресс, однако фактически это было весьма узкое собрание троцкистов — всего около 20 человек, представляли несколько стран. Троцкий не мог присутствовать на этом собрании, которое состоялось тайно неподалеку от Парижа и продолжалось только один день — с утра до позднего вечера без перерыва.

Судьба самого Троцкого была трагична. Охота за ним продолжалась, в ней приняли участие и некоторые видные мексиканские коммунисты. Дом Троцкого в Койоакане, превращенный в настоящую крепость, постоянно охранялся. Однажды его обстреляла из пулеметов, а потом атаковала группа, возглавляемая мексиканским художником Сикейросом. Нападавшие сумели разоружить охрану и на 20 минут захватить дом. Троцкий и его жена спрятались в темной комнате. Нападение удалось отбить, дом стали охранять более тщательно, вокруг возвели новые укрепления. В это время в ближайшее окружение Троцкого был уже внедрен молодой испанский коммунист Рамон Меркадер, выдававший себя за американского коммерсанта. 20 августа 1940 года Меркадер смертельно ранил Троцкого ударом ледоруба, который пронес под пальто в его кабинет. Убийца был схвачен и после длительного судебного процесса приговорен к 20 годам тюремного заключения. Руководивший операцией полковник НКВД и мать убийцы, также принимавшая участие в подготовке этого террористического акта, сумели скрыться.

Рамону Меркадеру было присвоено звание Героя

Советского Союза, его мать награждена орденом Ленина, ее принимал лично Берия. Руководитель операции получил генеральский чин.

БЕГСТВО ИЗ КРЕМЛЯ

В ночь под Новый 1928 год двое молодых мужчин вышли из кишлака Лютфабад на крайнем юге Туркмении. Оба были тепло одеты, у каждого на плече висел карабин, а в кармане каждого было разрешение ашхабадских властей на охоту в горно-лесных дебрях вдоль персидской границы.

Дорога шла по приграничному ущелью. Еще миля — и двое охотников дойдут до советской пограничной заставы.

Когда уже показалась застава, один из охотников — тот, что был меньше ростом и более хрупкого сложения,— неожиданно снял с плеча карабин и направил ствол на своего спутника. «Послушай-ка,— сказал он, не повышая голоса,— я знаю твое настоящее имя, знаю, что ты работаешь в ГПУ и какие тобой получены инструкции насчет меня в Москве. Здесь рядом — граница и сегодня не составляет никакой сложности ее перейти: пограничники, забыв обо всем, пьянствуют еще со вчерашнего вечера. Впереди — Персия, а за ней — Индия, куда я и направляюсь, и не советую мне мешать. Но если ты готов пойти со мной, я даю слово, что переправлю тебя в Европу. Там ни одна душа не будет знать, кто ты такой. Разумеется, если ты пойдешь со мной, они ни перед чем не остановятся, чтобы выследить нас, где бы мы ни оказались. Ну, а если я перейду границу один и ты вернешься без меня — тебя тоже не помилуют. Так что решай, только побыстрее!»

Его спутник не в силах был скрыть изумление, потом на его лице появилось змешательство. Последний довод о том, что по возвращении его не помилуют, был достаточно веским, и ему ничего не оставалось, как в знак согласия молча кивнуть головой. Оба осторожно приблизились к заставе и обнаружили, что пограничники не теряли времени даром, встречая приход Нового года: из

небольшого дома, где размещалась застава, доносился мощный храп. Никто их не окликнул, и минуту спустя они направились уже по ничейной полосе к персидской границе. Побег состоялся.

Значение того второго, колеблющегося, в нашей истории близко к нулю. Его звали Аркадием Романовичем Максимовым, и он выдавал себя за бывшего командира Красной Армии (позднее он как будто работал в наркомате путей сообщения). В действительности он являлся одним из многочисленных агентов ОГПУ, и его настоящая фамилия была Биргер. Ему было поручено неотступно сопровождать своего компаньона и докладывать о его действиях, не вызывая у него подозрений, но и никоим образом не допуская, чтобы человек ускользнул из СССР.

Такое задание становится более понятным, если учесть, что опекаемого звали Борис Георгиевич Бажанов. Это тот самый Бажанов, который, не достигши еще и тридцати лет, успел поработать восемнадцать месяцев личным секретарем Сталина, а затем стал секретарем Политбюро — всемогущего высшего органа коммунистической власти.

Только личная связь со Сталиным и спасла Бажанова от ареста и гибели в ходе первых массовых чисток. Руководитель ОГПУ Ягода уже в течение ряда лет сомневался в благонадежности этого молодого интеллигента, которого никак не удавалось поймать на чем-нибудь серьезном. Эти сомнения были не просто плодом подозрительности главы секретной полиции. Ягода испытывал личную ненависть к Бажанову, который с подчеркнутым отвращением относился и к самому начальнику ОГПУ, и ко всем, кто за ним стоял. Когда в 1925 году Бажанов был смещен со своей кремлевской должности, слежка за ним со стороны «органов» лишь усилилась. Никоим образом нельзя было допустить, чтобы человек с независимым образом мыслей, занимавший ключевые посты в партийной иерархии, покинул страну, унося с собой во внешний мир секреты Кремля. Но Ягоде представлялось особенно заманчивым схватить Бажанова уже на границе, при явной попытке к бегству из СССР, ведь это было бы самым бесспорным доказательством его измены. Вероятнее всего, именно по этой причине Ягода и не чинил препятствий поездке Бажанова в Туркмению. Здесь, на границе, ОГПУ удалось

схватить многих неудачливых беглецов. Однако в канун 1928 года произошла осечка: сталинский секретарь сбежал, прихватив с собой агента ОГПУ.

Уже в Персии на первой же пограничной заставе Бажанова с Максимовым окружила взбудораженная толпа босоногих персидских солдат. Никто из них не знал ни слова по-русски (не говоря уже о французском, которым хорошо владел Бажанов). Наконец обоих привели в местный полицейский участок в кишлаке, где они провели далеко не спокойную ночь — слишком уже близка была советская граница. Местный полицейский инспектор чувствовал себя не в состоянии что-либо решить сам. Он отправил гонца в ближайший административный центр, и на следующий день, когда гонец вернулся, беглецов перевезли чуть дальше от границы, в город Музаммадабад. Именно здесь шеф окружной полиции, некто Пасбан, оказался одним из тех двух официальных лиц, которым беглецы были обязаны спасением. Пасбан, выслушав мольбу перебежчиков о предоставлении им политического убежища, взял на себя ответственность помочь им перебраться в Мешхед, административный центр Хорасанской провинции.

Поначалу название «Мешхед« ужаснуло Бажанова. Ему было известно, что там орудует многочисленная агентура ОГПУ. При этом она действовала настолько эффективно, что годом раньше два штатных агента ОГПУ, дезертировавших к персам из Ашхабада, были похищены их же коллегами в Мешхеде средь бела дня и переправлены обратно на советскую сторону, где их тут же расстреляли.

Между тем, уже поступили сообщения, что советские агенты появились на этой окружной дороге. Пасбан был убежден, что они устроят засаду поблизости от советской границы, в Кучане, через который придется пробираться беглецам, если они рискнут отправиться этим маршрутом.

Чтобы не угодить в ловушку, им предстояло верхом на лошадях в сопровождении проводника преодолеть перевал Кухи-Назар на высоте трех тысяч метров. Зимой он был практически непроходим, и советские агенты вряд ли рискнут сунуться. Последнее напутствие Пасбана звучало так: «Не доверяйте проводнику, доверьтесь лошадям, они найдут дорогу».

Лошади действительно нашли дорогу, и после четы-

рехдневного тяжелого пути по горам, проводя ночи в горных хижинах, маленький караван спустился в долину и сделал привал в кишлаке, не доехав немного до Мешхеда. Гепеушники тем временем успели сообразить, что беглецы избрали горный маршрут, и отправились окружной дорогой из Кучана им наперерез. Едва сойдя с лошадей, Бажанов и его спутник поняли, что в кишлаке их уже ждут.

В этот день отсюда в Мешхед отправилась только одна машина — грузовичок, переоборудованный под автобус. По-видимому, это было подстроено советскими агентами: шофер автобуса, по всем признакам, находился на содержании ГПУ. К тому же с беглецами должен был следовать и некто Пашаев, известный в округе как советский секретный агент, действовавший под маской торгового представителя. Бажанов и Максимов вместе с проводником-персом вскочили в автобус первыми и заняли сиденья сзади, что было явным тактическим выигрышем. Появившимся следом за ними двум агентам пришлось расположиться спереди, спиной к ним. Хотя все в машине прекрасно знали, кто есть кто, ни одна сторона не проронила ни слова.

Приблизительно на середине пути их остановила встречная машина, в которой следовали сотрудники ОГПУ, включая Осипова, главного советского агента в Мешхеде. Он и Пашаев (оба вооруженные до зубов) долго о чем-то переговаривались, стоя на обочине дороги, по-видимому, о том, как бы расправиться с перебежчиками на месте. Но, ошибочно полагая, что те тоже имеют при себе оружие, они пришли к выводу, что перестрелка — чревата осложнениями. Наконец Осипов принял решение и втиснулся в маленький автобус. Компания следует в Мешхед. Никто не нарушает молчания.

Между тем, на линиях Москва — Тегеран и Тегеран — Мешхед лихорадочно стучат телеграфные аппараты. Приказы Москвы настойчивы и категоричны: бывший сталинский помощник должен быть ликвидирован на месте, любым способом и любой ценой. Товарищ Платте, советский генеральный консул в Мешхеде, Осипов и его агенты заверяют начальство, каждый по своей линии: они делают все, что в силах, чтобы по возможности быстро выполнить приказ. Никто из них не допускает и мысли о возможности провала.

Похоже, они действительно делают все от них зави-

сящее. Такси доставляет беглецов к единственной в городе гостинице «Доганов». Пока убирают для них номер, служащий отеля приносит кофе. Бажанов подносит чашку к губам — и тотчас отставляет ее, предлагая сделать то же Максимову. Кофе имеет запах горького миндаля — признак подмешанного цианистого калия.

Однако агенты ОГПУ не думали отступать. Когда беглецам показали отведенный им номер, Бажанов заметил, что задвижка на внутренней стороне двери снята. Другую комнату получить не удалось: в гостинице были свободные номера, но все они оказались для кого-то забронированы. Выбившиеся из сил беглецы проспали несколько часов, забаррикадировав дверь изнутри. Как только они поднялись, им предложили ужин. От ужина они тоже отказались и, должно быть, не напрасно. В гостинице работал армянин по фамилии Колтухчев, состоявший на содержании у советского консула Платте. Он-то и подмешал в еду смертельную дозу яда. За это ему были обещаны деньги, советский паспорт и безопасный проезд в СССР. На тот случай, если яд снова не «сработает», Колтухчеву вручили револьвер и приказали пристрелить обоих беглецов ночью в постели. Колтухчев и попытался проникнуть среди ночи в их номер, но полиция Мешхеда, оказавшаяся на этот раз на высоте, устроила засаду в коридоре и прямо перед дверью номера арестовала убийцу. Кто направлял действия полиции, так и осталось загадкой.

Вспоминая все это как некое чудо, Бажанов был склонен приписать ее оперативность нажиму главного соперника ОГПУ в Мешхеде — английской секретной службы «Интеллидженс сервис», которая славилась своей информированностью.

Так или иначе, в эти критические дни Бажанов и Максимов нашли надежных защитников. Им было сказано, что, поскольку местные власти не могут гарантировать их безопасность в гостинице, придется перевести их в другое здание, которое служило одновременно и полицейским участком, и тюрьмой. Бажанову и Максимову ничего не оставалось, как отправиться в указанное место. Бажанов немного успокоился лишь после того, как ему устроили ночлег в кабинете начальника полиции. В осаде они пробыли целых шесть недель. Из окна Бажанов мог постоянно видеть агентов ОГПУ, круглосуточно дежуривших перед зданием в надежде

на то, что он вдруг появится без сопровождения вооруженной охраны.

Бажанов и Максимов получили наконец возможность встретиться с капитаном Маканном, местным британским вице-консулом. В своем отчете об этой встрече, отправленном в тот же день в Нью-Дели, вице-консул подчеркнул, что беженцы представляют значительный интерес. «Они владеют исключительно важными политическими секретами,— докладывал он,— которые хотели бы сообщить правительству Его Величества, но отказываются раскрывать их, находясь в Персии. Они готовы полностью сделать это, как только окажутся в Индии. Можно ли разрешить им,— спрашивал в заключение вице-консул,— проследовать в Кветту?»

И получил однозначно отрицательный ответ. Их утверждение, будто они знают какие-то важные государственные секреты, «выглядит неубедительно».

Бажанов начал приходить в отчаяние — и было отчего! Однако на сцене появляется второй его спаситель. Фамилия спасителя была Скрайн. Он служил консулом Его Величества в районах Кайн и Систан. Именно его тогдашним энергичным действиям (однако не поддержанным начальством) мы обязаны тем, что спустя много лет смогли появиться на свет главы настоящей книги, посвященные Бажанову, и, больше того, сам Борис Бажанов остался в живых и смог в дальнейшем рассказывать о себе. (Имеется в виду книга Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина»).

По свидетельству Бажанова, советские финансовые эксперты (без сомнения, набранные в основном из числа дореволюционных специалистов) в подтверждение своих выводов привели следующее любопытное сравнение с положением царской России накануне первой мировой войны:

«В 1914 году денежное обеспечение рынка составляло примерно двадцать миллиардов рублей золотом. Это создавало чрезвычайно подвижный резерв, на который можно было рассчитывать в случае войны и под который можно было взять военные ссуды, то есть получить необходимые государству средства и произвести необходимое перераспределение ресурсов национальной экономики, приспособив ее к изменившимся условиям военного времени. В настоящее время в СССР полностью отсутствует золотое обеспечение денежного обраще-

ния — необходимейшее условие мобилизации средств на военные нужды.

Банковские средства, составлявшие миллиардные суммы, могли быть использованы царской Россией для военных займов под золотое обеспечение. При существующей же системе банковский капитал представляет собой только активный рычаг, заставляющий работать промышленность, которая полностью зависит от банковского кредита. Любая попытка взять из этого источника ссуду на военные нужды нанесет промышленности тяжкий удар и чрезвычайно повысит стоимость промышленных товаров в стране, где их и без того катастрофически недостает. Эта проблема сейчас приобрела неизмеримо большее значение чем когда бы то ни было в прошлом. В 1914 году страна располагала огромными запасами товаров, достаточными для обеспечения жизнедеятельности государства и населения на многие годы. Сейчас резерва не хватает даже на две недели, и любая сумма, направленная на восполнение потерь военного времени и поддержание промышленного производства, будет означать немедленный рост очередей в городах и угрозу вспышки недовольства населения.

К началу первой мировой войны,— продолжал Бажанов,— денежные накопления мелких вкладчиков в банках и сберкассах составляли два миллиарда рублей. К лету 1927 года обнищавшее население держало в сберкассах ничтожную сумму в сто миллионов рублей.

Бажанов, опираясь на выводы компетентных советских экспертов, рассмотрел другие возможности военного финансирования. Так, продажа золота и иностранной валюты из резервных фондов Государственного банка для закупки товаров хотя и могла быть предпринята, однако не достигла бы цели. В случае войны Запад осуществил бы экономическую блокаду Советской России, а на Востоке закупать нечего.

Увеличение таможенных сборов будет иметь отрицательные политические последствия. Рост денежного оборота без должного покрытия приведет лишь к полному обесценению рубля, а повышение прямых налогов мало что может дать, потому что хоть сколько-нибудь состоятельная прослойка населения попросту отсутствовала.

Наилучшим вариантом финансирования военных акций следует считать выпуск облигаций военных займов, но и это, не дав в советских условиях существенных

результатов, вызовет лишь дальнейшее снижение уровня жизни населения, который и без того крайне низок. В любом случае, приблизительно на третьем месяце войны наступит финансовая катастрофа».

Этот трезвый анализ Политбюро неохотно принял к сведению на своем заседании в сентябре 1927 года, за несколько месяцев до побега Бажанова. По-видимому, именно финансовой несостоятельностью советского режима можно объяснить военную сдержанность, которую Сталин продемонстрировал наряду с идеологической агрессивностью в последующие несколько лет.

Хотя все эти соображения выглядели очень вескими, однако в глазах офицеров британской разведки подобные проблемы относились скорее к отдаленному будущему и носили слишком специальный технический характер. Гораздо более интересным для себя они сочли другой документ, который Бажанов предложил их вниманию три недели спустя и который также дожил до нашего времени. Этот документ, адресованный правительству Его Величества, носит гриф «чрезвычайно секретно» и подписан: «С искренним уважением, Бажанов». В нем идет речь уже не о теоретической, а о реально осязаемой финансовой ценности — фонде драгоценных камней, доставшихся большевикам в наследство от царских времен. Этот неприкосновенный фонд члены Политбюро, по-видимому, хранили для себя — на случай, если советская власть вдруг потерпит крах.

Бажанов сообщает, что в феврале 1924 года, после шока, вызванного смертью Ленина, его, как секретаря Политбюро, обязали представить схему тайного распределения запасов бриллиантов и других драгоценностей из фондов Государственного банка. Открытого обсуждения, как распределить, не было. Решение, очевидно, было принято ведущими членами Политбюро (Сталин, Каменев, Зиновьев), что называется, келейно. В то время это обстоятельство не вызвало у Бажанова никаких подозрений. Подобные решения — по крайней мере в отношении иностранной валюты — нередко принимались именно так, в частности, когда требовалось срочно выделить крупные суммы денег в поддержку революционных движений за границей.

Однако этот эпизод невольно припомнился ему спустя три года, когда он работал в качестве ответственного сотрудника народного комиссариата финансов. Однажды

утром он собирался войти в кабинет наркома финансов Брюханова — и вдруг что-то заставило его остановиться на пороге.

Бажанов в своих воспоминаниях пишет об этом так:

«Я уже открывал дверь в кабинет наркома, когда услышал, как он берет трубку телефона-автомата. Надо заметить, что автоматическая телефонная связь в Кремле охватывала ограниченное количество номеров, ею пользовалась только большевистская верхушка, обеспечивая строгую секретность телефонных разговоров. Я задержался в дверях, не желая беспокоить наркома. В приемной никого, кроме меня, не было: секретарь отсутствовал. Дверь оставалась приоткрытой, и я отчетливо слышал разговор Брюханова с собеседником, которым оказался, судя по первым же фразам, Сталин.

Из реплик Брюханова я понял, что существует абсолютно секретный фонд драгоценностей (возможно, тот самый, с которым я заочно имел дело в 1924 году, в бытность мою секретарем Политбюро). Брюханов оценил его стоимость лишь приблизительно, сказав: «несколько миллионов». Сталин, очевидно, спрашивал, не может ли Брюханов дать более точную оценку. Тот ответил: «Это сделать трудно. Стоимость драгоценных камней определяется обычно целым рядом переменных факторов: и то, как они котируются на внутреннем рынке, не является решающим показателем. К тому же, все эти драгоценности рассчитаны на реализацию за границей и при обстоятельствах, которых сейчас предвидеть просто невозможно. В любом случае, полагаю, достаточно исходить из того, что они стоят несколько миллионов. Но я все же постараюсь уточнить эту цифру и тогда позвоню вам».

Впоследствии Бажанов узнал, что этот секретный фонд драгоценных камней был предназначен исключительно для членов Политбюро и хранился на случай падения советской власти.

«Хотя Брюханов говорил понизив голос,— продолжает Бажанов,— я услышал, что он сказал Сталину, посмеиваясь: «Как это вы смело выразились — «в случае утраты власти»! Услышь это Лев Давыдович (Троцкий), он бы вас тут же обвинил в неверии в возможность победы социализма в одной стране!»

В этот момент Сталин, не склонный выслушивать подобные шутки, очевидно, перевел разговор на другую

тему и заговорил о необходимости соблюдения строжайшей секретности, так как Брюханов поторопился ответить: «Конечно, конечно, я отлично все понимаю. Это просто временная предосторожность на случай войны. И это делается не только «анонимно», но у нас даже ничего не зафиксировано на бумаге!»

Далее Бажанов пишет:

«Я понимаю,— продолжал Брюханов,— что это необходимо для членов Политбюро, чтобы предотвратить паралич в работе Центра в случае чрезвычайных обстоятельств. Но вы сказали, что хотели бы изменить систему хранения... Что я должен сделать в этом смысле?»

Последовал длинный ответ Сталина, затем Брюханов сказал, что он полностью согласен: лучшего места для хранения драгоценностей, чем квартира Клавдии Тимофеевны, не найти.

Со всеми предосторожностями ценности были перевезены на новое место хранения.

В этом мероприятии участвовало несколько особо доверенных людей, каждый из которых знал не больше того, что ему было необходимо по его положению определенного звена в цепи.

Что касается самих членов Политбюро, им, конечно, было сообщено об этом фонде, созданном «на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств», однако без уточнения, где именно он находится.

Только Сталин, Брюханов, «Клавдия Тимофеевна» и — волею случая — Бажанов знали все.

Эта женщина, фамилию которой Брюханов избегал называть даже в доверительном телефонном разговоре со Сталиным, была хорошо известна Бажанову. Он знал, что речь шла о К. Т. Новгородцевой, вдове покойного председателя ВЦИК Якова Свердлова, которая обладала двумя необходимыми для этого дела качествами. Во-первых, она была известна своей неподкупной честностью и принципиальностью. Во-вторых, ее квартира находилась на территории Кремля, что весьма удобно.

Затем Бажанов рассказал, как он получил подтверждение этой необычной информации. Он был знаком с сыном Новгородцевой Андреем, подростком лет пятнадцати, который жил с матерью. В конце лета 1927 года ему удалось завести с мальчиком беседу на интересующую его тему. Андрей рассказал, как его мать открывает ключом буфет в своей комнате. В буфете хранились

документы ее покойного мужа, и там же лежала «целая куча» драгоценных камней. Когда Андрей спросил, что это такое, мать ответила, что это «семейные украшения», «стекляшки» и «безделушки», которые ничего не стоят, однако, казалось, была сильно раздражена тем, что он заинтересовался ими. Но Андрей поверил матери. «Конечно, они все фальшивые,— сказал он Бажанову.— Откуда бы у нее могло взяться столько настоящих драгоценностей?» Естественно, Бажанов согласился с этим.

Заканчивет Бажанов свои показания просьбой, обращенной к британскому правительству: не разглашать эту информацию, так как она представляет ценность только пока сохраняется в секрете.

В области международной политики Кремлем действительно был разработан обширный план подрыва западных демократий путем организации волнений, заговоров и террористических актов. Наиболее амбициозной из всех намеченных акций была попытка коммунистического переворота в Германии в 1923 году. Как секретарь Политбюро, Бажанов присутствовал на всех заседаниях, где в глубокой тайне вынашивался этот грандиозный замысел. Первое заседание по этому вопросу состоялось в Кремле 23 августа 1923 года. В Москву был вызван представитель Коминтерна Карл Радек, чтобы доложить о положении в Германии и о перспективах, какие обещала планируемая акция. Радек нарисовал радужную картину растущего в рядах немецкого народа революционного движения, которое в ближайшие недели должно достигнуть апогея.

Он ждал дальнейших инструкций. Как и следовало ожидать, Лев Троцкий, страстный защитник был всецело за то, чтобы нанести немедленный удар по немецкой буржуазии — ковать немецкое железо, пока горячо. Если коммунистам удастся захватить власть в Берлине, утверждал он, то это станет началом конца ненавистного для всего человечества капиталистического порядка, первая брешь в котором была пробита на русском фронте. Он призывал не упустить случай и во что бы то ни стало использовать ситуацию в Германии. Игра стоила свеч. Но Сталин и другие члены Политбюро понимали, что риск очень велик, и предлагали повременить. В результате было достигнуто компромиссное решение, типичное для Политбюро того времени. Не разделяя в полной мере оптимизма товарища Троцкого, Политбюро все

же решило предпринять активные действия с целью вызвать в Германии кризисную ситуацию.

Была выделена руководящая четверка, которой было поручено спровоцировать и возглавить германскую революцию. В ее состав вошли: «связной от Коминтерна» — он же член ЦК партии — Карл Радек, заместитель председателя ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) Юрий Пятаков, заместитель председателя ОГПУ Уншлихт и народный комиссар по вопросам труда Шмидт. Эта четверка, наделенная широкими полномочиями и снабженная фальшивыми паспортами, отбыла в Германию. Каждый имел свой круг задач, которые надлежало выполнить в обстановке абсолютной секретности.

На Пятакова были возложены агитация, пропаганды и связь с Москвой. Радек играл роль эмиссара Коминтерна и немецкой компартии, на него была возложена задача придать акции в целом политически респектабельный вид. Уншлихт — в соответствии со своим положением в ОГПУ — должен был выполнить грязную работу: организовать множество так называемых «красных сотен», которые будут непосредственно осуществлять «революционное насилие», а затем, после победы, станут костяком германского отдела ОГПУ, необходимого для окончательного искоренения буржуазии и других врагов большевизма. В задачи Шмидта — специалиста по рабочему движению — входило создание коммунистических ячеек на предприятиях и подготовка создания рабочих советов, которые должны будут стать «зародышем новой государственной власти».

Вскоре в помощь этой четверке был призван тогдашний посол СССР в Берлине Крестинский. На него были возложены чисто технические функции — получение из Москвы и распределение огромных денежных средств, которые требуются для проведения подготовительной кампании, в частности агитационной (агитаторы, кстати, тоже засылались из Москвы). Руководителям германской компартии, в частности Брандлеру, была отведена только совещательная роль, местные коммунистические организации остались за бортом. Вместо них в качестве командных рычагов планировались советские дипломатические, консульские и торговые службы. «Революционные» агитаторы — немцы и другие лица, говорящие по-немецки,— были переброшены в Германию

в составе «торговых делегаций». Оружие и поджигательские листовки поступали по дипломатическим каналам. Финансирование переворота шло из сумм, предназначенных для оплаты обычных торговых операций.

В конце сентября в Москве было получено сообщение Пятакова, что все будет готово в самое ближайшее время, и секретное заседание Политбюро, куда не были приглашены даже члены ЦИК, назначило окончательную дату начала операции. Бажанов, как секретарь Политбюро, заверил это решение своей подписью и запер его в сейф. Решающее выступление было намечено на 7 ноября 1923 года. Появление на улицах толпы народа в день празднования шестой годовщины Октября будет выглядеть вполне естественно. «Красные сотни» должны будут спровоцировать столкновение с полицией, после чего произойдет «стихийное» выступление масс с оружием в руках, которое завершится захватом государственных учреждений и провозглашением советской власти.

Что произошло дальше, остается по сей день загадкой истории. «Великая революция» провалилась, похоже, главным образом из-за того, что в последний момент не все центры восстания успели получить депеши из Москвы об отсрочке выступления. Так, например, курьер, направленный с такой депешей в Гамбург, заведомо опоздал: «красные сотни» уже завязали на улицах кровавые бои, которые продолжались три дня. Это вызвало замешательство в других центрах намеченного восстания, не знавших, что им предпринять: то ли воздержаться от участия в путче, то ли поддержать гамбургских товарищей. Несколько беспорядочных и недостаточно подготовленных выступлений в разных частях Германии без труда были подавлены немецкими воинскими частями и полицией.

Из доклада Бажанова следует, что, хотя в немецкой компартии было достаточно тупиц, однако в провале путча большевикам приходилось винить только себя. Политика, проводимая ими в компартии Германии, была типично сталинской — ставить на ключевые партийные посты исключительно рабочих и крестьян, независимо от уровня их образования и способностей. Причем Бажанов особо подчеркивал, что эта политика была не проявлением самодеятельности немцев как добросовестных учеников, а прямо диктовалась из Москвы.

Кто бы ни был ответственен за провал, бажановские разоблачения потрясли французское и английское руководство масштабами советской подрывной деятельности, ведь она велась в самом сердце европейского континента. Из обширного досье следовало, что Борис Бажанов являлся уникальным и незаменимым специалистом, раскрывшим ряд неразрешимых до того загадок, связанных с политикой СССР.

Бажанов вел жизнь напряженную и в то же время монотонную, типичную для российского эмигранта. Он зарабатывал на хлеб журналистским трудом. Как ни трудно ему было порой сводить концы с концами, он никогда не торговал пером.

Бажанов умудрялся довольно сносно жить на свои журналистские гонорары только потому, что уж слишком ничтожны были его потребности. Даже в ранней молодости его вкусы и привычки были почти спартанскими: он не курил, пил только чай, решительно отказывался даже от рюмки вина; он не был гурманом, и пища была для него лишь средством поддержания жизни, но никак не удовольствием. Он никогда не покупал дорогих вещей, не имел никаких ценностей, одевался очень скромно, не давая себе труда следить за модой.

Такой образ жизни, увы, не способствовал его популярности среди русской эмиграции. Это общество, в силу привычки и традиций, нередко вело беззаботную жизнь, не сообразуясь с реальными возможностями. Даже спустя десять лет после революции эта среда почти не изменилась, продолжая оставаться белоэмигрантской — не только по происхождению, но и по взглядам и пристрастиям. Появление здесь бывшего сталинского секретаря было явление экстраординарным.

Помимо того, что Бажанов занимал в коммунистическом Кремле столь высокий пост, он вообще был первым коммунистом, с которым белоэмигранты столкнулись на французской земле.

Только в одном отношении Бажанов вполне отвечал представлениям, которые обобщенно принято именовать «парижским стилем»: он был неравнодушен к хорошеньким женщинам. Он так никогда и не женился, предпочитая независимую жизнь в отелях семейному уюту и меблированной квартире, которую можно было бы назвать домом. Когда его спрашивали, почему он и в Советской России не делал попыток «создать семью», он просто

отвечал: «Я не имел морального права жениться. Моя жена автоматически стала бы заложницей в глазах Сталина. Кроме того, она легко могла бы остаться вдовой». Это мрачное объяснение было вполне справедливым. Бажанов мог бы насчитать множество случаев, когда его жизнь подвергалась опасности, но о которых нельзя было с полной уверенностью сказать, что они были подстроены ОГПУ. Наряду с этим, он насчитывал с десяток настоящих покушений, например, попытку подстроить автомобильную аварию или нападение какого-то испанского анархиста, вооруженного ножом. Другие явные попытки разделаться с Бажановым были задуманы более тонко. Так, на него однажды натравили темпераментного и ревнивого мужа некой дамы, с которой Бажанов якобы находился в связи. Дело по чистой случайности не кончилось убийством...

Как-то Сталин направлял во Францию одного из самых известных чекистов-убийц — Якова Блюмкина. Любопытно, что Бажанов, еще находясь в Симле, на одном из первых допросов охарактеризовал этого человека как самого опасного террориста муждународного масштаба. История Блюмкина, его возвышения и падения — наглядный пример, характеризующий кровавую и предательскую сущность большевизма.

Карьера Блюмкина началась в 1917 году. Он сделался тогда членом партии левых эсеров, слившейся вскоре с большевиками и показавшей себя во многом даже более фанатичной, чем они. Этот альянс с большевиками распался в 1918 году в связи с заключением Брест-Литовского мира. Левые эсеры осудили Брест-Литовск как небывалое предательство дела революции и решили, что их партии пришло время взять власть в свои руки, свергнув большевиков. Сигналом к восстанию должно было стать убийство немецкого посла в Москве — графа Мирбаха. Эта акция была поручена Блюмкину.

Хотя фактически убийство совершал никому не известный матрос, убийцей посла Мирбаха считается Яков Блюмкин, что и зафиксировано в «анналах истории». Вначале этот подвиг не принес Блюмкину никаких лавров, скорее напротив. Мятеж эсеров был подавлен. Блюмкина объявили вне закона, впрочем, вскоре, спасая свою жизнь, он решил помириться с победителями-большевиками. В Москве его провели через процедуру

показного суда и вынесли за убийство Мирбаха предельно мягкий приговор.

Осенью 1919 года он снова был уже на свободе и действовал вдали от Москвы — в северной части Персии, на этот раз в качестве советника при коммунистическом бандите Качук-хане.

С 1923 года он опять становится исполнителем «особых заданий» — террористом иностранного отдела ОГПУ. На первом этапе своей экзотической карьеры Блюмкин изменил внешность, отрастив бороду и усы. Теперь ему было поручено наладить подрывную деятельность ОГПУ на Среднем Востоке, с базой в Палестине. Под новым псевдонимом — Моисей Гурфинкель — Блюмкин организовал тут нелегальную штаб-квартиру под видом прачечной, открытой в Яффе. Отсюда Блюмкина отозвали в Москву, чтобы послать командовать отрядом головорезов ОГПУ в Закавказье: необходимо было срочно подавить восстание, вспыхнувшее в Грузии. После кровавой расправы с восстанием Блюмкин был с аналогичным заданием переброшен на восток, в Монголию.

Именно этот профессиональный убийца и был послан во Францию, чтобы ликвидировать наконец Бажанова. Это ему не удалось, но Сталин не признавал подобных провалов, и, должно быть, в Кремле было доложено, что все в порядке. Чтобы деморализовать подпольную оппозицию внутри страны и напугать тех, кто мог бы последовать примеру Бажанова, чекисты распространили слух, что Блюмкин покончил с Бажановым. Этот слух оказался очень живучим; даже много лет спустя Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» пишет о Блюмкине: «Его держали, видимо, для ответственных мокрых дел. Как-то, на рубеже 30-х годов, он ездил в Париж тайно убить Бажанова (сбежавшего сотрудника секретариата Сталина) — и успешно сбросил того с поезда ночью». Инцидент с поездом действительно имел место, но и это покушение на жизнь Бажанова провалилось. Бажанов так никогда и не столкнулся лицом к лицу с Блюмкиным, но ему удалось выяснить, что Блюмкин завербовал в Париже человека, лично заинтересованного в ликвидации беглеца. Этим человеком был не кто иной, как Максимов, благополучно доставленный Бажановым на Запад и живший здесь под новым фальшивым именем. Теперь, пробыв в Париже всего один год или

два, Максимов снова начал служить ОГПУ. Он был, кстати, двоюродным братом Блюмкина.

Бажанов ничуть не удивился, узнав о вероломстве Максимова. Он всегда считал, что Максимов продажен, как почти все представители его профессии. Приходилось учитывать и то обстоятельство, что, не обладая ни умом, ни обаянием, ни писательскими или какими-нибудь иными способностями, Максимов чувствовал себя в Париже одиноким и никому не нужным. А тут вдруг о нем вспомнили, он снова понадобился родному ОГПУ и мог рассчитывать на прощение, если окажется на высоте порученного задания.

Не приходится удивляться и тому, что, со своей стороны, Бажанов испытал известное удовлетворение, узнав о печальном конце сначала Якова Блюмкина, а затем Максимова. Рассказом о судьбе этих двух гепеушников мы и закончим наше повествование о Бажанове.

20 января 1929 года главному сопернику Сталина Льву Троцкому, который уже год как жил в ссылке в Алма-Ате, было приказано вместе с семьей покинуть пределы Советского Союза. Он направляется в Турцию. Турецкие власти предоставили в его распоряжение захолустную виллу в Бююк-Ада, на Принцевых островах (в Мраморном море), до которых можно было добраться только пароходом.

Но избавиться от влияния Троцкого было значительно труднее, чем удалить его лично. Он продолжал оставаться центром притяжения для многих коммунистов вплоть до самой смерти, последовавшей десятилетие спустя (и даже после смерти). Из всех стран мира в Бююк-Ада прибывали люди с одной только целью — повидаться с Троцким. Среди таких гостей оказался и Яков Блюмкин, который в то время был руководителем агентуры ОГПУ в Стамбуле.

Напомним, что Блюмкин начал свою революционную карьеру как левый эсер и какое-то время находился в оппозиции к большевикам. Возможно, в нем снова вспыхнул давний политический идеализм, и ему попрежнему, как в годы юности, импонировал фанатик революции Троцкий. Может быть, была тут и какая-нибудь иная причина, но во всяком случае Блюмкин согласился доставить Троцкому секретное послание из Советской России, написанное сторонниками изгнанного деятеля.

Летом 1929 года он вернулся в Москву. Его уже подозревали в симпатиях к Троцкому, однако день массовой кровавой расправы с троцкистами еще не наступил. Ветерана революции, да к тому же находящегося на блестящем счету в ОГПУ, нельзя было арестовать просто так, на основании слухов. Его шеф Ягода решил добыть необходимые доказательства. Зная слабость Блюмкина к прекрасному полу, он предложил Лизе Горской, одной из самых неотразимых женщин-агентов ОГПУ, вступить в связь с Блюмкиным и попытаться выведать у него секретные данные.

Можно предположить, что Лиза «обслуживала» не только Блюмкина, но и их общего шефа Ягоду. Как бы там ни было, Блюмкин не только откровенно рассказал ей все подробности своего путешествия на Принцевы острова, но пытался завербовать ее в сторонники Троцкого. Так Ягода получил подтверждение, которого ему недоставало. Где-то в конце августа или в начале сентября 1929 года он нанес удар: в одно прекрасное утро оперативники ОГПУ подъехали к московской квартире Блюмкина точно в тот момент, когда он вместе с Лизой отъезжал из дома, направляясь на вокзал — выполнять очередное служебное задание. Последовала короткая погоня по московским улицам, выстрелы — и Блюмкин сдался.

Якову Блюмкину было всего тридцать лет. Бывшие коллеги расстреляли его в подвале московской тюрьмы.

Конец Максимова последовал семь лет спустя. По причинам, не выясненным до сих пор, он прыгнул — или его столкнули? — с площадки Эйфелевой башни. Смерть этой совершенно незначительной личности не привлекла особого внимания ни в Париже, ни в Москве.

Уход из жизни этих убийц принес Бажанову понятное облегчение. Во мраке, клубившемся над ним в первое десятилетие его пребывания за границей, появился просвет. Однако бывший сталинский секретарь смог окончательно вздохнуть полной грудью лишь после смерти самого Сталина, унесшего с собой в могилу жажду личной мести Бажанову.

МЕССА КРЕМЛЕВСКОГО ГОРЦА

«Сын же сказал ему: «Отче! я согрешил против неба и перед тобою и уже недостоин называться сыном твоим» (Лука, XV, 21).

«Пока имеем время для врачевания, предадим себя врачующему Богу, давая ему плату. Какую? Покаяние от искреннего сердца» (Святого Климента, Епископа Римского к коринфянам послание второе).

Идя на заседание (открытие Учредительного собрания), Владимир Ильич вспомнил, что он оставил в пальто револьвер, пошел за ним, но револьвера не оказалось, хотя никто из посторонних в прихожую не входил, очевидно, револьвер вытащил кто-то из охраны. Ильич стал корить Дыбенко и издеваться над ним, что в охране нет никакой дисциплины. Дыбенко волновался. Когда потом Ильич пришел с заседания, Дыбенко возвратил ему револьвер, охрана вернула.

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине.

Двадцатый век, как известно, породил множество философских, политических направлений. Наиболее важным и показательным в этом отношении является известный тезис: «Бог умер».

Сталин имел определенное духовное образование. Действия его в жизни никак не назовешь христианскими. Если не тезис, так антитезис.

Обратимся к предметам сталинских взглядов.

У психологов есть известное наблюдение о том, что первое движение есть движение сердца, а не разума. Оно-то и является наиболее искренним. По первым поступкам можно достаточно верно определить характер человека, по первым литературным пробам — талант писателя.

В 1895—1896 годах в тифлисских газетах «Иверия» и «Квали» были напечатаны несколько стихотворений, подписанных никому не известным именем И. Дж-швили и Соселло. Новорожденный поэт писал:

И знай: кто пал золой на землю,
Кто был так долго угнетен,

Тот станет выше гор великих,
Надеждой яркой окрылен.

(Естественно, цитируется в переводе с грузинского на русский).

Стихи принадлежали юному Иосифу Джугашвили, будущему «отцу народов».

Едва ли следует верить всерьез нынешним, столь обильным задним числом утверждениям о невежестве Сталина. Разумеется, он не был крупным теоретиком, но многочисленные свидетельства людей, близко знавших Сталина, говорят о том, что это был человек, наделенный природным умом, великолепной памятью, хитростью. Распиливая на куски поваленные на землю памятники Иосифу Виссарионовичу, не следует забывать, что он был среди ближайших соратников Ленина: я сомневаюсь, чтобы Ленин стал держать около себя совершеннейшее интеллекутальное ничтожество. Вопрос в другом: какая черта была в Сталине доминирующей? И здесь строчка из стихотворения «Луне» — «тот станет выше гор великих» — дает первое представление о черте характера, которая предопределила не только судьбу самого стихотворца, но и на многие десятилетия судьбу страны. Черта эта была — честолюбие.

Многие исследователи сталинского феномена считают, что идея власти доминировала в помыслах и поступках Сталина. Не обладая на фоне блистательной плеяды ленинских сподвижников теми качествами, которые могли бы вывести его в вожди, Сталин сумел тем не менее овладеть техникой аппаратного манипулирования, и в этом смысле именно его следует считать основателем советской номенклатуры.

Суть номенклатуры — в подмене власти идей голой идеей власти.

Идеология в руках номенклатуры из путеводной звезды превращается в инструмент удержания власти.

Номенклатура, которая досталась стране в наследство от генералиссимуса, напоминает разбитую вдребезги вазу из бывшего музея подарков Сталину, где в каждом фрагменте, тем не менее, присутствует осколок вождя, ибо при всех отличиях нынешней номенклатуры от прежней суть ее осталась неизменной: идея власти поглощает власть идей. В этом свете становится понятней, почему, например, во главе идеологии на

протяжении всего послеленинского периода у нас стояли не мыслители, а «серые кардиналы» — митины, поспеловы, ильичевы, сусловы, не оставившие в памяти людей ни одной животворной идеи. Все «идеи» номенклатуры были лишь шпорами, позволяющими понукать оседланную Россию.

Сейчас нам сделалось известным, как неприятно был поражен В. И. Ленин той властью, которую Сталин успел перетянуть на себя за время его болезни. Сталин же за эти месяцы 1922 года убедился в том, как многого можно достичь, умело двигая фигурами в партийном аппарате. Должность генерального секретаря ЦК давала ему такую возможность. Еще не будучи вождем, почти неизвестный широкой партийной массе, Сталин, благодаря аппаратным рычагам Секретариата ЦК, получил доступ к реальной власти. Этот урок он усвоил на всю жизнь.

Были усвоены и другие уроки. Духовенство всегда стремилось в большей или меньшей степени влиять на государственную политику. Революционная ситуация начала века выдвигает новую фигуру — Гапон.

Когда после убийства в феврале 1901 года Н. П. Боголепова (министра народного просвещения) бывшим студентом Петром Карповичем, началась вакханалия политического террора, в лидеры «на кратчайшем пути к революции» вышла партия эсеров, основанная Григорием Гершуни и Евно Азефом. Именно эсеры совершили самые громкие террористические акты: убийство великого князя Сергея Александровича, премьер-министра П. А. Столыпина, министров внутренних дел Сипягина и Плеве; неоднократно готовили покушения на императора.

К партии эсеров примыкало множество групп.

Взбалмошные юнцы и девицы, коим не терпелось пострелять, тоже называли себя эсерами. Дело доходило до курьезов: пойманная на подготовке террористического акта восемнадцатилетняя дочь якутского вице-губернатора Татьяна Леонтьева, которой предстояло назначение во фрейлины царицы, находясь в Петропавловской крепости, психически заболела и была отпущена для лечения в Швейцарию. Там, едва оправившись, она предложила свои услуги в качестве боевика Борису Савикову, а получив совет отдохнуть и подлечиться, лихая девица по собственной инициативе пристрелила

семидесятилетнего французского миллионера Шарля Мюллера, по ошибке приняв его за бывшего русского министра внутренних дел И. Н. Дурново.

На пути этой неуправляемой вольницы мощно встал Евно Азеф, возглавлявший сначала вместе с Гершуни, затем с Савиковым, а затем и единолично БО («Боевую организацию») ЦК партии эсеров. БО принимала ответственные решения по каждому выстрелу, она намечала жертвы, способ покушения и финансировала террористические акты, которые обходились недешево,— например, на убийство Плеве было ассигновано 7000 рублей. Деньги у Азефа были — и от партии, и от полиции...

Окладский из «Ванечки» стал иудой ради собственной шкуры; Гольденберг и Дегаев попались на провокацию людей изощренных; самый кровавый из русских провокаторов — Азеф — обрекал людей на смерть ради тридцати серебреников. Тридцати — это фигурально выражаясь: Азеф в конце карьеры имел 1000 рублей в месяц, не считая чрезвычайных единовременных получений.

В 1892 году он, будучи двадцатитрехлетним студентом Политехнического института в немецком городе Карлсруэ, добровольно стал секретным сотрудником русской полиции. Одной из удачных операций была выдача полиции нелегальной типографии, которая печатала «Революционную Россию». Затем Азеф прошел курсы повышения квалификации у самого Сергея Васильевича Зубатова, а на связь Азеф выходил с П. И. Рачковским, до 1902 года возглавлявшим заграничную агентуру департамента полиции.

После отставки Рачковского взаимоотношения Азефа с полицией постепенно прекратились. Впрочем, по старой памяти он изредка отправлял доносы в известный дом у Цепного моста. В апреле 1906 года агенты начальника петербургской охранки А. В. Герасимова арестовали Азефа во время подготовки покушения на министра внутренних дел П. Н. Дурново, хотя один из филеров в своих донесениях постоянно называл Азефа «нашим».

Обер-предатель потребовал свидания с Рачковым. «Вы покинули меня на произвол судьбы. Чтобы заработать деньги, я вынужден был связаться с террористами»,— кричал Азеф на своего бывшего начальника. Вскоре Герасимов взял Азефа к себе на содержание, а через некоторое время назвал его своим самым ценным сотрудником.

«Он был наблюдательный человек и хороший знаток людей. Меня каждый раз поражало и богатство его памяти, и умение понимать мотивы поведения самых разнокалиберных людей, и вообще способность быстро ориентироваться в самой сложной и запутанной обстановке. Достаточно было назвать имя какого-либо человека, имевшего отношение к революционному лагерю, чтобы Азеф дал о нем подробную справку. Часто оказывалось, что он знает об интересующем меня лице все: его прошлое и настоящее, его личную жизнь, его планы и намерения, честолюбив ли он, не чересчур ли хвастлив, его отношение к другим людям, друзьям и врагам...

Во время наших бесед касались мы, конечно, и общеполитических вопросов. По своим убеждениям Азеф был очень умеренным человеком — не левее умеренного либерала. Он всегда резко, иногда даже с нескрываемым раздражением, отзывался о насильственных революционных методах действия. Он был решительным врагом революции и признавал только реформы. Меня всегда удивляло, как он, с его взглядами, не только попал в ряды революционеров, но и выдвинулся в их среде на одно из самых руководящих мест»,— так вспоминал об Азефе генерал Герасимов.

Жизнь члена ЦК, главы БО, лидера революционной партии была на виду. Он был завсегдатаем раскошных борделей и кабаков, мотом, бросавшим тысячи из партийной кассы на танцовщиц-кокеток... Уже в конце 1906 года ЦК партии эсеров располагал сведениями о двурушничестве Азефа, но им не дали хода, тщательного расследования не провели — провели его сумбурным объяснением. Летом 1908 года Азеф на время вынужден был прекратить активную деятельность и зажил частной жизнью с семьей в Париже. Но доносы Герасимову посылал исправно и деньги получал все те же — тысячу в месяц.

Именно в это время революционный историк В. Л. Бурцев открыто обвинил Азефа в измене. Перепуганный провокатор объявился в Петербурге у Герасимова. Он, рыдая, сообщил начальнику охранки, что его выдает революционерам бывший директор департамента полиции Лопухин. Герасимов пытался уговорить Лопухина пожалеть Азефа, стращал его карой за разглашение государственной тайны — Лопухин был неумолим.

Герасимов выплатил Азефу несколько тысяч рублей в виде выходного пособия, снабдил его надежными фальшивыми паспортами. Азеф метался по всему миру: он знал, что ЦК партии эсеров приговорил его к смерти. Наконец, под именем негоцианта Александра Неймайера он поселился в Берлине. В 1915 году Азеф был арестован там как русский шпион и посажен в тюрьму, из которой его выпустили в декабре 1917 года. Через несколько месяцев провокатор умер своей смертью...

Во время бурной встречи с Рачковским в апреле 1906 года Азеф между потоками матерщины злорадно выкрикнул: «Хорошую агентуру вы в лице Гапона обрели?.. Знаете, где Гапон теперь находится? Он висит в заброшенной даче на финской границе...» Азеф сказал правду. Во встроенном шкафу нетопленного дома на границе с Великим Княжеством вот уже неделю висел лицом к стене тот, кого еще недавно называли героем «красного воскресенья».

Георгий Гапон, еще будучи студентом Петербургской духовной академии, обнаружил пристальный интерес к положению самых обездоленных слоев народа. Миссионер по призванию, человек очень честолюбивый, Гапон становится весьма популярным лицом на фабриках, в общежитиях и ночлежках Петербурга.

В 1902 году Гапон познакомился с Зубатовым и по его совету начал организацию рабочих кружков, которые, в отличие от московских или минских, почти не занимались экономическими вопросами. Своим организациям Георгий Аполлонович придал уклон религиозно-нравственный и культурно-просветительский. С помощью Плеве Гапон сумел добиться в феврале 1904 года утверждения устава «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». К трагическому дню 9 января в этом «Собрании» состояло около девяти тысяч человек.

Тем временем беспорядки в империи нарастали: волновались студенты, был убит Плеве, злосчастная война с Японией выматывала последние силы государства; в ноябре стало ясно, что падение Порт-Артура — вопрос времени; глухо роптали национальные окраины...

Встревоженный ростом «Собрания рабочих» петербургский градоначальник генерал Фуллон в декабре 1904 года вызвал к себе Гапона и стал укорять священника, что тому доверили укреплять основы религиозной нравственности, а он разводит социалистическую агита-

цию. Гапон твердил, что не выходит за пределы дозволенной программы. «Поклянись мне на священном Евангелии, тогда поверю!» — потребовал генерал. Гапон перекрестился, и Фуллон отпустил его с миром.

Между тем сменивший Плеве П. Д. Святополк-Мирский провозгласил «эпоху доверия» между обществом и правительством. Началась петиционная земская кампания — на высочайшее имя посыпались десятки прошений о введении в России представительного образа правления. Пресса подняла вокруг петиций невообразимый шум и навела Гапона на мысль ускорить манифестацию с подачей прошения царю от имени рабочих. Чтобы заручиться поддержкой высшей власти, Гапон пытался пробиться на прием к министрам юстиции и внутренних дел, но это ему не удалось.

13 декабря 1904 года разразилась всеобщая стачка в Баку — забастовка неистовой силы: 20 декабря был сдан Порт-Артур и практически проиграна война; 3 января в ответ на увольнение четырех рабочих из гапоновской организации встал Путиловский завод; 6 января во время крещенского водосвятия в присутствии императорской семьи начался салют, и одна из пушек Петропавловской крепости ударила по процессии боевым снарядом (выстрел признали за оплошность, жертв не было).

9 января священник Георгий Гапон повел рабочих к Зимнему дворцу бить челом, просить у царя «правды и защиты» от угнетателей. Царя в городе не было, он с женой и детьми накануне уехал в Петергоф. За два дня перед этим, на массовом митинге, Гапон выдвинул план действия — нечто среднее между прошением и бунтом: «Мы скажем царю, что надо дать народу свободу. И если он согласится, то мы потребуем, чтобы он дал клятву перед народом. Если же не пропустят, то мы прорвемся силой. Если войска будут стрелять, мы будем обороняться. Часть войск перейдет на нашу сторону, и тогда мы устроим революцию... разгромим оружейные магазины, разобьем тюрьму, займем телеграф и телефон. Эсеры обещали бомбы... и наша возьмет».

Петиция рабочих начиналась словами: «Государь, воззри на наши страдания», а кончилась требованием Учредительного собрания! Большинство участников митинга и воскресного шествия к царю слова про бомбы и оружейные лавки воспринимали как браваду, рабочие

люди шли просить у царя-батюшки заступничества.

На заседании министров 8 января охранное отделение Петербурга дало исчерпывающую и объективную информацию о том, что предстоящее шествие будет носить исключительно мирный характер, что рабочие пойдут с семьями, с женами и детьми, что манифестанты будут нести требования, написанные «в приличной форме», а также иконы, хоругви, портреты царствующей четы; многие колонны возглавит духовенство.

Но было решено вызвать войска. Дальнейшее хорошо известно... Тщетно пытались представители общественности вечером 8 января предотвратить расстрел.

Среди же манифестантов никто не верил, что войска станут стрелять в мирное шествие, более других не верил в это Гапон. Он шел на штыки, рядом с ним падали убитые, и, если бы не верный друг, эсер Петр Рутенберг, Гапон скорее всего был бы убит; Рутенберг повалил в снег обезумевшего отца Георгия, прямо под пулями обстриг загодя длинные волосы и привел рыдающего в истерике Гапона на квартиру Максима Горького.

Там, слегка успокоившись, Гапон написал свое обращение к русскому народу, призвал «братьев, спаянных кровью», к всеобщему восстанию. Уже вечером это воззвание читали на улицах Петербурга эсеровские агитаторы; за неделю отпечатанное неслыханным тиражом, оно обошло всю Россию.

За границей Гапона ждала триумфальная встреча. Напрасно правые газеты трубили, что Георгий Аполлонович — полицейский агент; вожди русских левых партий заявили о своем доверии к романтическому священнику. Он раздавал интервью, ему щедро заплатили за книгу воспоминаний «История моей жизни».

Гапон встречался с Плехановым, Лениным, Азефом, но не спешил делать выбор. Он кутил широко, безобразно, по купеческому трафарету — дорогие проститутки, рулетка в Монте-Карло, коллекционные вина. Теперь трудно разобраться, кто первый поманил Гапона в Россию...

Как бы то ни было, Гапон вновь появился в Петербурге в декабре 1905 года и приступил к созданию рабочих организаций, полностью подконтрольных департаменту полиции, на что правительство выделило 30 тыс. рублей. Но дело не пошло. Кассир Матюшенский сбежал с деньгами; популярный в пролетарских кругах рабочий

Черемухин, боготворивший Гапона, доведенный до отчаяния разгульным поведением Георгия Апполоновича, покончил с собой.

Полиция стала добиваться от Гапона выдачи «Боевой организации» эсеров, плохо понимая, что он кустарь-одиночка и ни в какие партийные тайны не посвящен. Гапон очень нуждается в деньгах — слишком привык к сладкой жизни — и сделал роковую для себя глупость: решил купить Рутенберга, который, без сомнения, знал много, но не продавался ни по какой цене.

Гапон запросил у департамента 50 000: по 25 000 себе и Рутенбергу. Герасимов с первой встречи глубоко разочаровался в Гапоне и вообще отказался платить. Тогда Гапон начал переговоры с Рутенбергом без копейки в кармане; эсер предложил Гапону встречу 10 апреля на даче в Озерках, в пригороде Петербурга. В заброшенный дом Рутенберг пригласил заодно и рабочих-боевиков, которым дал возможность убедиться в предательстве Гапона. Когда накидывали петлю на шею, Гапон плакал...

Тщеславие съело Гапона, и оказалось, что он пастырь на час, маленький вождь в большой революции, не устоявший перед минутной славой и светскими соблазнами.

Новая «ситуация» выдвинула новые средства.

Спорить о ленинских цитатах не только трудно, но и не нужно. Ведь начиная с 1917 года теоретические положения кончились, начались дела. Миллионы расстрелянных — это уже не цитата, а дело. Зверски уничтожена царская семья, население посажено на голодный паек, разруха, насильственное изъятие церковных ценностей, сопровождавшееся массовыми расстрелами, заложники во всех городах с последующими неизбежными расстрелами, полное и неоднократное изъятие хлеба у крестьян, голод, людоедство, тиф, гражданская война, разбазаривание национальных ценностей, катастрофическое падение жизненного уровня — это все уже, увы, не цитаты. Ну, а какие «контрцитаты» можно выдвинуть против следующих распоряжений вождя:

В Нижегородский Совдеп... 9.VIII.18.

«В Нижнем, явно, готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктато-

ров, навести тотчас массовый террор, растрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров... Ни минуты промедления... Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных...

Ваш Ленин».

(Том 50. Стр. 142—143.)

«Пенза Губисполком

Копия Евгении Богдановне Бош

Необходимо... провести беспощадный массовый террор... Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию (карательную.— В. С.) пустите в ход. Телеграфируйте об исполнении.

Предсовнаркома Ленин».

9.VIII.1918. (Там же. Стр. 143—144)

«12.VIII.1918

Пенза Губисполком, Бош.

Получил Вашу телеграмму. Крайне удивлен отсутствием сообщений о ходе и исходе подавления кулацкого восстания пяти волостей. Не хочу думать, чтобы Вы проявили промедление или слабость при подавлении и при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба...»

(Там же. Стр. 148)

Телеграмма в Саратов Пайкесу:

«Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты». 22.VIII.1918. (Том 50. Стр. 165.)

Сталину в Царицын:

«...Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще». «Повсюду необходимо беспощадно расстреливать этих жалких и истеричных авантюристов...».

7.VII.18. (Том 50. Стр. 114.)

Шляпникову в Астрахань:

«Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять

астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы все на годы запомнили». 12.XII.1918. (Том 50. Стр. 219.)

«Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей кадетской и околокадетской публики... Преступно не арестовывать ее».

18.IX.1919. (Том 51. Стр. 52)

Совсем недавно было опубликовано письмо Ленина с директивой Политбюро об изъятии церковных ценностей и о способах проведения этого изъятия. Не напрасно это письмо все эти десятилетия хранилось в строжайшем секрете. Только не нужно, читая все эти тексты, принимать за чистую монету определяющие словечки: «спекулянты», «истеричные авантюристы», «заговорщики», «колеблющиеся», «ненадежные»... Восстание — кулацкое, духовенство — реакционное, жители Шуи — черносотенцы и т. д. Ведь если назвать восстание просто крестьянским (а именно крестьянские восстания и были), то как же давить и расстреливать. Если сказать просто «духовенство» — это одно, а «реакционное» — это уже другое. И вот фраза: «Чем больше число представителей реакционного духовенства удастся нам... расстрелять, тем лучше». Грубая схема всего этого нам знакома: если за нас — отряд, партизаны, если против нас — банда. Ведь и тамбовское восстание, хотя в нем участвовали десятки тысяч крестьян, не называется иначе как кулацким, а повстанцы не иначе как бандитами. А подавляла это восстание регулярная армия под командованием Тухачевского, из которого пытаются теперь сделать мученика.

И — самое главное — не нужно говорить в оправдание кровавого, людоедского террора, что он был вызван обстановкой, что этого требовала обстановка, что была не просто жестокость для блага народа, что это были вынужденные меры.

Обстановка не с неба свалилась. Она была создана насильственным захватом власти, страны.

А дальше... . Просто изгнания из рая?

...Тюремщик уже несколько раз напоминал о чаше. Омовение было совершено, друзьям сказано последнее

прости. Когда принесли кубок с цикутой, Сократ поклонился близким, звездам, проступившим на палевом небе, и медленно выпил чашу с ядом.

...Прежде в Афинах приговоренных к смерти сбрасывали со скалы. Но со временем, по мере того, как цивилизация смягчала нравы, в обиход были введены иные, более гуманные способы наказания. Одного из учителей Сократа, греческого философа Анаксагора, правители Афин изгнали из города, вменив ему в вину, как и Сократу, растление молодежи неподобающими мудрствованиями. Случилось это в V веке до нашей эры.

С тех пор прошло почти 25 веков. Минуло средневековье с печально знаменитыми аутодафе, испепелившими в Испании 36 тысяч человек. Как память тех лет хранится в европейских библиотеках изуверский труд «Молот ведьм», служивший инструкцией для судилищ над инакомыслящими. Казалось, что время костров навсегда кануло в Лету. Но вот пришел жестокий XX век. Век идеологий. И теперь уже под небом России застучал «молот ведьм», расплющивая идеологических еретиков.

Тени минувшего.

...Осенью 1922 года из Советской России была выслана большая группа философов. История этой групповой высылки у нас почти неизвестна, хотя уже в то время официальная версия о том, что высылаемые были пособниками Антанты, «растлителями молодежи» (помните обвинение против Сократа?), вызвала сомнения. Сегодня же это и вовсе выглядит бредом, облеченным в пропагандистскую обертку. Что же в действительности соблазнило разумных, облеченных высшей властью людей на этот малообъяснимый с точки зрения нынешнего дня шаг?

Ответить на этот вопрос, не вникнув в сложную политическую анатомию того года, едва ли представляется возможным. Итак, год 1922-й...

Год 1922-й сулил радужные надежды. Тем более, что после кровавых, холодных, бездушных лет «военного коммунизма» для воспарения души многого и не требовалось. Голод 1921 года, унесший пять с лишним миллионов жизней, приучил довольствоваться самым малым:

ломоть хлеба, несколько поленьев дров, жбанчик керосина... В этом же 1922 году приспущенная с идеологического поводка свобода торговли уже насытила российские рынки снедью, оживила обезлюдевшие города. В подвальных трактирчиках на Сретенке, на Мясницкой, на Рождественке, в улочках, льнущих к Охотному ряду, снова замерцали огни, замелькали тени, и по вечерам из раскрытых форточек вместе с густым извозчичьим духом выносились ожившие трели трехрядки. Гражданская война, приняв «социальный выкуп» в 13 миллионов душ, откатилась. Россия снова училась жить по часам гражданского мира.

И было в электричестве тех лет такое, что заставляло людей надеяться и мечтать. И этим «нечто» была живая вера в то, что все лишения, кровь, насилие, распад жизни и человеческих отношений — временные, что все это лишь трагический переход от одного состояния общества к другому, от прошлого к светлому будущему. Ощущения интеллигенции тех лет хорошо передает Михаил Осоргин в книге воспоминаний «Времена»:

«От революции пострадав, революции не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу,— дело обновления России. В них видели перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только искажать и тормозить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор...»

Год 1922-й обещал быть едва ли не самым плодотворным в интеллектуальной жизни Советской России. Не отменяя декрета 1917 года о запрещении оппозиционных газет, о вводе драконовской цензуры, большевики позволили некоторое послабление для жизни духа. В основе этого послабления лежала уверенность в силе.

Москва забурлила лекциями, кружками, клубами. Центром возрождающейся интеллектуальной жизни становится Московский университет. В Богословской (ныне Коммунистической) аудитории кипят споры. Молодежь, прошедшая через окопы гражданской войны, яростно

потянулась к культуре и валом валит слушать Н. А. Бердяева, Ф. Степуна, М. Осоргина. Атеисты пробуют силы в открытых диспутах с религиозными философами и монахами.

Год 1922-й даже нам, смотрящим на него с расстояния шестидесяти с лишним лет, кажется во многих отношениях странным годом, годом парадоксов. Похоже, что российская судьба еще не сделала своего окончательного выбора и кружится, и мечется под ветром истории. Большевистская Россия, вышедшая из страшного чистилища гражданской войны, «кровью умытая», точно бы колеблется относительно своего выбора: вернуться в привычный мир европейских отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями — поисками компромиссов, допуском политического плюрализма, свободным рынком, свободной игрой экономики и политики; или отгородиться от Европы железным занавесом, надеть гремящие идеологические латы, замкнуться в одиночестве классового превосходства.

Политическая гибкость Советской России в этот период питает и надежды русской эмиграции на примирение. Волны нэпа, дошедшие до эмиграции, вызывают ответную волну «сменовеховства» и возвращения на родину. Эмиграция хотела поверить и поверила, что идея национального примирения, отлитая в форму нэпа,— это действительно «всерьез и надолго». На родину возвращается более 120 тысяч беженцев.

В этом отношении весьма характерна эволюция писателя И. С. Соколова-Микитова. В июле 1921 года, когда эмиграция еще не осознала новизны экономической политики, писатель публикует в берлинской эмигрантской газете «Руль» свой знаменитый памфлет «Вы повинны», обвиняя большевиков в беспримерной по масштабам национальной катастрофе:

«...Вы повинны в том, чо довели народ до последней степени истощения и упадка духа.

Вы повинны в том, что истребили в народе чувство единения и общности, отравили людей ненавистью и нетерпимостью к ближнему. И от кого ожидаете помощи, если вы же научили людей смотреть друг на друга, как на врага и радоваться чужому страданию».

В эмигрантской среде И. С. Соколов-Микитов чис-

лился в стане «непримиримых», и его неожиданный отъезд в «совдепию» в августе 1922 года поразил многих. «Неужели Микитов сбрендил? Невероятно!» — восклицает Зинаида Гиппиус. А между тем в возвращении известного писателя была своя логика, логика национального единения, которая лежала в политической основе нэпа.

Увы!

Чутко уловив конструктивный заряд нэпа, увлекшись им, писатель вскоре по возвращении улавливает и диссонансы новой политики. В письме из России в Берлин своему другу и издателю журнала «Новая русская книга» профессору А. С. Ященко уже два месяца спустя звучат ноты горького отрезвления: «...Сгоряча я многого не разглядел, многое мне показалось не того цвету. Теперь я, кажется, знаю всех и видел все. И вот знаю, есть в России две породы людей — те, что помнят, и те, которым помнить нечего. И этот раздел, разделивший Россию, виден в лицах и в слове... Почти все теперь сбиваются на «лакейский» стиль. Попадаются книги рассказов, написанные смердяковским слогом. Писали их не Смердяковы. Но это впадение в смердяковский тон — неспроста и кое-что значит».

Первые наблюдения писателя носят, казалось бы, чисто внешний характер: он улавливает нюансы общественной атмосферы, взаимоотношений людей, специфику новой литературной среды. Но все эти «мелочи» смердяковщины имели более глубокие корни.

Разрушение саморегулирующегося свободного рынка и предпринимательства, национализация земель, промышленности, торговли потребовали создания огромной армии бюрократии, во много крат более громоздкой, нежели администрация царская. Врожденным пороком этой новой казенной системы была вопиющая некомпетентность. На руководящие посты чаще всего назначались не специалисты, а «сознательные большевики», прошедшие кровавую школу гражданской войны и умеющие обеспечивать повиновение. Некомпетентность новых чиновников вынуждает брать на место одного работника нескольких. Масштабы хозяйства по сравнению с предвоенными годами резко сузились, а бюрократический аппарат разрастался с катастрофической быстротой. По сравнению с 1917 годом число чиновников, называвшихся теперь «совслужащими», увеличилось с

1 миллиона до 2,5 миллиона. В условиях «военного коммунизма» и распределительной экономики рождалась новая каста людей, которые начинали мнить себя солью земли. Нэп для них был только помехой. В возрождении свободного рынка они безошибочно рассмотрели смертельную угрозу своим портфелям, своим пайкам, своим партийным привилегиям. Контратака была неизбежной. Но открыто атаковать нэп новый класс не решался: слишком очевидны были плоды свободного рынка. Наступление повели в той единственной сфере, где большевики мнили себя непререкаемыми, в идеологии. Первой жертвой этого скрытного наступления на нэп стала интеллигенция.

История высылки ведущих русских философов, историков, профессоров, социологов осенью 1922 года мало исследована не только у нас, но и за границей. Эмигрантская мемуаристика дает об их отъезде и прибытии в Берлин лишь самые скупые сведения. Одна из причин такой скудности в том, что сами изгнанники по причинам малообъяснимым (можно предположить, нравственного свойства), по сути дела, не оставили свидетельств о перипетиях отъезда. Сказалось, вероятно, и то, что высылаемые надеялись на то, что высылка будет временной, и не хотели обострять своими откровениями отношений с Москвой.

Решение о высылке упало на их головы неожиданно. Никто не предполагал, что большевики пойдут на такую экстравагантную меру «идеологической ассенизации», как групповое изгнание лучших умов России. Все это было тем более неожиданным, что условия нэпа, казалось, позволяли надеяться на более тесное сотрудничество Советской власти с интеллигенцией. Имелись и политические условия. Реальная оппозиция в лице меньшевиков и эсеров была разгромлена. Весной 1922 года среди меньшевиков были проведены массовые аресты. Часть из них была выпущена за границу. Процесс над эсерами в июне — июле 1922 года завершил разгром и этой партии. В стране ликвидируются последние крохи оппозиции и воцаряется однопартийность, для которой несколькими годами спустя Сталин придумает софистскую формулу — «сложилась исторически». Формулой этой ничтоже сумняшеся нас потчуют до сих пор.

С точки зрения политической целесообразности, высылка группы интеллигентов представляется необъяснимой. За высылаемыми профессорами и философами не стояло никакой политической партии, не были они и лидерами какого-либо движения. Отсутствие суда над изгоняемыми свидетельствует о том, что им невозможно было официально инкриминировать никакого противозаконного деяния, а тем более — преступления. Философы изгонялись без суда, в административном порядке, простым решением ГПУ.

Представляет интерес разъяснение, которое Лев Троцкий дал 30 августа 1922 года американской журналистке Луизе Брайант, жене Джона Рида:

«Те элементы, которые мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений, а они, несмотря на все наше миролюбие, не исключены — все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем расстрелять их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно. И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением».

Кто же был в той интеллектуальной «посылке», которую Советская власть отправила Западной Европе? Среди изгнанных находились ректор Московского университета профессор Новиков (зоолог), ректор Петербургского университета профессор Карсавин (философ), группа математиков во главе с деканом математического факультета МГУ профессором Стратоновым, экономисты — профессора Зворыкин, Бруцкус, Лодыженской, Прокопович; теоретики и практики кооперативного движения Изюмов, Кудрявцев, Булатов; историки — Кизиветтер, Флоровский, Мякотин, Боголепов; социолог Питирим Сорокин; философы Бердяев, Франк, Вышеславцев, Ильин, Трубецкой, Булгаков.

На западе высылка породила длительный спор об иррациональной природе большевизма. Эмиграция, естественно, ликовала, ибо ее авторитет и вес были подкреплены крупнейшими именами. Были и весьма экстравагантные попытки оправдания. Один из идеологов

«сменовеховства», Н. Устрялов, утверждал, что идет «процесс восстановления органических государственных тканей. И мозг страны не должен мешать этому процессу».

Высылка настолько поразила Запад своей кажущейся нелепостью, что не было сделано даже попытки логического осмысления этого хода конем.

А между тем логика была. Железная логика диктатуры. И суть ее состояла в том, что, захватив однажды власть методом насилия, ее невозможно удержать, не распространяя насилие на все сферы человеческих и государственных отношений. Эта логика диктовала свой порядок вещей и свою очередность действий. Прежде всего, было срублено древо гласности. Декрет Совета Народных Комиссаров о печати, запретивший большинство буржуазных газет, был принят два дня спустя после Октябрьской революции. Большевики весьма пунктуально выполнили «обещание» В. И. Ленина: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки». В последующие годы были запрещены и партии; причем не только либеральные, кадетского толка, но и те, что принадлежали к семейству российской социал-демократии,— эсеровская и меньшевистская. К весне 1922 года в стране воцарилась, выражаясь словами Г. Зиновьева, «монополия легальности». В широких масштабах идет «чистка» меньшевиков и эсеров, недавних союзников и товарищей по борьбе с царизмом.

Подводя итоги первого года нэпа, XII Всероссийская конференция РКП(б), проходившая в Москве 4—7 августа 1922 года, приняла резолюцию «Об антисоветских партиях и течениях», где все некогда существовавшие в России демократические партии, за исключением, разумеется, большевистской, объявляются «антисоветскими».

Характерно то, что с этого же времени, как только была устранена возможность критики со стороны оппозиции, появляется неодолимая тяга к созданию партийной верхушкой привилегированного «самоснабжения». Первый шаг к номенклатурному спецобеспечению был сделан уже в 1922 году, когда большевики сами для себя провели на XII партконференции резолюцию «О материальном положении активных партработников». В 1922 году к таким активистам, а в сущности, уже к номенкла-

туре, было отнесено 15 325 партийных функционеров. В п. 4 резолюции уточнялось, что, кроме денежного вознаграждения по высшему разряду (с 12-го по 17-й разряд), «все указанные товарищи должны быть обеспечены в жилом отношении (через местные исполкомы), в отношении медицинской помощи (через Наркомздрав), в отношении воспитания и образования детей (через Наркомпрос). Соответствующие мероприятия должны быть проведены ЦК за счет взносов рядовых членов партии. Доклад по этому вопросу делал В. Молотов.

Молодая советская номенклатура, входившая во вкус номенклатурного снабжения, с особым энтузиазмом воспринимала логику неограниченной власти: вслед за уничтожением независимых партий нужно было уничтожать и то, что питало политический плюрализм — независимость мысли. Мыслители и философы становятся «нежелательным элементом».

Мистические процессы сталинских времен очень напоминают деятельность инквизиции мрачного средневековья.

Чудовищные обвинения, выдвинутые Сталиным против старых партийцев, ошеломили весь мир. Обвиняемые, представшие перед судами в Москве, пользовались известностью далеко за рубежами страны. Это были люди, вместе с Лениным и Троцким поднявшие массы российских трудящихся на величайшую социальную революцию и основавшие государство, подобного которому не знала история.

Что могло заставить этих выдающихся деятелей вдруг изменить своим идеалам, своей партии, рабочему классу и совершить ряд гнуснейших преступлений — таких, как шпионаж, предательство, подрыв советской промышленности, вплоть до массового убийства рабочих,— и все это ради единственной цели — восстановить в СССР капитализм?

Московские процессы поставили мир перед дилемой: либо все товарищи и ближайшие помощники Ленина действительно превратились в изменников и фашистских шпионов, либо Сталин является небывалым фальсификатором и убийцей.

Замешательство, вызванное чудовищностью обвинений, еще более возросло, когда все обвиняемые признали свою вину в ходе публичного процесса. Еще более

усилилось недоверие к подобному суду. Странное поведение обвиняемых на суде породило самые разнообразные предположения и догадки: будто бы они давали свои показания под действием гипноза, или показания были вырваны пытками, или же подсудимых пичкали специальными снадобьями, парализующими их волю. Только одно никому не приходило в голову: что Сталин прав и что старые товарищи Ленина сознавались в кошмарных преступлениях потому, что действительно совершили их.

Эта особенность московских процессов представлялась еще более странной, если вспомнить, что, согласно обвинительному заключению, масштаб заговора, инкриминированного подсудимым, был гигантским: он охватывал всю территорию Советского Союза, а его участники подозревались в нелегальных поездках в Германию, Францию, Данию, Норвегию, где якобы совещались относительно убийства руководителей Советского правительства и расчленения СССР. По всему Советскому Союзу были раскиданы десятки активно действующих террористических и диверсионных групп, которые будто бы совершали покушения на жизнь вождей, взрывали мины и выводили из строя целые промышленные предприятия. В общем, сотни человек в течение целых четырех лет подготавливали распад государства. Чем же объяснялся тот факт, что НКВД не сумел обнаружить ни единой бумажки, ни иного вещественного доказательства?

В беседе с несколькими иностранными писателями Сталин объяснил это так: обвиняемые — старые и опытные конспираторы — заранее уничтожили все документы, которые могли бы повредить. Считая себя знатоком сыскной практики охранного отделения и современного НКВД, Сталин, вероятно, про себя посмеивался над наивностью собственного разъяснения, которое не выдерживало никакой критики.

Партийцы-подпольщики в царской России были не менее опытными конспираторами, чем обвиняемые на московских процессах. Вернее, на скамье подсудимых и до революции, и теперь, при Сталине, сидели одни и те же люди. Тем не менее, полиция постоянно находила на их конспиративных квартирах массу документов, которые затем предъявлялись суду как вещественные доказательства их революционной деятельности. После Фев-

ральской революции в архивах охранного отделения были обнаружены сотни секретных партийных документов, включая письма самого Ленина.

НКВД, подобно дореволюционному охранному отделению, получал в свое распоряжение разного рода «зацепки» и документальные свидетельства с помощью агентов-провокаторов. Замечу, что в распоряжении НКВД было гораздо больше возможностей для вербовки секретных сотрудников, то есть осведомителей, чем у охранного отделения. Последнее, стремясь принудить революционера стать агентом-провокатором, не могло угрожать ему смертью в случае отказа. НКВД не только угрожал, но имел действительную возможность убивать строптивых, так как не нуждался в судебном приговоре. Дореволюционный департамент полиции мог отправить в ссылку самого революционера, однако не имел права сослать или подвергнуть преследованиям членов его семьи. НКВД такими правами обладал.

Когда Советское правительство опубликовало отчет о судебных заседаниях по первому процессу, западная пресса, с самого начала подозревавшая, что Сталин просто сводит счеты с бывшими лидерами оппозиции, подчеркнула тот факт, что суду не было представлено никаких доказательств вины подсудимых Сталина, и он потребовал от государственного обвинителя Вышинского дать на следующем процессе публичное объяснение. И вот в своей речи на втором московском процессе, состоявшемся в январе 1937 года, Вышинский заявил:

«Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены... Но какие существуют в нашем арсенале доказательства с точки зрения юридических требований?.. Можно поставить вопрос так: заговор. Вы говорите, но где же у вас имеются документы?..

Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявлять нельзя».

Таким образом, сам государственный обвинитель с циничной откровенностью признал, что обвинение не располагало какими бы то ни было вещественными доказательствами вины подсудимых. У любого думающего человека не мог не возникнуть вопрос: если следователи не смогли предъявить арестованным никаких улик, что же заставило старых большевиков сознаться

в преступлениях, которые по советским законам караются смертью?

Люди, севшие ныне на скамью подсудимых, не раз представали перед царскими судами и прекрасно ориентировались в основах уголовного законодательства. Они знали, что не обязаны доказывать свою невиновность, что, напротив, бремя доказательства возлагается на государственного обвинителя. Казалось бы, самым разумным для них было хранить молчание и ждать, пока расследование их «дела» не потерпит фиаско. Вместо этого подсудимые, к изумлению всего мира, единодушно сознавались во всех преступлениях, какие только им не приписывались. Этот необъяснимый феномен повторялся на всех трех московских процессах. Зная, что следственные органы не располагают ни малейшими уликами против них, арестованные партийцы из каких-то таинственных побуждений согласились обеспечить единственным компрометирующим материалом, на котором вообще строили процессы,— своими признаниями!

Вдобавок, они делали это с такой готовностью, что юристам и психологам всего мира оставалось только ломать голову: что же происходит? На каждом из процессов подсудимые без малейшего колебания сознавались в самых чудовищных преступлениях. Они называли себя предателями социализма и пособниками фашистов. Они помогали прокурору подыскивать самые ядовитые и уничижительные эпитеты, нужные тому для характеристики их личностей и деятельности... Они старались превзойти друг друга в самобичевании, объявляя себя самыми активными участниками заговора, главными виновниками. С необъяснимым усердием обвиняемые играли роль собственных обвинителей.

Нежелание старых большевиков даже пальцем пошевельнуть в свою защиту — само по себе уже настораживало. Но еще более показателен такой факт: проявляя столь странное равнодушие к собственной защите, обвиняемые в то же время постоянно отстаивали правоту Сталина и его политику, оправдывая даже московские процессы, которые он затеял против них.

— Партия,— говорил Зиновьев в своем последнем слове,— видела, куда мы идем, и предостерегала нас. В одном из своих выступлений Сталин подчеркнул, что эти тенденции среди оппозиции могут привести к тому

что она захочет силой навязать партии свою волю... Но мы не внимали этим предупреждениям.

Подсудный Каменев в последнем слове сказал:

— В третий раз я предстал перед пролетарским судом... Дважды мне сохранили жизнь. Но есть предел великодушию пролетариата, и мы дошли до этого предела.

Вот уже действительно необычайное явление! Очутившись на краю пропасти, под гнетом обвинения, старые большевики рвутся на помощь Сталину, вместо того чтобы спасать себя — будто не им грозит смертная казнь. А ведь из простого чувства самосохранения они должны были хотя бы в последнем слове сделать отчаянную попытку защитить себя и спастись, а вместо этого они тратят последние минуты жизни на восхваление своего палача. Они заверяют окружающих, что он всегда был слишком терпелив и слишком великодушен по отношению к ним, так что теперь имеет право их уничтожать...

Оценивая их поведение, можно подумать, что каждым из них владело единственное непреодолимое желание: поскорее умереть. Но это не так. Они отчаянно боролись за жизнь, но не доказывая свою невиновность, как поступают обвиняемые перед настоящим, беспристрастным, справедливым судом, а лишь стремясь возможно более точно соблюсти уговор со Сталиным: оклеветать себя, восславить его...

Если соратники Ленина падали в обморок от недоедания и переутомления (исключение, пожалуй, являл собой Троцкий, любивший поистине великокняжескую роскошь) и жили в Кремле в скромных казенных квартирах; если Ленину в мае 1922 года кажется, что кремлевский гараж, имевший 6 машин и 12 человек персонала, чрезмерно велик, и он просит Ф. Дзержинского «сжать сие учреждение», то сталинские «меченосцы» уже не озабочивают себя моральными соображениями. Происходит быстрый отрыв доходов и уровня жизни правящей элиты от огромной массы населения. Сталин сознательно откармливает свое оружие, понимая, что голодный сатрап ненадежен. Ему важно было и нравственно оторвать создаваемую им элиту от народа. Отменяется установленный при Ленине партмаксимум зарплаты. В первой половине тридцатых годов для ответственных работников создаются закрытые распредели-

тели, спецстоловые и спецпайки. Постепенно спектр спецобслуживания расширяется, охватывая, по сути дела, все сферы жизни и быта: появляются спецмагазины, спецавтобазы, спецпарикмахерские, спецбензоколонки, особые номера для автомашин, отдельные залы ожидания на вокзалах и аэропортах и, наконец, спецкладбища, куда простому смертному невозможно войти ни живым, ни мертвым. Я думаю, что если бы существовал атеистический рай, то номенклатура выгородила бы себе спецместечко и там.

Таким образом, человек, однажды попавший в высшую номенклатуру, весь остаток жизни мог провести в особом «спецмире», так ни разу и не столкнувшись с представителями класса-гегемона, именем которого он осуществляет диктатуру. Порочный этот «спецкруг» был порван лишь после XXVII съезда партии. Встречи М. С. Горбачева не со «спецмассами», а с реальными рабочими, показали, насколько полезны такие встречи.

Хитрый политик, Сталин понимает необходимость отвлекающих жестов, показывающих, что новая знать не имеет классовых барьеров. Наряду с понятием «простой советский человек» появляются «знатные рабочие», «знатные колхозницы». О них, в отличие от настоящей элиты, пишут газеты, их прославляют в песнях, стихах, кинофильмах. История стахановского движения еще недостаточно изучена с материальной и нравственной точек зрения. Но можно предположить, что, наряду с искренним порывом рабочих, их трудовым энтузиазмом, существовало сознательное манипулирование в целом малограмотным еще населением. Стахановцев осыпают почестями, их выбирают в Верховный Совет, где они своим «рабочим голосом» вместе с почетными трактористами, почетными свиноводами создают иллюзию широкого народного участия в управлении страной. Действительность, увы, была иной.

Материальный и нравственный отрыв правящей элиты от народа еще раньше был подмечен А. Сольцем, которого называли «совестью партии». Он предостерегает, что долгое пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата возымело свое разлагающиее влияние на значительную часть старых партийных работников. Отсюда бюрократия, отсюда крайне высокомерное отношение к рядовым членам партии и к беспартийным рабочим массам, отсюда чрезмерное злоупотребление своим

привилегированным положением в деле самоснабжения. Вырабатывается и создается коммунистическая иерархическая каста.

Читатели, вероятно, помнят описание больничного «полулюкса» в одной из привилегированных больниц в романе А. Бека «Новое назначение».

«...Полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, устланную ковровой дорожкой. В этом светлом, просторном обиталище... мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы развешанных по стенкам картин».

Это описание, вероятно, не ранило бы так больно (в самом деле, чего же дурного, если человек лечится в достойных условиях?), если бы мы не знали об убожестве городских больниц для гегемона: железные койки в коридорах, сквозняки, драный линолеум на полах, отсутствие санитарок, нищенское питание, отсутствие необходимых лекарств...

Чтобы принять и в течение десятилетий сохранять вопиющее неравенство, номенклатура, вероятно, должна была обладать особыми спецкачествами. О них тоже позаботился «великий архитектор».

В апреле 1922 года Сталин становится генеральным секретарем ЦК и, по сути дела, руководителем аппарата. Первая ступенька к вешалке, на которой висел «кафтан Ленина» (в середине 20-х годов это выражение было очень в ходу), была пройдена. В наследство ему достался весьма сложный и фрагментальный по своим личным симпатиям и уровню аппарат, отражавший сложное и мгновенное соотношение сил в рядах партии. Сталину потребовался год времени, чтобы понять, какой именно аппарат нужен ему для укрепления власти; предстояла сложная, изнурительная борьба вначале с Троцким, затем с другими наследниками Ленина.

Казалось, ни одно из многочисленных сталинских преступлений уже не сможет нас удивить. Тем не менее, думаю, читателям будет небезинтересно узнать подробности еще одного убийства. Речь идет об убийстве Паукера, начальника кремлевской охраны, которого связывали со Сталиным особо доверительные отношения.

Паукер был по национальности венгром. Во время первой мировой войны его призвали в австро-венгерскую армию, и в 1916 году он попал в русский плен.

Когда началась революция, Паукер не вернулся домой — у него не было там семьи, на родине его не ждали ни богатство, ни карьера. До армии он был парикмахером в будапештском театре оперетты и одновременно прислуживал кому-то из известных певцов. Он и сам мечтал о славе и любил хвастать, будто артисты оперетты находили у него «замечательный драматический талант» и наперебой приглашали выступать на сцене в качестве статиста.

Паукер, по-видимому, не преувеличивал. У него действительно были способности актера-комика, надо было видеть, как искусно подражал он манерам начальства и с каким артистизмом рассказывал анекдоты. Но казалось, что истинным его призванием было искусство клоунады и что на этом поприще он мог бы добиться славы, которой так неуемно жаждал...

Паукер вступил в большевистскую партию и был направлен на работу в ВЧК. Человек малообразованный и политически индифферентный, он получил там должность рядового оперативника и занимался арестами и обысками. На этой работе у него было мало шансов попасть на глаза кому-либо из высокого начальства и выдвинуться наверх. Сообразив это, он решил воспользоваться навыками, приобретенными еще на родине, и вскоре стал парикмахером и личным ординарцем Менжинского, заместителя начальника ВЧК. Тот был сыном крупного царского чиновника и сумел оценить проворного слугу...

Постепенно влияние Паукера начало ощущаться в ОГПУ всеми. Менжинский назначил его начальником оперативного управления, а после смерти Ленина уволил тогдашнего начальника кремлевской охраны Абрама Беленького и сделал Паукера ответственным за безопасность Сталина и других членов Политбюро...

Личная охрана Ленина состояла из двух человек. После того, как его ранила Каплан, число телохранителей было увеличено вдвое. Когда же к власти пришел Сталин, он создал для себя охрану, насчитывающую несколько тысяч секретных сотрудников, не считая специальных воинских подразделений, которые постоянно находились поблизости в состоянии полной боевой готовности. Такую могучую охрану организовал для Сталина Паукер...

Абрам Беленький был всего лишь начальником охра-

ны Ленина и других членов правительства. Он почтительно соблюдал служебную дистанцию между собой и охраняемыми лицами. А Паукер сумел занять такое положение, что членам Политбюро приходилось считать его чуть ли не равным себе. Он сосредоточил в своих руках обеспечение их продуктами питания, одеждой, машинами, дачами; он не только удовлетворял их желания, но к тому же знал, как разжечь их...

Со Сталиным Паукер был даже более фамильярен, чем с прочими кремлевскими сановниками. Он изучил Сталинские вкусы и научился угадывать его малейшее желание. Заметив, что Сталин поглощает огромное количество грубоватой русской селедки, Паукер начал заказывать из-за границы более изысканные сорта. Некоторые из них — так называемые «габельбиссен», немецкого посола — привели Сталина в восторг. Под эту закуску хорошо идет русская водка; Паукер и тут не ударил в грязь лицом — он сделался постоянным собутыльником вождя. Приметив, что Сталин обожает непристойные шутки и антисемитские анекдоты, он позаботился о том, чтобы всегда иметь для него наготове их свежий запас. Как шут и рассказчик анекдотов он был неподражаем. Сталин, по природе угрюмый и не расположенный к смеху, мог смеяться до упаду.

Паукер подсмотрел, как внимательно Сталин вглядывается в свое отражение в зеркале, поправляя прическу, как он любовно приглаживает усы, и заключил, что хозяин далеко не равнодушен к собственной внешности и совсем не отличается в этом от всех смертных. И Паукер взял на себя заботу о сталинском гардеробе. Он проявил в этой области редкую изобретательность. Подметив, что Сталин, желая казаться повыше ростом, предпочитает обувь на высоких каблуках, Паукер решил нарастить ему еще несколько сантиметров. Он изобрел для Сталина сапоги специального покроя с необычно высокими каблуками, частично спрятанными в задник. Натянув эти сапоги и став перед зеркалом, Сталин не скрыл удовольствия. Более того, он шел еще дальше и велел Паукеру класть ему под ноги, когда он стоит на Мавзолее, небольшой деревянный брусок. В результате таких ухищрений многие, видевшие Сталина издали или на газетных фотографиях, считали, что он среднего роста. В действительности его рост составлял лишь около 163 сантиметров. Чтобы поддержать иллюзию,

Паукер заказал для Сталина длинную шинель, доходившую до уровня каблуков.

Как бывший парикмахер, Паукер взялся брить Сталина. До этого Сталин всегда выглядел плохо выбритым. Дело в том, что его лицо было покрыто оспинами и безопасная бритва, которой он привык пользоваться, оставляла мелкие волосяные островки, делавшие сталинскую физиономию еще более рябой. Не решаясь довериться бритве парикмахера, Сталин, видимо, примирился с этим недостатком. Однако Паукеру он полностью доверял. Таким образом, Паукер оказался первым человеком с бритвенным лезвием в руке, кому вождь отважился подставить свое горло.

Абсолютно все, что имело отношение к Сталину и его семье, проходило через руки Паукера. Без его ведома ни один кусок пищи не мог появиться на столе вождя. Без одобрения Паукера ни один человек не мог быть допущен в квартиру Сталина или на его загородную дачу. Паукер не имел права уйти от своих обязанностей ни на минуту, и только в полдень, доставив Сталина в его кремлевский кабинет, он должен был мчаться в Оперативное управление ОГПУ доложить Менжинскому и Ягоде, как прошли сутки, и поделиться с приятелями последними кремлевскими новостями и сплетнями...

В 1932 или 1933 году произошел небольшой инцидент, в результате которого открылось тайное сталинское пристрастие и в тоже время особо деликатный характер некоторых поручений, исполняемых Паукером. Дело было так. В Москву приехал из Праги чехословацкий резидент НКВД Смирнов (Глинский). Выслушав его служебный доклад, Слуцкий попросил его зайти к Паукеру, у которого имеется какое-то поручение, связанное с Чехословакией. Паукер предупредил Смирнова, что разговор должен остаться строго между ними. Он буквально ошарашил своего собеседника, вынув из сейфа и раскрыв перед ним альбом порнографических рисунков. Видя изумление Смирнова, Паукер сказал, что эти рисунки выполнены известным дореволюционным художником С. У русских эмигрантов, проживающих в Чехословакии, должны найтись другие рисунки подобного рода, выполненные тем же художником. Необходимо скупить по возможности все такие произведения С., но обязательно через посредников и таким обра-

зом, чтобы никто не смог догадаться, что они предназначаются для советского посольства. «Денег на это не жалейте»,— добавил Паукер.

Смирнов, выросший в семье ссыльных революционеров, вступивших в партию еще в царское время, был неприятно поражен тем, что Паукер позволяет себе обращаться к нему с таким заданием, и отказался его выполнять. Крайне возмущенный, он рассказал об этом эпизоде нескольким друзьям. Однако Слуцкий быстро погасил его негодование, предупредив еще раз, чтобы Смирнов держал язык за зубами: рисунки приобретаются для самого хозяина! В тот же день Смирнов был вызван к заместителю наркома внутренних дел Агранову, который с нажимом повторил тот же совет. Значительно позже старый приятель Ягоды Александр Шанин, рассказал, что Паукер скупает для Сталина подобные произведения во многих странах Запада и Востока.

За верную службу Сталин щедро вознаграждал своего незаменимого помощника. Он подарил ему две машины — лимузин «кадиллак» и открытый «линкольн» — и наградил его целыми шестью орденами, в том числе и орденом Ленина.

Паукер был очень экспансивным человеком, и ему трудно бывало удержаться и не рассказать приятелям тот или иной эпизод из жизни «хозяина». Мне казалось, что Паукеру, вероятно, даже не приходит в голову, что вещи, которые он рассказывает, дискредитируют его патрона. Он так слепо обожал Сталина, так уверовал в его неограниченную власть, что даже не сознавал, как выглядят сталинские поступки, если подходить к ним с обычными человеческими мерками...

Очевидец вспоминал: «Летом 1937 года, когда большинство руководителей НКВД уже было арестовано, в парижском кафе я случайно встретил одного тайного агента Иностранного управления. Это был некий Г.— венгр по национальности, старый приятель Паукера. Я считал, что он только что прибыл из Москвы, и хотел узнать последние новости о тамошних арестах. Присел к его столику.

— Как там Паукер, с ним все в порядке? — осведомился я в шутку, будучи абсолютно уверен, что аресты никак не могут коснуться Паукера.

— Да как вы можете! — оскорбился венгр, возмущенный до глубины души.— Паукер для Сталина зна-

чит больше, чем вы думаете. Он Сталину ближе, чем друг... ближе брата!..

Г., кстати, рассказал мне о таком эпизоде. 20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК-ОГПУ-НКВД, Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет, пригласил на него Ежова, Фриновского, Паукера и несколько других чекистов. Когда присутствующие основательно выпили, Паукер показал Сталину импровизированное представление. Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранников, Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстрелять. «Зиновьев» беспомощно висел на плечах «охранников» и, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно поводя глазами. Посередине комнаты «Зиновьев» упал на колени и, обхватив руками сапог одного из «охранников», в ужасе завопил: «Пожалуйста... ради Бога, товарищ... вызовите Иосифа Виссарионовича!»

Сталин следил за ходом представления, заливаясь смехом. Гости, видя, как ему нравится эта сцена, наперебой требовали, чтобы Паукер повторил ее. Паукер подчинился. На этот раз Сталин смеялся так неистово, что согнулся, хватаясь за живот, а когда Паукер ввел в свое представление новый эпизод и, вместо того, чтобы падать на колени, выпрямился, простер руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый!» — Сталин не мог больше выдержать и, захлебываясь смехом, начал делать Паукеру знаки прекратить представление.

В июле 1937 года к нам за границу дошли слухи, будто Паукер снят с должности начальника сталинской охраны. В конце года я узнал, что сменено руководство всей охраны Кремля. Тогда мне еще представлялось, что Сталин пощадит Паукера, который не только пришелся ему по нраву, но и успешно оберегал его жизнь целых пятнадцать лет. Однако и на этот раз не стоило ждать от Сталина проявления человеческих чувств. Когда в марте 1938 года, давая показания на третьем московском процессе, Ягода сказал, что Паукер был немецким шпионом, я понял, что Паукера уже нет в живых...»

Богатейшую кинолетопись страны создали операторы-хроникеры, начиная с летописи революции. Было их немного. Так, около трех миллионов метров военной хроники сняли 252 фронтовых кинооператора. Всего 252! Они были свидетелями и участниками всего, что

пережила страна. Один из них — Владислав Микоша. Ему выпало снимать и прилет «Графа Цеппелина», спасение челюскинцев, и альпиниаду РКК, и разрушение храма Христа Спасителя. Его камера запечатлела Анри Барбюса и Бернарда Шоу, академика Павлова и Валерия Чкалова, Дмитрия Шостаковича и Василия Ивановича Качалова. Неоднократно снимал он Сталина и Мао Цзэдуна, Хрущева и Андропова, Эйзенхауэра и Кеннеди.

Он снимал оборону Одессы и Севастополя — от первого до последнего дня, ходил с конвоями в «огненную кругосветку» в 1942—1943 годах, снимал освобождение Кавказа, Крыма, Украины, Болгарии, Румынии, Польши, был ранен на Одере, где закончилась для него «европейская кампания». А затем — война с Японией, подписание капитуляции на линкоре «Миссури».

И как на фронте отмечалась его «сумасшедшая смелость», так и во всем, что он пишет, отмечает его «сумасшедшая искренность». В своей книге о войне «Рядом с солдатом» он честно написал, что не был бесстрашным, а просто преодолевал страх.

В конце лета меня вызвал наш строгий, но очень нами уважаемый и любимый директор студии кинохроники на Брянке — Виктор Иосилевич.

— Я решил тебе, Микоша, доверить очень серьезную работу! Только будет лучше об этом меньше болтать. Помалкивать, понял?

И он поднял выше головы указательный палец. Посмотрев очень пристально мне в глаза, сказал:

— Есть указание снести храм Христа! Будешь снимать!

Мне показалось, что он сам не верит в это «указание». Я, сам не знаю почему, вдруг задал ему вопрос:

— А что, Исаакиевский собор в Ленинграде тоже будут сносить?

— Не думаю. А впрочем, не знаю... Не знаю... Так вот, с завтрашнего дня ты будешь вести наблюдение за его разборкой, снимая как можно подробнее и детальнее всю работу, с ограждения его до самого конца, понял? «Патронов» не жалеть. Как понимаешь, это надолго и всерьез, я на тебя надеюсь.

Когда я дома под большим секретом сказал, что

будут сносить храм Христа, мама не поверила.

— Этого не может быть! Во-первых, это — произведение искусства. Какой красоты в нем мраморные скульптуры, золотые оклады, иконы, фрески на стенах! Их же писали лучшие художники — Суриков, Верещагин, Маковский... И скульптуры Клодта! Мы ведь все на него деньги жертвовали — по всей Руси — от нищих до господ... Упаси Бог!..

Мама разволновалась, замолчала. Потом, взяв себя в руки, сказала:

— Сам Господь Бог не позволит совершить такое кощунственное злодеяние против всего русского народа, построившего этот храм.

Я промолчал. Не стал расстраивать маму, все равно она не может в это поверить. А утром уже снимал, как вокруг храма строили высокий глухой забор.

Первые минуты я даже не мог снимать. Получая задание, я, конечно же, не предполагал, что мне предстоит пережить и перечувствовать. Когда Иосилевич сказал: «Будешь снимать снесение храма Христа Спасителя», я все принимал это просто, как информацию об очередной съемке. Я не мог предположить, что все, что я буду снимать, врежется в мою душу, в мое сердце, будет терзать меня и долго саднить и кровоточить болью уже после того, когда храма не станет,— всю оставшуюся жизнь...

До сих пор я так и не понял: чей приказ я выполнял? Тех, кто отдал «указание» снести храм? Тогда зачем им, окружившим свое варварское деяние высоким забором, это тщательное, душу раздирающее киносвидетельство? Класть в спецхран киноархива это чудовищное обвинение себе — за гранью всякой логики... Или это Иосилевич, рискуя вся и всем, взял на себя решение оставить это свидетельство для будущих поколений?.. Поэтому и — «помалкивай»? Но чем и как оправдывал он мои съемки перед теми, кто обязан был «все видеть и все знать»?

Тогда все, что я должен был снимать, было как страшный сон, от которого хочешь проснуться и не можешь. Через широкие распахнутые двери выволакивали с петлями на шее чудесные мраморные творения. Их сбрасывали с высоты на землю, в грязь. Отлетали руки, головы, крылья ангелов, раскалывались мраморные горельефы, порфирные колонны дробились отбой-

ными молотками. Сталкивались стальными тросами при помощи мощных тракторов золотые кресты с малых куполов. Погибла уникальная живописная роспись на стенах собора. Рушилась привезенная из Бельгии и Италии бесценная мраморная облицовка стен.

Стиснув зубы, я начал снимать. Изо дня в день, как муравьи, копошились, облепив собор, военизированные отряды. За строительную ограду пропускали только с особым пропуском.

Шло время, оголились от золота купола, потеряли живописную роспись стены. В пустые провалы огромных окон врывался ледяной, со снегом, ветер. Рабочие батальоны в буденовках начали вгрызаться в стены, но огромные стальные зубила не могли преодолеть сопротивление камня. Храм был сложен из огромных плит песчаника, которые при кладке заливались вместо цемента расплавленным свинцом. Всю зиму работали военные батальоны и ничего не могли сделать со стенами. Тогда пришел приказ. Мне сказал под большим секретом симпатичный инженер:

— Сталин был возмущен нашим бессилием и приказал взорвать собор.

Только сила огромного взрыва окончательно уничтожила храм Христа Спасителя, превратив его в огромную груду развалин, внутри которой мог свободно поместиться собор с колокольней Ивана Великого.

Мама долго плакала по ночам. Молчала о храме. Только раз сказала:

— Судьба не простит нам содеянного!

— Почему нам? — спросила жена.

— А кому же? Всем нам... Человек должен строить... А разрушать — это дело Антихриста... Мы же все, как один, деньги отдавали на него, что же все, как один, и спасти не могли?..

Я не верил в бога. Но тоже долго просыпался от кошмаров. В одну из ночей даже увидел в руинах свой дом — весь Ленинградский проспект, на котором мы жили. Это было так страшно, что я никому, даже маме, не рассказал об этом...

Но время шло, и я старался забыть боль тех съемок, боль того сна...

Я не верил в бога. Я верил в Него.

Вместо храма Христа Спасителя рождались новые символы.

Весной 1937 года с соблюдением всех возможных предосторожностей и секретностей из Москвы в Париж был отправлен железной дорогой специальный транспортный конвой, который вез «секретное оружие» Сталина — скульптурную группу В. Мухиной «Рабочий и колхозница». На Всемирной выставке 1937 года в Париже «Искусство и техника нашего времени» она должна была символизировать могущество нашей Страны Советов.

Это было время восторгов перед новой техникой. В Москве полным ходом идет строительство висячего Крымского моста по проекту инженера Б. Константинова (архитектор А. Власов). По другую сторону океана в апреле 1937 года в Сан-Франциско открывается самый длинный в мире мост «Золотые ворота» — тоже, кстати, висячий. Мексиканский художник Диего Ривера, воспевая сплав ума и мускульной силы, создает в одном из цехов завода Форда в Детройте гигантскую фреску, воспевающую труд рабочих на поточной линии автомобильного гиганта. А. Дейнека в это же время готовит эскизы для смальтовых мозаик подземного вестибюля станции метро «Маяковская». Тема: трудовая доблесть советских людей, спорт, Осоавиахим. Никогда еще прославление труда, мускульной красоты, технического прогресса не было столь настойчивым и столь искренним, как в эти месяцы работы Всемирной выставки в Париже, когда до начала второй мировой войны оставалось 28 коротких месяцев. Гитлеровский Люфтваффе уже испытал в Испании свои «хенкели», жертвы которых (1500 убитых и 1000 раненых) будут протягивать к посетителям Всемирной выставки свои искалеченные руки.

Сталин принимает решение продемонстрировать Европе другие символы...

«ДЕШЕВО ЖЕ ВЫ ЦЕНИТЕ МАРКСА...»

Покупка архива Маркса была поручена «любимцу партии» — Николаю Бухарину. Его жена, Анна Михай-

ловна Ларина-Бухарина, писала: «Последней тайной акцией, приумножившей обвинения против Бухарина и Рыкова, явилась провокационная командировка Бухарина за границу.

Николай Иванович был командирован за границу в феврале 1936 года, ближе к концу месяца, для покупки архива Маркса и Энгельса. Архив принадлежал немецкой социал-демократической партии и после прихода Гитлера к власти был вывезен из Германии в другие страны Европы. В связи с тем, что и это не обеспечивало надежного хранения архива из-за опасности войны с Германией, а может быть, и по материальным соображениям, решено было архив продать Советскому Союзу. Для покупки архива за границу была направлена комиссия из трех человек: В. В. Адоратского, директора ИМЭЛ, А. Я. Аросева, в то время председателя ВОЛКСа, и Бухарина.

Николая Ивановича вызвал Сталин, сообщил ему о предстоящей командировке и выразил желание получить не только те документы Маркса и Энгельса, которых у нас вовсе не было, но и те, которые у нас имелись в копиях, назвал цену, за которую можно было купить архив. «Аросев, несомненно, торговать сможет, но в знаниях Адоратского я сомневаюсь, ему могут подсунуть что угодно вместо Маркса. Проверить рукописи сможешь только ты»,— сказал Сталин.

Николай Иванович и заподозрить не мог, что поездка его за границу была задумана с провокацией. При встрече Сталин, казалось, был настроен дружески, заметил даже:

— Костюм у тебя, Николай, поношенный, так ехать неудобно, срочно сшей новый, теперь времена у нас другие, надо быть хорошо одетым.

В тот же день портной из мастерской наркомминдела:

— Товарищ Бухарин (говорил портной с сильным еврейским акцентом), мне надо как можно скорее снять мерку, чтобы срочно сшить вам костюм.

Н. И. попросил сшить костюм без мерки и пытался объяснить, как сильно он занят:

— В три часа дня «летучка» в редакции, и дел перед отъездом уйма!

— Как это без мерки? — удивился портной.— Поверьте моему опыту, товарищ Бухарин, еще ни один портной без мерки не шил.

— Сшейте по старому костюму,— предложил Николай Иванович.

Такой выход из положения был неосуществим прежде всего потому, что единственный старый был на нем, предыдущий, совсем изношенный, я успела выкинуть; отдав старый костюм портному, Николай Иванович смог бы явиться в редакцию только в нижнем белье.

— По старому? По старому выйдет плохо. И знаете, я всегда мечтал увидеть хоть раз живого Бухарина — не на портрете. А теперь представляется такой случай, такой случай! Доставьте мне удовольствие, товарищ Бухарин!

Так переплетается трагическое с комическим. «Удовольствие» портному Николай Иванович доставил, в новом костюме он ездил в Париж, в нем был арестован, в нем и расстрелян, если для такого события Сталин не распорядился сшить еще один костюм.

Все казалось правдоподобным. При этой встрече с Николаем Ивановичем Сталин вручил ему постановление Политбюро, в котором были указаны цель командировки, состав комиссии по покупке архива, и, если память мне не изменяет, перечислены лица, с которыми члены комиссии должны будут встретиться для ведения переговоров. Во всяком случае, абсолютно точно помню, как придя домой после разговора со Сталиным, Н. И. сообщил мне, что ему придется встретиться с австрийским социал-демократом Отто Бауэром, одним из лидеров II Интернационала и австрийской социал-демократической партии, с которым Николай Иванович не раз скрещивал полемическое оружие, идеологом австромарксизма, а также с видным австрийским социал-демократом, секретарем II Интернационала Фридрихом Адлером, русскими меньшевиками-эмигрантами, издавшими в Париже «Социалистический вестник», Ф. И. Даном и Б. И. Николаевским. Н. И. сказал по этому поводу:

— Ну, Коба, выкинул номер! Анекдотический случай: я — и Дан!

Ф. И. Дан — один из лидеров меньшевистской партии, член ее ЦК. После Февральской революции — член исполкома Петроградского Совета и президиума ЦИК (поддерживал Временное правительство), в конце 1921 года был выслан за границу, участвовал в организации II Интернационала, редактор эмигрантского журнала «Социалистический вестник», издававшийся в Париже,

затем в Америке. Б. И. Николаевский, близкий Дану человек, историк — фигура значительно менее крупная в меньшевестской партии.

— С этими надо быть сугубо осторожными, они способны на любую провокацию и могут снова (имелась в виду публикация в «Социалистическом вестнике» записи разговора Бухарина с Каменевым.— А. Л.) принести мне неприятности. Иметь с ними дело я буду только при свидетелях — Аросеве и Адоратском.

По пути в Париж Н. И. Остановился на два-три дня в Берлине. Жил в посольстве, тепло был принят нашим послом в Германии Я. З. Сурицем (чего нельзя сказать о после во Франции — В. П. Потемкине), ездил по Берлину с корреспондентом «Известий» Дмитрием Бухарцевым, купил много книг, авторами которых были различные фашистские идеологи.

В одной из фашистских газет (или журнале) было сообщение о приезде Н. И. Бухарина в Берлин; писали, что Бухарин похож на самых образованных людей в мире. «Пузырек» Николая Ивановича очень смешил, но комплиментов он боялся. «Коба очень завистлив и мстителен».

Поскольку архив был рассредоточен по разным странам Европы, члены комиссии направились сначала в Вену, Копенгаген и Амстердам, где хранилась большая часть документов Маркса и Энгельса, которые Николаю Ивановичу пришлось просматривать.

Во второй половине марта Бухарин приехал в Париж. Никто из членов комиссии, кроме него, не имел дипломатического паспорта. Лица с дипломатическим паспортом, как правило, жили в посольстве, но от Потемкина поступило указание, чтобы Николай Иванович поселился вместе со всеми товарищами в гостинице «Лютеция», потому, якобы, что переговоры должны происходить в этой гостинице, а меньшевиков-эмигрантов приглашать в наше посольство неудобно. Почему Н. И. не мог приходить из посольства в «Лютецию» для ведения переговоров — непонятно, но возражать не имело смысла.

Вместе с Н. И. за границу я не поехала; он не считал удобным тратить на меня государственную валюту. К тому же я была беременна на последнем месяце. Но время шло, командировка затягивалась. Неожиданно, в первых числах апреля, Семен Александрович Ляндрес,

секретарь Бухарина, пригласил меня в редакцию «Известий» для телефонного разговора с Н. И. Поздно ночью меня соединили с Парижем. Н. И. сказал, что готовит доклад, который будет издан брошюрой, и он получит за нее гонорар. В связи с этим Николай Иванович просил (по телефону из Парижа) Ежова, в то время зав. орготделом ЦК ВКП(б), разрешить мою поездку в Париж без дополнительной валюты. Ежов обещал это устроить. Действительно, Ежов позвонил мне и сказал:

— Пойди в Наркомотдел, оформи визу для поездки в Париж, твой влюбленный муж соскучился. Он жить без молодой жены не может!

Вульгарность тона меня удивила, но, как мне показалось, Ежов сообщал мне о разрешении ехать в Париж доброжелательно. В Париж я приехала 6 апреля, через три дня после доклада Бухарина в Сорбонне об основных проблемах современной культуры.

Н. И. встречал меня вместе с А. Я. Аросевым. На вокзале он познакомил нас:

— Это мой друг Аросев. В Москве в 1917 году мы с ним завоевывали Советскую власть, а теперь в Париже стараемся «отвоевать» архив Маркса.

— Цветы от Николая Ивановича,— и Аросев приподнес мне гвоздики,— этот «безусый юноша» дамам цветы не дарит, стесняется, и поручил это сделать мне.

Н. И. покраснел. Я любила в нем эту юношескую застенчивость.

На машине мы проехались по весеннему Парижу. Каштаны уже покрылись густой зеленью резных листьев и разбросали гордые свечи, устремленные ввысь. Я была очарована красотой Парижа. Проехав мимо бульвара Сен-Жермен и бульвара Распай, где сидели за своими этюдниками художники, против сквера Бусико, мы остановились у гостиницы «Лютеция».

Члены комиссии жили в соседних номерах. Адоратский заходил к нам, любил побеседовать да и просто поболтать и Н. И. В противоположность сухому, догматичному Адоратскому, он был личностью яркой, талантливой. Человек разносторонних интересов, до революции, в эмиграции он учился в Льеже, затем продолжил обучение в петербургском психоневрологическом институте. Писал повести и рассказы. До моего приезда Николай Иванович и Аросев проводили много времени вме-

сте, бродили по Парижу, не раз бывали в Лувре; оба жизнерадостные, они много шутили.

Три недели моего пребывания в Париже я не могла использовать так, как хотелось бы. Мы выбрались в Лувр, но, увы, у «Монны Лизы» я потеряла сознание. Николай Иванович был так взволнован, что в дальнейшем без Аросева со мной нигде не бывал. Вместе с ним мы поехали посмотреть Версаль. Неожиданно похолодало, помрачнело, и на цветущие деревья стал падать снег. Дворцы были закрыты, фонтаны не работали, ветер сбивал с ног. Потому еще, что я была нездорова, Версаль показался мне менее красивым, чем наш Петергоф. Николай Иванович сказал, что я великая патриотка. На обратном пути изо всех сил он старался поднять мое настроение, был весел, пел и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистел, как мальчишка, несмотря на увещевания Аросева.

Как-то поздним вечером мы поехали, опять-таки с Аросевым, на Монмартр. Оттуда открывалась панорама огромного города, святящегося мириадами огней. По Монмартру прогуливались влюбленные и целовались на виду у всех. Н. И. пожимал плечами, даже возмущался.

— Ну и нравы! Самое сокровенное — на глазах у публики!

Однако конец прогулки был неожиданным. Он повернулся ко мне и сказал:

— А разве я хуже других?..

Ошеломленный Аросев не знал, куда направить свой взгляд. Неожиданно Николай Иванович встал на руки и, привлекая внимание прохожих, прошелся на руках. Это был апогей его озорства.

В первый день моего приезда в Париж Николай Иванович делился впечатлениями о своем докладе. Он сказал:

— Мог бы значительно лучше выступить.

Н. И. неплохо владел французским, свободно объяснялся, читал без словаря. Тем не менее выступить по-французски без письменного текста он не решился. Доклад был написан по-русски, переведен и отредактирован А. Мальро. Это создало искусственную рамку, в пределах которой должна была развиваться его речь. Бухарин — страстный трибун, в своих выступлениях он развивал свои мысли так, что одна продолжала другую. Увлеченный сам, он увлекал свою аудиторию. Возмож-

ности Бухарина-оратора из-за языкового барьера были недоиспользованы. Но он рассказывал, что тем не менее его тепло встретили и еще теплее провожали. После доклада оказалось столько желающих побеседовать с ним, что он с трудом выбрался из Сорбонны.

Николай Иванович рассказывал как сенсацию, что к нему приходил специально приехавший в Париж из провинции, где он жил, Рудольф Гильфердинг. Книга Гильфердинга «Финансовый капитал» издавалась в Советском Союзе и, с точки зрения большевиков, содержала ценный теоретический анализ империализма, была рекомендована для изучения в высших экономических учебных заведениях, правда, с оговорками. Его теория организованного капитализма всегда критиковалась как ошибочная, и Бухарину приписывали «сползание» на его позицию, хотя сам он не считал их взгляды по этому вопросу тождественными.

Ни единого слова о продаже архива с ним не было произнесено, беседовали на теоретические темы. Но Н. И. опасался, что об этой встрече узнают в Москве, поскольку она не была предусмотрена. «Но не выгонять же мне его, в конце концов,— сказал он мне,— и беседовать с ним было чрезвычайно интересно».

Никто из немецких социал-демократов в переговорах о продаже архива не участвовал. Австрийцы Отто Бауэр и Фридрих Адлер дали возможность Адоратскому и Николаю Ивановичу изучать документы. Фридрих Адлер, как говорил Н. И., приезжал в Копенгаген и Амстердам. О присутствии там Николаевского мне Николай Иванович не рассказывал. В Париже в течение апреля 1936 года просмотра документов не было. Если они там и хранились, то небольшая часть, которая была проработана до моего приезда. Переговоры касались только стоимости архива — «условий продажи» — так называл их Николаевский; «постыдный торг» — характеризовал Бухарин. После приезда в Париж состоялась встреча членов комиссии с Даном и Николаевским, пришедшим в «Лютецию». Все последующие переговоры проходили там же. Свидание с Даном в присутствии Аросева и Адоратского было до моего приезда, поэтому пишу о нем со слов Н. И.

Дан подчеркнуто холодно и с нарочитым равнодушием смотрел на Бухарина, остальных он вовсе не замечал. Чтобы разрядить атмосферу, Николай Иванович воскликнул:

— Как вы похудели, Федор Ильич!

— Это потому,— ответил Дан,— что большевики выпили всю мою кровь, вы по этой причине так располнели.

— Но и вы моей хорошо попили! — заметил Николай Иванович.— И не только в 1917-м, но и в 1929 году (он имел в виду опубликованную в «Социалистическом вестнике» запись разговора с Каменевым), но, как видите, я в форме.

После такого «дружеского» диалога состоялся короткий разговор о документах и цене архива. Дан заявил, что дальнейшие переговоры будет вести только Николаевский и что он участия в них больше принимать не будет. Но с Николаевским Н. И. знаком не был. Николаевского увидел впервые в Париже, Дана хоть и видел в 1917 году, но никогда с ним не разговаривал.

Обычно Николаевский, позвонив по телефону, договаривался об очередной встрече. Время согласовывалось с остальными членами комиссии. Однажды, не застав Аросева и Адоратского, Николай Иванович свидание отменил. Во всех случаях, кроме одного, которого я коснусь, речь шла только о цене архива.

Я не присутствовала при всех встречах Бухарина с Николаевским, поскольку приехала в начале апреля, а Н. И. прибыл из Амстердама в Париж примерно в середине марта, но я была свидетелем всех переговоров, происходивших после моего приезда. Поэтому я имела возможность почувствовать их атмосферу, узнать содержание и понять, мог ли Николай Иванович разговаривать с Николаевским наедине на политические темы или он их избегал и строго придерживался запрограммированного еще в Москве поведения: без свидетелей не разговаривать.

Немецкие социал-демократы назвали очень высокую цену архива. Возможно, справедливы были предположения, в особенности Аросева, что русские меньшевики-эмигранты как посредники сами хотели хорошо заработать на архиве.

После того, как Дан и Николаевский запросили, по выражению всех членов комиссии, «бешенные деньги», Бухарин по телефону из посольства связался со Сталиным. Сталин заявил, что таких денег Советский Союз заплатить не может.

— Торговаться не умеете. Аросев пусть нажмет, ты, Николай, на это не способен.

И действительно, в моем присутствии из-за цены архива шли горячие споры. Аросев старался изо всех сил.

Первый разговор с Николаевским после моего приезда состоялся до согласования вопроса со Сталиным; Николай Иванович не сразу смог с ним связаться. Но, независимо от мнения Сталина, члены комиссии считали запрашиваемую цену очень высокой и стремились повлиять на Николаевского, чтобы немецкие социал-демократы уступили в цене, он ответа не давал, очевидно, выжидал, в надежде, что Москва заплатит дороже.

Второй раз Николаевский пришел уже после разговора Н. И. со Сталиным. Опять-таки беседа происходила в присутствии остальных членов комиссии и при их участии. Н. И. сообщил, что Сталин не считает возможным заплатить больше той цены, о которой уже шла речь. Аросев предложил Николаевскому подумать и заявил, что если цена не будет снижена, комиссии придется безрезультатно возвратиться в Москву.

В Версале я простудилась и слегла, с высокой температурой. Аросев пригласил дочь Г. В. Плеханова. Она и ее муж, француз, были врачами. Валентина Георгиевна — кажется, именно так ее звали (возможно, я ошибаюсь) — обнаружила у меня плеврит и предложила увезти меня в санаторий ее мужа под Парижем. Мы сразу же поехали туда. Николай Иванович был возле меня неотлучно и в Париж не выезжал. Температура доходила до 40, что при моем девятом месяце беременности было опасно. Валентина Георгиевна в первые дни моей болезни заходила и ночью. Своим скорым выздоровлением я обязана только ей. От платы за мое пребывание в санатории она отказалась и ограничилась лишь маленькой просьбой — передать ее матери, Розалии Марковне, проживавшей в Ленинграде, посылочку с медикаментами, что Николай Иванович охотно выполнил. Через неделю мне стало легче, и мы вернулись в Париж. Как-то в санаторий приехал Аросев и сообщил, что Николаевский никак не проявляет себя, молчит, и, видимо, придется уехать в Москву без архива.

После нашего возвращения из санатория, предварительно позвонив по телефону, появился Николаевский. На встрече присутствовали все члены комиссии. Перего-

воры происходили как всегда у нас в номере гостиницы. На этот раз Николаевский солидно уступил в цене. Все обрадовались, особенно Н. И., он был убежден, что архив будет куплен. Разница между ценой, которую установил Сталин, и той, за которую были согласны продать архив представители II Интернационала, стала незначительной. Договорились, что Адоратский или Н. И. свяжутся со Сталиным для окончательного согласования цены.

Сталину звонили и Бухарин, и Адоратский, но к телефону он больше не подходил. Николай Иванович дозвонился до секретаря Сталина Поскребышева, которого просил передать Сталину, что Николаевский уступил в цене и назвал сумму. Поскребышев обещал сообщить в посольство решение Сталина. Ждали, ждали, а ответа от Сталина так и не поступало. Н. И. нервничал. «Мне эта история уже начинает надоедать!» — рассерженно воскликнул он как-то, стукнув кулаком по столу. В следующий раз звонил Адоратский. Со Сталиным ему так и не удалось связаться, но Поскребышев сообщил, что Сталин настаивает на первоначальной цене.

Все были расстроены, не хотелось возвращаться безрезультатно. Когда мы остались одни, Николай Иванович сказал: «Коба, разве он в чем-нибудь уступит! Торговаться из-за такой суммы, это же бессмысленно для государства». Оставалась одна надежда на Николаевского.

Он явился без предупреждения, объяснив это тем, что случайно проходил мимо. Николай Иванович пошел за товарищами, но никого не оказалось дома. Ему очень не хотелось разговаривать с Николаевским только в моем присутствии, без остальных членов комиссии.

— Жаль,— сказал он,— что вы пришли без предупреждения. Товарищей в гостинице нет, а я не имею полномочий разговаривать в отсутствие остальных членов комиссии. Я послан только в качестве эксперта (руководителем комиссии считался Адоратский), цена архива — это не моя миссия.

— Но вы, вероятно, цену согласовали со Сталиным,— возразил Николаевский,— а соглашение мы оформим, когда все будут в сборе.

Николай Иванович вынужден был сказать, что Сталин снова настаивает на прежней цене. Он мог бы и воздержаться от такого сообщения, отложив встречу до

прихода остальных, но это было не в его характере.

— Дешево же вы цените Маркса, Николай Иванович,— неожиданно заявил Николаевский.

От этих слов Николай Иванович рассвирепел и перешел от обороны к атаке:

— Это мы дешево ценим Маркса! — возмущенным тоном сказал он.— Мы архив покупаем, а вы его продаете, кто же его дешево ценит?

Николай Иванович стал взволнованно ходить по комнате; так всегда бывало, когда он нервничал.

— Но вы же знаете, какие обстоятельства заставляют нас продавать архив — оправдывался Николаевский.

— Я бы нашел место для хранения архива и никогда бы его не продавал.

Николаевский поинтересовался, где бы Николай Иванович ему посоветовал хранить архив.

— Ну, допустим, в Америке. Хранить, а не продавать. Денег вам там никто не заплатит. Америке эти документы не нужны, но хранить их там можно. Ну, а если вы так считаете, Борис Иванович, и думаете, что архив в опасности, обеспечить надежность хранения его нельзя, что же вы торгуетесь из-за этого гроша. Это же постыдный торг, постыдный торг!

— Но и Сталин хватается за этот грош,— заметил Николаевский.— Вы здесь представляете государство, для которого ваш «грош» не урон; а вот для немецкой социал-демократической партии этот ваш «грош» — не грош, они очень нуждаются в деньгах.

— Но если архив в опасности, ценнейшие документы Маркса могут погибнуть, то во имя спасения их я бы на вашем месте их даром отдал, подарил бы Советскому Союзу, а вам предлагается не маленькая сумма.

— Даже даром? — и Николаевский иронически улыбнулся.

— Я бы заплатил вам вдвое больше, чем вы просите, если бы у меня была такая возможность. Лишь бы спасти архив и прекратить торговлю.

— Вот в этом я ничуть не сомневаюсь,— подчеркнул Николаевский, намекая на зависимость от Сталина.

Бухарин продолжал:

— Я ведь вовсе не исключаю нападения Гитлера на Советский Союз, думая, что военный конфликт с Герма-

нией неизбежен, к нему нужно готовиться, и не только в области военной, созданием мощной техники, оснащением армии, но и созданием необходимой психологии тыла. А трудности уже позади. Поэтому, я думаю, хоть война предстоит тяжкая, но победа будет за нами, и при огромных просторах страны мы архив сохраним.

— Мы больше не уступим ни франка,— эта последняя фраза есть точное выражение Николаевского.

Делать вывод, что немецкие социал-демократы передумали продавать архив, никак не приходилось. По-видимому, члены комиссии справедливо предполагали, что Николаевский был заинтересован в большой цене, так как меньшевики-демократы как посредники хотели заработать на архиве.

— Кто это «мы»? «Мы» — представители II Интернационала, «мы» — русские меньшевики или «мы» — немецкие социал-демократы?

Так рассказывал Николай Иванович своим товарищам о заключительном разговоре с Николаевским, обращая внимание на его выражение: «Мы не уступим ни франка!»

На этом переговоры об архиве закончились. Николаевский перевел разговор на другую тему. Ясно было, что это его последнее свидание с Николаем Ивановичем, и он спросил о своем брате. Брат Николаевского, Владимир Иванович, был женат на сестре Рыкова и жил в Москве, поэтому Б. И. Николаевский мог предполагать, что Н. И. встречал его у Рыкова. Но Н. И. ничего рассказать не мог. С Рыковым он встречался в последние годы от случая к случаю: на пленумах ЦК, на съезде партии, на квартире у Рыкова не бывал. Рыков у Бухарина тоже не бывал. Перед отъездом в Париж Николай Иванович не видел Рыкова. Поездка была организована скоропалительно. Рыков, возможно, и не знал о ней. Но если бы даже Николай Иванович и видел его, Рыков никогда не стал бы передавать приветы Николаевскому, не такие были у них отношения, а Николай Иванович не считал себя вправе сделать это за Рыкова.

Не получив ответа на вопрос о брате, Николаевский спросил:

— Ну, как там жизнь у вас, в Союзе?

— Жизнь прекрасна,— ответил Николай Иванович.

С искренним увлечением рассказывал он в моем

присутствии о Советском Союзе. Его высказывания отличались от выступлений в печати в последнее время лишь тем, что он не вспоминал многократно Сталина, чего он не мог не делать в Советском Союзе. Рассказывал о бурном росте индустрии, о развитии электрификации, делился впечатлениями о Днепрогэсе, куда ездил вместе с Серго Орджоникидзе. Приводил на память цифровые данные, рассказывая о крупнейших металлургических комбинатах, созданных на востоке страны, о стремительном развитии науки.

— Россию теперь не узнать,— сказал в заключение Николай Иванович.

Чувствовалось, что Николаевский ждал другого разговора, и для него увлеченность Николая Ивановича, возможно, была неожиданной.

— А как же коллективизация, как же коллективизация, Николай Иванович? — спросил он.

— Коллективизация уже пройденный этап, тяжелый этап, но пройденный. Разногласия изжиты временем. Бессмысленно спорить о том, из какого материала делать ножки для стола, когда стол уже сделан. У нас пишут, что я выступил против коллективизации, но это прием, которым пользуются только дешевые пропагандисты. Я предлагал иной путь, более сложный, не такой стремительный, который тоже привел бы в конечном итоге к производственной кооперации, путь, не связанный с такими жертвами, обеспечивающий добровольность коллективизации. Но теперь, перед лицом наступающего фашизма, я могу сказать: «Сталин победил». Поезжайте в Советский Союз, Борис Иванович, вы сами, своими глазами посмотрите, какой стала Россия. Хотите я помогу вам организовать такую поездку через Сталина?

— Увольте, увольте,— замахал руками Николаевский.— Я к вам никогда не поеду. У меня лишь маленькая невинная просьба: передайте этот пакет Рыкову,— и он протянул пакет, завернутый в желтую бумагу.

— Рыкову? — удивился Николай Иванович.— А что это такое?

— Не пугайтесь, Николай Иванович, это не конспиративные документы. С Рыковым у нас связи нет никакой, меня он не признает. Это луковицы голландских тюльпанов; ваш бывший председатель Совнаркома боль-

шой любитель цветов, и я решил, несмотря ни на что, послать ему тюльпаны. Впрочем, весьма возможно, что он не посадит «меньшевистские» луковицы,— пошутил Николаевский,— но попробуйте передать, я убежден, что, посаженные руками Алексея Ивановича, они дадут только большевистские всходы.

На этом разговор с Николаевским закончился.

Когда мы остались вдвоем, он высказал уверенность в том, что Николаевский знал об отсутствии в гостинице остальных членов комиссии (звонил им предварительно по телефону) и пришел специально в такое время, чтобы побеседовать наедине. Он, очевидно, предполагал, что Н. И. будет менее связан, станет свободнее излагать свои мысли и ему будет удобней узнать о своем брате.

— И эти тюльпаны...— в недоумении пожимал плечами Николай Иванович.— Все-таки я сболтнул лишнее — о дешевой агитации,— заметил Н. И.

Такой была единственная, насколько мне известно, встреча Бухарина с Николаевским без остальных членов комиссии. До моего приезда в Париж, как рассказывал Н. И., встреч наедине тоже не было. Беседу эту я запомнила хорошо и передала с максимальной точностью. Сам характер беседы в достаточной степени доказывает, что она была единственной.

За несколько дней до моего отъезда из Парижа позвонили из канцелярии президента Франции, а затем из посольства и предупредили, чтобы Бухарин ни в коем случае не выходил из гостиницы, так как поступили сведения, что немецкие фашисты готовят покушение на него. Доклад в Сорбонне был антифашистским. Французское правительство распорядилось охранять гостиницу. Я сама видела, как «Лютеция» была окружена полицейскими. Дня три-четыре Н. И. не выходил в город, но никакая опасность не могла удержать его. Забавно было наблюдать: охрана еще стояла у гостиницы, а охраняемый бегал по Парижу.

Он старался вытащить в город перепуганного Адоратского.

— Владимир Викторович! Пойдем прогуляемся, в случае чего вы прикроете меня своей мощной грудью,— шутил Н. И.

Узнав, что на Бухарина никакие предупреждения не действуют, его обязали переехать в посольство. Там мы

прожили несколько дней, а потом из ЦК поступило распоряжение: членам комиссии немедленно вернуться в Москву. Германия дала Бухарину разрешение только на транзитный проезд, без остановки в Берлине. Это лишило его возможности еще раз посетить магазины Берлина. Он был огорчен, потому что задумал писать книгу о фашизме.

Из Парижа до Берлина нас сопровождали немецкие шпики, ехавшие в соседних купе; в Берлине на вокзале радио передавало: в таком-то поезде и вагоне, проездом из Парижа в Москву, находится бывший руководитель Коминтерна Николай Бухарин, посланный Сталиным во Францию для организации там революции.

В Москву мы прибыли перед Первым мая 1936 года. Н. И. сразу же связался со Сталиным по телефону и сообщил ему, что документы чрезвычайно интересны и представляют большую ценность для Советского Союза; советовал больше не торговаться, а приобрести архив.

— Не волнуйся, Николай, не надо торопиться, они еще уступят,— ответил Сталин.

Итак, архив приобрести не удалось. Однако в командировку Сталин отправлял Н. И. не напрасно: поездка, не сомневаюсь, была организована с провокационной целью и в этом смысле оказалась успешной.

АНТИСЕМИТИЗМ СТАЛИНА

Рассматривая этот сложный вопрос, очень интересным было бы посмотреть на динамику его развития в русской истории. Для начала несколько примеров: декларированных и реально пережитых.

Из работы В. И. Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации»: «Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой... Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации... должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое

возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Спустя несколько десятилетий перо писателя Георгия Демидова рисует нам картину следующего содержания: «Кладбище нашего сельхозлага, хотя оно принимало в себя немало жертв других здешних лагерей, ни по занимаемой им площади, ни по числу погребений не шло ни в какое сравнение с кладбищами при каторжных приисках и рудниках. Там число мертвых почти всегда во много раз превышает число еще живых заключенных.

Здесь же место, отведенное под могилы умерших в заключении, занимало на самом низу склона сопки лишь небольшую площадку. Со стороны моря она была ограничена крутым обрывом к широкой полосе прибрежной гальки. В прилив море заливало эту полосу, в отлив — отступало на добрый километр к горизонту.

В первые месяцы зимы здесь ежегодно идет жестокая война между морозом и морем. В периоды относительного затишья мороз сковывает воду. Приливы и штормы ломают лед, но непрерывно крепчающие холода снова спаивают их в огромные и неровные ледяные поля, которые снова ломают сильнейшие осенние штормы. В конце концов, поле битвы неизменно остается за морозами, а море отступает куда-то за линию горизонта. Но представляет собой это поле спаянный в сплошной массив битый лед, густо ощетинившийся скоплениями торосов.

Надо было точно знать, где находится наше кладбище, чтобы отличить его зимой от всякого другого места на склоне сопки. Ряды низеньких, продолговатых бугров едва угадывались теперь под толстым слоем снега, засыпавшего их выше лагерных «эпитафий», боль их фанерных бирок, величиной с тетрадный лист, укрепленных на каждой могиле на небольшом деревянном колышке. Химическим карандашом на фанерках были выписаны «установочные данные» покойных, тот тюремный полушифр, в котором тут всегда сконцентрирована трагедия целой человеческой жизни.

Однако, сейчас на всем кладбище, да и то лишь частично, виднелась поверх снежных сугробов только одна из этих «эпитафий». Она была установлена на могиле, расположившейся почти на самом краю обрыва.

Ветер с моря сдул вокруг нее снег и обнажил фиолетовые цифры. Они сильно расплылись от осенних дождей, и разобрать можно было только цифры — 58-9 и 15. Этого было, однако, достаточно, чтобы понять, что погребенный здесь человек осужден за контрреволюционную диверсию на пятнадцать лет заключения.

Судя по этим данным и относительной свежести надписи, это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение которого дошло уже до необратимой стадии «Д-3», и он, полежав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него еще говорили, что он «остался должен» прокурору больше двенадцати лет.

Однако вопрос об этом человеке и его «долге» был сейчас праздным. Надо было высмотреть место для могилки. Да вот, хотя бы здесь, рядом с могилой диверсанта, на самом краю каторжной колымской земли. Своего покойника я решил положить головой к морю, хотя это и не по правилам, все покойники здесь лежат в другом направлении. Но гулаговские правила для него ведь и не обязательны. Не нужна над ним и фанерная «эпитафия», повествующая о преступных деяниях покойного, действительных или выдуманных. Никакой, даже самый дотошный прокурор не смог бы сочинить такой «эпитафии» для младенца, вообще не совершившего никаких еще деяний. Формально он не существовал ни одной секунды из тех часов, которые прожил и не имел даже имени.

Жизнь этого противозаконно появившегося на свет новорожденного не была нужна никому, даже его матери. «Оторва!» — махнул рукой по ее адресу Митин. На этот раз он был, скорее всего, прав. Женщины — профессиональные уголовницы — существа обычно совсем опустившиеся. Даже когда их освобождают из лагеря именно потому, что они матери малолетних детей, далеко не все из них забирают из «инкубаторов» своих ребятишек. И уж подавно никогда почти не интересуются ими, не только оставаясь, но и заканчивая свой срок.

Мне случалось видеть этих несчастных, полуголодных, одетых в убогую, пошитую из лагерного утиля одежонку детей, явившихся на свет только благодаря надзирательскому недосмотру. Для начальства они являются всего лишь нахлебниками бюджета, нежелательным, побочным продуктом существования лагеря и до-

садным живым укором этому начальству за его различные упущения.

Однако, у тех из прижитых в заключении детей, которые зарегистрированы как новоявленные граждане Советского государства, всегда числятся формально известными не только их матери, но и отцы. Регистрация новорожденных проводится через спецчасть лагеря, та настойчиво требует от «мамок», чтобы они непременно назвали отца ребенка, пусть только предполагаемого.

Оставлять незаполненной графу об отцовстве лагерного ребенка — значило бы расписаться уже не в одном, а в двух упущениях. Впрочем, особых осложнений тут никогда не возникало. Мужчины-лагерники, которых нередко, совершенно для них неожиданно, производили в отцовское звание, почти никогда против этого не протестовали. Дело в том, что оно решительно ни к чему их не обязывало, ни теперь, ни потом, кроме, правда, трехдневной отсидки в карцере за противоуставную связь с женщиной. Оставить такую связь безнаказанной лагерное начальство прав не имело. А поскольку факт рождения ребенка выдавал виновного в этом проступке с поличным, то счастливый папаша расписывался одновременно на двух бумагах — акте о рождении нового человека и приказе о водворении отца этого человека в лагерный кондей.

За всю историю нашего лагеря всерьез принял свое отцовство только один заключенный. Это был жулик из Одессы, еврей по национальности, по блатному прозвищу, как водится, «Жид». Отсидев после рождения в лагерной больнице своего сына положенные трое суток, отец выпросил его у матери через дневальную барака у мамок-кормилок и демонстративно прошелся с ним по двору лагерной зоны. Встретив начальника лагеря, Жид смиренно снял перед ним картуз и от имени своих родителей пригласил его в гости, в Одессу. Сам он принять дорогого гостя пока не может, но старики-де, уверял бывший фармазон с Пересыпского базара, будут рады приветствовать человека, официальным приказом по лагерю отметившего рождение их внука. Однако начлаг не оценил ни остроумия, ни вежливости Жида, и тот снова отправился ночевать в «хитрый домик», в дальнем углу зоны.

Я расчистил снег на месте будущей ямы и собрал его

в небольшую кучку, несколько поодаль от этой ямы. Снова отвернул простыню от лица своего покойника и положил его на склон снежного холмика таким образом, чтобы видеть ребенка во время работы. Как я и предполагал, промерзший грунт речной долины по крепости мало уступал бетону. Даже незамерзшая смесь каменной гальки и глины — настоящее проклятие для землекопа. Сейчас же лом и кирка то высекали искры из обкатанных камешков кварца, гранита и базальта, то увязали в сцементировавшей их глине.

Ямка была всего по колено, когда я, несмотря на жгучий мороз, снял свой бушлат и продолжал работу в одной телогрейке. Для погребения маленького тельца этой ямки было бы уже достаточно, но я упорно продолжал долбить неподатливый грунт, пока не выдолбил могилку почти в метр глубиной. Затем в одной из ее стенок я сделал углубление наподобие небольшого грота. Покончив с этим, взобрался высоко на склон заснеженной сопки, туда, где должны были находиться заросли, сейчас их правильнее было бы назвать залежами кедра-стланика. Отрыл их, нарубил лопатой хвойных ярко-зеленых веток и спустился с ними вниз. Долго и тщательно выкладывал этими ветками дно и стенки гротика. Затем, в последний раз поглядев на лицо ребенка, закрыл его простыней и положил трупик на ветки. Ветками покрупнее заложил отверстие грота и засыпал яму. Кропотливо и старательно пытался потом придать рассыпающейся кучке мерзлой глины с катышем гладкой гальки вид аккуратной, усеченной пирамиды.

Несмотря на привычку к тяжелой, ломовой работе, я устал. Надел свой бушлат и присел рядом, на могилу диверсанта. Я так долго возился с погребением, что недлинный мартовский день уже приближался к концу. На краю заснеженного обрыва темнел насыпанный мною бурый холмик.

Внизу расстилалось замерзшее море, до самого горизонта покрытое торосами. Так или приблизительно так хоронились и многие благие намерения советской власти.

История больно учит, но люди не часто помнят уроки своей суровой учительницы.

Сегодняшняя политическая жизнь пестрит разного

рода новообразованиями. Но насколько же они новы? Вот разрешение нашего вопроса. Ответ найден. В настоящее время патриот-народник есть черносотенец. Русский патриотизм и есть черносотенство... Черносотенец и есть земляк всей черной сырой родной русской земли-матери...

Странная судьба на Руси иноязычным словам: они по мере обрусения пошлеют, приобретают пренебрежительное, иногда явно хульное значение. Таковы: «шеромыга» — от французских слов шер'ами (дорогой друг), «интеллигент» — слово, которое стало просто ругательное. Наоборот, клички, даваемые врагами русского направления коренному русскому развитию, становятся достойными всехвальными обозначениями исторического народно-русского просвещения... Таковыми, по-видимому, становятся слова черносотенец, черносотенство, которые нынче вполне заменяют иноязычные слова «патриот, патриотизм».

В исследовании Рэма Петрова и Андрея Черного хронология событий такова.

Весной 1917 года бывший министр юстиции царской России И. Г. Щегловитов, приглашенный в Чрезвычайную следственную комиссию Временного правительства по расследованию деятельности царской администрации (не путать с ВЧК), так объяснил причину появления черносотенных организаций в России: «...Они могут служить опорой».

Опорой кому или чему?

И почему именно они?

С классовых позиций ответить на этот вопрос трудно — черная сотня вербовала своих сторонников в самых различных слоях российского общества — от рабочих до аристократии. Объединяла черносотенцев общая программа: великодержавный шовинизм, поддержка жесткого автократического порядка (неограниченного самодержавия) и яростная, по принципу «цель оправдывает средства», борьба с любыми формами демократического движения в России.

Крестным отцом российского черносотенства можно с уверенностью считать шефа службы политического сыска, директора Департамента полиции, министра

внутренних дел России В. К. Плеве. Именно он в начале века приступил к созданию организационных структур черной сотни, подбирая для них кадры, которые впоследствии граф С. Ю. Витте возмущенно называл «подонками общества».

В октябре 1905 года детище главы тайной полиции обретает официальный статус — организован «Союз русского народа». СРН — наиболее могущественная организация, которая в дальнейшем, благодаря поддержке властей, поглотила все мелкие разновидности черносотенных союзов.

В 1908 году из СРН выделился «Союз Михаила Архангела», принципы и нравы которого практически неотличимы от царивших в СРН.

СРН создает на территории страны более девятисот своих отделений. Управляется он Главным Советом, председателем которого стал Александр Дубровин — человек, считавший себя наиглавнейшим представителем интересов русского патриотического движения.

Первый пункт устава СРН так определял основную задачу Союза: «Союз русского народа постановляет себе неуклонною целью развитие национального русского самосознания и прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы на пользу дорогого нашего Отечества — России единой и неделимой».

К 1905 году кризис имперского самодержавия становится очевиден, в обществе нарастает социальное напряжение. Однако необходимость демократических реформ отрицается черносотенцами. Их точка зрения видна из комментариев к разделам уголовной хроники, публикуемых органом СРН — газетой «Русское Знамя»: «Итого, во славу грабительского кадетского, социал-демократического, социал-революционного и анархистского движения, называемого на еврейском жаргоне «освободительным», за один день убито 2, ранено 7, всего 9 человек».

По принципу «кто не с нами, тот против нас» в одну кучу валятся все оппоненты — и умеренные либералы, и террористические организации эсеров, хотя в сводке идет речь об обычной уголовщине, лишенной политической окраски.

Заслуживает внимания воззвание Ярославского от-

дела «Союза русского народа», отпечатанное в 1906 году. «Нестерпимо тяжело стало нам жить. Где покой? Где бывалая радость? Все ходят понурые, унылые, все ждут новых бед и ужасов, и не видно конца им. Кого мы видим и слышим? О чем читаем ежедневно в газетах? Только и есть: беспорядки, забастовки, грабежи, поджоги, убийства, открытое неповиновение властям, возмущения и мятежи; учащиеся не хотят учиться, рабочие — работать; предъявляют свои требования, указывают на свои права и не хотят ничего слышать об обязанностях...»

Что в связи с этим предполагается предпринимать? Естественно, железная рука, неограниченная власть самодержца, укорот инородцам («Россия прежде всего для русских!»). И финал: «Соединимся же, люди русские, все без различия сословий в прочный неразрывный Союз за Веру, Царя и Отечество! Но будем твердо помнить, что наш Союз есть Союз мира и любви».

К моменту выхода такого рода воззваний демократическая общественность уже сполна смогла оценить «миролюбие» черной сотни. Проба сил созданных Департаментом полиции формирований впервые состоялась в 1902 году в Саратове. От саратовской охранки Плеве получил сведения следующего содержания: объединенный комитет эсеров и социал-демократов готовит в городе мирную первомайскую демонстрацию. Принимать участие в ней будет в основном интеллигенция, так что оказать серьезного сопротивления демонстранты, видимо, не смогут. По замыслу полиции, на пути демонстрантов должна была появиться другая демонстрация, состоящая из «русских патриотов». Согласно сценарию, «народ» из этой толпы, оскорбленный в своих лучших чувствах к царю и устоям, должен был потребовать у «оскорбителей святыни» немедленного прекращения демонстрации. В случае невыполнения «требований патриотов» последние силой попытаются прекратить демонстрацию, а полиция затем арестует демократов как зачинщиков драки.

Однако механизм использования сформированного охранкой сброда всех неожиданностей предусмотреть не смог. Набранные впопыхах лабазники, дворники, извозчики, не особо склонные к подчинению полиции и не знавшие иных, кроме мордобоя, способов воздействия не стали утруждать себя словесными проявлениями верно-

подданнических чувств, а попросту налетели на демонстрантов с кольями и камнями. Началась свалка.

Впоследствии состоялся суд над несколькими участниками демонстрации из демократического лагеря, а побоище было представлено как сопротивление властям при исполнении служебного долга. Суд, однако, закончился с непредвиденным для полиции результатом — вины в действиях подсудимых усмотрено не было. Дело в том, что к тому времени Плеве еще не включил в структуру созданных им отношений между полицией и черной сотней Министерство юстиции. Впрочем, эту оплошность Плеве быстро исправил — он стал лично следить за подбором судей и прокуроров, занятых в подобных процессах.

Более тщательно был организован кишиневский погром 1903 года. Здесь черносотенцы работали уже с начала и до конца под непосредственным контролем и охраной полиции. И все же, если в саратовском погроме Плеве недоучел принципиальность суда, то в кишиневском — возможности независимой адвокатуры. Сразу же после погрома в Кишинев прибыл присяжный поверенный Н. Д. Соколов, взявший на себя защиту интересов пострадавших. Он провел самостоятельное расследование, опросил десятки свидетелей и собранный материал обнародовал в суде. Вывод Соколова: прямой виновник десятков убийств и сотен грабежей — министр внутренних дел России.

Материалы расследования были вскоре опубликованы в США и Европе. После этого случая черносотенцы получают дополнительную работу: «зарвавшиеся» адвокаты подвергались шантажу и избиениям, а их дома — погромам. В худшем случае адвокатов попросту убивали.

Иногда давала сбой и сама система взаимодействия черносотенцев и полиции. В ходе гомельского погрома в 1903 году полицмейстер Раевский оказался единственным стражем общественного порядка, пытавшимся прекратить погром, о чем он красочно рассказал в суде.

Созданный в 1905 году «Союз русского народа» воспринял заложенные Плеве погромные традиции. Объектом избиений по-прежнему являлись инородцы и демократическая интеллигенция. В 1905 году из типографии петербургского градоначальства вышла, например,

прокламация «Союза русского народа» следующего содержания:

«Крестьяне, мещане и люди рабочие! Послушайте, что умышляет господчина. В городских думах и земствах сидят господа, а в больших городах адвокаты, профессора, студенты, учителя, погорелые помещики, одворянившиеся купцы и прочие господа, называющие себя интеллигенцией...

Не признавайте ее властью и правительством, разнесите в клочья, помните, что в государстве вы сила, вас сто миллионов, а интеллигенции и пяти не будет. Довольно терпеть эту интеллигентную шваль. Соединимся в кружки, составим списки всех крамольников и бунтовщиков в городах и селах и будем бить их, кому как и чем удобнее, ночью, из-за угла, через окна».

«Как только явятся к вам эти христопродавцы, истерзайте вы их и избейте» — взывала листовка черносотенцев, отпечатанная на этот раз непосредственно в Департаменте полиции.

Христопродавцами были все, кто в любой форме высказывал «крамолу».

Практиковался и индивидуальный террор. В 1906 году были совершены два убийства депутатов Государственной думы — члены партии трудовиков Караваева и представителя кадетской партии профессора Герценштейна. В ходе независимого депутатского расследования выяснилось, что на организацию первого убийства председатель СНР Дубровин получил крупную сумму из казенных средств, нашел исполнителей, а начальник отдела екатеринославской охранки проинструктировал убийц и лично прикрывал их во время «операции».

Что же касается убийства М. Я. Герценштейна, то в ЦГАОР СССР в личном фонде А. И. Дубровина до сих пор хранится документ следующего содержания: 13 июня 1906 года днем на квартире Дубровина происходило тайное заседание, на котором присутствовали: Аполлон Майков (к поэзии никакого отношения не имел.— Авт.), Виктор Соколов, Николай Юскевич-Красковский, Александр Половнев. На этом совещании было решено убить Герценштейна, мысль эту подал Юскевич-Красковский, начальник боевой дружины Союза (РН.— Авт.), а одобрил эту мысль сам Дубровин, прочие же члены единогласно согласились.

Тут же, на этом совещании, Половнев принял на себя исполнить это дело, сотрудников же ему указал Юскевич...»

Патронируемый Департаментом полиции, пользующийся поддержкой самых реакционных кругов царского правительства, «Союз русского народа» с 1905 года и до Февральской революции находился в условиях наибольшего благоприятствования. В архивах Министерства юстиции России сохранились любопытные материалы — ежегодные журналы, где тщательно фиксировались все издания, когда-либо привлекавшиеся к дознанию за опубликование противоправительственных статей. С 1905 года и по февраль 1917-го, то есть вплоть до роспуска СРН, в них ни разу не упоминались издания черносотенцев.

СРН свободно устраивал лекции, молебны и манифестации, оканчивающиеся, как правило, призывами к погромам и убийствам, причем помещения для его съездов и собраний, площади для митингов находились всегда: власти отказывали обществам инвалидов, ученых, врачей, но «Союзу русского народа» — никогда.

Все участники киевского погрома 1905 года были помилованы царским указом. (Примечательный штрих: по какой-то канцелярской ошибке в список помилованных не была внесена фамилия одного из погромщиков — некоего Андрея Щеголенко. Ради него было составлено дополнительное ходатайство, в котором есть такие строчки: «Андрей Щеголенко — человек, безусловно, честный, судившийся только по делу о еврейском погроме в г. Киеве»).

Задача черносотенцев состояла не только в организации репрессивных акций. Пункт пятый Устава СРН гласил, что «о всех случаях притеснения союзников, кем бы то ни было, а также об оскорблениях Веры Православной, Царя Самодержавного, или Русской Народности, а равно о грозящей им опасности, следует сообщать Совету».

Доносительство в среде черной сотни считалось безусловной гражданской добродетелью. Доносить, как следует из Устава, можно было на кого угодно, и нередко бдительные «патриоты» сообщали о том, что даже П. А. Столыпин был замечен в порочащих связях.

Вот некоторые образцы стилистики и интеллектуаль-

ного уровня доносчиков. Сообщение из Тулы: «Возле врача Гиндина группируются революционеры, власти, дворяне, политики и прочая революционная сволочь...» (очень трогает зачисление в разряд «революционной сволочи» дворян и властей).

Вот донос в жанре абсурда: «Считаю нужным сообщить, что я узнал из достоверных источников, что наш Сахалинский граф С. Ю. Витте страдает прогрессивным параличом мозга. Думаю, что мое сообщение Вам нелишне».

Естественно, погромная деятельность лидерами СРН отрицалась. Погромы представлялись как святая месть русского народа за происки инородцев, а ответственность за убийства возлагалась на сионистские или крайне левые группировки, причем прекрасную услугу черносотенной пропаганде оказывали террористические акты и «экспроприации», организуемые эсерами и большевиками.

Официальная же идейная платформа черносотенцев находила отражение на страницах их газет, в первую очередь все того же «Русского Знамени», редактором которого был сам А. И. Дубровин.

Истоком всех российских бед, по мнению СРН, была деятельность Петра Первого, завезенная им иностранная зараза: «Через прорубленное окно в Европу повеял с Запада сквозной ветер старейшего европейского отрицания, язычества и рассудочности... Нет или не должно быть народности, единокровцев и единоверцев, своеплеменности... — а есть космополитизм (безнародность), и миллионы листков и тысячеустная пропаганда европействующих и еврействующих темнят и туманят русское народное сознание...

Кругом ныне не все в твоем доме стали тебе братьями, сыновьями, отцами и дедами: тебя надувает иновер, давит инородец, обижает иностранец. Настало время защищаться у себя дома. Настало время отличать своих от чужих у себя же дома...» Иначе говоря — покончить с «паутиной, в которой задыхаются, выбиваясь из сил, монархи и народы, империи, республики — жизненные соки коих высасывают безжалостные и жадные пауки: жидомасоны».

Тревогу черносотенцев вызывало развитие промышленности и торговли, становление широких рыночных отношений: ежедневник «За Царя и Родину» ярко рисует, что можно ожидать от лжерусской «буржуазии»: «Буржуазия, которой у нас прежде не замечалось, теперь народилась и угрожает государственной власти, трудовому мелкому, честному мещанскому сословию и крестьянству.

Конечно, этим пользуются масоны и евреи, дабы канализировать для своих целей русскую буржуазию — буржуазию самую, быть может, наглую и низкую из всех буржуазий...

Наша доморощенная буржуазия... не национальна, и родилась-то она у нас с испорченной сердцевиною. Русская буржуазия, не имея свежести самобытной, заразилась гнилью Запада...

Наша буржуазия всегда останется такою же чуждою народу, какою является она и в настоящее время» («Русское Знамя», 1907 г.).

Суть политических деклараций черносотенцев лучше всего выражена в секретном письме на имя Николая II от председателя одесского отделения СРН: «...Светлое будущее России не в грязи европейского парламентаризма, а в русском самодержавии, опирающемся на народные массы и на совет выборных деловых людей, а не интриганов.

Одновременно с закрытием союзов, роспуском Думы и обузданием печати необходимо приступить к исправлению новых основных законов», дабы Россия сбросила бы «величайшего хама в образе Государственной Думы и левой печати».

Характер политической аргументации черносотенцев, так же как и их историко-теоретических изысканий, вполне соответствовал общему культурному уровню представителей СРН. Это, естественно, определяло и нравы, царившие в «Союзе русского народа».

Вот свидетельство чем-то обиженного члена Совета армавирского отдела: «А собрания этого отдела, на что они были похожи? Начинались чин-чином, с молитвы; председатель садился за стол, покрытый зеленым сукном. Потом страсти разгорались, стояла трехэтажная русская брань, и нередко заседания кончались свалкой».

Товарищ председателя кишиневского отдела СРН Ф. Воловей одно время метил на место председателя П. Крушевана, и так позднее характеризовал предвыборные события: «Собрал я в середине апреля общее собрание, а в эту же ночь ворвались ко мне два крушеванских молодца и один... приставив револьвер к лицу, зарычал — «откажись от председательства» — или убью».

Архивы сохранили плоды поэтических усилий председателя «Союза русского народа» Дубровина. Вот отрывок из написанной им молитвы Св. Георгию:

«Мы молим тебя на коленях,
рыдая:
Явись, благодатный герой,
с небеси,
Подай свою помощь Царю Николаю
И с ним усмири «всяк язык»
на Руси».

Интеллект был не в чести у «патриотов», и это неудивительно — главная ставка всегда делалась на примитивное разжигание межнациональной розни.

СРН был активен только в районах с многонациональным составом населения. В губерниях Центрального Черноземья лишь менее одной десятой процента населения входили в структуры СРН — там не было инородцев и, следовательно, объекта для травли. Нечего было делать черносотенцам в Финляндии, Средней Азии, Прибалтике и Закавказье — там шовинистическая великорусская пропаганда была заведомо обречена на неуспех. Наиболее активно действовал СРН в регионах со смешанным населением — на Украине, в Белоруссии, а в 15 губерниях «черты еврейской оседлости» было сосредоточено более половины всех членов СРН.

Тут ходили речения такого типа: «...Русский народ, развесив уши, слушает еврейских ораторов и раскрывает им широко свои объятия. Русская интеллигенция, ставящая себя руководителем народа русского, в особенности молодежь учащаяся, которая не имеет ничего общего с горьким фабричным тружеником и деревенским пахарем, но подпавшая под еврейское воздействие, вовлекли и молодежь из народа в среду смутьян-анархистов...»

Февральская революция поставила точку в истории «Союза русского народа». Роспуск СРН прошел безболезненно — попросту было прекращено «спонсорство» Министерства внутренних дел и оказались смещенными с должностей его покровители. Осколки СРН в виде групп фанатиков и уголовных банд к серьезной политике отношения уже не имели.

Либерализм в блоке с социал-демократией одержал убедительную победу над альянсом реакционных монархистов и черносотенцев. Однако этот блок, считавший необходимой борьбу с идеологией национальной розни, был вскоре сметен апологетами розни классовой; но это уже другая история...

Вопросу — Сталин и антисемитизм — особое внимание придает в своих воспоминаниях Н. С. Хрущев, затрагивая факты этого явления еще в дореволюционной России. Особо наглядно это проявилось в реакции Сталина на замужество дочери Светланы.

Я не знал этого человека. Морозов, по-моему, фамилия его. Фамилия у него русская, а сам он еврей. Они жили какое-то время, и Сталин его терпел, но я никогда не видел, чтобы этот Морозов был приглашен Сталиным.

Когда родился первый сын, то, я думаю, Сталин его никогда и не видел. Это тоже откладывало свой отпечаток на душу Светланки. Потом вдруг этот приступ антисемитизма у Сталина после войны. Она развелась с Морозовым. Он умный человек. Мне говорили, что он сейчас хороший экономист, имеет ученую степень доктора экономических наук. Одним словом, он хороший советский человек.

В тот период, когда Сталин потребовал от Светланки, чтобы она развелась со своим мужем, он, видимо, сказал то же и Маленкову. Потому что дочка Маленкова, очень хорошая девочка Воля, еще раньше вышла замуж за сына друга Маленкова — Шамберга. Он очень хороший партийный работник, и я очень высоко ценил этого человека. У Маленкова он работал много лет в его аппарате, и все резолюции, которые поручались Ма-

ленкову, прежде всего готовились Шамбергом. Это был грамотный и порядочный человек. Я много раз встречался с Шамбергом у Маленкова. Он мне очень понравился — молодой человек, способный, образованный. Он тоже был экономистом. Вдруг мне сказала жена Маленкова, Валерия Алексеевна, к которой я относился с большим уважением,— умная женщина — что Воля разошлась с Шамбергом и вышла за другого — за архитектора.

Я не буду сравнивать, кто из них хуже или лучше,— это ее дело. Жена определяет, какой муж у нее лучше, первый или второй. Я считаю, что и второй был тоже хороший парень. Он был моложе ее на несколько лет, но бросить сына друга — непонятно, и мне это не понравилось.

Маленков не был антисемитом, и Маленков мне не говорил, что Сталин ему что-то сказал. Но я убежден, что если Сталин ему прямо не сказал, то, когда он услышал, что Сталин потребовал, чтобы Светланка развелась со своим мужем, потому что он еврей, безусловно, Маленков догадался сам и сделал то же самое со своей дочерью. Сталин, кажется, знал, что дочь Маленкова вышла замуж за еврея.

Это тоже проявление такого низкопробного позорного антисемитизма: если Сталин так сделал, то он тоже это сделает.

Я считал, что Маленков нормальный, здоровый человек и не болел этой позорной болезнью.

Вообще, большим недостатком, который я видел у Сталина, было неприязненное отношение к еврейской нации. Он вождь, он теоретик, и поэтому в своих трудах и в своих выступлениях он не давал и намека на это. Боже упаси, если бы кто-то сослался на его разговоры, на его высказывания, от которых явно несло антисемитизмом.

Когда приходилось ему говорить о еврее, он всегда разговаривал от имени еврея со знакомым мне утрированным произношением. Так говорили несознательные, отсталые люди, которые с презрением относились к евреям, коверкали язык, выпячивали еврейские отрицательные черты. Сталин это тоже очень любил, и у него выходило неплохо.

Я помню, были какие-то шероховатости, я бы не

хотел сказать, волнения, среди молодежи на тридцатом авиационном заводе. Доложили об этом Сталину, и по партийной линии, и госбезопасность докладывала. Когда сидели у Сталина, обменивались мнениями, Сталин ко мне обратился, как к секретарю Московского городского комитета: «Надо организовать здоровых рабочих, пусть они возьмут дубинки, и, когда кончится рабочий день, этих евреев побьют».

Когда он говорил, я был не один, там были Молотов, Берия, Маленков. Кагановича не было. При Кагановиче он антисемитских высказываний никогда не допускал.

Я послушал его и думаю: «Что он говорит? Что такое? Как это можно?»

В детстве в Донбассе я видел еврейский погром. Я сам наблюдал это. Помню, я шел из школы — я ходил в школу с рудника, где отец работал, версты за четыре,— был солнечный, хороший осенний день. Бывает в Донбассе такое бабье лето, когда, как снег, летит белая паутина. Красиво бывает в это время в Донбассе.

Нам повстречался извозчик на дрогах. Он остановился и заплакал: «Деточки, что делается в Юзовке!» Мы не знали, кто он такой, почему он нам, детям, стал говорить, что там погром. Мы сейчас же ускорили шаг. Как только я пришел домой, бросил свою сумку с тетрадками и побежал в Юзовку. Когда я прибежал, то увидел очень много народу на железнодорожных путях. Там были большие склады железной руды. Ее, видимо, в запас привезли из Криворожья и свалили. На зиму готовили, чтобы не было перебоев в работе домен. Получилась такая естественная преграда. Через нее тропы прокладывали, карабкались шахтеры, когда в Юзовку ходили на базар.

Толпа стояла на этой горе. Смотрю, казаки уже прибыли. Заиграл рожок. Я никогда не видел войск, в Юзовке войска не стояли, и было это для меня в новинку. Когда заиграл рожок, бывалые солдаты из рабочих говорили, что это сигнал приготовиться к стрельбе и что сейчас будет залп. Народ хлынул на южную сторону склона. Солдаты не пропускали в город рабочих. Раздался винтовочный залп. Кто кричал, что стреляют вверх, кто, что стреляют холостыми, а для острастки один-два солдата стреляют пулями. Одним словом, сочиняли кто что мог. Потом пауза, и народ опять двинулся

на солдат. Поздно вечером люди разошлись.

Я слышал разговоры рабочих с нашей шахты, которые бегали в Юзовку. Они рассказывали, как там грабили, и сами приносили трофеи этого грабежа. Кто сапоги принес, да не пару сапог, а десяток. Некоторые хвастались, что они несли несколько пар сапог, а какой-то извозчик попросил дать ему пару. Они их бросили ему, а сами пошли еще брать.

Кто рассказывал, как шли евреи, или, как тогда их называли, жиды, со своими знаменами и несли «жидовского царя». Когда их встретили русские с дубинками, то «царь жидовский» спрятался в кожевенном заводе. Зажгли этот завод. Завод действительно, я видел, сгорел, в нем сгорел их «царь».

Такое примитивное понимание рабочих было использовано черносотенцами и полицией, которые натравливали рабочих на евреев.

На второй день прямо из школы я побежал в Юзовку: интересно было посмотреть, что там делается. Никто не задерживал, народ валил по всем улицам местечка Юзовка. Грабили. Я видел разбитые часовые магазины, много пуха, перьев летало по улицам. Это грабили еврейские жилища и перины распарывали, и пух выбрасывали. Я видел такую картину: шла какая-то старушка и тащила старую железную кровать. Этой же улицей шли солдаты. Один солдат выскочил: «Бабушка, я тебе помогу». Он взял кровать и на каком-то расстоянии помог ей нести.

Тогда прошел слух, что был приказ: три дня можно делать с евреями что угодно. Действительно, три дня этому грабежу никакого сопротивления не делалось. Я услышал, что много побитых евреев лежит в заводской больнице, и решил со своим дружком, мальчишкой, пойти туда. Пришли и увидели ужасную картину. Там лежало много трупов. В несколько рядов лежали побитые люди — это все были убитые евреи. Через три дня полиция начала наводить порядок, и погром был прекращен.

Преследования грабителей не было. Власти сдержали слово: в местечке Юзовка три дня полной безнаказанности было предоставлено этим громилам-черносотенцам, и никаких последствий эти грабежи и убийства не имели. Потом рабочие опомнились, поняли, что это

была провокация. Они разобрались, что евреи не враги рабочих, а среди евреев много вожаков рабочих забастовок. Главные ораторы были из еврейской среды, и их охотно слушали рабочие на митингах.

Уже поздней осенью я уехал в деревню. Уезжал брат отца Мартын, который работал в шахте, и мать с отцом меня почему-то отправили с ним. Они тяготели к земле. У отца и особенно у матери была мечта вернуться в деревню, заиметь свою хатку, заиметь лошадь, свою полоску — стать хозяином. Поэтому я жил то на руднике у отца, то у дедушки в Курской губернии. И вот я уехал в деревню, когда в Донбассе начались забастовки. Там развевались красные флаги и проводились большие митинги. Когда я приехал из деревни, мне рассказывали о событиях, называли фамилии активистов. В абсолютном большинстве это были еврейские фамилии. Об этих ораторах говорили очень хорошо, о них тепло отзывались рабочие.

Таким образом, уже тогда, после того как одурачены были рабочие и часть рабочих участвовала в погромах, они потом стыдились того, что произошло. Они стыдились, что допустили это, что не приняли надлежащих мер и не противостояли черносотенцам и переодетой полиции, которая организовала этот погром. Это было позором.

Когда Сталин сказал — палками вооружить рабочих и бить евреев, мы вышли, Берия так иронически говорит: «Что, получил указания?»

«Да,— говорю,— получил. Мой отец был неграмотный, но он не участвовал в погромах, что считалось позором. А теперь мне, секретарю Центрального Комитета, дается такая директива».

Я знал, что хотя Сталин и дал прямое указание, но если бы что-либо такое было сделано и стало бы достоянием общественности, то была бы назначена, безусловно, комиссия и виновные были бы жестоко наказаны. Сталин не остановился бы ни перед чем, задушил бы любого, чьи действия могли скомпрометировать его имя, а особенно в таком уязвимом и позорном деле, как антисемитизм.

Много было таких разговоров, и мы уже все к ним привыкли. Слушали, но не запоминали, ничего не делали в этой области.

Помню, однажды к Сталину приехал Мельников, избранный после меня секретарем ЦК Компартии Украины, и Коротченко с ним был. Сталин пригласил их к себе на ближнюю дачу. Он их усиленно спаивал и достиг цели. Эти люди первый раз были у Сталина. Мы-то знали Сталина. Он всегда спаивал свежих людей. Они охотно пьют, потому что считают за честь, что Сталин их угощает. Но здесь главное было не в проявлении гостеприимства, а Сталину интересно было споить их до такого состояния, чтобы у них развязались языки и они болтали бы то, что, может быть, в трезвом виде, подумав, не сказали бы. Он развязал им языки, и они начали болтать.

Я сидел и нервничал: во-первых, я отвечал за Мельникова, я его выдвигал, а уж о Коротченко нечего было и говорить. Я его знал как честного человека, но очень ограниченного. Сталин его тоже знал, но за столом у Сталина Коротченко был в первый раз.

В это время Сталин не обходился без антисемитизма, и он начал высказываться. Он попал на подготовленную почву внутреннего содержания Мельникова. Они с Коротченко пораскрыли рты и слушали. Кончился обед, мы разъехались. Затем они уехали на Украину.

Надо сказать, что, когда я перешел работать в Москву, было решение Президиума ЦК, что я должен наблюдать за деятельностью Центрального Комитета Компартии Украины. Поэтому мне присылали все украинские газеты. Я сам просматривал центральные газеты, а мои помощники следили и докладывали мне, если что заслуживало внимания в других изданиях.

Вскоре после этого обеда мой помощник Шуйский приносит мне украинскую газету и показывает передовую статью. В ней критиковались недостатки и назывались конкретные люди — что-то около 16 человек. 16 фамилий критиковались в этой передовой статье, и все эти фамилии были еврейскими. Я прочел и возмутился: как можно допустить такую вещь! Я сразу понял, откуда ветер дует. Эти люди поняли как указание критику, которую Сталин проводил в адрес еврейской нации, и начали конкретные действия. Начали искать конкретных носителей этих недостатков и для этого использовали газету. Ведь если вести борьбу, то вести широким фронтом, мобилизовать партию.

Я позвонил Мельникову и говорю: «Прочел вашу передовую. Как вам не стыдно? Как вы посмели выпустить газету с таким содержанием? Ведь это же призыв к антисемитизму! Зачем вы это делаете? Вы же неправильно поняли Сталина. Имейте в виду, что, если Сталин прочтет эту передовую, я не знаю, как она обернется против вас, как секретаря Центрального Комитета.

Центральный Комитет КП(б)У, его центральный орган проповедует антисемитизм. Как вы не понимаете, что это материал для наших врагов? Враги используют это позорное явление: Украина поднимает знамя борьбы с евреями, знамя антисемитизма».

Он начал оправдываться. Потом разревелся.

Я говорю: «Если так и дальше будет продолжаться, я сам доложу Сталину. Вы неправильно поняли Сталина, когда были у него на обеде».

Я, конечно, тоже рисковал, потому что я не был гарантирован, что телефонные разговоры не подслушиваются. Потом, я не был уверен, что Мельников сам не напишет Сталину, мол, Хрущев дает указания, противоречащие тем, которые он получил от него, когда был у Сталина на ближней даче. Сталин, видимо, мне бы этого не спустил.

После этого Нина Петровна получила письмо из Киева, и мне рассказала такую историю. В Киеве есть детская клиника для детей, больных костным туберкулезом. Возглавляла эту клинику профессор Фрумина. Она часто бывала у нас на квартире, когда мой сын Сережа болел туберкулезом. Она очень много приложила усилий и вылечила его. Сейчас у Сергея никаких признаков болезни нет, он полностью выздоровел. Приписывали это главным образом Фруминой.

Был тогда еще специалист по костному туберкулезу, академик в Ленинграде, мы попросили его совета в лечении. Он тогда сказал Нине Петровне: «Что вы ко мне обращаетесь? У вас есть Фрумина в Киеве. Уж лучше ее это дело никто не знает».

В письме Фрумина писала, что ее уволили с формулировкой о несоответствии занимаемой должности.

Я возмутился и позвонил опять Мельникову. Говорю: «Как вы это могли допустить? Как это можно? Уволить заслуженного человека, да еще с такой формулировкой?! Сказать, что она не соответствует по квалифика-

ции. Вот такой-то академик (я забыл его фамилию) говорит, что лучше ее никто не знает костного туберкулеза. Кто же мог дать другую оценку и написать, что она не соответствует занимаемому положению»?

Он начал оправдываться. Всегда в таких случаях найдутся люди, которые подтвердят, что все правильно.

Я говорю: «Вы просто позорите звание коммуниста». Я не знаю, чем это кончилось, кажется, ее восстановили в должности. Но это был позорный факт.

Потом мы несколько сдержали антисемитизм, но только сдержали, так как, к сожалению, элементы антисемитизма остались.

Сейчас я, как затворник, живу за городом. Общения с людьми у меня почти нет. Общаюсь с теми, которые или меня охраняют, или от меня охраняют. Это мне трудно сейчас определить. Скорее всего от меня охраняют. Они неплохие ребята. Разговариваю я с ними, у них часто проскальзывает этот позорный факт. Видимо, не дается должного разъяснения, а тем более отпора этому позорному явлению.

Почему так происходит? Во-первых, антисемитизм у нас в старое время был на очень высоком уровне. Сколько было погромов! Старое поколение знает Пуришкевича, который держал первенство как черносотенец в Государственной думе.

Сталин тоже разводил эту антисемитскую «бактерию» и не подавал примера, чтобы в корне ее ликвидировать. Сталин, безусловно, сам внутренне был подвержен этому позорному недостатку, который носит название антисемитизма.

А жестокая расправа с заслуженными людьми, которые подняли вопрос о создании еврейского государства на крымских землях? Это неправильное было предложение, но так жестоко расправиться с ними, как расправился Сталин!.. Он мог просто отказать им, разъяснить людям, и этого было бы достаточно. Нет, он физически уничтожил тех, кто активно поддерживал этот документ. Только Жемчужина каким-то чудом выжила и отделалась долголетней высылкой.

Безусловно, такая акция возможна была только в результате внутренней деятельности «бациллы» антисемитизма, которая жила в мозгу Сталина.

И вот произошла расправа с Михоэлсом, величай-

шим артистом еврейского театра, человеком большой культуры. Убить его зверски, тайно убить, а потом наградить его убийц и с честью похоронить жертву — это уму непостижимо! Изобразили, что он попал под автомашину и его грузовой машиной убило, а он был подброшен под грузовую машину. Это было артистически разыграно. А кто это сделал? Это Сталин сделал, это по его поручению было сделано...

Так же хотели организовать убийство Литвинова. Когда подняли документы после смерти Сталина, допросили работников МГБ (где-то в архивах должны быть документы), то выяснилось, что Литвинова должны были убить по дороге из Москвы на дачу. Там есть такая извилина на подъезде к его даче, и в этом месте хотели совершить покушение. Я знаю хорошо это место, потому что позже я какое-то время жил на этой даче.

К убийству Литвинова двоякое побуждение было. Во-первых, Сталин считал его нечестным человеком, агентом. Он всегда все свои жертвы называл «агентами», «изменниками Родины», «предателями» и «врагами народа». Во-вторых, видимо, принадлежность Литвинова к еврейской нации тоже побуждала его к этому. Следовательно, если говорить об антисемитизме, Сталин боролся с ним, как секретарь ЦК, как вождь партии и народа, а внутренне и в узком кругу подстрекал к нему.

В этих вопросах он был не безупречен. Еще эпизод. В каком-то году, я сейчас точно не помню, был создан комитет — «Совинформбюро». Он создавался для сбора материалов, конечно, положительных, о нашей стране, о действиях нашей Советской Армии против общего врага — гитлеровской Германии — и распространения этих материалов в западной прессе, главным образом в Америке. Так как в Америке очень влиятельны круги еврейской национальности, поэтому и у нас этот комитет состоял главным образом из евреев, занимавших высокое положение в нашей Советской стране. Возглавлял этот комитет бывший председатель Профинтерна Лозовский. В этот комитет вступил генерал Крейзер — ему, конечно, рекомендовали, чтобы он вступил. В этом комитете состоял и Михоэлс — крупнейший актер еврейского театра. В этот комитет, по-моему, входила и жена Молотова — товарищ Жемчужина.

Лозовский не раз ко мне обращался, когда я при-

езжал в Москву, а другой раз и по телефону звонил с просьбой, чтобы дали пропагандистам материалы о зверствах гитлеровских фашистов на Украине. Я поручал, их готовили за подписью определенных авторов, материалы эти посылались в Америку, где они широко использовались для пропаганды успехов Красной Армии и описания зверств, которые творили немцы на Украине.

Деятельность его была положительной. Лозовский человек был очень активный и, бывало, настойчивый до назойливости, буквально вымогал: «Давайте материалы, давайте материалы».

Мы были заняты восстановлением хозяйства, и было нам не до этих дел. Он написал: «Вы поймите, насколько важно для нас показать лицо нашего общего врага, его зверства, показать процесс восстановления наших городов и сел».

Я думаю, что эта организация была создана по предложению Молотова или, может быть, сам Сталин предложил ее организовать. Она очень активно занималась вопросами пропаганды, и ее деятельность в интересах нашего государства, в интересах нашей политики, интересах Коммунистической партии считалась очень полезной и необходимой.

Когда освободили Украину, в этом комитете составили документ (я не знаю, кто был инициатором, но, безусловно, инициаторы были в этой группе), в котором предлагалось Крым, после выселения оттуда крымских татар, сделать Еврейской советской республикой в составе Советского Союза. Обратились они с этим предложением к Сталину. Вот тогда и загорелся сыр-бор. Сталин расценил, что это акция американских сионистов, что этот комитет и его глава — агенты американского сионизма и что они хотят создать еврейское государство в Крыму, чтобы отторгнуть Крым от Советского Союза и, таким образом, утвердить агентуру американского империализма на европейском континенте, в Крыму, и оттуда угрожать Советскому Союзу.

Как говорится, дан был простор воображению в этом направлении. Я помню, мне по этому вопросу звонил Молотов, со мной советовался. Молотов, видимо, в это дело был втянут главным образом через Жемчужину — его жену.

Наиболее активную роль в этом комитете играли его

председатель Лозовский и Михоэлс. Сталин буквально взбесился. Через какое-то время начались аресты. Был арестован Лозовский, а через какое-то время и Жемчужина. Был дискредитирован Молотов. Все материалы рассылались среди членов ЦК, и там все было использовано, чтобы дискредитировать Жемчужину и тем самым уколоть мужское самолюбие Молотова.

Я помню такой грязный документ, где говорилось, что, мол, она была неверна своему мужу, и указывалось, кто были ее любовники. Много гнусности было в этом документе.

Начались гонения на этот комитет, а это уже послужило началом подогревания сильного антисемитизма, потому что состав комитета был еврейским. Сюда же приплеталась выдумка, что евреи хотели создать свое государство и выделиться из Советского Союза. В результате, борьба против этого комитета разрасталась шире, ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве.

Начались расправы. Я не знаю, сколько людей было арестовано по этому делу. Применялись не только санкции в виде арестов, но и другие методы. Сталин опять начал практиковать тайные убийства. Например, это достоверно мне известно, Михоэлс — крупнейший, авторитетнейший человек среди культурного и особенно среди артистического мира — был убит тайно. Я не знаю, по какому поводу он выезжал не то в Смоленск, не то в Минск, может быть, его специально вывезли. Одним словом, там нашли его труп.

Долго тянулся следственный процесс этой группы, но в конце концов все закончилось трагически. Председатель этого комитета Лозовский был расстрелян, а Жемчужина и другие были сосланы. Я даже думал, что ее расстреляли, потому что об этом никому не докладывалось и никто в этом не отчитывался. Все было доложено Сталину, а Сталин казнил и миловал лично сам. О том, что она жива, я узнал после смерти Сталина — тогда Молотов сказал, что Жемчужина жива и находится в ссылке. Все согласились, что надо ее освободить. Берия ее освободил и торжественно вручил Молотову. Он сам рассказывал, как Молотов приехал к нему в Министерство внутренних дел и там он встретился с Жемчужиной. Она была еле жива. Он обнял и приласкал ее. Все

это Берия рассказывал с какой-то иронией. Молотову и Жемчужиной он выражал сочувствие и показывал, что это, вроде, была его инициатива освободить ее.

Вопрос по существу. Нужно ли было создавать еврейскую союзную или автономную республику в составе Российской Федерации или в составе Украины? Я, например, считаю, что раз уже была создана Еврейская автономная область, она и сейчас номинально существует, то вряд ли нужно было это делать в Крыму.

Мы питались тогда рассуждениями Сталина и поддавались его влиянию. Возражение Сталина: шпионаж, потому что Крым — это морская граница, доступная для иностранных судов. Он считал, что никак нельзя этого допустить с точки зрения обороны. Мы всегда стояли на точке зрения, что надо укреплять оборону, а не ослаблять ее.

Собственно, этот вопрос по существу никогда не обсуждался, а только высказывались суждения об осторожности и бдительности. Тут была проявлена бдительность Сталиным, и он пресек поползновения мирового сионизма, его попытки создать опору в нашей стране для борьбы против нас. Этой опорой был бы сионизм, на который опирались бы американские империалисты. Если действительно создать такую республику, то не исключено, что туда могли проникнуть сионисты. В Америке очень развит сионизм, и, безусловно, Америка нащупала бы какие-то возможности оказывать на нас давление. Если встать на эту позицию, то не надо было разрешать создавать такую республику, как оно и было сделано.

Но этот вопрос не обсуждался, и решения никакого не было, а вот аресты были. Арестовывали людей, сыгравших большую роль по сбору материалов и освещению процессов, которые проходили у нас во время войны, вскрытию зверств, совершенных немцами. Это положительная была работа. Все насмарку пошло, и люди были лишены жизни, уничтожены. Это я считаю позором.

После этого возник процесс над евреями на автомобильном заводе имени Сталина. И там искали происки американского империализма через сионистов, работающих на нем. Это, конечно, чистейшая чепуха была. Это результат произвола и абсолютной бесконтрольности

Сталина. Не было органов, которые могли бы контролировать деятельность Сталина. ЦК — это номинальное учреждение, которое ничем не связывало Сталина, и никаких решений этот Комитет не мог выносить, если Сталин не благословлял их. Эта бесконтрольность привела к тому, о чем предупреждал Ленин, когда говорил, что Сталин способен злоупотреблять властью и поэтому нельзя его держать на таком высоком посту, как Генсек.

Плоды, которые мы «вкушали», еще раз подтверждали правильность заключения Ленина, сделанного им в последний период своей жизни.

Вот я говорил о гибели Лозовского. 28 марта 1968 года была посвящена ему статья в «Известиях». Там даются биографические данные о товарище Лозовском и даты, когда он родился и когда он умер. Но там так стыдливо умалчивается, как он умер. Там просто такой-то год и 1952 год поставлен. А что же было в 1952 году? Он сквозь землю провалился или на небо улетел? Где он был? Это позорная стыдливость.

Я думаю, что автор правдиво хотел рассказать, чтобы эта правдивость предохраняла нас в будущем от повторения той трагедии, которая разразилась над партией, над народами Советского Союза и в результате которой тысячи советских людей погибли и в том числе погиб товарищ Лозовский, но ему не дали. Я думаю, что придет время, когда все это будет раскрыто и будет проведен глубокий анализ того, как все произошло, чтобы подобное больше не могло повториться.

Как известно, всякая проблема как нельзя лучше иллюстрируется в ситуации экзистенциональной. Сегодня многие ставят знак равенства между понятиями коммунизм и фашизм. Не будем торопиться с выводами.

Тем не менее личность Сталина и личность Гитлера во многом схожи. Если у Гитлера геноцид по отношению к еврейской нации был частью государственной политики, то со Сталиным дело обстоит сложнее. Для начала проведем некоторые параллели.

В них обоих даже внешне есть сходство. Оно в подчеркнутой скромности полувоенного костюма, в скупом жесте, в том, как они приветствуют с трибуны шумно ликующие толпы, как улыбаются деткам, как склоняются, по-хозяйски расставив локти, над оперативной картой Верховного командования. И тот, и другой —

и фюрер германского народа, и вождь всего прогрессивного человечества — считали себя военными стратегами, ревниво делили славу с Наполеоном, питали уважение к начищенным сапогам, плац-парадам, бодрым походным маршам, любили единогласие и единомыслие и еще — задушевные песни про безымянного солдата, простого человека с ружьем.

Из песенной лирики один предпочитал песню «Сулико», которую каждый день передавало Центральное радио по заявкам догадливых радиослушателей, а второй подносил к глазам белый надушенный платок, когда прославленный государственный тенор желал своей маме спокойной ночи — «Гуте нахт, мутер, гуте нахт...» Или так же проникновенно пел песню под названием «Родина, ты основа любви».

Они питали слабость к грандиозным сооружениям. Кажется, дома в Берлине и Москве строились по одним и тем же проектам — тот же гранит, те же эркеры, те же тяжелые колонны, те же арки и летящий ветер. Только один строил автострады, другой — каналы и гидростанции на равнинных реках, позже — лесозащитные полосы, и так, чтоб их можно было увидеть с Марса.

Еще они оба в равной степени любили философствовать и требовали, чтоб их мысли изучались и конспектировались. И чтоб семинары проводились на службе и по месту жительства.

И вождь, и фюрер родились в неблагополучных семьях; оба были маленького роста, не шибко нравились женщинам и с детства стремились к славе людской.

Один писал стихи, так что «Краткий курс» вполне мог быть написан стихами, почему нет, другой мечтал стать художником, писал акварели и даже, кажется, продавал их в людных местах, вежливо раскрывая свою папку перед каждым возможным покупателем. Потом он рисовал ордена, ругал архитекторов за плоские крыши — он видеть не мог эти крыши, жидовское изобретение, как не мог слышать о теории относительности,— вызывал к себе истинно арийского ученого Ленарда и спрашивал, что это за абракадабра такая, теория относительности, и Ленард, прилично улыбаясь, объяснял, что полная мура. Великий Ленард, в честь которого рентгеновские лучи были названы ленардовскими, и в Германии тех времен говорили: я пошел сделать

ленардовский снимок (а не рентгеновский); или — вам надо пройти в ленардовский кабинет. Ни в коем случае не в рентгеновский, потому что кто такой Рентген? Полукровка, масон, породнившийся с еврейством и международным сионизмом...

Короче, у одного был Лысенко, у другого — Ленард, и иногда мне кажется, что если б один из них не покончил с собой, «как гангстер», в своем тяжелом бетонном бункере, они бы встречались в Москве и беседовали долгими кремлевскими вечерами. Вот они сидят один подле другого, уютно, как Сталин и Мао на картине Налбандяна в сталинском большом кабинете, тихо струится теплый свет настольной лампы, отражаясь на полированных панелях, тяжелые шторы глушат чеканные шаги бессонного патруля, и тихо течет неторопливая беседа.

— Колыму ты здорово придумал. А Воркута...

— Освенцим, знаешь, тоже не хухры-мухры...

— Профсоюзы я по-твоему сделал. Ты первый. И органы. У меня ведь тоже звания для них иначе именовались, нежели в вермахте. Для уважения. И трепета.

Это Гитлер первый придумал «Парад Победы», Сталин только повторил.

И когда несутся перед тобой события старой кинохроники, кажется, узнаешь лица всех этих разъевшихся полуграмотных обергруппенфюреров, обербефельсхаберов, оберригирунгсратов, и дурацкий энтузиазм истинных тевтонцев вполне сравним с комсомольским задором наших «ворошиловских стрелков».

Вот они шагают молодые, задорные по столичной брусчатке к самой страшной войне, которая, несомненно, началась с того, что в ночь с 23 на 24 августа 1939 года в присутствии Сталина, все в том же кабинете с полированными панелями, Молотов и Риббентроп подписали договор о ненападении, опубликованный утром 24 августа в «Правде», и к нему секретный протокол, который опубликован не был, а потом и вовсе исчез.

Документы пропали, словно их и не было. Их искали самым тщательным образом, но не нашли ни в архиве штаба оперативного руководства гитлеровского верховного главнокомандования во Фленсбурге, ни в архиве Риббентропа, захваченном в Магдебурге, ни в архиве Розенберга, замурованном в потайном хранилище в его

замке в Баварии, ни в архиве Френка, обнаруженном в его имении. Поиски в подвалах банка фон Шредера в Кельне оказались тоже безрезультатными...

Но сохранились фотокопии, их сделали при эвакуации архива министерства иностранных дел, когда союзники уже вошли в Германию. Берлин бомбила фронтовая авиация, и чиновник, ведавший фотокопированием, спешил, а потому рядом оказались самые разные документы. Их еще надо было найти. Но есть косвенные доказательства, свидетельствующие со всей очевидностью, что секретные протоколы существовали.

Риббентроп отлично знает политическую географию начала века, когда под русской короной находились и Финляндия, и Прибалтика, и ряд других областей, а Германия владела землями, которые отошли к Польше. Такой вот происходит разговор с глазу на глаз при бесстрастном переводчике, после чего Молотов едет в Берлин, а Риббентроп летит в Москву, и его встречают на Центральном аэродроме. Кавалькада черных правительственных машин — «собачья свадьба» — катит по оцепеневшей улице Горького. Риббентропа встречают со всем почетом и радушием, в Большом театре к его приезду готовят «Валькирию» в постановке Эйзенштейна, Московская филармония приглашает Берлинский симфонический оркестр, тут же оказывается, что рейхсминистр очень любит балет и балерин (ему предоставляют такую возможность), но это, так сказать, культурная программа, не нам выяснять, кто из балерин прославленного Большого был запущен к Риббентропу «ласточкой», а потом, может быть, все это досужие вымыслы западных историков, которые любят копаться в старом белье, главное — был заключен договор о ненападении, явившийся полной неожиданностью не только для мировой общественности, но и для советских людей.

«Фашист» было тогда ругательным словом, в Испании наши добровольцы вместе с мужественными испанскими патриотами дрались с фашизмом, «Правда» печатала статьи академика Минца, в которых фашизм клеймили как «волчий оскал империализма», фашизм называли нашим очевидным врагом, врагом коварным и самым злобным, и вдруг фашист стал другом. Вчера газеты писали одно, сегодня пишут другое.

Потом, когда началась война, говорили, что у Риб-

бентропа были золотые часы, в которые был вмонтирован аппарат, и этот Риббентроп все время, будто невзначай, поглядывал на часы и фотографировал наши оборонные объекты. Надо ж было как-то объяснить для себя все то, что вошло как-то в понятие — «фактор внезапности».

До последнего времени нам, рядовым гражданам, в сферы высокой политики при тотальной секретности заглядывать не полагалось. Там были самые-самые секреты. И мы, ясное дело, не заглядывали. Но почему никакие секреты не помогли?

Началась война, и в первый же день немцы бомбят наши секретные аэродромы, секретные заводы, успел Риббентроп сфотографировать, что ли? И почему немецкие полевые карты были подробней наших?

От кого мы скрывали наши секреты? От самих себя, получается. Те, кто не должен был их знать, те как раз знали!

Сегодня мы все стали свидетелями необычайного интереса к истории, к современной интерпретации недавнего прошлого, к правде, к тому, что от нас упорно скрывалось и что так или иначе определяет сегодняшний день. Как можно было многонациональной, великой стране идти на сближение с Гитлером, зная его людоедские идеи о жизненном пространстве, о нацеленности германского движения на восток?! Разве не фюрер заявлял, что «одна из основных задач германского государственного управления во все времена будет заключаться в предотвращении развития славянских рас».

Надо прочувствовать глобальный размах этой его сентенции. Забористо мыслил!

Ему же принадлежит такое высказывание: «Мы должны истреблять население, это входит в нашу миссию охраны германского населения, нам придется развить технику обезлюживания. Если меня спросят, что я подразумеваю под обезлюживанием, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».

Вот ведь как, «расовых единиц»? Терминология-то какая! И там дальше, не переводя дыхания: «Именно это я и собираюсь проводить в жизнь, грубо говоря, это моя задача. Природа жестока, следовательно, мы тоже имеем право быть жестокими. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости проливая

драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как черви».

Мы плохо знаем то время, иначе чем объяснить появление у нас наших, своих собственных доморощенных фашистов, увешанных знаками свастики, празднующих в апреле день рождения фюрера. В высоких сапогах с нарукавными повязками на черных рубашках выходят они из подземного перехода на площади Пушкина и молодыми, петушиными голосами выкрикивают фашистские лозунги.

Чем объяснить появление «Памяти», взявшей на вооружение тот же идеологический багаж, ратующей за чистоту нации, за самобытность.

Еще один излом зеркала — генерал Власов и Русская освободительная армия (РОА). «Отъявленный негодяй и предатель, прожженный изменник, немецкий шпион — вот кто такой Власов. Смерть презренному предателю Власову — подлому шпиону и агенту людоеда Гитлера!» — говорилось в одной из листовок, распространяемых Главпуром в 1942—1945 годах.

В этой же листовке — всевозможные обвинения: «участвовал в троцкистском заговоре» в 1937—1938-м , вел «тайные переговоры с немцами и японцами о продаже им советских земель», летом 1941 года «сдался под Киевом в плен к немцам, пошел в услужение к немецким фашистам как шпион и провокатор... Его раскаяние оказалось фальшивым... Попав позже на Волховский фронт, гитлеровский шпион Власов завел по заданию немцев части нашей 2-й ударной армии в немецкое окружение, погубил много советских людей, сам перебежал к своим хозяевам — к немцам».

В листовках концы не сходились с концами, но еще важнее то, о чем умалчивали их сочинители: безупречный послужной список «немецкого шпиона»: в 19 лет (1920 год) сын крестьянина и недавний выпускник духовной семинарии — доброволец Красной Армии, в 40 — генерал-лейтенант, два ордена и «предан делу партии Ленина — Сталина» — в характеристиках. А в 1937—1938 годах — военный советник в Китае. С началом войны — на самых трудных участках: летом 41-го командовал 37-й армией и выводил ее из окружения, в декабре возглавил 20-ю армию, которая вела успеш-

ные бои под Москвой на Солнечногорском направлении (газета «Известия» за 13 декабря 1941 года поместила фотографии отличившихся генералов — Жукова, Рокоссовского, Говорова и Власова).

Сталин уж на что был хитер, но верил Власову и не случайно, когда возникла критическая ситуация на Волховском фронте, поручил ему командование 2-й ударной армией.

Как знать, не прими тогда это решение Верховный, и судьба Андрея Андреевича Власова, может, сложилась бы совсем по-другому. Но так получилось, что 2-я ударная попала в окружение и ее командующий 11 июля 1942 года сдался в плен.

Почему? Скорее всего Власов испугался за свою жизнь: кто-кто, а он хорошо помнил, как год назад были расстреляны оказавшиеся в такой же ситуации генералы Павлов, Коробков, Климовских и другие. Или пусти себе пулю в лоб, или пробивайся к своим, чтобы получить пулю от них (незадолго до сдачи в плен Власов получил письмо от жены из Москвы и по одной с виду невинной строчке — «гости были» — догадался о грозящей беде).

Ни то ни другое не устраивало молодого генерала, он хотел жить. Но не за колючей проволокой немецкого лагеря. Если ему дадут возможность создать армию из русских военнопленных, перебежчиков, перемещенных и признают русское правительство в изгнании, во главе с ним, конечно,— он готов сотрудничать с вермахтом.

Об этом и сообщил Власов командующему 18-й немецкой армией генерал-полковнику Линдеманну, к которому был доставлен после сдачи в плен. Линдеманн отправил Власова по назначению: в особый лагерь «Проминент» под Винницей, где к тому времени уже находились генералы П. Г. Понеделин, М. И. Потапов, М. Ф. Лукин, Д. М. Карбышев, Н. К. Кириллов и другие, а также Яков Джугашвили. Все те, кто решил вступить в РОА, узнавали о Власове прежде всего из листовок. Их в огромных количествах распространяли на оккупированных территориях СССР, сбрасывали с самолетов в тылу Красной Армии. Листовки постоянно могли читать пленные и жители СССР.

Текст был достаточно примитивен и рассчитан, видимо, на полуграмотных мужиков. Вот одна из таких листовок-пропусков на двух страницах: на титуле изо-

бражен Власов со знаменем РОА, справа на мешке, возле которого суетятся крысы, сидит Сталин — с трубкой во рту и с гармошкой в руках.

«Власов: Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Поднимайся на борьбу с жидами, Наш свободный русский человек!

Сталин: Последний нонешний денечек Иду в кремлевский я дворец, А завтра рано, чуть светочек, Придет жидам и мне конец!»

Далее следует обращение: «Друзья командиры, красноармейцы и все, кто будет читать листовку! Я в этой листовке расскажу вам правду о нашем движении против иудо-большевистской власти, т. е. что такое РОА. Русская освободительная армия — это передовые русские люди, организовавшиеся естественным путем, вначале маленькими отрядами, из бывших красноармейцев и командиров. Потом нашелся человек — генерал-лейтенант ВЛАСОВ, который объединил эти отряды в одно целое — РОА, и сейчас в ней насчитывается более миллиона человек (явная ложь: до декабря 1944 года у Власова не то что миллиона, роты в подчинении не было.— Н. К.).

Бойцы РОА проходят военную подготовку в ротах, а командиры — сокращенный курс военных школ. Уже сейчас на отдельных участках фронта части РОА борются за освобождение России, и недалек тот час, когда русский народ в лице освободительной армии в союзе с германскими и другими народами Европы разобьет чудовищную машину иудейского большевизма. Вам, наверное, не говорят о нашей РОА, а если и говорят, то как о сброде всяких «врагов народа».

Дорогие друзья! Разве вам неизвестно, что в первые дни войны попали в плен лучшие кадровые части Красной Армии, ее лучшие командиры и бойцы? Так эти вот командиры и бойцы и есть основное ядро РОА, ее организаторы.

Перед РОА стоят задачи:

1. Свержение Сталина и его кагала (жидов).

2. Создание в содружестве с германским и другими народами Европы новой, действительно свободной России, без колхозов и принудительного труда в лагерях НКВД.

3. Восстановление торговли, ремесла, кустарного

промысла и предоставление возможности частной инициативы в хозяйственной жизни страны.

4. Гарантия национальной свободы.

5. Обеспечение прожиточного минимума инвалидам войны и их семьям.

Что вам принес советский рай? Сталин говорил: самое ценное — человек, а что же на практике? За дни красного террора, с 1917 по 1923 г., было расстреляно 1 860 000 человек, а за годы голода 1921, 1922, 1932, 1933 и за годы ежовского террора погибло 1 400 000 человек. Отсюда видно, что русский крестьянин и рабочий борются за своих врагов, за своих тюремщиков, за тех, кто отнял у них завоевания славных лет революции.

...Друзья! Переходите на нашу сторону! Этим самым вы поможете всему честному народу, населяющему просторы нашей России, поможете скорейшему окончанию всем ненавистной мясорубки. Меньше останется вдов, сирот и калек, уже сейчас умирающих от голода. Это мы спасем свою страну от дальнейшего разрушения.

С приветом к вам от Русского комитета и с надеждой, что в скором будущем будем строить новую Россию, без колхозов и жидов.

— РОА».

2 августа 1946 года военная коллегия Верховного суда приговорила к смертной казни через повешение 12 человек: А. А. Власова, В. Ф. Малышкина, Г. Н. Жиленкова, Ф. И. Трухина, Д. Е. Закутного, И. А. Благовещенского, М. А. Меандрова, В. И. Мальцева, С. Буняченко, Г. А. Зверева, В. Д. Корбукова, Н. С. Шатова.

В тот же день в Москве на Лубянке приговор был приведен в исполнение.

Некоторая часть власовцев спаслась, укрывшись в США, Англии и других странах Европы; «холодная война», начавшаяся почти одновременно с казнью второго августа, уберегла их от выдачи советским властям.

В Нью-Йорке они создали «Союз борьбы за освобождение народов России», получивший свое издательство и начавший выпускать брошюры, воспоминания, документы, оригиналы которых находятся в книгохранилищах Колумбийского университета.

Правда, основная масса документов пропала. Во вре-

мя эвакуации КОНР из Берлина член секретариата Власова Лев Рар в течение двух дней сжигал списки членов КОНР, протоколы заседаний. Начальник канцелярии Власова полковник Кромиади, перевозивший еще одну большую часть документации из Карлсбада в Фюссен, попал 9 апреля под бомбежку, сам был ранен, а багаж с бумагами был значительно поврежден. Чемодан с бумагами пытался прихватить и секретарь в Дабендорфе Н. Л. Норейкис, но так и не смог его по каким-то причинам увезти. Где он находится, неизвестно.

Многое во всей этой истории остается тайной, которую нам вряд ли удастся понять до конца. Почему Власов отказался улететь в Испанию в апреле 1945 года? Была ли устойчивая связь между власовцами и участниками заговора против Гитлера 20 июля 1944 года? Кто же все-таки пошел на службу в РОА и как сложилась судьба тех, кому удалось выжить?

Вопросов очень много. Мы не знаем, а возможно, и никогда не узнаем, как в действительности обстояли дела с признаниями Власова и его одиннадцати сподвижников во время допросов на Лубянке и судебного процесса. Уж слишком хорошо теперь известен сценарий судебно-следственных спектаклей, игравшихся в театре сталинской инквизиции. И потому негоже современному историку принимать за чистую монету один из спектаклей и слова его участников, произносимые, надо полагать, под диктовку бериевских суфлеров.

С мифами расставаться трудно. Но жить с ними еще трудней.

* * *

Борьба с космополицизмом чаще всего ассоциируется в нашей памяти с всплесками антисемитизма. Действительно, среди подвергнутых гонениям было немало критиков, писателей, ученых, философов, деятелей культуры еврейской национальности.

Одним из наиболее одиозных случаев было шельмование известного советского экономиста академика Евгения Варги.

Обвинение академика в антипатриотизме было тем более отвратительно, что многим сотрудникам институ-

та, который он возглавил, было известно, что единственный сын ученого погиб во время Великой Отечественной войны. Но такова была атмосфера тех лет, что никто из коллег не встал, никто не выразил протеста. Каждый из участников хулилища знал, что, подай он голос, и тотчас же сам попадет в поминальный список антипатриотов. Е. Варга был обвинен в отступлении от марксизма-ленинизма, освобожден от должности директора института, а сам институт был реорганизован.

Была сделана попытка подобраться с сачком космополитизма и к физикам. Начали с обходных маневров, со статей в журнале «Вопросы философии», где ученых клеймили за преклонение перед западной наукой. Однако на собрании в институте, возглавляемом академиком А. Ф. Иоффе, обскуранты получили неожиданный отпор. Академик прямо заявил сидящим в президиуме идеологическим погромщикам: либо физикам будет дано право работать в своих лабораториях, либо лаборатории превратятся в место для митингов. Растерянные аппаратчики, не ожидавшие отпора, поспешили перенести заседание. Больше оно не возобновлялось. Разумеется, большую роль в том, что физикам была выдана «партийная индульгенция», сыграло то, что работы А. Ф. Иоффе были в значительной мере «завязаны» на оборону. А это для идеологов всегда была святая святых.

Между тем, и травля академика Е. Варги, и «патриотический» шабаш, устроенный в Академии наук в Ленинграде (из состава Академии были исключены почетные члены из иностранцев — англичанин Дейл, норвежец Брок, американец Мюллер), и идеологические наскоки на А. Ф. Иоффе и П. Л. Капицу, если в этих случаях разобраться без национальных эмоций, показывают, что за кулисами спектакля по борьбе с «безродными космополитами» скрывалось нечто более зловещее, нежели очередной черносотенный рецидив.

Существует расхожее мнение о том, что генералисимус был отъявленным антисемистом. Характеристика эта вместе с тем нуждается в нюансировке. В семье Сталина антисемитизм специально не культивировался. В противном случае им были бы заражены и дети. Этого, однако, не случилось. Вспомним, что первой любовью

дочери Сталина Светланы был еврей Алексей Каплер, известный советский киносценарист; что первым мужем Светланы был Григорий Морозов, тоже еврей. Вспомним, что сын генералиссимуса Яков Джугашвили во втором браке был женат на еврейке Юлии Исааковне Мельцер. Будь Сталин проще, носи его национальные антипатии более «животный», примитивный характер, он, думается, нашел бы достаточно веское слово или метод, чтобы воспрепятствовать этим бракам.

Нелишне вспомнить и историю, когда Советский Союз вместе с США при, известном сопротивлении Великобритании, активно содействовал созданию Израиля. СССР был одной из первых великих держав, признавших новое государство. Советская и американская дипломатия помогли погасить арабо-израильский конфликт 1948 года в Палестине. И, наконец, проблема еврейской иммиграции: когда после официального провозглашения нового государства 14 мая 1948 из всемирной еврейской диаспоры в Израиль потянулись сотни тысяч будущих жителей (с 1948 по 1966 год в Израиль приехало 1 млн. 200 тыс. человек), из стран Восточной Европы в новое государство выехало более 300 000 лиц еврейской национальности. Нужно ли сомневаться в том, что при том влиянии, которое имел на мировую политику Советский Союз после второй мировой войны, в том числе и на «ближневосточную политику», Сталину было достаточно сказать одно короткое «нет», чтобы решение израильского вопроса, в том числе и вопроса о выезде евреев из стран Восточной Европы, было отложено на годы.

Когда начинаешь анализировать бесконечную череду злодеяний Сталина с точки зрения демографической и национальной, приходишь к мысли о том, что Сталин антисемитом был не больше, чем он был, например, антитатарином, антикалмыком, антигрузином, антиприбалтом или антиславяном. В сущности, весь советский народ, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, был для Сталина лишь оглушенной и ослепленной массой, которую он «прогревал» в нужные ему моменты до критической температуры. Показательны в этой связи слова генерала де Голля, которые он записал в своих мемуарах уже после смерти тирана:

«...Революция, партия, государство, война — все это

было для него лишь средством власти. И он достиг ее, используя в полную меру собственное толкование марксизма и тоталитарный нажим...»

Преувеличивать личный антисемитизм Сталина — значило бы вольно или невольно способствовать распространению воззрения о том, что в трагедиях всех без исключения народов СССР виновата «паранойя» вождя, с манией преследования, с чрезмерной гордыней, с антисемитизмом и так далее.

Это значило бы — за одним грехом не видеть того главного, что вызывало повторяющиеся на протяжении всех лет сталинизма идеологические судороги, из которых борьба с космополитами была лишь одной из серий.

Это значило бы, в конечном счете, упрощать Сталина и, соответственно, обрекать преодоление сталинизма на облегченный путь осуждения частностей. За всеми всплесками приступов ксенофобии (после войны в СССР были запрещены браки с иностранцами), у Сталина всегда и во всем стояла капитальная политическая идея. Идеей этой была власть.

Власть, полученная не от народа, власть узурпированная, следовательно, защищенная не демократией, а насилием, требовала от вождя и его окружения постоянной бдительности, постоянного поиска врагов. В этом суть всех без исключения трагедий послеленинского периода.

Обыватель видел и видит в шельмовании академика Варги, театральных критиков один из эпизодов «еврейского погрома». Но историк обновляющейся России (а перестройка всех нас сделала историками) не может не усмотреть в кампании борьбы с космополитизмом более широкого явления — погрома идеологического. Е. Варгу громили не за метрики, а за то, что он, ортодоксальный марксист, свято веривший в догму абсолютного и относительного обнищания рабочего класса при капитализме, наблюдая экономическую эволюцию в мире, после второй мировой войны, пришел к выводу, что система капитализма способна приспосабливаться к изменяющимся условиям и противостоять кризисам.

Сталин мог закрыть глаза на «международные браки» своих детей. Политик Сталин не мог простить экономисту Варге того, что не прощал ни русским, ни грузинским, ни еврейским ученым: посягательства на ми-

фы, которые лежали в основе его власти.

Академика Леона Абгаровича Орбели невозможно было уличить в том, что он еврей, однако в 1950 году его, ближайшего сподвижника И. П. Павлова, в разгар кампании борьбы с космополитизмом, обвинили в том, что он протаскивает в девственно-чистую советскую науку вредные бациллы «менделизма-морганизма». В период 1948—1950 годов отступниками и антипатриотами были объявлены почти все крупнейшие ученые — биологи и физиологи, невзирая на лица и фамилии: академики А. Жебрак, П. Жуковский, И. Шмальгаузен, Л. Орбели, А. Сперанский... Враждебной политическому павловскому учению об условных рефлексах была объявлена школа грузинского физиолога академика И. Бериташвили.

Рассыпанные в позднейших мемуарах свидетельства об антисемистском червячке, точившем Сталина, и даже ссылки на документы (как, например, у К. Симонова), не так уж много проясняют. Сталин и его эпоха оставили после себя так много преступных документов и злодейств, что в общем потоке крови советских людей едва ли можно (да и едва ли этично считаться трагической этой кровью) разглядеть кровавые ручьи тех или иных народов. Сталину нужно предъявлять общий счет за преступление против человечности, а не разрозненные национальные фактуры.

Жупел космополитизма в его руках был таким же политическим оружием, как в более ранние времена троцкизм, левый и правый уклон или «рабочая оппозиция». В своем личном окружении Сталин мог быть весьма терпимым к евреям, выделяя и приближая людей в зависимости не от национальности, а от той утилитарной пользы, которую он мог из них извлечь. В течение долгого времени ближайшим соратником Сталина и членом Политбюро был Лазарь Каганович; виднейшим идеологом периода сталинизма, внесшим заметный вклад в сталинскую школу фальсификации истории был академик Исаак Израилевич Минц (Госпремии СССР за 1943 и 1946 годы).

Многие годы сталинской внешней политикой ведал блестящий советский дипломат Макс Валлах, более известный истории под именем Максима Максимовича Литвинова. Среди любимых кинорежиссеров генерали-

симуса (а Сталин очень любил и ценил кинематограф) было много евреев.

На первый взгляд, убедительно звучит утверждение, что политический террор Сталина был направлен прежде всего против евреев: Троцкого, Зиновьева, Каменева (левая оппозиция). Но, с другой стороны, так называемая «правая оппозиция», с которой Сталин расправился с не меньшей свирепостью, сплошь состояла из русских: Бухарин, Рыков, Томский.

Разгул антисемитизма в литературно-критических кругах повлек многочисленные аресты, увольнения и, разумеется, бесчисленные «проработки». На этом фоне совершеннейшим алогизмом прозвучало удивившее тогда многих сообщение о том, что Сталинская премия на этот же 1949 год присуждена еврею Эммануилу Казакевичу за роман «Весна на Одере», причем по инициативе самого Сталина. Характерно, что присуждение премии за 1949 год проходило задним числом — в марте 1950 года. Не исключено, что этот «ход конем» генералисимуса был попыткой обелить себя и отмежеваться от кампании, которая вызвала весьма неблагоприятный для Советского Союза резонанс за границей. У западноевропейской интеллигенции возникли самые малопочтенные аналогии и с только что поверженной идеологией фашизма, и с тем, что в этом же 1949 году творилось в США.

В Америке тоже громили космополитов. Только за океаном «охота на ведьм» имела не столько национальный, сколько политический привкус — охота велась на «левых», на либералов. Смыкались в одном: и в Москве, и в Нью-Йорке «отстреливали» прежде всего интеллигенцию. Идеология была разной, а свечи гасили одни. В московских газетах громили литераторов, чьи метрики обнаруживали изъяны по «пятому пункту», а в Голливуде свирепствовала Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, выискивая сценаристов и режиссеров, вздумавших показать русских «с человеческим лицом».

Травле подверглись и американские ученые. По оценкам газеты «Нью-Йорк таймс», от 20 до 50 тысяч американских исследователей и инженеров были отстранены от научной деятельности. Среди них было значи-

тельное число ученых еврейской национальности, бежавших из нацистской Германии. Известный американский ученый Артур Комптон (теоретик в области электромагнетизма, «эффект Комптона») писал по этому поводу: «Значительное число наших лучших ученых покинули нацистскую Германию, поскольку наука там не была свободной. Я спрашиваю теперь, не повторяется ли эта ситуация в Америке?»

Гонениям подвергалась и часть дипломатического корпуса США, в частности, те дипломаты, которые во время войны поддерживали контакты с Советской Россией. В шпионаже в пользу СССР был обвинен даже бывший советник президента Рузвельта, один из организаторов Ялтинской конференции Алжер Хисс. В Москве кампанией борьбы с космополитами дирижировал генералиссимус Иосиф Сталин. В Америке «охоту на ведьм» раздувал сенатор Джозеф Маккарти. Общими были не только имена.

Сталинизм и маккартизм роднят не только суффиксы. У них единая суть: мракобесие, рядящееся в одежды идейного пуритизма; у них общая ненависть — интеллигенция и разум; у них общее оружие — ложь, запугивание, террор. И для того, и для другого идеология — не сумма воззрений, а адская сковорода, которую они раскаляют, чтобы «поджаривать» своих противников.

В первые годы своего диктаторства, когда Сталина никто еще не воспринимал как «гения всех времен и народов», Иосиф Виссарионович проявлял трогательную заботу о своем международном «реноме». Волны расовой ненависти в ту пору исходили прежде всего от Германии. Мировая интеллигенция еще смотрела на Россию, как на оплот демократии и гуманизма. В январе 1931 года Еврейское телеграфное агентство из Америки обратилось к Сталину с вопросом о его отношении к антисемитизму. Сталин ответил в свойственной ему многословной манере: «Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся».

Громоотвод нужен был и самому Сталину и его наследникам.

Возрождение после непродолжительной оттепели неосталинизма, потребовало новых, усиленных доз идеологического допинга.

ФАВОРИТЫ

История каждого правительственного двора содержит список людей, обласканных государями. Во времена «дореволюционные» большую часть этого списка занимают представители слабого пола. Новое время требовало больше силы и твердости, чем красоты. Красоты при дворе, действительно, стало меньше, а вот сила и твердость обрели особый, советский оттенок. Фавориты при Сталине — это маленькие, но все же копии вождя. Собрав под обложку истории их жизней и продвижений по государственной лестнице, можно в какой-то степени проследить историю власти. Фавориты были разного рода. Одни действительно влияли на вождя, а значит на ход событий. Советское время создало еще одну категорию избранных — ученых, людей преданных науке, идущих ради нее на все, не замечая даже лишения свободы. Сталин первым подал пример такой «кормежки» с руки.

За семь десятилетий существования Советского государства во главе вооруженных сил перебывало полутора десятков различных военачальников. В среднем, каждые четыре-пять лет менялись наркомы обороны (министры обороны). Единственным военачальником, который побил рекорд пребывания на посту наркома обороны, был К. Е. Ворошилов. На этом посту он пробыл почти полтора десятилетия.

К. Е. Ворошилов — сталинский выдвиженец, он начал формироваться как угодник Сталина еще в 1907—1908 годах в Баку. Хотя надо все же сказать, что до 1918 года он был деятельным революционером.

Если проследить, как руководил Ворошилов вооруженными силами, то нетрудно заметить, что в первые четыре-пять лет он продолжал военные реформы, начатые до него, а затем в течение десятилетия шло разрушение армии. В этом и заключалась трагедия Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Издавна известно: каковы командные кадры, такова и армия. Хорошо подготовленные в профессиональном отношении и опытные офицеры превращали армию в сильный боевой инструмент, способный решать самые сложные задачи. И наоборот, при отсутствии таких кадров армия больше походила на «сборище едоков», нежели на организационную военную силу.

Летом 1937 года в одной из центральных газет был опубликован дружеский шарж, изображавший двух «сталинских наркомов», обменивающихся крепким рукопожатием. Это были самые популярные тогда лица из ближайшего окружения «вождя всех народов»: Климент Ефремович Ворошилов и Николай Иванович Ежов. В их честь слагали стихи и пели песни. Нарицательными стали выражения «ежовы рукавицы» и «ворошиловский стрелок». Однако в истории страны память о них запечатлена по-разному. Ежов стал символом массовых репрессий. Ворошилов остался эмблемой доблести и героизма.

Справедливо ли это?

Тандем Сталин — Ворошилов, сформировавшийся в начале гражданской войны, летом 1918 года, просуществовал до трагической осени 1941 года, но — фактически — до смерти Сталина. Ворошилов, переживший своего патрона на шестнадцать лет, кумиру своему не изменил. Он тридцать пять лет входил в ближайшее окружение Сталина и остался почти единственным, кого за столь долгий период Сталин не поставил к стенке.

Биография К. Е. Ворошилова хорошо известна. Данные о том, когда родился, когда умер, что делал до революции, какие должности занимал после нее, какие и когда получал награды, имеются во всех энциклопедиях и словарях. Повторяться не стоит. Лучше сказать о том, что не вошло ни в какие справочники и биографии.

Тандем Сталин — Ворошилов принес нашему народу, нашей стране неисчислимые бедствия. Ворошилов — один из главных организаторов массового уничтожения десятков тысяч ни в чем не повинных людей — посмертно носит придуманную для него биографию «легендарного полководца» и «народного героя». Давайте посмот-

рим настоящую, непридуманную биографию Ворошилова. Почти все, что здесь написано, было давно известно и даже опубликовано много лет назад, кстати, при жизни Ворошилова.

Два будущих полководца — «великий, всех времен и народов» и «легендарный» — впервые сошлись на военной ниве в начале лета 1918 года. Сталин был чрезвычайным уполномоченным ВЦИК по вопросу о хлебе, Ворошилов руководил группой войск, отходивших из Донбасса к Царицыну. Оба вошли в Военный совет СКВО (Северо-Кавказский военный округ) и, естественно, немедленно вмешались в оперативное руководство войсками на том основании, что один — представитель центра, а другой — командующий группой войск, составивших значительную часть сил СКВО; то был партизанский табор, из которого еще нужно было формировать боеспособные части.

Может ли стать военачальником человек, никогда до этого не служивший в армии? Может! Есть немало тому примеров. В РККА — М. Ф. Фрунзе, И. Э. Якир и другие известные герои гражданской войны. Причем Фрунзе и Якир стали профессиональными военными. Для того нужно упорно учиться. Сталин и Ворошилов, напротив, никогда не учились. И остались малокомпетентными в военных вопросах людьми.

Сильно отредактированный Жуков считал, что Ворошилов так до конца жизни и остался на невысоком уровне, а Сталин-де к концу войны чему-то научился. Последнее не подтверждается, как ни странно, ни самим Жуковым, ни другими военачальниками. Из их воспоминаний, иногда помимо их воли, ясно видно, что Сталин до конца своей жизни оставался невежественным в военном деле человеком. Зато амбиции у Сталина и Ворошилова были огромны, они очень хотели считаться полководцами. Давайте сразу определим смысл слова «полководец». Полководец — это не должность, а качество. Это умение руководителя армии, включающее в себя большое количество компонентов: от уровня эрудиции до масштабного политического и военного прогнозирования. С этой точки зрения ни Сталин, ни Ворошилов полководцами не были. Сталин вообще не был военным человеком, хотя и любил военную форму. О Ворошилове же речь может идти только как о военачальнике.

Под Царицыном в 1918 году Сталин и Ворошилов попытались осуществить свои желания — водить полки. Не получилось. Их предпочтение партизанских методов созданию регулярных частей и непонимание военной обстановки привели к ухудшению положения красных войск и к конфликту со штабом округа, с его военным руководителем А. Е. Снесаревым, опытным военачальником и военным ученым. Конфликтовать со Сталиным и Ворошиловым было всегда опасно: решали не правда, не логика, не интересы дела, а их личные амбиции. Сам Снесарев и десятки бывших офицеров, служивших в штабе и частях округа, были арестованы и объявлены «врагами и предателями», причем без каких-либо доказательств.

Из Москвы, чтобы разобраться в конфликте, приезжали специальные комиссии. Снесарева удалось спасти: он был назначен военруком Западного участка Завесы. А остальных военспецов Сталин и Ворошилов репрессировали, все они погибли. На этом первый конфликт в Царицыне завершился.

Тяжело раненный эсеркой Владимир Ильич Ленин лежал в полубессознательном состоянии в квартире в Кремле, так что в те дни «обуздать» Сталина было трудно: расследования никто не проводил. Оба «лихих» революционера вкупе с председателем Царицынского исполкома С. К. Мининым остались безнаказанными. А 17 сентября 1918 года они вошли в состав РВС вновь сформированного Южного фронта. Командующим войсками фронта был назначен бывший генерал П. П. Сытин. Ворошилов и Минин немедленно предложили избрать Сталина председателем РВС фронта, хотя такая должность директивой Реввоенсовета Республики не предусматривалась. Новый командующий категорически отклонил некомпетентное вмешательство Сталина и Ворошилова в оперативные вопросы: снова вспыхнул конфликт. Нарушив партийную, государственную и военную дисциплину, Сталин и Ворошилов отстранили Сытина от руководства войсками фронта и сделали командующим... Ворошилова. Однако на этот раз ЦК и РВС Республики проявили решительность: троицу (то есть тандем и Минина) из РВС фронта убрали. Сталина отозвали в Москву, Ворошилова направили в войска, Минина на другую работу. П. П. Сытин был восста-

новлен в должности командующего.

Но эпизод даром не прошел. Цепь конфликтов потянулась от Царицына до Астрахани, затянулась партизанщина, не были вовремя сформированы боеспособные регулярные части, и в результате на Северном Кавказе укрепился грозный враг Советской республики — генерал А. И. Деникин. Он сформировал там свои армии для похода на Москву.

Никаких оснований превозносить Сталина и Ворошилова в связи с обороной Царицына нет. Но превозносили и превозносят!

К. Е. Ворошилов как военачальник гражданской войны? Под словом «военачальник» подразумевается не только высокая командирская должность, но и главным образом его умение эту должность исполнять. Ворошилов был храбрым человеком, обладал он и небольшими организаторскими способностями. Это необходимый минимум для начала; дальше нужны знания, талант стратега, воинская доблесть. Вот до этого «дальше» Ворошилов так никогда и не дошел.

Он весной 1918 года сформировал отряд, был избран командиром объединения партизанских отрядов, получившего наименование 5-я Украинская армия. Командарм Ворошилов отступал от Донбасса к Царицыну и там участвовал в обороне города. После вывода его из РВС фронта Ворошилов некоторое время командовал X Армией. Трудно сказать, верило или нет руководство Реввоенсовета Республики заключениям военспецов Снесарева и Сытина о некомпетентности Ворошилова в оперативных вопросах? Но вскоре его перевели на гражданскую службу наркомом внутренних дел УССР, каковым он и был до июня 1919 года.

В марте 1919 года на VIII съезде партии возродилась связка Сталин — Ворошилов. Одним из главных вопросов на съезде был вопрос о Красной Армии. Как строить армию социалистического государства? Какой она должна быть? Красная Армия должна быть революционной армией, возглавляемой назначенными вышестоящими органами командирами-специалистами, с революционной железной дисциплиной — таково было мнение В. И. Ленина. Красная Армия должна быть милиционной (ополченческой), партизанской, с выборностью комсостава и обсуждением приказов — так считала сформиро-

вавшаяся на съезде «военная оппозиция», фактическим, точнее, закулисным лидером которой был тандем Сталин — Ворошилов, через десять лет объявивший себя «настоящим, подлинным» создателем и организатором Красной Армии.

Официально Сталин к оппозиции не примкнул. Наша наука утверждает, что «военная оппозиция» была направлена лично против Троцкого и «засилья троцкистов» в армии, и потому участие в ней как бы извинительно. Действующие до сих пор штампы конца 30-х годов, пытающиеся представить Троцкого автономной силой в армии, в сущности, направлены на дискредитацию ЦК и заставляют думать, что главную роль в победе советского народа в гражданской войне сыграли не Ленин и ленинский ЦК, а некто другой, мудрый и дальновидный.

По-моему, на самом деле «военная оппозиция» была направлена против Ленина и его стремления создать регулярную армию. Участие же и лидерство в оппозиции Ворошилова объясняются отнюдь не благородными «идейными» целями, а субъективными мотивами. Во-первых, боязнью с приходом военных специалистов лишиться возможности командовать, т. е. утратить даром доставшуюся власть над тысячами людей, и во-вторых, полным непониманием принципов организации и комплектования современных вооруженных сил.

На посту наркомвнудела Украины Ворошилов участвовал в борьбе с поднявшим в мае 1919 г. восстание против Советской власти атаманом Григорьевым. Лично руководя группой войск на Кременчугском направлении, потерпел неудачу. После разгрома «григорьевщины» войсками Украинского фронта (командующий В. А. Антонов-Овсеенко) обратился в руководящие органы по многим адресам с клеветой на своих товарищей, требуя расправы с ними и «постыдно преувеличивая» (слова Антонова-Овсеенко) свои заслуги.

Командная деятельность Ворошилова на фронтах гражданской войны завершилась в том же 1919 году: 7 июня он был назначен командующим XIV Армией. А через две с небольшим недели, не сумев выполнить директивы командующего фронтом о мерах по обороне города, сдал Харьков деникинцам. Ворошилова судил военный трибунал. Трибунал подробно разобрался в

происшедшем. Общее мнение судей выразил М. Л. Рухимович. Все знают, сказал он, что Ворошилов опытный подпольщик и хороший парень. Но командовать он может ротой, батальоном, с натяжкой — полком. Командармом быть не может — не умеет. Это его беда, а не вина. Его нельзя было назначать командармом... Ворошилова послали формировать 61-ю стрелковую дивизию. Но он ее так и не сформировал.

ЦК решил использовать Ворошилова на комиссарской работе. В ноябре 1919 года он был назначен членом РВС I Конной Армии и оставался на этой должности до конца гражданской войны. Как комиссар, Ворошилов вложил немало труда в создание первого объединения нашей стратегической конницы — I Конной Армии. Но и здесь «сбоев» не меньше, чем заслуг.

Тандем продолжал действовать: Сталин сыграл решающую роль в назначении Ворошилова членом РВС I Конной. Но и эта должность оказалась Ворошилову фактически не по плечу. Он так и не сумел наладить в армии настоящую воинскую дисциплину. И неудивительно: он и сам являл образец недисциплинированности.

Преследуя отступающие деникинские войска, I Конная и VIII Армия 7—8 января 1920 года заняли Ростов-на-Дону. Теперь необходимо было отрезать деникинцев за Доном, не дать им отступить к Новороссийску, переправиться в Крым. Иначе они могли усилить действовавшую там белогвардейскую группировку и открыть новый фронт против Советской республики. Для этого необходимо было форсировать Дон, взять Батайск и перерезать железную дорогу, идущую к Новороссийску... Обе армии — I Конная и VIII — вышли из состава Южного фронта (там членом РВС был Сталин) и вошли в Юго-Восточный (с января 1920 года — Кавказский) фронт. Командующий фронтом В. И. Шорин потребовал от Конармии энергичным ударом форсировать Дон и взять Батайск. И сразу возник конфликт!

Конармия и ее командование не пожелали выполнить приказы Шорина. Двенадцать дней топтания на месте привели к срыву операции. Белые укрепились, и форсировать Дон теперь было очень трудно. Шорина назначили помглавкома РККА (фактически отозвали). Новым командующим фронта стал М. Н. Тухачевский.

Эпизод этот известный как «Батайская пробка», из истории гражданской войны... выпал. В 1925 году В. И. Шорина вынудили уйти из армии. Правда, в приказе, подписанном М. Ф. Фрунзе, говорилось, что он, как герой, «навечно зачисляется в состав РККА»... Вне армии Шорин активно трудился над вопросами новой техники и был одним из организаторов знаменитого ГИРДа, где начиналось освоение ракетной техники.

Василия Ивановича Шорина Ворошилов не забыл: в 1938 году 68-летнего старика расстреляли...

М. Н. Тухачевский попытался осуществить идею Шорина по-другому. Но опять подвела недисциплинированность командования Конармии. В телеграмме членам РВС Кавфронта И. Т. Смилге и Г. К. Орджоникидзе Ленин писал: «Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказском фронте, полным разложением у Буденного...».

Тогда же, очевидно, родилась неприязнь Ворошилова и Буденного к Тухачевскому, перешедшая в ненависть после событий на польском фронте. В общем, деникинцам удалось отвести основные части к Новороссийску и переправить их в Крым. Советская республика получила новый фронт, врангелевский... Зато оба политических руководителя Конармии — Ворошилов и Е.А. Щаденко — в это же время приняли активное участие в расправе (скорее всего были инициаторами расправы) с героем гражданской войны Борисом Мокеевичем Думенко, командовавшим тогда I Конно-сводным корпусом. В деле трибунала, судившего Думенко и его товарищей, сохранились доносы, собственноручно написанные и подписанные Ворошиловым и Щаденко, а также командармом Буденным, которого эти двое тогда же уговорили написать донос. Показания трио были решающими для приговора: Думенко и его товарищи были казнены.

Неудача в польской кампании 1920 года до сих пор освещается в жестких и лживых сталинистских рамках: виновниками неудачи называют только Главкома С. С. Каменева и командующего Западным фронтом М. Н. Тухачевского. На самом деле это неправда, не вся правда.

У Советской республики перед войной и во время войны с белополяками было много трудностей, как эко-

номических, так и военных. Учитывающий все это стратегический план Тухачевского был принят ЦК и Главным командованием. План этот предусматривал на заключительном этапе кампании нанести обоими фронтами — Западным и Юго-Западным — удар по Варшаве. Это могло привести к быстрому завершению войны и достойным для РСФСР условиям мира. Сорвал операцию Сталин. Под его нажимом командующий Юго-Западным фронтом не повернул в нужный момент свои армии на Варшавское направление, а продолжал бесполезное наступление на Львов. Снова Сталин отказался выполнять директивы Политбюро, ЦК и приказы Главкома. За это был отозван и снят с фронтовой работы. Большая часть сил фронта, в том числе и Конармия, были переданы Западному фронту.

Но командование I Конармии — Буденный и Ворошилов — под различными предлогами не выполняло приказы своего командующего. И сорвало Варшавскую операцию, приведя всю кампанию к полной неудаче.

В сентябре 1920 года I Конную перебросили на врангелевский фронт. По дороге — тяжелое происшествие. Такого в РККА еще не было: целую дивизию Конармии за бандитизм осудил трибунал! Зачинщиков расстреляли. Дивизию условно расформировали, конармейцам предложили смыть вину кровью. В докладе В. И. Ленину командующий фронтом М. В. Фрунзе сообщал: «Обращаю внимание на необходимость серьезных мер по приведению в порядок в политическом отношении I Конной Армии. Полагаю, что в лице ее мы имеем большую угрозу для нашего спокойствия в ближайшем будущем. Желателен приезд в части Армии т. Калинина».

М. И. Калинин вместе с А. В. Луначарским, Д. И. Курским, Н. А. Семашко и другими сотрудниками специального поезда «Октябрьская Революция» действительно побывал в расположении I Конной, чтобы навести в армии политический порядок. Планируя заключительную операцию против Врангеля, М. В. Фрунзе поставил не I Конную в первый эшелон войск, а II Конную Филиппа Кузьмича Миронова. А позже герой Миронов был оклеветан и убит в апреле 1921 года в Бутырской тюрьме. И через несколько лет все боевые заслуги его конармейцев приписали Ворошилову и Буденному.

В октябре 1925 года на операционном столе внезапно

скончался руководитель Красной Армии 40-летний М. В. Фрунзе, видный политический и военный деятель, служивший исключительно делу, неподконтрольный Сталину и ни в какие группировки не входивший. Пролив крокодилову слезу на его торжественных похоронах, Сталин сумел «водрузить» на место Фрунзе напарника по тандему — Ворошилова. Так Ворошилов стал председателем РВС СССР и наркомвоеном.

Ни по уровню своих возможностей, ни по уровню знаний он для такого высокого поста не годился. Он был и оставался всю жизнь карикатурой Сталина и, следуя в фарватере сталинских «дел», нанес на этом ответственном посту невосполнимый ущерб обороноспособности страны и Красной Армии.

Почти пятнадцать лет Ворошилов, сопровождаемый хором аллилуйщиков, руководил Красной Армией. Кончилось все это полным крахом. Конечно, глобальные вопросы военной политики решал не Ворошилов, а Сталин. Ворошилов, будучи наркомом, должен был, опираясь на штаб РККА (Генштаб) и высшее руководство армии, готовить, формулировать проекты этих вопросов, отстаивая нужды и интересы своего ведомства. Так, как это делают все руководители военных ведомств во всех странах.

У нас все было не так. Практически все вопросы готовил и формулировал Сталин — от стратегических до ведомственных и кадровых. Я думаю, что совсем не из-за отсутствия других забот. Может быть, он понимал ненадежность Ворошилова? Ненадежность не политическую — Сталин в личной преданности Ворошилова не сомневался,— а военную некомпетентность. Тем не менее, до середины 30-х годов Ворошилов имел большой вес и реальную власть. Хотя некомпетентность Ворошилова чувствовали его подчиненные, а некоторые из них, например, М. Тухаческий и С. С. Каменев, просто знали о ней!

1931—1936 годы были годами расцвета Красной Армии. В этот период заместителями Ворошилова (их было всего-навсего два) работали Я. Б. Гамарник и М. Н. Тухачевский. Главной фигурой в организации стремительного нарастания боевой мощи РККА в тот период на передовой военно-научной основе был, конечно, Михаил

Николаевич Тухачевский. Тогда Ворошилов и Гамарник поддерживали Тухачевского. Ворошилов, видимо, понимал огромную значимость Тухачевского в военных делах, во многом помогал (а его помощь тогда очень много значила), во всяком случае, не мешал. Этот краткий период совместной работы был весьма результативным. Красную Армию удалось поднять до уровня лучших армий мира. Она могла отбить любое нападение и сурово наказать агрессора.

То, что произошло дальше, с точки зрения нормальных, человеческих взаимоотношений необъяснимо. В 1936—1938 годах Ворошилов предал своих товарищей и Красную Армию... Он стал участником и организатором массовых репрессий комсостава РККА. Вместе с командирами были репрессированы десятки тысяч членов их семей и родственников. Подпись Ворошилова стоит под тысячами фамилий командиров, изгнанных из армии со стандартной формулировкой: «Уволен вовсе из РККА за невозможностью дальнейшего использования».

Что это означало, знали и знают все. Ходили слухи, что Ворошилов кому-то помогал, и это даже нашло отражение в литературе. Не знаю. К Ворошилову обращались сотни отчаявшихся людей, некоторые из этих писем сохранились, многие уничтожены. Я не читал ни одной положительной резолюции наркома, чаще всего на обращениях вообще не было резолюций. Может быть, и были военачальники и командиры, которым Ворошилов помог, но я ни одного такого не знаю. Зато знаю о личном участии его в организации арестов В. М. Примакова, И. Э. Якира, П. П. Григорьева и многих других.

Как такое могло случиться? Я задаю вопрос не для того, чтобы выяснить тайные пружины сталинского заговора. Я хочу лишь попытаться понять поведение Ворошилова. Наши гражданские и военные историки до самого последнего времени предпочитали не связывать имя «легендарного маршала» с уничтожением Красной Армии. Предпочиталось нейтральное и безличное: «необоснованные репрессии».

Ворошилов оказался предателем. Почему? Еще раз оговоримся: в наших официальных публикациях ни такого вопроса, ни ответа на него нет. Я выскажу только те мнения историков, которые мне известны по беседам и дискуссиям.

Многие историки считают, что Ворошилов сопротивлялся готовящимся репрессиям. Я считаю, что все было по-другому. Единственное, в чем преуспел Ворошилов на посту наркома, это фальсификация истории гражданской войны и превознесение роли Сталина (ну, и собственной, конечно).

Это он в 1929 году начал атаку на Красную Армию и на правду о ее делах в своем выступлении «Сталин и Красная Армия», посвященном 50-летию патрона. И я не слыхал, чтобы Ворошилов когда-нибудь отказался от своего выступления. Это Ворошилов в 1930 году попытался расправиться со многими военачальниками РККА — бывшими генералами и офицерами царской армии. Правда, тогда не вышло, и не по «вине» Ворошилова.

В середине 30-х годов он недрогнувшей рукой выгнал из армии нескольких военачальников, оклеветанных и арестованных НКВД (Г. Д. Гай и другие). В первой половине 30-х годов он просто терпел наших выдающихся военачальников, поскольку они делали то, что сам Ворошилов со Сталиным делать не умели — воссоздавали армию, оборону страны. Когда Ворошилов и Сталин решили, что все в порядке, они просто избавились от мешавших им людей.

Во-первых, все хорошо знали о сталинско-ворошиловском извращении истории страны, армии и войны, а во-вторых, они мешали установлению абсолютной власти тандема над армией и страной (Ворошилов еще не предполагал, что Сталин позже выкинет его из «упряжки»). Что касается количества жертв, их это не интересовало — народ велик, подрастут новые поколения.

Все события 30 и 40-х годов свидетельствуют о невежестве правительства Сталина, одной из опор которого в свое время был Ворошилов в вопросах руководства страной, ее экономикой, социальным развитием, наукой и культурой. С еще большей справедливостью это положение подтверждается в отношении армии. Тандем так и не понял, что армия — это не военные мундиры, о которых оба проявляли повышенную заботу. Армия — это военный инструмент в руках политики. Для того чтобы он действовал, нужны военная наука, военное искусство, военное дело в стране. Обезглавив армию, Сталин и Во-

рошилов, в сущности, ликвидировали военную науку, военное искусство и военное дело. Военные события конца 30-х годов и Великая Отечественная война полностью подтвердили это.

Чтобы продемонстрировать моральный облик сталинского наркома обороны, приведу один из его многочисленных приказов, подписанный 31 мая 1937 года: «Отстранить от занимаемой должности, исключить из состава Военного Совета при НКО СССР и уволить из РККА зам. наркома Обороны и начальника Палитуправления РККА армейского комиссара 1 ранга Гамарника Я. Б. как работника, находившегося в тесной групповой связи с Якиром, исключенным ныне из партии за участие в военно-фашистском заговоре».

Эти слова написал человек, не только знавший и понимавший выдающуюся роль, которую сыграли Ян Борисович Гамарник и Ион Эммануилович Якир в советском военном строительстве, но и сам состоявший с ними «в тесной групповой связи», много лет с ними друживший! Друживший с ними домами!..

Сталин до конца жизни так и не понял, что никого нельзя назначить в полководцы — полководцем нужно стать. Действительность многократно подталкивала его к правильному пониманию этого вопроса, однако Сталин упорно ей сопротивлялся. Зияющие провалы в обороноспособности страны сказались практически сразу же после того, как обезглавили РККА. И в 1938 году на Хасане, и особенно в 1939—1940 годах во время советско-финского конфликта.

В мае 1940 года Ворошилова из армии пришлось удалить. Но Сталин, пока не подозревавший, что кто-нибудь, кроме конармейцев, сумеет руководить Красной Армией, назначил на его место С. К. Тимошенко, панически боявшегося Сталина. Итого: трагические события на фронтах 1941—1942 годов.

В июле 1941 года Ворошилов вновь оказался на одной из главнейших командных должностей. Он был назначен главкомом Северо-Западного направления, главной задачей которого была оборона Прибалтики и Ленинграда. Такая высокая должность снова обернулась бедой. На этот раз бедой для всей страны. Вороши-

лов проявил полную неспособность руководить войсками в современных военных операциях. На его совести трагедия Краснознаменного Балтийского флота: Ворошилову не хватило мужества без санкции Сталина разрешить своевременную эвакуацию главной базы флота из Таллинна в Кронштадт. Надо думать, он все же понимал преступность малейшей задержки с эвакуацией...

В конце концов, эвакуация прошла под дулами орудий немцев, обошедших Таллинн, вышедших к побережью и стеной огня перекрывших узкий фарватер Финского залива, вдобавок густо начиненного минами. На дне залива оказались почти все транспорты с десятками тысяч людей — инженеров и рабочих базы, их семьями, семьями балтийских военных моряков.

Полный провал произошел и в оборонительных сражениях на подступах к Ленинграду, а также в организации обороны города, где Ворошилов действовал совместно со Ждановым. Ни в одной стране никто не миновал бы после таких провалов военного трибунала. А Ворошилова официально даже не поругали.

Но Ворошилов был снят с командно-фронтовой работы и больше на нее не возвращался. Хотя в «руководителях» остался: был главкомом партизанского движения, представителем Ставки...

Почему? Ворошилов стал символом сталинистского толкования истории гражданской войны и Красной Армии. И с этой точки зрения был неприкасаем. Он остался символом и после смерти Сталина. Человек-легенда, одним из авторов которой частично он был сам.

В 1956 году к собственному семидесятипятилетию и в 1968 году — к пятидесятилетию Советской Армии, видимо, в поддержку реноме «народного героя» и «легендарного полководца», Ворошилов был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Механически? Но в Положении о высоком звании совершенно четко сказано, что за прошлые заслуги — до 1934 года — никто награждению не подлежит...

За что же и после смерти «хозяина» награждали сталинского наркома? Почему он принимал новые награды? А как же коммунистическая мораль и человеческая совесть? Очевидно, их не было... Самое худшее, когда победы ослепляют и никто не хочет подумать, какой ценой они достались. Еще хуже, когда в угоду

мнимому благополучию фальсифицируется история. Все лучшие умы человечества, народная мудрость утверждают, что учиться и воспитывать армию надо не только на победах, но и на поражениях. На ошибках! Именно поэтому необходимо полностью отказаться от лживого сталинистского стандарта в изложении нашей военной истории. И начать, наконец, ее полное и фундаментальное изучение. Накладно держать в секрете свои поражения и провалы.

На третьем московском процессе Сталин дал ответ тем зарубежным критикам, которые все упорнее ставили один и тот же каверзный вопрос: как объяснить тот факт, что десятки тщательно организованных террористических групп, о которых столько говорилось на обоих первых процессах, смогли совершить лишь один-единственный террористический акт — убийство Кирова?

Сталин понимал, что этот вопрос попадает в самую точку: действительно, факт одного лишь убийства был слабым местом всего грандиозного судебного спектакля. Уйти от этого вопроса было невозможно. Ну что ж, он, Сталин, примет вызов и ответит критикам. Чем? Новой легендой, которую он вложит в уста подсудимых на третьем московском процессе.

Итак, чтобы достойно ответить на вызов, Сталин должен был указать примерно тех руководителей, которые погублены заговорщиками. Однако как их найти? За последние двадцать лет народу было сообщено только об одном террористическом акте — все о том же убийстве Кирова.

Для тех, кто хотел бы проследить, как действовал изощренный сталинский мозг, едва ли мог представиться более подходящий случай, чем этот. Посмотрим, как Сталин разрешил эту проблему и как она была преподнесена суду.

Между 1934 и 1936 годами в Советском Союзе умерло естественной смертью несколько видных политических деятелей. Самыми известными из них были член Политбюро Куйбышев и председатель ОГПУ Менжинский. В тот же период умерли А. М. Горький и его сын Максим Пешков. Сталин решил использовать эти четыре смерти. Хотя Горький не был членом правительства и не входил в Политбюро, Сталин и его хотел изобразить жертвой террористической деятельности заговор-

щиков, надеясь, что это злодеяние вызовет возмущение народа, направленное против обвиняемых...

Такова была та коварная уловка, к которой прибег Сталин. Куйбышева, Менжинского и Горького лечили трое известных врачей: 66-летний профессор Плетнев, старший консультант Медицинского управления Кремля Левин и широко известный в Москве врач Казаков. Сталин с Ежовым решили передать всех троих в руки следователей НКВД, где их заставят сознаться, что, по требованию руководителей заговора, они применяли неправильное лечение, которое заведомо должно было привести к смерти Куйбышева, Менжинского и Горького.

Однако врачи не были членами партии. Их не обучали партийной дисциплине и диалектике лжи. Они все еще придерживались устаревшей буржуазной морали и превыше всех директив Политбюро чтили заповеди: не убий и не лжесвидетельствуй. В общем, они могли отказаться говорить на суде, что они убили своих пациентов, коль в действительности они этого не делали. Ежов вынужден был считаться с этим. Он решил сломить сначала волю одного из врачей и в дальнейшем использовать его показания для давления на остальных. Он остановил свой выбор на профессоре Плетневе, наиболее выдающемся в СССР кардиологе, именем которого был назван ряд больниц и медицинских учреждений.

Чтобы деморализовать Плетнева еще до начала так называемого следствия, Ежов прибег к коварному приему. К профессору в качестве пациентки была послана молодая женщина, обычно используемая НКВД для втягивания сотрудников иностранных миссий в пьяные кутежи. После одного или двух посещений профессора она подняла шум, бросилась в прокуратуру и заявила, что три года назад Плетнев, принимая ее у себя дома, в пароксизме сладострастия набросился на нее и укусил за грудь. Не имея понятия о том, что пациентка была подослана НКВД, Плетнев недоумевал, что могло заставить ее таким образом оклеветать его. На очной ставке он пытался получить от нее хоть какие-нибудь объяснения столь странного поступка, однако она продолжала упорно повторять свою версию.

Профессор обратился с письмом к членам правительства, которых лечил, написал также женам влиятельных персон, чьих детей ему доводилось спасать от смерти. Он

умолял помочь восстановить истину. Никто, однако, не отозвался. Между тем, инквизиторы из НКВД молча наблюдали за этими конвульсиями старого профессора, превратившегося в их подопытного кролика.

Дело было направлено в суд, который состоялся под председательством одного из ветеранов НКВД. На суде Плетнев настаивал на своей невиновности, ссылался на свою безупречную врачебную деятельность в течение сорока лет, на свои научные достижения. Все это никого не интересовало. Суд признал его виновным и приговорил к длительному тюремному заключению.

Советские газеты, обычно не сообщающие о подобных происшествиях, на сей раз уделили «садисту Плетневу» совершенно исключительное внимание. На протяжении июня 1937 года в газетах почти ежедневно появлялись резолюции медицинских учреждений из различных городов, поносившие профессора Плетнева, опозорившего советскую медицину. Ряд резолюций такого рода был подписан близкими друзьями и бывшими учениками профессора — об этом позаботился всемогущий НКВД.

Плетнев был в отчаянии. В таком состоянии, разбитый и обесчещенный, он был передан в руки энкаведистских следователей, где его ожидало еще нечто худшее.

Помимо профессора Плетнева, были арестованы еще два врача — Левин и Казаков. Левин, как уже упоминалось, был старшим консультантом Медуправления Кремля, ответственным за лечение всех членов Политбюро и правительства. Организаторы предстоящего судебного процесса были намерены представить его главным помощником Ягоды по части «медицинских убийств», а профессору Плетневу и Казакову отвести роли левинских соучастников.

Доктору Левину было около семидесяти лет. У него было несколько сыновей и множество внуков — очень кстати, поскольку все они рассматривались НКВД как фактические заложники. В страхе за их судьбу Левин готов был сознаться во всем, что только угодно властям. Перед тем, как с Левиным случилось это несчастье, его привилегированное положение кремлевского врача было предметом зависти многих его коллег. Он лечил жен и детей членов Политбюро, лечил самого Сталина и его единственную дочь Светлану. Но теперь, когда он попал

в жернова НКВД, никто не протянул ему руку помощи. Много влиятельных пациентов было и у Казакова, однако его положение являлось столь же безнадежным.

Согласно легенде, состряпанной Сталиным при участии Ежова, Ягода вызывал этих врачей в свой кабинет, каждого поодиночке, и путем угроз добивался от них, чтобы они неправильным лечением сводили в могилу своих знаменитых пациентов — Куйбышева, Менжинского и Горького. Из страха перед Ягодой врачи будто бы повиновались.

В истории мировой науки ни в прошлом, ни сегодня, да, пожалуй, и в будущем невозможно найти ученого, который бы сравнился с академиком Харитоном по влиянию на судьбу цивилизации. Может быть, для некоторых подобное утверждение и звучит несколько преувеличенным, но отрешимся от привычных стереотипов и вспомним, какую именно эпоху представляет Харитон, какими событиями отмечена вторая половина XX века, и в каждом из них, подчас открыто, но чаще всего тайно, звучала фамилия Харитон.

Этим маленьким человеком (конечно, я имею в виду его рост!) руководили Сталин и Берия, Маленков и Булганин, Хрущев и Брежнев, Горбачев и Ельцин. Они возглавляли страну, и поэтому, казалось бы, именно им подчинялся Харитон, но если задуматься, то не его, а их судьба зависела от работы академика.

Бессменный научный руководитель программы создания ядерного и водородного оружия определял во многом влияние в мире того или иного руководителя государства — вне зависимости от того, диктатор он или демократ. Его три Звезды Героя, которые он аккуратно надевал во время всяческих юбилеев в Академии наук СССР и которые невозможно было не заметить, казалось бы, должны были привлекать пристальное внимание журналистов, однако каждый раз мы натыкались на глухую стену: упоминание о Харитоне исчезало из наших репортажей.

О жизни и работе Юлия Борисовича известно так мало, что легенд и домыслов вокруг него с каждым днем появляется все больше. А ведь, кажется, достаточно приехать в Арзамас-16, прийти в коттедж, что находится на берегу речки рядом с домом ученого, и расспросить

самого Харитона о жизни и судьбе. Если, конечно, он найдет время на это...

Каждый день в восемь утра к его дому подходит машина. Харитон отправляется на работу, в свой кабинет, что находится в «Белом доме» Арзамаса-16. Вечером, около девяти, все еще горят два окна, хотя все остальные уже темны,— Харитон работает. Потом посылает машину за женщиной из спецотдела, сдает ей документацию и лишь после этого уезжает. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год — вот уже без малого полвека, что он работает в Арзамасе-16. А когда приходится уезжать в Москву — ему Берия запретил летать самолетами, а потому был выделен спецвагон,— то все в том же вагоне Харитона свет горит долго, потому что научный руководитель Арзамаса-16 всегда выбирал себе попутчиков тщательно, тех, кто нужен ему по делу.

Нашей беседе с Юлием Борисовичем Харитоном много лет. Она началась в президиуме Академии наук, затем продолжилась в его доме на улице Горького, где он раньше жил, затем на Профсоюзной. Однажды он приехал ко мне в гости домой, чтобы рассказать о первом испытании ядерной бомбы, потом мы уже увиделись в его кабинете в Арзамасе-16.

Обратимся к Большой Советской Энциклопедии:

«Харитон Юлий Борисович (р. 14(27).2.1904, Петербург), советский физик, акад. АН СССР (1953; чл.-корр. 1946). Трижды Герой Социалист. Труда. Чл. КПСС с 1956. Окончил Ленингр. политехнич. ин-т (1925). С 1921 начал работать в Физико-технич. ин-те под руководством Н. Н. Семенова. В 1926—28 командирован в Кавендишскую лабораторию (Великобритания), где исследовал у Э. Резенфорда природу сцинтилляций и чувствительность глаза и получил степень доктора философии. С 1931 работает в Ин-те хим. физики АН СССР и др. н.-и. учреждениях. Исследовал конденсацию металлич. паров, изучал совм. с З. Ф. Вальта явление нижнего предела окисления паров фосфора и открыл его снижение примесью аргона. Разработал теорию разделения газов центрифугированием. Х. и его ученикам принадлежат основополагающие работы по физике горения и взрыва. В 1939 совм. с Я. Б. Зельдовичем впервые осуществил расчет цепной реакции деления урана. Лау-

реат Ленинской и 3 Гос. пр. СССР. Деп. Верх. Совета СССР 3—9 созывов. Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 др. орденами, а также медалями».

Далее следует перечень научных работ Харитона. Их очень немного. Дата последней из них — 1940 год. Такое впечатление, что «Деление и цепной распад урана», опубликованная в «Успехах физических наук» совместно с Зельдовичем, оборвала карьеру ученого...

Но тем не менее скупые строки энциклопедии позволили начать разговор с Юлием Борисовичем.

— Вы закончили институт в 1925-м, а зачем начали работать в Физтехе в 1921-м? Как это возможно?

— Мне повезло: я попал в тот поток, где курс физики читал Абрам Федорович Иоффе. Послушав две-три его лекции, понял, что самое интересное не электротехника, которой я в то время увлекался, а физика... Закончился первый учебный год. Ряду студентов Иоффе поручил за лето составить и в дальнейшем прочитать на семинаре рефераты. Мне досталась тема: работы Резерфорда в области строения атома. Это было мое первое знакомство с ядерной физикой.

Ближайшие помощники Иоффе внимательно присматривались к нам, студентам. Однажды Николай Николаевич Семенов пригласил прогуляться по парку. Присел на скамейку, и тут он предложил мне работать в лаборатории, которую он создает в Физтехе. Конечно, я согласился...

Я жил в центре Петрограда. До политехнического института расстояние было восемь километров. Частенько мне приходилось идти пешком в институт, а иногда и обратно. Время от времени, когда заработаешься допозна, приходилось оставаться в лаборатории, спать на лабораторном столе. Но в 17 лет это не слишком трудно.

— Только вы попали в поле зрения Семенова?

— Многие. Ведь в те годы в стенах Физтеха собрался весь цвет будущей отечественной физики: Семенов, Капица, Курчатов, Александров, Алиханов, Курдюмов, Кикоин... Да разве можно перечислить всех?! Кстати, Кикоин... Однажды встречает меня во дворе института Семенов и радостно говорит: «Сейчас принимал экзамены на втором курсе, очень интересный паренек отвечал. Фамилия его Кикоин. Запомните...» И Кикоин стал

выдающимся физиком, академиком...

— А самое яркое впечатление юности?

— Главное, конечно, работа... Но тем не менее хорошо помню встречу в Доме литераторов с Маяковским. Я не очень любил его стихи, не понимал их... Но вот сам поэт вышел на сцену и начал читать. Это было потрясающе! Вернулся домой, достал томик и уже по-иному увидел Маяковского. С тех пор он один из самых любимых поэтов. Посчастливилось слышать и Блока, видеть на сцене Качалова... Да, мы были увлечены физикой, работали много, но тем не менее старались увидеть и узнать побольше.

— А политика?

— В Германии уже появились фашистские листовки, хотя Гитлер еще не пришел к власти,— я был там в служебной командировке в 1923 году. Поинтересовался у своих коллег, как они относятся к нацистам. Те в ответ только посмеивались: мол, эти «опереточные мальчики» не опасны, серьезно к ним не следует относиться... Мы были подкованы политически получше и прекрасно понимали, какую угрозу несет фашизм. Но наших опасений немецкие интеллигенты тогда не разделяли.

— В 30-е годы уже ощущалось приближение большой войны. Поэтому вы обратили внимание на цепные реакции?

— Мы уже давно работали вместе с Зельдовичем. Встречались чаще всего по вечерам, так как расчеты нейтронно-ядерных цепных реакций были для нас «внеплановые». Я руководил лабораторией взрывчатых веществ, а Зельдович вел теоретические исследования, в частности, по порохам. Конечно, никто и не думал о ядерных бомбах и зарядах, однако новая область физики привлекала общее внимание. Игорь Васильевич Курчатов оставил физику твердого тела и занялся новой областью. Этот поворот многих из нас удивил, он действительно был очень резким и внезапным. Его работы по сегнетоэлектрикам были изящны и красивы — образец настоящего классического исследования. Однако Курчатов ушел в новую область. Он поразительно быстро в ней освоился. Он умел выделить узловые вопросы... Это было время очень напряженной работы, чувствовалось, что начинается что-то новое и важное...

Наши работы с Зельдовичем были опубликованы

в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» и в «Успехах физических наук», и они стали первыми... Впрочем, мы об этом узнали много лет спустя.

...Началась война. Она разбросала физиков по оборонным предприятиям. Харитон вместе с коллегами из своей лаборатории сначала в Ленинграде, затем — в Казани — создает новые мощные взрывчатые вещества. Работали по 20 часов в сутки, и вдруг...

— Приглашает меня к себе Игорь Васильевич и предлагает перейти к нему. Естественно, я не могу согласиться, возражаю, идет, мол, война, считаю своим долгом работать для фронта... Ну, а наука подождет, тем более, пока результатов от ядерной физики не ожидается, по крайней мере до победы... Курчатов убеждает: после победы именно наша работа обеспечит безопасность страны... Странный по тем временам разговор, ведь шел только 42-й год, а до победы было далеко... Сначала я не соглашался, но Игорь Васильевич умел убеждать. Даже через мою жену действовал, уговаривал меня.

— Вы представляли будущую свою работу?

— Естественно, я знал, насколько сложна задача, которая стоит перед физикой и физиками. Но это было совсем новое, а значит, и очень интересное дело... Кстати, вспоминаю, что один из крупнейших наших ученых еще в 1939 году нарисовал довольно точную картину того, что вскоре будет происходить в Америке в рамках Манхэттенского проекта, а потом и у нас. Курчатов удивительно хорошо подходил для осуществления такой грандиозной программы. Великолепный физик, выдающийся организатор и исключительно доброжелательный человек.

— На вашу долю выпало создание ядерного оружия. Что можно об этом рассказать?

— Очень многое... Но я не имею права говорить ничего... Пока... Обещаю, представится возможность — расскажу вам.

— Ну хотя бы о самом первом испытании.

— Не могу... Не имею права.

Около пяти часов мы записывали на пленку воспоминания академика Юлия Борисовича Харитона. Потом смонтировали получасовую передачу. После просмотра в «инстанциях» — в министерстве и ЦК КПСС — она

была сокращена до десяти минут. Так и вышла в эфир.

Вместе с Романовским пошли на прием к председателю Гостелерадио с просьбой сохранить в архиве съемки академика Харитона. На нашем заявлении председатель размашисто написал: «Хранить вечно!»

Через месяц мы попытались взять из архива материалы, запросили пленки, нам сообщили: «Все записи стерты».

БОМБА

Начнем с фрагмента воспоминаний Александра Ивановича Веретенникова — одного из тех, кто был «рядом с бомбой», а значит, и рядом с Юлием Борисовичем Харитоном. Кстати, Веретенников — тот самый человек, кажется, единственный, которого в памятный день испытания первой бомбы «удалил» с командного пункта лично Берия. Он внимательно посмотрел весь список, потом ткнул пальцем в фамилию Веретенникова: «Этому здесь нечего делать!»,— а потому Александр Иванович оказался на наблюдательном пункте, что был расположен в 25 километрах от башни. Почему Берия выбрал его, так и осталось загадкой. Впрочем, известно, что его отец был репрессирован в 30-е годы...

Итак, Веретенников рассказывает об одном из эпизодов создания бомбы:

«Мне вспоминается кошмарный случай, явившийся жестокой встряской для специалистов, занимавшихся окончательной сборкой центральных частей ядерных зарядов. Дело в том, что при сборке нового типа изделий весьма опасным считался момент, когда «поршень» со снаряженными в нем активными материалами центральной части опускался через горловину изделия и проходил рядом с окружающими центральную часть оболочками, тоже содержащими активные материалы. Возникал вопрос: а не достигнет ли при этом критическая масса сборки опасной величины? Для контроля за безопасностью этой операции в процессе сборки проводились измерения нейтронного фона... Обычно это про-

исходило на стапеле. Сборщики изделия — как правило — конструкторы высшего класса Н. А. Терлецкий, Д. А. Фишман и другие — в присутствии Харитона находились наверху, а я с двумя комплектами аппаратуры размещался под стапелем на полу зала.

Щелчки механического счетчика звучали громко, на все помещение, и это было своего рода непрерывной информацией для участников сборки. И на сей раз фон постепенно, как обычно, нарастал, и вдруг... раздался ошеломляющий треск. Как я тут же определил, один из счетчиков вдруг закрутился с частотой примерно 100 импульсов в секунду. Я понял, что канал с этим счетчиком «загенерировал», так как в другом канале счетчик продолжал методически, в прежнем темпе регестрировать фон. Естественно, что я тут же выключил «хулигана», и треск прекратился. В тот момент стремительно появлился Юлий Борисович и буквально вне себя стал требовать немедленно включить счетчик. Мои объяснения он совершенно не воспринимал. В конце концов, счетчик я включил, а он... как ни в чем не бывало стал мирно отсчитывать «нормальный» фон...

Выяснилось, что вся бригада сборщиков со стапеля мгновенно «испарилась» за пределы здания, и только один Юлий Борисович Харитон в этот кошмарный момент бросился вниз по лестнице под изделие выяснять причину «аварии». Вот таким был Харитон в минуту великой ответственности!»

К воспоминаниям Веретенникова остается добавить одно: такие минуты ответственности для «ЮБэ» продолжались полвека...

...Однажды в половине восьмого утра раздался телефонный звонок. Я узнал голос Харитона.

— Я могу рассказать о том, как все началось,— сказал он.

— Юлий Борисович, что скрывать, у нас есть страх перед бомбой. Не может ли с оружием произойти то же самое, что с реактором в Чернобыле? Есть ли гарантия безопасности?

— Мы никогда не говорили, что наши «изделия» абсолютно безопасны. Напротив, постоянно подчеркиваем, что они опасны и необходима очень высокая тщательность в работе и доступе к ядерному оружию. Приходится, например, возить по железной дороге, где воз-

можны аварии. Мало того, здесь бывают и пожары, и сходы с рельсов составов. Поэтому мы постоянно призываем к максимальной бдительности, сокращению перевозок. Этой гранью безопасности мы специально занимались. Раньше заводы были разбросаны, и нам пришлось проводить некоторую перекомпоновку производства, чтобы наши заряды в собранном виде перевозились минимально... Раньше, на мой взгляд, очень легкомысленно это делалось, но мы вмешались — многое изменилось: сократились ненужные перевозки. Речь идет не о ядерном взрыве. Если, к примеру, злоумышленник стреляет в шаровой заряд, то в ряде конструкций это может вызвать детонацию взрывчатого вещества. Сам приход ударной волны к плутонию вызывает распыление, может подняться облако. Ветер его уносит, происходит заражение местности...

У американцев, как известно, над Испанией произошла авария — самолет потерял атомную бомбу, произошел взрыв обычной взрывчатки, распылился ядерный заряд. Очистка местности потребовала гигантских затрат... Так что нужно держать ухо востро, и вопросы безопасности должны находиться на первом плане.

— Юлий Борисович, что представляет собой современное ядерное оружие?

— Современная атомная бомба — это довольно тонкое и, я бы сказал, изящное оружие. Все — и способ возбуждения детонации для получения сходящейся сферической волны, и способ размещения плутония, компоновка — тут много тонкостей, остроумия. И этими конструктивными деталями нельзя делиться ни с кем, потому что можно дойти до очень широкого распространения оружия.

— Вернемся к самому началу. Я имею в виду первое испытание.

— Это не начало, а конец первого этапа... Мы были в десяти километрах от места взрыва в специальном каземате. От вспышки до прихода волны приблизительно 30 секунд. Дверь в каземат была приоткрыта... Вдруг все залило ярким светом — значит, свершилось! Я думал только об одном: как успеть закрыть дверь до прихода ударной волны. А тут еще Берия бросился обнимать... Я едва вырвался, успел-таки... Единственное, что почувствовал в эти мгновения,— облегчение.

— Вы часто контактировали с Берия?

— Сначала все проблемы решали через Курчатова. А потом приходилось и мне общаться.

— Он считался с вами?

— Вынужден был... Берия знал, что в нашем деле он ничего не понимает. Он, повторяю, вынужден был выслушивать нас... К примеру, был такой случай. Где-то в начале 50-х годов приехала к нам комиссия по проверке кадров. Члены комиссии вызывали к себе руководителей на уровне заведующих лабораторий. Расспрашивала комиссия и Льва Владимировича Альтшулера. В частности, ему был задан и такой вопрос: «Как вы относитесь к политике Советской власти?» Альтшулер резко раскритиковал Лысенко, мол, он безграмотный и опасный человек. Естественно, комиссия распорядилась убрать Альтшулера. Ко мне пришли Зельдович и Сахаров, рассказали о комиссии. Я позвонил Берия. Тот спросил: «Он очень вам нужен?» «Да»,— ответил я. «Хорошо, пусть остается»,— неохотно, как мне показалось, сказал Берия. Альтшулера не тронули... Кстати, при Сталине Берия сразу же становился другим, спесь мгновенно слетала...

— Ваше мнение о роли Берия в урановом проекте?

— Не хочу преуменьшать его роль. Известно, что в начале общее руководство осуществлял Молотов. Стиль его работы, ее эффективность не удовлетворяли Курчатова. И он этого не скрывал. С переходом атомного проекта в руки Берия ситуация кардинально изменилась. Не следует сомневаться в злодеяниях этого человека, он принес неисчислимые страдания людям. Но в течение восьми лет, до 53-го года, он отвечал за всю работу по атомному проекту. С самого начала Берия придал всем работам необходимый размах и динамизм. Нельзя не отметить, что он был первоклассным организатором, который доводит любое дело до конца. Может быть, покажется парадоксальным, но Берия, не стеснявшийся проявлять порой откровенное хамство, умел по обстоятельствам быть вежливым, тактичным и просто нормальным человеком. Не случайно у одного из немецких специалистов, Н. Риля, работавшего у нас в стране, сложилось о нем хорошее впечатление... Берия был быстр в работе, не пренебрегал выездами на объекты. При проведении первого атомного взрыва он был пред-

седателем государственной комиссии. Берия проявлял понимание и терпимость, когда для выполнения работ требовался тот или иной специалист, даже не внушавший доверия работникам его аппарата. Бесспорно, если бы во главе стоял Молотов, то трудно было бы рассчитывать на быстрый успех. Такова история, и нам не под силу ее изменить.

— А роль Сталина? Точнее, вам приходилось с ним встречаться?

— Понятно, что по атомному проекту он уделял особое внимание. Но я встречался с ним лишь однажды... Меня пригласили в кабинет, там было много народа. Захожу, а Сталина не вижу... Берия как-то засуетился, потом пальцем показывает в сторону. Смотрю — Сталин. Очень маленький человек... Я впервые его увидел, а потому рост его удивил меня.

— Насколько я знаю, это происходило в канун испытаний первой атомной?

— Да. Незадолго до взрыва Сталин в присутствии Берия и Курчатова, то есть руководителей атомного проекта, заслушивал всех нас о состоянии работ и подготовке к испытанию. Докладчики специалисты приглашались в кабинет по одному, и Сталин внимательно выслушивал каждого. После Курчатова пригласили меня. Я рассказал о положении дел. «Нельзя ли вместо одной бомбы из имеющегося заряда количества плутония сделать две, хотя и более слабые? Чтобы одна оставалась в запасе...» — спросил Сталин. Я объяснил, что наработанное количество плутония как раз соответствует заряду, изготавливаемому по американской схеме, и излишний риск недопустим. Сталин был удовлетворен ответом. В общем-то нам доверяли, потому что никто другой сделать бомбу не мог. И мы это понимали...

— Существует легенда, что Харитон продемонстрировал Сталину плутониевый шар. Мол, Сталин спросил: «А как вы докажете, что это плутоний?» И тогда Харитон предложил потрогать шарик руками, мол, убедитесь: он горячий... Это легенда?

— Никаких показов плутониевого шарика Сталину и, следовательно, прикосновений к нему не было. Из Челябинска-40, где был изготовлен плутониевый шарик, он был доставлен в Арзамас-16, то есть, к нам в КБ. А затем в канун испытаний он был отправлен на Семипалатинский полигон.

— А после испытаний Сталин вас не принимал?

— Нет. О результатах докладывал Курчатов с некоторыми членами комиссии. Сталин постоянно спрашивал у них о тех или иных деталях. «А вы сами видели то, о чем рассказываете?»... Ну, а мы продолжали свою работу, потому что уже достаточно ясно представляли, что нужно идти своим путем. Чтобы восстановить равновесие между Америкой и Советским Союзом, требовались невероятные усилия от всех, кто создавал сначала атомное, а затем и водородное оружие.

— Андрей Дмитриевич Сахаров как-то сказал: «Я тоже прилагал огромные усилия, потому что считал: это нужно для мирного равновесия. Понимаете, я и другие думали, что только таким путем можно предупредить третью мировую войну?». Вы согласны с ним?

— Конечно. Надо было обеспечить оборону страны. В коллективе ученых шла спокойная и напряженная работа. Спайка, дружба крепкая... Хотя, конечно, без сукиных сынов не обошлось... Однажды приезжаю на комбинат в Челябинск-40, а у Курчатова день рождения. Выпили в компании... А потом один из сотрудников приходит ко мне и говорит: «Если бы вы знали, сколько на вас писали!» Я понял: доносчиков тогда хватало, ведь везде были люди Берия.

— Вас называют «отцом ядерной бомбы»...

— Неправильно это... Создание бомбы потребовало усилий огромного числа людей. Реакторы — гигантская работа! А выделения плутония? Металлургия плутония — это Андрей Анатольевич Бочвар... Нельзя никого называть «создателем атомной бомбы». Без гигантского комплекса научных и исследовательских работ ее невозможно сделать... Безусловно, главная роль в урановом проекте принадлежит Игорю Васильевичу Курчатову. Я руководил конкретно созданием бомбы, всей физикой, то есть был научным руководителем и главным конструктором.

— Секретность угнетала?

— Меня — нет. Но многих — да... Время было такое: лишнее слово стоило жизни. И мы к этому привыкли, хотя и не смирились... Большое счастье было работать с Яковом Борисовичем Зельдовичем, а потом с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Это два совершенно фанта-

стических человека. Я преклоняюсь перед ними как учеными и как людьми.

— Сколько в жизни вы видели ядерных взрывов?

— Точно не помню. Все — до 63-го года, пока испытания не ушли под землю. Честно скажу, страха, ужаса не было. Ведь все можно рассчитать, а значит, неожиданностей не было.

— Понимаю, что Арзамас-16 для вас жизнь. Как начался этот Федеральный ядерный центр?

— При организации института и КБ я сказал, что плохо разбираюсь в организационных вопросах. Чтобы можно было использовать максимум возможностей и заниматься только наукой и техникой, то есть быть по-настоящему главным конструктором, нужен еще один человек, который взял бы на себя все остальное. Так появилась должность директора. Я посоветовался с Курчатовым, а затем обратился к Берия с просьбой назначить такого человека. Им стал Павел Михайлович Зернов. И началась очень энергичная работа по созданию лабораторий и набору кадров. Мы с Кириллом Ивановичем Щелкиным составили первый список научных работников. Их было 70. Это показалось огромным числом, мол, зачем столько? Никто тогда не предполагал масштаба работ... Надо было вести расчеты и экспериментировать. Мы получили довольно подробную информацию из Америки от Фукса. Он дал описание атомной бомбы, и мы решили ее повторить.

— Копировать, конечно, легче...

— Не скажите! Работа была напряженной и нервной. Надо было просчитать все процессы, происходящие в атомной бомбе.

— Затем уже пошли своим путем, перестали дублировать американцев?

— Да это уже было и невозможно! Просто работы там и здесь шли на одном уровне, хотя мы двигались своим путем. Что касается водородной бомбы, то Тамм и Сахаров сделали главное. У нас было два отдела. Одним руководил Сахаров, другим — Зельдович. Они работали вместе. Поэтому неверно приписывать все Андрею Дмитриевичу. Да и сам он это много раз говорил! Бесспорно, он гениальный человек, но создание водородной бомбы — это и Сахаров, и Зельдович, и Трутнев...

— Вы никогда не жалели, что создали это оружие?

— После взрыва водородной бомбы мы поехали на место, то есть на точку взрыва, увидели, как «вздулась» земля... Очень страшное оружие, но оно было необходимо для того, чтобы сохранить мир на планете. Я убежден: без ядерного сдерживания ход истории был бы иным, наверное, более агрессивным. По моему убеждению, ядерное оружие необходимо для стабилизации, оно способно предупредить большую войну, потому что в нынешнее время решиться на нее может только безумец.

— А безопасность самого оружия?

— Сегодня она отвечает самым жестоким требованиям. Но тем не менее я постоянно напоминаю о безопасности, о комплексе мер, которые должны ее обеспечить. На мой взгляд, сегодня это главная проблема. Остальное мы уже решили в прошлом...

Илья Шатуновский.

Предлагаемые читателю заметки ни в коей мере не претендуют на политический портрет М. А. Суслова, судьба и роль которого в истории партии и нашего общества еще ждут внимательного исследования. Это скорее штрихи к портрету, но и они, вероятно, позволят читателю составить свое мнение о человеке, долгие годы командовавшем нашей идеологией и снискавшем на этом поприще звание «Серого Кардинала». Автор заметок, известный журналист Илья Шатуновский, работал в «Комсомольской правде», затем долгие годы возглавлял отдел фельетонов «Правды».

В нашей семье по традиции, столь же давней, сколь и печальной, Михаила Андреевича Суслова величали Михаилом Алексеевичем. На то были свои причины. И если я в своих заметках буду называть его то так, то эдак, прошу простить: застарелая привычка.

В официальных документах, которые должны еще храниться в архивах Узбекского телеграфного агентства (УзТАГ), есть прямое указание на то, что перепутал отчество товарища Суслова не кто иной, как мой родной брат. Это неверно. Пострадал действительно он, а вот ошибку допустили другие. И не ошибку вовсе — описку.

А случилось вот что. В отчете о предвыборном собрании избирателей, переданном УзТАГом для местных газет, кандидат в депутаты Верховного Совета был назван Михаилом Алексеевичем Сусловым. В какой-то редакции, кажется, в андижанской, это обнаружили, сообщили в УзТАГ. И УзТАГ тут же по телетайпу отстучал поправку. Но в трех районных газетах, выходящих на узбекском языке, так описка и прошла.

С утра в высших республиканских инстанциях начался переполох. Никто не знал, как к этому чрезвычайному событию отнесутся в Москве и лично товарищ Суслов. А вдруг там сочтут, что налицо вражеская вылазка, троцкизм, диверсия иностранной разведки против одного из самых ближайших соратников... Немедленно учредили авторитетную комиссию с самыми широкими полномочиями. В конце концов установили, что описка пошла от машинистки. А все остальные, от корректора до ответрука УзТАГа, читали, но ничего не заметили.

Конечно, надо принимать строгие меры, наказывать. Но кого? Машинистку? Смешно. Руководство? Еще смешнее. Так, спускаясь все ниже, комиссия добралась до «стрелочников». Опять вопрос: у одного дядя в ЦК, у другого — папа в Совмине, у третьего, бери выше, тесть — директор Алайского базара. А вот четвертого кто рекомендовал? Да никто. Пришел с улицы, попросился на работу. Да разве так подбирают кадры? Пусть же все это будет уроком на будущее...

Брата уволили. Как гласил приказ, «за грубую политическую ошибку». Куда идти с такой формулировкой? Кто возьмет?

Один умный человек дал, как выяснилось позже, совсем неумный совет: а ты, говорит, обратись к самому товарищу Суслову. Одернет он перестраховщиков, не оставит в беде...

Брат написал письмо, попросил прощения. Хотя не был ни автором отчета, ни ответственным за выпуск, но виноват: тоже не заметил описки. И вот остался без работы, с семьей, ребенком, без средств, без своего угла. До этого четыре года был на фронте — командир роты. Участник обороны Сталинграда и штурма Сапун-горы. Четыре ордена, десять благодарностей от Верховного Главнокомандующего. Помогите, дорогой товарищ Суслов, на вас вся надежда...

Ответа он так и не дождался. Ни от Михаила Андреевича, ни от Михаила Алексеевича. Может, и впрямь обиделся товарищ Суслов? Посчитал за диверсию, не простил. А может, просто не видел письма? Не показали ему письмо помощники-референты, не решились побеспокоить государственного мужа по таким пустякам.

А вот мое письмо товарищ Суслов прочитал. Сам при этом присутствовал...

Месяца за два до открытия очередного съезда ВЛКСМ добрую половину работников «Комсомольской правды» бросили на подготовку предсъездовских, съездовских и послесъездовских материалов. Я сидел в Отделе пропаганды ЦК ВЛКСМ и вымучивал текст Приветствия ЦК партии комсомольскому съезду. Инструктор, в чье распоряжение я поступил, объяснил, что в этом документе должны быть определены задачи, которые станут программными для комсомола на ближайшее будущее. Высокая ответственность давила меня стотонным грузом, я выкарабкивался изо всех сил. Но у меня ничего не получалось.

В соседнем кабинете томился мой коллега Семен Арбузов. Он был опытным газетным зубром. Прославился тем, что подготовил целевой разворот к десятилетию со дня выхода в свет «Краткого курса». Он постоянно писал речи и доклады комсомольских и некомсомольских вождей, резолюции всевозможных пленумов, конференций и слетов. А я был зеленым новичком. И вот теперь мы должны были вступить с ним в переписку, я — написать ему, а он потом мне: Арбузову было поручено подготовить ответное слово съезда.

Я с ужасом глядел на свою начатую страничку с зачеркнутой первой фразой и понимал, что подвожу старшего товарища, обрекаю его на простой. Ведь пока я не отдам ему своего «приветствия», он не сможет писать ответ. Стрелки настенных электрических часов с пугающим треском скакали по цифрам, а я по-прежнему сидел на «нуле».

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетел Арбузов. «Надоело ждать, сейчас будет мне выволочка»,— похолодел я.

— Ну, как успехи? — спросил он дружелюбно.

Я тоскливо развел руками, он понял все.

— А у меня готово! — весело сообщил он.

— Как готово? Ведь я еще ничего не написал. Откуда вы знаете?..

— Не знаю, но догадываюсь. Вот послушай!

Я слушал, раскрыв рот. Передо мной был виртуоз мысли, маг слова, волшебник литой мускулистой фразы. В жизни я никому так не завидовал, как ему.

— А ты не тушуйся,— ободряюще сказал мне Арбузов.— Не боги горшки обжигают, и не они пишут приветствия комсомольским съездам. Возьми мой текст, он поможет тебе очертить круг вопросов, я последовательно отвечал по тем позициям, которые должны быть у тебя...

На следующий день я закончил работу и принес ее своему инструктору. По его указанию я вписал два абзаца. Зав. сектором сказал, что текст слишком растянут, и я эти вставки выбросил. Зам. зав. отделом дал мне свои замечания, я опять вставил два абзаца. Заведующий отделом пропаганды этих абзацев не утвердил, и мой проект принял первозданный вид. Потом он принес его секретарям. А мне сказал, чтобы я возвращался в редакцию: если потребуюсь, то позвонят.

Никто меня больше не беспокоил, и я понял, что мой вариант зарублен окончательно и бесповоротно.

В день открытия съезда ВЛКСМ я был в зале. На сцене Большого Кремлевского дворца появились руководители партии и правительства, встреченные бурными, продолжительными аплодисментами. Объявили, что слово для оглашения Приветствия ЦК КПСС предоставляется товарищу Суслову. Из президиума поднялся какой-то перекрученный, сухой человек со впалой грудью и, подтягивая на ходу локтями брюки, пошел к трибуне. Недружелюбно оглядев зал, он высоким голосом стал оглашать текст. Мой текст! Слова, которые я выстрадал в кабинете инструктора Отдела пропаганды, какими-то неведомыми путями попали в руки дорогого Андреича-Алексеича...

Минуло не одно десятилетие, а мне все так же трудно разобраться в чувствах, которые охватили меня тогда. Нет, я не испытывал никакой радости от того, что мои фразы повторяет столь важная персона. Я был подавлен, выбит из седла. Мне было стыдно: я участвую в странной сделке. Ведь съезд хотел знать, что скажет он, а говорил со съездом я... Мои мозги сместились со своего места,

что-то оборвалось во мне в ту минуту, во что-то я перестал верить, какие-то светлячки перестали мне светить...

Через несколько дней я встретил в редакции Семена Арбузова.

— Слышал, как оглашали твое произведение? — спросил он.

— Слышал,— ответил я безо всякого энтузиазма.— Прошел мой вариант. Заменили всего несколько слов.

— А мне переписали начисто! — сказал он весело.— Ни одной запятой не оставили...

— Не оставили? — переспросил я. Как я ему завидовал и на этот раз!

Следующая встреча с Андреичем-Алексеичем состоялась у меня, можно сказать, на бутылочной основе. Нет, упаси боже, с ним я не выпивал, иначе не имел бы морального права писать эти критические заметки. А выпить в те времена было очень просто. Даже не выходя из редакционного здания. Спиртное продавалось в буфетах «Комсомолки», «Огонька». А пьяных не было. Они появились потом, когда начались всякие ограничения и запреты. А тогда позволяли себе пригласить на чашечку кофе с коньяком уважаемого гостя, знакомого автора, чтоб в спокойной обстановке потолковать о делах.

...Был канун революционного праздника. В середине дня все, кто не был связан с номером, уже освободились, скоро в нашем «Голубом зале» должен был начаться концерт. Мой хороший товарищ из международного отдела встретился в коридоре:

— Давай пообедаем на «Савелии». Ты как?

Мы отправились на Савеловский вокзал, посидели в ресторане, вернулись, разошлись по своим отделам. В ожидании концерта я сел отвечать на письма, их всегда было много.

Вдруг в комнате появился наш хозяйственник Михаил Самсонович в сопровождении двух бравых молодых людей, которых я видел впервые.

— Что поделываете под праздничек? — спросил меня Михаил Самсонович, подходя очень близко. Мне показалось, что он принюхивается.— А вы случаем не выпивали? — спросил он напрямик.

— Михаил Самсонович! Такой деликатный вопрос. При посторонних...

— Да что с ним разговаривать! — рявкнул один из молодых людей.

Меня привели в кабинет ответственного секретаря. Весь цвет редакции были уже в сборе: два очеркиста, репортер, театральный критик. В углу на диване скучал международник, его разоблачили раньше меня. Распоряжался здесь человек средних лет в спортивном костюме.

— А вы что пили? — обратился ко мне «спортсмен».

— Водку,— признался я.

Все остальные, собранные теперь под секретариатской крышей, тоже говорили, что пили водку.

— А может быть, вино? — все допытывался «спортсмен». Пытаясь сбить нас с толку, он начал перекрестный допрос и окончательно запутался сам. Его осенила спасительная идея:

— А ну, рассядьтесь по компаниям, кто с кем пил! А то с вами не разберешься!

Я плюхнулся на диван рядом с международником.

— Нас что, уже арестовали? — озорно спросил он.

Я не успел ответить. Группа захвата (наш хозяйственник и два молодца) приволокла дежурного литправщика.

— Что вы пили? — грозно спросил его «спортсмен».

В обычное время литправщик едва заметно заикался, а когда волновался, то его было очень трудно понять.

— П-п-порт-т...

— Портвейн! — почему-то обрадовался незнакомец.— Это уже ближе. Какой марки?

— Т-три... с-сем...

— «Три семерки»! — хлопнул в ладоши «спортсмен».— Ты, голубчик, нам и нужен! — и приказал своим молодцам: — Спускайте его вниз в машину! Да глядите в оба, чтоб не смылся!

Литправщик что-то пытался объяснить, но его уже повели. Следом выбежал «спортсмен». Он не возвращался. Мы сидели молча, все еще не веря, что вновь обрели свободу. Из «Голубого зала» донеслись звуки музыки, праздник набирал силу.

— Что ж, друзья, пойдем теперь повеселимся,— мрачно сказал театральный критик.

А вот у литправщика веселья не получилось. Все праздники он просидел в каталажке и появился в редакции перепуганным, съежившимся и изрядно похудевшим.

— Я ведь тоже выпил рюмку водки, как все,— сказал он.— Но когда увидел, что началась какая-то страшная проверка, перетрусил и оговорил себя. Подумал, что за «столичную» попадет больше, чем за дурацкие «Три семерки».

— Ну, а что, если кто и пил «Три семерки»? Что это, теперь преступление? Какая-то дикая история...— молвил репортер.

Литправщик огляделся по сторонам и шепотом стал рассказывать нам о том, что узнал в каталажке. Оказывается, в тот вечер в «Правду» приезжал Суслов (недавно он по совместительству был назначен главным редактором.— И. Ш.). Хотел, очевидно, взглянуть на праздничный номер. И вот, когда он только скрылся в подъезде, вдогонку ему полетела бутылка из-под этого самого трехсемерочного портвейна. Почему-то подумали, что бутылку кинули с шестого этажа, где размещалась «Комсомолка».

— Что за чушь! — воскликнул репортер.— Бутылка, сброшенная сверху, падает отвесно, она не может лететь вдогонку за человеком по горизонтали!..

— Бутылку можно было сбросить только с балкона, а он уже полгода заколочен наглухо...— добавил международник.

Скорее всего, все это было выдумкой охраны, которая хотела набить себе цену. Показать шефу, что не зря ест хлеб... К счастью, та мифическая бутылка просвистела и мимо нас. А ведь вполне могли посадить, как террористов. Время было еще сталинское. Дело же закончилось тем, что после несостоявшегося покушения на товарища Суслова в гастрономе напротив перестали покупать портвейн «Три семерки». Продавцы удивлялись, почему такой ходовой товар вдруг потерял всякий спрос...

В следующем сюжете, помимо Андреича-Алексеича, действует, вернее, бездействует еще одно очень влиятельное лицо.

Как-то под вечер меня вызвал заместитель главного редактора «Правды».

— В следующий номер пойдет твой фельетон. Вот

тебе готовый заголовок: «Теща на «Волге». Замысел ясен?

— Не совсем.

— Заголовок все объясняет. Речь идет об использовании персональных машин. Выделяют руководителям, а разъезжают на них тещи, жены, всякие шурины. Попадется тебе зам. министра — хорошо, попадется министр — еще лучше. Постарайся сдать фельетон сегодня. Крайний срок — завтра, двенадцать ноль-ноль...

Я был просто обескуражен. Мало того, что у меня не было ни одного факта, смущала тема. О номенклатурных привилегиях мы никогда не писали. Вообще не упоминали спецпайки, спецмагазины, спецбольницы... Появились новые веяния? Вряд ли...

У дверей моего кабинета меня дожидался мой старый товарищ, наш спецкор.

— Ну как, получил задание? Учти, оно из первых рук!

В последние дни моего товарища не было в редакции, он был в бригаде, которая в загородном особняке писала очередной доклад Л. И. Брежневу.

— И вот позавчера к нам приехал Леонид Ильич, узнать, как идут дела. Нам подали чай, сели в гостиной, завязалась непринужденная беседа о том да о сем, о пятом-десятом. Леонид Ильич завел разговор о персональных машинах. «Когда я еще работал в районе, то всем колхозным председателям дали по бричке, чтоб им удобнее было объезжать свои хозяйства. Только поля председатели по-прежнему обходили пешком. А на бричках их тещи ездили в город на базар торговать картошкой. И тогда в нашей районке появился фельетон «Теща на кобыле». Замечательный фельетон. Так всех этих тещ с бричек как ветром сдуло. А сейчас посмотрите, что творится. Мы раздали нашим руководящим товарищам персональные «Волги», взяли на себя все расходы, а на машинах разъезжают все те же тещи. Так и просится новый фельетон «Теща на «Волге»... Я рассказал об этом разговоре нашему начальству, а остальное ты знаешь,— закончил спецкор.

Я позвонил начальнику УВД Москвы, старому знакомому еще по Комсомолу.

— Что ж, поможем тебе собрать материал,— сказал генерал.— Дело не сложное...

Рано утром за мной заехал сотрудник ГАИ капитан Дьяков, и мы отправились по Москве. К Центральному рынку на Цветном бульваре мы подъехали в тот самый момент, когда теща республиканского министра, обхватив руками гогочущего гуся, по-хозяйски усаживалась в персональный «ЗИМ». Отличное начало! Потом мы сидели в засаде у подъезда к Елисеевскому гастроному, у Дома тканей на Ленинском проспекте, у кондитерской на Арбате. Отъезжая от Сандуновских бань, я обнаружил, что в моем блокноте нет уже чистых страничек. Капитан Дьяков доставил меня в редакцию, я быстро написал фельетон и в назначенный срок отнес заместителю главного редактора. Тот прочитал и пришел в восторг.

— Молодец! Квартальная премия тебе обеспечена.— Отдал распоряжение в секретариат.— Поставь на самом видном месте, ни строки не сокращать!

Все следующее утро я ходил именинником. Принимал поздравления от сослуживцев, от товарищей, от незнакомых людей. После обеда мне позвонил редактор «Крокодила» Мануил Семенов:

— Я только что из «большого дома». Твой сегодняшний фельетон в пух и прах разделал Суслов. Кричал, что «Правда» натравливает народ на руководящий аппарат... Так что смотри!

Я усмехнулся. А чего мне смотреть? Суслов не в курсе дела. Узнает, кто подсказал тему, и умоется... Я принимал поздравления еще два дня. На третий грянул гром. Случилось это на редколлегии, которую вел все тот же заместитель главного (главный редактор болел).

— Так вот, товарищи, мы получили очень строгое замечание от Михаила Андреевича,— сказал он.— Фельетон «Теща на «Волге» признан ошибочным и вредным...

Мне показалось, что я ослышался. Что происходит? Брежнев против того, чтоб чьи-то тещи ездили на персональных машинах, а Суслов, выходит «за»! Брежнев считал, что такой фельетон должен появиться в газете, а Суслов увидел в нем антисоветчину. Почему же Брежнев, зная о выступлении Суслова на совещании, молчит? Так кто же у нас в партии главнее: тот или этот... Между тем, в мою голову продолжали лететь кирпичи:

— Натравливает народ на руководящий аппарат...

Потрафляет обывательским вкусам... Пытается вбить клин в морально-политическое единство...

Заместитель редактора возбуждался все больше и возбуждал против меня редколлегию, не посвященную в суть дела. Я попробовал защищаться:

— Но вы же знаете, кто дал мне задание, кто требовал, чтоб я в самом срочном порядке писал фельетон...

Заместитель редактора оборвал меня на полуслове:

— Что ты хочешь этим сказать? Посадил газету в лужу, а теперь ишещь виноватых?

Жаловаться товарищу Суслову на этого бестыжего человека я почему-то не стал.

Несколько раз я видел Андреича-Алексеича настолько близко, что при желании мог бы потрогать его руками. Был даже представлен ему лично. Это событие состоялось в приемной главного редактора «Правды» П. А. Сатюкова ровно через пять минут после того, как он был снят со своего поста.

В работе октябрьского Пленума шестьдесять четвертого года Сатюков участия не принимал, он находился в Париже. Вряд ли эта командировка была случайной. Скорее всего, его как человека, близко стоявшего к Н. С. Хрущеву, постарались отправить подальше.

Сатюков появился в редакции дней через десять. Он проследовал в свой кабинет, собрал редколлегию. Был смущен, но, в общем, держался. Мы смотрели на него и не знали, является ли он нашим редактором, или уже нет.

— Узнав о состоявшемся Пленуме,— сказал нам Сатюков,— я в тот же день дал телеграмму в ЦК о своем полном согласии с принятыми решениями. По приезду сразу же позвонил Леониду Ильичу, спросил, как мне быть. Он ответил: «Вы наделали много ошибок, вам их и исправлять. Беритесь за дела».

И Сатюков взялся за дела. С присущей ему энергией и удивительной работоспособностью. Составлялись общередакционные и отдельческие планы по реализации решений Пленума, давались задания собкорам, спецкоры разъезжались по всей стране. Сатюков был в редакции с утра до позднего вечера. Перед подписанием полос он надевал свой неизменный кожаный пиджак,

спускался в типографию и там прямо у талера вносил последнюю правку. Никто из нас уже не сомневался, что он останется редактором. Как и он сам, ведь Брежнев сказал ему, что он останется на своем месте.

Свой последний день Сатюков начал, как обычно: вычитал полосы, провел редколлегию, совещался с отделом писем, встречался с редакторами других отделов, потом пригласил меня.

— Вот письма новоселов о низком качестве мебели,— сказал он, вручая мне папку.— Ты знаешь, как сейчас остро стоит вопрос о товарах для народа? Нужен острый фельетон. Кто бы мог сделать?

— Мог бы Семен Нариньяни. Он оправился после болезни и сейчас в боевой форме.

— Пусть пишет. Попроси его от моего имени, чтоб не тянул. А завтра зайдешь, скажешь, как дела...

Назавтра я уже не зашел: быть редактором Сатюкову оставалось минут сорок... Едва я вернулся в отдел, как по коридорам электрическим разрядом пронеслась новость: к нам едет Суслов, машина уже вышла из ЦК.

В кабинете главного спешно собралась редколлегия. Тут же появился Суслов. Он прошел к редакторскому столу, сел слева на стул.

— Понял, зачем я приехал? — спросил он у Сатюкова.

Суслов вынул из папки пачку экземпляров «Правды».

— Вот полюбуйся, в последний год жизни Сталина «Правда» дала девять его портретов. А сколько ты напечатал снимков Хрущева?

Если не ошибаюсь, Суслов назвал цифру 283.

На наших глазах разыгрывалась какая-то комедия. Будто и впрямь можно было подумать, что все эти десять лет Суслов приказывал редакторам снимков Хрущева не давать, а те сопротивлялись и по собственной инициативе протаскивали на каждую полосу по пять клише! И что бы Суслов сотворил с Сатюковым, если бы он еще совсем недавно не опубликовал хоть одну обязательную фотографию Никиты Сергеевича?

...Весь процесс снятия Сатюкова занял считанные минуты. Суслов вышел из кабинета, за ним вся редколлегия гурьбой. Я очутился прямо за его спиной. В приемной к Суслову кинулся помощник редактора

М. А. Шатунов. Представился и доложил:

— Вам только что сюда звонили...

Кто звонил, я не расслышал.

— Это вы, что ли, тут фельетончики пописываете? — вдруг спросил его Суслов.

— Не я, не я,— перепугался Шатунов.— Это Шатуновский! Вот он! — Он показал на меня пальцем.

Суслов оглянулся, смерил меня своим тяжелым взглядом и, сказав «То-то!» — пошел дальше.

— Ну, теперь, Илья, жди оргвыводов,— пошутил кто-то.

Я ждал. Не в шутку, всерьез...

С дорогим Андреичем-Алексеичем я сталкивался постоянно и каждодневно. Не с человеком, с его тенью. Тенью мрачной, гнетущей. Его называли «серым кардиналом». Мне же он всегда казался человеком в футляре. В тысячу раз ухудшенным переизданием чеховского Беликова. Он и сам замуровал себя в непроницаемом футляре, отгородившись от живой жизни, и упрятал бы в такой же футляр всех и каждого, если б смог.

БЕРИЯ И БЕРИЕВЦЫ

«Как-то мы ходили, гуляли,— вспоминал Никита Сергеевич Хрущев,— и Берия начал развивать такую мысль:

— Все мы под Богом ходим, как в старое время говорили, мы уже стареем. Все может случиться с каждым из нас, а у нас семьи остаются. Надо подумать о старости и о своих семьях. Поэтому я предложил бы построить персональные дачи, которые должны быть переданы государством в собственность тех, для кого они построены.

Это тоже характерно для Берия. Для меня уже был неудивителен такой некоммунистический ход мышления. Он полностью вязался с образом Берия.

Я был убежден, что все это он сделал в провокационных целях.

Потом говорит:

— Я предлагаю строить дачи не под Москвой, а в Сухуми... О! какой это город! (Он начал говорить, какой это чудесный город). Я предложил бы их в Сухуми строить не на окраине города, зачем за город идти, а освободить в центре большой участок, чтобы сад посадить, персики.

Он начал хвалить, какие там персики растут, какой виноград.

Он развивал дальше свои мысли. У него все было продумано: какой нужен обслуживающий персонал, какой штат. Все ставилось на широкую, барскую ногу.

Он продолжал:

— Проект и строительство будет вести Министерство внутренних дел. В первую голову, я считаю, надо строить для Егора (то есть для Маленкова), потом тебе, Молотову, Ворошилову, а затем и другим.

Я слушаю его, не противоречу.

Только сказал:

— Подумать надо.

Мы с Маленковым и Берия поехали за город на дачу. Сначала мы ехали втроем. Подъехали к повороту с Рублевского шоссе, где мы с Маленковым должны ехать налево, а Берия прямо, и пересели с Маленковым в одну машину.

Я Маленкову говорю:

— Слушай, как ты на это смотришь? Это же чистейшая провокация.

— Ну что ты так к нему относишься?

Я ответил:

— Я его вижу, это провокатор. Он это для провокации сделать хочет. Разве можно так поступать? Давай сейчас ему не противоречить, пусть он этим занимается и думает, что его никто не понимает.

Берия начал развивать эту идею. Он поручил составить проекты. Когда проекты закончили, он пригласил нас, проекты показал и предложил начать строительство. Докладывал по этим проектам известный строитель. Сейчас этот товарищ работает (выскочила из памяти его фамилия) начальником строительства предприятий атомной энергии. Я его знал еще до войны и по

войне. Берия считал его своим близким человеком, он работал у Берия, выполнял то, что Берия говорил.

После этой встречи я Маленкову говорю:

— Слушай, ты пойми, у Берия есть дача. Он говорит, что себе тоже выстроит, но он не будет себе строить. Он тебе построит, и это будет сделано для дискредитации тебя.

— Нет, ну что ты. Он со мной разговаривал.

Во всем этом деле очень существенным было то, что когда Берия предлагал строить собственные дачи, особенно для Маленкова, то он говорил, что надо обязательно построить их в Сухуми. Когда он показывал проект, то он с большим восхищением говорил об этом проекте, а проект был уже конкретный, уже было намечено место, где эта дача будет выстроена в Сухуми. По планировке там предвиделось выселение большого количества людей, я боюсь сейчас сказать, сколько. Министр строительства, который тогда докладывал, говорил, что надо выселить огромное количество людей, что эта стройка — бедствие для людей. Шутка ли сказать: это их собственность, сколько поколений там жило, и вдруг их выселяют.

Берия тогда говорил, что это место выбрано так, чтобы Маленков из своей дачи видел Черное море, мог за Турцией наблюдать.

Он шутил:

— Турция будет видна, очень красиво.

Когда все разошлись, мы опять остались наедине с Маленковым.

Я ему говорю:

— Ты разве не понимаешь сути провокации? Чего хочет Берия? Берия хочеть сделать буквально погром, выбросить людей, разломать их очаги и выстроить себе там дворец какой-то. Все это будет забором обнесено. Всюду будет клокотать негодование в городе. Всех будет интересовать: для кого это строят и для чего это строят? И вот когда все будет закончено, ты приезжаешь, люди видят, что в машине сидишь ты — Председатель Совета Министров, весь погром и выселение с мест людей — все это было сделано для тебя. Это будет такое возмущение, не только в Сухуми, но оно перебросится буквально везде и всюду. А это нужно Берия. Ты тогда будешь сам просить об отставке.

После этого разговора Маленков призадумался.

Берия говорил о дачах и с Молотовым. Я не ожидал этого от Молотова, но Молотов согласился. Он сказал только, чтобы ему построили не на Кавказе, а под Москвой. Я был удивлен. Я думал, что Молотов вспыхнет и будет возражать. Не знаю, как это получилось.

Так как никто активно не высказывался против, машина заработала. Были сделаны проекты. Берия их просмотрел. После работы мы заезжали к Берия, он показывал мне проект моей дачи.

— Эй, слушай,— говорил,— какой хороший дом (он говорил не чисто по-русски, а с таким грузинским акцентом. (Н. Х.) Смотри какой.

Я говорю:

— Да, хороший, он мне очень нравится.

— Возьми домой.

Я привез проект домой и, честно говоря, не знал, куда его деть.

Нина Петровна говорит:

— Что это у тебя?

Я ей признался.

Она возмутилась и говорит:

— Это безобразие!

Я не мог Нине Петровне ничего объяснить и сказал:

— Давай отложим его, потом поговорим.

Дело завертелось, Берия пытался форсировать начало строительства, но до ареста Берия ничего сделано не было. Когда его арестовали, мы тут же все отменили. А проект этой дачи еще долгое время валялся у меня».

Это воспоминание «соратника». А сын Лаврентия Берия все воспринимал по-иному.

Рассказывает Серго Берия...

«И о моем отце, и о нашей семье за последние сорок лет неправды написано много. Прожив 87 лет, мама, любившая отца всю жизнь, умерла с твердым убеждением, что все эти домыслы, откровенные сплетни понадобились партийной верхушке — а это от нее исходила ложь об отце — лишь для того, чтобы очернить его после трагической гибели.

Родился он 17(30) марта 1899 года. Мечтал об архитектуре и сам был хорошим художником. Вспоминаю одну историю, связанную уже с моим детством. Верующим человеком я так и не стал, хотя с глубоким уваже-

нием отношусь к религии. А тогда, мальчишкой, я был воинствующим безбожником и однажды разбил икону. Смешно, разумеется, говорить о каких-то убеждениях, скорее всего это стало результатом воспитания, полученного в школе. Словом, бабушка Марта была очень огорчена. Она была верующая и до конца жизни помогала и церкви и прихожанам.

Возвратившись с работы, отец остудил мой атеистический пыл и... нарисовал новую икону. Тот разговор я запомнил надолго. «К чужим убеждениям надо относиться с уважением».

Человеком он был разносторонне одаренным. Рисовал карандашом, акварелью, маслом. Очень любил и понимал музыку. В одном из остросюжетных политических боевиков, изданных на Западе, идет речь о Берия как о «единственном советском руководителе, позволявшим себе наслаждаться роскошью по западному образцу». Вспоминают «паккард», полученный якобы через советское посольство в Вашингтоне, роскошную подмосковную дачу, принадлежавшую в свое время графу Орлову, мраморную дачу в Сочи, теннисные корты, бильярдные, тир для стрельбы, крытый бассейн, скоростные катера. Утверждают даже, что костюмы для отца шились в Риме и Лондоне, что он обладал одной из лучших в стране коллекцией пластинок, пил французский коньяк и читал лишь поэтов-романтиков прошлого...

Что тут можно сказать... Какое-то нагромождение домыслов. Мама часто покупала пластинки Апрельского завода с записями классической музыки и вместе с отцом с удовольствием их слушала. А вот поэзию, насколько помню, отец не читал. Он любил историческую литературу, постоянно интересовался работами экономистов. Это было ему ближе.

Не курил. Коньяк, водку ненавидел. Когда садились за стол, бутылка вина, правда, стояла. Отец пил только хорошее грузинское вино и только в умеренных, как принято говорить, дозах. Пьяным я его никогда не видел. А эти россказни о беспробудном пьянстве...

Костюмы из Лондона, Рима и еще откуда — это и вовсе смешно. Обратите внимание: на всех снимках отец запечатлен в на редкость мешковатых костюмах. Шил их портной по фамилии Фурман. О других мне слышать не приходилось. По-моему, отец просто не обращал

внимания на такие вещи. Характер жизни был совершенно иной, нежели сегодня. Назовите это ханжеством, как хотите, но жить в роскоши у руководителей государства тогда не было принято. В нашей семье, по крайней мере, стремления к роскоши не было никогда.

Дача, во всяком случае, была одна, современной стройки, и к графу Орлову, конечно же, ни малейшего касательства иметь не могла. Да и не отцу она принадлежала, а государству. Пять небольших комнат, включая столовую, в одной действительно стоял бильярд. Вот и все.

Когда мы переехали из Тбилиси в Москву, отец получил квартиру в правительственном доме, его называли еще Домом политкаторжника. Жили там наркомы, крупные военные, некоторые члены ЦК. Как-то в нашу квартиру заглянул Сталин: «Нечего в муравейнике жить, переезжайте в Кремль!» Мама не захотела. «Ладно,— сказал Сталин,— как хотите. Тогда распоряжусь, пусть какой-то особняк подберут».

И дачу мы сменили после его приезда. В районе села Ильинское, что по Рублевскому шоссе, был у нас небольшой домик из трех комнатушек. Сталин приехал, осмотрел и говорит: «Я в ссылке лучше жил». И нас переселили на дачу по соседству с Кагановичем, Орджоникидзе. Кортов и бассейнов ни у кого там не было. Запомнилась лишь дача маршала Конева. Он привез из Германии и развел у себя павлинов.

А «паккард» действительно был, как у всех членов Политбюро. Закупили их тогда, кажется, десятка полтора. Один из них выделили отцу, но в отличие от Сталина, Молотова, Ворошилова и других, отец на нем не ездил. Это была бронированная машина. Отец же пользовался обычной.

Говорю это не к тому, что руководители государства не имели каких-то льгот. Мать, как и другие жены членов Политбюро, в магазин могла не ходить. Существовала специальная служба. Например, комендант получал заказ, брал деньги и привозил все, что было необходимо той или иной семье. А излишества просто не позволялись, если даже появилось у кого-то из сталинского окружения такое желание. Лишь один пример: вторых брюк у меня не было. Первую шубу в своей жизни мама получила в подарок от меня, когда я полу-

чил Государственную премию. И дело не в том, что отец с матерью были бедные люди. Конечно же нет. Просто в те годы, повторяю, не принято было жить в роскоши. Сталин ведь сам был аскет. Никаких излишеств! Естественно, это сказывалось и на его окружении.

Он никогда не предупреждал о своих приходах. Сам любил простую пищу и смотрел, как живут другие. Пышных застолий ни у нас, ни на дачах Сталина, о которых столько написано, я никогда не видел. Ни коньяка, ни водки. Но всегда хорошее грузинское вино. Это потом уже руководители страны почувствовали вкус к роскоши.

Многие историки, например, недвусмысленно намекают на причастность моего отца к смерти Серго Орджоникидзе, убийству Сергея Мироновича Кирова. Говорит об этом и Светлана Аллилуева: «И лето 1934 года прошло так же — Киров был с нами в Сочи. А в декабре последовал выстрел Николаева. ... Не лучше ли и не логичнее ли связать этот выстрел с именем Берия, а не с именем моего отца, как это теперь делают? В причастность отца к этой гибели я не поверю никогда... Был еще один старый друг нашего дома, которого мы потеряли в 1936 году,— я думаю, не без интриг и подлостей Берия. Я говорю о Георгии Константиновиче, Серго Орджоникидзе». Уверен, что подобных обвинений читатель встречал немало. Но кто знает, как дороги были всю жизнь и моему отцу, и всей нашей семье эти два человека. Серго Орджоникидзе — мой крестный отец... меня ведь и назвали в честь Серго. Когда родители приезжали из Тбилиси в Москву, непременно останавливались в его доме, да и Серго часто бывал у нас, когда приезжал по делам или на отдых в Грузию. Такие были отношения.

Наверное, это странно звучит, но мой отец был очень мягким человеком. Странно, потому что за последние сорок лет столько написано о допросах, которые он якобы проводил в подвалах Лубянки, о его нетерпимости к чужому мнению, о грубости. Все это, заявляю откровенно, беспардонная ложь. Это по его настоянию — в архивах есть его записка в Политбюро и ЦК по этому поводу — был наложен запрет на любое насилие над обвиняемыми.

Это он сделал все, чтобы остановить колесо репрес-

сий, очистить органы государственной безопасности от скомпроментировавших себя активным участием в массовых репрессиях работников. Впрочем, это тема отдельного разговора, от которого я ни в коей мере не собираюсь уходить. Пока скажу лишь одно: не был мой отец тем страшным человеком, каким пытались его представить в глазах народа тогдашние вожди. Не был и не мог быть, потому что всегда отвергал любое насилие.

Даже когда говорят, что отец, став наркомом внутренних дел, разогнал «органы», повинные в злодеяниях 30-х годов, это не так. Ушли, вынуждены были уйти и понести ответственность лишь те следователи, сотрудники лагерной охраны, кто нарушал закон. Этого отец не прощал ни тогда, ни позднее. А тысячи и тысячи честных работников продолжали бороться с уголовной преступностью, как и прежде, работали в разведке и контрразведке. Насколько известно, приход нового наркома внутренних дел связан и с самой реорганизацией карательных органов, и с массовым освобождением из тюрем и лагерей сотен тысяч ни в чем не повинных людей».

Дети любят своих родителей и уважают, что может быть естественней этого. Может поэтому в воспоминаниях «кремлевских детей» противоречий подчас больше, чем в мемуарах их родителей.

Вот еще одно свидетельство, на этот раз сына чекиста Березина, проникнутое любовью к отцу и ненавистью к Берия.

«Недавно я прочитал в «Юности» журнальный вариант книги А. Антонова-Овсеенко «Берия».

Рассказывая о трагической судьбе одного из руководителей ВЧК, М. С. Кедрова, автор ищет и не находит ответа на важный вопрос: почему в 1921 году Дзержинский оставил без последствий докладную Кедрова?

Наверное, одному мне известно, чем закончилось рассмотрение докладной и как много лет спустя, в 1939-м, то благодушие по отношению к Берия, а возможно, и укрывательство повлекли за собой трагедию Кедрова и его близких, нашей семьи, а в конечном счете обернулось всенародным горем.

Об этом рассказал в 1956 году мой отец — Я. Д. Березин — секретарь МЧК в 1918—1921 годах и начальник административной части ГПУ — ОГПУ в 1922—1924 годах.

Тогда, в декабре двадцать первого, Дзержинский вызвал Березина и вручил ему ордер на арест Берия. При этом Феликс Эдмундович сказал, что Кедров написал докладную, в которой есть факты о провокаторской деятельности Берия — ответственного работника Азербайджанской ЧК.

Березин хорошо знал Кедрова по совместной работе в ЧК; в нашем семейном архиве сохранилась фотография руководителей ВЧК и МЧК в 1919 году, где Кедров и Березин запечатлены в одном строю. Что касается Берия, то тогда отец впервые услышал эту фамилию.

Для задержания и ареста Берия был назначен наряд из четырех чекистов. Ни старший по наряду, ни трое бойцов не знали, кого они должны арестовывать.

За несколько часов до прихода ночного поезда из Баку, Дзержинский вновь вызвал Березина, сказал, что арест Берия отменяется, попросил сдать ордер, порвал его.

«Что случилось?» — спросил Березин.

«Позвонил Сталин и, сославшись на поручательство Микояна, попросил не принимать строгих мер к Берия»,— ответил Дзержинский.

Докладная Кедрова осталась у Дзержинского, он не передал ее в аппарат ЧК. Что стало дальше с докладной — неизвестно.

Берия в ту ночь не прибыл в Москву, за неявку в ВЧК он не получил упреков. Выходит, на то была санкция Дзержинского или Сталина.

Этот случай запомнился отцу навсегда. Он говорил мне, что Берия не мог получить в двадцать первом году от работников МЧК информацию о готовящемся аресте. К тому времени Березин знал о Берия практически все и считал, что он шкурой почувствовал нависшую над ним опасность ареста после проверки, проведенной Кедровым в Баку.

Сегодня все сходятся во мнении, что Сталин лишь в 1924 году узнал Берия. Получается, что главным ходатаем за этого подонка выступал Микоян, который знал его с 1919 года. Что это? Благодушие или расчетливое укрывательство провокатора, с которым они были «повязаны одной веревочкой»? Отец считал, что и на этот вопрос в свое время должен быть получен ясный ответ. В конце 1931 года Берия неожиданно для многих

возник на посту первого секретаря ЦК Компартии Грузии. Ровно через год, в 1932-м, Березин был награжден вторым знаком Почетного чекиста. На торжествах, посвященных 15-летию органов ВЧК — ОГПУ, он в узком кругу чекистов рассказал о былых намерениях Дзержинского арестовать Берия и о роли Сталина и Микояна в этом деле.

В то время Менжинский был болен, а исполнявший обязанности председателя ОГПУ Ягода полностью ориентировался на Сталина. Порочный дух доносительства проник в ряды чекистов. Нашелся доносчик и на Березина. В ноябре 1938 года Сталин назначил Берия наркомом внутренних дел. Он не стал арестовывать Кедрова и Березина, более того, терпел в центральном аппарате НКВД на руководящей должности сына Михаила Сергеевича — Игоря Кедрова.

На первый взгляд, Берия добряк: кто старое помянет — тому глаз вон. Березин считал по-другому. На первых порах Берия был обязан выполнять установку Сталина: судьба людей, известных емv лично, решается только им самим: обстоятельства заставляли Берия выжидать.

В начале 1939 года Кедров встретился с Березиным и сообщил, что он решил первым пойти в неравный бой с Берия. Он считал, что потом будет поздно.

Березин ответил: неправильно думать, что Сталин не знает истинного лица Берия. Рассказал о неприятном объяснении с Ягодой по доносу в 1932 году. По мнению отца, у Кедрова не было шансов на успех. На это Михаил Сергеевич заявил, что лучше умереть в открытом бою, чем ждать, когда Берия убьет из-за угла.

В конце встречи Березин дал слово Кедрову, что в случае чего не выдаст его.

Вслед за сыном и отцом Кедровым в июле 1939 года арестовали Березина — последнего оставшегося на свободе дважды Почетного чекиста.

О том, что было дальше, больно рассказывать и трудно писать. Но я все же пишу — это мой долг перед светлой памятью моих родителей. Березину предъявили обвинения в попытке покушения на Ленина.

Здесь я должен сделать небольшое отступление. В 1919 году в районе Сокольников шайка вооруженных бандитов остановила и угнала автомобиль, в котором

ехал Ленин. К счастью, Владимир Ильич при этом не пострадал. Грабители лишь забрали у него личные вещи. Вскоре московские чекисты настигли и в перестрелке смертельно ранили главаря шайки Якова Кошельникова. При обыске у него были изъяты документы убитого сотрудника МЧК Королева, 63 тысячи рублей, бомба, два маузера и браунинг. По номеру чекисты установили, что браунинг — личное оружие Ленина. Дело по уничтожению банды было за МЧК, операцией руководил Березин, поэтому Дзержинский поручил ему возвратить браунинг Ленину. Кстати, дело по ликвидации банды сохранилось в архиве, его отнесли к разряду уголовных.

Теперь возвращаюсь к основной теме. Бериевские следователи обвинили Березина, что браунинг был заряжен, и когда он передавал его Ленину из рук в руки, то лишь бдительность личной охраны не позволила отцу исполнить «коварный замысел».

Предел кощунства? Да, но на это и был расчет: ошеломить Березина чудовищной ложью.

Через несколько суток после изнурительных допросов следователь открыто предложил Березину сделку: давайте показания на Михаила Кедрова, и мы обвинения в попытке покушения на Ленина снимем. Отец категорически отказался.

Бериевцы решили применить пытки. Одна из них — «пятый угол». Небольшая комната окрашена в темно-зеленый цвет, пол коричневый. С потолка свисает электролампа, прикрытая колпаком так, что высвечиваются лишь галифе и сапоги палачей, выстроившихся спиной к стене. Измученного допросами и бессонницей Березина надзиратели вталкивают в комнату. Садисты швыряют его от стены к стене, бьют сапогами и цинично выкрикивают: «Мы больше не будем, если ты, фашистская сволочь, найдешь здесь пятый угол».

На втором «сеансе» он уловил среди выкриков голос следователя. Собрал остаток сил и выждал, когда его толкнули в нужную сторону. Выпрямился как пружина, схватил палача загрудки, оторвал от пола и кулаком нанес сокрушительный удар в подбородок. Сам слышал, как затрещали кости; следователь затих на полу. На несколько секунд воцарилась мертвая тишина...

После жестоких побоев отец очнулся в карцере. Невыносимо болело сломанное ребро. Надели наручни-

ки, от которых отекали и не переставая болели руки. Новый следователь завел на Березина еще одно — уголовное — дело за нанесение телесных повреждений офицеру НКВД при исполнении им служебных обязанностей. И участие в пытках считалось у них исполнением служебного долга.

Ни сам Берия, ни его ближайшие сподручные не вызывали Березина на допросы. Моей матери А. И. Фатеевой «повезло» гораздо больше. Отчаявшись выбить показания из отца, Берия прислал за ней своих поручнецев. Ее привезли в час ночи. Разговор он начал ровным голосом: «Ваш муж — враг народа. Мы вам доверяем, как бывшему работнику ОГПУ и заместителю областного прокурора. Откажитесь от него. Я обещаю вам благополучие и детям».

При первой же возможности вставить слово в размеренную речь Берия, мать заявила, что она ни за что на свете не откажется от своего мужа, не верит, что он враг народа.

Берия по-прежнему спокойно ответил: «Ты сама выбрала свою судьбу».

Ее вывели из здания на Лубянке, сопроводили на другую сторону улицы и оставили. В то время мать была беременна на девятом месяце, мне не было еще двух лет, а старшей сестре Майе исполнилось четыре.

На следующий день у матери начались преждевременные роды и ее увезли в родильный дом. Комендант нашего дома Нелькин уже успел «уплотнить» нас из четырех комнат в одну маленькую.

Когда мать рожала младшую сестру Надежду, опять приехали на квартиру с вызовом на допрос. Опоздали на полсуток.

Как только мать вернулась домой, ее подняли с постели и в середине ночи увезли в НКВД. С ней «беседовал» кто-то (он не счел нужным представиться) из близких помощников Берия. Этот стал сразу кричать и угрожать. Ослабленная родами, подавленная морально, мать успела сказать, что отец коммунист с дооктябрьским стажем, один из любимцев Дзержинского, и... потеряла сознание.

Она упала грудью и лицом на стол. Очнулась через несколько секунд и, не поднимая головы, услышала, что хозяин кабинета спрашивает: «Что она мне здесь наде-

лала?». Дежурный офицер обмакнул указательный палец в разлившуюся по столу белесую жидкость, понюхал, попробовал на вкус и ответил: «Да это же грудное молоко».

Хозяин с пренебрежением сказал: «Немедленно уберите ее».

Опять перевели на другую сторону улицы и велели идти домой.

Отец решил пойти на крайность: дал отвод новому следователю, молчал на допросах, при пытках стал отвечать ударом на удар.

И вдруг в конце марта 1940 года Березина переводят в сравнительно неплохую камеру, не вызывают на допросы, дают отоспаться. Еще через несколько дней следователь вызывает Березина и объявляет постановление наркомата внутренних дел о прекращении следствия по его делу за недоказанностью предъявляемых обвинений и об освобождении из-под стражи. Он не поверил, насторожился.

Но вот его опять вызывают и говорят, что ему сегодня вернут носильные вещи и он может идти домой.

Березин снимает тюремную робу, надевает гимнастерку, на которой лишь дырки от наград.

«Где партбилет, где орден Ленина, где знаки Почетного чекиста?» — спрашивает он.

«Получите позже, а сейчас идите домой»,— отвечают.

«Пока не вернете, я не уйду отсюда»,— заявляет Березин.

Его опять переодевают в казенную одежду, водворяют в камеру. Проходят пять длинных дней. Ничто не меняется.

На шестой день приносят вещи и все, что требовал вернуть. Березин внимательно просматривает документы. Партбилет, орденская книжка и грамота к знаку Почетного чекиста от 1932 года — все в дубликатах. Лишь грамота к знаку Почетного чекиста от 1922 года, подписанная Дзержинским, в подлиннике.

Значит, был подготовлен к уничтожению, но освобожден. Почему?

Первое, что узнал после выхода из тюрьмы,— это то, что Г. М. Кржижановский обращался с просьбой за него

лично к Сталину. Второе — в 1939 году работала комиссия под председательством члена Политбюро Андреева по проверке НКВД на предмет выявления невинно осужденных. Наконец, дознался, что было постановление Верховного Суда СССР, оправдавшее М. С. Кедрова, но его нигде нет и никто не знает, где он.

Березин считал, что всего этого было недостаточно для его освобождения, каждый день ждал нового ареста. Через несколько лет он пришел к умозаключению, что НКВД мог освободить его, а Верховный Суд оправдал Кедрова только по указанию Сталина. Зачем же это нужно было Сталину? Такая уж у него была повадка — «держать на крючке» людей из своего ближайшего окружения. У Сталина была редкостная память, и он, конечно же, помнил о разговоре с Дзержинским в двадцать первом. Он знал и о доносе на Березина в тридцать втором. М. С. Кедров и Я. Д. Березин были нужны Сталину как обладатели и живые свидетели компромата на Берия.

Судя по всему, Берия разгадал этот ход Сталина и втайне от него подписал постановление НКВД о расстреле Кедрова. Берия так и не освободил Кедрова из-под стражи вплоть до убийства. Уж слишком его боялся. Сделал он это грязное дело в 1941 году, когда началась война и Сталину было не до Кедрова. Для советского народа была Великая Отечественная война, а для провокатора Берия — удобный повод для сведения личных счетов. Конечно, он сильно рисковал: узнай о его самоуправстве Сталин, ему бы не поздоровилось. Но расчет опытного провокатора оказался для него верным.

Березин же не читал докладную Кедрова и не знал подробностей и конкретных фактов, т. е. представлял меньшую, чем Кедров, угрозу для Берия. К тому же секретариат ЦК утверждал Березина руководителем строительства различных энергетических объектов имени Сталина (ТЭЦ завода им. Сталина, Сталинградская ГРЭС и другие). Одним словом, он был на виду и даже имел рабочие контакты непосредственно со Сталиным.

Видимо, Берия высчитал, что физическое уничтожение Березина — это неоправданный риск.

Березину пришлось домысливать некоторые выводы по своему делу и делу М. С. Кедрова, т. к. все было покрыто плотной пеленой секретности. Хочется наде-

ятся, что время внесет большую ясность в яркий эпизод борьбы здоровых сил в партии и органах государственной безопасности с Берия — этим безобразным порождением сталинизма.

Вместе с тем, мне не хотелось бы, чтобы на основании моего письма можно было сделать вывод, что в НКВД работали только подонки. Мать рассказывала мне, что один из офицеров, делавших обыск у нас на квартире во время ареста отца, сказал своему напарнику: «Ты только посмотри, кого арестовали! Да как же это так! Что творится на белом свете?»

Тюремный парикмахер, что брил Березина, кормил его черносливом. Этот удивительный человек заранее вынимал косточки из сушеных слив и склыдвал их в карман халата. Во время бритья из своей руки скармливал отцу 10—15 слив, чтобы, как он говорил, не заклинивало желудок. Парикмахер сильно рисковал: в случае доноса на него получил бы леть пять лагерей.

История постепенно расставляет все по своим местам...»

Жертвы и палачи периодически менялись местами.

После смерти Берия вся его семья от сына до старой матери подверглась репрессиям, как и многие другие семьи до этого. Логика советских репрессивных органов была поистине железной. Соратники Лаврентия Павловича тоже оказались за тюремной решеткой, а ничего иного и ожидать не приходилось.

О. Волин волей судьбы и тюремного начальства оказался в одной камере с «бериевцами».

«Из шести с лишним лет заключения два с половиной года я находился во Владимирской тюрьме, из них свыше двух лет общался с бериевцами, как с теми, чьи фамилии благодаря Конквесту и Солженицыну прогремели на весь мир (Эйтигон, Мамулов), так и с известными лишь узким специалистам (Шария, Людвигов). В апреле 1961 года меня посадили в камеру 1-93, где находились Штейнберг и Брик. Эту камеру выводили на прогулку с камерой 1-76, где обитали Шария, Людвигов и Мамулов, а иногда и с 1-80, когда в ней находились Эйтингон и Судоплатов. Поместили меня туда по оперативным соображениям: словечком «бериевцы» я, как и всякий в хрущевскую эру, только ругался, они же были, безусловно, враждебны всякой свободной мыс-

ли — следовательно, антагонизм в камере обеспечен, что и требует «кум» и администрация тюрьмы.

Итак, Матвей (Матус) Азарьевич Штейнберг — высокий, крупный, но исхудавший мужчина с наголо обритой головой и старательно (дважды в сутки) бритым лицом. Лет 60. Общее впечатление — цинизм, выпирающий извивом губ, движением бесцветных глаз, даже каким-то поворотом ушей. И это впечатление цинизма подтверждалось практикой общения с ним. Короткое время он был в недоумении: как со мной обращаться? Сделал было попытку — как с подчиненным, как со шпаненком, который за печенье и сахар выносил Штейнбергу парашу и вообще «шестерил». Не вышло — не моргнув глазом сменился на изысканную вежливость. Значительную долю времени совместного пребывания мы с ним общались исключительно на французском языке: он говорил легко и гибко, а я напряженно и с ошибками, но не хотел упускать случая попрактиковаться. Еще он вполне владел испанским и итальянским.

За что Штейнберг сидел, он никогда не рассказывал. Собственно говоря, такая постановка вопроса рассмешила бы его. Он прекрасно усвоил, что сажают не «за что», а «для чего»,— для того, чтобы не мешал кому-то. Так вот, кому именно он помешал, он не распространялся. Вообще, подобно Эйтингону, он и о политически значимом прошлом почти никогда ничего не рассказывал. Порой он напрямую лгал: выдавал себя за генерал-полковника, по каковому поводу Брик шептал мне, то Штейнберг всего лишь полковник. Намекал, будто арестован с должности нач. Якутского КГБ. Но в иных случаях его рассказы подтверждаются проверкой.

С полной уверенностью можно сказать, что Штейнберг никогда не был ни генерал-полковником, ни генерал-лейтенантом, что он не начальствовал в Якутском КГБ, хотя исключить недельное пребывание в должности пома или зама нельзя. По словам Мамулова, Штейнберг последнее время работал в разведупре Министерства обороны, и арест его в 1956-м, как и говорил Штейнберг, был как-то связан с Венгрией.

Начинал он свою карьеру в двадцатые годы. Часто возвращался к приятному воспоминанию — с наслаждением сталкивал крупами коней людей в реку. Речь шла о блокировании одной из демонстраций троцкистов

в 1927-м, а река была Фонтанка или Мойка в районе Марсова поля. Смаковал он также последнюю фразу Блюмкина, которого расстреляли в 1929-м: «А о том, что меня сегодня расстреляли, будет завтра опубликовано в «Правде» или «Известиях»!» Повторял он ее так часто, что создавалось ощущение его личной причастности. В 30-е годы он уже работает в том гибриде наркомминдела и наркомвнудела, каким был IV отдел НКВД, ведавший внешнеполитическими операциями. Самое светлое время его жизни — работа (т. е. аресты) в Испании в 1937—1938 годах. С каким наслаждением повествовал он, как они вместе с Эйтингоном жгли рукописи некоторых советских и испанских коминтерновских деятелей, когда тем грозило попасть в руки франкистам (Эйтингон никогда не обнажал таких эмоций). Мы как раз тогда читали «Люди, годы, жизнь» Эренбурга — это и послужило поводом к беседе, во время которой Штейнберг сказал мне, что «Котов» у Эренбурга и есть Эйтингон. В 1953-м он был смещен с прежнего поста, его стали тасовать, вплоть до Якутии, как он говорил, а в 1956-м — арестовали. Была у него куча влиятельных родственников и знакомых, он был вполне обеспеченным человеком, издавна привыкшим, как к воздуху, к своей обеспеченности и уже не заботившемся о ее поддержании. Избегал пользоваться советскими изделиями, пристрастившись к заграничным.

По тюрьме ходили слухи, сконденсированные потом в книге М. Марченко «Мои показания», будто бы бериевцы жили в роскоши и фаворе у начальства. Это неверно. Я могу насчитать только три бесспорных преимущества, которыми на самом деле пользовались обитатели этих камер:

1. Право на вежливое обращение, всегда корректное обращение. Это право надо понимать всегда в широком смысле: например, в том, как производились обыски. Отношения базировались на доверии — не столько на доверии, что у нас нет запрещенных вещей, сколько на доверии, что мы ими не злоупотребляем (например, никто из нас не станет вскрывать себе вены). Поэтому их не очень-то искали. Приезжее из Москвы начальство укоризненно указывало начальнику 1-го корпуса: «Шупляк, слишком много бритых!» (Ведь в тюрьме не бреют, а стригут машинкой). Тот ежился, присылал со

шмоном сержантов. Но Штейнберг развивал изощренную дипломатию, подкупал надзирателей, и те закрывали глаза на наличие в камере лезвий (исключительно «Жиллет») и зеркал.

2. Право на книги.

3. Бериевцы лучше всех нас знали реальную структуру тюремного управления, «кто на кого может выходить». Это они знали еще до того, как их посадили. Они знали, кого и о чем, и как имеет смысл спросить, когда подавать жалобу целесообразнее всего, а когда надо промолчать. Они оказались в своем собственном мире, который они же и построили, а все прочие — попали в чужой, непонятный, порой вовсе непостижимый мир. И это преимущество облегчало их судьбу.

В конце 1965 года Штейнберг написал жалобу, по которой Военная Коллегия Верхсуда отменила ему статью 58-16 и снизила срок заключения «до отбытого». В январе 1966-го его освободили, и с того времени он живет в Москве.

Евгений Брик, подобно Штейнбергу, не был бериевцем в полном смысле. Общение со Штейнбергом помогло установить мне контакты с бериевскими функционерами; общение с Бриком — нет. Поэтому, строго говоря, к теме он отношения не имеет, но упомянуть стоит. Сам он называл себя сержантом, а Штейнберг шептал, что Брик — минимум капитан и родня Брикам, фигурировавшим в биографии Маяковского. В свои 20 лет (к 1940-ому), он, учившийся в одной школе с «детьми Ярославского» (проговаривался кое-какими подробностями кутежей и бесчинств этого круга, чаще в беседах со Штейнбергом, а не со мной), стал штатным стукачом. Квартира его использовалась для конспиративных встреч сексотов и в качестве места осуществления провокаций против намеченных жертв. Похоже, что первый раз у него шевельнулись некие эмоции изумления: «Да разве ж так можно?!» — но они быстро выветрились, и деятельность его стала ему представляться естественной столбовой дорогой. Фронтовых воспоминаний у него не обнаружено. Зато он был послан в США, где работал долго и успешно. Английский знал в совершенстве, хотя читал мало и не желал бесплатно практиковать меня в английском. Он полюбил Штаты несравненно больше выплачивавшей ему зарплату Родины, пропитался их

духом, и я от него первого вдохнул дыхание американской свободы и американской амбиции, которые так чудесно переданы Бернстайном в «Вестсайдской истории». Он мог запросто остаться в США, но был безумно влюблен в свою жену и возжелал привезти ее в Штаты тоже, для чего в очередной раз в СССР стал подготовлять ей побег, что заметила его мать и в духе лучших традиций донесла. Его посадили (около 1956-го), жена почти тотчас развелась с мужем-изменником, а мать за гражданскую доблесть приобрела право на две дополнительные посылки-передачи сыну (когда они стали лимитироваться, т. е. со второй половины 1961 года). Вот единственное превышение норм передач, которое имело место у бериевцев, да и оно оформлялось как «поощрение» Брику за работу — он устроился уборщиком по коридору. Вообще, он очень тосковал в камере, рвался на любую работу с выходом из нее, мечтал о переводе в лагерь. Разумеется, он стучал, причем даже не слишком скрывал это в принципе, но никогда не сознавался в конкретном поступке. Порой он был готов и по собственному почину оказать услугу, непременного желания напакостить у него не было, но отсутствовали некоторые органы моральных чувств. В отличие от Штейнберга, он не имел прочного тыла на воле. Деньги, хотя и были, были свежеприобретенные, и он мучился вопросами дальнейшего их приобретения, покупки на них себе домика и т. п. Каждые полтора месяца бухгалтерия тюрьмы погашала в сберкассах выигравшие облигации Брика по 3%-ному займу и приобретала на выигрыш новые облигации — переписка на сей предмет составляла весомую часть жизни Брика. В конце моего пребывания в тюрьме, оказавшись с ним вдвоем (после ухода Штейнберга нас с III этажа спустили в двойник на II этаж), мы возненавидели друг друга (скорее всего, повинен был я, с января возбужденно ждавший итога ходатайств Келдыша — Твардовского и напрягавший всю силу воли, чтобы запретить себе «пустую надежду»). Однако не только до драк, но даже до непарламентских выражений у нас никогда не доходило.

В 1964—1965 годах Брика перевели-таки в лагерь.

Две другие койки в 1-93 заполнялись с калейдоскопической быстротой и к теме отношения не имеют, разве лишь потому, что из них Штейнберг подбирал себе шестерок.

На прогулке же мы ежедневно встречались с обитателями 1-79, являвшимися бериевцами в прямом смысле этого слова: начальник канцелярии Берия Л. П. Людвигов, начальник мест лишения свободы генерал-полковник Мамулов (Мамульян), секретарь ЦК КП Грузии по пропаганде и агитации Шария, а также забытый мной по фамилии еврей-полковник (впрочем, Штейнберг язвил, что он подполковник и не имеет права носить генеральскую папаху, которую тот надевал даже в теплые дни), арестованный в 1951-м за незаконное опробование химикатов на людях. Этот освободился к зиме 1961 года и запомнился мне только своим окриком 12 апреля 1961 года, когда все ликовали по поводу запуска Гагарина в космос: «А вы почему не улыбаетесь? Вам не нравятся достижения Советской власти?!»

Мамулов — ровесник Гогиберидзе — подавлял в Абхазии восстание. С тех пор Мамулов подвизался в чекистско-партийном аппарате рядом с Берией, став после войны начальником ГУЛАГа.

В июне 1953 года был послан Берия с некой инспекцией парткадров для подготовки внеочередного, XV съезда КП Грузии, на котором Берия собирался публично закрепить начатую реабилитацию (вроде того, как во всесоюзном масштабе сделал это Хрущев на XX съезде КПСС). Не успел он прибыть в Грузию, как его настигла телеграмма от имени Берия — подложная — с приказом срочно вернуться. Выходя из самолета на военном аэродроме, он попал в объятия своего фронтового друга, тоже генерала: «Сколько лет! Вот радость-то встретиться!» — но из объятий вырваться уже не мог, ибо к двум генеральским рукам присоединилось несколько пар неизвестных, в первую очередь лишивших его пистолета. Не только сцену ареста, но и все обвинение и осуждение Мамулов рассматривал как предательство и весь был пропитан ненавистью и презрением к правящим. При визитах в камеру начальника из Москвы Мамулов демонстративно поворачивался к ним спиной — его негорбящаяся спина невысокого исхудавшего человека (в котором внимательный взор мог заметить прежнюю дородность), демонстративно всегда носившего серую лагерную куртку, чистую и заплатанную, была довольно красноречива. Никогда ни с какими жалобами-заявлениями в Москву и к визитерам оттуда не

обращался. Он четко знал, что его жизненный путь поломался из-за интриг Маленкова, которого, как и его начальника Берия, он всегда не любил. Но и прочих, восторжествовавших после Маленкова, он ставил не выше, хотя остерегался отзываться о них с такой прямотой. Читая у Авторханова в «Загадке смерти Сталина» домыслы о якобы союзе Маленкова и Берия, я посмеивался и вспоминал отношение к Маленкову Мамулова и других бериевцев. Из рассказов Мамулова — он порой говорил сам, но лишь под настроение — для меня бесспорно (впрочем, это подтверждается и многими источниками), что в последние годы (не месяцы!) Маленков находился в самых враждебных отношениях с Берия. Когда после смерти Сталина Маленков и Берия вдруг заходили по кремлевским коридорам в обнимку, заулыбались друг другу, то даже шестилетним младенцам в Кремле (как шутил Мамулов, вспоминая кремлевский анекдот, стилизованный под детский разговор) стало ясно, что вот-вот произойдет крупный переворот, что эта притворная любезность разрешится только могилой одного из них. Надо заметить, что Мамулов, подобно Штейнбергу, стал со мной толковать на эти темы только после того, как увидел, что я знаком с именами и некоторыми из биографий лиц вроде Барамия, Чарквиани, Меркулова, Деканозова, Масленникова, знаю о роли несостоявшегося XV съезда КП Грузии. В противном случае он прошел бы мимо меня с гордым презрением. В отличие от Штейнберга, Мамулов не тужился сохранить замашки высшего света ни в одежде, ни в еде, ни в обращении. Глядя на него, никак нельзя было подумать, что до своего ареста он ежедневно прогуливал на поводке личного крокодила — эту пикантную подробность сообщил или придумал неутомимый сплетник Штейнберг. Мамулов же проговорился куда более важным известием: за несколько лет до моих с ним бесед, когда еще держали в одиночке по мотивам секретности, его раз ошибочно вывели на прогулочный дворик, уже занятый другим секретным заключенным. Остолбенев, Мамулов, узнал в нем высокопоставленного генерала, «которого знала вся страна», который числился, по газетным сведениям, расстрелянным по делу Берия. Тот немедленно отвернулся, спрятав свое лицо, надзиратель заорал на Мамулова: «Выходите!» и вывел его на другой,

причитавшийся ему дворик. Ошибиться Мамулов не мог: он так хорошо знал этого человека! Фамилию его он отказывался мне назвать, как я ни просил и как ни изощрялся в перечислении известных мне фамилий от самого Берия до Рюмина и Рухадзе. Он непритворно жалел, что проговорился: ему казалось, что разглашение такой государственной тайны может отягчить его собственную судьбу. Приговорен Мамулов был именно к тюремному заключению на 15 лет. Ему, как и всем прочим, отнюдь не вменялись какие-нибудь нарушения законности, измывательства над заключенными и т. п., а лишь «способствование продвижению по службе врагу народа Берия Л. П.».

В день моего освобождения, 27 июня 63-го, началась общая перетасовка камер, и Мамулов был переведен в камеру к «двадцатипятилетнику» М., до того сидевшему в одиночке. С середины 50-х годов М. работал при библиотеке, точнее, составлял каталог тюремной библиотеки, для чего в его камеру порциями носили книги, а за это он получал мизерную сумму на ларек. Мамулов питался плохо и постился на деньги, а заметив среди книг «запрещенные» — проявлял «идейно-политическую бдительность». В этой камере Мамулов пробыл меньше полугода: (до ноября), его доносы сработали: у М. отняли кусок хлеба (у него не было никаких родственников-знакомых на воле), а в январе замполит Хачикян (при мне ст. лейтенант, позже майор) назначил библиотекарем Мамулова. Каталог составлен не был, но все сомнительные книги изъяты. Последние ли это подлые дела Мамулова на земле?»

Все в руках Бога. Никто не знает: каково его место в истории, на земле, во Вселенной. Главное — не быть палачом для своего ближнего.

Кому принадлежит прошлое? Никому! Поэтому каждый распоряжается им по своему усмотрению. За это можно осуждать, а можно попробовать подойти спокойно, по-философски, если только речь не идет об оправдании палача... Каждый человек испытывает боль, но почувствовать чужую боль не может никто. Вот и все.

ДИАГНОЗЫ ВОЖДЕЙ

«История болезни» — небольшая книжечка с картонной обложкой. Обычная такая «история» обычного человека не привлечет внимания. Но если она принадлежит вождю, то картон мгновенно превращается в роскошный переплет. Тогда такую книгу пишут не только врачи, но и историки, журналисты, политики. «Истории» могут быть разного прочтения и интерпретации (как далее будет идти речь о Бехтереве). Но так или иначе они расширяют еще одну важную тему: власть и здоровье.

Борис Васильевич Петровский — одно из самых известных имен не только в советской — мировой хирургии. Знаменитый врач, воспитавший поколения учеников, создавший и возглавлявший самые престижные клиники, министр здравоохранения страны в течение пятнадцати лет, Герой Социалистического Труда, действительный член Академии наук СССР и Академии медицинских наук. Он лечил почти всех первых лиц в правительстве нашей страны.

Как сказывалась власть на состоянии их здоровья? И, наоборот, как влияют болезни лидера, его плохое или хорошее самочувствие на управление страной? Есть ли здесь какая-либо зависимость?

Врач, обладающий способностью психологического анализа, может составить свое довольно объективное впечатление о человеке, не всегда адекватное взглядам других.

«Жизнь действительно сводила меня почти со всеми руководителями нашей страны. Многих из них я оперировал. Мне приходилось лечить и консультировать членов правительства и других стран: Насера, Садата, например. Я повстречался с де Голлем, Никсоном.

Могу сказать с полным убеждением — сущность человека, его характер особенно ярко проявляются во время болезни, как собственной, так и близких. Не только работоспособность, решения, но и взгляд на мир Божий зависят от состояния здоровья в значительно большей степени, чем кажется.

Думаю, что связь между состоянием здоровья главы государства и его решениями, его управлением страной, безусловно, существует. С другой стороны, есть и обрат-

ная зависимость. Чем больше берет на себя человек, тем скорее изнашиваются его сосуды, сердце, мозг. Не от умственной работы (она, наоборот, оздоровляет организм), а от груза ответственности, напряжения, стрессов, порой страха за будущее, что часто сопутствует людям, обладающим большой властью.

Разумеется, проявляется это у всех по-разному, в зависимости от характера и других свойств личности, в зависимости от обстоятельств.

Ленин умер в 53 года. О причине его смерти до сих пор рождаются легенды. Предполагали, что его отравил Сталин. Совсем недавно в печати промелькнула информация, что Владимира Ильича отравили грибами. За рубежом ходили слухи, что у него был наследственный сифилис. Ну а самая первая версия — причина смерти в отравленной пуле Каплан.

Лечить Ленина мне не приходилось, но я был допущен к секретным документам, связанным с его болезнью и смертью. Основой его трагического конца оказался распространенный атеросклероз сосудов в связи с их преждевременным изнашиванием. Эта болезнь обычно поражает наиболее уязвимое место. У Ленина таким уязвимым местом был головной мозг, который систематически переутомлялся. В последние годы Владимир Ильич жил в постоянном напряжении, волнениях, непрерывном беспокойстве. Все это в первую очередь ударило по головному мозгу. Все симптомы болезни, подтвержденные материалами вскрытия, говорят о размягчении мозга в левом полушарии.

У Сталина же, как я понимаю, было тоже размягчение мозга, но в правом полушарии. Однако об этом я могу говорить лишь предположительно, по собственному заключению на основании моего врачебного опыта. Документы, связанные с болезнью и смертью Сталина, секретны, и я к ним не допущен.

В личности Сталина меня, хирурга, занимал всегда другой вопрос: откуда его ненависть к врачам, страх перед медициной?

С молодых лет Сталин страдал псориазом — хронической кожной болезнью. Еще в тридцатые годы он прошел курс лечения белковыми препаратами — лизатами у некоего доктора Казакова. Инъекции этого малоэффективного, по сути знахарского препарата, несколь-

ко помогли Сталину, и тогда по велению вождя весьма посредственному врачу Казакову срочно создали специальный «Институт обмена веществ», оснастили первоклассным дорогостоящим импортным оборудованием.

Помню, мне позвонил заведующий отделом науки газеты «Известия» А. И. Банквицер и поручил ознакомиться с работой этого института, что я и выполнил. (Кстати говоря, там применялся распространенный сегодня метод голодания). Надо откровенно сказать, что институт производил впечатление великолепным оборудованием, комфортным обустройством. Это я и написал в небольшой заметке о посещении «Института обмена веществ», не обмолвившись о научной значимости ведущихся там работ.

Доктор Казаков буквально процветал. Но произошло непредвиденное. Пятно, поразившее кожу Генсека, стало вновь увеличиваться. Казаков, только что вкусивший славы, был арестован и казнен вместе с профессором Плетневым и другими. Им приписали отравление Куйбышева и Максима Горького...

Со старением Сталина, с ухудшением состояния здоровья его подозрительность вообще и его неприязнь к медикам, в частности, возрастали. Вспоминается, как январским утром 1953 года, придя в клинику 2-й Городской больницы, я был буквально поражен сообщением, опубликованным в газетах: арестована группа врачей, якобы принимавших участие во вредительстве — устранении ряда крупных государственных и общественных деятелей, военачальников, ученых, писателей...

У нас в клинике в тот день было назначено несколько сложных операций, как и в любой обычный рабочиий день. Врачи собрались у меня в кабинете, и мы стали советоваться: как быть? Решили пойти в палаты, поговорить с больными и отменить операции. В большой двенадцатиместной палате меня встретил гул голосов спорящих, возбужденных больных. Когда я вошел, все смолкли, выжидательно и настороженно уставились на меня. Я по возможности спокойно сказал, что после публикации в сегодняшних газетах мы вполне понимаем их волнение, но у нас в коллективе вредителей нет. Тем не менее, учитывая происходящее, хотим отменить операции. Каково же было мое облегчение, когда больные твердо, почти хором закричали: «Мы вам верим! Не надо отменять операции!»

Свою операцию в тот день я запомнил. Это было удаление легкого по поводу рака. Все прошло успешно. Немалое значение имело поведение больных — бывших фронтовиков, которые собственными глазами видели работу врачей, особенно хирургов, на войне.

Но в некоторых клиниках все же произошли неприятные эксцессы: нескольких врачей избили.

Через два дня мне позвонили из ЦК КПСС. Туда пришло письмо от московского рабочего Ч., которого я три года назад оперировал (и успешно) по поводу рака пищевода и желудка. Ч. писал: «...По-видимому, и профессор Петровский вредитель — он зашил мне во время операции какую-то опухоль под кожу». Письмо было явно несерьезным, но я разыскал больного, решив поговорить с ним. Мрачный, с опущенными глазами сидел он передо мной. Я понял, что Ч. и сам хорошо знал, что я в полном смысле слова спас ему жизнь. Операция, которая ему была сделана, одна из немногих, выполненных в те годы в мире. После войны хирургия пищевода только начиналась.

Я внимательно осмотрел больного. Ознакомился с анализами. Все, как и ожидал, оказалось в порядке, только в месте пересечения, а затем сращения реберного хряща прощупывалось небольшое рубцовое уплотнение. Я предложил сделать маленькую операцию, чтобы ликвидировать уплотнение. На следующее утро Ч. вошел ко мне в кабинет с кровоподтеком под глазом. Оказалось, что слух о письме достиг ушей больных и кто-то из соседей по палате ударил его (видимо, не найдя более веских аргументов). Ч. со слезами на глазах подробно рассказал мне, как его подучили написать такое письмо, и просил его простить. Сказал, что хотел сразу попросить прощения, но было стыдно, а на соседей по палате зла не держит, поделом ему.

Шли дни. Вдруг меня вызывают в ЦК КПСС. Я должен в составе партийной комиссии выехать срочно в Рязань. Секретарь Рязанского обкома партии Ларионов позвонил в ЦК КПСС и просил прислать комиссию для разбора «преступлений хирургов в Рязани». И хотя решение нашей комиссии опровергло все обвинения, врачей спасло не наше заступничество, не торжество справедливости, а смерть Сталина.

Любой лидер властолюбив. И все руководители на-

шей страны имели явные тенденции к возвеличиванию себя. Власть заразительна.

Возьмите Хрущева. Человек умный, наделенный здравым смыслом, он сделал много хорошего для страны и мне лично был глубоко симпатичен. Но как сильно под влиянием фактически неограниченной власти, длившейся десять лет, изменялись его характер и поведение: он полностью уверовал в собственную непогрешимость, вторгался в области, где мало что понимал. Все устали от его волюнтаризма.

Хрущев и раньше имел взрывной, непредсказуемый характер. А под влиянием фимиама, который ему курили (кстати, те же люди, которые потом отстранили его от власти), стал фактически неуправляем. Помню, по какому-то торжественному случаю я должен был выступать в Кремлевском Дворце Съездов на многотысячном собрании. Волнуясь, рассказывал о достижениях в области хирургии, об успехах по пересадке почки. Говорил и о наших нуждах. Вдруг Никита Сергеевич меня перебивает: «Вот здесь наш известный хирург Борис Васильевич рассказывает о пересадке почки. Хорошо было бы, если бы он пересадил голову Мао-Цзэ-Дуну!» Меня как кипятком ошпарило.

В зале сидят делегации всех, как тогда говорили, социалистических стран. Вижу — демонстративно направились к выходу делегации Китая, Вьетнама, Северной Кореи. После короткой паузы я продолжил выступление. На следующий день газеты опубликовали отчеты о собрании, но из стенограммы выступлений эти слова Хрущева, естественно, исчезли.

Я был лечащим врачом семьи Хрущевых много лет. Лечил всех и когда Никита Сергеевич был уже в отставке, поэтому говорю со знанием дела.

Познакомились мы с ним в мае 1954 года. Я работал тогда главным хирургом Лечсанупра Кремля. Большинство наших профессоров были совместителями, работали в институтах и других клиниках. Вдруг меня и профессора Маркова приглашают на квартиру Хрущева, который жил в доме напротив кремлевской больницы на улице Грановского. Заболела его супруга Нина Петровна.

Приходим. Большая квартира с казенной обстановкой на третьем этаже. Нина Петровна лежала в спальне.

Только что у нее закончился сильный приступ болей в правом предреберье — доложил лечащий врач. Мы поставили диагноз и на другой день госпитализировали больную. Требовалась операция, и Никита Сергеевич попросил оперировать меня, что, признаюсь, мне польстило. Все прошло удачно.

Потом я часто посещал свою пациентку, бывал у Хрущевых на даче. Меня всегда гостеприимно приглашали выпить чаю. Всякий раз я старался воспользоваться случаем и как бы невзначай говорил о нуждах медицины. Но почти всегда зря старался. Хрущев меня словно не слышал. Медицину он не жаловал.

Однажды тогдашний министр здравоохранения СССР С. В. Курашов попросил меня переговорить с премьером по двум вопросам: о передаче в ведение Минздрава Союза двух мединститутов и о строительстве нескольких московских больниц.

Был полдень. Мы сидели за столом на правительственной даче и пили чай. Выпили и по рюмке коньяка. Беседа пошла оживленней. Никита Сергеевич обладал чувством юмора и любил пошутить. Он делился своими впечатлениями о работе на шахте. Лицо его выражало доброжелательность, он смеялся. И хотя до этого все его отзывы о медицине были скептическими, выбрав удобный момент, я передал ему просьбы С. В. Курашова.

Хрущев рассердился. Настроение его сразу испортилось. «Вы что, заделались адвокатом у этого...? Кажется, вы пришли сюда как лечащий врач?» — гневно сказал он.

Нина Петровна стала его успокаивать, просила помочь медицине. Взяв себя в руки, Никита Сергеевич как бы забыл сказанное и опять превратился в очаровательного, гостеприимного хозяина.

Я пережил этот разговор тяжело и, честно говоря, опасался за судьбу нашего министра. Но ничего плохого с Курашовым не произошло. Вообще, беседуя с Хрущевым, я понял, что он боится медиков.

Ко мне лично вся семья Хрущевых относилась прекрасно. Мне пришлось оперировать сестру Никиты Сергеевича, его сына, дочь. Мы часто встречались на даче в Крыму, на торжественных обедах. Хрущев любил петь песни — наши старые комсомольские, поднимал тосты за всех присутствующих, с азартом устраивал состяза-

ние в стрельбе, сам участвовал в играх.

Вспоминается еще одна встреча с Хрущевым. Она произошла в трагической ситуации, вскоре после моего назначения министром, в конце 1965 года. Мне позвонила Нина Петровна и попросила приехать на дачу в Петрово-Дальнее. Только я положил трубку, разумеется, пообещав немедленно приехать, и стал собираться к ним, как раздался звонок от Брежнева. Брежнев сказал, что Хрущев тяжело заболел и хочет, чтобы я его оперировал: «Вы ведь лечащий хирург семьи Хрущевых, сделайте все, что нужно».

Никиту Сергеевича трудно было узнать: он очень похудел, кожа обвисла. Желтуха. Боли в животе. Сердце работает плохо, тоны глухие. Осмотр показал наличие камней в желчном пузыре и общем желчном протоке. Требовалась операция. Но при таком состоянии пациента риск весьма велик. Я назначил диету, холод на живот, антибиотики. Завтра решил перевести больного на Грановского и там оперировать.

Держался он стоически. Я все сделал, чтобы успокоить Нину Петровну. Эта женщина во всех жизненных ситуациях являла такт, недюжинный ум, доброту, скромность и исключительное обаяние. Надо сказать, что с семьей нашему бывшему премьеру удивительно повезло: прекрасная жена, хорошие дети. Надежная психологическая ниша во многом сохраняла здоровье Хрущева, продлевая ему жизнь в отставке.

Мы сделали что могли. Дело пошло на выздоровление, у Никиты Сергеевича появился аппетит, вылечили желтуху. Он начал ходить. Когда я приезжал в Петрово-Дальнее, Никита Сереевич, бывало, после обязательного чая приглашал меня на прогулку. Вместе с его внуком и большой немецкой овчаркой мы ходили по парку, и он рассказывал мне о своем прошлом. Ни разу не заговорил о политике, о своем освобождении от работы, никогда не высказывал своих огорчений и обид.

Но всякий, у кого вырывают власть, кто не отдает ее по своей воле, не забывает об этом. Психологически такое не проходит даром, оно гнетет.

Умер Хрущев в 1971 году от инфаркта миокарда...

Среди моих пациентов были Насер и Садат. Оба

болели сильным атеросклерозом, характерным для людей, обладающих большой властью.

Насер — яркая фигура, хотя далеко не однозначная. Прекрасный оратор, энергичный, умный. Во время своих выступлений он словно гипнотизировал аудиторию. Популярность его была огромной. Мне казалось, что в нем действует какая-то скрытая пружина, которая неожиданно для всех вдруг распрямлялась и давала ему, человеку больному, жизненный импульс. Он страдал тяжелейшим атеросклерозом конечностей. Потерять власть сильно опасался, был подозрительным и в своей стране врачам не доверял. Лечился у нас.

Но мне приходилось ездить и к нему на консультации. Он много работал, при таком напряжении физическом и моральном не мог долго протянуть. Лечился у нас, в Цхалтубо. Умер в 52 года.

Анвар Садат, по возрасту ровесник Насера, наоборот, казался мне человеком серым, неинтересным, он был третьим лицом в правительстве Насера. Осторожный, подозрительный ко всем, к врачам тоже. При встречах нервничал, глаза бегают...

Хрущев получил власть почти в 60 лет и был отстранен к семидесяти. А дальше на ключевых постах у нас в правительстве оставались люди до совсем преклонного возраста — Брежнев, Андропов, Черненко...

И под стать им оказались почти все члены Политбюро. За рубежом даже появился термин — «геронтологическое руководство СССР», что связывали с «застоем» внутри страны и агрессивной внешней политикой.

Сейчас Брежнева принято ругать последними словами. Но мы тут забываем свою историю. Брежнев в начале пути и в конце — два разных человека. И как врач, я хотел бы разделить 18-летний период деятельности Леонида Ильича на два периода: один — это его приход к власти и последующие годы; второй — когда он начал болеть и фактически отошел от управления страной, передав ее в руки «своих соратников».

Я уже говорил, что люди так уж устроены, что их психика, настроение, принимаемые решения зависят от самочувствия. Раздражительный человек, к тому же старый и больной, наделенный полнотой власти, может ввергнуть страну в катастрофу, даже не отдавая себе в этом отчета. Ну а то, что во время болезни он полно-

стью отстраняется от работы, роняет руль управления, который подхватывает подчас далеко не самые достойные из его окружения,— факт неоспоримый.

Мы это пережили и при Брежневе, и при смертельно больных Андропове и Черненко. Кстати, именно они ввергли страну в афганскую войну, упорствовали, настаивая на необходимости вести ее...

Когда мы познакомились, Леониду Ильичу было лет 56. Среднего роста, спортивного сложения брюнет с запоминающимися густыми черными бровями, он сразу же производил на собеседника хорошее впечатление своей доброжелательностью. Импонировала его сравнительная скромность и то, что он занял сначала только один пост — руководителя партии, оставив должности Председателя Верховного Совета страны за другими лидерами (Подгорным и Косыгиным). Причем Подгорный в этой тройке являлся только послушным помощником Брежнева, но Косыгин, имевший свои принципиальные позиции и «крутой характер», стал как бы его оппонентом.

Это все рассматривали положительно. Кстати, не только в нашей стране, но и все зарубежные политики тогда приветствовали смену руководства СССР. О Брежневе как государственном деятеле в начале его пути многие были весьма высокого мнения.

С возрастом Брежнев начал болеть. Я не был его лечащим врачом, как, скажем, Хрущева, но знаю, что все чаще и очень подолгу он фактически выбывал из политического руководства страной.

Старость и болезни уже сами по себе не способствуют трудоспособности. А тут еще постоянная перегрузка нервной и сердечно-сосудистой систем, бессонница, нелады с семьей, осложнения с дочерью, зятьями.

Избыточный прием медикаментов, невнимание к этому его семьи привели к тому, что Брежнев в последние годы не мог жить без сильных успокоительных средств. Мог ли он быть полноценным руководителем страны?

Постарели и многие руководители «верхнего эшелона». Даже совсем старые руководители, очень старые, не уходили на пенсию, что, конечно, отражалось на сфере их влияния. Им было не до перемен. Дожить бы при

власти в полном собственном благополучии.

Знаете, у врачей есть даже термин — «старческий эгоизм». Так вот, в годы застоя в руководстве страны прямо-таки процветал «старческий эгоизм».

Не лучшим выходом, с моей точки зрения как врача, было выдвижение после смерти Брежнева на должность руководителя государства члена Политбюро Юрия Владимировича Андропова. Я его хорошо знал в бытность его заведующим международным отделом ЦК КПСС. Затем встречался в 1955 году в Будапеште, где он работал послом СССР. Встречались мы и в Москве, особенно во время эпидемии холеры.

Раньше Андропов был деловым, энергичным человеком, но на посту руководителя государства он был избран в разгар тяжелой, смертельной болезни, приведшей к полной гибели почек. Несколько раз в неделю он должен был находиться в отделении гемодиализа на искусственной почке, и только это поддерживало в нем жизнь.

С моей точки зрения, назначение Андропова на высокий пост было антигуманным, чрезвычайно опасным и для него самого, и для государства.

Но в нашей стране в соответствующий период никто по своей воле от власти не отказывался. Те, кто прорвался в «первый эшелон», жаждут ее.

Скорая смерть Андропова никого ничему не научила. Смену его Черненко я считаю еще одной ошибкой. Руководителем страны он стал, будучи тяжело больным необратимой сердечно-легочной недостаточностью. Одышка мешала ему жить и работать. И государство фактически в тот период не имело руководителя.

Все они — Брежнев, Андропов и Черненко — были озабочены собственным здоровьем гораздо больше, чем здоровьем страны. При тяжелых болезнях и преклонных годах наших лидеров медицина могла им помочь мало. А отсюда — раздражение против нашего здравоохранения вообще, безразличие к его нуждам.

Под долгу службы и как министр, я должен был иметь дело с Косыгиным, властолюбивым, жестким человеком, руководителем, я бы сказал, брежневского типа.

А тут у него еще после операции по поводу запущенного рака умерла жена. Оперировал прекрасный

хирург — Маят. Поверьте, ничего нельзя было сделать. Косыгин очень любил жену и глубоко страдал после ее смерти. Но хирург не Бог. Косыгин тогда в гневе сказал: «Я бы всех этих врачей...»

Однако справедливости ради следует сказать, что, столкнувшись во время болезни жены с состоянием медицины, именно Косыгин помог построить отлично оснащенные Онкоцентр и Кардиоцентр.

Я все сворачиваю на свою дорожку — отношение руководителей нашей страны к медицине. Я-то был тогда министром здравоохранения страны. Помнится, в 1978 году дошел до ручки. «Все — министром работать не могу, хватит»,— сказал я самому себе. Один лишь выход — прорваться на прием к Брежневу и все объяснить.

Я знал Брежнева до его болезни и надеялся на помощь. А тот уже никого не принимал, единственный человек, имевший к нему доступ, был Черненко. Ему я и позвонил. Резко сказал: нельзя содержать медицину на такие мизерные средства: в СССР $4^1/_2$ процента, в США — 10 процентов от валового продукта. Черненко принял меня сразу. Подали чай с бубликами.

Я начал издалека — хочу, мол, с вами посоветоваться. Я человек тоже немолодой, родился и прожил девять лет до революции, пережил сталинизм, фронты Великой Отечественной, арест коллег-врачей, родственников... Знаю, к чему ведут подчас письма в правительство. Министерскую должность мне терять не страшно, а вот как ученый и хирург хотел бы еще поработать. Словом, написал я довольно резкое письмо Брежневу по поводу нашего здравоохранения, но на всякий случай не подписал письма. Хочу с вами посоветоваться, отдавать ли его. Прочтите, пожалуйста. Ведь сейчас вы один имеете доступ к Леониду Ильичу.

А письмо я заготовил заранее, взял с собой. Писал о бедственном положении здравоохранения страны, о том, что 70 копеек на лекарства на одного больного в день — смехотворно мало. Привел кривую смертности, в том числе и детской. Писал о нехватке техники, медикаментов, о неэффективных лекарствах. Предлагал создать фонд здоровья (кстати, первый в стране). Говорил о необходимости лучшего оснащения лечебных учреждений. Намечал конкретные меры, например, уменьшение

количества наших нищенских больниц, где не лечат как надо. А в тех, которые останутся, создать нормальные условия для лечения. Словом, лучше меньше, да лучше. Предлагал одну из сессий ООН посвятить здравоохранению, наладить более тесные контакты между медициной мировой и отечественной...

Константин Устинович говорит: «Дайте ваше письмо».

Прочитал его при мне. Подумал. «Написанное вами на меня произвело большое впечатление. Попробую показать Брежневу».

Оставил письмо — будь что будет. А тут еще простудился — заболел воспалением легких. Черненко не звоню.

Ровно через десять дней помощник Брежнева возвращает мне послание. На нем почерком Брежнева резолюция: «Письмо интересное, важное. Предлагаю создать комиссию под руководством Тихонова и доложить на Политбюро, заготовив предложения». И подпись Брежнева. А моей не было. И я подписал письмо после резолюции на него. Вот как получилось.

Моментально создали комиссию. И через три месяца было подписано постановление о развитии советского здравоохранения, постановление № 870. Отличное постановление, но увы... так до сих пор и не выполненное. Я требовал его выполнения.

Но строптивый министр не нужен. В 1979 году, еще при Брежневе, меня освободили. Кстати, на состоянии моего здоровья потеря министерского кресла сказалась благотворно. Я получил возможность больше заниматься научной работой, уделять время ученикам, чаще оперировать, дольше отдыхать.

Для лидера очень важно заранее психологически готовить себя к отставке. Это необходимо на всех уровнях, не только для главы правительства. Недавно, например, когда я решил уйти с поста директора созданного мною научного центра хирургии, сам предложил четыре кандидатуры из лучших своих учеников на пост директора. Избрали одного из них — талантливого ученого, первоклассного хирурга, двадцать три года работавшего со мной,— профессора Константинова.

С возрастом надо избавляться от любых административных должностей и оставшиеся силы отдавать своему

непосредственному делу, творчеству, науке. Однако руководители государств редко сами по своей воле подают в отставку...

На моей памяти это сделал только де Голль. Причина в том, что у него стало сдавать здоровье. А ведь он был очень сильный, здоровый человек, крепкий физически.

Во время войны был такой случай. Летящий в Лондон самолет уже оторвался от земли, де Голль не успел сесть в кабину, но он ухитрился схватиться за руку сидящего там офицера и... оказался в самолете. Представляете, какая мгновенная реакция и огромная физическая сила нужна для этого!

Вообще, должен признаться, я был очарован де Голлем. С удовлетворением прочел недавно в «Литературке», что он и сегодня самая популярная личность в мире (97 процентов опрошенных признали его великим человеком). Я приезжал в Париж в 1947, в 1951, в 1968 годах и наблюдал за отношением к де Голлю французов. Оно всегда было особым, хотя и неоднозначным.

При де Голле мы впервые подписали на уровне членов правительства Договор о сотрудничестве в области здравоохранения. Это первый такой договор с капиталистической страной. Помню, в ЦК тогда не было уверенности, что Франция пойдет на такое соглашение. Но я, как министр здравоохранения, был убежден, что надо приложить все силы к этому. Медицина во Франции на высоком уровне, и от такого сотрудничества мы получим немалую выгоду. Почему-то возлагал надежды именно на де Голля.

И предчувствие не обмануло меня. Я подготовил проект договора, и мы взяли его с собой. Прилетаем в Париж. Нас встречают представители МИДа Франции. При первой же беседе стало ясно, что договор они с нами не собираются заключать. У них даже не был подготовлен проект. Наши предложения встречают в штыки, из моего проекта сотрудничества ни одного пункта не поддержали. И вдруг, всего через день, крутая перемена. Оказывается, нашими переговорами заинтересовался де Голль. Он прочитал мой проект и сказал: «Надо заключать договор по медицине, это важно для людей обеих стран». Срочно собрали второе совещание и торжественно подписали договор в МИДе Франции.

Де Голль дал нам обед. И тост произнес: пью за министров, у которых отцы были врачами! Таких нас за столом сидело трое: я, академик Кириллин и министр иностранных дел Франции Дебре. Видно, де Голль знал об этом факте нашей биографии.

Встречались мы и во время его визита в СССР. Де Голль посетил Москву и Волгоград. Наши медики вместе с его лечащим врачом сопровождали высокого гостя. Профессор Ефуни в шутку спросил лечащего врача президента Франции, как его пациент относится к вину и женщинам, что является в известной степени показателем хорошего состояния здоровья мужчины. И получил такой же шутливый ответ: «Наш президент — ого-го! Он пьет красное вино и любит смотреть на красивых женщин!»

И вот этот жизнелюбивый человек, прирожденный лидер, мужественный генерал, герой Сопротивления, сам подал в отставку с поста президента страны, как только понял, что не может работать с прежним напряжением. У него было обостренное чувство ответственности перед своей Францией. А ведь к его услугам были все достижения мировой медицины.

Борис Васильевич работал в спецбольнице, так называемой Кремлевке. Сейчас много говорят о ликвидации больниц для членов правительства. Одно дело, если под правительством понимать огромный, разбухший партийный и государственный аппарат, всех его служащих, другое — конкретно Горбачева, Рыжкова, Ельцина...

Если речь идет о спецбольницах для бюрократической элиты — отношусь отрицательно; если для Горбачева, Рыжкова, Ельцина и некоторых других членов правительства — положительно. В любом цивилизованном государстве общество серьезно относится к сохранению жизни и здоровья своих лидеров. Это не привилегия и не льгота. Это норма.

Вы знаете, как блестяще поставлен вопрос охраны здоровья лидера страны в Америке, во Франции? Перед визитом де Голля в нашу страну к нам специально приезжала из Франции медицинская комиссия во главе

с лечащим врачом президента. Французские медики внимательно осмотрели нашу хирургию, реанимацию. Побывали в Волгограде, который должен был по плану посетить де Голль, там тоже ознакомились с состоянием хирургии и реанимации. И все это заранее.

А когда де Голль прилетел в Москву (лечащий врач, естественно, был при нем), вместе с президентом прибыли из Парижа контейнеры с кровью для переливания, если вдруг возникнет в этом необходимость.

Повторюсь, в цивилизованных государствах лидеров берегут.

Приведу пример с пребыванием у нас в стране Никсона, чему я тоже был свидетелем.

Перед тем, как президент США должен был лететь к нам с визитом, у него обнаружился тромбофлебит. Но все-таки он решился лететь в Москву. Заранее из Америки к нам прилетела группа врачей. Самым внимательным образом американские врачи ознакомились, как лечат у нас легочную эмболию (это было у Никсона). А здесь мы оказались на самом высоком уровне в мире. Только после этого медики дали согласие на визит Никсона в нашу страну.

Как и в случае с де Голлем, вместе с президентом США прибыли контейнеры с кровью для переливания. Я встречал Никсона на аэродроме. Потом виделись на приемах. Тогда же в Москве был подписан договор по здравоохранению между СССР и США.

Вскоре, уже в Америке, во время поездки советской делегации в Вашингтон, мне предстояло еще раз встретиться с Ричардом Никсоном.

А первый раз я увидел его в 1954 году, когда Никсон в качестве вице-президента США приветствовал врачей — делегатов II Международного конгресса кардиологов. Съезд проходил в Вашингтоне, и я был в числе его делегатов. Тогда молодой Никсон показался мне похожим на боксера, спортивный, резкий в движениях. С годами он стал мягче, спокойнее, в чем я убедился во время его поездки в 1972 году в Москву.

И вот — новая встреча. Президент США пригласил нас на беседу в Белый дом. Я не ожидал, что он примет меня настолько сердечно. Подал руку и проводил к небольшому дивану на площадке, несколько возвышавшейся над залом. Мы долго беседовали. Вспомнили

американских хирургов (он их знал лично), которые начинали контакты между нашими странами по медицине.

Никсон придавал большое значение Межправительственному соглашению США и СССР по здравоохранению. Особенно его интересовало сотрудничество в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Кстати, именно он посоветовал расширить рамки соглашения, включить в договор пункты, касающиеся совместных работ над проблемами гриппа, артрита, легочных заболеваний. Он показал серьезную озабоченность охраной здоровья людей. Прощаясь, Никсон сказал, что прежде всего желает Брежневу здоровья и попросил нас обязательно передать его пожелание.

Мне показалось, что это не простая вежливость. Сам пережив тяжелую операцию, президент США прекрасно понимал, как важно для главы государства быть здоровым.

Существуют ли медицинские критерии, которые разумно предъявлять к состоянию здоровья главы государства? Точно выработанных правил нет и, думаю, быть не может. Все индивидуально. Скажем, в США всегда печать уделяет этому вопросу много внимания. А если глава правительства заболевает или ложится на операцию, газеты печатают подробные отчеты. Общественность отрицательно реагирует, если у лидера есть дурные привычки, разрушающие его здоровье. Когда выбирали Картера, например, специально дискутировался вопрос, курил ли он марихуану.

Мы в этом отношении — страна особая. Нельзя представить себе другое государство, где бы руководители всех рангов работали ночами только потому, что у вождя бессонница. А во времена Сталина было именно так, даже совещания назначали на ночь. Наркомы, директора заводов, главные редакторы газет дремали в своих рабочих кабинетах, но не уходили домой, чтобы ночной звонок вождя застал их на месте.

Это еще одна иллюстрация к тому, как сказывается состояние здоровья главы государства на управлении страной. Руководитель должен быть полноценным, здоровым человеком. Если он испытывает тяжелые страдания, знает о своей неизлечимой болезни, озлоблен, решения его утрачивают объективность.

Как же был президентом парализованный Рузвельт?

Четких критериев, предъявляемых к состоянию здоровья главы государства, нет и быть не может. Возможны исключения.

Рузвельт — яркая, талантливая личность. Он пользовался любовью американцев. Но его президенство — исключение. Лидера страны все-таки хотят видеть активным, здоровым человеком.

На Западе считается естественным, что президент следит за собой, занимается спортом, соблюдает режим.

Корреспондент «Пари матч» задал вопрос Горбачеву, соблюдает ли он режим. И получил ответ, что «его режим — никакого режима». И хотя Михаил Сергеевич уверен, что здоровья ему хватит, чтобы завершить в ближайшие годы задуманное, я, как старый врач, хирург, сын земского врача, посоветовал бы ему все-таки соблюдать режим. И на месте лечащего врача Горбачева запретил бы нашему президенту прерывать отдых, что Михаил Сергеевич делал уже не раз.

Чтобы успешно работать, надо уметь хорошо отдыхать. Это не отдых, когда между дачей руководителя страны и Кремлем циркулируют курьеры с бумагами, когда нет возможности полностью отключиться от государственных забот, от постоянного чувства ответственности. По-моему, президент должен иметь в правительстве лицо, которое проводит его линию, которому он полностью доверяет, так же, впрочем, как и оппонента, заставляющего его критически оценивать свои решения и находить в их поддержку все новые аргументы.

В этом тоже необходимое условие успешной работы, залог здоровья руководителя государства. Но, к сожалению, в нашей стране мало об этом думают. Вопрос этот очень сложный, особенно сегодня. Но, по-видимому, в дальнейшем здесь тоже должно быть принято определенное законодательство.

22 декабря 1927 года Владимир Михайлович Бехтерев произнес слово «паранойя». Вскоре он умер. Вообще-то факт смерти не удивителен для семидесятилетнего человека. Однако смерть Бехтерева взволновала всех. Был он здоров, бодр, энергичен. Полон жизненных сил. Умирают, конечно, и такие, в семьдесят-то лет.

Неожиданную смерть Бехтерева, однако, сразу стали связывать с консультацией, которую он перед тем дал Сталину. Прямых свидетельств, что одно событие сопряжено с другим, вроде бы нет. Между тем, в умах многих людей они накрепко соединились друг с другом и держатся уже не одно поколение.

Не одно поколение живет версия, что Бехтерев был устранен после того, как поставил Сталину упомянутый диагноз. Коли так, коли эта версия являет такую живучесть, тому есть, наверное, причины.

На сообщениях о смерти Бехтерева отчетливо видна кропотливая рука цензуры.

«В. М. Бехтерев приехал в Москву из Ленинграда для участия в работах съезда психиатров и невропатологов, на котором он был избран почетным председателем,— говорится в журнале «Вестник Знания».

В. М. Бехтерев почувствовал недомогание. Утром, 24 декабря, к Владимиру Михайловичу был вызван проф. Бурмин, который констатировал желудочное заболевание».

Что это за фраза — «В. М. Бехтерев почувствовал недомогание»? Какой в ней глубокий смысл? Не ясно ли само собой, что человек, прежде чем умереть, должен почувствовать недомогание?

Поначалу, видно, была эта фраза совсем иной: «23 декабря вечером (наверное, и час был указан) В. М. Бехтерев почувствовал недомогание».

Что-нибудь в этом роде. Но чья-то заботливая рука вычеркнула число и час. Известно, что 23-го вечером Бехтерев был в театре. Кому-то шибко хотелось отдалить друг от друга два события — посещение театра и начало болезни. А заодно растянуть болезнь во времени: в театр сходил 23 декабря, заболел утром 24-го, промаялся целый день и около полуночи отдал Богу душу.

Впрочем, обкорнанная фраза появилась в журналах. Газеты же, выпорхнувшие раньше, проболтались: плохо себя Бехтерев почувствовал действительно вечером 23-го, сразу по возвращении из театра.

Хлопотный у цензоров труд — везде догляди, повсюду поспей. Все сразу сообрази. А наш человек, как известно, задним умом крепок. В газетах, видно, недоглядели, только в журналах спохватились.

Притягивает глаз и запротоколированный час смерти — без пятнадцати полночь. Очень удобный час: сегодня легко превратить во вчера, а завтра — в сегодня. Кто там станет разбираться, 23-го человек умер или 24-го. Вся-то разница — пятнадцать минут.

К умирающему был вызван небезызвестный Бурмин, который позже сыграл позорную роль в деле профессора Д. Д. Плетнева и его коллег, с холуйским вдохновением оболгал их. Легко допустить, что уже в 1927-м он был доверенным человеком заплечных мастеров.

Интересен, не правда ли, и диагноз, который Бурмин поставил умирающему Бехтереву,— «желудочное заболевание»? Что это — язва, гастрит?

После, когда Бехтереву стало вовсе уж худо (по газетам), к Бурмину добавились «проф. Ширвинский, д-р Константиновский и др.» На этот раз было установлено: «острое желудочно-кишечное заболевание».

— По существу, диагноза нет,— комментирует это заключение директор Института судебной медицины А. П. Громов, к которому мы обратились при подготовке статьи.— Желудочно-кишечное заболевание — неопределенное и непрофессиональное заключение. Скорее всего, единственное назначение Бурмина «и др.» было — спрятать концы в воду.

Дальше опять удивительное. После смерти Бехтерева «состоялось совещание видных представителей медицины с участием профессоров Россолимо, Минора, Крамера, Гиляровского, Ширвинского, Бурмина, Абрикосова, представителей наркомздрава и др.». Синклит сей постановил: изъять мозг умершего и передать для изучения в Институт мозга, а тело, опираясь будто бы на волю покойного, «предать сожжению в крематорий».

Для чего вся эта суета? Для чего этот профессорский парад-алле? Разве не семья выбирает между кремацией и погребением?

Самое странное, однако, что медицинские мэтры даже не заикнулись о вскрытии и патологоанатомическом исследовании. Это при скоропостижной-то кончине и невнятном диагнозе! При явном подозрении на отравление.

Не отобьешься от мысли, что кремирование без вскрытия как раз и имело целью не допустить ясности.

Кстати, как рассказывала нам Наталья Петровна Бехтерева, академик, внучка знаменитого ученого, все родственники, кроме жены Владимира Михайловича, были против кремации. Вскрыли череп, изъяли мозг, взвесили, установили, что он тяжелее обычной нормы. Обо всем этом — возвестили. Вся эта мельтешня, по-видимому, должна была прикрыть нагую нелепость ситуации: человек умирает от «острого желудочно-кишечного заболевания», вскрывается не тело, а мозг.

Впрочем, официальной причиной смерти объявили паралич сердца.

Прощание с Бехтеревым было пышным, по первому разряду. И в Москве, и в Ленинграде, куда доставили прах. Мертвый Бехтерев ни для кого уже не был опасен. Напротив, можно было воздать ему на полную катушку.

Во время панихиды в 1-м Московском университете прочувствованное слово сказал и Вышинский, в ту пору ректор этого заведения.

Почти все, кто знал Бехтерева, были убеждены: его отравили. Ученики и коллеги передавали эту версию своим ученикам и коллегам, те — своим. Эти бесчисленные цепочки до сих пор тянутся и ветвятся. Продвигаясь от звена к звену обратным ходом, можно дойти до первоисточника.

Профессор Андрей Евгеньевич Личко, заместитель директора Психоневрологического института, с которым я беседовал в Ленинграде, называет троих психиатров, от которых он слышал этот рассказ еще в молодые годы: доцента Е. И. Воробьеву, работавшую с Бехтеревым с дореволюционных лет, профессора А. С. Чистовича, также близкого сотрудника Бехтерева, и доцента К. М. Кандорацкую, дальнюю родственницу Владимира Михайловича, часто бывавшую в его семье.

— Этой версии трудно не верить,— говорит профессор А. Е. Личко.— В моем сознании она осталась со студенческих лет.

Сотрудник того же института профессор Август Моисеевич Шерешевский в беседе с корреспондентом «ЛГ» сослался на члена-корреспондента Академии пед-наук В. Н. Мясищева и бывшего главного психиатра Министерства обороны профессора Н. Н. Тимофеева. Оба они в молодости работали с Бехтеревым.

Доктор наук Виктор Миронович Гиндилис сказал

мне, что он слышал эту историю от академика А. В. Снежневского, а тот — от профессора Т. И. Юдина. Никого из тех, кто был первым в цепочке, к сожалению, нет в живых.

Академик медицины Левон Оганесович Бадалян — мы встретились с ним в редакции «Литературной газеты» — вспоминает, что в семидесятые годы профессор В. М. Банщиков, тогда председатель Научно-медицинского общества психиатров и невропатологов, на одном из заседаний прочитал письмо, которое передала ему вдова некоего профессора-медика. В этом письме, которое автор просил опубликовать после его смерти, сообщалось, что Бехтерев был отравлен, приводился ряд подкрепляющих фактов.

По моей просьбе коллега, корреспондент «ЛГ» Ю. Яновский, помогавший мне собирать материал для статьи, пытался разыскать это письмо, но безуспешно.

Психиатр Михаил Иванович Буянов давно занимается бехтеревской историей. «Я разговаривал с многими психиатрами, которые хорошо знали Бехтерева или были его современниками,— пишет М. И. Буянов,— разговаривал в хрущевские времена... Говорил в брежневские времена... И все неизменно утверждали: Бехтерева убил Сталин — не сам, конечно, а с помощью своих подручных».

Осенью 1971 года М. И. Буянов беседовал с Владимиром Николаевичем Мясищевым, который в 1939 году стал директором основанного Бехтеревым Психоневрологического института и возглавлял его около тридцати лет. «В декабре 1927 года,— рассказывал Мясищев,— Бехтерев отправился в Москву для участия в съезде психиатров и невропатологов, а также в съезде педологов... Перед самым отъездом из Ленинграда он получил телеграмму из Лечсанупра Кремля с просьбой по прибытии в Москву срочно туда позвонить. Бехтерев позвонил, а затем отправился в Кремль.

На заседание Бехтерев приехал с большим опозданием, кто-то из делегатов спросил его, отчего он задержался. На это Бехтерев — в присутствии нескольких людей — раздраженно ответил:

— Смотрел одного сухорукого параноика.

То ли кто-то из присутствующих доложил куда следует,— замечает по этому поводу М. И. Буянов,— то ли

судьба Бехтерева была уже предрешена, но вскоре после этих слов он неожиданно скончался. Был он физически очень крепок, ни на что не жаловался. Его неожиданная смерть поразила всех, многие заподозрили что-то неладное».

Далее разговор с В. Н. Мясищевым продолжается:

— Ну, а вскрытие что показало? Ведь без вскрытия не хоронят.

— Вскрытия не было.

— Как это так?

— После заседания Бехтерев вместе с делегатами отправился в Большой театр (в газетах писали — в Малый.— О. М.), там к нему подошли какие-то мужчины, которые не были делегатами и никому не были известны. Они повели ученого в буфет, там он стал есть какие-то бутерброды. Потом спутники куда-то испарились, и более их никто не видел. Ночью Бехтерев скончался...

Его прах (кроме мозга) был кремирован без вскрытия... Урна была отправлена в Ленинград.

Вскрывал мозг Бехтерева академик А. И. Абрикосов — крупнейший патологоанатом того времени. Позже А. И. Абрикосов вскрывал В. Р. Менжинского, Г. К. Орджоникидзе и многих других, причина смерти которых фальсифицировалась властями. А. И. Абрикосов всегда чувствовал над собою дамоклов меч НКВД...

Газеты, мы видели, совсем по-другому излагали хронологию болезни и смерти Бехтерева. По газетам, он умер не в ночь после посещения театра, а в следующую ночь. Утверждение, будто Бехтерев умер около полуночи 24 декабря, не совмещается и с рассказом Натальи Петровны, по которому печальная весть была сообщена семье по телефону из Москвы именно 24-го. Вряд ли это можно было сделать за оставшиеся пятнадцать минут.

Конечно, Наталья Петровна была в ту пору мала и могла что-то перепутать, но в семейном предании эта дата осталась прочно. То был сочельник, наряжали елку. С Натальей Петровной, готовя статью, я встречался дважды — в июне в московской гостинице Академии наук и в августе у нее дома в Ленинграде.

На следующий день после московской нашей встречи она позвонила мне домой:

— Кстати, перед сообщением о смерти деда была

некая мистика. Но она вам, наверное, не интересна.

— Нет, отчего же,— возразил я.

— Мистика была такая. Мы наряжали елку, и отец стал зажигать свечи. Свечи он зажигал прямо над Дедом Морозом. Когда зажег три свечи, неожиданно сказал: «Смотрите, у этого деда лицо прямо как у моего отца. И три свечи у изголовья». Вскоре раздался звонок...

Не совпадает это с газетной версией. Из рассказа Мясищева можно предположить, что Бехтерева вызывали на консультацию в связи с развивающейся сухорукостью Сталина, а паранойю он попутно выявил.

Говорили, что Бехтерев участвовал в нескольких консилиумах в отношении здоровья Сталина. Собирались консилиумы не по поводу состояния психики вождя, а по поводу его сухорукости, инсультов и иных неврологических расстройств. Приглашали Бехтерева не как психиатра... а как невропатолога...

Есть, однако, и другие версии.

Лидия Шатуновская пишет: «Многие задумываются, совершал ли он (Сталин — О. М.) чудовищные преступления в здравом уме или страной правил на протяжении многих лет психически ненормальный человек.

В конце двадцатых годов Сталин впал в состояние тяжелой депрессии. Пригласили Бехтерева, который провел с ним несколько часов, а затем на вопросы окружающих сказал: «Диагноз ясный. Типичный случай тяжелой паранойи».

Шатуновская близко соприкасалась в то время с многими работавшими в Кремле и могла, конечно, слышать эти разговоры. По здравому размышлению, сомнительно, чтобы к Сталину приглашали психиатра в связи с предполагаемым помешательством. Сомнительно также, чтобы психиатр осмелился это помешательство вслух подтвердить. Более похоже на правду, что вождю потребовался именно невропатолог, который подсказал бы, как быть с сухорукостью. А неосторожную фразу насчет паранойи Бехтерев действительно обронил на съезде или где-либо еще вдали от кремлевских стен.

Это — по здравому размышлению.

Но тут надо знать Бехтерева. Человек он был властного и независимого характера. Никого не боялся, ни с какими условностями не считался. В царское время был близок ко двору, пользовался благосклонностью

государя. По Петербургу даже ходил анекдот: завидев будто бы из окна Зимнего дворца пролетку Бехтерева, Николай обычно наказывал приближенным дать ему все, что он попросит, «не то он получит от меня больше».

И вместе с тем, этот самый человек в этой самой пролетке приезжал на стачки питерских рабочих, устраивал в клиниках своего института тайные сходки революционеров, выступил на знаменитом процессе Бейлиса как яркий противник антисемитизма, наконец, с некоторых пор находился под негласным надзором полиции...

Авторитет Бехтерева и в России, и за рубежом был огромен. Он сохранился и после революции, которую Бехтерев принял безоговорочно.

Стоило Бехтереву, например, как-то пожаловаться, что ему не дают денег на покупку импортного оборудования, как Калинин тут же распорядился выделить бехтеревскому институту весь фонд валюты, предназначавшийся Наркомздраву.

Кстати, с Калининым они были друзьями. Был знаком Бехтерев и с Лениным, дважды осматривал его во время последней болезни в Кремле и в Горках.

Будучи человеком влиятельным и авторитетным, натурой широкой, Бехтерев, видимо, не имел привычки остожничать, взвешивать слова. Выйдя из кабинета Сталина, в ответ на вопросительные взгляды кучковавшихся в приемной, он вполне мог бросить — это еще одна версия — «Ничего загадочного — обыкновенная паранойя».

Что касается того, вызывали ли к Сталину психиатра или невропатолога — а Бехтерев совмещал в себе то и другое — в качестве психиатра его могли позвать вовсе не в связи с помешательством вождя, а в связи с бессонницей, раздражительностью, аффектацией.

Сталинская бессонница хорошо всем известна. Вся страна вынуждена была приноравливаться к ней. Легионы чиновников всех рангов маялись по ночам в своих кабинетах — каждую минуту мог тренькнуть телефон, последовать приказ, вызов. Вождь решал неотложные проблемы. И эти его ночные бдения приводили в экстаз поэтов.

Еще одна версия: к отравлению Бехтерева причастна его вторая жена Берта Яковлевна. Домашние были убеждены, что это именно ее рук дело. Мотивы отравле-

ния, правда, предполагались меркантильные.

Бехтерев-сын всем рассказывал о своих подозрениях: отца отравили. Хотя подозревал он в злодеянии вовсе не отца народов, а всего лишь собственную мачеху, этого вполне могло оказаться достаточным, чтобы кто-то ощутил необходимость убрать и его. В конце концов, Петр Владимирович, главный инженер одного из ленинградских оборонных КБ, был арестован. Десять лет без права переписки. Существовал тогда такой иезуитский эвфемизм, маскировавший слово «расстрел». Спровадили в лагерь и его жену. Трое детишек начали скорбный путь по распределителям и детдомам.

Бехтерев женился на Берте Яковлевне незадолго до кончины, года за два. Это был странный брак. Она была намного моложе его, не принадлежала к его кругу.

По свидетельству Шатуновской, после смерти Бехтерева Берта Яковлевна бывала у них в гостях. И все удивлялась: отчего это умер Владимир Михайлович, ведь он был совершенно здоров? «Слушая ее,— пишет Шатуновская,— все переглядывались между собой». По завещанию Берта Яковлевна не получила ничего. В середине тридцатых она исчезла. М. И. Буянов и некоторые другие утверждают, что была она родственницей Ягоды.

Истинными мотивами отравления Бехтерева, конечно, не могли быть денежные. Это не вяжется с масштабно организованными попытками замести следы содеянного. С последующим трехдесятилетним вытравливанием памяти об ученом.

Считается, что вместе с Бехтеревым Сталина осматривал еще один психиатр, который разошелся с ним в диагнозе, посчитал вождя здоровым, а бессонницу и раздражительность отнес на счет переутомления. Дальнейшую головокружительную карьеру этого психиатра рассматривали как знак высочайшей благодарности за это его заключение — «здоров».

Не знаю, правда, доставляли ли ему радость посыпавшиеся на его голову благодеяния и милости. Думаю, что до конца дней своих не мог он не испытывать ужаса — ведь он был свидетелем бехтеревского диагноза, а свидетелей обычно убирали, невзирая ни на какие заслуги.

На Западе немало написано об этой истории. Одна из

последних публикаций — статья профессора Лаурн В. Лайтинена, опубликованная в одной из шведских газет. Называется статья «Диагноз означал смерть». У нас об этой версии недавно написала газета «Ленинградский рабочий». Упоминается она также в книге И. Губермана «Бехтерев: страницы жизни».

Хотя дело давнее, на историю гибели Бехтерева можно пролить свет. Один из путей подсказала Наталья Петровна:

— В институте сохранился мозг Владимира Михайловича. Попросите директора провести анализ праха. Раньше ведь кремация делалась не так, как сейчас. Это сейчас поток, обезличка, а тогда все было начистоту, даже в глаза смотреть разрешали.

Я выразил сомнение, что нам удастся организовать такое исследование, не обращаясь в высокие инстанции. Наталья Петровна охотно согласилась:

— Да, даже если проведут анализ, то наверняка мозг заменят.

— Как все-таки получилось, что тело поспешно кремировали, а мозг сохранили? Ведь чтобы обнаружить яд, достаточно кусочка ткани...

— Ну, тогда не было таких методов анализа. А потому не было и боязни, что яд обнаружат. Методов не было, а яд был. С незапамятных времен.

Внук Бехтерева, Андрей Петрович, считает эти анализы излишними, поскольку факт отравления, он полагает, очевиден.

Все-таки мы попросили — не директора института, а министра здравоохранения и Генерального прокурора — провести анализ мозга и праха Бехтерева. Официально направили бумагу от руководства «Литературной газеты». Если яд не будет обнаружен, это ничего еще не скажет: и мозг, и прах могли быть уже и в прошлом заменены, да и времени много прошло. А присутствие яда скажет о многом.

Еще один путь — где-то в недрах КГБ пылится архив Бехтерева. Он хранился у Петра Владимировича и при аресте его был конфискован. Там же должны находиться и дневники Бехтерева-младшего. Петр Владимирович вел их подробнейше, предчувствуя свою судьбу, надеясь, что подробные дневниковые записи предоставят ему алиби, покажут, что ничего предосудительного он не совершал.

То были тщетные надежды: в ту пору алиби не было ни у кого, все были виноваты перед вождем.

Наконец, все это дело может высветить история болезни Сталина. Если, конечно, такой документ существует. Был ли Сталин душевнобольным?

По свидетельству Ромма, Хрущев так говорил о нем: «Вы думаете, легко было нам? Ведь между нами говоря, это же был сумасшедший в последние годы жизни, сума-сшед-ший. На троне — заметьте...»

Но слова Хрущева — это, конечно, не то, что диагноз Бехтерева. Мало ли кого мы называем сумасшедшим. В энциклопедии паранойя расшифровывается так: «...Стойкое психическое расстройство, проявляющееся систематизированным бредом (без галлюцинаций), который отличается сложностью содержания, последовательностью доказательств и внешним правдоподобием (в виде преследования, изобретательства, научных открытий, особой миссии социального преобразования и т. д.). Все факты, противоречащие бреду, отметаются; каждый, кто не разделяет убеждения больного, квалифицируется им как враждебная личность... Борьба за утверждение, реализацию бредовых идей непреклонна и активна».

Необыкновенно важна приписка: «Явных признаков интеллектуального снижения нет...»

Это-то самое примечательное при паранойе: психические отклонения могут концентроваться лишь в какой-то определенной плоскости. За пределами ее человек выглядит вполне нормальным.

Как это отвечает тому, что мы знаем о Сталине!

В 1898 году Бехтерев подробно описал историю некоего Шебалина, малмыжского помещика (Малмыж — город в Вятской губернии), на протяжении длительного времени являвшего необыкновенные странности в поведении. Время от времени он, например, палил из окна своего дома по крестьянам, которых неизменно считал жуликами и своими врагами (впрочем, к врагам он причислял и другие сословия, вообще почти всех людей, с кем бы ни сталкивался). Многократно грозил убить то одного, то другого, кто чем-либо ему не нравился (а не нравились ему почти все). Психиатры не однажды его обследовали, но всякий раз расходились во мнении, здоров он или болен: рассуждал Шебалин вполне ло-

гично, хотя имел фантастический сдвиг в представлениях об окружающем. Споры между психиатрами длились до тех пор, пока Шебалин не совершил действительного убийства — застрелил председателя земской управы за то, что тот отказал ему в предоставлении места. Казалось бы, мало ли кому отказывают в должности — что же, всякий раз хвататься за револьвер?

Бехтерев обратил внимание на неадекватность, с какой Шебалин оценил мотивы отказа: мол, убитый это сделал из личной к нему неприязни и тем допустил «оскорбление личности» его. Совершив же убийство, Шебалин, по его словам, сделался «совершенно спокоен духом и вполне доволен тем, что... достиг желаемого результата», ибо «нельзя нравственно оскорблять человека неповинного».

Бехтерев усмотрел тут характерное проявление бреда преследования. Чужую жизнь Шебалин не ставил ни в грош, покушений же на собственную панически боялся. По этой причине, например, никогда не употреблял ножа, разламывал хлеб руками, питался по преимуществу одними яйцами (в них невозможно подсыпать яду).

Как тут не вспомнить Сталина, требовавшего подвергать тщательнейшей проверке все, что ставится ему на стол. Шебалин уверял, что, по наущению недругов, в его квартире «печки не топили, выставляли рамы, вынимали вьюшки» — все, чтобы извести его, Шебалина.

А какие козни творили против Сталина его бесчисленные «враги»! По всем углам виделись ему покушавшиеся. Сколько их было поставлено к стенке, безвестно сгинуло в лагерях! Хотя реального покушения так вроде бы ни одного и не случилось (если не принимать в расчет версию — впрочем весьма правдоподобную,— что его отравил-таки Берия).

Но больше мерещилось покушавшихся не на жизнь — на единоличную власть. Считается: Сталин убивал людей именно для того, чтобы удержаться у власти, действовал целенаправленно и логично. Но для этого вовсе не требовалось убивать миллионы.

Во все времена властители убирают с дороги главным образом прямых соперников. Этого оказывается вполне достаточно. У Сталина таких было немного:

Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Киров... Если учесть для особой страховки подрост, молодую поросль, наберется еще полдюжины.

Стотысячные, миллионные убийства логически никак не оправданы. Как, например, взывая к логике, понять маниакальное уничтожение командного состава Красной Армии в самый канун ужасающей войны? Разве не ясно было, что прорехи в высших армейских кадрах, сплошь издырявленных стараниями НКВД, оставляют голой страну перед надвигающимися лавами врагов?

Как понять эту неспособность увязать деяния с последствиями, отсутствие такой способности даже в пределах, доступных ребенку? А так и понять, что деяния и последствия существовали для мудрейшего из мудрейших в совершенно различных, не сообщающихся пространствах.

Все виделось четко в пространстве бреда: дескать, случись что, уверенный в себе, спаянный, закаленный комсостав вполне может направить армию против своего вождя и учителя. Расстрелами эта фантасмагорическая опасность устранялась. Реальные же последствия избиений и убийств скрывались где-то за туманной пеленой катаракты. Их размытые очертания никак не улавливались воспетым акынами орлиным взором.

Точно так же бредовая идея сорвать с места, уничтожить миллионы работящих, припаянных к земле крестьян никак не соединялась в мозгу с неизбежной последующей трагедией, существовала отдельно сама по себе, заполняя все внутричерепное пространство. Ну-ка, догадайтесь, что будет, если разорить деревню дотла. До последнего колышка. Ну... Ну... Правильно, всеобщий голод.

Но величайшему гению всех времен и народов это тоже почему-то не было видно. В облаке бреда отчетливо проступало другое: обескровливается до полной анемии класс, опасный — так он считал — для его, Сталина, личной власти. (Конечно, это объяснение несколько схематично, как всякая гипотеза).

Реальная жизнь складывается из сочетаний разнообразных побуждений, тенденций, сил. Относимо это и к великому крестьянскому разорению конца двадцатых — начала тридцатых годов, а также к другим глобальным сталинским деяниям.

Какие именно побуждения и силы составляли всякий раз реально осуществляемое действие — это должны же нам наконец объяснить честные исследования историков. Думаю, однако: психическое недомогание вождя сказывалось тут не в последнюю очередь.— Прим. авт.)

...Бред преследования угрюмо сочетался у Шебалина с бредом величия. Он постоянно донимал всех глобальными идеями социального переустройства, призванными осчастливить мир. «Поставьте меня министром,— говорил он,— и я устрою общественное благо». И после, когда эти идеи не осуществились: «У меня же были гениальные планы, которые имели мировое значение». Это заявлял человек, который был уволен из второго класса Аракчеевского корпуса «вследствие весьма слабого развития».

О сталинском бреде величия — что же много говорить? Он всем известен, хотя тут как раз более всего неясности: кому он больше принадлежал — самому Сталину или его окружению?

Как бы то ни было, бред величия, подогреваемый неистовым визгом параноидальной прессы (которую тогда ни в чем не упрекали), год от года разрастался. Все люди были осчастливлены, всем народам пути указаны, все законы общественного развития открыты... И не было такого благого дела, к которому не был бы причастен вездесущий и всезнающий вождь-отец.

Для человечества всегда оставалось загадкой, как может совладать со своей совестью человек, убивший другого человека, а тем паче множество ни в чем не повинных людей. Это недоумение относимо, конечно, к психически здоровым людям. Иное дело люди нездоровые — в их поступках загадочного нет.

«При явной тупости нравственного чувства, отсутствии сколько-нибудь прочных этических понятий и низком уровне жизненного идеала — что выражается отсутствием родственных чувств, склонности к семейной жизни и женоненавистничеством, неспособностью к дружбе, злопамятностью, мстительностью, лживостью, отсутствием угрызения совести — заменяется кичливость «прямотою» отношений к людям... даже рыцарской честностью, высоким уровнем понятий о долге и правде, общественном благе...»

В этом бехтеревском описании никому не ведомого

параноика Шебалина при желании можно разглядеть точнейший портрет Сталина. Суждения психиатра относительно здоровья Сталина, как девяносто лет назад по поводу Шебалина, расходятся.

— Анализируя доходящие до нас сведения,— говорит профессор А. Е. Личко,— я, как психиатр, считаю, что Сталин был болен и что диагноз, поставленный Бехтеревым, верен. Болезнь, как это часто бывает, особенно остро протекала, очевидно, в отдельные периоды, в другие же затихала. Психотические приступы при этой болезни, как правило, бывают спровоцированы внешними обстоятельствами, трудными ситуациями. Возьмите хотя бы волнообразность репрессий. Я думаю, приступы были в 1929—1930 годах, потом в 1936—1937-м... Может быть, был приступ в самом начале войны, в первые дни, когда он фактически устранился от руководства государством. И наконец, это период в конце жизни, период «дела врачей». А между приступами были периоды затишья, что характерно для болезни. Конечно, и в это время характер его оставался прежним — жестким, властным, крутым,— но все же, когда кончалось состояние психоза, Сталин спохватывался и старался как-то смягчить последствия...

Ну как же, всем памятна сталинская статья «Головокружение от успехов», где он пытался несколько усмирить мамаевых ордынцев коллективизации, а заодно свалить на них вину за «перегибы».

Или предвоенное время... Когда наконец пришло осознание, что обескровленная расстрелами армия не в силах будет вести войну,— как он старался оттянуть хотя бы на год ее начало (как будто за год можно вырастить командующих армиями или группами армий взамен убитых)!

И опять — подчинение всего и вся этой безумной идее, полная глухота к сочувственным предостережениям друзей, к отчаянным воплям разведки, сообщающей, что назначен уже и день, и час нападения. Полное переселение в мир больных грез и фантазий.

— Давно вы пришли к заключению, что Сталин был болен?

— Вообще-то, должен вам сказать, я прозрел довольно поздно — в начале пятидесятых, как раз во время «дела врачей». К тому времени я уже прилично знал психиатрию.

В ноябре 1985 года Личко напечатал в «Науке и религии» статью про паранойю у Ивана Грозного. «Опыт психиатрии свидетельствует,— говорится в статье,— что паранойя обычно развивается в возрасте 30—40 лет...

Ужасы в царствование Ивана Грозного начались после того, как ему исполнилось тридцать... В 1564 году царь Иван со своей семьей и узким кругом доверенных лиц, забрав казну и дворцовое имущество, неожиданно покинул Москву и отправился в Александровскую слободу. Причина бегства — навязчивая мысль о преследовании со стороны бояр, о мнимых заговорах, хотя, как свидетельствуют историки, к тому времени не только заговоров, но и какого-либо неповиновения со стороны бояр уже не было... В Москву он согласился вернуться при условии, что ему представят право расправляться с кем он захочет и чтоб никто ему в этом не перечил. Даже духовенству было запрещено просить царской милости к осужденным...

Но главное, Иван, создал опричнину — особую касту людей, пользующихся неограниченным правом убивать и грабить. Опричники ни от кого, кроме самого царя, не зависели, ни с кем, кроме него, не были связаны. Это были молодые, часто с темным прошлым, люди, готовые на все, отрекшиеся от друзей и родных...

Разгул опричнины был страшен — ежедневно в Москве убивали по 10—20 человек. Трупы валялись на улицах, и никто не смел их убирать. Опричники довели крестьян до такого разорения, что казалось, будто по селам прошла неприятельская армия. Тысячи людей посреди зимы выгоняли из дому и толпами отправляли на жительство в пустые земли.

В условиях постоянного поиска мнимых заговоров и кажущихся измен чрезвычайное распространение получили доносы. Царь ждал их. При таком его настроении появилась масса доносчиков, жаждущих ценой гибели других создать себе положение. Тем более что обвинения никак не проверялись. Существовала единственная форма доказательства вины: признание обвиняемых под пыткой... Под страшными пытками люди не только подтверждали свою мнимую вину, но и оговаривали других... Число казненных, убитых и замученных в царствование Ивана Грозного исчисляется десятками тысяч. Казнили не только осужденных, но и их близких и даль-

них родственников, друзей, слуг, малолетних детей. Многих ссылали в дальние места. Впрочем, ссылка не освобождала от последующей казни.

Ненависть параноика к своим мнимым преследованиям сперва была направлена на определенный, узкий круг лиц, а затем быстро расширилась на целые сословия, города... Иван Грозный возненавидел Новгород и Псков... Объектом бреда преследования параноика легко становятся самые близкие ему люди — родственники, закадычные друзья. Иван Грозный, подозревая в измене, умертвил своего двоюродного брата князя Владимира Андреевича, его жену, старуху-мать (монахиню) и жену его брата (тоже монахиню). Под конец заговоры и измены стали чудиться царю Ивану даже в среде излюбленной им опричнины. Ее вожди и царские любимцы — князь Вяземский, отец и сын Басмановы — были подвергнуты жестоким пыткам и казнены...

Как видим, если у обычного параноика бред может привести к жестокостям и убийствам, то у параноика, стоящего у власти, этот бред влечет за собой массовые репрессии».

Андрей Евгеньевич Личко сказал мне, что, когда он писал эту статью, он имел в виду не только модель Ивана Грозного, но и модель Сталина. Обе модели поразительно схожи.

Не все, конечно, так думают — как профессор Личко — насчет болезни Сталина. Нынче наши психиатры пребывают в либеральной фазе. После периода, когда они готовы были объявить шизофреником едва ли не каждого, кто высовывал голову из океана конформности,— осторожничают. Осторожность и к Сталину относится (я не с одним беседовал).

Что ж, это их право. Их можно понять: описании поведения Сталина, достоверных и полных, не существует, либо они упрятаны где-то на дне архивов. В доступности имеется лишь клочковатое и разрозненное. По нему не составить общей картины. Он ведь не оставлял улик, воспрещал, как известно, даже стенограмму произносимых бессмертных слов. Будто предчувствуя неизбежный грядущий суд потомков.

Ни на одном клочке земного шара ни один человек не признает, что шпиономания, например, проросшая на просторах нашего отечества обильнее всех других уро-

жаев, была продуктом нормального, не пораженного червоточиной интеллекта. Но психиатру важно знать, действительно ли картина тотального нашествия шпионов, вредителей, заговорщиков, диверсантов сформировалась в мозгу одного человека. Возможно, не все бредовые идеи рождались в сталинской голове. Иные подбрасывались ближними и дальними холуями — получали милостивое одобрение вождя — обогащались холуйской фантазией — вновь получали одобрение и т. д.

...Вообще-то хорошо бы, конечно, узнать, был ли Сталин больным. С азартом набрасываемся и на менее значительные «белые пятна», а тут все-таки такое дело... Но, с другой стороны, если прав Бехтерев, если Сталин действительно страдал паранойей,— то что? В конце концов тирания — сама по себе тяжкий недуг. Слово «паранойя» мало что к этому добавляет. Разве что подвигает разговор ближе к медицине. Средства профилактики, однако,— это каждому ясно — должны быть не медицинские. Средства защиты от рецидива тяжкой социальной напасти должны извлекаться из иной, социальной же, аптечки.

Декабрь 1927 года принес в Москву вместе с морозами и метелями какое-то неясное ожидание и неопределенное беспокойство — смутное чувство, названное впоследствии психиатрами свободно плавающей тревогой. Многоснежная зима лепила в пасмурном городе синеватые сугробы. Поезда опаздывали почти на двое суток из-за снежных заносов, но XV съезд ВКП(б) открылся в назначенный срок — 2 декабря.

В своем докладе Сталин потребовал от оппозиции «заклеймить ошибки, ею совершенные, ошибки, превратившиеся в преступление против партии», угрожая в противном случае исключением из партии; а через несколько дней произнес свой знаменитый монолог о политической тележке, из которой выпадает тот, кто не может удержать равновесие на крутых поворотах.

«Когда я критикую,— по существу отвечал ему Муралов,— это значит, что я критикую свою партию, свои действия и критикую в интересах дела, а не ради подхалимства».

Оппозиция говорила о «неслыханных репрессиях» по отношению к старым членам партии, не раз доказавшим свою преданность революции, и обвиняла ОГПУ во

вмешательстве в политическую внутрипартийную борьбу. В воскресенье 18 декабря пресса сообщила о награждении орденом Красного Знамени ряда известных чекистов, и в первую очередь заместителя председателя ОГПУ Ягоду, «проявившего в самое трудное для Советского государства время редкую энергию, распорядительность, самоотверженность в деле борьбы с контрреволюцией».

В такой обстановке 17 декабря в Москве собрался I Всесоюзный съезд невропатологов и психиатров. Почетными председателями съезда были избраны Бехтерев, Минор и Россолимо. С 18 декабря ежедневно с 9 до 14 часов делегаты слушали программные доклады; с 15 до 19 часов проходили прения по обсуждаемой теме. В последний день съезда, 23 декабря, утром состоялись секционные заседания; в 16 часов делегаты утвердили резолюции съезда. На следующий день, в субботу, должен был приступить к работе под председательством Бехтерева I Всесоюзный педологический съезд, но в воскресенье газеты объявили, что он начнется во вторник, 27 декабря.

В тот год еще отмечались рождественские праздники; поэтому 25 и 26 декабря магазины, почтамт и его городские отделения были закрыты, доставлялась лишь спешная корреспонденция. Тем не менее, уже рано утром 25 декабря в Москве и Ленинграде узнали о внезапной загадочной кончине академика Бехтерева. Слухи распылялись, клубились, расцвечивались новыми подробностями. Утомленные всей предшествующей информацией, утренние газеты отдыхали до среды, но вечерние, проскочившие во вторник 27 декабря, успели выплеснуть на свои страницы обрывки бесценных сведений.

С этого момента слухи стали постепенно кристаллизоваться в легенду, бережно передаваемую от одного поколения врачей другому, а своеобразная хроника рождественской сенсации 1927 года прочно осела в подшивках газет и журналов.

В этот приезд в Москву Бехтерев остановился, как обычно, на квартире известного гинеколога Благоволина в Дурновском переулке рядом с Собачьей площадкой.

Утром 23 декабря он был совершенно здоров и делился с окружающими научными планами. Днем участвовал в работе съезда, выступил с докладом о коллек-

тивной психотерапии при алкоголизме, сразу после заседания осмотрел лаборатории Института психопрофилактики, а вечером поехал в Малый театр на спектакль «Любовь Яровая».

Сразу же по возвращении домой у него началась рвота. Утром был вызван профессор Бурмин, определивший желудочное заболевание. В течение дня самочувствие несколько улучшилось, но в 19 часов пришлось вновь обращаться за врачебной помощью в связи с резким утяжелением его состояния. На этот раз вместе с Бурминым приехал профессор Шервинский. Кроме них, у постели больного оказались еще два врача — Константиновский и Клименков (обе фамилии привела «Вечерняя Москва», в остальных репортажах Клименков фигурировал под псевдонимом «и др.»). Состоявшийся консилиум подтвердил диагноз острого желудочно-кишечного заболевания и установил ослабление сердечной деятельности. Вслед за этим, профессора уехали, а оба врача остались и отметили у больного сначала помрачение, а затем потерю сознания, расстройство дыхания и коллапс. Больному проводили искусственное дыхание и впрыскивали камфару. В 23 часа 45 минут была констатирована смерть, наступившая, по заключению врачей, от паралича сердца.

Всю ночь у тела Бехтерева дежурили его вдова, член ВЦИК Рейн, названный близким другом покойного, и все те же два врача. Утром 25 декабря состоялось совещание московской профессуры с участием Россолимо, Минора, Абрикосова, Крамера, Шервинского, Бурмина, Гиляровского и Кроля. Не исключено, что на нем присутствовали оба врача, не отходившие от Бехтерева до и после его смерти, но уже под именем «представителей Наркомздрава».

Совещание постановило исполнить волю покойного о передаче его мозга в Ленинградский институт по изучению мозга. Днем Абрикосов вскрыл череп умершего, извлек его мозг, весивший значительно больше, чем предполагалось, отправил его на временное хранение в Патологоанатомический институт 1-го МГУ, а в тело ввел формалин.

После этого у гроба Бехтерева постоянно несли почетный караул его друзья, ученики, студенты. Утром 26 декабря в Москву прибыли вызванные телеграммой дети покойного.

Торжественный церемониал похорон 27 декабря был расписан по часам. Через 3 часа после кремации урна с его прахом и мозг были доставлены на Октябрьский вокзал и отправлены в Ленинград.

Похороны снимали на кинопленку; в газетах напечатали выдержки из траурных выступлений Калинина, Семашко, Луначарского, Вышинского. Вся эта скудная информация кажется на первый взгляд несколько сумбурной и нарочито запутанной.

Современники были потрясены внезапностью его кончины. Человек богатырского здоровья и невероятной энергии, о котором в профессорских кругах говорили «неутомим, как Бехтерев», всемирно известный ученый, работавший без развлечений и домашнего отдыха по 18 часов в сутки, вдруг погибает от «случайного» желудочно-кишечного заболевания и даже не в больнице, а в чужом доме.

«В нем поражала прежде всего его молодость, как это ни звучит парадоксально, если вспомнить его возраст — 70 лет, подвижность, свежесть мыслей и планов» (Луначарский).

Начало его заболевания связано как будто с посещением Малого театра. Упоминание об осмотре Бехтеревым театрального музея промелькнуло только в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты». Ее корреспонденты, узнав о случившемся, имели возможность обратиться к московским коллегам и вернувшимся в Ленинград делегатам съезда невропатологов и психиатров.

Поскольку в «Вечерней Москве» эта информация отсутствует, дать ее мог лишь кто-то из участников съезда. Напрашивается вывод: по окончании съезда часть делегатов получает билеты на достаточно нашумевший спектакль, и один из них присутствует при том, как Бехтерева приглашают в музей. Какими же экспонатами его туда заманили?

Народная артистка СССР Е. Н. Гоголева рассказывает мне: «В 1927 году «Любовь Яровая» делала полные сборы. В Ленинграде ее не ставили, и интерес Бехтерева к спектаклю вполне понятен. Представление начиналось в 7 часов 30 минут и заканчивалось не позднее 11 часов вечера. Небольшой музей театра находился высоко, под чердачным помещением, и смотреть там в те годы было практически нечего. Актеры в нем не бывали. Очень

странно, что Бехтерева туда пригласили. Проводить его наверх и показать музей могли три человека, но по окончании спектакля это должен был сделать скорее всего сам директор театра.

Пока гость осматривал музей, в кабинете директора (на первом этаже у выхода из театра) могли подготовить что-то типа импровизированного приема — например, чай с пирожными. Думаю, что директор, человек хлебосольный, знающий, как встречать почетного гостя, просто не мог поступить иначе».

Теперь можно произвести приблизительный расчет времени: спектакль заканчивается примерно в 23 часа, не менее 30 минут потрачено на посещение музея и никем не замеченный прием в кабинете директора, 15—20 минут необходимы, чтобы доехать на извозчике от Малого театра до Собачьей площадки, и около 24 часов Бехтерев входит в свою комнату. Определенные неприятные ощущения он испытывает, очевидно, еще по дороге, поскольку рвота возникает у него сразу же по возвращении домой. В этой ситуации рвоту приходится связывать с неизвестным угощением в театре.

Тем не менее, ночь он проводит относительно спокойно (иначе жена вызвала бы «Скорую помощь» или хотя бы разбудила хозяина квартиры). Утром же в доме появляется Бурмин. Здесь стоит выслушать М. С. Благоводину — дочь видного московского врача, на квартире которого жил в те дни Бехтерев:

«Профессор Бехтерев с женой бывали в Москве почти каждый месяц и всегда останавливались в нашем доме. Для него освобождали столовую, и, пока он там жил, ни мы, дети, ни наши родители в эту комнату не входили; поэтому узнать о болезни профессора наша семья могла только от его жены.

Скорее всего, именно она позвонила в поликлинику ЦЕКУБУ с просьбой прислать врача на дом. Если бы врача вызывал мой отец, он обратился бы, как обычно, к своему давнему другу, доктору Л. Г. Левину, лечившему нашу семью. Из поликлиники же прислали Д. А. Бурмина, которого в нашей семье считали хорошим клиницистом».

В поликлинике, ЦЕКУБУ, организованной для научных работников в Гагаринском переулке, в 1927 году прием ведут такие известные терапевты, как Зеленин,

Кончаловский, Плетнев, Фромгольд. Может быть, визит Бурмина — случайность? Но в это субботнее утро он должен находиться в своей клинике на Страстном бульваре. Приходится думать, что в поликлинике сочли целесообразным именно его направить к заболевшему Бехтереву.

Дальнейшая схема поведения Бурмина вполне понятна: надо выслушать взволнованный рассказ энергичной жены академика, расспросить и осмотреть его самого, объяснить рвоту острым гастритом (наверное, съел вчера что-то не совсем свежее), перевести этот термин на будничный язык как «заболевание желудка» (специально для жены больного), посоветовать покой, диету и минеральные воды, выписать рецепт на микстуру или настойку и дать обещание прислать своих врачей для постоянного наблюдения за пациентом и при необходимости оказания экстренной помощи.

У постели больного собирается консилиум, и снова звучит по меньшей мере странный диагноз: «желудочно-кишечное заболевание». Профессор Московского университета, свыше 30 лет занимающийся врачебной деятельностью, Бурмин просто не может выставить подобный, даже не фельдшерский, а просто обывательский диагноз. Тем более не может этого сделать профессор В. Д. Шервинский — признанный глава московских терапевтов, в те годы председатель Московского и Всесоюзного терапевтических обществ. Несмотря на то, что он с 1911 года не занимается непосредственной клинической работой, а выступает лишь в качестве консультанта, давно изучает проблемы эндокринологии и наследственности и не интересуется неотложными состояниями, Шервинский полностью сохраняет в свои почти 80 лет четкость мышления и способность к точным диагностическим формулировкам.

Ясно, что в данной ситуации Бурмин использует его авторитет как собственное прикрытие. Не вызывает сомнений также, что врачебная оценка состояния больного, высказанная Шервинским, отличается от непрофессиональных описаний в газетах.

Приходится опять обратиться к репортажу «Вечерней Москвы», где сказано: «Дежурившие у постели больного до самого момента смерти врачи Константиновский и Клименков сообщили нашему сотруднику следую-

щее...» Далее изложена короткая история заболевания Бехтерева — и именно этот текст повторяется во всех остальных газетах.

Еще одна интересная деталь. В беседе с корреспондентом Константиновский и Клименков обронили, что после того, как в 19 часов состояние больного резко ухудшилось, «немедленно были вызваны профессора Шервинский и Бурмин». Бурмин должен был представить Шервинскому этих врачей как своих сотрудников, но ни в его клинике, ни в поликлинике ЦЕКУБУ они не работали.

Согласно «Списку врачей СССР», опубликованному в 1925 году, Е. Г. Константиновский, 1885 года рождения, окончил медицинский факультет в 1915 году и специализировался по внутренним и венерическим болезням. Однако в аналогичных дореволюционных изданиях его фамилия не значится.

Не меньший интерес вызывает анализ справочника «Вся Москва», где указаны адреса руководителей и квалифицированных работников на основании сведений, представленных соответствующими учреждениями, организациями, предприятиями или ассоциациями (в категорию «квалифицированных работников» включены все лица, получившие высшее образование и занимавшие какую-либо должность в любом учреждении). В 1923 и 1924 годах Константиновский никаких должностей не занимает, в 1925-м — трудится в Губпартшколе, в 1927-м — переходит в управление московскими зрелищными предприятиями, а в 1929-м — вдруг становится невропатологом и психофизиологом в какой-то лаборатории (в справочнике отсутствует) Главнауки и Обществе по изучению советского зрелища.

И. Д. Клименков впервые появляется в качестве врача в справочнике «Вся Москва на 1928 год», но места работы при этом еще не имеет. На следующий год его фамилия меняется на Клименко, и он как будто получает должность терапевта в больнице имени Бабухина, но в список «квалифицированных работников» больницы не попадает.

Даже такое простое перечисление отдельных биографических данных показывает, что оба врача никак не могли оказать Бехтереву подлинную медицинскую помощь. Кроме того, не сообщать действительное место

службы своих «квалифицированных работников» могла в те годы лишь одна организация — ГПУ.

Но пора вернуться в дом у Собачьей площадки. Состояние Бехтерева быстро ухудшается. Не исключено, что на самом деле он умирает в 22 часа 40 минут, когда пульс у него больше не прощупывается. Но смерть констатируют в 23 часа 45 минут, и в прессу не успевает просочиться соответствующая информация. Зато через три дня газеты доведут до сведения читателя принадлежащее тем же двум врачам заключение о причине смерти Бехтерева: «паралич сердца».

Ночь перед Рождеством продолжается. У тела Бехтерева сидит женщина, только что ставшая его вдовой. Тут же в комнате находится член ВЦИК Р. П. Рейн, названный газетой близким другом покойного. Что связывает 70-летнего академика с 40-летним профессиональным революционером, участником вооруженного восстания под Ригой в 1905 году, заместителем председателя (М. И. Калинина) Всероссийского комитета помощи инвалидам войны?

Помимо них, несут вахту два сомнительных врача. Здесь присутствуют лечащий врач Бехтерева Бурмин и консультант Шервинский, знаменитый патологоанатом А. И. Абрикосов, четверо невропатологов — В. В. Крамер, М. Б. Кроль, Л. С. Минор, Г. И. Россолимо и психиатр В. А. Гиляровский. Газеты называют их видными или самыми видными представителями московской медицины или медицинского мира вообще. Но такую оценку вправе давать лишь сами врачи, избравшие Бехтерева, Минора и Россолимо председателями съезда невропатологов и психиатров, а Кроля и Гиляровского — в президиум. Однако Крамер в президиум съезда не выдвинут и по меркам 1927 года считаться «виднейшим представителем медицины» не может. Зато известные всей стране ученики Бехтерева (М. И. Аствацатуров, Р. Я. Голант, В. П. Осипов, П. А. Останков и др.) на совещание не приглашены.

Нельзя рассматривать собравшихся и только как представителей московской медицины, поскольку Кроль уже свыше трех лет возглавляет кафедру нервных болезней в Минске. Следовательно, присутствующие объединены по какому-то иному принципу, и состав совещания утвержден в других, совсем не медицинских инстанциях.

Остается добавить лишь, что большинство собравшихся консультируют в Лечсанупре Кремля или медицинской системе ЦЕКУБУ; Крамер, Кроль и Россолимо принимали участие в лечении Ленина, Абрикосов производил вскрытие его тела. Таким образом, все присутствующие на совещании должны пройти соответствующую проверку, и благонадежность их, с точки зрения ГПУ, в тот момент сомнений не вызывает.

ГРАФ И БУРЕВЕСТНИК

Из всех фантастических кремлевских историй наибольший интерес, с точки зрения анализа фальсификаторского таланта Сталина, представляет легенда об убийстве Горького.

Сталину было важно представить Горького жертвой убийц из троцкистско-зиновьевского блока не только ради возбуждения народной ненависти к этим людям, но и ради укрепления собственного престижа: получалось, что Горький, великий гуманист, был близким другом Сталина и — уже в силу этого — непримиримым врагом тех, кто был уничтожен в результате московских процессов.

Мало того, Сталин пытался изобразить Горького не только своим близким другом, но и страстным защитником сталинской политики. Этот мотив прозвучал в признаниях всех обвиняемых на третьем московском процессе. Например, Левин привел следующие слова Ягоды, объясняющие, почему заговорщикам необходима была смерть Горького: «Алексей Максимович — человек, стоящий очень близко к высшему руководству партии, человек, одобряющий политику, которая проводится в стране, преданный лично Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Эта «тесная дружба», отнюдь не без особых на то причин, постоянно подчеркивалась на суде и обвиняемыми, и их защитниками, и прокурором. Сталин чрезвычайно нуждался в создании такого впечатления. После двух лет массового террора моральный авторитет Сталина, и без того не слишком высокий, совсем упал.

В глазах собственного народа Сталин предстал в своем истинном обличье — жестокий убийца, запятнавший себя кровью лучших людей страны. Он это понимал и спешил прикрыться огромным моральным авторитетом Горького, якобы дружившего с ним и горячо поддерживавшего его политику.

В дореволюционной России Горький пользовался репутацией защитника угнетенных и мужественного противника самодержавия. В дальнейшем, несмотря на личную дружбу с Лениным, он в первые годы революции нападал на него, осуждая в своей газете «Новая жизнь» красный террор и беря под защиту преследуемых «бывших людей».

Задолго до смерти Горького Сталин пытался сделать его своим политическим союзником. Те, кому была известна неподкупность Горького, могли представить, насколько безнадежной являлась эта задача. Но Сталин никогда не верил в человеческую неподкупность. Напротив, он часто указывал сотрудникам НКВД, что в своей деятельности они должны исходить из того, что неподкупных людей не существует вообще. Просто у каждого своя цена.

Руководствуясь такой философией, Сталин начал обхаживать Горького.

В 1928 году ЦК партии начал всесоюзную кампанию за возвращение Горького в СССР...

Под влиянием этих призывов Горький вернулся в Москву. С этого момента начала действовать программа его задабривания, выдержанная в сталинском стиле. В его распоряжение были предоставлены особняк в Москве и две благоустроенные виллы — одна в Подмосковье, другая в — Крыму. Снабжение писателя и его семьи всем необходимым было поручено тому же самому управлению НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. По указанию Сталина, Ягода стремился ловить на лету малейшие желания Горького и исполнять их. Вокруг его вилл были высажены его любимые цветы, специально доставленные из-за границы. Он курил особые папиросы, заказываемые для него в Египте. По первому требованию ему доставлялась любая книга из любой страны. Горький, по натуре чело-

век скромный и умеренный, пытался протестовать против вызывающей роскоши, которой его окружали, но ему было сказано, что Максим Горький в стране один. Как и было обещано, он получил возможность проводить осень и зиму в Италии и выезжал туда каждый год (с 1929 по 1933). Его сопровождали два советских врача, наблюдавших за состоянием его здоровья во время этих поездок.

Вместе с заботой о материальном благополучии Горького Сталин поручил Ягоде его «перевоспитание». Надо было убедить старого писателя, что Сталин строит настоящий социализм и делает все, что в его силах, для подъема жизненного уровня трудящихся. С первых же дней пребывания писателя в Москве Ягода принял меры, чтобы он не мог свободно общаться с населением. Зато он получил возможность изучать жизнь народа на встречах с рабочими различных заводов и тружениками подмосковных образцово-показательных совхозов. Эти встречи тоже организовывались НКВД. Когда Горький появлялся на заводе, собравшиеся приветствовали его с восторгом. Специально выделенные ораторы выступали с речами о «счастливой жизни советских рабочих» и о великих достижениях в области образования и культуры трудящихся масс. Руководители местных парткомов провозглашали: «Ура в честь лучших друзей рабочего класса — Горького и Сталина!»

Ягода старался так заполнить дни Горького, что у того просто не оставалось времени на самостоятельные наблюдения и оценки. Его возили на те же зрелища, какими гиды Интуриста потчевали иностранных туристов. Особенно заинтересовали его две коммуны, организованные под Москвой для бывших уголовников. Те привыкли встречать Горького бурными аплодисментами и заранее заготовленными речами, в которых благодарность за возвращение к честной жизни выражалась двум лицам: Сталину и Горькому. Дети бывших преступников декламировали отрывки из горьковских произведений. Горький бывал так глубоко растроган, что не мог сдержать слез. Для сопровождавших его чекистов это было верным признаком, что они добросовестно выполняют инструкции, полученные от Ягоды.

Чтобы поосновательней загрузить Горького повседневными делами, Ягода включил его в группу литерато-

ров, которые занимались составлением истории советских фабрик и заводов, воспевая «пафос социалистического строительства». Горький взялся также опекать различные культурные начинания, в помощь писателям-самоучкам организовал журнал «Литературная учеба». Он участвовал в работе так называемой ассоциации пролетарских писателей, во главе которой стоял Авербах, женатый на племяннице Ягоды. Прошло несколько месяцев со дня приезда Горького в СССР — и он уже был так загружен, что не имел свободной минуты. Полностью изолированный от народа, он двигался вдоль конвейера, организованного для него Ягодой, в неизменной компании чекистов и нескольких молодых писателей, сотрудничавших с НКВД. Всем, кто окружал Горького, было вменено в обязанность рассказывать ему о чудесах социалистического строительства и петь дифирамбы Сталину. Даже садовник и повар, выделенные для писателя, знали, что время от времени они должны рассказывать ему, будто «только что» получили письмо от своих деревенских родственников, которые сообщают, что жизнь там становится все краше.

Положение Горького ничем не отличалось от положения иностранного дипломата, с той, однако, разницей, что иностранный посол из секретных источников регулярно получал информацию о том, как идут дела в стране его пребывания. У Горького таких секретных информаторов не было — он довольствовался тем, что расскажут люди, приставленные к нему НКВД.

Зная горьковскую отзывчивость, Ягода подготовил для него своеобразное развлечение. Раз в год он брал его с собой инспектировать какую-нибудь тюрьму. Там Горький беседовал с заключенными, предварительно отобранными НКВД из числа уголовников, которых намечалось освободить досрочно. Каждый из них рассказывал Горькому о своем преступлении и давал обещание начать после освобождения новую, честную жизнь. Сопровождавший чекист — обычно это был не лишенный актерских задатков Семен Фирин — доставал карандаш и блокнот и вопросительно взглядывал на Горького. Если тот кивал, Фирин записывал имя заключенного и давал распоряжение охране освободить его. Иногда, если заключенный был молод и производил особенно хорошее впечатление, Горький просил, чтобы этому

юноше предоставили место в одной из образцово-показательных коммун для бывших уголовников.

Нередко Горький просил освобождаемых написать ему и дать знать, как у них налаживается новая жизнь. Сотрудники Ягоды следили за тем, чтобы Горькому приходили такие письма. В общем, Горькому жизнь должна была представляться сплошной идиллией. Даже Ягода и его помощники казались ему добродушными идеалистами.

В счастливом неведении Горький оставался до той поры, пока сталинская коллективизация не привела к голоду и к страшной трагедии осиротевших детей, десятками тысяч хлынувших из сел в города в поисках куска хлеба. Хотя окружавшие писателя люди всячески старались преуменьшить размеры бедствия, он был не на шутку встревожен. Он начал ворчать, а в разговорах с Ягодой открыто осуждал многие явления, которые заметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивал.

В 1930 или 1931 году в газетах появилось сообщение о расстреле сорока восьми человек, виновных будто бы в том, что они своими преступными действиями вызвали голод. Это сообщение привело Горького в бешенство. Разговаривая с Ягодой, он обвинил правительство в расстреле невинных людей с намерением свалить на них ответственность за голод. Ягода с сотрудниками так и не смогли убедить писателя, что эти люди действительно были виновны.

Некоторое время спустя Горький получил из-за границы приглашение вступить в международный союз писателей-демократов. В соответствии с инструкцией Сталина, Ягода заявил, что Политбюро против этого, потому что некоторые члены союза уже успели подписать антисоветское обращение к Лиге защиты прав человека, протестуя против недавних казней в СССР. Политбюро надеется, что Горький вступится за честь своей страны и поставит клеветников на место.

Горький заколебался. В самом деле, в «домашних» разговорах с Ягодой он мог брюзжать и протестовать против жестоких действий правительства, но в данном случае речь шла о защите СССР от нападок мировой буржуазии. Он ответил международному союзу писателей-демократов, что отказывается от вступления в эту

организацию по такой-то и такой причине. Он добавил, что вина расстрелянных в СССР людей представляется ему несомненной. Между тем, сталинские щедроты сыпались на Горького как из рога изобилия. Совет Народных Комиссаров специальным постановлением отметил его большие заслуги перед русской литературой. Его именем было названо несколько предприятий. Моссовет принял решение переименовать главную улицу Москвы — Тверскую — в улицу Горького.

В то же время Сталин не делал попыток лично сблизиться с Горьким. Он виделся с ним раз или два в году по случаю революционных праздников, предоставляя ему самому сделать первый шаг. Зная горьковскую слабость, Сталин прикинулся крайне заинтересованным в развитии русской литературы и театра и даже предложил Горькому должность наркома просвещения. Писатель, однако, отказался, ссылаясь на отсутствие у него административных способностей.

Когда Ягода с помощниками решили, что Горький уже полностью под их влиянием, Сталин попросил Ягоду внушить старому писателю: как было бы здорово, если б он взялся за произведение о Ленине и Сталине. Горького знали в стране как близкого друга Ленина, знали, что Ленина и Горького связывала личная дружба, и Сталин хотел, чтобы горьковское перо изобразило его достойным преемником Ленина.

Сталину не терпелось, чтобы популярный русский писатель обессмертил его имя. Он решил осыпать Горького царскими подарками и почестями и таким образом повлиять на содержание и, так сказать, тональность будущей книги. За короткое время Горький удостоился таких почестей, о которых крупнейшие писатели мира не могли и мечтать. Сталин распорядился назвать именем Горького крупный промышленный центр — Нижний Новгород. Соответственно и вся Нижегородская область переименовалась в Горьковскую. Имя Горького было присвоено Московскому Художественному театру, который, к слову сказать, был основан и получил всемирную известность благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко, а не Горькому. Все эти сталинские щедроты отмечались пышными банкетами в Кремле, на которых Сталин поднимал бокал за «великого писателя земли русской» и верного друга «большевистской партии». Все

это выглядело так, словно он задался целью доказать сотрудникам НКВД правильность своего тезиса: «У каждого человека своя цена». Однако время шло, а Горький все не начинал писать книгу про Сталина.

Я сидел как-то в кабинете Агранова. В кабинет вошел организатор знаменитых коммун из бывших уголовников — Погребинский, с которым Горький был особенно дружен. Из разговора стало ясно, что Погребинский только что вернулся с подмосковной горьковской виллы. «Кто-то испортил все дело,— жаловался он.— Я уж и так подходил к Горькому, и этак, но он упорно избегает разговора о книге.» Агранов согласился, что, по-видимому, кто-то действительно испортил все дело. На самом же деле Сталин и руководство НКВД просто недооценили характер Горького.

Горький не был так прост и наивен, как им казалось. Зорким писательским глазом он постепенно проник во все, что делается в стране. Зная русский народ, он мог читать по лицам, как в раскрытой книге, какие чувства испытывают люди, что их волнует и беспокоит. Видя на заводах изможденные лица недоедающих рабочих, глядя из окна своего персонального вагона на бесконечные эшелоны арестованных кулаков, вывозимых в Сибирь, Горький давно понял, что за фальшивой вывеской сталинского социализма царят голод, рабство и власть грубой силы. Но больше всего терзала Горького все усиливающаяся травля старых большевиков. Многих из них он лично знал с дореволюционных времен. В 1932 году он высказал Ягоде свое горькое недоумение в связи с арестом Каменева, к которому относился с глубоким уважением. Услышав об этом, Сталин распорядился освободить Каменева из заключения и вернуть его в Москву. Можно припомнить еще несколько случаев, когда вмешательство Горького спасало того или другого из старых большевиков от тюрьмы и ссылки. Но писатель не мог примириться уже с самим фактом, что старых членов партии, томившихся в царских тюрьмах, теперь вновь арестовывают. Он высказывал свое возмущение Ягоде, Енукидзе и другим влиятельным деятелям, все больше раздражая Сталина.

В 1933—1934 годах были произведены массовые аресты участников оппозиции, о них официально вообще ничего не сообщалось. Как-то с Горьким, вышедшим на

прогулку, заговорила неизвестная женщина. Она оказалась женой старого большевика, которого Горький знал еще до революции. Она умоляла писателя сделать все, что в его силах,— ей с дочерью, которая больна костным туберкулезом, грозит высылка из Москвы. Спросив о причине высылки, Горький узнал, что ее муж отправлен в концлагерь на пять лет и уже отбыл два года своего срока.

Горький немедленно заступился. Он позвонил Ягоде и, получив ответ, что НКВД не может освободить этого человека без санкции ЦК, обратился к Енукидзе. Однако Сталин заупрямился. Его уже давно раздражало заступничество Горького за политических противников, и он заявил Ягоде, что «пора излечить Горького от привычки совать нос в чужие дела». Жену и дочь арестованного он разрешил оставить в Москве, но его самого запретил освобождать, пока не кончится его срок.

Отношения между Горьким и Сталиным становились натянутыми. К началу 1934 года стало окончательно ясно, что столь желанной книги Сталину так и не видать.

Изоляция Горького стала еще более строгой. К нему допускались только немногие избранные, отфильтрованные НКВД. Если Горький выражал желание увидеться с кем-то посторонним, нежелательным для «органов», то этого постороннего старались немедленно услать куда-нибудь из Москвы... Мнение самого Горького уже больше не принималось во внимание... Будучи знаменитым советским писателем, он принадлежал государству, поэтому право судить, что ему на пользу, а что нет, стало прерогативой Сталина.

«С паршивой овцы — хоть шерсти клок»... Не получилось с книгой, решил Сталин, пусть напишет хотя бы статью. Ягоде было приказано передать Горькому такую просьбу: приближается годовщина Октября, и хорошо бы, чтоб Горький написал для «Правды» статью «Ленин и Сталин». Руководители НКВД были уверены, что на этот раз Горький не сможет уклониться от заказа. Но он вновь оказался принципиальнее, чем они рассчитывали, и обманул ожидания Ягоды.

Вскоре после этого Сталин предпринял еще одну и, насколько мне известно, последнюю попытку воспользоваться авторитетом Горького. Дело происходило в де-

кабре 1934 года, только что были арестованы Зиновьев и Каменев, которым намечалось предъявить обвинение в организации убийства Кирова. В эти дни Ягода передал Горькому задание написать для «Правды» статью с осуждением индивидуального террора. Сталин рассчитывал, что эту статью Горького в народе расценят как выступление писателя против «зиновьевцев». Горький, конечно, понимал, в чем дело. Он отклонил просьбу, услышанную от Ягоды, сказав при этом: «Я осуждаю не только индивидуальный, но и государственный террор!»

После этого Горький опять, на этот раз официально, потребовал выдать ему заграничный паспорт для выезда в Италию. Конечно, ему вновь было отказано. В Италии Горький мог «чего доброго, действительно написать книгу, но она была бы совсем не та, какую мечтал иметь Сталин. Так писатель и остался сталинским пленником до смерти, последовавшей в июне 1936 года.

После смерти Горького сотрудники НКВД нашли в его вещах тщательно припрятанные заметки. Кончив их читать, Ягода выругался и буркнул: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит!»

Заметки Горького по сей день остаются недоступны миру...

Одна из историй «Укрощения искусств» Ю. Елагина повествует следующее.

Весной 1938 года по Москве разнесся слух, что знаменитый советский писатель Алексей Толстой пишет пьесу.

Легко себе представить необыкновенное волнение, воцарившееся в московских театрах по этому поводу. Да и было от чего заволноваться. Самый крупный, после смерти Горького, писатель Советского Союза, писатель, политическое лицо которого оказалось настолько безупречным, что он прошел, один из немногих, совершенно невредимым через огненный 1937 год, частый гость и собеседник Сталина, завсегдатай Кремля, прославленный автор талантливого романа «Петр Первый», имевшего огромный успех у самых разнообразных кругов советских читателей,— этот большой писатель решил написать пьесу, да еще и с самим Сталиным в качестве одного из главных действующих лиц.

Большой интерес и большие надежды, с которыми смотрела в то время на Толстого вся московская интел-

лигенция, особенно обострялись тем общим положением, в котором очутилась советская литература (а вместе с ней и драматургия) к 1938 году.

Это был жесточайший кризис.

Правильнее было бы даже назвать это положение разгромом. Это сильное выражение оказалось бы в данном случае вполне уместным. В самом деле, та советская литература, которая (как бы к ней ни относиться) создала за двадцатые годы много интересного и талантливого, фактически перестала существовать. Максим Горький был отравлен. Маяковский застрелился. Пильняк, Бабель, Ясенский, Эрдман и много других были арестованы и исчезли. Булгакову заткнули рот, и он тихо сидел за кулисами Художественного театра. Наконец, целая группа советских писателей благоразумно замолчала сама. Виднейшими в этой многочисленной группе были поэты Илья Сельвинский и Борис Пастернак и прозаики Михаил Шолохов и Алексей Толстой. И вот Толстой оказался первым, кто решил нарушить творческое молчание. Конечно, мечтой каждого большого московского театра было во что бы то ни стало заполучить первым эту пьесу для постановки. Для этого все способы, все меры, все связи должны были быть пущены в ход.

Граф Алексей Николаевич Толстой появился в русской литературе еще до первой мировой войны и обратил на себя внимание милыми, прекрасно написанными повестями и рассказами. Главным образом из быта увядающего русского дворянства. Сам автор принадлежал к известному русскому роду графов Толстых, уже давшему России в минувшем столетии двух выдающихся писателей: великого Льва и блестящего поэта и романиста Алексея Толстого — старшего, потомком которого и был наш Алексей Толстой-младший.

После революции 1917 года он эмигрировал в Париж, где талант его не только не увял, но, наоборот, еще развился и где окончательно оформился своеобразный, сочный и яркий, стиль его литературного языка. В Париже он написал целую серию талантливых повестей и рассказов, в том числе и первую часть своей большой эпопеи из эпохи первой мировой и гражданской войн в России — «Хождение по мукам». В первой половине двадцатых годов граф Алексей Толстой возвратился на Родину. После возвращения он писал много и в самых

разнообразных литературных жанрах: тут и увлекательный фантастический роман «Гиперболоид инженера Гарина», и пьеса «Заговор императрицы» — о последних годах русской императорской династии, и рассказы из жизни русской эмиграции, и повесть «Аэлита» — о том, как молодой советский инженер устраивает пролетарскую революцию на Марсе, предварительно покорив прекрасную Аэлиту — дочь марсианского властителя, и вторая часть «Хождений по мукам» — может быть, самая увлекательная книга о годах русской гражданской войны.

Во второй половине двадцатых годов Алексей Толстой сделался одним из самых популярных и любимых писателей Советской России. Когда начались беспокойные и тревожные сталинские времена, Толстой сразу же благоразумно утихомирил бурный поток своего творчества и переключился на более безопасный и спокойный исторический жанр. Он написал пьесу «Петр Первый», в которой личность русского царя была выставлена в весьма отрицательном виде. Как мне пришлось услышать впоследствии, Толстой был в этом случае вполне искренним, так как всегда считал великого преобразователя России источником всех будущих российских несчастий. В своем первоначальном варианте пьеса «Петр Первый» не увидела свет. Главрепертком ее не пропустил. И сам автор вскоре узнал, почему именно. Уже тогда, в 1929 году, стало известно, что Сталин проявляет особый интерес к личности Петра Первого. Этого было достаточно для того, чтобы советские историки тогда же исключили Петра из длинного ряда всех других российских императоров, которым были приданы все существующие в этом мире человеческие пороки и недостатки. В Петре стали находить положительные качества, признавая его заслуги в деле организации России как современного государства, развития промышленности и преобразования всего уклада русской жизни на европейский лад. Конечно, самому Сталину в личности Петра более всего импонировали его динамичность, стремительные темпы его деятельности, суровые, иногда жестокие методы достижения цели и разрешения государственных проблем.

И вот умный Алексей Толстой быстро понял причины своей неудачи, а поняв, переделал пьесу на нужный

лад и, как оказалось, попал в точку. В новом варианте пьеса была поставлена во Втором Художественном театре. Успех был большой и искренний. Зритель был приятно удивлен, увидев неожиданно на сцене образ великого русского императора без обычной карикатурной тенденциозности. Сталин тоже был доволен и сам лично дал Толстому мысль написать на эту же тему большой роман.

Эта первая встреча кремлевского диктатора с графом и русским барином Алексеем Толстым состоялась в самом начале тридцатых годов в доме Максима Горького. С этого момента начинается быстрое возвышение Толстого в официальных, правительственных и партийных кругах, Роман «Петр Первый» был вскоре закончен и оказался, бесспорно, интересным, талантливо написанным произведением, хотя зачастую и грешащим против исторической правды.

В те годы Толстой жил в Царском Селе, под Ленинградом, где у него была собственная дача. Жил он широко, по-барски, имел прислугу, устраивал великолепные приемы, на которых стол ломился от яств и бутылок. Лакеем был у него старый слуга, служивший его родителям, графам Толстым, еще до революции и все еще продолжавший звать своего хозяина по старой привычке «Ваше сиятельство». И было, конечно, в высшей степени оригинально, когда, например, кто-нибудь из видных партийцев приезжал по делу к советскому писателю Алексею Толстому и встретивший его старый лакей почтительно сообщал, что «их сиятельство уехали на заседание горкома партии».

После успеха «Петра Первого» Толстому предложили переехать в Москву, поближе к Кремлю. В Москве он получил прекрасную квартиру, а в скором времени выстроил себе еще и большую дачу в одном из лучших и живописнейших мест Подмосковья (Барвиха). К этому времени тираж его книги достиг таких огромных размеров, а его собственное положение в правительственных кругах стало столь значительным, что ему был представлен так называемый «открытый счет» в государственном банке. Такой открытый счет до него имели в те времена (в середине тридцатых годов) всего два человека во всей стране: Максим Горький и инженер А. Н. Туполев — знаменитый конструктор самолетов. Теперь же

к ним присоединялся третий — рабоче-крестьянский граф, как его стала звать народная молва, Алексей Толстой. Этот открытый счет заключался в том, что каждый, им обладавший, мог в любой момент взять в государственном банке любую нужную ему сумму: сто тысяч рублей или миллион — это было безразлично. Я не знаю, мог ли счастливый обладатель открытого счета взять сто миллионов или миллиард, думаю, что нет. Но зачем, живя в Советском Союзе, иметь миллиард? Что на него можно купить такого, чего нельзя было бы купить и за несколько десятков тысяч?

Так как Максим Горький умер в 1936 году, а А. Н. Туполева арестовали в 1937 году, то Толстой остался единственным во всей стране человеком, не ограниченным в денежных средствах.

В Москве Алексей Николаевич Толстой начал вести еще более широкий образ жизни, чем в Ленинграде. После успеха «Петра» писать больше уже не имело особого смысла, тем более что и времена наступали вновь тревожные и небезопасные. Толстому дали орден Ленина «за выдающиеся успехи в советской литературе», сделали его депутатом Верховного Совета СССР, а главное, стали приглашать в Кремль на все официальные и полуофициальные приемы и банкеты. Сталин к нему явно благоволил. Он часто беседовал с писателем — остроумным собеседником и прекрасным рассказчиком, а главное, ловким, хитрым и дипломатичным царедворцем.

Теперь все время и вся энергия Толстого уходили на совершенно другие дела, не имеющие прямого отношения к литературной деятельности. Эти дела были во многих отношениях легче и приятнее, да, пожалуй, и выгоднее. Торжественный ужин в Кремле — Толстой первый гость на нем. Прием в честь заехавшего в Москву знаменитого иностранного писателя — и тут Толстой необходим. Показывают в кино достижения социализма на культурном фронте — как же можно обойтись без Толстого? На первой странице «Правды» помещена фотография встречи на вокзале руководителей коммунистических партий западных государств — и тут на переднем плане внушительная фигура Толстого. Большой человек, персона выдающегося государственного значения, важная, очень важная личность в Советском

Союзе — писатель Алексей Толстой.

Квартиру свою Толстой обставил старинной дорогой мебелью. Особенно любил он вещи красного дерева и карельской березы эпохи Павла Первого. Он покупал дорогие картины, коллекционировал фарфор, любил редкие книги. Библиотека его была превосходна. Иногда его выпускали за границу проветриться, откуда он привозил десятки ящиков и чемоданов, наполненных всем — начиная от холодильника и кончая сотнями граммофонных пластинок. Хорошо жил его сиятельство граф Алексей Николаевич Толстой при Советской власти!

* * *

Проводя весело и приятно время в попойках с приятелями, в клубах и ресторанах Москвы, на банкетах в Кремле, Толстой, как я сказал уже, после окончания им «Петра Первого» ничего не написал в течение пяти лет. Молчать дальше становилось уже неудобно. Необходимо было сочинить что-нибудь в высшей степени благонамеренное и тем отблагодарить великого вождя за безусловно счастливую и очень зажиточную жизнь. Итак, в начале 1938 года все узнали, что Толстой начал писать пьесу «Путь к победе» или «Поход четырнадцати держав» на тему об интервенции капиталистических государств в России в эпоху гражданской войны и о выдающейся роли товарища Сталина в отражении этой интервенции. И в его романе «Хлеб» разгром белой армии под Царицыном в 1919 году произошел также под мудрым предводительством товарища Сталина. За пьесой «Путь к победе» и начали отчаянную охоту все московские театры, в том числе, конечно, и Театр имени Вахтангова.

Но наступило уже лето, сезон подходил к концу, скоро должен был начаться летний отпуск, а определенного ответа от Толстого все не было, хотя вахтанговцы и имели больше всех шансов получить пьесу, так как некоторые из наших лучших актеров были большими личными друзьями Толстого.

Но сезон кончился, и мы все поехали на время отпуска в наш дом отдыха.

Он находился всего лишь в 70 километрах от Москвы, и туда всегда можно было добраться на автомобиле. Это была очаровательная небольшая усадьба Пле-

сково, принадлежавшая до революции графам Шереметьевым, расположенная среди лесов, на берегу маленькой извилистой речки Пахры...

...Помню, вскоре после приезда в дом отдыха, заведующий художественной частью театра сказал мне о новой пьесе Алексея Толстого.

— Почти совсем было уже решил отдать ее нам, да вдруг опять стал крутить. Видно, кто-то на него другой нажимает. По моим расчетам — Художественный. Боюсь, как бы они нас не обыграли. Но Толстой дал мне слово приехать к нам сюда, в Плесково, погостить. Вот тут-то мы и должны во что бы то ни стало его обработать. Это последний и единственный шанс.

Но как обработать? Чем? Кем? Чем его удивить? Как ему доставить удовольствие? Он все на свете имеет, все на свете видел и испытал...

Долго мы думали и гадали, чем можно было бы удивить и обрадовать знаменитого писателя, и, наконец, у нас созрел план. И чем больше мы обсуждали этот план, тем более удачным он нам казался. Это была, без всякого сомнения, блестящая идея.

Мы решили организовать грандиозный, небывалый пикник в честь Толстого. Такой пикник, который он бы действительно запомнил на всю жизнь и после которого у него не осталось бы другого выхода, как отдать свою новую пьесу нам и только нам.

Перед приездом Толстого в наш дом отдыха вместе с его молодой женой (он женился в четвертый раз совсем недавно на бывшей своей секретарше) мы приступили к составлению подробной диспозиции пикника. Генеральный штаб армии не разрабатывает план решающего сражения с большей тщательностью, чем мы разрабатывали план приема нашего гостя. Прежде всего, день предполагаемого приезда Толстого решили объявить официальным рабочим днем для всех актеров и служащих нашего театра, находящихся в данный момент на территории дома отдыха. Таким образом, все мы оказывались как бы мобилизованными в порядке служебной театральной дисциплины. Предполагалось произвести и полную мобилизацию технического инвентаря, то есть забрать на день пикника все лодки, все продукты, всю водку, все гитары и все ружья, какие только были в Плескове. План этой мобилизации вещей и продуктов не-

сколько осложнился тем, что, кроме нас, вахтанговцев, в доме отдыха находились также и лица (их было около 50 процентов всего количества отдыхающих), не имевшие никакого отношения к театру. Это были москвичи, которые покупали наши путевки за большие деньги (наша дирекция не стеснялась с чужими), желая провести свой ежегодный отпуск в избранном и изысканном обществе артистов. Однако они потом сильно разочаровывались и ругали нас на чем свет стоит, потому что в наше общество мы их, как правило, не принимали, предпочитая отдыхать и развлекаться в своем тесном кругу.

Так вот, можно было предположить, что наша тотальная мобилизация вызовет бунт чужих, или, как мы их почему-то называли, «негров». Долго мы думали об этом и, наконец, решили не принимать негров во внимание. Слишком уж важные интересы были поставлены на карту. Куз, наш художественный руководитель, издал специальный приказ о внеочередном рабочем дне для работников театра. Вскоре была вывешена и подробная «диспозиция». По ней каждому были поручены определенная роль и определенные обязанности. Здоровые, молодые люди были назначены гребцами на лодки. Были выбраны рулевые, гитаристы, запевалы. Девушки были определены танцовщицами и певицами. Две самые наши лучшие девушки были специально назначены занимать и развлекать дорогого гостя. Одна из наших весьма солидных актрис была назначена на должность заведующего хозяйством. Мне был поручен ответственный пост заведующего музыкальной частью. Я должен был составить точную программу песен во время путешествия на лодках, а также программу (и подготовку) всех музыкальных, вокальных и танцевальных номеров во время большого пира у костра. Кроме того, я назначался помощником начальника пикника, с обязаностями общего надзора за порядком и за точным выполнением диспозиции. Себя Куза назначил начальником пикника.

И вот в прекрасный солнечный день в начале августа часов около десяти утра большой черный автомобиль ЗИС-101 мягко въехал на площадку перед главным зданием дома отдыха. Из автомобиля вылез шофер — чекистского вида человек, с квадратной физиономией, в штатском пиджаке, в военных синих галифе и в сапо-

гах,— и раскрыл дверцы кабины. Из кабины легко выпорхнула очаровательная, элегантно одетая молодая женщина лет 28 и медленно выбралась грузная и неуклюжая фигура его сиятельства «рабоче-крестьянского графа» Алексея Николаевича Толстого.

Толстой был уже весьма и весьма в летах. Лицо его с некогда красивыми и породистыми чертами сильно обрюзгло и расплылось. Под подбородком висела огромная складка жира. Большую сияющую лысину окаймляли постриженные в кружок волосы — прическа странная и несовременная (в старой России так стриглись извозчики). Куза подбежал к приехавшим. Мы все стояли в отдалении. После первых приветствий Куза начал представлять нас гостям. Толстой, видимо, был в превосходном настроении.

— Ох, и девушки у вас! Прямо малина! — сказал он, лукаво подмигнув, когда Куза знакомил его с нашими молодыми актрисами. Девушки и в самом деле были хороши — загорелые, стройные, в пестрых летних платьях и в ярких открытых сарафанах. Жена Толстого — ее звали Людмила Ильинична — была тоже очень хороша собой, но совсем в другом роде. В ней не было ничего от того спортивного, несколько простоватого, но в своем роде очень привлекательного типа, к которому принадлежали лучшие московские девушки советского времени. У жены знаменитого советского писателя внешность была совершенно не советская. Это была скорее изящная парижанка или, может быть, хороший образец дамы с Пятой авеню, но уж никак не москвичка сталинской эпохи. На красивом лице незаметен загар, но зато можно обнаружить мастерский грим первоклассной косметики, положенный со вкусом и умением. Фигура у нее была стройная, женственная и миниатюрная. Одета она была очень хорошо, даже великолепно — в дорогие вещи, сделанные явно в презренном капиталистическом мире. В маленькой руке, затянутой в светло-серую перчатку, чудесная сумка из крокодиловой кожи. Но Людмила Ильинична оказалась дамой на редкость приветливой и любезной.

Мы все представляемся ей и целуем у нее руку с несколько большим жаром, чем того требует простая вежливость. Впрочем, разве может вежливость иметь предел, если она вызвана высшими интересами нашего театра?

Куза приглашает Толстых на веранду, где их ожидает легкий завтрак, и сообщает им о пикнике. Толстой довольно улыбается и бормочет себе под нос что-то одобрительное. Людмила Ильинична в восторге. Куза шепотом отдает мне приказ быть готовым к отплытию через полчаса. Я немедленно отправляюсь приводить нашу экспедицию в полную готовность. Через полчаса все наши лодки выстроены у пристани в одну линию и являют собой красивое и почти внушительное зрелище. Гребцы держат весла наготове. Впереди расположились гитаристы и запевалы. Большая лодка, в которой должен плыть сам Толстой с женой, покрыта дорогим ковром, с лежащими на нем пестрыми подушками и напоминает тот челн Стеньки Разина, на котором, по преданию, он справлял свою свадьбу с персидской княжной. Я нахожусь на «флагманском крейсере» — в чудесной немецкой складной парусиновой лодочке-байдарке. Это собственная лодка Кузы, которую он никому не доверяет, кроме меня. Я плаваю вокруг нашей эскадры и проверяю в последний раз, все ли в порядке. Перед самым отплытием я должен принять на борт «начальника экспедиции» Кузу и встать в голове всей флотилии.

Наконец, на берегу показываются наши гости с Кузой. Они уже успели переодеться. На Толстом просторный парусиновый костюм. Людмила Ильинична в изящном купальном халате. Куза в обычных своих рыболовных синих брюках, которые уже много лет тому назад необходимо было бы хорошенько выстирать. Когда Толстые подходят к мосткам пристани, раздается оглушительный залп из полдюжины охотничьих ружей. Гребцы поднимают весла в знак приветствия. На большой лодке, покрытой ковром, поднимается флаг нашего театра — темно-красный с золотым силуэтом профиля Вахтангова на фоне черного ромба. Людмила Ильинична громко выражает свое восхищение. Я подгребаю на нашей байдарке к пристани.

— Ах, какая прелесть эта лодочка! — говорит Толстая. Куза, как галантный кавалер, предлагает гостье сесть в нашу байдарку. Хотя в ней всего лишь два места, но третий может примоститься на коленях у гребцов. Толстая очень рада. Конечно, она хочет ехать в байдарке и только байдарке. Она снимает свой халат и остается в прекрасном купальном костюме цвета терракоты.

Наконец, все уселись. Куза дает последнюю команду, и наша армада медленно трогается в путь. Гребцы запевают широкую волжскую песню. Солнце стоит высоко. Скоро уже полдень. На небе ни облачка. Узкая живописная река Пахра извивается между крутых лесистых берегов. На реке полно кувшинок и белых лилий. В некоторых местах деревья сплетаются над водой, и кажется, что плывешь по какой-то прекрасной зеленой аллее. Ослепительной голубизны небо проглядывает сквозь зелень ветвей, причудливо отражающихся в спокойной темной воде. Прелестная природа, белые лодки, песни, звон гитар, мерный плеск весел, красивые, нарядные женщины, присутствие самого знаменитого из ныне живущих писателей России — все это создает обстановку незабываемую, неповторимую.

Наше путешествие длится более часа. Мы заплываем в совершенно дикие и пустынные места и, наконец, пристаем к берегу и высаживаемся. Очаровательная полянка на высоком берегу реки, окруженная лесом, выбрана нами заранее. Неподалеку струится ручей с холодной как лед водой. На полянке нас уже ждет наша заведующая хозяйством с двумя своими помощницами. Они прибыли на место сухим путем, через лес на подводе, нагруженной продуктами, посудой и водкой. Чего они только не привезли с собой! Тут и икра, и жареные поросята, и заливная осетрина, и маринованные белые грибы, и соленые грузди, и окорока, и цыплята, зажаренные по-грузински... Водку — ее взяли пятнадцать литров — несут к ручью и опускают в ледяную воду. Наша «хозчасть» начинает разводить костер, в котором надлежит печь картошку. Какой же русский пикник может состояться без картошки, испеченной на костре, и могут ли все самые изысканные и дорогие яства в мире заменить эту горячую, сморщенную, наполовину обуглившуюся и обсыпанную золой картошку?

Пока разгорается костер и печется картофель, Толстому предлагают совершить небольшую прогулку и пострелять из мелкокалиберной винтовки рыб в реке. Эта странная помесь охоты с рыбной ловлей была изобретением Кузы. Вообще, надо сказать, милый Василий Васильевич, человек серьезнейший и порядочнейший в жизни и в больших делах, обладал одной маленькой слабостью: во всех вопросах, связанных с охотой или

с рыбной ловлей. Поражал он меня своим необыкновенным легкомыслием, фантазерством, склонностью ко всякого рода преувеличениям и даже прямо к мистификации. Барон Мюнхгаузен мог бы позавидовать необыкновенным историям и приключениям Кузы, которые с ним постоянно случались во время его охотничьих и рыболовных экспедиций. То свирепый лось загнал его на дерево и караулил до темноты, когда он смог, наконец, обмануть его и скрыться по верхушкам деревьев, перепрыгивая с ветки на ветку. То он поймал в нашей маленькой Пахре щуку в метр длиной, которая вступила с ним в отчаянную борьбу, поранила руку, перегрызла удочку пополам и ушла. В доказательство Куза показывал всем действительно сломанную удочку и забинтованный палец на руке.

Так было и в отношении стрельбы по рыбам из винтовки. Куза уверял, что где-то, не то в Южной Африке, не то в Северной Америке, рыба добывается исключительно таким необыкновенным способом. Он также таинственно намекал, что достиг уже немалых успехов в стрельбе по рыбам из винтовки 22-го калибра. И действительно, во время наших прогулок он иногда усаживался на берегу и начинал стрелять в воду, долго и тщательно прицеливаясь своими близорукими глазами неизвестно куда. Но в рыб он не попадал. Это я мог бы засвидетельствовать совершенно точно. Я даже мог бы поручиться с полной ответственностью, что за всю свою жизнь Куза не убил из ружья ни одной самой захудалой и невкусной рыбешки. Как бы там ни было, но вся компания охотно направилась к расположенному неподалеку высокому мосту, с которого предполагалось на сей раз провести охоту на рыб. Толстому было торжественно вручено ружье. Усевшись на краю моста, он свесил свои толстые ноги и стал высматривать рыб. Один из специально назначенных по диспозиции для этой цели молодых людей стоял рядом с ним, глядя вниз в воду в большой призматический бинокль, и высматривал добычу для дорогого гостя. Вода была прозрачная, и иногда в ней действительно мелькали какие-то рыбы небольших размеров.

— Вон, вон идет! Вот, под корягой! Один хвост торчит... Ух, какая!..— взволнованно говорил молодой человек с биноклем, почему-то шепотом, боясь, веро-

ятно, как бы рыба не испугалась громкого голоса и не ускользнула бы от Толстого. «Бах, бах...» — стрелял тот. По воде шли круги от пуль, но подстреленные рыбы упорно не всплывали на поверхность.

— Попали, Алексей Николаевич, честное слово, попали,— говорил Куза уверенным тоном, щуря близорукие глаза.— За корягу зацепились. Какая досада!

Постреляв так с полчаса и не убив, конечно, ничего и никого, мы возвратились на поляну, где весело потрескивали два больших костра. Картошка была уже готова и давно поджидала нас. Мы уселись вокруг одного из костров. Толстой и Людмила Ильинична расположились на почетном месте — на двух подушках, принесенных из лодки. Началась застольная часть программы. Грянули гитары, и мы запели чудесную старинную цыганскую песню, каждый куплет которой сопровождался припевом:

Кому чару пить, кому выпивать?

Свету Алексею Николаевичу!

Тут Толстому подносился довольно большой граненый стаканчик водки, и, пока он его выпивал до дна, хор все время повторял:

Пей до дна, пей до дна...

Когда же стакан был выпит, мы начинали следующий куплет, опять все с тем же припевом. Всего в песне было три куплета, и Толстой выпил таким образом три стаканчика водки, одобрительно крякая, причмокивая и ухая. Закусывал он маринованными грибками, которые доставал прямо руками из большой банки. Когда же песня была окончена и хор замолчал, то неожиданно раздался голос нашего высокого гостя, уже весьма хриплый, хотя еще и твердый:

— Давай сначала всю песню!..

Песню спели еще один раз, полностью все три куплета, и Толстой выпил еще три граненых стаканчика. После этого он весьма повеселел и совсем оживился. Программа продолжалась. Песня следовала за песней. Наша Нина Н., красивая девушка, ловкая и гибкая, танцевала цыганскую венгерку, тряся плечами и бросая огненные взгляды на Толстого. Людмила Ильинична (она, кстати, почти совершенно не пила) тоже изъявила любезное желание принять участие в программе и очень мило спела два русских старинных романса — Гурилева

и Варламова. Наконец, сам Толстой решил выступить.

— Давай играй польку,— махнул рукой нашим гитаристам и с трудом поднялся со своей подушки. Гитаристы заиграли цыганскую польку, и Толстой начал слегка притопывать ногами и прихлопывать в ладоши, как большой медведь в зоологическом саду, которому бросают печенье посетители. Потопав и похлопав, он сказал под музыку какое-то совершенно дурацкое и не вполне приличное стихотворение про девочку и птичку. Все присутствующие были в полном восторге. А граненые стаканчики тем временем наполнялись и осушались с поризательной быстротой. Совсем еще немного времени прошло с тех пор, как мы уселись у костра, а уже мало что оставалось от привезенных пятнадцати литров. Конечно, все считали своим долгом не отставать от дорогого гостя по мере своих сил, хотя поспеть за ним в этом отношении было действительно трудновато.

Как бы там ни было, но после польки Толстого вся программа сама собой нарушилась. Все начали так громко смеяться, разговаривать и кричать, что поддерживать стройно выработанный порядок оказалось совершенно невозможным, да и ненужным. Сам Толстой спел и сплясал свою польку, выпил еще несколько стаканчиков, свалился на подушки и сладко заснул. Еще через полчаса вокруг не осталось ни одного трезвого человека, за исключением Людмилы Ильиничны, Кузы и меня. Мне Куза еще до начала пикника строго запретил пить больше двух стаканчиков. Вот тут-то и произошло непредвиденное трагическое осложнение всей ситуации. Мы с Кузой не рассчитали пустяка, когда тщательно составляли план нашего пикника! Мы уподобились тем генералам, которые, рассчитав до мелочей план сражения, всегда что-то упустят, чего-то недосмотрят, и в результате сражение проиграно. Так и у нас с Кузой. Все, казалось бы, предусмотрели, а вот то очевидное обстоятельство, что пятнадцатью литрами водки все безусловно и непременно напьются и выйдут из строя, упустили. А это именно и произошло. Да и почему бы, казалось, молодым людям было и не выпить как следует на лоне природы, тем более что в подробном приказе Кузы о пикнике ни слова не было сказано по этому поводу.

Короче говоря, вся масса пьяных гребцов, гитаристов, певиц и танцовщиц совершенно вышла из повино-

вения. Гребцы почему-то решили изменить водной стихии и отправиться назад в дом отдыха пешком, напрямик через лес, прихватив с собой девушек. Напрасно Куза приказывал, кричал, грозил уволить из театра и изрыгал проклятия. Гребцы с девушками разбрелись по лесу, оставив лодки сиротливо стоять у берега. Спасло нас только то счастливое обстоятельство, что двух скромных, недавно принятых в театр и почти непьяных молодых людей Кузе все-таки, наконец, удалось запугать и заставить приступить к исполнению их прямых обязанностей. С их помощью мы с трудом подняли спящего Толстого и стали осторожно погружать его в лодку. Но, увы, когда казалось, что все уже в порядке, один из молодых людей (он все-таки не был вполне трезв) оступился на скользкой траве и упал в воду; увлекая за собой драгоценную ношу. Бедный Алексей Николаевич исчез в воде со страшным шумом и плеском, хотя в этом месте было не так уж глубоко, разве что по пояс. Пришлось нам всем спешно лезть в воду и спасать знаменитого писателя. Мы его извлекли из воды, вытащили на поляну, раздели, растерли докрасна, надели кальсоны и рубашку, которые кто-то из присутствующих услужливо одолжил, и закатали в ковер, так как одеяла у нас не оказалось. Вода была холодная, и Куза очень беспокоился, что Толстой может простудиться.

Когда мы вытащили Толстого из воды, он проснулся на некоторое время, но, промычав что-то непонятное, опять заснул. Мы бережно взяли тяжелый и толстый сверток с Толстым и на этот раз очень удачно погрузили его на корму одной из лодок. Было уже совсем темно, когда жалкие остатки нашего флота тронулись в обратный путь. Большую часть лодок пришлось оставить. Некому было на них грести. Осторожно продвигались мы в темноте по узкой реке, среди многочисленных коряг и мелей. Далеко вперед ушла лодка с Толстым. Мы трое на нашей байдарке замыкали поредевшую флотилию. Не проплыли мы и четверти часа, как вдруг впереди за поворотом реки послышались какие-то возбужденные крики и громкие голоса.

— Что случилось? — испуганно сказал Куза.— Плывем скорее туда. Неужели они его опять уронили в воду?!

Мы нажали на весла и через минуту были уже у ме-

ста происшествия. Куза зажег свой карманный фонарь и осветил совершенно удивительную картину: в очень узком, мелком месте, как раз посередине реки, стояла в воде одна из наших девушек, ушедшая домой со своими спутниками через лес. Она стояла, как была — в белом шерстяном свитере,— по плечи в холодной воде и весело декламировала какое-то стихотворение. Так как река была в этом месте совсем узкая — не шире большого ручья, то девушка загораживала фарватер, и лодки не могли ее объехать, да особенно и не старались, а остановились и составили как бы сочувственную и понимающую публику этого необыкновенного выступления.

Куза и на этот раз действовал со своей обычной энергией. Девушку быстро вытащили из воды, проделали над ней такую же лечебную процедуру, что и над Алексеем Толстым. Но когда нужно было закутать ее во что-нибудь теплое, то другого ковра под рукой не оказалось. Поэтому пришлось раскатать наш единственный ковер с Толстым и завернуть и ее тоже в него. Толстой в это время уже совсем проснулся и громко выражал свое полное удовлетворение от неожиданного, но приятного соседства. Куза же теперь вполне оценил всю серьезность обстановки, всю ее рискованность и сомнительность, так сказать, с государственно-политической точки зрения. В самом деле: в сырой, туманный вечер на маленькой лодке с нетрезвыми гребцами в чьих-то чужих подштанниках и нижней рубашке, завернутый в грязный и пыльный ковер, лежал депутат Верховного Совета СССР, личный друг Сталина, знаменитый писатель, краса и гордость советской литературы Алексей Толстой!

Как же тут было не испугаться? И как же было не забить тревогу? Куза испугался и забил тревогу.

— Товарищ Елагин,— сказал он мне голосом четким и строгим.— От имени Государственного театра имени Вахтангова приказываю вам вылезти из байдарки и пересесть в лодку к Алексею Николаевичу. Вы возьмете весла и будете грести сами всю дорогу, никому не доверяя и не позволяя вас сменить! Вы должны довезти его до дома отдыха в полной сохранности. И помните, вы отвечаете за его жизнь и за его здоровье перед всей страной. Подумайте о той огромной ответственности, которая на вас лежит!

Я влез в лодку, взял весла и один вез всю дорогу Толстого с девушкой в ковре и двух дюжих гребцов, отставленных от гребли Кузой, и нашу солидную заведующую хозяйством — даму очень тяжелую,— и целый склад подушек, кастрюль, тарелок, гитар и ружей, которые все находились в этой лодке. Целая вечность, казалось мне, прошла, пока я, совершенно выбившись из сил, не въехал в то место, где Пахра делает поворот и огибает большой луг и где уже видны огни дома отдыха. Мы еще были далеко от пристани, когда заметили признаки исключительного волнения на берегу. По нескошенному лугу ездили автомобили, бегали с фонарями какие-то люди. Из ярко овещенного дома отдыха слышались громкие, взволнованные голоса. Наконец, нас осветили с берега фонарем. Я увидел испуганное лицо шофера Толстого, державшего револьвер в руке. Бедняга, видимо, здорово переволновался. Еще бы! Что было бы ему от его начальства, если бы с Толстым что-нибудь случилось.

Но все хорошо, что хорошо кончается. Мы подъехали к пристани. Толстого взяли под руки и медленно повели к дому. Так и шел он — в чужих белых кальсонах с тесемками у щиколоток, босиком, с накинутым на толстые плечи ковром.

Было уже около одиннадцати часов вечера. Но освещенной веранде главного здания, куда напрявлялось шествие, стоял только что приехавший из Москвы Рубен Николаевич Симонов — большой друг Толстого. Он стоял, как всегда, изящный, непринужденный, нарядный, в своем белом фланелевом костюме...

— Здравствй, Алексей Николаевич. Очень рад тебя видеть,— сказал Симонов спокойно, обращаясь к странной босой фигуре в кальсонах с тесемочками.

— Здравствуй, Рубен.— Приятели обнялись и поцеловались.

Куза достиг того, чего хотел. Алексей Толстой запомнил этот пикник на всю жизнь. И долго по Москве ходили его приукрашенные рассказы о нашем пикнике.

Раз как-то, примерно через год, проходил я по ресторанному залу московского Дома актеров. За одним из столиков увидел я Толстого в компании знаменитых московских артистов. Я хотел было пройти мимо, но он неожиданно ухватил меня за рукав.

— Постой, постой! Я тебя помню...— пробормотал он заплетающимся языком, смотря на меня мутным взором.— Ты меня тогда на лодке вез и всю дорогу один греб... Давай выпьем...— Он протянул мне чей-то недопитый стакан с водкой и полез целоваться...

А пьеса? Как было дело с пьесой «Путь к победе», из-за которой устраивался весь этот грандиозный пикник? Пьесу Толстой отдал для постановки нашему театру. Роли в ней поручили играть лучшим нашим актерам. На постановку не пожалели денег. Но пьеса оказалась такой скверной, бездарной и скучной, что даже неизбалованный и покорный советский зритель не захотел ее смотреть, и после нескольких спектаклей ее пришлось снять с репертуара.

И роман «Хлеб», который появился в Москве примерно в это же время, не захотел читать неизбалованный советский читатель. Совсем плохой, никуда не годный роман написал спившийся, некогда талантливый советский писатель Алексей Толстой.

Горького отравили, Маяковский застрелился, многих сослали в концлагеря, некоторых расстреляли...

А Алексея Толстого споили, разложили морально и заставили лгать. И талант его погиб так же быстро и так же окончательно, как и таланты тех, кого расстреляли или сослали. Но сам он еще прожил долго. Он умер в 1945 году, и Советская власть всегда показывала его демонстративно всему миру — и в газетах, и в журналах, и в кино, и на самых торжественных официальных приемах и банкетах: «Смотрите, вот он — большой писатель, гордость советской культуры! Смотрите, вот бывший дворянин и граф, а ныне преданный и восторженный певец сталинской эпохи, великий бард победившего социализма!..»

И не всякий, видя Толстого на экране, читая о нем в «Правде» и видя его на фотографиях вместе с членами правительства или со знатными иностранцами, знал, что этот толстый человек с некогда красивым, а теперь обрюзгшим и заплывшим лицом был всего лишь очередной ложью Советской власти. Ибо был это уже и не писатель и никакой не певец, а некое декоративное существо, нечто вроде «свадебного генерала», которого приглашают в бедный дом на свадьбу, чтобы иметь возможность рассказывать потом соседям:

— Вот, смотрите, какие мы интеллигентные люди! Даже настоящий генерал в мундире на нашей свадьбе был и за столом сидел.

ВОЖДИ НА ТРИБУНЕ

У нас довольно часто бытует (или до недавнего времени бытовала) практика сранивать достижения хозяйства, науки с 1913 годом. Образно говоря: все лучшее было тогда, до революции, там же и золотой век литературы. Любили тогда не только пофилософствовать, но и посмеяться. Лучше всех это удавалось А. Аверченко.

Во время революции 1917-го года главным литературным поприщем стала трибуна. «Трибун революции» — говрили о поэте. Кадры кинохроники выхватывают из того времени образы Ленина, Троцкого с пламенными речами.

Постепенно революционный пыл стал затухать и уже значительно легче было отдать приказ: танки — вперед, а не разговаривать с толпой.

Красноречие, что ни говорите, потускнело.

В предреволюционные годы Аркадий Аверченко (1881—1925) был самым знаменитым юмористическим писателем России, редактором самого популярного русского юмористического журнала «Сатирикон». (С 1913 года часть сотрудников «Сатирикона» откололась и стала издавать под редакцией Аверченко журнал «Новый Сатирикон».)

Несмотря на то, что к участию в издании этого журнала привлекались Л. Андреев, А. Куприн, А. Толстой, несмотря на то, что в нем активно сотрудничал Маяковский, о «Сатириконе» и его редакторе у нас обычно писали в крайне непочтительных тонах, а иногда и вовсе пренебрежительно, третируя его печатную продукцию как типичный образчик беззубой либерально-буржуазной псевдосатиры, не затрагивающей самых основ «прогнившего» буржуазного общества.

«Сатирикон» был странное место,— вспоминает Вик-

тор Шкловский.— Богом там был одноглазый, умеющий смешить Аверченко, человек без совести, рано научившийся хорошо жить, толстый, любящий индейку с каштанами и умеющий работать...

Бледнолицый, одноглазый, любящий индейку с каштанами Аверченко притворялся, что ему мешает полиция. Он изображал даже, как сам «Сатирикон», нечто вроде отъевшегося на сдобных булках сатира или фавна, грызет красные карандаши цензуры и не может прорваться.

Фавн, объевшийся булками, если бы сломал карандаши, побежал бы очень недалеко.

После 1917 года Аверченко эмигрировал во Францию. В 1921 году издал там книжку «Дюжина ножей в спину революции».

«Это,— писал о ней В. И. Ленин,— книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца... Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки... Большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России... До настоящего пафоса... автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с половиной и за 50 рублей и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием...»

Двойное упоминание о любви Аверченко к индейке с каштанами в воспоминаниях Шкловского, надо полагать, восходит именно к этим рассуждениям Ленина.

Несколько позже, в 60-е годы, официальная трактовка творчества Аверченко у нас слегка изменилась. «В юмористических рассказах Аверченко высмеивал пошлость буржуазного быта»,— говорится о нем в «Краткой литературной энциклопедии» (1962 год).

Но безотносительно к тому, высмеивал ли Аверченко пошлость буржуазного быта или, напротив, сладостно воспевал этот самый буржуазный быт, главное все-таки то, что был он, как справедливо отметил Ленин, поразительно талантлив.

Юрий Олеша в своих заметках об Александре Грине обронил: «Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать!»

Точно так же как нельзя подражать выдумке (ведь надо выдумать!), нельзя подражать и искусству юмориста: ведь надо уметь рассмешить!

Юмору нельзя научиться ни в каком университете. Это — свойство ума, свойство души, свойство таланта. Аркадий Аверченко был этим свойством наделен в высокой степени.

Отрывок из рассказа «Слепцы», публикуемый нами, взят из сборника Аркадия Аверченко «Рассказы для выздоравливающих». Издание журнала «Новый Сатирикон».

* * *

Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель Ave беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом.

Пожилой приветливый господин обернулся к Ave и после некоторого колебания спросил:

— Кто вы такой?

— Я? Ave. Писатель.

— Хорошая профессия,— одобрительно улыбнулся незнакомец.— Интересная и почетная.

— А вы кто? — спросил простодушный Ave.

— Я-то? Да король.

— Этой страны?

— Конечно. А то какой же...

В свою очередь Ave сказал не менее благожелательно:

— Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная.

— Ох, и не говорите,— вздохнул король.— Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают.

Ave всплеснул руками и изумленно вскричал:

— Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой.

— А вы довольны? — иронически прищурился король.

— Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется.

— Вот видите! Для вас существует не более десятка-другого критиков, а у меня критиков миллионы.

— Я бы на вашем месте не боялся никакой критики,— возразил задумчиво Ave и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля: — Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы.

Король махнул рукой.

— Ничего не выйдет! Все равно никакого толку.

— Пробовали?

— Пробовал.

— Я бы на вашем месте...

— Э, на моем месте! — нервно вскричал старый король.— Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. На моем месте... Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет...

— Куда... посадили бы? — осторожно спросил обстоятельный Ave.

— На свое место!

— А! На свое место... Разве это возможно?

— Отчего же! Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали... чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей!

Ave скромно сказал:

— Ну, что ж... Я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить: мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного... гм... смешным — не осуждайте меня.

— Ничего,— добродушно улыбнулся король.— Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей... Итак, хотите?

— Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать.

— С Богом! — кивнул головой король.— Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет неделькой отдыха. Какой же это закон? Не секрет?

— Сегодня, проходя по улице, я видел слепого ста-

рика... Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела... Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руки и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?

— Вы добрый парень,— устало улыбнулся король.— Да поможет вам Бог. А я пойду спать.

И, уходя, загадочно добавил:

— Бедные слепцы...

В декабре 1931 года в Москву приезжает немецкий писатель Эмил Людвиг. Его хобби — биографии великих людей. Что ж, у Сталина к этому времени имеются за спиной кое-какие из «свершений»: всеобщая коллективизация, например. Дома его уже называют великим. На IX съезде комсомола в январе 1931 года его имя повторяется 80 раз. Выступая на съезде от имени ЦК ВКП(б), Лазарь Каганович называет Сталина вождем, и зал подхватывает ликуя: «Да здравствует вождь партии и мирового пролетариата!»

Но чванливая заграница пока не испытывает к нему особого пиетета. Для буржуев он всего лишь властитель страны, занимавшей шестое место по выплавке чугуна и девятое — по производству электроэнергии. Внимание известного писателя льстит. Европа, кажется, начинает понимать, с кем она имеет дело. Людвигу многое позволено. Он иностранец. Ни один человек в Советском Союзе не осмелился бы задать Сталину такой вопрос.

Людвиг: Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед Советской властью и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость Советской власти.

Сталин: Вы ошибаетесь... Неужели вы думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря методу запугивания, устрашения? Нет, это невозможно. Лучше всех умело запугивать царское правительство...

Людвиг: Но ведь Романовы продержались 300 лет.

Сталин лукавит. Он знает, что страхом пропитана вся страна. Профессор Бородин, герой пьесы А. Афиногенова «Страх», поставленной в 1931 году, говорит: «... 80 процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинения в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха».

Сталин знает о пьесе. С его соизволения ставится в театре. Зачем скрывать? Пусть о страхе говорят открыто. Пусть страх перестанет быть патологией. Пусть он станет нормой советского образа жизни.

Страху, нищете, голоду, политическим процессам, охоте на вредителей, лагерным и заводским баракам нужен весомый противовес. Противовесом этим уже не может быть ни мясо, ни молоко, ни яйца, ни мануфактура, ни обувь. Все это уже переходит в категорию вечного дефицита. Искусственное «изобилие» Елисеевского гастронома с икрой, селедкой «залом», с белорыбицей поддерживается мизерной зарплатой миллионов рабочих и крестьян.

Но в резерве власти оставалось уже испытанное средство — идеология. Средство это почти не требовало капиталовложений, но при умелом пользовании давало почти незамедлительный результат.

На этот раз «из широких штанин» Сталин вытащил еще недавно «запретное оружие» — русский патриотизм. Еще недавно, отмежевываясь от собственной истории, велели ей начинаться с октября 1917 года, еще недавно отправляли на свалку истории «народы, царства и царей». Теперь же потребовались «великие предки»: Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр I, Иван Сусанин, гражданин Минин и князь Пожарский. Прославлять отечество стало не только позволительно, но и похвально. Равно как похвальным становится и принижать, и даже высмеивать другие государства и народы.

В цикле «Стихи об Америке» («Сифилис», «Блек энд

уайт», «Порядочный гражданин») неприязнь к заграница, которой прежде Маяковский не грешил, выпирает с поразительной и гневной отчетливостью, политически перекликаясь с оценками Сталина.

Если глаз твой
    врага не видит,
пыл твой выпили
    нэп и торг,
если ты
    отвык ненавидеть,—
приезжай
    сюда,
        в Нью-Йорк.

Мир начинает делиться на «блек энд уайт», на белое и черное. Цветовую слепоту, описанную Дж. Дальтоном, навязывают советскому человеку. Невиданная по масштабам хирургическая операция над зрением, проведенная сталинскими идеологами, приводит к массовому, коллективному дальтонизму. Один из самых терпимых, универсальных, открытых и «коммунотарных», по выражению Н. А. Бердяева, народов доводится до состояния перманентной и чванливой ксенофобии.

Молчи, Европа,
    дура сквозная!
Мусьи,— заткните ваше горло.
Не вы — я уверен,— не вы,—
    я знаю —
над вами смеется товарищ Шарло.
Жирноживотные.
    Лобоузкие.
Европейцы,
    на чем у вас пудры пыльца?
Разве
    эти
        чаплинские усики
не все,
    что у Европы
        осталось от лица?

Восхвалению подлежит все советское — от домн Магнитки до паспорта, поруганию — все заграничное: от Парижа до Нью-Йорка. Народы, с которыми Россия худо ли, бедно ли, но строила общую цивилизацию со времен принятия христианства, третируются как «незре-

лые», классово и социально отсталые. Идет откровенная и беспардонная фальсификация реальности. Внешний мир представляется советскому человеку в совершенно искаженном, сюрреалистическом освещении. В свою очередь, сведения об СССР просачиваются за границу, как тоненькая струйка песка в песочных часах. Каждая крупинка информации уже ощупывается «пальчиками Ягоды». Но нам уже ужасно хочется, чтобы нами там восхищались, чтобы нам аплодировали.

Чем кровавее годы, тем громче велят звучать патриотическим фанфарам. Борьба с космополитизмом круто замешивается на политике. При этом вся советская символика и фразеология направлены на то, чтобы сплавить воедино образы вождя и отечества. Сталин, объявивший себя «Лениным сегодня», требовал полной своей идентификации с партией и государством. Всякий, кто осмеливается подвергнуть сомнению этот идеологический софизм, лишался права на существование.

В одной из пьес Ф. Дюрренматта последний римский император Ромул Августул говорит: «Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной». Формула сохранения власти, известная со времен Древнего Рима и нашедшая свое, пожалуй, наиболее законченное теоретическое обрамление в известном трактате Никколо Макиавелли «Государь», широко применялась Сталиным. Пользуясь рецептами Макиавелли, Сталин достиг полного, по словам Маркса, освобождения от морали.

Кампания борьбы с космополитизмом была лишь одним из эпизодов борьбы Сталина с интеллигенцией. Неприязнь Сталина к интеллигенции не случайна. В силу универсальности своих знаний и своей психологии, интеллигенция оставалась тем нервом, который, несмотря на все предыдущие ампутации и чистки, продолжал связывать мыслящую Россию с мыслящей Европой. Чтобы подготовить страну к завершению чистого эксперимента «построения социализма в одной отдельно взятой стране», необходимо было убить и этот «европейский нерв».

Опасная для судеб страны политика отталкивания космополитической Европы и самоизоляция с особой очевидностью проявляется в 1939 году на XVIII съезде ВКП(б). Европа уже дышит пожаром. Ко времени съезда

в мировую войну втянуты страны с населением около 500 млн. человек. Война подступает к порогу СССР.

Здравый смысл подсказывает партии правильный путь: поиск союзников. В условиях грозящей опасности XVIII съезд дает зеленый свет «укреплению деловых связей со всеми странами». Казалось бы, что разум наконец побеждает. Однако собственная речь Сталина на XVIII съезде по-прежнему проникнута ненавистью к внешним и внутренним врагам.

«Троцкистско-бухаринская кучка шпионов, убийц и вредителей, пресмыкавшаяся перед заграницей, проникнутая чувством низкопоклонства перед каждым иностранным чинушей и готовая пойти к нему в шпионское услужение,— кучка людей, не понявшая того, что последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши...»

Тем фактом, что восемь месяцев спустя, в декабре 1939 года, Советский Союз исключили из Лиги наций, мы обязаны не только «финской кампании», но и в немалой степени специфическому пониманию Сталиным «укрепления деловых связей со всеми странами». Зачисление в космополиты и шпионы всех, кто сочувственно относился к сотрудничеству с заграницей, едва ли могло вызвать доверие Запада к «сталинской миролюбивой политике».

Суперидеологизация внутренней и внешней политики мешала распознать контуры реального врага вплоть до самого начала Великой Отечественной войны.

Классовый догматизм был столь силен, так глубоко укоренился в сознании советского общества, что даже трагическая, поставившая страну на грань национальной катастрофы, война не повлекла за собой философского и политического осмысления пережитого. В оценках результатов войны по-прежнему преобладали не исторические, а идеологические критерии. Неудивительно, что едва над разоренными городами и нивами России умолк грохот орудий, как в действие была вновь приведена тяжелая артиллерия идеологии. С той только разницей, что идеологические «катюши» били по собственному народу.

Солдатам, вернувшимся домой, поспешили напомнить: «Хороша-де страна Болгария, но Россия лучше всех!».

Пропагандисты принялись втолковывать дошедшим до Берлина воинам-победителям необходимость повышенной идеологической бдительности: «В период войны десятки миллионов людей проживали на территории, временно захваченной врагом. Миллионы людей были угнаны гитлеровцами в Германию. Много советских военнослужащих находилось в плену. Все эти люди были оторваны от Родины...»

Недоверие вызывают даже коммунисты, вступившие в партию в годы войны, те, которые первыми по зову — «Коммунисты вперед!» — поднимались в атаку. Более трех милионов солдат, вступивших в партию в годы войны, под огнем немецких гаубиц, оказывается, «не сумели получить необходимой теоретической терапии».

Сталину, однако, уже казалось недостаточным отгородить Россию от мира и Европы. Ему потребовалось поставить перегородки и внутри собственной страны.

Война 1941—1945 годов, так же как и Отечественная война 1812 года, оставила в народе и его интеллигенции глубокий нравственный след. Равно как освободительная война против наполеоновских захватчиков, поход русских войск в Европу вплоть до Парижа всколыхнул в народе веру в освобождение от крепостного гнета, так и жертвенная победа советских солдат в Великой Отечественной войне породила надежды на лучшую долю. Среди солдат, возвращавшихся в разоренные деревни и истосковавшихся о мирном труде хлебопашцев, ходили упорные слухи о том, что землю раздадут крестьянам, что облегчат налоги, что выдадут на руки паспорта. Энтузиазм, охвативший народ после войны, объяснялся не только естественной гордостью за победу, но и верой в то, что пролитая кровь «зачтется», что действительно «жить станет лучше, жить станет веселей», как обещал Сталин.

Вера в лучшую жизнь была для властей обоюдоострой: с одной стороны, она порождала трудовой энтузиазм, с другой — порождала надежды. Вообще всякая вера, кроме веры в собственный гений вождя, представлялась Сталину опасной. А что если надежды не сбываются? При той экономике, которую поставил на ноги Сталин, они и не могли сбыться, ибо она зиждилась на «философии нищеты». При отсутствии материальных стимулов стране нужен был другой допинг. Сталин на-

ходит его в старом принципе английской колониальной политики: «разделяй и властвуй».

Война, в которой бок о бок, плечо к плечу, не заглядывая в метрики, сражались русские и грузины, евреи и татары, украинцы и казахи, дала удивительный сплав не хрестоматийного, а реального братства. Пожалуй, никогда еще на протяжении истории многонациональный советский народ не ощущал себя таким без ложного пафоса единым. Межнациональные браки становятся обычным явлением. В школах нет и намека на расовый прищур. Народ не считал и не собирался считать, кто больше пролил крови в войну. Считать и делить начал Сталин. Прошедших через войну солдат генералиссимус делит на тех, кто был в окружении и кто не был, на тех, кто прошел через плен и кого минула эта страшная чаша. Виновными оказываются и целые нации — крымские татары, чеченцы, ингуши... В массовом порядке депортируются западные украинцы, жители Прибалтики.

Делается и очередная попытка отделить народ от своей интеллигенции и ставить между собой отдельные группы интеллигентов.

Прокачка износившихся за время войны идеологических тормозов охватывает все сферы жизни. В феврале 1948 года начинается очередная промывка: теперь очередь дошла до музыки. И опять все та же характерная черта идеологической работы: в назидание всему народу публично секут интеллигенцию. На этот раз громят «противников русской реалистической музыки, сторонников упадочной, реформалистической музыки». В сущности, с некоторыми музыкальными нюансами идет травля «космополитов». «Среди части советских композиторов,— говорится в Постановлении ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели»,— еще не изжиты пережитки буржуазной идеологии, питаемые влиянием современной упадочной западноевропейской и американской музыки». Виднейших советских композиторов, создавших в годы войны известные всему миру шедевры симфонической и инструментальной музыки,— Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Маяковского, Шебалина, Шапорина, Глиэра, Кабалевского,— обвиняют в антинародности, в том, что они «ведут на деле к ликвидации музыки».

По уже заведенному ритуалу десятки известных советских композиторов, музыковедов, музыкальных критиков вынуждены пройти «очистительную» процедуру самошельмования. Ритуальное чистилище открывает верховный идеологический жрец Сталина А. Жданов. Вышедший в апреле 1948 года первый номер журнала «Советская музыка» не оставляет сомнения в том, чего, собственно, власть требует от советских композиторов. В качестве высших образов музыкального творчества в журнале приводятся «нотные приложения» — три лучшие песни о Сталине: «Кантата о Сталине», «Песня о Сталине» и «Величальная И. В. Сталину». Народу предлагалось петь «спокойно, торжественно, мужественно».

Величаем мы сокола,
Что всех выше летает,
Чья могучая сила
Всех врагов побеждает.
Величаем мы сокола,
Друга лучшего нашего,
Величаем мы Сталина—
Всенародного маршала.

Что касается других жанров советской музыки, то по этому поводу с замечательной простотой высказался один из «везунчиков» эпохи композитор Мариан Коваль (Сталинская премия за 1943 год.)

«...Неверно, что мы не имеем положительных образов музыкального творчества. Но если бы даже их и не было, у нас есть зато Постановление ЦК ВКП(б)».

Постановление от 10 февраля 1948 года было своего рода увертюрой к новому этапу идеологического выхолащивания культуры. К этому времени под руководством А. Жданова идеологический аппарат достиг желаемой цели — «абсолютной идейной простреливаемости» советского общества.

Из воспоминаний Б. И. Жутовского о Хрущеве:

(Из письма)

«В одном из московских музеев есть подаренный XVII съезду топор. На одной его стороне написано «руби правой рукой», на другой — «руби левой рукой»,

а по обуху — «руби примиренцев». Созданная к 30-м годам структура власти не давала людям возможности на сомнения, на размышления, на обдумывание.

Почти всю свою жизнь Хрущеву пришлось думать о сохранении собственной жизни, у него не было возможности стать образованным. Он воспитывался в той гостиной, где рябой палач распределял, кому жить, а кому голову отсечь. Он пел в этой гостиной частушки, юродствовал, был у Сосо Джугашвили клоуном. Да, он участвовал и в репрессиях. Но по-человечески, мне кажется, он ненавидел это. Он выполнял роль шута при кровавом дворе. А шуты, как правило, ненавидят хозяев.

И вот к нему в руки попадает огромная власть. Ему достается власть, где есть прислужники с наручниками и кистенями. И страна, истерзанная и замученная ими. И перед ним встают задачи огромной сложности, фантастической. Судить его за то, как он решал эти задачи, я не могу. Это не в моих силах. Потому что освободить людей из лагерей, вернуть семьям честное имя, дать паспорта крестьянам (что он, кстати, считал своим главным делом жизни), думать о том, как накормить страну, начать жилищное строительство (жили-то многие в бараках), дать два выходных дня, дать людям пенсии, приехать в ООН, снять башмак и стучать им по трибуне, отчего возникло ощущение, что перед тобой нормальный живой человек, сломать «железный занавес», задумать реорганизацию аппарата — за все это человек заслуживает не только того, чтобы к его недостаткам была привлечена терпимость, но и доброй памяти.

Я виделся с Хрущевым в последний день его рождения, незадолго до смерти. Вспоминая свой визит в Манеж, он извинился и сетовал: «И зачем я только полез во все это. Это же совершенно не мое дело...»

Одна из композиций в картине «50» посвящена встречам с Хрущевым. Я сейчас работаю над ней. В нее будет включена наколотая на иглу редкая бабочка, подаренная когда-то сыном Хрущева в благодарность за то, что я помогал Эрнсту Неизвестному в работе над надгробным памятником отцу, и фотография, сделанная в Манеже.

Круг художников, в котором находился и я, попал под разгром из-за игры случая.

Мы понятия не имели о сложившейся к этому мо-

менту в Союзе художников ситуации: одна команда живописцев, находящаяся у власти, решила, что пора сводить счеты с другой командой, которая подошла к этой власти слишком близко, и, чтобы бить наверняка, придумала, как воспользоваться обстоятельствами и сделать это руками первого человека в государстве.

Нас же на выставку в Манеж, открытую к 30-летию МОСХа, пригласили буквально за день до его визита, после того, как мы устроили собственную выставку на улице Большая Коммунистическая в районном Доме учителя, и западные корреспонденты разгрохотали о ней на весь мир. Нам выделили в Манеже на втором этаже три зала. Там теперь кафе.

За одни сутки мы перевезли и смонтировали всю экспозицию. Всю ночь прибивали гвоздики, вешали картины, мастерили подмостки для скульптур и от избытка радости дурачились.

Уже не помню где, мы раскопали лист фанеры и, решив, разукрасили его гуашью. Потом этот лист нам чем-то не понравился, и мы спрятали его за занавеску. На следующий день, когда пришел Хрущев, кто-то из его свиты вынул эту фанеру и сказал ликуя: «Вот они какие картины рисуют, Никита Сергеевич!»

Но в эту ночь нам было неведомо, зачем нас позвали.

Часа в три утра мы разошлись по домам, а в девять собрались обратно. Ребята пошли наверх, а я остался у входа и, когда подъехал Хрущев, пристроился к его свите и ходил за ним по первому этажу, слушал, как неведомый нам замысел приводится в исполнение.

Как он орал о том, что ему бронзы на ракеты не хватает, что картошка Фалька — это песня нищеты, а обнаженное тело его девы — это не та женщина, которой надо поклоняться. Те же, кто рядом с ним, подливали масла в огонь.

Когда подошло время к нам на второй этаж подниматься, я побежал вперед, поднялся раньше и попытался протиснуться сквозь толпу у двери. Но из-за того, что меня хватает за руку один из охранников Хрущева и шипит: «Стой здесь и не выпячивайся», я остаюсь с краю, у дверей. Через полминуты поднимается Хрущев. Он останавливается и, обняв Володю Шорца и меня за плечи, говорит: «Мне сказали, вы делаете плохое искусство. Я не верю. Пошли посмотрим». И мы в об-

нимку входим в зал. Хрущев оглядывается по сторонам, упирается взглядом в портрет, нарисованный Лешей Россалем, и произносит сакраментальную фразу: «Вы что, господа, педерасы?» Он этого слова не знает, потому и произносит, как расслышал. Ему кто-то нашептал его. И он думает, что, быть может, перед ним и вправду извращенцы. Мы со страха наперебой говорим: «Нет, нет, это картина Леши Россаля. Он из Ленинграда». Хотя Леша и жил, и живет в Москве. Тогда Хрущев разворачивается корпусом, упирается в мою картину и медленно наливается малиновым цветом...

Все дальнейшее было глумлением. Витийством. Досталось каждому.

Моих картинок в зале было четыре. И так получилось, что на все четыре его бог вынес. Когда Хрущев подошел к моей последней работе, к автопортрету, он уже куражился:

— Посмотри лучше, какой автопортрет Лактионов нарисовал. Если взять картон, вырезать в нем дырку и приложить к портрету Лактионова, что видно? Видать лицо. А эту же дырку приложить к твоему портрету, что будет? Женщины должны меня простить — жопа.

И вся его свита мило заулыбалась.

А так как я перед ним уже в четвертый раз стоял, я немного успокоился. Вдруг за плечом у Хрущева выплывает физиономия одного из приближенных: «Никита Сергеевич, они иностранцам свои холсты продают». И глаза у Хрущева мгновенно стали, как у неистового хряка перед случкой. Совершенно стальные. И в полной тишине он смотрит на меня. Набрав воздуха, я говорю: «Никита Сергеевич, даю вам честное слово, никто из присутствующих здесь художников ни одной картины иностранцам не продал».

По тем временам это был политический криминал.

Хрущев в ответ промолчал, отвернулся, а я смотрю: где же приближенный. Нет его. Испарился. Особое искусство придворного плебея: тявкнул — и, при всей грузности, исчез.

Когда Хрущев пошел в соседний зал, где висели работы Соболева, Янкилевского, я вышел в маленький коридорчик перекурить. Стою рядом с дверью, закрыв ладонью сигарету, и вижу, как в коридор выходят президент Академии художеств Серов и секретарь правления

Союза художников Преображенский. Они посмотрели на меня, как на лифтершу, и Серов говорит Преображенскому: «Как ловко мы с тобой все сделали! Как точно все разыграли!» Вот таким текстом. И глаза на меня скосили. У меня аж рот открылся. Я оторопел. От цинизма.

Из второго зала Хрущев выскочил довольно быстро. Я там не был, знаю только, что после того, как Юло Соостер сказал ему, что просидел семь лет в лагере, Хрущев на некоторое время замолчал. Обратно он вышел несколько притихший, и в воздухе появилось ощущение финала.

А Эрнст Неизвестный все это время зверюгой ходит. Он небольшого роста, черноглазый и дико активный. Крайне максималичен. Вожак. Поняв, что, быть может, это действительно финал, он встал перед Хрущевым и говорит: «Никита Сергеевич, вы глава государства, и я хочу, чтобы вы посмотрели мою работу».

Хрущев от такой формы обращения пошел за ним в третий зал. А на лицах виновников по отношению к Эрнсту засияли безмерное уважение и восторг.

Как только Хрущев увидел работы Эрнста, он опять сорвался и начал повторять свою идею о том, что ему бронзы на ракеты не хватает. И тогда на Эрнста с криком выскочил Шелепин: «Ты где бронзу взял? Ты у меня отсюда никуда не уедешь!» На что Эрнст, человек неуправляемый, вытаращил черные глаза и, в упор глядя на Шелепина, сказал ему: «А ты на меня не ори! Это дело моей жизни. Давай пистолет, я сейчас здесь, на твоих глазах, застрелюсь».

Выходили мы с выставки с таким чувством, будто у выхода нас ждут «черные вороны».

Двое из нас, Эрнст и я, побывали на последовавших за выставками трех встречах Хрущева с интеллигенцией. Они проходили ничуть не лучше, и ощущение от них оставалось такое же, как и от первой встречи: бесконечного свинства.

А. Авторханов, один из самых авторитетных на Западе политологов, не принадлежит к числу сторонников нашей политической и государственной системы, но взгляд его очень внимателен, анализ вдумчив. За десятилетие он издал целый ряд книг, выдержавших много

переизданий и переводов, пытаясь объяснить западному читателю, что же произошло с великим народом и великой страной, как дошли мы до жизни такой. Публикуемый отрывок из книги «Сила и бессилие Брежнева» заставляет о многом задуматься. Именно теперь, когда мы пытаемся изменить и выстроить по-новому свою жизнь, особенно необходимо умение оглянуться и понять прошлое...

В книге А. Авторханова, написанной в 70-е годы, предпринята, по существу, первая попытка серьезного политологического исследования эпохи Брежнева. Надо полагать, нынешние и будущие историки сумеют дополнить, а, быть может, и скорректировать некоторые, содержащиеся в них факты, положения и гипотезы.

Мы это видели по телевизору.

Крупными, размеренными шагами солдафона, с напыщенным взглядом вельможного сановника, человек вышел на трибуну и начал читать с листа: «Пленум единогласно избрал Генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича».

Бурные аплодисменты отлично выдрессированного зала переходят не то что в овацию, знакомую нам еще со сталинских времен, а в нечто вроде девятого вала: пять тысяч человек в зале и тысячи гостей в ложах, как по команде, вскакивают с мест и неистово кричат:«Ура, ура, слава, слава!..»

Так продолжалось бы долго, если бы оратор на трибуне властным движением руки в сторону президиума не сделал жеста, означающего: «Хватит, садитесь!».

Оратором на трибуне был сам Брежнев.

Только после сообщения о собственном избрании он объявил состав Политбюро и Секретариата ЦК, везде называя свое имя не по алфавиту, а первым.

Между тем, порядок оглашения результатов выборов во всей истории КПСС до Брежнева бывал обратным. Обратным он должен был быть и сейчас, ибо по Уставу партии (параграф 38) в иерархии исполнительных органов партии ее генеральный секретарь занимает последнее место: на первом месте стоит Пленум ЦК, на втором — Политбюро, на третьем — Секретариат и только на четвертом месте — Генсек, подчиненный

всем этим трем органам. Тогда чем объяснить поведение Генсека — притуплением элементарного чувства личной скромности или желанием продемонстировать, что эра Политбюро кончилась и отныне он единоличный диктатор партии и государства? Ни то, ни другое. Он играет роль в пьесе того политического театра, который называется «съезд партии», но который перестал им быть с тех пор, как перестала существовать сама партия. Пьесу не он — ее написали безымянные авторы из «треугольника диктатуры»: партаппарат, политическая полиция и армия. Режиссер пьесы — Политбюро, а Генсек — лишь ведущий актер. Конечно, всезнающие кремлевские астрологи на Западе будут вещать в один голос: Брежнев теперь единоличный хозяин. Как это ни покажется странным, именно такую цель — создать во внешнем мире впечатление о всемогуществе Генсека — и ставили перед собою авторы и режиссеры пьесы, превращая XXV съезд в оргию славословия по адресу Брежнева.

Вопреки всем заклинаниям идеологических шаманов партии, коммунистическая диктатура не может существовать без «культа» ее вождей. Разница только в том, что все ее бывшие вожди завоевали право на «культ» либо своим интеллектуальным превосходством (Ленин), либо чудовищным масштабом своих преступлений (Сталин), либо разоблачением на весь мир этих преступлений (Хрущев), а Брежневу, не имеющему ни одного из этих преимуществ, искусственно создают «культ», чтобы превратить Генсека в надежный инструмент в руках олигархии, достаточно авторитетный во внутренней политике и столь же импозантный для внешнего представительства ее интересов. Поэтому считать нынешние собрания партийной элиты «съездами» партии — явно недоразумение.

Последним действительным съездом партии был X съезд (1921 год), на котором еще можно было выражать мнения и взгляды, расходящиеся с аппаратом ЦК («рабочая оппозиция», оппозиция «децистов»).

Именно на этом съезде Ленин объявил в партии продолжающееся и поныне перманентное «осадное положение», запретив в ней всякое инакомыслие, расходящееся с волей ЦК (резолюцию «О единстве партии»), вручив тем самым будущему Генсеку Сталину то безошибочно действующее орудие, при помощи которого Ген-

сек свел на нет всякое значение суверена партии — партийного съезда, пока вообще не отказался от практики созыва съездов (Устав 1939 года требовал обязательного созыва съезда не реже одного раза в три года, но последний, XIX съезд партии при Сталине проходил через 14 лет после XVIII и то вопреки воле диктатора).

После Сталина съезды начали созывать аккуратно, но на самом деле это не съезды (называть их этим термином — политический анахронизм), а торжественные парады предельно вымуштрованных партократов вкупе с энным количеством статистов из рабоче-колхозной аристократии — для «общенародного» фона. Поэтому вполне естественно, что эти собрания и не работают так, как съезды партии работали при Ленине или как съезды политических партий (в том числе и коммунистических) работают на Западе.

Не создаются секции или рабочие группы, не устраиваются дискуссии по спорным или неясным вопросам, потому что спорных и неясных вопросов нет, все вопросы задолго до открытия съезда решены мудрой олигархией. Заботливый ЦК, взяв всю эту работу на себя, освободил каждого делегата съезда от тяжкой обязанности думать своей головой. Более того, аппарат партии позаботился выделить бойких борзописцев для составления речей тех, кто выступит на съезде. В них сказано все: какой у нас мудрый ЦК, выдающийся Генсек и величайшие успехи; что сверх этого-то от лукавого...

Еще одно отличает брежневские съезды от старых съездов.

Ленин, как и все политики его школы, никогда своих докладов не писал, он составлял тезисы и по ним импровизировал.

Впервые практику письменных докладов и премий ввел Сталин, но свой собственный доклад писал он сам, пользуясь материалами аппарата ЦК.

Хрущев умел импровизировать, но не умел писать. Поэтому его доклады писали другие, такие же бесталанные и скучные, как и сейчас (кроме эпохального доклада о Сталине на XX съезде), зато его импровизации, пусть внешне и необтесанные, всегда были дерзкие, вызывающие, полные народного юмора, со ссылками больше на Библию, чем на Маркса и Ленина.

Для Брежнева доклады пишет целый штаб высоко-

квалифицированных идеологических экспертов, у которых отсутствие творческой мысли и литературного блеска вполне компенсируется безбрежностью многословия и скурпулезностью бюрократических формулировок.

Авторы отчетного доклада ЦК как бы намеренно, вопреки Некрасову, стараются, чтобы здесь мыслям было тесно, а словам просторно. В довершение ко всему, Генсек читает этот доклад так скучно и монотонно, с полнейшим внутренним безразличием к читаемому тексту, что вы не совсем уверены, понимает ли он сам то, что читает...

Многословие Генсека совсем не означает богатства его словарного фонда. Напротив, лексикон его крайне ограничен и стандартен, но зато каждый политический термин или даже юридическая категория в этом лексиконе может иметь не только двойственное, но и прямо противоположное значение по отношению к общепринятому понятию.

Это всеми отмечено (например, двойственность языка Кремля в международной политике и дипломатии). Но то же самое действительно и в отношении многих понятий партийного жаргона и во внутренней политике.

Приведем элементарные примеры: «бороться за усовершенствование социалистической демократии» вовсе не значит, что надо расширить рамки «демократии», совершенно напротив — это значит еще больше сузить ее рамки, усовершенствовав тотальность бюрократической опеки государства над своими гражданами. «Поднять руководящую и направляющую роль партии в советском обществе» — это значит, что партия призвана и обязана вмешиваться в личную жизнь не только коммунистов, но и беспартийных граждан (например, в жизнь родителей, воспитывающих своих детей в духе общечеловеческой морали и религиозности)...

КРЕМЛЕВСКИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Политика в советской империи представляла собой борьбу за власть.

Ареной борьбы был Кремль.

Марксисты заблуждаются. Личности с их индивидуальными качествами имеют значение в истории.

Личности формируют историю. Не подлежит сомнению, что они сформировали и советскую историю.

Система обладает собственной мощной инерцией, собственными закономерностями и динамикой. Лидеры приходят и уходят, но Леонид Брежнев — не Никита Хрущев, а Хрущев не Иосиф Сталин. Немыслимо даже представить, чтобы Брежнев был в состоянии провести безжалостные чистки 30-х годов, даже если бы обладал для этого необходимой властью и возможностями.

Представим другую ситуацию: допустим, Хрущеву удалось бы предотвратить октябрьский переворот 1964 года и сохранить свою власть до конца своих дней. Как бы он реагировал на войну во Вьетнаме, чехословацкий кризис и «остполитик» («восточную политику» Западной Германии)? Так же, как Брежнев? Пошел бы Хрущев на вторжение в Чехословакию накануне встречи с Линдоном Джонсоном? Или, предположим, что Брежнев не оправился бы после болезни в 1975 году... Одолел бы Андрей Кириленко своих соперников?

Анализировать партократов на расстоянии — искусство сомнительного свойства.

Переплетчик — не советолог. Это две совсем разные профессии.

Советская система была построена на секретности, одной из особенностей которой являлось стремление укрыть многих официальных лиц от глаз некоммунистических наблюдателей.

Нет никакой гарантии, что несколько деятелей, оказавшихся в одной группировке по политическим соображениям, будут во всем автоматически поддерживать друг друга. Ведь не всегда же дружат с соседями, волею случая живущими на одной лестничной площадке.

Вместе с тем, с течением времени образуются блоки и личные, дружеские связи. Более того, даже при наличии взаимоотношений, построенных на деловом расчете, при принятии общих решений наблюдается тенденция к взаимной личной поддержке. Так, например, ничего удивительного в том, что в тех случаях, когда Брежнев, Косыгин и Подгорный — занимавшие в течение определенного времени высшие партийные и государственные

и правительственные посты — действовали заодно, это был мощный блок, и мало кто решался бросить ему вызов.

Брежнев был единоличным лидером, которого окружали не равнодушные партнеры, а дружки-приятели.

Брежнев вытеснил своего соратника Подгорного из кресла председателя Президиума Верховного Совета и сам занял пост главы государства. На первый взгляд, может показаться странным, зачем ему понадобился этот церемониальный пост, но при ближайшем рассмотрении этот шаг не был лишен смысла. Почему бы не занять этот церемониальный пост, чтобы представлять одновременно и государство и партию.

Следующей мишенью был правительственный аппарат — Совет министров и сам его председатель Алексей Косыгин. В ноябре-декабре 1978 года Константин Мазуров был снят с поста первого заместителя председателя Совета министров и выведен из состава Политбюро, хотя на посту первого заместителя он находился свыше десяти лет.

Очевидно, если учесть возраст и болезнь Косыгина, пост первого заместителя председателя Совета министров был ключевым и по этой причине назначение на него старого друга Брежнева — Николая Тихонова и его включение в члены Политбюро было оправдано.

Смысл этого назначения был еще более подчеркнут, когда Черненко в то же самое время стал членом Политбюро. Всего после 19 месяцев пребывания в кандидатах.

Вскоре заболел Косыгин. И хотя он вновь появился на короткий срок, осенью 1980 года было объявлено о его выходе на пенсию. А заменил Косыгина, конечно же, Тихонов, ставший полноправным членом Политбюро. Новым первым заместителем Тихонова стал еще один подопечный Брежнева — Иван Архипов.

На протяжении трех лет (1977—1980) брежневцы укрепили свои позиции в секретариате, в правительстве и в КГБ. Брежнев окружил себя старыми и надежными друзьями, приятелями, подопечными. Учитывая судьбу Хрущева, это было предосторожностью, не лишенной смысла.

Хотя брежневцы и занимали ряд ключевых позиций, прочность их положения была всего лишь предположительной, ибо находилась в зависимости от власти Бреж-

нева. Выдвинув на ключевые позиции своих подопечных, у которых — за исключением Черненко — не было своей собственной базы, Брежнев лишил их шанса на выживание в кровопролитной политической борьбе за наследование.

За год до смерти Брежнева американский советолог Уильям Г. Хейланд писал: «В послебрежневском Политбюро, как можно предположить, образуются фракции, более резко противостоящие одна другой: брежневцы, крепко окопавшиеся на своих позициях, но лишенные решающей власти своего патрона, несомненно будут стараться сохранить существующее статус-кво. Кое-кто из старой гвардии, например, Андрей Громыко или Дмитрий Устинов будут по-прежнему располагать властью и авторитетом. С ними придется считаться.

Несколько аморфная группа молодых из секретариата и Политбюро может попытаться организовать нажим на старую гвардию. Соблазнительной может показаться перспектива ввести в эту ситуацию в качестве решающих факторов профессиональных военных и КГБ».

Вот так представляли себе советологи механизм смены власти в закрытом тоталитарном обществе.

Владимир Соловьев и Елена Клепикова — авторы книги «Заговорщики в Кремле» назвали политическое долголетие Л. И. Брежнева «поразительным».

7 ноября 1982 года, за три дня до смерти, престарелый советский вождь, поддерживаемый с обеих сторон помощниками, останавливаясь, чтобы отдышаться, на каждом переходе, с трудом поднялся на трибуну ленинского Мавзолея. Он простоял там несколько часов, подняв в приветствии одеревенелую руку. Старческая кровь на десятиградусном морозе не согревала, мускулы на отекшем лице окаменели. То было прощание с принадлежавшей ему когда-то Красной площадью, Москвой, Россией — через неделю на Мавзолей поднялись его коллеги, и преемник Юрий Владимирович Андропов открыл траурный митинг. Гроб опустили в могилу у Кремлевской стены между Мавзолеем, где лежал основатель Советского государства, и могилой преемника Ленина — Сталина, при котором Брежнев начал свою политическую карьеру.

Вместе со Сталиным он поднялся на Мавзолей, заслоняемый вождями первого ранга. Потом — с Хрущевым, которому служил верой и правдой, пока не сверг его осенью 1964 года и не сменил на посту руководителя партии.

В последнее время он стоял здесь фактически один, окруженный торжественной свитой — Политбюро, одному из членов которого, Андропову, полностью доверил охрану своего престола от претендентов на него, поскольку сам уже был не способен по старости вникать в кремлевские интриги, как ни необходимо это и для захвата власти, и для ее удержания. Благодаря Андропову он обеспечил себе несколько спокойных лет и одновременно обрек себя на ужасную агонию последнего года, когда не в силах был защитить от высокопоставленного стража не только ближайших друзей и соратников, но даже семью. Ибо никто так не опасен диктатору, как собственный охранник.

Но был ли он когда диктатором?

Разве что внешне.

Феномен политического долголетия Брежнева поразителен и на международном, и — тем более — на отечественном фоне. За время его правления сменились — иногда по нескольку раз — руководители большинства стран мира, демократических и тоталитарных, включая Францию, Великобританию, Западную Германию, Италию, Югославию, Польшу, Ватикан, Испанию, Китай, Индию, Пакистан, Иран, Израиль, Египет, даже Уганду. Одни только США сменили пятерых президентов. Что касается его собственной страны, то хоть и есть среди русских вождей и царей такие, что правили дольше его, но нет ни одного из функционирующих лидеров, кто бы дожил до столь преклонного возраста. Здесь Брежнев рекордсмен. Император Николай II расстрелян 50-ти лет от роду, Иван Грозный, Петр Великий и Ленин умерли в 53 года, Николай I — в 59, Александр II убит бомбой за полтора месяца до 63-летия, Екатерина Великая умерла в 67 лет. Даже Сталин, несмотря на традиционное грузинское долголетие, едва дотянул до 73. За время пребывания у власти Брежнев пережил физически и политически не только всех соперников, но и всех соратников и даже возможных наследников, а после Суслова и опалы Кириленко остался в начале 1982 года

последним членом того Политбюро — тогда оно называлось Президиумом,— которое 18 лет назад свергло Хрущева.

Андропов лишил Брежнева и соперников, и соратников, и наследников — он сам стал теперь его единственным соратником, соперником и наследником, хотя еще совсем недавно, всего несколько лет назад, не числился ни среди первых, ни среди вторых, ни даже среди третьих, был человеком со стороны и только под конец вошел в число претендентов на кремлевскую корону, но замыкал их ряды на правах аутсайдера. Буквально на последнем витке этой напряженной борьбы за власть, в последний год номинального присутствия Брежнева на посту главы партии и государства, Андропов обошел по крайней мере с десяток более вероятных кандидатов в советские вожди из непосредственного брежневского окружения и вышел к финишу первым. Единственное отличие состязания в Кремле от спортивного соревнования заключалось в том, что финиш в первом случае — понятие относительное. Его невозможно с точностью угадать, но возможно — приблизить. Ибо смерть старика, многократно предсказанная и несколько раз даже ложно объявленная,— что может быть лучшей презумпцией невиновности для того, на чьем пути этот старик находился?

Как удивительно повторяется порой история, да еще за такой короткий срок! Будто кто-то, за пределами нашего зрения и понимания, подыскивает к событию в прошлом современную рифму, дабы связать воедино разобщенные звенья исторической цепи. Разве не точно так же, как сейчас Андропов вокруг больного и беспомощного Брежнева, плел Сталин заговор вокруг умирающего Ленина, отстраняя от власти одного за другим ближайших друзей и соратников вождя, вместе с которыми тот совершил революцию — Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова — с тем, чтобы во второй половине 30-х годов уничтожить их всех физически, а заодно с ними — множество других? И могучий Ленин, одолевший в короткий срок — несколько месяцев, период русской демократии — всех своих политических противников, оказался теперь совершенно беспомощен перед интригами такого интеллектуально ничтожного и коварного врага, как Сталин. Был даже невнятный слух о том, что Ленин умер не своей смертью, а отравлен Сталиным.

Незадолго до гибели Троцкий написал для «Лайфа» статью «Отравил ли Сталин Ленина?» О богатейшей коллекции ядов, которой обладала советская полиция, о словах Бухарина, что «Сталин способен на все», наконец, об очень странном сообщении, которое в присутствии Троцкого, Зиновьева и Каменева Сталин сделал на заседании Политбюро: будто в конце февраля 1923 года Ленин просил у него яду на случай, если почувствует приближение нового удара. Просьба невероятная, учитывая, что к этому времени Ленин в прах рассорился со Сталиным из-за грубого и оскорбительного разговора того с Крупской, а 4 января продиктовал приписку к своему политическому завещанию о необходимости сместить властолюбца с поста Генсека. Ленин не мог ничего просить у Сталина не только потому, что он ему не доверял, но и потому, что больше с ним не общался. К тому же самоубийство с помощью яда — это больше восточный, понятный грузину вариант. Решись Ленин в самом деле на самоубийство, он бы использовал скорее один из европейских способов. Только не похож он на самоубийцу, а тем более — на такого, который загодя обсуждает намерение уйти из жизни с кем бы то ни было, а особенно с лютым своим врагом Сталиным. Сообщение Сталина на Политбюро — чистая выдумка. С его точки зрения, оно должно было послужить для отвода от него — в случае смерти Ленина — подозрений, хотя в действительности само по себе было в высшей степени подозрительно. А еще более подозрительно то, что Сталин телеграфировал Троцкому на Кавказ невероятную дату похорон Ленина. Когда Троцкий приехал, тело вождя было уже забальзамировано, а внутренности кремированы. И не затем ли выстроил Сталин Мавзолей и уложил ленинские останки в стеклянный гроб — в вопиющем противоречии с материализмом марксизма — чтобы с помощью восточного ритуала предотвратить попытки как современников, так и потомков произвести эксгумацию?

Журнал «Лайф» отказался печатать статью Троцкого, и за десять дней до его убийства сталинским агентом она была опубликована в херсонском издании «Либерти». Главный аргумент критиков гипотезы об отравлении Ленина: почему Троцкий хранил свою тайну до 1939 года? На самом деле он ее не хранил—просто не

знал. В том была сила Сталина, что никто из его коллег, включая Ленина и Троцкого, даже не предполагал в начале 20-х годов, на что он способен. Сообщение о просьбе Ленина дать яд не казалось Троцкому в 1923 году подозрительным, но он иначе оценил его и связал с другими событиями после процессов над вождями революции в конце тридцатых годов и сопутствовавшего им Большого Террора. Троцкий, с интеллигентской слепотой по отношению к Сталину, принял его только под конец своей жизни и тогда по-новому взглянул на смерть Ленина. Во всех отношениях запоздалое прозрение!..

С каждым годом Брежневу становилось все труднее подниматься по этим отполированным мраморным ступеням. Никто почему-то не догадывался встроить здесь лифт или эскалатор, провести паровое отопление, поставить стулья, чтобы люди могли иногда присесть и отдохнуть, да хотя бы соорудить рядом уборную, из-за отсутствия которой он тоже страдал, но боялся кому-либо в этом признаться. И каждый раз ему казалось, что приспело его последнее здесь появление — так он болен: ноги не слушались, отвисала челюсть, не хватало дыхания, и он широко открывал рот, глотая морозный воздух, как рыба, выброшенная на лед. В конце концов он перестал понимать, кому и зачем нужно тащить его, полуживого, наверх и показывать народу вместо того, чтобы уложить в постель и дать хоть немного отдохнуть перед смертью. Он оглядывался на соратников и ровесников и видел, что им тоже невмоготу стоять здесь, соблюдая требования неукоснительного регламента, перед многотысячным военно-гражданским потоком, медленно текущим по Красной площади, как гигантская гусеница, а что, если однажды они все умрут от одновременной сердечной атаки, прямо на глазах у потрясенной праздничной толпы? Благо, что сразу под ним, по обе стороны ленинского Мавзолея,— предназначенное для них почетное кладбище у Кремлевской стены...

Он не был не только диктатором, но даже полноправным и единственным правителем страны ему так и не удалось побыть ни разу. Сначала он правил вместе с двумя другими членами триумвирата, Косыгиным и Подгорным, под идеологическим надзором Михаила Суслова. А когда триумвират распался и он вроде бы

остался единственным официальным вождем, подвело здоровье. Инфаркт следовал за инфарктом, отнималась речь, не слушались ноги, а за спиной в это время разгоралась смертельная схватка за власть, и он был не в состоянии в нее вмешаться на чьей-либо стороне. В конце концов, как часто бывает в восточных дворах, верх взял начальник личной охраны — по современному статусу исполнявший также множество других обязанностей. Таков секрет Брежнева: он никогда лично не управлял страной. Но ничуть от этого не страдал — регалии власти были ему дороже ее самой.

Брежневское время называли бесцветным. Таким оно и было по сравнению с прошлыми советскими временами, окрашенными более ярко: сталинскими и хрущевскими. Словно у природы не хватило красок, будто она израсходовала их все на предыдущие эпохи!

В отличие от Сталина и Хрущева, Брежнев лишен яркой индивидуальности, которая в условиях тоталитарного государства становится знаком волюнтаризма. Сталин и Хрущев — две крайности советского правления, если рассматривать их, минуя нравственные критерии. Оба они были волюнтаристами, хотя их волюнтаризм равноправен: в сторону массового политического террора у одного и в сторону либеральных реформ у другого. Сталин резко накренил корабль государства и чуть не потопил в кровавой пучине. Хрущев, спасая его, качнул в противоположную сторону так называемой «оттепели». Брежневская команда выровняла курс и ввела корабль в традиционный для России фарватер бюрократического правления без либеральных либо тиранических крайностей. Будучи бесцветным и безыдейным аппаратчиком, Брежнев стал фигурой подвижного компромисса между различными тенденциями как в кремлевской верхушке, так и в народных низах — не забудем о действии в Советском Союзе закона стихийной демократии. Бесцветье этого времени объясняется сопротивлением Брежнева попыткам своих оппонентов окрасить его в какой-нибудь определенный цвет: он синхронно противостоял экстремизму как либералов, так и неосталинистов. Естественно, что последнее многочисленнее, устойчивее и агрессивнее первых, и политическое сопротивление Брежнева либералам было эффективнее сопротивления сталинцам.

В этом смысле бесцветье брежневского времени мнимое. Просто перерождение власти происходило в его правление тайно. Тем сильнее глубоко скрытые до того изменения проявились впоследствии, когда Андропов сменил Брежнева. Словно в самом времени была заложена бомба замедленного действия. В период бесцветного брежневского правления, вроде бы идеологически нейтрального и сугубо бюрократического, в самой структуре Советского государства произошли коренные процессы. Они свели роль главы государства до декоративного. Именно бесцветье бюрократического брежневского правления подготовило яркую и неожиданную вспышку пришедшего ему на смену полицейского порядка. А благодаря неизменному присутствию Брежнева на торжественных парадах и церемониях, полицейский переворот, произведенный еще при его жизни Андроповым, остался невидимым для сторонних наблюдателей и был обнаружен лишь тогда, когда Брежнев сошел в могилу. Парадокс заключается в том, что, несмотря на болезненность, Брежневу тем не менее удалось пережить брежневскую эпоху, которой он дал имя, но для которой был не менее чем потемкинским фасадом. За этим фасадом незаметно и прочно закладывались основы нового режима. Брежнев — живой мост, по которому Россия из одной эпохи перешла в другую.

В последние годы он и вовсе стал лицом не действующим, а страдательным — точкой приложения сил нетерпеливого наследника. Ни в коей мере не сравнивая Брежнева с Имре Надем, Александром Дубчеком или Андреем Сахаровым по характеру политической деятельности, мы все-таки рискнем сказать, что в последние годы жизни он был, как они, жертвой Андропова и, стоя 7 ноября 1982 года на трибуне Мавзолея, не мог этого не понимать. Его прощание в этот день с Москвой не только печально, но и трагично.

Через три дня, утром 10 ноября, позавтракав и почитав «Правду», он ушел к себе в спальню. Вслед за ним отправились приставленные к нему Андроповым телохранители. Через несколько минут они возвратились в гостиную и сообщили Виктории Петровне Брежневой, что ее муж неожиданно умер.

С самого своего появления во главе советской империи Андропов предстал именно в качестве сфинкса.

Мировое мнение о нем резко разделилось. Известный американский журналист на страницах самой известной в Америке газеты приветствовал его как «тайного либерала», в то время как американский генерал назвал его «отвратительной змеей». Слухи, один невероятнее другого, закрутились вокруг нового обитателя Кремля, сразу возникли два противоположных «жития» Андропова, и трудно было решить, какое из них ближе к реальности, где подлинный портрет, а где апокриф.

Сам герой в это время на любых торжественных церемониях, начиная с похорон своего предшественника на Красной площади у Кремлевской стены, появлялся неизменно в сопровождении маленького человечка с черным чемоданом в руках. Это придало ему еще больше таинственности, ибо всех интересовал вопрос, что находится в чемоданчике: пульт атомного управления? секретный телефон-коммутатор? фармацевтический набор лучших лекарств против сердечных спазм, диабета и нефрита — болезней, которыми страдает Андропов? Почему-то никто даже не предположил, что черный чемодан пуст, а такое ведь тоже возможно.

Первое, что сделал Андропов придя к власти,— запретил только что поставленный в Театре на Таганке спектакль «Борис Годунов». Хотя действие спектакля происходит в конце XVI — начале XVII века, тема его злободневна на протяжении всей русской истории, по сию пору: борьба за власть, ее узурпация, самозванство. Причем политическая история развивается совершенно отдельно от народной: «Народ безмолвствует» — многозначительно заканчивает свою пьесу Пушкин. А сам сюжет ее построен на слухе о том, что для того, чтобы стать царем, Борис Годунов приказал убить малолетнего царевича Дмитрия, припадочного сына Ивана Грозного. Какую опасную для себя параллель увидел в таком сюжете Юрий Андропов, коль поспешил лишить этот спектакль зрителя?

Любопытно уже не только, в каком возрасте уходят из жизни кремлевские олимпийцы, но и когда именно — в какое время года. Здесь, надо прямо сказать, они проявляют поразительное единодушие. Чтобы далеко не ходить, возьмем для примера только 80-е годы. Бывший

советский премьер Алексей Косыгин умер в декабре 1981 года лет), главный партийный идеолог Михаил Суслов — нваре 1982 (79 лет), Брежнев — в ноябре 1982, а спустя два месяца скончался бывший советский президент Николай Подгорный (79 лет), Андропов умер в феврале 4 года, не дожив несколько месяцев до своего 70-летия, а маршал Устинов в декабре 1984 года (76 лет). Если к этому добавить еще два исторических примера — скончавшихся в январе 1924 года Ленина и в начале ма а 1953 года Сталина, то картина станет ясна даже не вооруженному кремленологическим знанием человеку: русская зима — время, которое кремлевские лидеры облюбовали для своей смерти (хотя точнее будет сказать, что это смерть облюбовала русскую зиму для своих набегов на Кремль). Причем, если мы заглянем в фенологический календарь, то обнаружим, что дни смерти и даже похорон большинства вышеназванных товарищей — от Ленина до Устинова — пришлись на особенно лютые даже по русским стандартам морозы.

Этой необычной тенденции в кремлевских нравах можно подыскать ряд объективных, отнюдь не мистических объяснений — затяжной характер русской зимы, вспышки зимних эпидемий, подверженность стариков простудам и воспалениям легких, охлаждение старческого организма и так далее.

Взяв все это в расчет — вдобавок к рекордному даже по кремлевским понятиям возрасту и ухудшающемуся здоровью главных советских лидеров — мы сразу же после смерти маршала Устинова предсказали в газетной статье «The Kremlin: the Winter of their discontent» («Кремль: зима и тревоги» — перифраза выражения Шекспира и названия романа Стейнбека), что Смерть по крайней мере еще раз посетит этой зимой Кремль. Ибо смерть в том возрасте, в котором находятся кремлевские геронтократы, становится заразной болезнью. Тем более, что им приходится идти по замерзшей Москве за гробом своего «предшественника», а потом еще дрожать на ленинском Мавзолее во время траурной церемонии на Красной площади. Ввиду именно этой смертельной для себя опасности, и без того чуть живой Константин Черненко не явился на похороны своего соратника и друга маршала Устинова. «Однако поможет ли это ему пережить самое тревожное для кремлевских

лидеров время?» — таким несколько риторическим вопросом кончили мы наше предсказане.

Мы не ставим себе в заслугу, что оно сбылось. Мы вспоминаем об этом скорее к тому, что похороны на Красной площади стали в 80-е годы привычным для советских граждан ритуалом. Печальная и торжественная церемония, ввиду ее регулярной повторяемости, превратилась в пародию на самое себя.

Черненко умер 10 марта 1985 — через несколько дней после того, как его заставили сыграть здорового и функционирующего лидера Советского Союза.

Бесполезно было бы искать невидимого, жестокого и бездарного режиссера двух этих мизансцен, которые производили впечатление, противоположное задуманному. Бессмысленно задавать вопросы — кому и зачем понадобилось предъявлять всему миру умирающего вождя в качестве доказательства, что он жив и здоров. А тем более нелепо искать в этом телешоу какую-то заднюю мысль сторонников нового поколения кремлевских руководителей, стремившихся продемонстрировать, в каком состоянии находятся те, кто стоит на их пути к власти. Ибо шахматные правила не приложены к игре в домино.

Сама система кремлевской власти, которая вознесла заурядного партийного чиновника на вершину, сбросила его вниз, предварительно показав всему миру, как он физически жалок на самом деле. А заодно — и саму себя: без прикрас, без сложностей, но во всей своей поразительной абсурдности и жестокости.

Если, однако, от этой фантастической и ни на что не похожей системы власти перейти к ее конкретным носителям, то здесь мы столкнемся с вещами хоть и не менее удивительными, но вполне постижимыми.

В обеих телевизионных мизансценах с Черненко участвовал также 70-летний партийный босс столицы Виктор Гришин. Он же за день до выборов вел собрание, на котором было зачитано обращение Черненко к «избирателям», и советские средства массовой информации в каждом случае с особым упором подавали участие Гришина, так что многие как в Советском Союзе, так и за границей решили, что он будет после Черненко следующей промежуточно-компромиссной фигурой на вершине Кремлевского олимпа. На самом деле, он был скорее запасным игроком — на случай, если ни Романову, ни

Горбачеву снова не удастся взять верх в их затянувшейся битве за власть.

Впрочем, теперь, когда по крайней мере этот раунд кремлевской схватки остался позади, а Гришин оказался за ее бортом, его роль — либо роль, которая предназначалась — н так уж и интересна. Тем более, он никогда и не принадлежал к главным участникам кремлевского представл я, а возник только в последний момент в качестве запасной фигуры. Не случайно, несмотря на разгар борьбы за власть, Гришин во второй половине января 1985 года — во главе советской делегации в Варшаве, что было бы непростительной беспечностью для реального претендента. Михаил Горбачев, напротив, наученный своим горьким британским опытом, решил, по-видимому, больше не рисковать и отменил свой визит в Париж на съезд французских коммунистов, хотя и он, и Раиса Максимовна были падки на такого рода заграничные турне, когда можно было и мир посмотреть и себя показать.

Короче, от рядовых либо даже запасных участников кремлевской борьбы за власть перейдем к ее главным участникам.

В день выборов, когда советское телевидение готовилось устроить мировое шоу с Черненко в главной роли, ни о чем не подозревающие иностранные корреспонденты были приглашены на избирательный участок в Дом Архитектора, где обычно голосует Константин Черненко. Однако вместо него там появился Горбачев в сопровождении своей жены, дочери Ирины и внучки Ксюши.

Михаил Сергеевич передал свой бюллетень пятилетней Ксюше, помог ей опустить его в щель избирательной урны. Когда умиленные фотокорреспонденты попросили его повторить эту сцену, он широко развел руками, улыбнулся и сказал: «Голосуют только один раз».

БРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ГЕНСЕКА

Бремя последнего Генсека было невыносимо.

В наследство от своих предшественников Михаил Горбачев получил неограниченную власть. Власть, сконцентрированную в одних руках — руках Генсека.

Абсолютная власть Генсека была обеспечена сталинской политикой «партийных чисток» и беспрерывных репрессий. Партийные функционеры разного уровня смотрели на Генсека бездумно, как смотрят крысы на вожака стаи,— готовые в любой момент принять позу «подчинения». Именно беспрекословное подчинение позволило Горбачеву осуществить «перестройку» — партийные соратники «припали к земле» и подхватили «новые идеи», не успев подумать о том, что готовят собственную гибель. Они были послушны, а научил их послушанию «отец народов».

Потом коммунисты сообразили, чем пахнет перестройка, но было поздно — «процесс пошел».

«Поставляя к кремлевскому столу бутылки первосортного нарзана из ставропольских минеральных источников, Горбачев и думать не мог, что сам будет когда-нибудь равноправно сидеть за этим столом, а в конце и председательствовать за ним»,— писали Владимир Соловьев и Елена Клепикова.

Оказавшись единоличным Хозяином Советской империи, Горбачев проявил себя в этой должности достаточно активно. Он достиг вершины. А что дальше? Есть партия, есть партийный аппарат, подчиненный воле Генсека, есть Советская империя... Что к этому всему можно добавить? Ничего! Все это можно просто уничтожить и войти в историю в качестве последнего Генсека, похоронившего партию. Я не политолог, я — переплетчик. Я знаю: старую книгу можно переплести, а можно сжечь. Я, конечно, предпочитаю первое, но есть такие книги, про которые думаешь: лучше бы они никогда не были написаны... У меня нет ностальгии ни по железной дисциплине и образцовому порядку, который насадил в СССР Сталин, ни по партии и империи, которые были разрушены с помощью Горбачева.

И все же Горбачев, как и все его предшественники, был законным наследником Сталина.

Казалось, Горбачев чувствовал, кому обязан высотой

своего положения. Поэтому спустя два месяца после своей присяги, на торжественном собрании, посвященном сороколетию победы над нацистской Германией, Горбачев назвал имя человека, которому по его мнению, страна обязана победой: Иосиф Виссарионович Сталин. Это заявление было встречено бурной овацией, которая некоторое время не давала продолжить речь — аплодисменты заглушали ее.

Борис Ельцин в своей «Исповеди на заданную тему» писал: «Может быть, я выскажу небесспорное мнение, но, думаю, перестройка не застопорилась бы даже при всех тех ошибках в тактике, которые были совершены, если бы Горбачев лично мог переломить себя в вопросах спецблаг. Если бы сам отказался от совершенно ненужных, но привычных и приятных привилегий. Если бы не стал строить для себя дом на Ленинских горах, новую дачу под Москвой, перестраивать еще одну дачу в Пицунде, а затем возводить новую суперсовременную под Форосом. И в конце концов, с пафосом говорить на Съезде народных депутатов, что у него вообще нет личной дачи. Как же лицемерно это звучало, неужели он сам этого не понимал? Все могло бы пойти иначе, ибо не была бы утеряна вера людей в провозглашенные лозунги и самые чистые преобразования. А когда люди знают о вопиющем социальном неравенстве и видят, что лидер ничего не делает, чтобы исправить эту бесстыдную экспроприацию благ высшей партийной верхушкой, испаряются последние капельки веры.

Почему Горбачев не смог этого сделать? Мне кажется, тому виной его внутренние качества. Он любит жить красиво, роскошно, комфортно. Ему помогает в этом отношении его супруга. Она, к сожалению, не замечает, как внимательно и придирчиво следят за ней миллионы советских людей, особенно женщины. Ей хочется быть на виду, играть заметную роль в жизни страны. Наверняка, в сытом, богатом, довольном обществе это было бы воспринято нормально и естественно, но только не у нас, по крайней мере, не сейчас.

Это тоже ошибка Горбачева, он не чувствует реакции людей.

Да, впрочем, откуда он может ее чувствовать, если прямой и обратной связи с народом у него нет. Его встречи с трудящимися — маскарад, да и только: не-

сколько человек стоят, разговаривают с Горбачевым, а вокруг целая цепь охраны. А людей этих, проверенных, изображающих народ, на специальных автобусах подвозили... И всегда это — монолог. Ему что-то говорят, а что, он не слышит и слышать не хочет, говорит что-то свое... да, картина, невеселая.

А «ЗИЛ» для жены? А инициатива Горбачева поднять заработную плату составу Политбюро? Люди все это как-то узнают, скрыть ничего невозможно. У меня дочери на работе по куску мыла в месяц, хватает с трудом. Когда жена по два, по три часа в день ходит по магазинам и не может купить самого элементарного, чтобы накормить семью, даже она — спокойная, уравновешенная — начинает нервничать, переживать, расстраиваться.

Конечно, никуда наша номенклатура не денется, придется ей и отдавать свои дачи, и отвечать перед людьми за то, что цеплялись руками, ногами и зубами за свои блага. Да и сейчас уже начинают они платить по счетам за свое номенклатурное величие: провалы партийных и советских функционеров на выборах — это как раз первый звонок. Они вынуждены уже сейчас делать шаги навстречу народным требованиям. Но уступки делаются с таким трудом, с таким скрипом; от благ так не хочется отказываться, что в ход идут любые ухищрения, вплоть до прямого обмана, лишь бы этот процесс притормозить.

Пайки как выдавались, так и выдаются, только теперь их рассредоточили по столам заказов. Все осталось по-прежнему. Несут водители партийных газет, прочих больших руководителей, министров, академиков, главных редакторов газет, прочих больших начальников авоськи, нагруженные деликатесами, складывают в багажники черных автомобилей и увозят в дома к своим шефам».

Это мнение «соратника». Соратники — страшные люди. Но нет для ХОЗЯИНА страшнее человека, чем его телохранитель.

Телохранители охраняют только до определенного момента — момента утраты власти.

Телохранители не только охраняют, но и наблюдают.

Появились в печати воспоминания личного телохранителя Михаила Горбачева, выступающего под псевдо-

нимом Ян Касимов. Ян Касимов работал в радиотехнической разведке КГБ, в «Альфе». В 1986 г. пришел в личную охрану Горбачева, на протяжении пяти лет вплоть до его отставки сопровождал ХОЗЯИНА повсюду: от кремлевского кабинета до заграничных поездок.

«Рабочий день ХОЗЯИНА закончился. А на меня только сейчас ложатся настоящие нагрузки: из Кремля возвращаемся на дачу, в подмосковную Барвиху-4. В дом, построенный специально для Горбачева в 1985 году, откуда он практически никогда не перебирается на свою основную квартиру на улице Алексея Толстого.

Я — в «ЗИЛе», который на нашем профессиональном жаргоне называется «лидер», потому что вырывается на сто метров, разгоняя впереди идущие автомобили по обочинам.

Хозяин — в девятитонном броневике, полностью собранном вручную, с салоном в форме капсулы, которую даже гранатометом пробить невозможно.

Прямо за машиной президента следует «ЗИЛ»-«скорпион» — на случай попытки тарана. У «скорпиона» прекрасные маневренные возможности. Внутри — поручни, вращающиеся стулья, падающие гидравлические стекла, в крыше — люк.

Четвертая и последняя машина кавалькады — «ЗИЛ» с полковниками — хозяевами знаменитого чемоданчика с «ядерной кнопкой».

Рядом с М. С. неизменный Владимир Медведев (начальник охраны). Часто с собой Горбачев сажает жену, реже — кого-то одного из близких коллег (Шеварнадзе, Яковлева). Но это только в том случае, если в Кремле или на Старой площади они не успевали договориться о чем-то важном. Горбачев никогда не берет их в Барвиху (дачу): как только тема исчерпана, высаживает.

М. С. просит соединить его с дочерью. Не проходит и минуты, как он уже может поговорить с Ириной, где бы она в тот момент ни находилась. Кстати, об Ирине. Она все эти годы ездила на машине мужа, в «Жигулях» — «восьмерке» — цвета мокрого асфальта. Анатолий, правда, их несколько раз разбивал. Тогда на заводе по спецзаказу делали новые, но точно такой же марки и цвета. И за Ириной, и за Анатолием всегда, без единого исключения, следовала машина с «целью наружного

наблюдения». Это делалось так аккуратно, что супруги могли не замечать, хотя, наверное, догадывались. В любую минуту дня и ночи Горбачев мог спросить: «Где Ирина?» — и ему немедленно давали исчерпывающий ответ.

Знал он все и об Анатолии, о том, для чего тот вечерами, случалось по несколько часов, просиживал в гараже. Поэтому М. С. не раз проводил с ним воспитательные беседы на тему «трезвость — норма жизни».

На скорости двести километров в час мы влетаем на дачу (подмосковная Барвиха-4). Кругом редкостный лес: реликтовые корабельные сосны. Дача невысокая, но просторная, с небольшим бассейном, каминным залом, домашним кинотеатром, двумя спальнями на втором этаже, кабинетом и гостиной. Есть еще дань номенклатурной традиции — бильярдная. Ею М. С. вообще не пользовался. Он вообще не играл ни в какие игры, любой спорт игнорировал. Единственное, что действительно любил, так это спокойно поплавать, понежиться в бассейне, особенно по утрам, перед работой.

Дом был поделен на две половины. В одной жили М. С. и Р. М., в другой — члены семьи: Ирина, Анатолий, внучки Ксюша и Настенька. Иногда приезжали мама и сестра Р. М. И — все. Ни одного единого гостя, никаких шумных «посиделок». Жизнь затворников.

Немногочисленная беспрекословная прислуга в обязательном порядке — сотрудники девятого управления КГБ: и нянечки, и уборщицы. Естественно, с воинскими званиями. Например, сестра-хозяйка — сержант. Женщины шли работать сюда не ради зарплаты или престижа (это все мифы), а из-за «выслуги лет»: в сорок лет можно было уйти на пенсию.

Вблизи дачи, в ангаре, стояли — да, наверное, и теперь стоят — два уникальных танка: без пушки, зато с прекрасными качествами вездехода. Внутри уютно: кресла, обстановка напоминает салон президентского самолета. Это — чтобы отсидеться в момент ядерного нападения. Надежность — даже на случай, если эпицентр взрыва будет у дачи. Оба танка прошли проверку радиацией в районе Чернобыля. Один танк лично для Горбачева, другой — для семей. Для личной охраны места бы не нашлось.

Правила безопасности не позволяли разместить дачу

прямо на реке, хотя место там живописное, «русская Швейцария». Поэтому специально к территории дачи от Москвы-реки был прокопан отводной канал. А чтобы террористы не смогли проникнуть вплавь, на месте соединения канала с рекой под водой были установлены решетки.

В канал постоянно запускали множество мальков: лещик, судачок — только уди. Но М. С. выбирался на рыбалку крайне редко, и то — разве чтобы уединиться. Рыбацкий азарт был ему совершенно чужд, как и любой другой азарт, кроме политического. Не ездил он и на охоту, что вообще не сочетается с образом советских Генсеков. Если Брежнев просиживал в Охотхозяйстве Завидово неделями, то Горбачев с 1985 года появился там только однажды, и не для охоты, а чтобы подготовиться к партийному съезду.

Решетки в отводном канале — это еще «цветочки»: дачная территория сплошь была нашпигована аппаратурой, защищающей от незванных визитеров. Аллея — место для ежедневных прогулок — просматривалась видеокамерами. Кругом прожектора. На заборе — сейсмическая сигнализация. Рядом, в полуметре от земли, протянута проволока: если заденешь — мгновенный сигнал на пульте в «дежурке», причем сразу ясно, кто стал причиной тревоги: собака, ворона или человек. В дополнение ко всему — лучевая сигнализация.

В доме Горбачевых было много картин, подарков и книг. Но если книги принадлежали в основном Ирине, то практически все остальные вещи были государственной собственностью. Когда Горбачеву придется 29 октября 1991 года спешно съезжать с дачи, он ничего не сможет отсюда взять, кроме дочкиных книг. Все будет изъято КГБ. Отставной президент переберется на дачу попроще, под кодовым названием «Москва-река-5». А на его дачу в Барвихе срочно, считанные дни не дождавшись нового, 1992 года, въедет чета Ельциных... Но будет это позже.

Днем «переключки» от Кремлевских забот была для М. С. суббота. Он подолгу, основательно парился в сауне. А вечером в кинозале непременно смотрели фильм. По вкусам М. С. был «всеяден»: мог посмотреть и «боевик», и мелодраму, и детектив. Особую склонность вся семья питала к итальянскому сериалу «Спрут».

Грандиозные вечерние моционы вдоль дачи — единственное, что не было нарушено, когда он стал предчувствовать свой политический закат. Застрельщицей этих прогулок всегда выступала Раиса Максимовна. Горбачев, сбросив костюм, слегка поужинав, одевал легкую спортивную курточку, если позволяла погода, и шел вместе с Р. М. гулять по аллеям. И неважно, сколько было времени: полночь, час ночи или даже позже. И вот идут они, очень быстрым шагом, час, два часа, кружат, и все говорят, говорят, и никак не наговорятся.

А у меня работа такая — следовать за ними, чтобы страховать от любых ЧП. Вдруг дождь пойдет — тогда в мои обязанности входит подать им зонты. «Светиться» мне не нужно, чтобы не утомлять их своим присутствием. Поэтому я мог быть либо сзади, либо сбоку — в кустах, но, естественно, на близком расстоянии. Это я к тому, что, конечно, слышал основную часть этих ночных бесед.

В основном они даже отдаленно не напоминали диалог мужа и жены. М. С. рассказывал жене о событиях, произошедших за день, делился тревогами, планами на ближайшие дни. Р. М. выступала в роли активного советчика.

Вообще, молва много сложила легенд о «первой леди», часть из них — не более чем легенды. Но мнение, что Р. М. энергично вмешивалась в политику, не лишено оснований. Вспоминаю, как Р. М. на тропинке долго, настойчиво пыталась «уломать» мужа в одном назначении. Наконец М. С. не выдержал, рубанул рукой воздух: «Мать твою, я со своими министрами сам как-нибудь разберусь!»

Конечно, это был исключительный случай!

Но вообще М. С. в узком кругу мог не раз «матюгнуться». Для разрядки.

Мои коллеги, работавшие с Горбачевым до того, как М. С. стал первым человеком страны, вспоминают, что тогда Р. М. была совсем другой. Она могла кататься за городом на велосипеде, общаться с окружающими. В общем, вела себя вполне естественно.

К сожалению, я застал ее уже взбалмошной, избалованной всеобщим вниманием и внешним поклонением женщиной. Впрочем, «благодарить» за это следует ее и ее ближайшее окружение. Сколько раз я слышал

семейные голоса Кручины, Болдина, обращенные к ней. Но только ли они? Высокопоставленный дипломат умилялся: «Ах, какой у вас замечательный английский! Это же Нью-Йоркский диалект!»

Если М. С. был пунктуален, то Р. М.— типичная «копуха». Когда за рубежом супруги готовились идти на официальный прием, то М. С. вечно ждал жену, которая мучительно долго выбирала, в какой наряд ей облачиться. Она пристально следила и за его внешним видом. Ходят многочисленные слухи о ее расточительности за границей. В зарубежных поездках я был при Р. М. только эпизодически и чего-то подобного не припомню. Скажу больше, у нее с собой не было не только «золотой» кредитной карточки, но и элементарной наличности. И приходилось как-то выходить из положения. Р. М. изобрела нехитрый способ — пользуясь тем вниманием, которое естественно или искусственно создавалось вокруг нее, она выбирала магазинчик и заходила «поглядеть».

В Мадриде — это была чуть ли не последняя их поездка в качестве главы государства и «первой леди» — Р. М. приглянулся парфюмерный магазин. Она зашла в него и, как написали в светской хронике, «выразила восхищение» дорогими духами. По практике нескольких лет она, видимо, предполагала, что хозяин вручит приглянувшийся флакон в подарок.

На сей раз вышла осечка.

Тогда Р. М. в растерянности повернулась к начальнику протокола Владимиру Шевченко. Он же — хранитель финансов во время визитов. Шевченко, конечно, не мог отказать.

Другая зарубежная традиция Р. М., на сей раз совершенно невинная: посещение кафе. В составленной заранее программе непременно фигурировала «прогулка по городу», где полчаса уделялось «чашечке кофе» в какой-нибудь «забегаловке» на старинной площади.

С соратниками М. С. был всегда на «ты». В том числе и с людьми много старше его. Сколько раз мне приходилось видеть, как Александр Яковлев обращался к нему: «Михаил Сергеевич, а вот еще информация для Вас...» А М. С. ему: «Спасибо, я с тобой после поговорю».

То есть, он всегда был безупречно вежлив со всеми, если бы не это «тыканье». Оно резало слух, но объясня-

лось просто: несмываемая печать «партийного секретаря». Но эта пожизненная печать тускнела, когда М. С. оказывался вдруг в центре компании. А по призванию он настоящий тамада, душа вечеринок. Случалось это крайне редко. Но коли случалось, я знал, что М. С. мгновенно раскрепостится.

За столом М. С. заразительно смеялся, часто рассказывал о своем детстве и юности. Всегда напоминал: «Я же деревенский парень, комбайнер». Произносил это без позы, было видно, что он совершенно искренне гордится своей биографией. Мог рассказать анекдот о себе, который, как ему заранее докладывали, в тот момент пользовался популярностью в народе.

Поесть М. С. любил, хотя без особого гурманства, без явных предпочтений к какой-либо конкретной кухне. Некоторые ограничения накладывались только из-за того, что он страдал сахарным диабетом.

А пил он мало: ну, разве это много — бутылка армянского коньяка на четверых-пятерых. Помимо армянского пятизвездочного коньяка предпочитал «киндзмарэули» и «вазисубани». Основным же его питьем был чай с можайским молоком.

Иногда, когда становилось совсем невыносимо нести бремя Генсека и президента СССР, М. С выплескивал всю душу, все, что вынужден был подавлять из-за политических игр, в песнях».

Абсолютная власть Генсека — подарок Сталина.

Пришло время, когда и песни перестали помогать. Последний Генсек скинул со своих партийных плечей невыносимое бремя власти, а его телохранители и соратники взялись за написание мемуаров, потому что все «первое» и «последнее» — интересно.

ВТОРИЧНОСТЬ — НЕ ПОРОК

На сегодняшнего президента России Бориса Ельцина я смотрю как на типичного кремлевского обитателя.

Борис Ельцин не принадлежит к тому типу личности в истории, который принято называть первичным.

Бориса Ельцина невозможно назвать первопроход-

цем. Ему не грозила судьба пророка, открывающего новую историческую эпоху. Он не создал новой идеологии. Ельцин стал первым после Горбачева. Он всегда становился первым после, а раньше всех — никогда.

Вторичность Ельцина — не недостаток, это свойство его натуры и, в определенном смысле,— предпосылка успеха в жизни и политике.

Открытие новой эпохи, создание новых ориентиров — не дело Ельцина. Он — последователь по природе. Это ученик, способный превзойти учителя, но при этом остаться учеником.

Быстрота успеха ВТОРЫХ гарантирована целым набором качеств, которые отсутствуют у интеллектуалов-первопроходцев.

Основоположники-первопроходцы склонны к интеллектуальным комбинациям, рефлексиям и идеализму, поэтому неумело ведут себя в ими же самими созданных ситуациях. Их успех скоротечен. Они быстро уступают место ВТОРЫМ.

ВТОРЫЕ тоже имеют особые склонности. Это либо гладиаторы-львы, либо — игроки. В кризисных ситуациях гладиаторы-львы чувствуют себя как в своей родной стихии. Они хорошо подготовлены к управлению окружающими. Это политики, которые постоянно нуждаются в разрядке внутреннего напряжения. Не боятся конфликтов, решая их чаще всего силовым натиском.

В кризисных ситуациях лидеры этого типа лучше всего чувствуют свои способности и компетенцию. Они достаточно сильные, чтобы выдержать удары судьбы. Их не отягощают внутренние конфликты. В то же время, политики этого типа не способны к импровизациям. Политические импровизации заменяет смена окружения — соратников.

Борис Ельцин, обладая качествами льва-гладиатора, проявил себя и как политик-игрок. Власть для него — приз, выигрыш. Борьба с соперниками: с Горбачевым, а позднее с Руцким и Хасбулатовым — опасная игра, которая все же не перестает быть игрой.

Политической игре Ельцин отдается со страстью спортсмена, с азартом карточного шулера. Основное стремление Бориса Николаевича — всегда оставаться лидером, всеми средствами выигрывать. Выигрывать, постоянно повышая ставки, ставя все на кон игры — вот

натура Ельцина. Он будет вести свою игру либо до полного проигрыша, либо до полной потери здоровья.

Особое место в политической карьере Ельцина имела борьба с привилегиями. В своей «Исповеди на заданную тему» Борис Николаевич писал:

«Угодливость и послушание оплачивается льготами, спецбольницами, спецсанаториями, прекрасной «цековской» столовой и таким же замечательным столом заказов, «кремлевкой», транспортом. И чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем больше благ тебя окружает, тем больнее и обиднее их терять, тем послушнее и исполнительнее становишься. Все продумано. Зав. Сектором не имеет личной машины, но имеет право заказывать ее для себя и для инструкторов. Заместитель заведующего отделом уже имеет закрепленную «Волгу», у заведующего «Волга» уже другая, получше, со спецсвязью.

А если уж ты забрался на вершину пирамиды партийной номенклатуры, тут все — коммунизм наступил! И оказывается, для него вовсе не надо мировой революции, высочайшей производительности труда и всеобщей гармонии. Он вполне может быть построен в отдельно взятой стране для отдельно взятых людей.

Про коммунизм — это я не утрирую, это не просто образ или преувеличение. Вспомним основной принцип светлого коммунистического будущего: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Тут все именно так. Про способности я уже говорил, их, к сожалению, не слишком много, зато потребности!.. Потребности так велики, что настоящий коммунизм пока удалось построить для двух десятков человек.

Коммунизм создает Девятое управление КГБ.

Всемогущее управление, которое может все. И жизнь партийного руководителя находится под его неусыпным оком, любая прихоть выполняется. Дача за зеленым забором на Москве-реке с большой территорией, с садом, спортивными и игровыми площадками, с охраной под каждым окном и с сигнализацией. Даже на моем уровне кандидата в члены Политбюро — три повара, три официантки, горничная, садовник со своим штатом. Я, жена, вся семья, привыкшие все делать своими руками, не знали, куда себя деть — здесь эта, так сказать, самодеятельность просто не допускалась. Удивительно, что эта

роскошь не создавала удобства или комфорта. Какую теплоту внутри жилого помещения может создавать мрамор?

С кем-то просто повстречаться было почти невозможно. Если едешь в кино, театр, музей, любое общественное место, туда сначала отправляется целый наряд, все проверят, оцепят, и только потом можешь появиться сам. А кинозал есть прямо на даче, каждую пятницу, субботу, воскресенье специально появляется киномеханик с набором фильмов.

Медицина — самая современная, все оборудование импортное, по последнему слову науки и техники. Палаты — огромные апартаменты, и опять кругом роскошь: сервизы, хрусталь, ковры, люстры... А врачи, боясь ответственности, поодиночке ничего не решают. Обязательно собирается консилиум из пяти, десяти, а то и более высококвалифицированных специалистов. В Свердловске меня наблюдал один врач, Тамара Павловна Курушина, терапевт, знала меня досконально, в любой ситуации точно ставила диагноз, сама решала, как поступить, если появилась головная боль, недомогание, простуда, слабость.

К этим безответственным консилиумам в четвертом управлении я относился с большим подозрением. Когда перешел в обычную районную поликлинику, у меня вообще перестала болеть голова, стал чувствовать себя гораздо лучше. Уже несколько месяцев не обращаюсь к врачам. Может быть, это совпадение, но очень символичное. А когда ты — в Политбюро, то закрепленный только за тобой врач обязан ежедневно осматривать тебя, над ним как дамоклов меч висит отсутствие профессиональной, человеческой свободы.

«Кремлевский паек» оплачивается половиной его стоимости, а входили туда самые отборные продукты. Всего спецпайками разной категории в Москве пользовалось 40 тысяч человек. Секции ГУМа специально предназначены для высшей элиты, а контингент начальников чуть пониже — уже другие спецмагазины, все по рангу. Все спец — спецмастерские, спецбытовки, спецполиклиники, спецбольницы, спецдачи, спецобслуга... Какое слово! Помните, понятие «спец» — специалист, особоодаренный. Левша блоху подковал, другие тысячи и тысячи мастеровых, которые действительно были спе-

цами. А теперь это слово — «спец» — имеет особый смысл, всем нам хорошо понятный. Тут самые отличные продукты, которые готовятся в спеццехах и проходят особую медицинскую проверку; лекарства, имеющие несколько упаковок и несколько подписей врачей,— только такое «проверенное» лекарство и может быть применено. Да мало ли таких «спец» в самых, казалось бы, незначительных мелочах, взлелеянных системой?!

Отпуск — и выбирай любое место на юге, спецдача обязательно найдется. Остальное время дачи пустовали. Есть и другие возможности для отдыха, поскольку, кроме обычного летнего отпуска, существует еще один — зимний — две недели. Есть замечательные спортивные сооружения, не только для спецпользования, например, на Воробьевых горах — корты, закрытые и открытые бассейны, большой бассейн, сауна.

Поездки — персональным самолетом. Летит ИЛ-62 или ТУ-134 — в нем секретарь ЦК, кандидат в члены или член Политбюро. Один. Рядом лишь несколько человек охраны и обслуживающий персонал.

Тут забавно то, что ничего им самим не принадлежит. Все самое замечательное, самое лучшее — дачи, пайки, отгороженное от всех море — принадлежит системе. И она как дала, так и отнять может. Идея по сути своей гениальная. Существует некий человек — Иванов или Петров, неважно, растет по служебной лестнице, и система выдает ему сначала один уровень спецблаг, поднялся выше — уже другой, и чем выше он растет, тем больше специальных радостей жизни падает на него. И вот Иванов проникается мыслью, что он лицо значительное, ест то, о чем другие только мечтают, отдыхает там, куда остальных и к забору не подпускают. И не понимает глупый Иванов, что не его это так облагодетельствовали, а место, которое он занимает. И если он вдруг не будет верой и правдой служить системе, сражаться за нее, на месте Иванова появится Петров или кто угодно другой. Ничто человеку в этой системе не принадлежит. Сталин умудрился отточить этот механизм до такого совершенства, что даже жены его соратников не принадлежали им самим, они тоже принадлежали системе. И система могла отобрать жен, как отобрала у Калинина, Молотова, а они даже пикнуть не посмели.

Нынче, конечно, времена переменились, но суть осталась. Так же некий широкий ассортимент благ выдается месту, которое кто-то занимает, но на каждом благе, начиная от мягкого кресла с жестким номерным знаком и кончая дефицитным лекарством со штампиком Четвертого управления, печать системы. Чтобы человек, который по-прежнему — винтик, не забывал, кому на самом деле все это принадлежит.

Но я продолжу свой рассказ о льготах. При каждом из секретарей ЦК, члене или кандидате в члены Политбюро существует старший группы охраны, он же порученец, организатор. Моего старшего внимательного человека звали Юрий Федорович. Одна из основных его обязанностей заключалась в том, чтобы организовать выполнение любых просьб своего... чуть было не сказал — барина, своего подопечного.

Надо новый костюм справить, пожалуйста: ровно в назначенное время в кабинете тихонечко раздастся стук, портной в комнатке обмеряет тебя сантиметром, на следующий день заглянет на примерку, и извольте — прекрасный костюмчик готов.

Есть необходимость в подарке для жены на 8 марта. Тоже проблем нет: принесут каталог с целым набором вариантов, который удовлетворит любой, даже самый изощренный женский вкус,— выбирай! Вообще, к семьям отношение уважительное. Отвезти жену на работу, с работы, детей на дачу, с дачи — для этих целей служит закрепленная «Волга» с водителями, работающими посменно, и с престижными номерами. «ЗИЛ», само собой, принадлежит отцу семейства.

Забавно, что вся эта циничная по сути своей система вдруг дает циничный сбой по отношению к родным главы семейного клана. Например, когда охрана проводила инструктаж с женой и детьми, было потребовано, чтобы они не давали мне овощи и фрукты с рынка, поскольку продукты могут быть отравлены. И когда дочь робко спросила, можно ли есть им, ей ответили: вам можно, а ему нельзя. То есть вы — травитесь, а он — святое...

Москвичи обычно останавливаются, когда по улицам города, шурша шинами, на большой скорости проносятся правительственные «ЗИЛы». Останавливаются не из большого почтения к сидящим в машине, а потому, что

зрелище это действительно впечатляющее. «ЗИЛ» не успел еще выехать за ворота, а уже по всему маршруту следования оповещаются посты ГАИ. Всюду дается зеленый свет, машина мчится без остановок, быстро, приятно. Видимо, высокие партийные руководители забыли, что существуют такие понятия, как «пробка», светофор и красный свет.

Членов Политбюро по всему пути ведет и машина сопровождающая, «Волга». Когда в мой адрес поступило несколько предупреждений с угрозами, мне тоже выделили такую «Волгу». Я потребовал, чтобы ее убрали, но получил ответ, что вопросы безопасности — не моя компетенция. Так что некоторое время убить меня было невозможно. Кругом охрана. К счастью, вскоре дополнительную охрану сняли.

«ЗИЛ» рядом со мной круглосуточно. Где бы я ни находился, машина со спецсвязью всегда здесь же. Если приехал ночевать на дачу, водитель располагается в специальном доме, чтобы в любой момент можно было выехать.

Про дачу — отдельный рассказ. До меня она принадлежала Горбачеву, он переехал в другую, вновь выстроенную для него.

Когда я подъехал к даче в первый раз, у входа меня встретил старший караула, он познакомил с обслугой — поварами, горничными, охраной, садовником и т. д. Затем начался обход. Уже снаружи дача убивала своими огромными размерами. Вошли в дом — холл метров пятьдесят с камином — мрамор, паркет, ковры, люстры, роскошная мебель. Идем дальше. Одна комната, вторая, третья, четвертая, в каждой цветной телевизор, здесь же на первом этаже огромная веранда со стеклянным потолком, кинозал с бильярдом, в количестве туалетов и ванн я запутался, обеденный зал с немыслимым столом метров десять длиной, за ним кухня, целый комбинат питания с подземным холодильником. Поднялись на второй этаж по ступенькам широкой лестницы. Опять огромный холл с камином, из него выход в солярий — стоят шезлонги, кресла-качалки. Дальше кабинет, спальня, еще две комнаты, непонятно для чего, опять туалеты, ванные. И всюду хрусталь, старинные и модерновые люстры, ковры, дубовый паркет и все такое прочее.

Когда мы закончили обход, старший охраны радо-

стно спросил: «Ну, как?» Я что-то невнятное промычал. Семья же была просто ошарашена и подавлена.

Больше всего убила бессмысленность всего этого. Я сейчас даже не говорю о социальной справедливости, расслоении общества, огромной разнице в уровнях жизни. Это само собой понятно. Но почему понадобилось так абсурдно реализовывать мечту об удовольствии и собственном партийно-номенклатурном величии? Такое количество комнат, туалетов и телевизоров одновременно не нужно никому, даже самому выдающемуся деятелю современности.

А кто платит за все это? Платит Девятое управление КГБ. Интересно, кстати, по какой статье списываются эти расходы? Борьба со шпионами? Подкуп иностранных граждан? Или по более романтической статье, например, космическая разведка?..

Для проведения отпуска также был богатый выбор. Пицунда, Гагры, Крым, Валдай, другие места. Старшему охраны выдавали, если не ошибаюсь, что-то около четырех тысяч рублей — это, так сказать, на карманные расходы, то есть зарплату на отпуск можно было не тратить. На этих летних дачах все те же богатства и роскошь. К морю подвозят на машине, хотя от дачи до него метров двести, не больше. Я, конечно, шагал сам, вообще пытался как-то встряхнуться, организовывал волейбольные команды. Там ребята молодые, мощные, здоровые, а мы все равно часто выигрывали. Короче, хоть как-то пытался в этот коммунистический дистиллированный оазис внести нечто человеческое, бурное и азартное. Надо честно признать, удавалось мне это с большим трудом.»

Борьба с привилегиями помогла Ельцину набрать голоса на выборах и захватить власть, после чего он взялся за свои собственные привилегии.

Особняк в Крылатском в несколько раз больше того, который строился для Горбачева. Квартира Бориса Николаевича 460 кв. метров, 15 комнат, сауна, и теннисный корт. В этом же особняке получили квартиры по 128 кв. метров обе дочери господина президента.

За Борисом Николаевичем закреплены дачи в Архангельском, в Сосновке, а также бывшая резиденция Горбачева. Для него строили четырехэтажный дворец среди реликтовых сосен в Успенском. Наконец, Ельцин

«на свои средства» строит дачу в Горках под Москвой. У Ельцина особо роскошная резиденция в Кремле.

Пресса сообщает о том, что петербургская строительная фирма «Алмаз» получила заказ на строительство яхты для президента. Такой восхитительной яхты на «Алмазе» даже представить себе не могли, хотя до этого здесь изготовлялись прогулочные суда для Хрущева и Брежнева и других руководителей.

На Ельцинской яхте предусмотрены вертолет, сауна, два бассейна, танцевальные площадки, теннисные корты и т. д. Отделочный материал — из драгоценных пород дерева. Спроектирована яхта так, что на ней никогда ни при каких ситуациях не пересекутся пути президента и обслуживающего персонала.

Как настоящий абсолютный монарх, Ельцын говорит о себе в третьем лице: «Президент внесет законопроект» или «Президент будет действовать решительно».

15 февраля 1994 года Ельцин издал указ № 319 «О штандарте президента». Из описания флага: «В центре — золотое изображение государственного герба Российской Федерации (двуглавого орла). Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством президента Российской Федерации и датами его пребывания на этом посту».

Во время визита в США осенью 1994 года возле ворот Белого Дома Бориса Ельцина не встречала ни толпа восторженных американцев (как бывало при приездах Горбачева), ни пикеты эмигрантов с политическими призывами. У ворот стоял лишь чернокожий бездомный с плакатом: «Сейчас же попроси Иисуса спасти тебя!» Шутки президента России отличались мрачным оттенком. На пресс-конференции пожилая американка спросила Ельцина об участии России в конфликтах в республиках бывшего СССР. На что Борис Николаевич спросил старушку: «Вот вы близки со своим соседом?» Она замерла. Зал разразился хохотом. «Они же наши родные,— пояснил президент России.— Мы еще вчера в одном доме жили. Мы просто помогаем соседям.» Ельцин в США все время потел и утирал лицо платком. «Я сибиряк,— заметил он Клинтону,— жарко мне у вас».

В интервью газете «Фигаро» Борис Николаевич зая-

вил: «Подлинная опасность для России — это следующий президент».

Зависит ли ирония истории от характера и притязаний политических вождей и игроков? Учитывается ли в истории «фактор глупости»? Ясно одно: свой приговор история выносит не торопясь.

КРЕМЛЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
(вместо эпилога)

Кремль юридически не числится среди памятников архитектуры, истории и культуры. Кремль был прежде всего политическим центром советской империи.

Всякий раз, когда я думаю о Кремле и его обитателях, в сознании само собой всплывает слово «ЗАПОВЕДНИК». Коммунистический заповедник.

Кремль был описан Троцким в книге «Моя жизнь».

«Со своей средневековой стеной и бесчисленными золочеными куполами Кремль, в качестве крепости революционной диктатуры, казался совершеннейшим парадоксом.

Правда, и Смольный, где помещался раньше институт благородных девиц, не был прошлым своим предназначен для рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

До марта 1918 года я в Кремле никогда не бывал, как и вообще не знал Москвы, за исключением единственного здания: бутырской пересыльной тюрьмы.

В качестве посетителя можно было бы созерцательно любоваться кремлевской стариной, дворцом Грозного и Грановитой палатой. Но нам пришлось здесь поселиться надолго.

Тесное повседневное соприкосновение двух исторических полюсов, двух непримиримых культур удивляло и забавляло. Проезжая по торцовой мостовой мимо Николаевского сквера, я не раз поглядывал искоса на царь-пушку и царь-колокол. Тяжелое московское варварство глядело из бреши колокола и из жерла пушки. Принц Гамлет повторил бы на этом месте: «Порвалась связь времен, зачем же я связать ее рожден?» Но в нас не было ничего гамлетического.

В Кавалерийском корпусе, напротив Потешного дворца, жили до революции чиновники Кремля. Весь нижний этаж занимал сановный комендант. Его квартиру разбили теперь на несколько частей.

С Лениным мы поселились через коридор.

Кормились тогда в Кремле из рук вон плохо. Взамен мяса давали солонину. Мука и крупа были с песком. Только красной кетовой икры было в изобилии, вследствие прекращения экспорта. Этой икрой окрашены не только в моей памяти первые годы революции.

Музыкальные часы на Спасской башне перестроили.

Теперь старые колокола вместо «Боже, царя храни» медленно и задумчиво вызванивали Интернационал. Подъезд для автомобилей шел под Спасской башней, через сводчатый туннель. Над туннелем старинная икона с разбитым стеклом. Перед иконой — давно потухшая лампада. Часто при выезде из Кремля глаз упирался в икону, а ухо ловило сверху Интернационал.

Над башней с ее колоколом возвышался по-прежнему позолоченный двухглавый орел. Только корону с него сняли. Я советовал водрузить над орлом серп и молот, чтобы разрыв времени глядел с высоты Спасской башни. Но этого так и не удосужились сделать.

В моей комнате стояла мебель из карельской березы. Над камином часы под Амуром и Психеей отбивали серебряным голоском. Для работы все это было неудобно. Запах досужего барства исходил от каждого кресла.

Чуть ли не в первый день моего приезда из Питера мы разговаривали с Лениным, стоя среди карельской березы.

Амур с Психеей прервали нас певучим серебряным звоном. Мы взглянули друг на друга, как бы поймав себя на одном и том же чувстве: из угла нас подслушивало притаившееся прошлое. Окруженные им со всех сторон, мы относились к нему без почтительности, но и без вражды, чуть-чуть иронически.

Было бы неправильно сказать, что мы привыкали к обстановке Кремля — для этого много было динамики в условиях нашего существования. «Привыкать» нам было некогда.

Мы искоса поглядывали на обстановку и про себя говорили иронически-поощрительно Амурам и Психеям:

не ждали нас? Ничего не поделаешь, привыкайте!

Мы приучали обстановку к себе.

Низший состав остался на местах. Они принимали нас с тревогой. Режим тут был суровый, крепостной, служба переходила от отца к сыну.

Среди бесчисленных лакеев и всяких иных служителей было немало старцев, которые прислуживали нескольким императорам.

Один из них — старичок Ступишин, человек долга, был в свое время грозой служителей. Теперь младшие поглядывали на него со смесью старого уважения и нового вызова.

Он неутомимо шаркал по коридорам, ставил на место кресла, сметал пыль, поддерживал видимость прежнего порядка.

За обедом нам подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами.

— Что он делает, смотри,— шептал Сережа матери. Старик тенью ходил за креслами и чуть поворачивал тарелки то в одну, то в другую стороны. Сережа догадался первым: двуглавому орлу полагается быть перед гостем посредине.

Служительский персонал вскоре расформировали. Молодые быстро приспособлялись к новым порядкам.

Ступишин не хотел переходить на пенсию.

Его перевели надсмотрщиком в большой дворец, превращенный в музей, и он часто приходил в Кавалерийский корпус — «проведать». Ступишин дежурил позже во дворце перед Андреевским залом во время съездов и конференций.

Вокруг него снова царил порядок и сам он выполнял ту же работу, что при царских или великокняжеских приемах, только теперь дело шло о Коммунистическом Интернационале.

Он разделил судьбу часовых колоколов на Спасской башне, которые от царского гимна перешли к гимну революции. В 26-м году старик медленно умирал в больнице. Жена посылала ему туда гостинцев, и он плакал от благодарности».

Люди старшего и среднего поколения без труда вспомнят: с чего начинался каждый «трудовой день». Он начинался с прямой трансляции с Красной площади, с боя Кремлевских Курантов. В приемнике раздавался

треск, шум машин, проезжающих по площади, карканье ворон, и только после всего этого — бой Курантов.

Карканье кремлевских ворон неслось над всей необъятной советской империей, достигало слуха старого и малого...

Зловещие кремлевские вороны напоминали с утра о бренности всего земного, о своих сородичах — «Черных воронах», которые в любую из ночей могут подкатить к дому и увезти туда, откуда нет возврата.

Кремлевские вороны возвещали о наступлении нового дня, ночь прошла — пора на работу...

Кремлевские вороны пророчили гибель «врагам народа». Каркали, как на кладбище.

Потом прямую трансляцию заменили записью боя часовых колоколов. Запись была очищена от всех посторонних звуков.

Смолкли голоса кремлевских ворон...

Одним из любимых занятий русских царей была стрельба по воронам. «Гулял и убил ворону»,— писал Николай II в своем дневнике 8 ноября 1904 года.

Вороны пережили царей и остались в Кремле при советской власти.

Вороны жили в Кремле при советской власти и пережили советскую власть...

Вороны жили и будут жить в Кремле!

Крысы тоже обитали в Кремле. Их было много. О них рассказала жена Феликса Дзержинского в своих воспоминаниях: «Было видно, как бегают крысы в поисках съедобного».

Упоминания о крысах есть и у коменданта Кремля П. Малькова. Борьба с серыми грызунами входила в его прямые обязанности.

Ах, если бы комендант Кремля уничтожал только крыс!

Первый комендант Кремля был настоящим палачом! Об этом «занятии» П. Малькова писал Лев Разгон в «Непридуманном».

Палачество — приведение в исполнение казней — утратило в наше время всю вековую зловещность этой профессии. Пушкин усматривал падение общественных нравов в том, что образованные люди позволяют себе издавать и читать записки парижского палача. Но более чем через сто лет после Пушкина Андрей Свердлов

показал мне рукопись сделанной им литературной записи воспоминаний коменданта Кремля Малькова.

В этих грубых и не самых правдивых воспоминаниях несколько страниц было посвящено подробнейшему описанию того, как сам Мальков расстреливал Каплан; как с помощью присутствующего при этом Демьяна Бедного от тащил ее труп в Кремлевский сад, как они этот труп облили керосином и сожгли.

Я сказал полуавтору воспоминаний, что хвастливое описание казни женщины отвратительно и несомненно будет издательством вычеркнуто... И точно. Вычеркнули. В таком виде книга вышла уже несколькими изданиями...»

Кремлевские крысы жили лучше, чем их «простые» сородичи. Они были жирные, гладкие, сытые, имели доступ к спецпитанию, к спецраспределителям. Перепадало им то-се с больших кремлевских банкетов, объедки со сталинского стола. Кремлевские крысы сладко ели, мягко спали, но подвергали свою жизнь большой опасности, рисковали... Истребляли их тщательно.

В. И. Ленин утверждал: «У нас же один только лозунг, один девиз: всякий, кто трудится, тот имеет право пользоваться благами жизни. Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь из трудящегося народа, должны быть лишены этих благ».

В стаях крыс существует четкая иерархия. Когда вожак подходит к любой из крыс и становится в позу угрозы, то крыса должна принять позу подчинения — припасть к земле. У вожака при этом раздувается воротник. Убедившись в своей власти, он отходит удовлетворенный. Вожак нуждается в подтверждении своей власти. Чувство комфорта и безопасности в стае зависит от степени близости к вожаку. Подхалимы дерутся между собой.

Этологи, изучающие жизнь и поведение животных в естественных условиях, заметили, что в крысиных стаях время от времени появляются крысы-диссиденты. Крысы-диссиденты не реагируют на позу угрозы позой подчинения, как бы ни раздувал вожак свой воротник. Ученые убедились, что если в стае появляется больше двух диссидентов, то сердце вожака не выдерживает, и он погибает от инфаркта. Так происходит смена лидера в крысиной стае.

Крысиное племя неистребимо.

В партийной иерархии в роли вожака выступал Генсек.

В стихотворении О. Мандельштама о Сталине, стоившем жизни автору, есть слова:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

«Правой рукой» Сталина был Молотов.

Американский посол в СССР Чарльз Болен, который нередко встречался с Молотовым и Сталиным в 1945—1946 годах, отмечает в своих мемуарах не только унизительное и даже презрительное отношение Сталина к своему министру иностранных дел, но и раболепное отношение Молотова к Сталину. Болен, в частности, писал:

«Подозрительный по природе и благодаря сталинской выучке, он (Молотов.— Р. М.) не рисковал. Где бы он ни был, за границей или в Советском Союзе, два или три охранника сопровождали его. В Чеквере, доме британского премьер-министра, или в Блэйтер-хаусе, поместье для важных гостей, он спал с заряженным револьвером под подушкой. В 1940 году, когда он обедал в итальянском посольстве, на кухне посольства появлялся русский, чтобы попробовать пищу.

Молотов был прекрасным помощником Сталина. Он был не выше пяти фунтов четырех дюймов роста, являя пример сотрудника, который никогда не будет превосходить диктатора.

Молотов был также великолепным бюрократом. Методичный в процедурах, он обычно тщательно готовился к спорам по ним. Он выдвигал просьбы, не заботясь о том, что делается посмешищем в глазах остальных министров иностранных дел.

Однажды в Париже, когда Молотов оттягивал соглашение, поскольку споткнулся на процедурных вопросах, я слышал как он в течение четырех часов повторял одну фразу: «Советская делегация не позволит превратить конференцию в резиновый штамп» — и отвергал все попытки Бирнса и Бевина сблизить позиции.

В том смысле, что он неутомимо преследовал свою цель, его можно назвать искусным дипломатом. Он никогда не проводил собственной политики, что открыл еще Гитлер на известной встрече. Сталин делал полити-

ку; Молотов претворял ее в жизнь... Он пахал, как трактор. Я никогда не видел, чтобы Молотов предпринял какой-то тонкий маневр; именно его упрямство позволяло ему достигать эффекта.

Невозможно определить действительное отношение Сталина к любому из его помощников, но большую часть времени Молотов раболепно относился к своему хозяину».

Бывший Генеральный секретарь Компартии Израиля С. Микунис рассказывал в своих воспоминаниях об одной из встреч с Молотовым:

«...В 1955 году у меня произошла довольно любопытная встреча с Молотовым... в Кремлевской больнице в Кунцево, куда меня положили после того, как я немного прихворнул. Здесь совершенно случайно в одном из больничных коридоров я и встретил Молотова. До этого я его видел только раз в Париже, когда он выступал на съезде сторонников мира...

Теперь, в Кунцево, Молотов был, как и я, в больничной пижаме, но, несмотря на это, он выглядел, как всегда, надменным, выражение лица холодное, жестокое. Увидев его, я подошел к нему и спросил: «Почему вы, как член Политбюро, позволили арестовать свою жену?».

Он окинул меня холодным взглядом и спросил, а кто я, собственно, такой. Я ответил: «Я Генеральный секретарь Коммунистической партии Израиля, и поэтому я вас спрашиваю, и не только вас, я спрошу об этом ЦК... Почему вы дали арестовать свою жену Полину Жемчужину?»

Он с тем же стальным лицом, на котором не дрогнул ни один мускул, ответил: «Потому что я член Политбюро и я должен был подчиниться партийной дисциплине... Я подчинился Политбюро, которое решило, что мою жену надо устранить...» Вот такая любопытная была сценка».

В книге «Только один день» Светлана Аллилуева писала: «Я видела уже постаревшего, поблекшего Молотова — пенсионера в его небольшой квартире, уже после того, как Хрущева сменил Косыгин. Молотов, по обыкновению, говорил мало, а только поддакивал. Раньше я всегда видела его поддакивающим отцу. Теперь он поддакивал жене. Она была полна энергии и боевого духа.

Ее не исключили из партии, и она теперь ходила на партийные собрания на кондитерской фабрике, как в дни молодости. Они сидели за столом всей семьей, и Полина говорила мне: «Твой отец был гений. Он уничтожал в нашей стране пятую колонну, и, когда началась война, партия и народ были едины. Теперь больше нет революционного духа, везде оппортунизм. Посмотри, что делают итальянские коммунисты! Стыд! Всех запугали войной. Одна лишь надежда на Китай. Только там уцелел дух революции!»

Молотов поддакивал и кивал головой. Их дочь и зять молчали, опустив глаза в тарелки. Это было другое поколение, и им было стыдно. Родители походили на ископаемых динозавров, окаменевших и сохранившихся в ледниках».

Даже у Светланы Аллилуевой чета Молотовых ассоциировалась с вымершими представителями животного мира — динозаврами. Это были КРЕМЛЕВСКИЕ ДИНОЗАВРЫ.

Четкая партийная иерархия аналогична иерархии крысиной стаи.

Олег Волков в новелле «Падшие ангелы» (из книги воспоминаний «Погружение во тьму») описывает прибытие в лагерь партийных работников, скатившихся, по воле вожака, сверху вниз по иерархической лестнице.

«У некоторых выражение, словно они не вполне осознают происходящее, надеются, что это все им померещилось: они вот-вот очнутся и возвратятся к своим привычным делам — будут командовать воинскими подразделениями, заседать в штабах, руководить, приказывать, выполнять поручения за рубежом — словом, снова вкусят сладости своего положения. Положения лиц, включенных в сословие советских руководителей...

Эта, уже в те годы достаточно четко выделившаяся общественная формация, успела приобрести черты, которые отличали ее от всех когда и где-нибудь прежде складывающихся аппаратов управления и бюрократии. Чтобы попасть в эту элиту, не требуется знаний, тем более умения самому работать. Пригодность кандидата определяется в первую очередь готовностью бесприкословно выполнять любые указания и требования «вышестоящего» и заставлять подчиненных работать не рассуждая.

Само собой исключаются умствования, нравственная брезгливость: все, что на жаргоне советских сановников презрительно отнесено к разряду «эмоций». Зато безоговорочная исполнительность, рвение в стиле аракчеевского девиза «Усердие все превозмогает» и льстивость обеспечивали подчиненным полную безответственность — в смысле ответа за результаты своей деятельности. Тут они всегда могут рассчитывать, что их прикроют, выгородят. Если уж слишком скандальны злоупотребления или провал — тихонько уберут... чтобы так же без рекламы пристроить на другое, одинаково прибыльное место.

Счастливец, попавший в номенклатуру, т. е. зачисленный в некие списки, обеспечивающие до смертного одра жизнь в свое удовольствие за счет государства, паче всего должен уметь вдалбливать своим подчиненным — при помощи вышколенного аппарата и в полном смысле купленных пропагандистов и агитаторов — представление о несравненных достоинствах строя, привилегированном положении советских трудящихся, о непогрешимости партии и т. д. и т. п., и особой заслугой признается умение внушить окружению представление об исключительности «слуг народа», как всерьез себя называют самые разжиревшие тунеядцы, занимающие высокие и высочайшие посты, требующие, само собой, и чрезвычайной обеспеченности.

Эти, присвоенные высокому чину привилегии, ответственные работники, особенно высшая прослойка, до поры до времени маскировали. Сверхснабжение шло скрытыми каналами, и даже жены и любовницы министров-наркоманов не рисковали щеголять драгоценностями и туалетами.

Из ряда вон выходящим случаем были бриллианты, как утверждали, из царского алмазного фонда, демонстрируемые со сцены актрисой Розенель, названной смелым карикатуристом «ненаглядным пособием Наркомпроса». Только положение дарителя — наркома просвещения Луначарского — спасало от скандала.

Но после того, как было предписано придерживаться лозунга «Жить стало лучше, жить стало веселей», а народ оказался взнузданным до состояния столбняка, фиговые листы были отброшены: лимузины, фешенебельные дачи, царские охоты, заграничные курорты и по-

ездки, больницы-хоромы, дворцовые штаты прислуги, закрытые резиденции и, разумеется, магазины, ломящиеся от заморских яств, потому что-что другое, а выпивку и закуску номенклатура, как любые выскочки, ценит: все это сделалось узаконенной принадлежностью быта ответработников. Разумеется, в строгом соответствии с табелью о рангах — важностью занимаемой должности.

Тогда, в конце двадцатых годов, не была еще вполне изжита ненавистная для партийных боссов «уравниловка» — отголосок счастливого канувшего в Лету периода ношения потертых курток, партмаксимума, сидения в голых кабинетах и привития личным примером населению спартанских нравов — и так как регламентация атрибутов власти еще не приобрела нынешние четкие грани стройной системы.

Поясню: если, например, заведующему отделом полагается всего место в служебном рафике, то начальнику главка дается «Волга» в присутственное время, а заму министра — она же в личное пользование; второстепенному министру выделяется «Волга» в экспортном исполнении, черная, а ведущего ведомства — «Чайка» — и так все выше, вплоть до бронированного персонального лимузина с вмонтированными фирмой «Роллс Ройс» баром, телевизором и прочими дорожными необходимостями... Та же шкала в закрытых распределителях.

Кому под праздник приносят с почтением на дом пудовый короб со всякой снедью, а кто сам отправляется на улицу Грановского и получает строго по норме полкило балыка, звенышко осетрины, копченой колбасы, баночку икры — тут опять по чину, а отчасти стихийно, кто сколько рвет.

Но как бы то ни было, большинство расходившихся по лагпункту, подгоняемых дневальными, обряжаемых в лагерную среду приезжих переживали внезапное и крутое ниспровержение, тем более горькое для многих, что этому резкому переходу «из князи в грязи» предшествовало длинное, упорное, стоившее унизительных компромиссов с совестью выкарабкивание из низов.

Но было не только пробуждение у разбитого корыта, а еще и шок, встряска всего существа, вызванные полным крушением нехитрого миропонимания этих людей.

Их ниспровержение нельзя назвать нравственным

крушением, потому что длительное пребывание у власти, при полной безответственности и безнаказанности, при возможности не считаться с ничьим мнением, критикой, законом, совестью, настолько притупили у «государственных мужей» понимание того, что нравственно, а что безнравственно, понимание границ дозволенного, что они сделались глухи к морали и этическим нормам...

Потрясение, о котором я говорил выше, не было тем ужасом, отчаянием, что охватывает человека, вдруг уразумевшего мерзость и непоправимость совершенных им злых дел. Оно не было началом раскаяния при виде причиненных людям страданий, а лишь возмущением обстоятельствами, швырнувшими их на одни нары с тем бессловесным и безликим «быдлом», что служило им дешевым материалом для безответственных социальных экспериментов и политической игры.

Они не только не протянули руку братьям, с которыми их сроднило несчастье, но злобились и обосабливались, всеми способами отгораживались от лагерников прежних наборов. Всякое соприкосновение с ними пятнало, унижало этих безупречных, стопроцентно преданных вождю слуг.

Все это, считали ниспровергнутые советские партийные деятели, происки врагов, агентов капитализма, и этой формулой хотели объяснить причины своего падения.

Именно эти «агенты» пробирались в карательные органы, чтобы расправиться с вернейшими солдатами партии и подорвать веру в непогрешимость ее «генеральной линии». Пусть им удалось там, наверху, оклеветать достойнейших — ложь будет неминуемо опровергнута, и тогда Вождь вновь взглянет отеческим оком на своих оговоренных верных холопов, и они станут с удвоенным рвением и преданностью выполнять его предначертания.

Партия разберется, партия непогрешима, партия победит! Можно, положа руку на сердце, провозгласить: «Да здравствует ее мозг и сердце, великий вождь Сталин!»

И первой заботой низвергнутых ответственных, вернее, безответственных сановников было установить — чтобы видело и оценило начальство! — четкий водораздел между собой и прочими лагерниками; в разговоры

с нами они не вступали, а если уж приходилось, то был это диалог с партией.

Однако скученность и теснота брали свое. Я приглядывался и прислушивался к заносчивым новичкам, стараясь разобраться: истинные ли вера и убежденность движут этими твердокаменными «партийцами»? Или в их поведении и высказываниях расчет, надежда на то, что дойдет же какими-то путями до Отца и Учителя, как пламенно горят любовью к нему сердца под лагерным бушлатом, как далеки все они от ропота и непоколебимы в своей вере в правоту Вождя и как ждут, когда он сочтет нужным шевельнуть мизинцем — поманить, и они ринутся наперегонки восхвалять его и славить, служить ему, Великодушному и Справедливому!

Чураясь зеков-некоммунистов, «твердокаменные» пытались сомкнуться с начальством, держась с ним посвойски, словно их — вчерашних соратников и единомышленников, рука об руку укреплявших престол вождя — разделило всего недоразумение, случайность, которые вот-вот будут устранены. И потом, разве нет больше на крупных постах, даже среди тех, кто на снимках в газетах удостаивается быть названным «ближайшим учеником», приятелей, с кем рука об руку водили продотряды, раскулачивали, устраивали процессы, работали в органах?

Они заступятся...»

Как вспоминал Хрущев, в последние годы жизни Сталин часто говорил своим соратникам: «Что будете делать без меня? Пропадете, как котята!»

Человек, издевающийся над животным, легко переходит к мучению человека.

В июне 1920 года Бабель добровольно ушел на фронт, в Первую Конную армию.

Бабель приехал на фронт как корреспондент газеты «Красный кавалерист» — Кирилл Васильевич Лютов, русский. Двигаясь с частями, он должен был писать агитационные статьи, вести дневник военных действий. На ходу, в лесу, в отбитом у неприятеля городе Бабель вел и свой личный дневник.

Писатель был поражен хладнокровному отношению к своей и тем более к чужой смерти, пренебрежению к личному достоинству другого человека. Насилие встало в обыденный ряд.

Бабель записывал:

«Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем до основания. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом, обматываются шинелями и идут в ступление на улей, вакханалия, тащут рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками (...). В пасеке — хаос и полное разрушение, дымятся развалины.

Я пишу в саду, лужайка, цветы, больно за все это».

Общение с природой облагораживает.

В одном из известных писем к родным первый чекист Дзержинский утверждал, что был счастливым лишь в минуты, когда чувствовал себя «частицей природы»: «Я сам помню из времен моего детства эти минуты невыразимого блаженства, когда, например, положив голову на колени матери, я слушал по вечерам шум леса, кваканье лягушек, призывный крик дергача и смотрел на звезды, которые мерцали точно живые искорки...

Минуты подлинного счастья, когда природа так меня поглощала, что я почти не чувствовал своего существа, а чувствовал частицей этой природы, связанной с ней органически, будто я сам был облаком, деревом, птицей».

Не случайно любовь Дзержинского расцвела на фоне природы в Татрах. Там и был зачат его единственный сын — Ясик.

Вот, что вспоминала Софья Дзержинская (в девичестве Мушкат) о своем свадебном путешествии:

«Переночевав в убежище, мы намеревались утром двинуться дальше, но задержались в Гонсеницовых галях еще на сутки и только утром следующего дня, обойдя озеро Чарны Став, начали восхождение на Заврат.

Дорога была легче чем в прошлый раз, потому что снега уже не было, синие пятна-указатели отчетливо виднелись, железные скобы, вбитые в гранитные скалы, были обнажены и доступны.

Поэтому мы без труда поднялись на перевал. И снова взорам открылся чудесный вид на пять Польских озер.

Погода была замечательная, горный воздух чист и

упоителен. Мы спустились к озерам. Около них кружилось много птиц.

В Феликсе проснулся охотник. Он жалел, что у него не было двустволки.

Мы продолжали восхождение.

Снова ночлег и убежище в Ростоке и дальше путь к Морскому Оку. Мы немного свернули, чтобы увидеть водопады Мицкевича. Они очень понравились Феликсу. Очарованный красотами природы, он мыслями оторвался от беспокоивших его партийных дел.

Подойдя к потоку, мы увидели большое стадо косуль во главе с самцом. Они, видимо, шли на водопой к потоку. Заметив нас, вожак на секунду остановился, повернул свою красивую голову, украшенную ветвистыми рогами, дал движением головы сигнал об опасности, повернулся и с быстротой молнии умчался. За ним мгновенно понеслось все стадо и исчезло в кустах.

Мы стояли, очарованные этой волшебной картиной, жалея, что спугнули красивых быстроногих животных».

В этом же году в одном из писем к Сабине Фанштейн Феликс сравнивал себя с яблоней: «То, что произошло со мной, напоминает судьбу яблони, которая стоит за моим окном.

Недавно она вся была усеяна цветами — белыми, пахучими, нежными. Но вот налетел вихрь, сорвал цветы, бросил на землю... Яблоня стала бесплодной. Но ведь будет еще весна, много весен».

Жена Феликса написала про любовь своего мужа к природе.

«Феликс любил животных и птиц.

С детства в течение всей своей жизни он не позволял никому обижать их.

С горечью и жалостью рассказывал он, как ему однажды пришлось собственноручно застрелить медведя, которого сам выдрессировал.

Это было в 1899 году во время пребывания Феликса в ссылке в Вятской губернии в селе Кайгородском. Крестьяне подарили ему медвежонка. Он был веселым, игривым, очень забавным.

Феликс научил его служить, танцевать, удить рыбу. Феликс вместе с ссыльным Якшиным брал медвежонка с собой, когда ездил на рыбную ловлю. В подходящем месте Феликс приказывал медвежонку: «Мишка, лови рыбку!»

Мишка понимал, что значат эти слова, и — бултых в воду! А через минуту вылезал со щукой или судаком в пасти.

Но, когда он подрос, начали проявляться кровожадные инстинкты: Мишка стал душить кур, бросился на корову и поранил ее. Феликс посадил его на цепь, но Мишка сделался еще злее, начал бросаться на людей, наконец на самого Феликса. Не было другого выхода — пришлось медведя застрелить.

В селе Кайгородском, чтобы заглушить мучительную тоску по родным местам, по партийной работе, Феликс занялся охотой.

Он рассказывал мне, что как-то участвовал в охоте на медведя. Охотился на диких птиц.

Однажды отправился с товарищем на озеро, где было много диких уток. В момент, когда лодка подплыла к небольшому островку, заросшему камышом, из зарослей поднялись и пролетели над головами охотников два больших лебедя.

Феликс выстрелил, и один лебедь упал на островок. Это была самка, а самец улетел. Но через минуту он вернулся, начал кружиться над местом, где упала самка.

Феликс выстрелил в него, но промахнулся.

Тогда лебедь поднялся ввысь, сделал несколько кругов и в отчаянии камнем бросился вниз в озеро, разбился насмерть.

Феликс рассказывал об этом с волнением, изумляясь и восхищаясь лебединой верностью».

Первой жертвой председателя ВЧК стал дрессированный медвежонок, которого, по-моему, можно было не убивать, а отпустить в лес на волю. Безвинная жертва, которую перед смертью еще и помучили на цепи.

Скучающий без партийной работы Феликс стрелял лебедей.

Дзержинскому была свойственна природная жестокость и личная агрессивность, которая и проявлялась сначала по отношению к животным и птицам.

Подобным образом в ссылке развлекался и вождь мирового пролетариата В. Ленин. В половодье он добивал зайцев, которые спасались на островках. Владимиру Ильичу удалось набить столько зайцев, что лодка наполнилась тушками до самого борта. Об этой «охоте» поведала миру Надежда Константиновна Крупская.

Им всем нравилось убивать «братьев наших меньших». Они не могли не убивать. Это была потребность. Начали с беззащитных животных, окончили людьми.

К самым счастливым воспоминаниям своего детства Лев Троцкий относит охоту на тарантулов и сусликов.

«У Ивана Васильевича была банка, в которой тарантулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это самое надежное средство от укусов.

Тарантулов я ловил вместе с Витей Гертопановым. Для этой цели на нитке укреплялся кусочек воску и спускался в норку. Тарантул вцепляется всеми лапками и влипает. Дальше остается только захватить его в пустую спичечную коробку.

Полутайком уходил я вслед за водовозом в поле на охоту за сусликами.

Надо было аккуратно, не слишком быстро, но и не медленно, лить воду в нору и с палкой в руке дожидаться, пока над отверстием не появится крысиная мордочка с плотно прилегающей шерстью.

Старый суслик сопротивляется долго, затыкая задом нору, но на втором ведре сдается и выскакивает навстречу смерти.

У убитого надо отрезать лапы и нанизать на нитку: земство выдает за каждого суслика копейку. Раньше требовали предъявить хвостик, но ловкачи из шкурки вырезали десяток хвостиков, и земство перешло на лапки.

Ленин был страстным охотником, но охотился редко. На охоте горячился. Помню, как с каким-то прямо-таки отчаянием, в сознании чего-то непоправимого, Ленин жаловался мне, как он промазал на облаве по лисице в 25-ти шагах. Я понимал его, и сердце мое наливалось сочувствием.

Когда Ленин оправился после первого удара, он настойчиво боролся за право охоты. В конце концов врачи уступили ему с условием не утомляться.

На каком-то, кажется агрономическом, совещании Ленин подсел к Муралову.

— Вы с Троицким частенько охотитесь?

— Бывает.

— Ну, и как, удачно?

— Случается и это.

— Возьмите меня с собой, а?

— А вам можно?

— Можно, можно, разрешили... так возьмете?

— Как же вас можно не взять, Владимир Ильич?

— Так я звякну, а?

— Будем ждать.

Но Ильич не звякнул. Звякнула вторично болезнь. А потом звякнула смерть».

Животных или убивали или покоряли, подчиняли своей воле.

Вот еще одно юношеское воспоминание Троцкого:

«В деревне я самостоятельно управлял кровным жеребцом, запряженным в бегунки. К этому времени в Яновке уже имелись хорошие выездные лошади.

Я предлагаю прокатить дядю Бродского — пивовара.

— А ты меня не опрокинешь? — спрашивает дядя, который по всему своему характеру не склонен к отважным предприятиям.

— Что вы, дядя,— говорю я таким возмущенным тоном, что дядя безропотно садится за спиною.

Я выезжаю через балку, мимо мельницы, по дороге, только что примятой летним дождем.

Гнедому жеребцу хочется размаха, его раздражает, что приходится ехать в гору, и он сразу берет рывком. Я натягиваю вожжи, упираясь ногами в передок, и приподнимаюсь ровно настолько, чтобы дядя не заметил, что я вишу на вожжах.

Но у жеребца своя амбиция.

Он в три с лишним раза моложе меня, ему четыре года. Гнедой подхватывает в гору легкие бегунки с раздражением, как кошка, которая стремится удрать от привязанной к хвосту жестянки.

Я чувствую, как дядя за моей спиной прекратил курение, чаще дышит и собирается поставить ультиматум.

Я сажусь плотнее, отпускаю гнедому вожжи и, для придания себе полной уверенности, прищелкиваю языком в такт селезенки, которая играет у гнедого на славу.

«Не шали, мальчик»,— покровительственно говорю я жеребцу, когда тот пробует перейти на галоп, и раздвигаю локти пошире.

Я чувствую, что дядя успокоился и снова задышал папироской.

Игра выиграна, хотя сердце мое екает, как селезенка гнедого.»

«Ненависть к людям и любовь к животным — зловещая и опасная комбинация»,— так говорил Конрад Лоренц, человек, который любил и изучал животных. Но коммунистические лидеры в своей основной массе не любили ни людей, ни зверей. Хотя практически все в разные периоды жизни имели животных.

Ленин с Крупской держали кошек. Анна Ларина-Бухарина вспоминала про кошку, которая и после смерти хозяина жила в Горках. Дочь Гамарника вспоминает белого, пушистого котенка, которого подарила ей Надежда Константиновна. Не думаю, что Крупская приобрела свой подарок на Птичьем рынке, скорее всего котенок был от собственной кошки.

Авторитарные личности, как правило, игнорируют котов, отдавая предпочтение собакам. Ничего удивительного, собакам от природы дано «чувство хозяина». Коты — своенравные эгоисты, диссиденты. С собаками проще, они преданные и послушные. Это общее наблюдение. Его подтверждает Эрих Фромм в исследовании «Адольф Гитлер, клинический случай некрофилии»: «Гитлер не только отдавал себе отчет, что его никто по-человечески не любит, но и был убежден, что единственное, что притягивает к нему людей, это его власть. Его друзьями были собака и женщина, которых он никогда не любил и не уважал, но держал у себя в подчинении. Гитлер был холоден, сострадание было ему незнакомо».

Диктаторы предпочитали собак, но из всякого правила есть исключения... Эти исключения можно объяснить стремлением особо волевого диктатора подчинить, сделать кота послушным, как пес.

Коты красивы.

Мурлыканье котов успокаивает нервы.

Многие немолодые бездетные пары находят утешение в общении с кошками.

Кошки грациозны, ими просто можно любоваться.

Коты едят меньше, чем собаки.

В памятном 1962 году во время стачки в Новочеркасске на управлении электровозостроительного завода висел прибитый головой вниз полуистлевший котиный труп. К котиному трупу был прикреплен плакат:

При Ленине жил,
При Сталине сох,

При Хрущеве сдох!

Как будто стачечники знали о любви Ленина к котиному племени.

Мертвый кот славил мертвого вождя.

Коты привыкают к месту, а собаки к хозяину. Поэтому странно читать о том, что у Василия Сталина жила овчарка Геринга. Немецкие овчарки выбирают себе вожака (хозяина) в щенячьем возрасте и остаются верны...

Значит, собака, принадлежавшая сыну Сталина, была по сути верна своему настоящему хозяину — Герману Герингу, инициатору создания гестапо и немецких концлагерей, приговоренному на Нюрнбергском процессе к смертной казни и покончившему жизнь самоубийством.

Овчарка Геринга была неправдоподобных размеров, ее звали Бен.

Бена привезли из Германии в качестве трофея и подарили Иосифу Виссарионовичу. Пес должен был поменять хозяина, лечь у ног Сталина как еще один символ поверженной Германии. Но Сталину было некогда возиться с псом, он «передарил» его сыну.

А Гитлер свою суку отравил вместе с четырьмя щенками, Евой Браун и самим собой. До последнего дня они были рядом со своим хозяином. Об этом упоминает Герхард Больт, ротмистр немецкой армии, служивший в имперской канцелярии, в книге «Последние дни Гитлера.»

«Бернд рассказывает мне, кто окружает нас здесь, в бомбоубежище.

— Кроме Гитлера и его личной охраны,— говорит он,— здесь и обергруппенфюрер д-р Бранд, и овчарка Гитлера со своими четырьмя щенками. Увидишь ее, будь осторожен: она очень злая. На другом конце убежища, в сторону улицы Германа Геринга, живет Геббельс с женой и детьми.

Кроме того, в убежище живут личные секретарши Гитлера и несколько связисток. В общей сложности, здесь находятся также внизу около 600—700 эсэсовцев, включая охрану, ординарцев, канцеляристов и прислугу».

Если бы сука Гитлера осталась жива, ее, видимо, подарили бы Сталину вместо Бена. А четырех щенков

поделили между самыми верными и преданными диктатору соратниками.

Гигантомания — старая российская имперская традиция. Вспомните: Царь-Пушка, Царь-Колокол, гора резиновых калош на Всемирной выставке в Париже (когда больше нечего было показать). Традиционная гигантомания была подхвачена большевиками и проявилась даже в собаководстве.

Была выведена новая порода — восточно-европейская овчарка. «Восточники» отличались от немецких овчарок своей массивностью, тяжестью, широкой грудью, прямой спиной, крупными лапами и высотой.

Если немецкие овчарки были высотой 60—65 сантиметров в холке, то восточно-европейские доходили до 78 сантиметров.

Это были настоящие гиганты. Их основная функция заключалась в охране советских границ и, конечно, лагерей.

Судьбе собак-охранников в послесталинское время посвящена повесть Георгия Владимова «Верный Руслан».

«В их голосах слышался изрядной толщины металл.

Были эти собаки почти одного окраса: с черным ремнем на спине, делившим широкий лоб надвое, отчего казался он угрюмым, короткость ушей и морды еще добавляла свирепости; стальной цвет боков постепенно менялся — от сизо-вороненого к ржавчине, к апельсинно-оранжевому калению, а на животе вислая шерсть отливала оттенком, который хотелось назвать «цвет зари».

Светился зарею пушистый воротник на горле, тяжелое полукольцо хвоста и крупные мускулистые лапы.

Звери были красивы, были достойны, чтобы ими любовались не издали...

В самом поселке их появление вызвало поначалу тревогу.

Слишком уж рьяно прочесывали они улицы, проносясь по ним аллюром с вываленными из разверстых пастей лиловыми, дымящимися языками. Однако ни разу они никого не тронули.

А вскоре увидели, как они собираются словно бы для каких-то своих совещаний, часто оглядываясь через плечо и не допуская в свой круг посторонних. Своя была

у них жизнь, а в чужую они не вторгались.

Не замечали детей и женщин, подчас ненароком задевая их на бегу — и удивляясь передвижению в пространстве странного предмета. Привлекали их внимание одни мужчины, и тут избрали они себе наконец определенное занятие — сопровождать мужчин в разнообразных хождениях: в гости, в магазин или на работу.

Завидев прохожего и установив еще за квартал его принадлежность к сильному полу, та или иная отделялась от стаи и пристраивалась к нему — чуть поотдаль и позади.

Проводив до места, возвращались, ничего себе не выпросив. Когда же ей что-нибудь бросали съестного, собака рычала и отворачивалась, глотая судорожно слюну.

Никто не знал, чем они живы, в эту свою заботу они тоже никого не посвящали. Было от них, правда, единственное беспокойство: они не любили, когда собиралось вместе более трех мужчин.

Хозяин не любил его — это открытие всегда потрясает собаку, наполняет горем все ее существо, отнимает волю к жизни.

Потрясло оно и Руслана, хотя, казалось, мог бы и раньше догадаться. Мог бы, и догадаться, да только легче бы, право, съесть всю банку горчицы, чем признаться себе в нелюбви хозяина.

Что же тогда, если не любовь, позволяла сносить все тяготы службы?

Что позволяло им всем, хозяевам и собакам держаться бесстрашной горсткой против тысячеглавого стада лагерников, на которых, только взбунтуйся они все разом, не хватило бы никаких пулеметов, никакой проволоки?

Что бросало Руслана в пленительную погоню за убегающим, в опасную схватку с ним?

Разве же не единственной наградой было — угодить хозяину?

И разве только за корм прощал он хозяину незаслуженные окрики, хлестание поводком?»

Для многих людей старшего поколения немецкие и восточно-европейские овчарки остались символом тюремной, лагерной системы. Хриплый лай, окрики конвоиров...

Теперь, после распада Советской империи, не часто встретишь настоящего, красивого «восточника». Все больше становится немецких овчарок... Потребность в гигантских собаках отпала, порода вырождается...

Советские партийные деятели не любили собак.

Григорий Романов — главный конкурент Горбачева после смерти Черненко, когда находился на посту 1-го секретаря Ленинградского обкома КПСС (1970—83 г.г.) организовал кампанию по борьбе с собаками.

Собаки выступили в роли «врагов народа».

Лидер ленинградских коммунистов увидел основную причину нехватки мясных продуктов в том, что их едят собаки. Подсчитали количество собак, умножили на дневной рацион, получилось, что все мясо съели собаки. Перед потрясенным народом предстали цифры.

Началась травля на государственном уровне.

Активизировали прессу.

Стали поднимать гнев людей.

Ввели налоги. Запретили выгул. Ликвидировали площадки для выгула. Опрыскивали площадки для выгула специальными ядохимикатами, собаки слепли, их усыпляли.

Собак в Ленинграде стало меньше чем после блокады...

Собак не стало, но мясо не появилось.

Теперь, когда Советский Союз развалился, люди стали больше любить собак. Не знаю: с чем это связано? Может с изменениями в сознании?

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

У сына Сталина был Бен — собака Геринга.

У Хрущева жили дворняги.

У Ворошилова и Буденного были кони и попугаи. Попугай Ворошилова умел говорить: «алло» и «здрасте». Он достался «красному маршалу» от богатой дамы (судьба дамы неизвестна). Попугай Буденного ругался матом, он достался кавалеристу от матросов.

Шелест привозил с собой в Москву корову, чтобы пить молоко «свое».

Отношения кремлевских лидеров с животными были сложны и неоднозначны. Партия сама жила по законам стаи.

Никколо Макиавелли (1469—1527) в трактате «Государь» советовал политикам «уподобиться» зверям — Льву и Лисе.

«Надо знать, что с врагами можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых силой. Первый способ присущ человеку, второй — зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать ко второму.

Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя.

Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что Государь должен совмещать в себе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы.

Итак из всех зверей Государь пусть уподобится двум: Льву и Лисе. Лев боится капканов, а Лиса — Волков. Следовательно, надо быть подобным Лисе, чтобы уметь обойти капканы, и Льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен Льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание».

А теперь о концепции итальянского социолога Вильфредо Парето (1848—1923), который создал «Трактат всеобщей социологии». Парето научно обосновал деление общества на правящее меньшинство (ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ) и управляемое большинство (НЕЭЛИТУ).

Парето доказывал, что движущей силой всех человеческих обществ является круговорот, циркуляция ЭЛИТ — их зарождение, расцвет, деградация и смена на новую элиту. Циркуляция ЭЛИТ лежит в основе всех великих исторических событий.

Согласно этой концепции, индивиды, от рождения предрасположенные к манипулированию массами при помощи хитрости и обмана (Лисы) или применения насилия (Львы), создают два различных типа правления. «Львы» — это убежденные, преданные идее лидеры. Придя к власти, «Львы» утомляются, стареют, силы покидают их в борьбе с молодыми, полными амбициями

«лисами». «Лисы» — коварные беспринципные, циничные.

Эти типы правления приходят на смену друг другу в результате деградации ЭЛИТЫ, приводящей ее к упадку.

Принадлежность к ЭЛИТЕ необязательно наследственная: дети чаще всего не обладают всеми выдающимися качествами своих родителей («на детях гениев природа отдыхает»).

Главное заключается в том, что в среде элиты не может быть длительного соответствия между дарованиями индивидов и занимаемыми ими социальными позициями.

Законы наследственности гласят: нельзя рассчитывать, что дети тех, кто умел повелевать, наделены теми же способностями. «Если бы элиты среди людей напоминали отборные породы животных, в течение долгого времени воспроизводящих примерно одинаковые признаки, история рода человеческого полностью отличалась бы от той, какую мы знаем. «Поэтому постоянно происходит замещение старых ЭЛИТ новыми. Парето пишет: «Феномен новых элит, которые в силу непрестанной циркуляции поднимаются из наших слоев общества в высшие слои, всесторонне раскрываются, затем приходят в упадок, исчезают, рассеиваются.»

По мнению Парето, в любом обществе идет бесконечный круговорот политических элит. Представим себе, что одна элита (лисы) хитростью заставила признать себя и вобрала в себя наиболее хитрые элементы населения. Тем самым она оставила вне себя людей, наиболее способных к применению насильственных методов. При таком отборе со временем оказываются с одной стороны отборные хитрецы («лисы»), а с другой — люди, наделенные силой («львы»). Как только «львы» находят вождя, знающего, КАК применить силу, они вступают в борьбу, одерживают победу над «лисами» и оказываются у власти.

И все сначала!

Элиты приходят на смену друг другу... История становится их кладбищем. Массовые убийства и грабеж, по Парето,— внешний признак, который обнаруживает, что происходит смена «лис» сильными и энергичными «львами».

Мысль Парето о том, что в политике следует «извлекать выгоду из чувств людей, а не растрачивать энергию в тщетных попытках уничтожить их» близка и понятна людям, живущим вдалеке от кроваво-красного Кремля с его проблемами и тайнами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов А. У. У кремлевской стены. М.: Политиздат, 1974.

Авторханов А. Сила и бессилие Брежнева. Посев, 1979.

Академик Харитон и его бомба...// Огонек. 1993. № 33.

Басин Я. З. И творцы и мастеровые. Мн.: 1988.

Березин Ф. Я. История ордера на арест Берия.// Юность. 1989. № 9.

Берия С. Л. Мой отец — Лаврентий Берия. М., 1994.

Брук-Шеперд Гордон. Судьба советских перебежчиков.// Иностран. лит. 1990. № 6.

Великанова О. По просьбе трудящихся...// Нева. 1991. № 7.

Владимов Г. Верный Руслан.// Знамя. 1989. № 2.

Волин О. Два года с бериевцами.// Совершенно секретно. 1989. № 6.

Гаврилов Ю. Провокаторы.// Огонек. 1990. № 3.

Геллер Ю. Из истории современности. Ворошилов.// Огонек. 1989.

Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья. М.: Политиздат, 1978.

Гришин Д. Удар в спину.// Огонек. 1990. № 52.

Губарев В. Тайна секретного человека.// Огонек. 1993. № 33.

Губерман. Бехтерев: страницы жизни. М., 1977.

Гуль Р. Дзержинский. М., 1991.

Гуль Р. Красные маршалы. М.: Молодая гвардия, 1990.

Демидов Г. Дубарь. Рассказ.// Огонек. 1990. № 51.

Джордж Оруэлл. В ожидании Большого брата.// Новое время. 1991. № 45.

Дзержинская С. В годы великих боев. М.: Мысль, 1965.

Добровольский Е. Уроки большой политики.// Столица. 1990. № 3.

Елашин Ю. Укрощение искусств.// Огонек. 1990.

Ельцин Б. Исповедь на заданную тему. М., 1990.

Жильяр П. Император Николай II и его семья. Вена, 1921.

Жуков Ю. Тайна операции «Эрмитаж».// Смена. 1992. № 1.

Жутовский Б. И. Я болен временем.// Огонек. 1989. № 15.

Забелин И. Е. Подземные хранилища Московского Кремля.// Археолог. заметки. 1894. № 2.

Зерцалов А. Н. О раскопках в Московском Кремле в XIX в. 40 и ДР, 1897. Кн. 1.

Интервью Ванды Белецкой с Б. В. Петровским. Власть и здоровье.// Огонек. 1990. № 43.

Касимов Я. Подмосковные вечера последнего Генсека.// Москов. новости. 1993. № 7.

Коренюк Н. Трудно жить с мифами.// Огонек. 1990. № 46.

Костиков В. Блеск и нищета номенклатуры.// Огонек. 1989. № 1.

Костиков В. Изгнание из рая.// Огонек. 1990. № 24.

Костиков В. Концерт для глухой вдовы.// Огонек. 1989. № 7.

Ларина А. М. Незабываемое.// Знамя. 1988. № 10, 11.

Лацис О. Неутомимый строитель (История из жизни Ф. Э. Дзержинского).// Знамя. 1984. № 1.

Липкин С. Бухарин, Сталин и Манас.// Огонек. 1990.

Мальков П. Записки коменданта Московского Кремля. М.: Молодая гвардия, 1959.

Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М.: Терра, 1990.

Медведев Р. Л. И. Брежнев. Личность и эпоха.// Дружба народов. 1991. № 1.

Медведев Р. Н. Они окружали Сталина. М.: Изд-во полит. лит. 1990.

Медведев Р. О Сталине и сталинизме.//Знамя. 1989. № 2.

Морозов О. Последний диагноз.// Неделя. 1988. 28 сент.

Москва в ее прошлом и настоящем. Т. 7. Московское книгоиздательское товарищество «Образование».

Новиков А., Пушкарь Д. «Некоторые, особенно женщины, живы...»// Москов. новости. 1994. № 54.

Орлов А. Тайная история сталинских преступлений.// Огонек. 1989. № 45—51.

Осипов В. Болезнь и смерть В. И. Ленина.// Огонек. 1990. № 54.

Пересветов Р. По следам находок и утрат. М.: Сов. Россия. 1963.

Петров Р., Черный А. Черная сотня.// Огонек. 1990. № 20.

Почему тело Ленина не предали земле.// Известия. 1993. № 214.

Радзинский Э. Расстрел в Екатеринбурге.// Огонек. 1990. № 38.

Радышевский Д. Ельцин в США: мелочи большой политики.// Москов. новости. 1994. № 44.

Разгон Л. Непридуманное.// Юность. 1989. № 2.

Соловьев В. Клепикова Е. Заговорщики в Кремле. М., 1991.

Тополянский В. Д. Ночь перед рождеством в 1927 году.// Огонек. 1989. № 14.

Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1990.

Хрущев Н. С. Воспоминания.// Знамя. 1989. № 9.

Шатуновская Л. Жизнь в Кремле. Нью-Йорк, 1982.

Янсен Марк. Суд над эсерами.// Огонек. 1990. № 39.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3
Подземные палаты 8
Придворная помпа. Век XVIII 28
Кремлевская грязь 40
«Эта болезнь имела значение государственной тайны...» 52
Красный некрополь 75
Рана, нанесенная Кремлю 86
О мерах к усилению экспорта и реализации за границей предметов старины и искусства 102
Болезнь двигалась вперед 114
Смерть вождя 130
«Прекрасная смерть на боевом посту» 143
Что происходит в Мавзолее 154
Комендант Кремля 167
Покушения и расстрелы 194
Как Троцкий потерял власть 212
Бегство из Кремля 228
Месса кремлевского горца 246
«Дешево же вы цените Маркса...» 279
Антисемитизм Сталина 293
Фавориты 335
Бомба 357
Берия и бериевцы 375
Диагнозы вождей 397
Граф и буревестник 438
Вожди на трибуне 464
Кремлевские долгожители 483
Бремя последнего генсека 497
Вторичность — не порок... 505
Кремлевский заповедник (вместо эпилога) 514

Массово-политическое издание

СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ

Ответственный за выпуск *Ю. Г. Хацкевич*

Сдано в набор 20.03.95. Подписано в печать 26.04.95. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская. Гарнитура Тип Таймс. Печать высокая с ФПФ. Усл.-печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 29,19. Тираж 31 000 экз. Заказ 1891.

Фирма «Валев». Лицензия ЛВ № 216. 220746, Минск, пр. Машерова, 23-415.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.
OCR - Давид Титиевский, апрель 2017 г., Хайфа

КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ

Владимир Семенов

В книге Владимира *Семенова* «Кремлевские тайны» читателя ждут совершенно неожиданные факты нашей недавней истории. Автор предлагаемого произведения – мастер довольно редкой в Московском Кремле профессии; он – переплетчик. Через его руки прошли тысячи и тысячи документов и ... секретов, фактов, тайн.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, ведь в тайнах прошлого сокрыты секреты будущего.